~~Ukb vr d 82/7201~~

Księgozbiór 12. VII. 55

Karta terminów zwrotów.

25 WRZ 1971		10 S.

Termin zwrotu książki:

SP "Pogoń" B-stok Nr 1220 N.100.000 A-7

Ѳ. М. Достоевскій

Собраніе сочиненій

Всемірная библіотека.

Собранія сочиненій знаменитыхъ
русскихъ и иностранныхъ писателей.

Въ эту серію входятъ слѣдующія собранія сочиненій:

I серія.

А. В. Амфитеатрова, подъ наблюденіемъ *автора*;
Л. Н. Андреева, со вступительной статьей проф. *М. А. Рейснера*;
Ѳ. М. Достоевскаго, съ многочисл. приложеніями;
Г. А. Мачтета, подъ редакціей *Д. П. Сильчевскаго*;
В. Г. Тана, подъ наблюденіемъ *автора*;
Ольги Шапиръ, подъ наблюденіемъ *автора*.

II серія.

Д. Я. Айзмана, подъ наблюденіемъ *автора*;
С. А. Ан-скаго, подъ наблюденіемъ *автора*;
Б. А. Лазаревскаго, подъ наблюденіемъ *автора*;
А. И. Левитова, со вступ. статьей *А. А. Измайлова*;
В. В. Муйжеля, подъ наблюденіемъ *автора*;
Вас. И. Немировичъ-Данченко, подъ наблюденіемъ *автора*;
Н. Н. Олигера, подъ наблюденіемъ *автора*;
Н. М. Осиповича, подъ наблюденіемъ *автора*.

III серія.

А. С. Пушкина, подъ редакціей *П. О. Морозова* и *В. В. Каллаша*;
М. Ю. Лермонтова, подъ ред. *Арс. И. Введенскаго*;
Н. В. Гоголя, подъ редакціей *В. В. Каллаша*;
И. А. Крылова, подъ редакціей *В. В. Каллаша*;
А. В. Кольцова, подъ редакціей *Арс. Ив. Введенскаго*;
С. Т. Аксакова, подъ редакціей *А. Г. Горнфельда*;
А. Н. Островскаго, подъ ред. *М. И. Писарева*;
Н. Г. Помяловскаго, съ биограф. очерк. *Н. А. Благовѣщенскаго*;
А. А. Потѣхина, подъ наблюденіемъ *автора*;
П. М. Невѣжина, подъ наблюденіемъ *автора*;
С. В. Максимова, со вступ. статьей *П. В. Быкова*;
И. С. Никитина, подъ ред. *А. Г. Фомина* и *Ю. И. Эйхенвальда*;
Н. А. Добролюбова, подъ редакціей *В. П. Кранихфельда*;
Н. Я. Соловьева, съ портретомъ *автора*.

IV серія.

Чарльза Диккенса, со вступ. статьей *Д. П. Сильчевскаго*;
Элизы Оржешко, подъ ред. *С. С. Зелинскаго*;
Г. де Мопасана, съ критико-біографич. очеркомъ *З. А. Венгеровой*;
Эдгара По, съ критико-биографич. очеркомъ *М. А. Энгельгардта*;
Эмиля Зола, подъ редакц. и со вступ. статьями *Ѳ. Д. Батюшкова* и *Е. В. Аничкова*;
Георга Брандеса, съ предисловіемъ *М. В. Лучицкой*.

С.-Петербургъ.
Книгоиздательское Товарищество „Просвѣщеніе“,
Забалканскій просп., соб. д. № 75.

y 1-50
8/c1
Д70
19
21257

Полное собраніе сочиненій

Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО

Съ многочисленными приложеніями

Томъ девятнадцатый

Дневникъ писателя за 1873 г. :: Политическія статьи :: Критическія статьи

Библіотека им. Горького
г. Белосток

С.-Петербургъ
Типо-литографія Акц. О-ва „Самообразованіе“,
Забалканскій пр., д. № 75
1911

KSIĄŻNICA PODLASKA
im. Łukasza Górnickiego
Nr 33437A
KS. ARCHIWALNY
w Białymstoku

Бумага безъ примѣси древесной массы.

882-4=82
Biblioteka
w Białymstoku
1896
Т-ВО ПРОСВѢЩЕНІЕ

Первую половину тома занимаютъ критическія статьи Ѳедора Михайловича изъ журнала „Время“, издававшагося, какъ извѣстно, Михаиломъ Михайловичемъ Достоевскимъ при непосредственномъ участіи брата. Хотя подъ статьями этими и нѣтъ подписи, но свидѣтельство столь близкаго сотрудника журнала, какъ Н. Н. Страховъ, дѣлаетъ принадлежность этихъ статей перу Ѳедора Михайловича несомнѣнною. Къ тому же и выраженные въ статьяхъ взгляды, а равно и сказывающіеся въ нихъ пріемы такъ и выдаютъ Ѳедора Михайловича. Читатель аамѣтитъ, что тутъ (въ 1861 г.) уже проглядываетъ въ зародышѣ то, что было окончательно выражено въ одномъ изъ послѣднихъ произведеній Ѳедора Михайловича — въ Пушкинской рѣчи.

Вслѣдъ за „Дневникомъ писателя“ 1873 г., печатавшимся въ „Гражданинѣ“, въ настоящемъ томѣ помѣщены политическія статьи изъ того же журнала, которыя сохранились въ черновыхъ, писанныхъ рукою Ѳедора Михайловича, а потому и принадлежатъ несомнѣнно ему. Наконецъ, въ приложеніи къ настоящему тому помѣщены „Маленькія картинки“, появившіяся въ 1874 г. въ сборникѣ „Складчина“, изданномъ въ въ пользу пострадавшихъ отъ самарскаго голода.

Оглавленіе.

Критическія статьи.

Рядъ статей о русской литературѣ.
(Изъ журнала „Время“ за 1861 г.)

		Стр.
I.	Введеніе	3
II.	Г—бовъ и вопросъ объ искусствѣ	39
III.	Книжность и грамотность. (Статья первая) . .	79
IV.	„ „ „ (Статья вторая) . .	97
V.	Послѣднія литературныя явленія. Газ. „День“ .	138

„Дневникъ писателя“

изъ журнала „Гражданинъ“ за 1873 годъ.

I.	Вступленіе	153
II.	Старые люди	157
III.	Среда	162
IV.	Нѣчто личное	175
V.	Власъ	185
VI.	Бобокъ	197
VII.	„Смятенный видъ“	212
VIII.	Полписьма „одного лица“	220
IX.	По поводу выставки	230
X.	Ряженый	241
XI.	Мечты и грезы	256
XII.	По поводу новой драмы	263
XIII.	Маленькія картинки	273
XIV.	Учителю	283
XV.	Нѣчто о враньѣ	288
XVI.	Одна изъ современныхъ фальшей	298

Политическія статьи.

Иностранныя событія.

Изъ журнала „Гражданинъ“ за 1873—74 гг.	Стр.
Изъ № 38 журнала „Гражданинъ“ 1873 г.	315
„ № 39 „ „ „	325
„ № 40 „ „ „	328
„ № 41 „ „ „	332
„ № 42 „ „ „	345
„ № 43 „ „ „	353
„ № 44 „ „ „	359
„ № 45 „ „ „	366
„ № 46 „ „ „	373
„ № 51 „ „ „	380
„ № 52 „ „ „	386
Изъ № 1 журнала „Гражданинъ“ 1874 г.	389

Приложенія.

Двѣ замѣтки редактора (изъ журнала „Гражданинъ“ 1873 г.) 401

Маленькія картинки. Въ дорогѣ. (Изъ сборника „Складчина“, изданнаго въ 1874 г.) 408

Дневникъ писателя.

I.

Введеніе[1].

I.

Если есть на свѣтѣ страна, которая была бы для другихъ, отдаленныхъ или сопредѣльныхъ съ нею странъ болѣе неизвѣстною, неизслѣдованною, болѣе всѣхъ другихъ странъ непонятою и непонятною, то эта страна есть, безспорно, Россія для западныхъ сосѣдей своихъ. Никакой Китай, никакая Японія не могутъ быть покрыты такой тайной для европейской пытливости, какъ Россія, прежде, въ настоящую минуту и даже, можетъ быть, еще очень долго въ будущемъ. Мы не преувеличиваемъ. Китай и Японія, во-первыхъ, слишкомъ далеки отъ Европы, а во-вторыхъ, и доступъ туда иногда очень труденъ; Россія же вся открыта передъ Европою, русскіе держатъ себя совершенно нараспашку передъ европейцами, а между тѣмъ характеръ русскаго, можетъ быть, даже еще слабѣе обрисованъ въ сознаніи европейца, чѣмъ характеръ китайца или японца. Для Европы Россія — одна изъ загадокъ Сфинкса. Скорѣе изобрѣтется perpetuum-mobile или жизненный элексиръ, чѣмъ постигнется Западомъ русская истина, русскій духъ, характеръ и его направленіе. Въ этомъ отношеніи даже луна теперь изслѣдована гораздо подробнѣе, чѣмъ Россія. По крайней мѣрѣ, положительно извѣстно, что тамъ никто не живетъ, а про Россію знаютъ, что въ ней живутъ люди и даже русскіе люди, но какіе люди? — Это до сихъ поръ загадка, хотя, впрочемъ, европейцы и увѣрены, что они насъ давно постигли. — Въ разное время употреблены были пытливыми сосѣдями нашими довольно большія усилія для узнанія

[1] Напечатано въ журналѣ „Время“ за январь 1861 г.

насъ и нашего быта; были собраны матеріалы, цифры, факты; производились изслѣдованія, за которыя мы чрезвычайно благодарны изслѣдователямъ, потому что эти изслѣдованія для насъ самихъ были чрезвычайно полезны. Но всевозможныя усилія вывесть изъ всѣхъ этихъ матеріаловъ, цифръ, фактовъ что-нибудь основательное, путное, дѣльное собственно о русскомъ человѣкѣ, что-кибудь синтетически-вѣрное, — всѣ эти усилія всегда разбивались о какую-то роковую, какъ будто кѣмъ-то и для чего-то предназначенную невозможность. Когда дѣло доходитъ до Россіи, какое-то необыкновенное тупоуміе нападаетъ на тѣхъ самыхъ людей, которые выдумали порохъ и сосчитали столько звѣздъ на небѣ, что даже увѣрились, наконецъ, что могутъ ихъ и хватать съ неба. Все доказываетъ это, начиная съ мелочей до самыхъ глубокомысленныхъ изслѣдованій о судьбѣ, значеніи и будущности нашего отечества. Кое-что, впрочемъ, о насъ знаютъ. Знаютъ, напримѣръ, что Россія лежитъ подъ такими-то градусами, изобилуетъ тѣмъ-то и тѣмъ-то и что въ ней есть такія мѣста, гдѣ ѣздятъ на житъ подъ такими-то градусами, изобилуетъ тѣмъ-то и люди, очень странные, на всѣхъ похожіе и въ то же время какъ будто ни на кого не похожіе; какъ будто европейцы, а между тѣмъ какъ будто и варвары. Знаютъ, что народъ нашъ довольно смышленный, но не имѣетъ генія; очень красивъ, живетъ въ деревянныхъ избахъ, но неспособенъ къ высшему развитію по причинѣ морозовъ. Знаютъ, что въ Россіи есть армія и даже очень большая, но полагаютъ, что русскій солдатъ — совершенная механика, сдѣланъ изъ дерева, ходитъ на пружинахъ, не мыслитъ и не чувствуетъ и потому довольно стоекъ въ сраженіяхъ, но не имѣетъ никакой самостоятельности и во всѣхъ отношеніяхъ уступаетъ французу. Знаютъ, что въ Россіи былъ императоръ Петръ, котораго называютъ великимъ, — монархъ не безъ способностей, но полуобразованный и увлекавшійся своими страстями; что женевецъ Лефортъ воспиталъ его, сдѣлалъ его изъ варвара умнымъ и внушилъ ему мысль завести флотъ и обрѣзать русскимъ кафтаны и бороды; что Петръ, дѣйствительно, обрѣзалъ бороды, и потому русскіе тотчасъ же сдѣлались европейцами. Но знаютъ и то, что не родись въ Женевѣ Лефортъ, русскіе до сихъ поръ ходили бы съ бородами, а слѣдовательно, не было бы и преобразованія Россіи. Но, впрочемъ, довольно и этихъ примѣровъ; всѣ остальныя познанія то же, или почти то же самое. Мы говоримъ совершенно серьезно. Сдѣлайте одолженіе, раз-

берите всѣ книги, о насъ написанныя разными заѣзжими виконтами, баронами и преимущественно маркизами, — книги, разошедшіяся по Европѣ въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ; прочтите ихъ внимательно и увидите, правду ли мы говоримъ, шутимъ мы или нѣтъ? И что всего любопытнѣе, — нѣкоторыя изъ этихъ книгъ написаны людьми безспорно замѣчательно умными. То же самое безсиліе, какъ и въ этихъ попыткахъ заѣзжихъ путешественниковъ бросить высшій взглядъ на Россію и усвоить ея главную идею, видимъ мы и въ полнѣйшей неспособности почти всякаго иностранца, котораго обстоятельства заставляютъ жить въ Россіи иногда даже пятнадцать и двадцать лѣтъ, хоть сколько-нибудь оглядѣться, прижиться въ Россіи, понять хоть что-нибудь окончательно, выжить хоть какую-нибудь идею, подходящую къ истинѣ. Возьмемъ сначала ближайшаго сосѣда нашего, нѣмца. Пріѣзжаютъ къ намъ нѣмцы всякіе: и безъ царя въ головѣ, и такіе, у которыхъ есть свой король въ Швабіи, и ученые, съ серьезною цѣлью узнать, описать и такимъ образомъ быть полезнымъ наукѣ Россіи, и неученые простолюдины съ болѣе скромною, но добродѣтельною цѣлью печь булки и коптить колбасы, — разные Веберы и Людекенсы. Иные даже принимаютъ себѣ «разъ навсегда за правило и даже за священную обязанность» знакомить русскую публику съ европейскими рѣдкостями и потому являются съ разными великанами и великаншами, съ ученымъ суркомъ или обезьяною, нарочно выдуманною нѣмцами для русскаго удовольствія. Но какая бы ни была разница между ученымъ нѣмцемъ и простолюдиномъ въ понятіяхъ, въ общественномъ значеніи, въ образованіи и въ цѣли посѣщенія Россіи, — въ Россіи всѣ эти нѣмцы немедленно сходятся въ своихъ впечатлѣніяхъ. Какое-то больное чувство недовѣрчивости, какая-то боязнь примириться съ тѣмъ, что онъ видитъ рѣзко на себя не похожаго, совершенная неспособность догадаться, что русскій не можетъ обратиться совершенно въ нѣмца, и что потому нельзя его мѣрить на свой аршинъ, и, наконецъ, явное или тайное, но во всякомъ случаѣ безпредѣльное высокомѣріе передъ русскими, — вотъ характеристика почти всякаго нѣмецкаго человѣка во взглядѣ на Россію. Иные пріѣзжаютъ служить у помѣщиковъ Буеракиныхъ [1], управлять вотчинами; другіе являются въ видѣ естествоиспытателей, ловятъ русскихъ жуковъ, пріобрѣтаютъ этимъ безсмертную славу и обращаются въ

[1] „Губернскіе очерки“ Щедрина.

какихъ-нибудь засѣдателей. Другіе, съ успѣхомъ засѣдая лѣтъ пятнадцать, рѣшаются, наконецъ, быть современными и полезными и для этого подробно опишутъ, изъ какихъ горныхъ породъ будетъ состоять цоколь будущаго памятника тысячелѣтію Россіи. Есть изъ нихъ чрезвычайно добрые; такіе почти всегда начинаютъ спеціально учиться по-русски, очень полюбятъ русскій языкъ и русскую литературу, получаютъ, наконецъ, употребленіе русскаго языка, конечно, не безъ тяжкихъ усилій, и, въ припадкѣ восторга, желая принести себѣ, русскимъ и человѣчеству несомнѣнную пользу, рѣшаются — «перевести «Россіяду» Хераскова на санскритскій языкъ». Впрочемъ, не всѣ переводятъ «Россіяду» Хераскова. Иные пріѣзжаютъ писать свою Россіяду и издаютъ ее уже въ Германіи. Есть знаменитыя сочиненія въ этомъ родѣ. Читаешь эту Россіяду — серьезно, дѣльно, умно, даже остроумно. Факты вѣрны и новы; глубокій взглядъ брошенъ на иныя явленія, взглядъ оригинальный и мѣткій именно потому, что иныя русскія явленія удобнѣе наблюдать не русскому, а со стороны, и вдругъ на чемъ-нибудь самомъ важномъ, коренномъ, безъ чего никакія познанія о Россіи, никакіе факты, пріобрѣтенные трудомъ самымъ добросовѣстнымъ, не дадутъ никакого о ней понятія или дадутъ самое сбивчивое, чтобъ не сказать безтолковое, — вдругъ нашъ ученый становится втупикъ, обрывается, теряетъ нитку и заключаетъ такою нелѣпостью, что книга сама вырывается изъ рукъ вашихъ и падаетъ, иногда даже подъ столъ.

Пріѣзжіе французы совершенно не похожи на нѣмцевъ; это что-то обратно противоположное. Французъ ничего не станетъ переводить на санскритскій языкъ, не потому, чтобъ онъ не зналъ санскритскаго языка, — французъ все знаетъ, даже ничему не учившись; — но потому, во-первыхъ, что онъ пріѣзжаетъ къ намъ окинуть насъ взглядомъ самой высшей прозорливости, просверлить орлинымъ взоромъ всю нашу подноготную и изречь окончательное, безапелляціонное мнѣніе; а во-вторыхъ, по тому, что онъ еще въ Парижѣ зналъ, что напишетъ о Россіи; даже, пожалуй, напишетъ свое путешествіе въ Парижѣ еще прежде поѣздки въ Россію, продастъ его книгопродавцу, и уже потомъ пріѣдетъ къ намъ — блеснуть, плѣнить и улетѣть. Французъ всегда увѣренъ, что ему благодарить некого и не за что, хотя бы для него дѣйствительно что-нибудь сдѣлали, не потому, что въ немъ дурное сердце, даже напротивъ; но потому, что онъ совершенно увѣренъ, что не ему принесли, напримѣръ, хоть удовольствіе, а что онъ самъ однимъ появленіемъ своимъ осчастливилъ, утѣшилъ, наградилъ, удовлетворилъ всѣхъ и каждаго на пути его. Самый безтолковый и безпутный изъ нихъ, поживя въ Россіи, уѣзжаетъ отъ насъ совершенно увѣренный, что осчастливилъ русскихъ и хоть отчасти преобразовалъ Россію. Иные изъ нихъ пріѣзжаютъ съ серьезными, важными цѣлями, иногда даже на 28 дней, срокъ необъятный, цифра, доказывающая всю добросовѣстность изслѣдователя, потому что въ этотъ срокъ онъ можетъ совершить и описать даже кругосвѣтное путешествіе. Схвативъ первыя впечатлѣнія въ Петербургѣ, которыя выходятъ у него еще довольно удачно, и, кстати, разсмотрѣвъ при этомъ критически англійскія учрежденія, выучивъ мимоходомъ русскихъ боярь (les boyards) вертѣть столы или пускать мыльные пузыри, что, впрочемъ, очень мило и гораздо лучше величавой и чванной скуки нашихъ собраній, онъ рѣшается, наконецъ, изучить Россію основательно, въ подробностяхъ, и ѣдетъ въ Москву. Въ Москвѣ онъ взглянетъ на Кремль, задумается о Наполеонѣ, похвалитъ чай, похвалитъ красоту и здоровье народа, погруститъ о преждевременномъ его развратѣ, о плодахъ неудачно привитой цивилизаціи, о томъ, что исчезаютъ національные обычаи, чему найдетъ немедленно доказательство въ перемѣнѣ дрожекъ-гитары на дрожки-линейки, подходящія къ европейскому кабріолету; сильно нападетъ за все это на Петра Великаго и тутъ же, совершенно кстати, разскажетъ своимъ читателямъ свою собственную біографію, полную удивительнѣйшихъ приключеній. Съ французомъ все можетъ случиться, не причинивъ ему, впрочемъ, никакого вреда, до такой степени, что онъ послѣ своей біографіи тотчасъ же начинаетъ разсказывать русскую повѣсть, конечно, истинную, взятую изъ русскихъ нравовъ, подъ названіемъ Petroucha, имѣющую два преимущества: во-первыхъ, что она вѣрно характеризуетъ русскій бытъ, а во-вторыхъ, что она въ то же время вѣрно характеризуетъ и бытъ Сандвичевыхъ острововъ. Кстати ужъ обратитъ вниманіе и на русскую литературу; поговоритъ о Пушкинѣ и снисходительно замѣтитъ, что это былъ поэтъ не безъ дарованій, вполнѣ національный и съ успѣхомъ подражавшій Андрею Шенье и мадамъ Дезульеръ; похвалитъ Ломоносова, съ нѣкоторымъ уваженіемъ будетъ говорить о Державинѣ, замѣтитъ, что онъ былъ баснописецъ не безъ дарованья, подражавшій Лафонтену, и съ особеннымъ сочувствіемъ скажетъ нѣсколько словъ о Крыловѣ, молодомъ писателѣ, похищенномъ преждевре-

менною смертью (слѣдуетъ біографія) и съ успѣхомъ подражавшему въ своихъ романахъ Александру Дюма. Затѣмъ путешественникъ прощается съ Москвой, ѣдетъ далѣе, восхищается русскими тройками и появляется, наконецъ, гдѣ-нибудь на Кавказѣ, гдѣ вмѣстѣ съ русскими пластунами стрѣляетъ черкесовъ, сводитъ знакомство съ Шамилемъ и читаетъ съ нимъ «Трехъ Мушкетеровъ». . .

Повторяемъ, говоря это, мы вовсе не шутимъ, вовсе не преувеличиваемъ. Между тѣмъ мы сами чувствуемъ, что слова наши какъ будто отзываются пародіей, карикатурой. Правда вѣдь и то, что нѣтъ такого предмета на землѣ, на который бы нельзя было посмотрѣть съ комической точки зрѣнія. Все можно осмѣять, скажутъ намъ, сказать то, да не такъ передать почти тѣ же самыя слова, да не такъ ихъ выразить. Согласны. Но возьмите же сами самое серьезное мнѣніе о насъ иностранцевъ, и вы убѣдитесь, что все сказанное нами нисколько не преувеличено.

II.

Но надо оговориться. Послѣдніе нелѣпые возгласы о насъ иностранцевъ были большею частью произнесены въ состояніи неспокойномъ, во время недавнихъ раздоровъ, теперь уже слава Богу покончennыхъ надолго, если не навсегда, во время войны, среди яростныхъ боевыхъ криковъ. А впрочемъ, если взять эссенцію всѣхъ прежнихъ мнѣній, до раздоровъ и войны, то выводъ былъ бы почти тотъ же самый. Книги налицо; можно справиться.

Что жъ? Будемъ ли мы обвинять за такое мнѣніе иностранцевъ? Обвинять ихъ въ ненависти къ намъ, въ тупости; смѣяться надъ ихъ недальновидностью, ограниченностью? Но ихъ мнѣніе было высказано не одинъ разъ и не кѣмъ-нибудь; оно выговаривалось всѣмъ Западомъ, во всѣхъ формахъ и видахъ, и хладнокровно и съ ненавистью, и крикунами и людьми прозорливыми, и подлецами и людьми высоко-честными, и въ прозѣ и въ стихахъ и въ романахъ и въ исторіи, и въ premier-Paris и съ ораторскихъ трибунъ. Слѣдственно, это мнѣніе чуть ли не всеобщее, а всѣхъ обвинять какъ-то трудно. Да и за что обвинять? За какую вину? Скажемъ прямо: не только тутъ нѣтъ никакой вины, но даже мы признаемъ это мнѣніе за совершенно нормальное, т. е. прямо выходящее изъ хода событій, несмотря на то, что оно, разумѣется, совершенно ложное. Дѣло въ томъ, что иностранцы и не могутъ насъ понять иначе, хотя бы мы ихъ и разувѣряли въ противномъ. Но неужели жъ разувѣрять? Во-первыхъ, по всѣмъ вѣроятностямъ, французы не подпишутся на «Время», хотя бы нашимъ сотрудникомъ былъ самъ Цицеронъ, котораго, впрочемъ, мы бы, можетъ быть, и не взяли въ сотрудники. Слѣдственно не прочтутъ нашего отвѣта; остальные, нѣмцы, и подавно. Во-вторыхъ, надо признаться, въ нихъ дѣйствительно есть нѣкоторая неспособность насъ понять. Они и другъ друга-то не совсѣмъ хорошо понимаютъ.

Англичанинъ до сихъ поръ еще не въ состояніи допустить разумности существованія француза; французъ платитъ ему совершенно тою же монетою, даже съ процентами, несмотря ни на какіе союзы, ententes cordiales и проч. и проч. А между тѣмъ и тотъ, и другой — европейцы, настоящіе, главные европейцы, представители европейцевъ. Гдѣ жъ было имъ разгадать насъ, русскихъ, когда мы и сами-то для себя загадка, по крайней мѣрѣ постоянно задавали другъ другу о себѣ загадки. Развѣ славянофилы не задавали загадокъ западникамъ, а западники славянофиламъ? У насъ даже до сихъ поръ любятъ ребусы. Читайте объявленія объ изданіи журналовъ, и вы въ этомъ совершенно убѣдитесь. И какъ же бы, наконецъ, они насъ постигли, когда одна изъ главнѣйшихъ нашихъ особенностей именно та, что мы не европейцы, а они не могутъ мѣрять иначе какъ на свой аршинъ. Да главное еще то, что мы сами почти вплоть до сихъ поръ постоянно и упорно рекомендовали имъ себя за европейцевъ. Что жъ могли они разобрать въ такой путаницѣ, особенно глядя на насъ? Виноваты ли они, что до сихъ поръ у нихъ недостаетъ даже фактовъ, чтобъ составить о насъ безпристрастное мнѣніе. Чѣмъ заявили мы себя особеннымъ, оригинальнымъ? Мы, напротивъ, даже какъ-то боялись сознаться въ нашихъ оригинальностяхъ, прятали ихъ не только предъ ними, но даже передъ собою; стыдились, что мы еще носимъ на себѣ хоть какой-нибудь свой отпечатокъ и никакъ не можемъ стать вполнѣ европейцами, укоряли себя за это, а слѣдственно имъ же поддакивали, торопливо соглашались съ ними и даже не пробовали ихъ переувѣрять. Да и кого изъ русскихъ они видѣли? Но комъ судили? Правда, они встрѣчались со многими изъ нашихъ, цѣлыхъ полтора вѣка сряду. Вмѣстѣ съ прочими ѣздилъ къ нимъ и господинъ Гречъ и писалъ оттуда парижскія письма. Вотъ про господина Греча мы знаемъ, что онъ пытался было переубѣдить французовъ, разговаривалъ съ Сентъ-Бёвомъ, съ Викторомъ Гюго, что явствуетъ изъ его собственныхъ парижскихъ писемъ. «Я *напрямки* сказалъ

Сентъ-Бёву», выражается онъ. — «Я *напрямки* объявилъ Виктору Гюго». Дло, видите ли, въ томъ, что Сентъ-Бёву или Виктору Гюго, не помнимъ (надо бы справиться), г. Гречъ сказалъ *напрямки*, что литература, проповѣдующая безнравственность и проч. и проч., ошибается и недостойна называться литературой. (Можетъ быть, слова не совсѣмъ тѣ, но смыслъ тотъ же самый. За это ручаемся.) Вѣроятно, Сентъ-Бёву надо было дожидаться лѣтъ пятьдесятъ г. Греча, чтобъ услышать отъ него подобную истину изъ прописей. То-то, должно быть, Сентъ-Бёвъ выпучилъ глаза! Впрочемъ, успокоимся: французы народъ чрезвычайно вѣжливый, и мы знаемъ, что г. Гречъ воротился изъ Парижа благополучно и невредимо. При томъ же мы, можетъ быть, и не ошибемся, если скажемъ, что по г. Гречу нельзя же было судить о всѣхъ русскихъ. Но довольно о г. Гречѣ. Мы упомянули о немъ только такъ. Къ дѣлу! Ѣздили въ Парижъ и другіе, кромѣ г. Греча. Являлись туда съ незапамятныхъ временъ и отставные наши кавалеристы, народъ веселый и добродушный, изумлявшій на нашихъ парадахъ публику красотой своихъ формъ, обтянутыхъ лосиною, и проводившихъ потомъ остатокъ дней своихъ уже не въ тягостяхъ службы, а въ свое удовольствіе. Толпами валили за границу и молодые вертопрахи, нигдѣ не служившіе, но сильно заботившіеся о своихъ помѣстьяхъ. Ѣздили туда и коренные наши помѣщики, со всѣми семействами и картонками; добродушно и серьезно взбирались на башни Нотръ-Дамъ; осматривали оттуда Парижъ и, втихомолку отъ своихъ женъ, гонялись за гризетками. Доживали тамъ свой вѣкъ оглохшія и ослѣпшія старухи-барыни и уже окончательно лишались употребленія русскаго языка, котораго, впрочемъ, не знали и прежде. Возвращались оттуда къ намъ и наши матушкины сынки (что по-французски переводится: enfants de bonne maison, fils de famille), знавшіе всю подноготную о Пальмерстонѣ и о всѣхъ мелкихъ дрязгахъ во Франціи, до послѣдней бабьей сплетни, и которые, за обѣдомъ, просили своихъ сосѣдей приказать лакею налить имъ стаканъ воды, единственно для того, чтобъ не проговорить и двухъ словъ по-русски, хотя бы и съ лакеемъ. Объ одномъ изъ такихъ фактовъ лично свидѣтельствуетъ г. Григоровичъ, написавшій недавно «Пахатника и бархатника». Но бывали и такіе изъ нихъ, которые знали по-русски, даже занимались зачѣмъ-то русской литературой и ставили на русскихъ сценахъ комедіи, въ родѣ пословицъ Альфреда Мюссе, подъ названіемъ, ну хоть, напримѣръ, *Раканы* (названіе, конечно,

выдуманное). Такъ какъ сюжетъ Ракановъ характеризуетъ цѣлый слой общества, занимающагося такими комедіями, а вмѣстѣ съ тѣмъ изображаетъ типъ и другихъ произведеній въ такомъ же родѣ, то позвольте вамъ въ двухъ словахъ разсказать его. Когда-то въ Парижѣ, въ прошломъ столѣтіи, процвѣталъ одинъ пошлѣйшій рифмоплетъ, подъ названіемъ Раканъ, не годившійся даже чистить сапоги г. Случевскому. Одна идіотка, маркиза, прельщается его стихами и желаетъ съ нимъ познакомиться. Три шалуна сговариваются между собою явиться къ ней, одинъ за другимъ, подъ названіемъ Ракана. Не успѣваетъ она проводить одного Ракана, какъ тотчасъ же передъ ней является и другой. Все остроуміе, вся соль комедіи, весь пафосъ ея заключается въ остолбенѣніи маркизы при видѣ Ракана въ трехъ лицахъ. Господа, разрѣшавшіеся (иногда въ сорокъ лѣтъ отъ роду) такими комедіями послѣ «Ревизора», совершенно были увѣрены, что дарятъ русской литературѣ драгоцѣннѣйшіе перлы. И такихъ господъ не одинъ, не два; имя имъ — легіонъ. Разумѣется, никто изъ нихъ ничего не пишетъ. Авторъ *Ракановъ* почти исключеніе; но зато каждый изъ нихъ такъ ужъ съ виду смотритъ, что какъ будто сейчасъ сочинитъ Ракановъ. Кстати (простите за отступленіе), премиленькая вышла бы статейка, если бъ кто-нибудь изъ нашихъ фельетонистовъ взялъ на себя трудъ разсказать всѣ сюжеты такихъ комедій, повѣстей, пословицъ и проч. и проч., мелькающихъ даже до сихъ поръ въ русской литературѣ. Становые, отказывающіеся, по принципу, жениться на генеральскихъ дочеряхъ, — развѣ это не тѣ же *Раканы*, разумѣется, въ своемъ родѣ и немного только позлокачественнѣе? Я знаю, напримѣръ, сюжетъ одной повѣсти о проглоченныхъ кѣмъ-то маленькихъ часахъ, продолжавшихъ чикать въ желудкѣ, — это верхъ совершенства! Разумѣется, она написана или будетъ написана тоже по принципу, именно: что искусство должно служить само себѣ цѣлью. Ужъ наше время такое: даже сочинители *Ракановъ* не могутъ теперь обходиться безъ «принциповъ» и «современныхъ вопросовъ». Но къ дѣлу. Спрашиваемъ: что могли до сихъ поръ заключить о насъ иностранцы по такимъ господамъ? Но, скажутъ намъ, — развѣ только одни такіе господа ѣздили къ иностранцамъ? Развѣ не видали, хоть бы, напримѣръ, французы, такихъ-то, или вотъ, пожалуй, такихъ-то? То-то и есть, что они ихъ до сихъ поръ не замѣтили. А если бъ и замѣтили, то опять стали бы втупикъ. Ну, что бы, напримѣръ, могли ска-

зать они человѣку, пріѣхавшему Богъ знаетъ откуда и который бы имъ вдругъ объявилъ, что они отстали, что свѣтъ ужъ теперь на Востокѣ, что спасеніе не въ légion d'honneur'ѣ и такъ далѣе и такъ далѣе, въ этомъ родѣ. Они просто бы не стали его слушать.

— Да, вы многое въ насъ проглядѣли, — сказали бы мы имъ, если бъ только они могли не проглядѣть. ну, и... и если бъ они насъ стали слушать. — Вы совершенно ничего въ насъ не знаете, — повторили бы мы имъ, — несмотря на то, что вашъ Мяриме знаетъ даже нашу древнюю исторію и написалъ что-то вродѣ начала драмы le Faux Demetrius, изъ которой, впрочемъ, столько же можно узнать о русской исторіи, какъ изъ «Марфы Посадницы» Карамзина. Замѣчательно, что самъ le Foux Demetrius вышелъ у него ужасно похожъ на Александра Дюма, не на героя романа Александра Дюма, но на самого Дюма, настоящаго, маркиза Davis de la Pailletterie. — Ничего-то вы не знаете ни въ насъ, ни въ нашей исторіи, — повторили бы мы имъ въ третій разъ, — и до сихъ поръ знаете только одно: что женевецъ Лефортъ... — И т. д., и т. д. — Этотъ женевецъ Лефортъ до того необходимъ въ вашихъ познаніяхъ о русской исторіи, что, я думаю, каждая дворничиха въ Парижѣ уже знаетъ его, и, вѣроятно, при взглядѣ на русскаго, требующаго у ней въ поздній часъ le cordon s'il vous plait, бормочетъ про себя: «Вотъ не родись въ Женевѣ женевецъ Лефортъ, то былъ бы ты до сихъ поръ варваромъ, не пріѣзжалъ бы въ Парижъ, au centre de la civilisation, не будилъ бы теперь меня ночью и не оралъ бы во все горло: le cordon s'il vous plait!». Но несмотря на троекратное повтореніе, что вы вовсе ничего о насъ не знаете, мы вовсе не ставимъ вамъ въ вину, что вы знаете только одного Лефорта. Ну, Лефортъ вамъ даже простителенъ, потому что многихъ изъ васъ онъ спасъ отъ голодной смерти. Сколько гувернеровъ, учителей — всякихъ Сенъ-Жеромовъ и Монъ-Ревешей, пріѣзжало къ намъ въ старину изъ-за Рейна для образованія Россіи, ровно ничего не зная ни изъ какой науки, кромѣ того, что женевецъ Лефортъ и т. д., и за это единственное познаніе, которое они передавали дѣтямъ русскихъ (boyards), они получали отъ насъ и деньги, и соціальное положеніе. Ну, къ чему, въ самомъ дѣлѣ, стали бы вы изучать насъ? Гдѣ разумное къ тому основаніе? Такъ развѣ, для искусства? Но вы народъ дѣловой, практичный и, вѣроятно, не станете тратить времени на такіе пустяки, какъ искусство для

искусства, хотя и посадили Понсара въ академію (впрочемъ, можетъ быть, по тому соображенію, что туда ему и дорога). Ну такъ, для науки? Да вѣдь въ томъ-то и дѣло, что мы такой народъ, что до сихъ поръ ни подъ какую науку не подходимъ. Вотъ почему, господа, вы до сихъ поръ не знаете, что если бъ у насъ только и было, что одна ваша цивилизація, такъ для насъ это было бы ужъ слишкомъ жидко и даже обидно. Мы ужъ это испробовали и теперь знаемъ все это на опытѣ.

Вотъ почему мы знаемъ, а вы не знаете, что ваша цивилизація явилась у насъ какъ плодъ натуральный, потребованный нашей почвой, а не потому только, что былъ на свѣтѣ женевецъ Лефортъ и т. д. Мало того: что цивилизація уже совершила у насъ весь свой кругъ; что мы уже ее выжили всю; приняли отъ нея все то, что слѣдовало, и свободно обращаемся къ родной почвѣ. Нужды нѣтъ, что не велика еще у насъ масса людей цивилизованныхъ. Не въ величинѣ дѣло, а въ томъ, что уже исторически законченъ у насъ переворотъ европейской цивилизаціи, что наступаетъ другой, и важнѣе всего то, что это уже сознали у насъ. Въ сознаніи-то и все дѣло. У насъ сознали, что цивилизація только приноситъ новый элементъ въ народную нашу жизнь, нисколько не повредивъ ей, нисколько не уклонивъ ея съ ея нормальной дороги, а, напротивъ, расширивъ нашъ кругозоръ, уяснивъ намъ же самимъ наши цѣли и давая намъ новое оружіе для будущихъ подвиговъ. Пусть, пусть сознающая наша масса невелика, но дѣло въ томъ, что это уже не *Раканы*. Повторяемъ, не въ величинѣ дѣло, а въ томъ, что уже совершился процессъ сознанія; о массѣ этой вы не имѣете еще никакого понятія. Вы до сихъ поръ (по крайней мѣрѣ, всѣ ваши виконты) убѣждены, что въ Россія состоитъ только изъ двухъ сословій: les boyards и les serfs. Но вы долго еще не будете убѣждены, что у насъ давно уже есть нейтральная почва, на которой все сливается въ одно цѣльное, стройное, единодушное, сливаются всѣ сословія, мирно, согласно, братски — и les boyards, которыхъ, впрочемъ, у насъ никогда не было въ томъ смыслѣ, какъ у васъ на западѣ, т. е. въ смыслѣ побѣдителей и побѣжденныхъ, и les serfs, которыхъ опять тоже не было, въ смыслѣ настоящихъ serf'овъ, такъ, какъ вы понимаете это словечко. И все это сливается такъ легко, такъ натурально, мирно, — главное: мирно, и этимъ именно мы отъ васъ и отличаемся, потому что вы каждый шагъ свой добывали

съ бою, каждое слово, право, каждую свою привилегію. Если и есть несогласія, то они только внѣшнія, временныя, случайныя, легко устранимыя и не имѣющія корней въ почвѣ нашей, и мы очень хорошо это понимаемъ. И начало этому порядку положено еще давно, съ незапамятныхъ временъ; оно заложено самой природой въ духѣ русскомъ, въ идеалѣ народномъ, и послѣднее внѣшнее къ тому препятствіе уже уничтожается въ наше время премудрымъ и благословеннымъ царемъ, благословеннымъ изъ благословенныхъ на вѣки за то, что онъ для насъ дѣлаетъ. Нѣтъ у насъ сословныхъ интересовъ, потому что и сословій-то, въ строгомъ смыслѣ, не было. Нѣтъ у насъ галловъ и франковъ, нѣтъ цензовъ, опредѣляющихъ внѣшнимъ образомъ, чего стоитъ человѣкъ; потому что у насъ только одно образованіе и одни нравственныя качества человѣка должны опредѣлять — чего стоитъ человѣкъ; это сознаютъ, и это въ убѣжденіяхъ, потому что русскій духъ пошире сословной вражды, сословныхъ интересовъ и цензовъ. Новая Русь уже по-маленьку ощупывается, уже по-маленьку сознаетъ себя, и опять таки нужды нѣтъ, что она не велика. Зато она, хоть и безсознательно, живетъ во всѣхъ сердцахъ русскихъ, во всѣхъ стремленіяхъ и позывахъ всѣхъ людей русскихъ. Наша новая Русь поняла, что одинъ только есть цементъ, одна связь, одна почва, на которой все сойдется и примирится, — это всеобщее духовное примиреніе, начало которому лежитъ въ образованіи. Эта новая Русь уже засвидѣтельствовала себя явленіями органическими и цѣльными, а не неудавшимися копіями и пересадками, какъ вы думаете. Она засвидѣтельствовала себя начинающеюся въ молодомъ поколѣніи новою нравственностью, ревниво и строго слѣдящею за собою, — что есть признакъ величайшей силы и неуклоннаго стремленія къ своему идеалу. Каждый день она разъясняетъ себѣ все болѣе и болѣе свой идеалъ. Она знаетъ, что она еще только что начинается, но вѣдь начало-то и главное; всякое дѣло зависитъ отъ перваго шага, отъ начала; она знаетъ, что она уже кончила съ вашей европейской цивилизаціей и теперь начинаетъ новую, неизмѣримо широкую жизнь. И теперь, когда она обращается къ народному началу и хочетъ слиться съ нимъ, она несетъ ему въ подарокъ науку, — то, что отъ васъ съ благоговѣніемъ получила и за что вѣчно будетъ поминать васъ добромъ, — не цивилизацію вашу несетъ она всѣмъ русскимъ, а науку, добытую изъ вашей цивилизаціи, предоставляетъ ее народу какъ результатъ своего длиннаго и долгаго путешествія отъ родной почвы въ нѣмецкія земли, какъ оправданіе свое передъ нимъ, и передавая ее ему, будетъ ждать, что сдѣлаетъ онъ самъ изъ этой науки. Наука, конечно, вѣчна и незыблема для всѣхъ и каждаго въ основныхъ законахъ своихъ, но прививка ея, плоды ея именно зависитъ отъ національныхъ особенностей, т. е. отъ почвы и народнаго характера.

Но позвольте, скажутъ намъ, что же такое ваша-то національность? Что же такое вы сами, русскіе? Вотъ вы хвалитесь, что мы васъ не знаемъ; но знаете ли вы-то себя? Вы собираетесь перейти къ народному началу и объявляете объ этомъ въ газетахъ, разсылаете при афишахъ? Стало быть, признаетесь, что до сихъ поръ не имѣли никакого понятія о вашемъ «народномъ началѣ», а если и имѣли, то имѣли ложное и отвергали его, именно потому, что до сихъ поръ не переходили къ нему. Теперь же вздумали и кричите объ этомъ на всю Европу. Позвольте васъ спросить, что дѣлаетъ курица, когда снесетъ яйцо?

Повторяемъ читателю, что все это говоритъ иностранецъ (ну, хоть бы, напримѣръ, французъ), не настоящій, но воображаемый, безплотный, фантастическій. Никакого француза мы и въ глаза не видали, когда писали нашу статью.

— Вотъ еще, — продолжалъ онъ, — въ вашемъ объявленіи вы изволили помѣстить слѣдующее: вы надѣетесь, что русская идея станетъ современемъ синтезомъ всѣхъ тѣхъ идей, которыя Европа такъ долго и съ такимъ упорствомъ вырабатывала въ отдѣльныхъ своихъ національностяхъ. Это что за новость? Что вы подъ этимъ подразумѣваете?

— То есть, — отвѣчаемъ мы, — вы хотите, милостивый государь, чтобъ вамъ объявили прямо и безъ околичностей, во что мы вѣруемъ?

— Нѣтъ, я вовсе этого не хочу, — восклицаетъ нашъ французъ съ нѣкоторымъ испугомъ, предчувствуя, что ему опять придется выслушать нѣсколько страницъ; — я вовсе этого не хочу. Я только хотѣлъ...

— Нѣтъ, милостивый государь, — прерываемъ мы, — вы хотѣли отвѣта и вы выслушаете нашъ отвѣтъ.

— Онъ заслужилъ розга и получитъ розга! — подхватываетъ Иванъ Карлычъ, вѣроятно вспомнивъ то время, когда онъ управлялъ вотчинами господина Буеракина Теперь же Иванъ Карлычъ, предчувствуя скорую

перемѣну въ бытѣ крестьянъ, вышелъ въ отставку и безъ мѣста; онъ, впрочемъ, надѣется, что его опять позовутъ! Въ настоящую минуту онъ стоитъ подлѣ насъ (тоже въ качествѣ иностранца), куритъ свою трубочку, съ которой, бывало, расхаживалъ по крестьянскимъ работамъ, и молча, но очень серьезно прислушивается къ нашему разговору, въ полномъ убѣжденіи, что выражаетъ въ своей физіономіи чрезвычайно много самой тонкой ироніи.

— Мы вѣруемъ, — повторяемъ мы, — ...

Но позвольте, читатель, позвольте намъ еще разъ одно отступленіе; позвольте сказать только нѣсколько постороннихъ словъ, не потому, чтобъ они были здѣсь очень необходимы, а такъ... потому что они сами просятся на бумагу. Простите за искренность.

Всегда есть въ ходу нѣсколько такихъ мнѣній и убѣжденій, въ которыхъ современники какъ будто боятся признаться и отрекаются отъ нихъ передъ свѣтомъ, несмотря на то, что потихоньку ихъ раздѣляютъ. Особенно это бываетъ въ иныя эпохи, такъ что становится замѣтно снаружи даже совершенно постороннему наблюдателю. Мы понимаемъ, что можетъ быть много и хорошихъ къ тому побужденій: можно, напримѣръ, слишкомъ бояться за истину, за ея успѣхъ; бояться ее компрометировать, высказавъ ее невпопадъ. Можно быть благородно-мнительнымъ, недовѣрчивымъ. Все это бываетъ. Но часто и даже большею частью мы любимъ *умалчивать* изъ какого-то внутренняго, затаившагося въ насъ іезуитизма, главный рычагъ котораго — наше самолюбіе, раздраженное до тщеславія. Одинъ скептикъ сказалъ, что нашъ вѣкъ есть вѣкъ раздраженныхъ самолюбій.—Обвинять цѣлый свѣтъ—это слишкомъ, но нельзя не согласиться, что все на свѣтѣ снесетъ иной современный человѣкъ, какое хотите безчестіе, — даже названія подлеца, мошенника, вора, если только эти названія не совсѣмъ ясно, не совсѣмъ осязательно высказаны, облечены, такъ сказать, въ мягкія свѣтскія формы... Одной только насмѣшки надъ умомъ своимъ онъ не снесетъ, не проститъ, никогда не забудетъ и съ наслажденіемъ отмститъ за нее при случаѣ. Спѣшимъ оговориться. Я говорю про *иного* современнаго человѣка, а не про всѣхъ современниковъ. Можетъ быть, это именно оттого происходитъ, что въ наше время всѣ начинаютъ все сильнѣе и больнѣе чувствовать и даже понемногу сознавать, что всякій человѣкъ, во-первыхъ, самого себя стоитъ, а во-вторыхъ, какъ человѣкъ, стоитъ и всякаго

другого именно потому, что онъ тоже человѣкъ, во имя своего человѣческаго достоинства. А потому и начинаетъ требовать отъ профессоровъ гуманности и отъ общества, ими руководимаго — къ себѣ уваженія. А такъ какъ сила ума есть единственное незыблемое и неоспоримое преимущество одного человѣка передъ другимъ, то никто и не хочетъ склониться передъ этимъ преимуществомъ до тѣхъ самыхъ поръ, пока одаренные преимуществомъ ученики не перестанутъ гордиться имъ и не будутъ считать скудоумія за что-то позорное и достойное ѣдкой насмѣшки. Вотъ почему никто и не хочетъ быть дуракомъ и такимъ образомъ невольно впадаетъ въ ошибку противъ своего же человѣческаго достоинства. Дуракъ-то именно и не долженъ бы былъ краснѣть за свою глупость, потому что не виноватъ, если природа родила его дуракомъ... Но, видно, инициатива должна выйти отъ привилегированныхъ умниковъ; дураку же простительно, если онъ не умнѣе умныхъ людей. Я знаю, напримѣръ, одного... ну хоть промышленника (вѣдь нынче въ ходу промышленность, даже въ литературѣ; къ тому же промышленникъ — это такое общее, безобидное слово, почти отвлеченное)... Такъ вотъ, если бъ кто спросилъ этого промышленника, что ему будетъ пріятнѣе: названіе мошенника или дурака? — то онъ, я увѣренъ въ этомъ, немедленно согласился бы на мошенника, несмотря на то, что онъ хоть и въ самомъ дѣлѣ мошенникъ, но все-таки гораздо болѣе дуракъ, чѣмъ мошенникъ, и самъ это знаетъ и знаетъ еще, что и всѣ это знаютъ. Вотъ почему люди въ нашъ вѣкъ бываютъ иногда уже слишкомъ робки на выраженіе иныхъ убѣжденій, даже самыхъ задушевныхъ. Они именно боятся, что ихъ назовутъ отсталыми, неумными. Умъ, умъ, самая тревожная боязнь за свой умъ, — вотъ въ чемъ главное дѣло! Умалчивая о своихъ убѣжденіяхъ, они охотно и съ яростью будутъ поддакивать тому, чему просто не вѣрятъ, надъ чѣмъ втихомолку смѣются, — и все это изъ-за того только, что оно въ модѣ, въ ходу, установлено столпами, авторитетами. Какъ же можно пойти противъ авторитетовъ! А, между тѣмъ, кто искренно убѣжденъ, тотъ, кажется, долженъ бы уважать свои убѣжденія; а уважающій свои убѣжденія долженъ хоть что-нибудь для нихъ сдѣлать. Всякій честный человѣкъ обязанъ... и т. д. и т. д. Ну, ужъ это пошло у васъ изъ прописей, скажетъ читатель и, пожалуй, броситъ читать.

Въ самомъ дѣлѣ. только что захочешь высказать,

21257
KSIĄŻNICA PODLA... im. Łukasza Górnic...
Białystok

по своему убѣжденію, истину, тотчасъ выходитъ какъ будто изъ прописей! Что за фокусъ! Почему множество современныхъ истинъ, высказанныхъ чуть-чуть въ патетическомъ тонѣ, сейчасъ же смахиваютъ на прописи? Отчего въ нашъ вѣкъ, чтобъ высказать истину, все болѣе и болѣе ощущается потребность прибѣгать къ юмору, къ сатирѣ, къ иронiи; подслащать ими истину, какъ будто горькую пилюлю; представлять свое убѣжденiе публикѣ съ оттѣнкомъ какого-то высокомѣрнаго къ нему равнодушiя, даже съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ неуваженiя, — однимъ словомъ, съ какой-то подленькой уступочкой. По нашему мнѣнiю, честному человѣку не слѣдуетъ краснѣть за свои убѣжденiя, даже если бъ они были и изъ прописей, особенно если онъ въ нихъ вѣруетъ. Мы говоримъ: *особенно*, потому что вѣдь есть и такiе убѣжденные, которые сами въ свои убѣжденiя не вѣруютъ и, убѣждая другихъ, поминутно задаютъ себѣ вопросъ: да ужъ не врешь ли ты, братецъ? А между тѣмъ горячатся за эти убѣжденiя до ярости, и иногда вовсе не потому, чтобъ хотѣли обманывать людей. Я зналъ одного господина, одного убѣжденнаго, который самъ въ этомъ сознавался. Онъ принадлежалъ къ тому разряду безспорно-умныхъ людей, которые всю жизнь только и дѣлаютъ, что однѣ глупости. Кстати: люди ограниченные, тупые, гораздо меньше дѣлаютъ глупостей, чѣмъ люди умные, — отчего это? И когда мы стали спрашивать этого сознавшагося господина: для чего жъ онъ убѣждаетъ другихъ, если самъ не вѣруетъ? и откуда онъ беретъ весь этотъ жаръ, всю эту ярость убѣжденiя, если самъ въ своихъ словахъ сомнѣвается, — то онъ отвѣчалъ, будто оттого и горячится, что все пробуетъ самого себя убѣдить. Вотъ что значитъ полюбить идею снаружи, изъ одного къ ней пристрастiя, не доказавъ себѣ (и *даже боясь* доказывать), вѣрна она или нѣтъ? А кто знаетъ, вѣдь можетъ и правда, что иные всю жизнь горячатся даже съ пѣною у рта, убѣждая другихъ, единственно чтобъ самимъ убѣдиться, да такъ и умираютъ неубѣжденные... Но довольно!.. Мы убѣдили себя окончательно. Пусть же теперь про насъ думаютъ, что мы увлекаемся своей идеей, что она невѣрна, неосновательна; что мы преувеличиваемъ; что въ насъ слишкомъ много юношескаго жара или, пожалуй, старческаго скудоумiя; что въ насъ мало такта, и проч. и проч. Пусть думаютъ! Вѣдь мы увѣрены, что не можемъ никому повредить, высказавъ прямо то, во что вѣруемъ. Отчего же не говорить? Отчего же именно непремѣнно молчать?

III.

Да, мы вѣруемъ, что русская нацiя — необыкновенное явленiе въ исторiи всего человѣчества. Характеръ русскаго народа до того не похожъ на характеры всѣхъ современныхъ европейскихъ народовъ, что европейцы до сихъ поръ не понимаютъ его и понимаютъ въ немъ все обратно. Всѣ европейцы идутъ къ одной и той же цѣли, къ одному и тому же идеалу; это безспорно такъ. Но всѣ они разъединяются между собою почвенными интересами, исключительны другъ къ другу до непримиримости и все болѣе и болѣе расходятся по разнымъ путямъ, уклоняясь отъ общей дороги. Повидимому, каждый изъ нихъ стремится отыскать общечеловѣческiй идеалъ у себя, своими собственными силами, и потому всѣ вмѣстѣ вредятъ сами себѣ и своему дѣлу. Повторяемъ теперь серьезно то, что сказали выше въ шутку: англичанинъ до сихъ поръ не можетъ понять никакой разумности во французѣ, и обратно, — французъ въ англичанинѣ, и это не только у нихъ сборное мнѣнiе, инстинктивное чувство всей нацiи, но замѣчается даже въ первыхъ людяхъ, въ предводителяхъ обѣихъ нацiй. Англичанинъ смѣется надъ своимъ сосѣдомъ при всякомъ случаѣ и съ непримиримою ненавистью глядитъ на нацiональныя его особенности. Соперничество лишаетъ ихъ, наконецъ, безпристрастiя. Они перестаютъ понимать другъ друга; они раздѣльно смотрятъ на жизнь, раздѣльно вѣруютъ и поставляютъ это себѣ за величайшую честь. Они все упорнѣе и упорнѣе отдѣляются другъ отъ друга своими правилами, нравственностью, взглядомъ на весь Божiй миръ. И тотъ и другой во всемъ мірѣ замѣчаютъ только самихъ себя, а всѣхъ другихъ — какъ личное себѣ препятствiе, и каждый отдѣльно у себя хочетъ совершить то, что могутъ совершить только всѣ народы, всѣ вмѣстѣ, общими соединенными силами. Что же? Неужели это только остатки старинныхъ соперничествъ? Неужели причины разъединенiя надо искать во времена Жанны д'Аркъ или крестовыхъ походовъ? Неужели цивилизацiя такъ безсильна, что не могла одолѣть до сихъ поръ эти ненависти. Не искать ли ихъ скорѣе въ самой почвѣ, а не въ случайностяхъ, въ крови, въ цѣломъ духѣ обоихъ народовъ? Большею частью таковы и всѣ европейцы. Идея общечеловѣчности все болѣе и болѣе стирается между ними. У каждаго изъ нихъ она получаетъ другой видъ, тускнѣетъ, принимаетъ въ сознанiи новую форму. Христiанская связь, до сихъ поръ ихъ соединявшая, съ каждымъ

днемъ теряетъ свою силу. Даже наука не въ силахъ соединить все болѣе и болѣе расходящихся. Положимъ, они отчасти правы въ томъ отношеніи, что эти-то исключительности, это взаимное соперничество, эта-то замкнутость отъ всѣхъ въ самихъ себя, эта гордая надежда на себя одного — и придаютъ каждому изъ нихъ такія исполинскія силы въ борьбѣ съ препятствіями на пути. Но тѣмъ самымъ эти препятствія все болѣе и болѣе увеличиваются и умножаются. Вотъ почему европейцы совершенно не понимаютъ русскихъ и величайшую особенность въ ихъ характерѣ назвали безличностью. Мы согласны, что выговариваемъ все это бездоказательно. Доказывать все это теперь мы считаемъ не въ предѣлахъ нашей статьи. Но съ нами согласятся, по крайней мѣрѣ, что въ русскомъ характерѣ замѣчается рѣзкое отличіе отъ европейскаго, рѣзкая особенность, что въ немъ по преимуществу выступаетъ способность высокосинтетическая, способность всепримиримости, всечеловѣчности. Въ русскомъ человѣкѣ нѣтъ европейской угловатости, непроницаемости, неподатливости. Онъ со всѣми уживается и во все вживается. Онъ сочувствуетъ всему человѣческому внѣ различія національности, крови и почвы. Онъ находитъ и немедленно допускаетъ разумность во всемъ, въ чемъ хоть сколько-нибудь есть общечеловѣческаго интереса. У него инстинктъ общечеловѣчности. Онъ инстинктомъ угадываетъ общечеловѣческую черту даже въ самыхъ рѣзкихъ исключительностяхъ другихъ народовъ; тотчасъ же соглашаетъ, примиряетъ ихъ въ своей идеѣ, находитъ имъ мѣсто въ своемъ умозаключеніи и нерѣдко открываетъ точку соединенія и примиренія въ совершенно-противоположныхъ, соперническихъ идеяхъ двухъ различныхъ европейскихъ націй, — въ идеяхъ, которыя сами собою, у себя дома, еще до сихъ поръ, къ несчастью, не находятъ способа примириться между собою, а можетъ быть, и никогда не примирятся. Въ то же самое время въ русскомъ человѣкѣ видна самая полная способность самой здравой надъ собой критики, самаго трезваго на себя взгляда и отсутствія всякаго самовозвышенія, вредящаго свободѣ дѣйствія. Разумѣется, мы говоримъ про русскаго человѣка вообще, собирательно, въ смыслѣ всей націи. Даже физическими способностями русскій не похожъ на европейцевъ. Всякій русскій можетъ говорить на всѣхъ языкахъ и изучить духъ каждаго чуждаго языка до тонкости, какъ бы свой собственный русскій языкъ, — чего нѣтъ въ европейскихъ народахъ, *въ смыслѣ всеобщей народной способности*. Неужели же это не указываетъ на что-нибудь? Неужели это только одно случайное, безцѣльное явленіе? Неужели по такимъ явленіямъ нельзя осмыслить и хоть отчасти предугадать хоть что-нибудь въ будущемъ развитіи нашего народа, въ его стремленіяхъ и цѣляхъ? И вотъ эта-то нація, осиленная обстоятельствами, столько вѣковъ враждебно смотрѣла на Европу и упорно не хотѣла жить съ нею и не предчувствовала своей будущности! Петръ почувствовалъ въ себѣ какимъ-то инстинктомъ новую силу и угадалъ потребность расширенія взгляда и поля дѣйствія для всѣхъ русскихъ — потребность, скрытую въ нихъ безсознательно и безсознательно вырывавшуюся наружу, и которая была въ нихъ крови еще съ славянскихъ временъ. Говорятъ, что онъ хотѣлъ сдѣлать изъ Россіи только Голландію? Не знаемъ; лицо Петра, несмотря на всѣ историческія разъясненія и изысканія послѣдняго времени, до сихъ поръ еще очень для насъ загадочно. Мы понимаемъ только одно: что нужно было быть слишкомъ оригинальнымъ, что бъ, бывъ Московскимъ царемъ, вздумать — *не только полюбить, но даже поѣхать* въ Голландію. Неужели жъ одинъ женевецъ Лефортъ былъ и въ самомъ дѣлѣ всему причиною? Во всякомъ случаѣ въ лицѣ Петра мы видимъ примѣръ того, на что можетъ рѣшиться русскій человѣкъ, когда онъ выживетъ себѣ полное убѣжденіе и почувствуетъ, что пора пришла, а въ немъ самомъ уже созрѣли и сказались новыя силы. И страшно, до какой степени свободенъ духомъ человѣкъ русскій, до какой степени сильна его воля! Никогда никто не отрывался такъ отъ родной почвы, какъ приходилось иногда ему, и не поворачивалъ такъ круто въ другую сторону, вслѣдъ за своимъ убѣжденіемъ! И кто знаетъ, господа иноземцы, можетъ быть, Россіи именно предназначено ждать, пока вы кончите; тѣмъ временемъ проникнуться вашей идеей, понять ваши идеалы, цѣли, характеръ стремленій вашихъ; согласить ваши идеи, возвысить ихъ до общечеловѣческаго значенія и, наконецъ, свободной духомъ, свободной отъ всякихъ постороннихъ, сословныхъ и почвенныхъ интересовъ, двинуться въ новую, широкую, еще невѣдомую въ исторіи дѣятельность, начавъ съ того, чѣмъ вы кончите, и увлечь васъ всѣхъ за собою. Сравнилъ же нашъ поэтъ Лермонтовъ Россію съ Ильей-Муромцемъ, который тридцать лѣтъ сидѣлъ сиднемъ и вдругъ пошелъ, только лишь созналъ въ себѣ богатырскую силу. Къ чему же даны такія богатыя и оригинальныя способности русскимъ? Неужели же для того,

чтобъ ничего не дѣлать? Можетъ быть, намъ скажутъ: откуда въ васъ столько хвастливости, откуда такое высокомѣріе? Гдѣ же ваша способность самоосужденія, гдѣ вашъ трезвый взглядъ, которымъ вы такъ хвалились? Но, отвѣтимъ мы, если мы начали съ того, что вынесли столько самоосужденія, которому сами такъ долго себя подвергали, то можемъ вынесть и другую правду, хотя бы она была и совершенно обратно самоосужденію. На нашей памяти — какъ мы бранили себя славянами за то, что не могли сдѣлаться теперешними европейцами. Неужели жъ нельзя сознаться теперь, что мы тогда говорили вздоръ? Мы не отвергаемъ способности самоосужденія, любимъ ее и именно признаемъ ее за лучшую сторону русской природы, за ея особенность, за то, чего у васъ вовсе нѣтъ. Мы знаемъ, что еще много намъ предстоитъ упражняться въ самоосужденіи, даже, можетъ быть, чѣмъ дальше, тѣмъ больше. Попробуйте, однакожъ, затронуть француза, ну хоть въ храбрости, или въ его légion d'honneur'ѣ. Затроньте англичанина хоть бы въ самой малѣйшей домашней его привычкѣ, и увидите, что они вамъ скажутъ. Почему же не похвалиться, что въ насъ, русскихъ, нѣтъ такой щепетильности и обидчивости, исключая, можетъ быть, однихъ, такъ называемыхъ литературныхъ генераловъ нашихъ. Мы вѣруемъ въ силу русскаго духа не менѣе, чѣмъ кто бы то ни было. Неужели онъ не вынесетъ похвалы? Нѣтъ, господа европейцы! Не спрашивайте пока отъ насъ доказательствъ нашего мнѣнія о васъ и о себѣ и постарайтесь прежде получше узнать насъ, если только вамъ будетъ на это досугъ. Вотъ, вы увѣрены, что мы свистали при вашихъ неудачахъ, надменно радовались имъ и плевали на ваши усилія, когда вы такъ мужественно и великодушно ринулись было на новый путь прогресса. Нѣтъ, нѣтъ, старшіе братья наши, любезные и дорогіе, мы вамъ не свистали, не радовались неудачамъ вашимъ. Мы иногда даже плакали вмѣстѣ съ вами. Вы, конечно, сейчасъ же удивитесь и спросите: да чего же вы-то плакали? Вамъ-то что было за дѣло? Вѣдь вы тутъ совершенно были сбоку припека? Ахъ, господа, отвѣтимъ мы вамъ, да вѣдь въ томъ-то все и дѣло, что сбоку припека, а между тѣмъ вамъ сочувствовали! Въ томъ-то вся и загадка. Вотъ вы, напримѣръ, откуда-то взяли, что мы фанатики, то есть, что нашего солдата у насъ возбуждаютъ фанатизмомъ. Господи Боже! Если бъ вы знали, какъ это смѣшно! Если есть на свѣтѣ существо вполнѣ непричастное никакому фанатизму, такъ это именно

русскій солдатъ. Тѣ изъ насъ, кто бывалъ и живалъ съ солдатами, знаютъ это до точности. Если бъ вы знали, какіе это милые, симпатичные, родные типы! О, если бъ вамъ удалось прочесть хоть разсказы Толстого; тамъ кое что такъ вѣрно, такъ симпатично схвачено! Да что! Неужели Севастополь русскіе защищали изъ религіознаго фанатизма? Я думаю, ваши храбрые зуавы хорошо познакомились съ нашими солдатиками и знаютъ ихъ. Много ли они отъ нихъ видѣли ненависти? И какъ хорошо знаете вы нашихъ офицеровъ! Вы задали себѣ, что у насъ всего только два сословія: les boyards и les serfs; на томъ и сидите. Какіе тутъ boyards! Положимъ, что у насъ довольно цѣльно опредѣлены сословія. Но во всѣхъ сословіяхъ нашихъ гораздо болѣе точекъ соединенія, чѣмъ разъединенія, а въ этомъ все и дѣло. Это залогъ нашего всеобщаго мира, спокойствія, братской любви и процвѣтанія. Всякій русскій прежде всего русскій, а потомъ уже принадлежитъ къ какому-нибудь сословію. Не такъ у васъ, и мы васъ сожалѣемъ. У васъ бываетъ даже совершенно обратно. Изъ сословнаго интереса у васъ предавалась иногда въ жертву вся нація, и даже очень недавно, даже иногда и теперь, даже, навѣрно, еще много разъ будетъ. Значитъ, еще очень сильны у васъ сословія и всякія корпораціи. Вы съ удивленіемъ спрашиваете: но гдѣ же ваше-то хваленое развитіе, въ чемъ прогрессъ вашъ? Кажется, на дѣлѣ не видно того? Нѣтъ, видно, отвѣчаемъ мы, да вамъ-то не видно; вы не туда смотрите Довольно ужъ и того, что оно въ духѣ и въ потребностяхъ всего народа; довольно и того, что хоть самое маленькое меньшинство наше начинаетъ соглашаться между собою хоть въ общемъ. хоть въ цѣломъ. Не называйте насъ надменными и недальновидными скороспѣлками. Нѣтъ, мы давно во все вглядываемся, все анализируемъ; задаемъ себѣ загадки; тоскуемъ и мучаемся разгадками. Анализъ начался у насъ недавно, но по-нашему очень давно, и мы даже самимъ себѣ надоѣли этимъ до тошноты. Вѣдь мы тоже жили и много прожили. А, кстати: не разсказать ли вамъ нашу *собственную* повѣсть, повѣсть нашего развитія, нашего роста? Разумѣется, мы не начнемъ съ Петра Великаго; мы начнемъ съ недавняго времени, именно съ того, когда во все образованное сословіе наше вдругъ сталъ проникать анализъ. Извольте. Бывали минуты, что мы, т. е. цивилизованные, и въ себя не вѣрили Поль-де-Кока мы еще тогда читали, но съ презрѣніемъ отвергали Александра Дюма и всю компанію. Мы набросились на одного Жоржъ-Занда и — Боже, какъ мы тогда зачитались! Андрей Александровичъ купно съ г. Дудыш-

кинымъ, поселившимся въ «Отечественныхъ Запискахъ» послѣ Бѣлинскаго, еще до сихъ поръ вспоминаютъ Жоржъ-Занда; прочтите объявленіе объ ихъ журналѣ на 61 годъ. Тогда мы смиренно выслушивали ваши приговоры о насъ самихъ и вамъ же усердно поддакивали. Да; мы поддакивали и — не знали, что дѣлать. Отъ нечего дѣлать мы основали тогда натуральную школу. И сколько у насъ проявилось талантливыхъ натуръ! Не писателей талантливыхъ, — тѣ особо, а натуръ, талантливыхъ во всѣхъ отношеніяхъ. Господинъ надворный совѣтникъ Щедринъ знаетъ, что означаетъ это словечко. И какъ эти талантливыя натуры ломались и кривлялись тогда передъ нами, а мы ихъ разглядывали, пересуживали, осмѣивали ихъ въ глаза и заставляли ихъ же смѣяться надъ самими собою. И онѣ смѣялись надъ собою, но какъ-то по принципу и съ какой-то отвратительной затаенной злобой. Тогда все дѣлалось по принципу, мы и жили по принципу, и ужасно боялись сдѣлать что-нибудь не по новымъ идеямъ. Родилось у насъ тогда какое-то усиленное самообвиненіе и самоуличеніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ наперерывъ уличали и обличали другъ друга; и, Господи, какъ они всѣ тогда сплетничали! И вѣдь все это было большею частью искренно. Конечно, являлись между ними и промышленники, но были и самые искренніе, такъ, сдуру, изъ прекраснаго чувства. Случалось, что иной искренній господинъ вдругъ, наединѣ, какъ-нибудь вечеркомъ, вломится въ душу другого искренняго господина и начнетъ ему повѣствовать о своихъ гибельныхъ дняхъ и «какой, дескать, я выхожу подлецъ». Другой расчувствуется и начнетъ со своей стороны то же самое. И вотъ пустятся одинъ передъ другимъ наперерывъ, даже клевещутъ на себя отъ излишняго жара, точно хвалятся. И наговорятъ они оба взаимно столько о себѣ самихъ мерзостей, что на другой день даже стыдно имъ встрѣтиться другъ съ другомъ; такъ и избѣгаютъ другъ друга. Были у насъ и байроническія натуры. Онѣ большею частью сидѣли сложа руки и... даже ужъ и не проклинали. Такъ только лѣниво иногда осклаблялись. Онѣ даже смѣялись надъ Байрономъ за то, что онъ такъ сердился и плакалъ, что лорду ужъ и совсѣмъ неприлично. Онѣ говорили, что и не стоило сердиться и проклинать, — что ужъ такъ все гадко, что даже пальцемъ пошевелить не хочется, и что хорошій обѣдъ всего дороже. И когда онѣ говорили это, — мы съ благоговѣніемъ внимали ихъ словамъ, думая видѣть въ ихъ мнѣніи о хорошемъ обѣдѣ какую-то таинственную, тончайшую и ядовитѣйшую иронію. А тѣ уплетали себѣ въ ре-

сторанахъ и жирѣли не по днямъ, а по часамъ. И какіе изъ нихъ бывали краснощекіе! Иные же не останавливались на ироніи жирнаго обѣда и шли все дальше и дальше; они преусердно начали набивать свои карманы и опустошать карманы ближняго. Многіе пошли потомъ въ шулера. А мы смотрѣли съ благоговѣніемъ, разиня ротъ и удивляясь. Что жъ? говорили мы другъ другу, вѣдь это у нихъ тоже по принципу; надо же взять отъ жизни все, что она можетъ дать. И когда они, на нашихъ глазахъ, воровали платки изъ кармановъ, то мы даже и въ этомъ находили какую-то утонченность байронизма, дальнѣйшее его развитіе, еще неизвѣстное Байрону. Мы ахали и грустно качали головами. — «Вотъ до чего, говорили мы, можетъ довести отчаяніе; человѣкъ сгораетъ добромъ, преисполненъ благороднѣйшаго негодованія, кипитъ жаждой дѣятельности, но дѣйствовать ему не даютъ, его обрѣзали, и вотъ — онъ съ демоническимъ хохотомъ передергиваетъ въ карты и воруетъ платки изъ кармановъ». И какъ чистосердечны, какъ ясны душой вышли многіе изъ насъ изъ всего этого срама. Куда многіе! — почти всѣ, кромѣ, разумѣется, Байроновъ. Были у насъ и высоко-чистые сердцемъ, которымъ удалось высказать горячее, убѣжденное слово. О, тѣ не жаловались, что имъ не даютъ высказаться, что обрѣзаютъ ихъ поле дѣятельности, что антрепренеры высасываютъ изъ нихъ послѣдніе соки, т. е. они и жаловались, но не складывали рукъ и дѣйствовали какъ могли, а и все-таки дѣйствовали, хоть что-нибудь да дѣлали и... многое, очень многое сдѣлали! Они были невинны и простодушны, какъ дѣти, и всю жизнь не понимали своихъ сотрудниковъ-Байроновъ и умерли наивными страдальцами. Миръ праху ихъ! Были у насъ и демоны, настоящіе демоны; ихъ было два, и какъ мы любили ихъ, какъ до сихъ поръ мы ихъ любимъ и цѣнимъ! Одинъ изъ нихъ все смѣялся; онъ смѣялся всю жизнь и надъ собой и надъ нами, и мы всѣ смѣялись за нимъ, до того смѣялись, что,наконецъ, стали плакать отъ нашего смѣха. Онъ постигъ назначеніе поручика Пирогова; онъ изъ пропавшей у чиновника шинели сдѣлалъ намъ ужаснѣйшую трагедію. Онъ разсказалъ намъ въ трехъ строкахъ всего рязанскаго поручика, — всего, до послѣдней черточки. Онъ выводилъ передъ нами пріобрѣтателей, кулаковъ, обирателей и всякихъ засѣдателей. Ему стоило указать на нихъ пальцемъ, и уже на лбу ихъ зажигалось клеймо навѣки вѣковъ, и мы уже наизусть знали: кто они и, главное, какъ называются. О, это былъ такой колоссальный демонъ, котораго у васъ никогда не бывало въ Европѣ и которому вы бы, можетъ быть,

и не позволили быть у себя. Другой демонъ, — но другого мы, можетъ быть, еще больше любили. Сколько онъ написалъ намъ превосходныхъ стиховъ; писалъ онъ и въ альбомы, но даже самъ Г. —бовъ посовѣстился бы назвать его альбомнымъ поэтомъ. Онъ проклиналъ и мучился, и вправду мучился. Онъ мстилъ и прощалъ, онъ писалъ и хохоталъ — былъ великодушенъ и смѣшенъ. Онъ любилъ нашептывать странныя сказки заснувшей молодой дѣвочкѣ и смущалъ ея дѣвственную кровь, и рисовалъ передъ ней странныя видѣнія, о которыхъ еще ей слѣдовало бы грезить, особенно при такомъ высоконравственномъ воспитаніи, которое она получила. Онъ разсказывалъ намъ свою жизнь, свои любовныя продѣлки: вообще онъ насъ какъ будто мистифицировалъ; не то говоритъ серьезно, не то смѣется надъ нами. Наши чиновники знали его наизусть, и вдругъ всѣ начали корчить Мефистофелей, только что выйдутъ, бывало, изъ департамента. Мы не соглашались съ нимъ иногда, намъ становилось и тяжело, и досадно, и грустно, и жаль кого-то, и злоба брала насъ. Наконецъ, ему наскучило съ нами; онъ нигдѣ и ни съ кѣмъ не могъ ужиться; онъ проклялъ насъ и осмѣялъ «насмѣшкой горькою обманутаго сына надъ промотавшимся отцомъ», и улетѣлъ отъ насъ,

И надъ вершинами Кавказа
Изгнанникъ рая пролеталъ.

Мы долго слѣдили за нимъ, но, наконецъ, онъ гдѣ-то погибъ — безцѣльно, капризно и даже смѣшно. Но мы не смѣялись. Намъ тогда вообще было не до смѣху. Теперь дѣло другое. Теперь Богъ послалъ намъ благодѣтельную гласность, и намъ вдругъ стало веселѣе. Мы какъ-то вдругъ поняли, что все это мефистофельство, всѣ эти демоническія начала мы какъ-то рано на себя напустили, что намъ еще рано проклинать себя и отчаяваться, несмотря на то, что еще такъ недавно господинъ Ламанскій среди всего Пассажа доложилъ намъ, что мы не созрѣли. Господи, какъ мы обидѣлись! Господинъ Погодинъ прискакалъ изъ Москвы на почтовыхъ, запыхавшись, и тутъ же началъ всенародно утѣшать насъ и, разумѣется, тотчасъ же насъ увѣрилъ (даже безъ большого труда), что мы совершенно созрѣли. Съ тѣхъ поръ мы такіе гордые. У насъ Щедринъ, Розенгеймъ... Помнимъ мы появленіе г-на Щедрина въ «Русскомъ Вѣстникѣ». О, тогда было такое радостное, полное надеждъ время! Вѣдь выбралъ же г. Щедринъ минутку, когда явиться. Говорятъ, въ Русскомъ Вѣстникѣ» прибавилось столько подписчиковъ, что и сосчитать нельзя было, несмотря на то, что почтенный журналъ ужъ и тогда началъ толковать о Кавурѣ, объ англійскихъ лордахъ и фермерствѣ. Съ какою жадностью читали мы о Живоглотахъ, о поручикѣ Живновскомъ, о Порфиріи Петровичѣ, объ озорникахъ и талантливыхъ натурахъ, — читали и дивились ихъ появленію. Да гдѣ жъ они были, спрашивали мы, гдѣ жъ они до сихъ поръ прятались? Конечно, настоящіе живоглоты только посмѣивались. Но всего болѣе насъ поразило то, что г. Щедринъ едва только оставилъ сѣверный градъ, Сѣверную Пальмиру (по всегдашнему выраженію г. Булгарина — миръ праху его!), какъ тотчасъ же у него и замелькали подъ перомъ и Аринушки, и несчастненькіе съ ихъ крутогорской кормилицей, и скитникъ, и матушка Мавра Кузьмовна, и замелькали какъ-то странно, какъ-то особенно... Точно непремѣнно такъ ужъ выходило, что какъ только выѣдешь изъ Пальмиры, то немедленно замѣтишь всѣхъ этихъ Аринушекъ и запоешь новую пѣсню, забывъ и Жоржъ-Зандъ, и «Отечественныя Записки», и г. Панаева, и всѣхъ, и всѣхъ. И вотъ разлилась какъ море благодѣтельная гласность; громко звякнула лира Розенгейма; раздался густой и солидный голосъ г. Громеки, мелькнули братья Мелеанты, закишѣли безсчетные иксы и зеты съ жалобами другъ на друга въ газетахъ и повременныхъ изданіяхъ; явились поэты, прозаики, и все обличительные... явились такіе поэты и прозаики, которые никогда бы не явились на свѣтъ, если бъ не было обличительной литературы. О, не думайте, гг. европейцы, что мы пропустили Островскаго. Нѣтъ, ему не въ обличительной литературѣ мѣсто. Мы знаемъ его мѣсто. Мы уже говорили не разъ, что вѣруемъ въ его новое слово и знаемъ, что онъ, какъ художникъ, угадалъ то, что намъ снилось еще даже въ эпоху демоническихъ началъ и самоуличеній, даже тогда, когда мы читали безсмертныя похожденія Чичикова. Грезилось и желалось все это намъ, какъ дождя на сухую почву. Мы даже боялись и высказать, чего намъ желалось. Г. Островскій не побоялся... но объ Островскомъ потомъ. Мы не располагали о немъ говорить теперь; мы только хотѣли поговорить о благодѣтельной гласности. О, не вѣрьте, не вѣрьте, почтенные иноземцы, что мы боимся благодѣтельной гласности, только что завели — и испугались ея, и прячемся отъ нея. Ради Бога, пуще всего не вѣрьте «Отечественнымъ Запискамъ», которыя смѣшиваютъ гласность съ литературой скандаловъ. Это только показываетъ, что у насъ еще много господъ, точно съ ободранной кожей, около которыхъ только пахни вѣтромъ, такъ ужъ имъ и больно; что у насъ еще много

господъ, которые любятъ читать про другихъ и боятся, когда другіе прочтутъ что-нибудь и про нихъ. Нѣтъ, мы любимъ гласность и ласкаемъ ее, какъ новорожденное дитя. Мы любимъ этого маленькаго бѣсенка, у котораго только что прорѣзались его маленькіе, крѣпкіе и здоровые зубенки. Онъ иногда невпопадъ кусаетъ; онъ еще не умѣетъ кусать. Часто, очень часто не знаетъ кого кусать. Но мы смѣемся его шалостямъ, его дѣтскимъ ошибкамъ и смѣемся съ любовью. Что же? Дѣтскій возрастъ, простительно! Грѣшные люди — мы даже смѣялись за нимъ, когда онъ не побоялся «оскорбить своей насмѣшкой» даже самихъ братьевъ Мелеантовъ, столь почтенныхъ и столь невинныхъ, которыхъ имя такъ неожиданно вдругъ прогремѣло по всей Россіи... Нѣтъ, мы не боимся гласности, мы не смущаемся ею. Это все отъ здоровья, это все молодые соки, молодая неопытная сила, которая бьетъ здоровымъ ключемъ и рвется наружу!.. Все хорошіе, хорошіе признаки!..

IV.

Но что мы говоримъ о гласности! Всегда, во всякомъ обществѣ, есть такъ называемая золотая посредственность, претендующая на первенство. Эти золотые страшно самолюбивы. Они съ уничтожающимъ презрѣніемъ и съ нахальною дерзостью смотрятъ на всѣхъ неблистающихъ, неизвѣстныхъ, еще темныхъ людей. Они-то первые и начинаютъ бросать камни въ каждаго новатора. И какъ они злы, какъ тупы бываютъ въ своемъ преслѣдованіи всякой новой идеи, еще не успѣвшей войти въ сознаніе всего общества. А потомъ какіе крикуны выходятъ изъ нихъ, какіе рьяные и вмѣстѣ съ тѣмъ тупые послѣдователи этой же самой идеи, когда она получаетъ предоминирующее значеніе въ обществѣ, несмотря на то, что они ее и преслѣдовали вначалѣ. Разумѣется, они поймутъ, наконецъ, новую мысль, но поймутъ всегда послѣ всѣхъ, всегда грубо, ограниченно, тупо и никакъ не допускаютъ соображенія, что если идея вѣрна, то она способна къ развитію, а если способна къ развитію, то непремѣнно современемъ должна уступить другой идеѣ, изъ нея же вышедшей, ее же дополняющей, но уже соотвѣтствующей новымъ потребностямъ новаго поколѣнія. Но золотые не понимаютъ новыхъ потребностей, а что касается до новаго поколѣнія, то они всегда ненавидятъ его и смотрятъ на него свысока. Это ихъ отличительнѣйшая черта. Въ числѣ этихъ золотыхъ всегда бываетъ чрезвычайно много промышленниковъ, выѣзжающихъ на модной фразѣ. Они-то и опошливаютъ всякую новую идею и тотчасъ же обращаютъ ее въ модную фразу. Они опошливаютъ все, до чего ни прикасаются. Всякая живая идея въ ихъ устахъ обращается въ мертвечину. Награду же за нее получаютъ всегда они первые, на другой день послѣ похоронъ геніальнаго человѣка, ее провозгласившаго и котораго они же преслѣдовали. Иные изъ нихъ до того ограниченны, что имъ серьезно кажется, что геніальный человѣкъ ничего не сдѣлалъ, а сдѣлали все они. Самолюбіе въ нихъ страшное. Мы сказали уже, что они чрезвычайно тупы и неловки, хотя кажутся толпѣ умными, все больше берутъ рѣзкими и азартными фразами, впадаютъ въ крайности, не понимая ни смысла, ни духовной постройки идеи и, такимъ образомъ, вредятъ ей даже и тогда, когда искренно раздѣляютъ ее. Напримѣръ: подымется между мыслителями и филантропами вопросъ, ну хоть бы о женщинѣ, объ облегченіи ея участи въ обществѣ, объ уравненіи правъ ея съ правами мужчины, о деспотизмѣ мужа и проч. и проч. Золотые непремѣнно поймутъ это такъ, что бракъ *немедленно* долженъ разрушиться; главное — немедленно. Мало того, — что всякая женщина не только можетъ, но даже *должна* быть невѣрною своему мужу, и что въ этомъ-то и состоитъ настоящій нравственный смыслъ всей идеи. Всего смѣшнѣе смотрѣть на этихъ господъ, когда, напримѣръ, общество, въ какое-нибудь хлопотливое, переходное время, раздѣляется на два убѣжденія. Тогда они не знаютъ къ кому, къ чему пристать, а между тѣмъ нерѣдко считаются столпами, авторитетами; нужно высказать свое мнѣніе. Что имъ дѣлать? Послѣ долгихъ колебаній золотой господинъ рѣшаетъ и всегда невпопадъ. Это уже законъ. Это тоже главнѣйшая черта золотого господина. Такъ и прорвется на чемъ-нибудь самымъ грубымъ, самымъ нелѣпымъ образомъ, такъ что, случалось, иныя изъ ихъ рѣшеній переходили въ потомство, какъ примѣръ тупоумія. Но мы отвлеклись отъ дѣла. Не одна гласность преслѣдуется въ наше время. Преслѣдуется и грамотность и даже именно тѣми, которые въ свое время казались намъ въ числѣ людей, если не передовыхъ, то не отсталыхъ и, главное, *страшно* благоразумныхъ. Мы говоримъ *страшно*, потому что многіе изъ нихъ до того авторитетно и свысока смотрѣли на всѣхъ людей темныхъ, до того чванились своимъ здравымъ смысломъ и такъ называемымъ яснымъ, *практическимъ* пониманіемъ вещей, что при нихъ даже неловко было сидѣть. Такъ и хотѣлось уйти въ другую комнату. Такой господинъ крѣпится иногда лѣтъ двадцать среди богомыслящихъ и передо-

выхъ и считается передовымъ, такъ что, наконецъ, и самъ увѣренъ, что онъ передовой, и вдругъ брякнетъ что-нибудь до того неожиданное, что только одна помѣщица Коробочка могла бы такъ сбрякнуть въ какомъ-нибудь случаѣ, ну хоть, напримѣръ, если бъ ее пригласили рѣшить вопросъ о европейскомъ финансовомъ кризисѣ. Но мы заговорили о постороннемъ и отвлеклись отъ предмета. Перейдемъ къ дѣлу. Мы заговорили о грамотности.

Извѣстенъ фактъ, что грамотное простонародіе наполняетъ остроги. Тотчасъ же изъ этого выводятъ заключеніе: не надо грамотности. Логически ли это? Ножъ можетъ обрѣзать, такъ не надо ножа? — Нѣтъ, скажутъ намъ, не «не надо ножа», а надо давать его только тѣмъ, которые умѣютъ владѣть имъ и не обрѣжутся. — Хорошо. Слѣдственно, по-вашему, надо сдѣлать изъ грамотности что-то въ родѣ привилегіи. Но не лучше ли было бы вамъ, господа, обратить сперва вниманіе на тѣ обстоятельства, которыми обставлена въ нашемъ простонародьѣ грамотность, и посмотрѣть, нельзя ли какъ устранить эти обстоятельства, а не лишать весь народъ духовнаго хлѣба. Мы признаемъ вмѣстѣ съ вами, что грамотное простонародье наполняетъ остроги. Но разсмотрите, какъ и отчего это происходитъ? Мы разскажемъ вамъ это такъ, какъ сами поняли, послѣ долголѣтнихъ наблюденій надъ острожною жизнью. Во-первыхъ, въ нашемъ простонародьѣ грамотныхъ такъ мало, что грамота, дѣйствительно, даетъ иногда человѣку передъ другими нѣкоторое преимущество, придаетъ ему большее достоинство, болѣе солидности, отличія, возвышенія надъ своей средой. Простонародье не то чтобъ считало грамотнаго лучше себя въ какомъ-нибудь отношеніи, — нѣтъ, оно признаетъ въ грамотномъ только болѣе сильнаго человѣка, чѣмъ оно само, болѣе возвышающагося надъ многими хлопотливыми обстоятельствами обыденной жизни, однимъ словомъ—признаетъ въ грамотности житейскую пользу. Грамотнаго и бумагой какой-нибудь не надуешь, и въ другомъ чемъ-нибудь не проведешь. Съ своей стороны грамотный какъ-то невольно наклоненъ считать себя выше всей окружающей его среды людей темныхъ и неграмотныхъ. Разумѣется, болѣе или менѣе. А считая себя выше, онъ уже не совсѣмъ спокойно относится къ этой средѣ, въ которой живетъ вмѣстѣ съ другими. У него естественно рождается мысль, что ему уже и не слѣдуетъ, что онъ и не долженъ третироваться такъ, какъ эти темные люди. — «Они, дескать, темные, а мы народъ грамотный». — Его такъ и подмываетъ, при случаѣ, *выйти изъ рядовъ*. Къ нему же почти всегда бываетъ нѣкоторый оттѣнокъ уваженія, иногда самый непримѣтный, а иногда и очень сильный, особенно если онъ умѣетъ вести себя, т. е. держать себя солидно, краснорѣчивъ, велерѣчивъ, немножко педантъ, презрительно молчитъ, когда всѣ говорятъ, и заговоритъ именно тогда, когда всѣ замолчатъ, не зная что говорить, однимъ словомъ, если держитъ себя такъ, какъ держатъ себя нѣкоторые наши умники и нѣкоторые наши мыслители, передовые, практическіе люди и нѣкоторые литературные генералы, однимъ словомъ — всѣ тѣ, которыхъ вы такъ хорошо знаете. Та же наивность, тѣ же смѣшно-нетерпѣливыя выходки. Короче, во всѣхъ слояхъ общества одно и то же, только въ каждомъ слоѣ въ своемъ родѣ. Потребность заявить себя, отличиться, выйти изъ ряду вонъ есть законъ природы для всякой личности; это право ея, ея сущность, законъ ея существованія, который въ грубомъ, неустроенномъ состояніи общества проявляется со стороны этой личности весьма грубо и даже дико, а въ обществѣ уже развившемся — нравственно-гуманнымъ, сознательнымъ и совершенно свободнымъ подчиненіемъ каждаго лица выгодамъ всего общества и обратно — безпрерывной заботой самого общества о наименьшемъ стѣсненіи правъ всякой личности. Слѣдовательно, основаніе одно и то же, разница только въ употребленіи правъ своихъ. Взгляните на такъ называемыхъ начетчиковъ между раскольниками и посмотрите, какое огромное деспотическое вліяніе они имѣютъ на своихъ единовѣрцевъ. Даже само общество заключаетъ въ себѣ какую-то инстинктивную потребность выдвинуть изъ среды себя какую-нибудь исключительную личность; поставить ее какъ исключеніе передъ собою, внѣ обычаевъ и принятыхъ правилъ, признать за этой личностью что-то необыкновенное и преклониться передъ нею. Такимъ образомъ являются Иваны Яковлевичи, Марѳуши и проч. Возьмемъ теперь совершенно другой примѣръ. Взгляните на иного лакея, дворовaго. Хотя онъ гораздо ниже крестьянина-хлѣбопашца въ общественномъ своемъ положеніи, но такъ какъ ему кажется, что онъ выше, что фракъ, бѣлый офиціанскій галстухъ и лакейскія перчатки благородятъ его передъ мужикомъ, то онъ ужъ и презираетъ его. И не говорите, что эта гадкая, низкая черта свойственна только грубому народу, т. е. отрекаться отъ своихъ и пренебрегать ими при перемѣнѣ судьбы своей. Черта гадкая, это правда; но за нее некого обвинять. Лакей не виноватъ, если, по темнотѣ своей, видитъ привилегію въ нѣмецкомъ платьѣ. Для него главное въ томъ, что онъ вошелъ въ соприкосновеніе съ господами, т. е. съ высшими,

онъ обезьянничаетъ ихъ манеры, замашки; платье отличаетъ его отъ прежней среды... Такимъ образомъ и грамотность, какъ чрезвычайная рѣдкость въ народѣ, считаетъ себя тоже отличною и привилегированною, и грамотный нерѣдко презираетъ неграмотнаго. Ему хочется показать себя. Онъ становится самонадѣянъ, нетерпѣливъ, превращается въ какого-то деспотика. Ему иногда можетъ показаться, что съ нимъ нельзя поступать такъ, какъ съ другими, темными. Онъ нетерпѣливъ; онъ дерзокъ на словахъ; ему неприлично перенести то, что всѣ переносятъ, — особенно при свидѣтеляхъ; онъ надменъ. Надменность порождаетъ въ немъ легкомысліе, легкомысліе — заносчивость. Иногда онъ ужъ слишкомъ на себя понадѣется, заберется не по силамъ, и — вдругъ обрывается, даже иногда совершенно нечаянно, и оттого, напримѣръ, что въ критическую минуту на него смотрѣли свои, передъ которыми онъ чванился, и ждали, что отъ него въ эту критическую минуту будетъ. Вотъ онъ и показалъ себя и... попалъ въ острогъ. Разумѣется, мы говоримъ не про всѣхъ грамотныхъ. Мы говорили отвлеченно; и смѣшно бы было утверждать, что только научится простолюдинъ грамотѣ, такъ ужъ и попалъ въ острогъ. Мы хотѣли только выяснить, какимъ образомъ грамотность, какъ своего рода привилегія, можетъ породить заносчивость и самонадѣянность, неуваженіе къ средѣ своей и къ своему положенію, особенно если оно не совсѣмъ пріятное. Мы говорили теоретически и жалѣемъ, что предѣлы нашей статьи не позволяютъ намъ представить нѣсколько примѣровъ, какимъ образомъ происходитъ все это на практикѣ, какъ развивается и къ какому приходитъ концу. Повторимъ опять, что мы говорили не про всѣхъ грамотныхъ; изъ грамотныхъ приходятъ въ остроги уже отчасти самой природой къ тому предназначенные при извѣстной обстановкѣ, т. е. люди отъ природы упрямые, горячіе, нервные, впечатлительные. На нихъ-то грамотность и дѣйствуетъ привилегіальными своими неудобствами именно потому, что у насъ она и есть привилегія...

— Что жъ изъ этого? — скажутъ намъ. — Изъ вашихъ же словъ выходитъ, что грамотность вредна и что наше простолюдье до нея не дозрѣло. — Напротивъ, — отвѣчаемъ мы, — вмѣсто того, чтобъ дѣлать грамотность привилегіей, исключеніемъ, уничтожьте исключительность. Сдѣлайте ее достояніемъ всѣхъ по возможности, и она не породитъ ни въ комъ и ни при какихъ обстоятельствахъ ни высокомѣрія, ни заносчивости. Не передъ кѣмъ и заноситься-то будетъ, — всѣ будутъ грамотные. А

потому, чтобъ уничтожить вредныя послѣдствія грамотности, нужно какъ можно болѣе распространять ее: въ этомъ все лѣкарство. Тѣмъ болѣе, господа противники грамотности, что бы вашей-то системой (т. е. стѣсненіемъ грамотности) не только не достигнете цѣли, но даже противъ себя дѣйствуете. Разсудите: вѣдь вы стѣсненіемъ грамотности никогда не уничтожите ея совершенно. Правительство первое воспротивилось бы вашимъ рьянымъ усиліямъ и защитило бы народъ отъ вашей филантропіи. Слѣдственно, все-таки будутъ между народомъ грамотные; а если будутъ, то все-таки будутъ наполнять остроги, слѣдовательно, вы никого не излѣчите, ничего не достигнете. Мало того, тѣмъ вѣрнѣе будутъ наполняться остроги, потому что чѣмъ меньше будетъ грамотности, тѣмъ болѣе будетъ она имѣть видъ привилегіи. Согласитесь еще съ этимъ: грамотность есть первый шагъ къ образованію; какъ же достигнуть образованія безъ этого перваго шага? Вѣдь не можемъ же мы серьезно представить себѣ, что вы нарочно хотите держать народъ въ темнотѣ, въ порокахъ и въ невѣжествѣ, однимъ словомъ — убить и развратить въ немъ душу? Или, можетъ быть, это тоже входитъ въ вашу систему? Да, это правда! Нѣтъ человѣка упрямѣе, капризнѣе и вреднѣе иного кабинетнаго филантропа! Но довольно. Мы увѣрены съ своей стороны совершенно, что грамотность нравственно улучшитъ народъ и придастъ ему чувство собственнаго достоинства, которое въ свою очередь уничтожитъ многія злоупотребленія и безпорядки, уничтожитъ даже ихъ возможность. Все зависитъ отъ обстоятельствъ, и все на свѣтѣ измѣняется только сообразно съ обстоятельствами. Была бы только видна въ обществѣ прямая, насущная потребность, проявилось бы только первое сознаніе этой потребности, — и она немедленно находитъ средство удовлетворить себя. Напротивъ того, никакое даже дѣйствительное улучшеніе не примется массой какъ улучшеніе, а напротивъ — какъ притѣсненіе, если въ массѣ не образовалась еще хоть сколько-нибудь сознательно потребность этого улучшенія. Такъ и грамотность. Народъ уже созрѣлъ до нея, онъ желаетъ, ищетъ грамотности, и потому она должна и будетъ распространяться, несмотря на всѣ усилія филантроповъ. Взгляните на воскресныя школы. Дѣти наперерывъ приходятъ учиться, иногда даже тихонько отъ своихъ хозяевъ. Родители сами приводятъ своихъ дѣтей къ учителямъ. Да, несмотря на то, что уже давно изучаютъ у насъ народъ, что многіе изъ нашихъ литераторовъ посвятили изученію его свои досуги и таланты, мы все-таки до сихъ поръ очень

плохо знаемъ народъ. Мы увѣрены, что лѣтъ десять, двѣнадцать назадъ многіе передовые тогдашніе люди не повѣрили бы, что народъ самъ будетъ хлопотать объ основаніи обществъ трезвости и толпиться въ воскресныхъ школахъ. Мы серьезно говоримъ это, потому что наше мнѣніе иные могли бы принять за шутку. Но наше цивилизованное общество достигнетъ, наконецъ, того, что пойметъ народъ — этого неразгаданнаго сфинкса, какъ выразился недавно одинъ изъ нашихъ поэтовъ. Оно пойметъ народное начало и проникнется имъ. Оно уже сознало, что это необходимо, какъ основаніе нашего будущаго развитія и прогресса: оно сознало, что за нимъ первый шагъ, и — найдетъ, наконецъ, какъ сдѣлать этотъ шагъ.

V.

Итакъ, все дѣло теперь въ первомъ шагѣ, все дѣло въ томъ, чтобъ догадаться, какъ сдѣлать этотъ первый шагъ, какъ выговорить это первое слово, чтобъ народъ услышалъ насъ и обратилъ къ намъ свое ухо и недовѣрчивое лицо свое. Разумѣется, найдутся еще очень многіе господа, которые расхохочутся на слова наши. Ну, что жъ имъ отвѣчать? Мы сами знаемъ, что такихъ господъ — легіонъ, да вѣдь до нихъ намъ и дѣла нѣтъ. Кстати: кто-то удостовѣрялъ, что мы, т. е. именно нашъ журналъ, беремъ на себя примиреніе цивилизаціи съ народнымъ началомъ. Мы считаемъ этотъ отзывъ не болѣе какъ за милую шутку. Не одному человѣку сказать это неизвѣстное слово и разгадать всю эту загадку. Въ программѣ нашего журнала мы только выставили главную мысль, которая будетъ руководить насъ. Мы будемъ искать разгадку вмѣстѣ со всѣми. Мы будемъ только неустанно повторять и доказывать, что искать — надо; будемъ слѣдить, разбирать, обсуживать, спорить и передавать наши результаты публикѣ. Вотъ вся будущая дѣятельность наша. Слово — та же дѣятельность, а у насъ — болѣе чѣмъ гдѣ-нибудь. Слово, сказанное кстати, полезно; потому и мы имѣемъ надежду, что и мы будемъ полезны. Журналъ нашъ назначается для чтенія образованнаго общества, такъ какъ за образованнымъ обществомъ до сихъ поръ еще первое слово и первый шагъ ко всякой дѣятельности. Мы знаемъ, что для народнаго чтенія у насъ еще до сихъ поръ ничего не сдѣлано. Хоть и было бы что читать, но то, что есть, недоступно народу. Всякую попытку устранить эту недоступность мы встрѣтимъ съ искреннею радостью. Но, повторяемъ, мы и въ мысляхъ не имѣли назначать нашъ журналъ прямо

для народнаго чтенія. Но довольно объясняться; обращаемся къ нашему дѣлу. Мы потому считаемъ за образованнымъ сословіемъ нашимъ первый шагъ къ новой дѣятельности, что оно первое и отдалилось отъ народности. Трудовъ къ сближенію будетъ много; мы всѣ это чувствуемъ, хотя и не сознаемъ еще ясно, въ чемъ будутъ состоять они. Все дѣло въ устраненіи недоразумѣній. Всякое недоразумѣніе устраняется прямотою, откровенностью, любовью. Мы начинаемъ сознавать, что интересъ нашего сословія въ народномъ интересѣ, а народный интересъ въ нашемъ. Такое сознаніе, если бъ сдѣлалось всеобщимъ, гарантировало бы прочность дѣла. Но если и нѣтъ этого сознанія, то есть слѣды, что оно начинается, а теперь ужъ довольно и этого. Человѣкъ можетъ ошибаться. Мы съ своей стороны знаемъ, что ошибку въ фальшь не ставятъ. Не въ ошибкахъ дѣло. Пусть желающіе сближенія сдѣлаютъ хоть тысячу ошибокъ; главное въ томъ, чтобъ народъ видѣлъ и угадалъ это желаніе, чтобъ онъ понялъ его и оцѣнилъ, — вотъ все, чего надо. Дѣло правое не погибнетъ и отъ нѣсколькихъ ошибокъ. По крайней мѣрѣ, идея, на которой все основано, останется незыблемой. Не удастся одинъ шагъ, удастся другой. Все состоитъ въ правдивости и прямотѣ побужденія, въ любви. Любовь есть основа побужденія, залогъ его прочности. Любовь города беретъ. Безъ нея же ничего и никто не возьметъ, развѣ силой; но вѣдь есть такія вещи, которыя никогда не возьмешь силой. Любовь понятнѣе всего, всякихъ хитростей и дипломатическихъ тонкостей. Ее мигомъ узнаешь и отличишь. Народъ понятливъ и признателенъ; онъ знаетъ, кто его любитъ. Въ народной памяти остаются только тѣ, кого онъ любилъ. Примѣръ къ сближенію намъ подалъ самъ Монархъ, устранившій послѣднія фактическія къ этому препятствія, и нѣтъ ничего выше, ничего святѣе Его дѣла во все тысячелѣтіе Россіи. И хотя мы полтора вѣка сряду пріучали народъ быть къ намъ недовѣрчивымъ, но вспомните басню — вѣдь не дождемъ, не вѣтромъ сдернуло плащъ съ путника, а солнцемъ. Много несчастій произошло на свѣтѣ отъ недоумѣній и недосказанности. Недосказанное слово вредитъ и вредило всегда. Неужели одному сословію бояться быть откровеннымъ съ другимъ? Чего бояться? Народъ съ любовью оцѣнитъ въ образованномъ сословіи своихъ учителей и воспитателей, признаетъ насъ за настоящихъ друзей своихъ, оцѣнитъ въ насъ не наемниковъ, а пастырей и будетъ уважать насъ. Мы должны, наконецъ, заслужить отъ него уваженіе. И какія великія силы возродятся тогда?

Какъ все возрастетъ, возмужаетъ и обновится! Какъ измѣнятся наши взгляды и такъ называемые законченные выводы! Куда дѣнутся тогда наши «талантливыя натуры», не находившія себѣ мѣста, наши облѣнившіеся Байроны, слишкомъ много занимающіе мѣста, потому, надо полагать, что на досугѣ они страшно растолстѣли? Конечно, не даромъ жили и вы, господа Байроны, и не даромъ толстѣли. Вы жили и протестовали, вы заявили ваши желанія... Мы смотрѣли на ваши скорбныя фигуры и спрашивали: «О чемъ они скорбятъ, чего хотятъ, чего ищутъ?» — Слѣдственно, вы возбуждали наше любопытство; любопытство старалось отыскать отвѣтъ и — находило отвѣтъ. Итакъ, вы приносили хоть отрицательную пользу, хоть только тѣмъ, что жили между нами. Но теперь полно и вамъ горемычничать; сдѣлайте и вы хоть что-нибудь. Вы все говорите, что у васъ нѣтъ дѣятельности. Попробуйте, не найдете ли хоть теперь? Научите хоть одного мальчика грамотѣ; вотъ вамъ и дѣятельность. Но нѣтъ! Вы съ негодованіемъ отворачиваетесь... — Какая же это для насъ дѣятельность! — говорите вы, злобно улыбаясь: — мы таимъ въ груди нашей исполинскія силы. Мы хотимъ и можемъ сдвигать съ мѣста горы; изъ нашихъ сердецъ бьетъ чистѣйшій ключъ любви ко всему человѣчеству. Мы хотѣли бы разомъ обняться со всѣмъ человѣчествомъ. Мы хотимъ работы соразмѣрно съ силами нашими; вотъ какой хотимъ мы дѣятельности и гибнемъ въ бездѣйствіи. Нельзя же шагать вмѣсто семи миль по вершку! Великану ль учить мальчика грамотѣ? — Справедливо, господа; но если вы ничего не будете дѣлать, то и умрете ничего не сдѣлавъ; а тутъ все-таки хоть капелька перваго шагу; одинъ атомъ, но все-таки больше, чѣмъ ничего. И знаете ли что? Вы желаете исполинской дѣятельности; хотите ли, мы вамъ дадимъ такую, которая выше всѣхъ ожиданій вашихъ? Даже горы сдвигать легче, чѣмъ исполнять эту дѣятельность. Вотъ она: пожертвуйте для всеобщаго блага всѣмъ вашимъ великанствомъ; шагайте вмѣсто семи миль по вершку; проникнитесь идеей, что если нельзя шагать дальше, то вершокъ все-таки больше, чѣмъ ничего. Пожертвуйте всѣмъ — и великой природой вашей и великими идеями, помня, что все это для всеобщаго блага; снизойдите, снизойдите до мальчика. Это будетъ колоссальнѣйшая жертва! Мало того: вы люди умные, талантливые, и если пожертвуете собой, снизойдете до обыденнаго, до маленькаго, то, можетъ быть, тутъ же, съ перваго же шага отыщете еще какую-нибудь дѣятельность, болѣе сильную, а потомъ и еще и еще. Вѣдь

дѣло только въ началѣ, только начните. Начните-ка! А?.. Но виноваты, можетъ быть, это не по вашимъ силамъ. Вы, пожалуй, можете пожертвовать и жизнью; но на такія усилія вы неспособны.

Конечно, мы внесемъ только одну десятую долю усилій; народъ самъ доставитъ остальныя девять десятыхъ. Но что же, скажутъ намъ, вы хотите сдѣлать съ вашимъ образованіемъ? Чего достигнете? Вы хотите перейти къ народному началу и несете народу образованіе, то есть ту же европейскую цивилизацію, которую сами признали за неподходящую къ намъ. Вы хотите *переевропеить* народъ? — Но возможно ли, отвѣчаемъ мы, чтобъ европейская идея на совершенно чуждой ей почвѣ принесла тѣ же результаты, какъ и въ Европѣ. У насъ до того все особенно, все не похоже на Европу во всѣхъ отношеніяхъ: и во внутреннихъ, и во внѣшнихъ, и во всевозможныхъ, что европейскихъ результатовъ невозможно добыть на нашей почвѣ. Повторяемъ, что подходитъ къ намъ — останется, что не подходитъ — само собою умретъ. Можно ли сдѣлать изъ народа нашего нѣмцевъ? Въ сравненіи съ нимъ мы самое крошечное меньшинство, самостоятельныхъ силъ и средствъ у насъ меньше, чѣмъ во всей громадной народной массѣ; а вотъ мы же были у нѣмцевъ, и въ цѣлыхъ полтораста лѣтъ не поддались же европейскому вліянію, не сдѣлались нѣмцами. Значитъ и мы, несмотря на наше меньшинство, на наши малыя силы, на исключительное положеніе наше передъ народомъ, все-таки заключали въ себѣ великія русскія начала общечеловѣчности и всепримиримости и не потеряли ихъ. Они сказались въ насъ, и мы поняли, что не можемъ сдѣлаться нѣмцами, и сами захотѣли воротиться къ родному началу. Мы устыдились своей недѣятельности европейскихъ племенъ, и поняли, что въ Европѣ намъ нечего дѣлать. Не безпокойтесь, наука не наложитъ путъ на народъ нашъ; она только расширитъ его силы, и онъ скажетъ въ ней свое слово. До сихъ же поръ наука у насъ не прививалась и была у насъ какъ дорогой оранжерейный цвѣтокъ. Особенной научной дѣятельности общества наше не выказало, ни теоретической, ни практической, потому что было разъединено съ родной почвой, а само по себѣ было слабо. Только казна строила мосты и дороги, да и то большею частью заѣзжими инженерами.

Но привьется, наконецъ, и наука; все это совершится, можетъ быть, тогда, когда уже насъ не будетъ на свѣтѣ. Мы даже и угадать не можемъ, что тогда будетъ, но знаемъ, что будетъ не совсѣмъ дурно. На долю же нашего

поколѣнія досталась честь перваго шага и перваго слова. Новая мысль уже не разъ выражалась русскимъ словомъ наружу. Мы начинаемъ изучать ея прежнія выраженія и открываемъ въ прежнихъ литературныхъ явленіяхъ факты, до сихъ поръ не замѣченные нами, но вполнѣ подтверждающіе эту мысль. Колоссальное значеніе Пушкина уясняется намъ все болѣе и болѣе, несмотря на нѣкоторыя странныя литературныя мнѣнія о Пушкинѣ, выраженныя въ послѣднее время въ двухъ журналахъ... Да, мы именно видимъ въ Пушкинѣ подтвержденіе всей нашей мысли. Значеніе его въ русскомъ развитіи глубоко знаменательно. Для всѣхъ русскихъ онъ живое уясненіе, во всей художественной полнотѣ, что такое духъ русскій, куда стремятся всѣ его силы и какой именно идеалъ русскаго человѣка. Явленіе Пушкина есть доказательство, что дерево цивилизаціи уже дозрѣло до плодовъ и что плоды его не гнилые, а великолѣпные, золотые плоды. Все, что только могли мы узнать отъ знакомства съ европейцами о насъ самихъ, мы узнали; все, что только могла намъ уяснить цивилизація, мы уяснили себѣ, и это знаніе самымъ полнымъ, самымъ гармоническимъ образомъ явилось намъ въ Пушкинѣ. Мы поняли въ немъ, что русскій идеалъ — всецѣлость, всепримиримость, всечеловѣчность. Въ явленіи Пушкина уясняется намъ даже будущая наша дѣятельность. Духъ русскій, мысль русская выражалась и не въ одномъ Пушкинѣ, но только въ немъ они явились намъ во всей полнотѣ, явились какъ фактъ, законченный и цѣлый...

О Пушкинѣ мы хотимъ сказать нѣсколько подробнѣе въ будущей статьѣ нашей и доказательнѣе развить нашу мысль. Въ будущей же статьѣ мы перейдемъ, наконецъ, и къ русской литературѣ, будемъ говорить о теперешнемъ ея положеніи, о ея значеніи въ теперешнемъ обществѣ, о нѣкоторыхъ ея недоразумѣніяхъ, спорахъ, вопросахъ. Въ особенности хочется намъ сказать нѣсколько словъ и объ одномъ очень странномъ вопросѣ, который уже столько лѣтъ раздѣляетъ нашу литературу на партіи и такимъ образомъ парализуетъ ея силы. Именно о знаменитомъ вопросѣ: искусство для искусства и проч., — всѣ его знаютъ. Нечего выписывать заглавіе. Признаемся заранѣе, мы всего болѣе удивляемся, какъ не надоѣлъ еще этотъ вопросъ публикѣ окончательно и она еще не отказывается читать цѣлые о немъ трактаты? Но мы постараемся написать наше мнѣніе не въ формѣ трактата.

II.

Г.—бовъ и вопросъ объ искусствѣ [1].

Мы сказали въ объявленіи о нашемъ журналѣ, что наша русская критика въ настоящее время пошлѣетъ и мельчаетъ. Мы съ грустью сказали эти слова; не отрекаемся отъ нихъ; это наше глубокое убѣжденіе. Многіе изъ наиболѣе читаемыхъ русскихъ журналовъ выразили почти ту же мысль въ своихъ осеннихъ объявленіяхъ, при началѣ подписки на журналы на нынѣшній 1861 годъ. По крайней мѣрѣ, многіе изъ нихъ обѣщали обратить особенное вниманіе на этотъ отдѣлъ въ будущемъ году, слѣдовательно, согласились, что до сихъ поръ онъ былъ плоховатъ. Если они исполнятъ свое обѣщаніе, то хорошо сдѣлаютъ. Не думаемъ, чтобъ насъ обвиняли въ хвастовствѣ, въ заносчивости, и изъ-за того только, что мы нашли критику измельчавшеюся, обвиняли насъ, что мы часто выставляемъ самихъ себя глашатаями новыхъ истинъ, провозвѣстниками новыхъ идей и т. д. и т. д. Мы не принимаемъ на себя такой роли. Мы знаемъ только одно: что любимъ свое дѣло и приступаемъ къ нему горячо и съ уваженіемъ. Нельзя не сознаться, что въ нашей критикѣ давно уже замѣтна какая-то всеобщая апатія, кромѣ, можетъ быть, одного исключенія. Не такъ, впрочемъ, думаютъ «Отечественныя Записки». Онѣ рѣшились объявить, — и, кажется, безъ малѣйшихъ колебаній, безъ малѣйшихъ угрызеній совѣсти, — что вся блестящая дѣятельность Бѣлинскаго, правда, была блестящая, но... какъ бы это сказать — нѣсколько поверхностна (entre nous soit dit) и что настоящая, громадная и спасительная дѣятельность русской критики началась именно съ того времени, какъ Бѣлинскій оставилъ этотъ

[1] Напечатано въ журналѣ „Время“ за февраль 1861 г.

журналъ. Мы помнимъ, что къ этому времени (т. е. какъ Бѣлинскій оставилъ этотъ журналъ) относится появленіе въ «Отечественныхъ Записках» статьи г. Дудышкина о Фонъ-Визинѣ. Не съ нея ли «Отечественныя Записки» начинаютъ новую эру русской критики? Правда, сейчасъ послѣ Бѣлинскаго занялся въ «Отечественныхъ Записках» отдѣломъ критики Валеріанъ Николаевичъ Майковъ, братъ всѣмъ извѣстнаго и всѣми любимаго поэта, Аполлона Николаевича Майкова. Валеріанъ Майковъ принялся за дѣло горячо, блистательно, съ свѣтлымъ убѣжденіемъ, съ первымъ жаромъ юности. Но онъ не успѣлъ высказаться. Онъ умеръ въ первый же годъ своей дѣятельности. Много обѣщала эта прекрасная личность, и, можетъ быть, многаго мы съ нею лишились. Но со смертью В. Майкова основался въ «Отечественныхъ Записках», г. Дудышкинъ, и мы имѣемъ нѣкоторое основаніе думать, что съ него-то и начинаетъ желтый журналъ новую блестящую эру своей дѣятельности. «Отечественныя Записки» именно ставятъ себѣ въ особенную заслугу, что послѣ Бѣлинскаго критика приняла у нихъ характеръ по преимуществу историческій, и что Бѣлинскій, который низвергалъ авторитеты и занимался Жоржъ-Зандомъ (слова о Жоржѣ-Зандѣ въ объявленіи «Отечественныхъ Записокъ» — верхъ совершенства, такъ кстати они помѣщены!), едва прикоснулся къ исторической части русской литературы. Во-первыхъ, это несправедливо, а если бъ и было справедливо, то въ двухъ страницахъ Бѣлинскаго (изданіе сочиненій котораго приводится къ окончанію) сказано больше объ исторической же части русской литературы, чѣмъ во всей дѣятельности «Отечественныхъ Записокъ» съ 48 года до нашихъ временъ. А такъ ской литературы, чѣмъ во всей дѣятельности «Отечественныхъ Записках» началомъ этой пресловутой исторической дѣятельности, то и дѣятельность эта, вѣроятно, считается съ г. Дудышкина. Правда, статья о Фонъ-Визинѣ была еще довольно дѣльная, хотя очень скучная. Но послѣ нея наступила въ «Отечественныхъ Записках» такая засуха, что страхъ вспомнить объ этомъ времени, даже въ сравненіи съ статьею о Фонъ-Визинѣ. Между тѣмъ «Отечественныя Записки» называютъ это время самой блестящей эпохой своей дѣятельности, да и всей русской литературы. Они утверждаютъ, что журналъ ихъ обратился въ то время къ народности. Мы припоминаемъ въ «Отечественныхъ Записках» одну статью о метлѣ, ухватѣ и лопатѣ и о значеніи ихъ въ древней русской миѳологіи. Свѣдѣнія, сообщенныя авторомъ этой статьи, были, конечно, полезныя, но не въ такихъ ли статьяхъ

видятъ «Отечественныя Записки» обращеніе къ народности? Если такъ, то взглядъ ихъ и понятіе о народности довольно оригинальны. Оригиналенъ тоже другой взглядъ, выраженный въ объявленіи «Отечественныхъ Записокъ» съ ужасающею откровенностью; именно: что все, что только есть исправно-мыслящаго, движущагося, идущаго къ какой-нибудь цѣли, въ нашемъ теперешнемъ обществѣ, все — насколько развилось въ немъ сознанія и смысла, — все это сдѣлали «Отечественныя Записки», все это плоды трудовъ ихъ. Такъ какъ онѣ сами начинаютъ немного свысока смотрѣть на Бѣлинскаго, то позволительно заключить, что всѣ эти блестящіе результаты онѣ приписываютъ своей послѣдующей дѣятельности, т. е. начиная съ статей о Фонъ-Визинѣ и о лопатѣ, до чудовищной статьи о Пушкинѣ, помѣщенной въ апрѣльской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» прошлаго 1860 года. Впрочемъ прошлогодное объявленіе объ изданіи «Отечественныхъ Записокъ» принадлежитъ исторіи русской литературы. Оно не умретъ; оно вѣковѣчно, монументально. Мы относимъ его къ литературѣ русскихъ скандаловъ и къ скандаламъ въ русской литературѣ.

Но мы увлеклись. Принимаясь за нашу статью, мы и въ виду не имѣли «Отечественныхъ Записокъ» и ихъ объявленій и вспомнили совершенно нечаянно, несмотря на то, что хотѣли сказать нѣсколько словъ о критической дѣятельности русскихъ журналовъ въ прошломъ году. Мы говоримъ: нѣсколько словъ, потому что написать полный отчетъ всей критической дѣятельности за весь прошлый годъ мы не беремся и готовы считать подобный трудъ въ нѣкоторомъ смыслѣ даже подвигомъ. Правда, въ этомъ отчетѣ намъ пришлось бы указать и на нѣсколько пріятныхъ явленій въ нашей критикѣ... Но хотя мы и не беремся за этотъ *подвигъ*, мы видимъ, что намъ приходится въ настоящей статьѣ говорить по поводу одного вопроса, объ одномъ изъ важнѣйшихъ представителей современной критики, котораго, — въ этомъ надо признаться откровенно, — только одного у насъ теперь и читаютъ, чуть ли не изъ всѣхъ нашихъ критиковъ. Въ самомъ дѣлѣ, исключая три, четыре критическія статьи, мелькнувшія по разнымъ журналамъ за прошлый годъ и нѣсколько замѣченныя публикою, — всѣ остальныя прошли почти не оставивъ по себѣ слѣда. Читаютъ г. —бова, который таки заставилъ читать себя, и ужъ за это одно онъ стоитъ особеннаго вниманія... Но, впрочемъ, вотъ по какому собственно случаю мы хотимъ въ этотъ разъ говорить о г. —бовѣ.

Въ январьской книжкѣ нашего журнала, оканчивая

наше введеніе въ «Рядъ статей о русской литературѣ», мы обѣщали говорить о современныхъ литературныхъ явленіяхъ и вопросахъ. Однимъ изъ самыхъ важныхъ литературныхъ вопросовъ мы считаемъ теперь вопросъ объ искусствѣ. Этотъ вопросъ раздѣляетъ многихъ изъ современныхъ писателей нашихъ на два враждебные лагеря. Такимъ образомъ разъединяются силы. Нечего распространяться о вредѣ, который заключается во всякомъ враждебномъ разногласіи. А дѣло уже доходитъ почти до вражды.

Разобрать эту вражду и ея причины, разъяснить весь споръ и высказать свое мнѣніе по поводу этого спора — соотвѣтствовало бы и цѣлямъ нашего журнала и обязанностямъ, которыя мы сами приняли на себя передъ публикой. Но прежде всего оговоримся. Если мы и ввяжемся въ этотъ споръ, то вовсе не претендуя на роль окончательнаго судьи въ этомъ спорѣ. Да и примѣра мы не припомнимъ, чтобъ въ литературныхъ спорахъ нашихъ хоть когда-нибудь одна партія подчинялась другой, согласилась бы съ ней добровольно и по убѣжденію. Всякій литературный споръ кончается у насъ тѣмъ, что или выживаетъ изъ лѣтъ, надоѣдаетъ всѣмъ и каждому и прекращается самъ собою; или одна партія одолѣваетъ другую такъ, что другая замолкаетъ, но единственно отъ безсилія и истощенія; замолкаетъ, а не соглашается. Соглашеній мы какъ-то не помнимъ. Если же они и бывали, то такъ рѣдко, что и припоминать не стоитъ.

И потому примирять и соглашать нашихъ спорщиковъ мы не беремся. Да и роль непріятная. Недавно г. Воскобойникову показалось, что русскіе литераторы слишкомъ много дерутся (литературнымъ образомъ, разумѣется); онъ и тиснулъ довольно забавную статейку: «перестаньте драться, гг. литераторы». Вышло такъ, что всѣ, кто только захотѣлъ замѣтить эту статью, напустились на г. Воскобойникова. Въ чемъ другомъ были несогласны, а въ этомъ тотчасъ же между собой согласились. — Просто запросто: мы считаемъ теперешній вопросъ объ искусствѣ чрезвычайно важнымъ, а потому, какъ начинающій журналъ, хотимъ высказать и свое мнѣніе: какъ мы понимаемъ этотъ вопросъ и какого именно оттѣнка въ его рѣшеніи придерживаемся. Такимъ образомъ мы прямо выскажемъ свои убѣжденія и выскажемъ свое направленіе, тѣмъ болѣе, что насъ уже объ этомъ спрашивали. А такъ какъ высказать наши убѣжденія мы не можемъ, не разъяснивъ предварительно, на чемъ остановился этотъ споръ въ нашей литературѣ, то, чтобъ опредѣлить современный характеръ этого спора, мы разберемъ предварительно ученія обѣихъ партій, чему и посвящаемъ эту статью. Одинъ изъ главныхъ представителей одного изъ этихъ ученій есть, безспорно, г. —бовъ, печатающій свои статьи въ «Современникѣ»; вотъ почему и статью нашу мы назвали: *Г. —бовъ и вопросъ объ искусствѣ.*

Еще одно замѣчаніе:

Намъ говорятъ, и мы сами недавно читали въ одномъ изъ самыхъ распространенныхъ въ публикѣ журналовъ нашихъ, что партій въ русской литературѣ не существуетъ. Мы полагаемъ, что этотъ журналъ употребилъ слово «партій» въ смыслѣ распрей личныхъ, до которыхъ собственно литературѣ не должно быть и дѣла. Разумѣется, мы всѣми силами желаемъ повѣрить этому журналу на слово: нѣтъ, такъ тѣмъ и лучше. Но партіи въ смыслѣ несогласныхъ убѣжденій въ нашей литературѣ существуютъ. У насъ есть Аскоченскіе, Чернокнижниковы, —бовы. Даже самъ великолѣпный Кузьма Прутковъ, въ строгомъ смыслѣ, можетъ тоже считаться представителемъ цѣльной и своеобразной партіи. Вообще каждый журналъ нашъ чего-либо да придерживается. Совершенно же безцвѣтные журналы у насъ не держатся и умираютъ тихою и спокойною смертью. Разумѣется, литературныя партіи наши вообще неясно и какъ-то смутно обрисованы. Отъ иныхъ рѣшительно не дождешься яснаго изложенія ихъ убѣжденій; другія отдѣлываются какими-то намеками; третьи выражаются какъ будто по заказу, а между тѣмъ какъ будто сами себѣ не вѣрятъ; четвертыя удаляются въ туманную область нахмуренныхъ фразъ, головоломныхъ фразъ, тарабарскаго слога, — разбирай какъ знаешь. Винить за это, разумѣется, невозможно. Но по поводу вопроса объ искусствѣ нѣкоторые изъ журналовъ нашихъ обозначились довольно рѣзко, особенно въ послѣднее время. Между ними первое мѣсто занимаетъ «Современникъ» съ прошлогодними статьями г. —бова.

Сдѣлавъ такое предисловіе, приступимъ къ самому дѣлу.

И во-первыхъ, объявляемъ, что не придерживаемся ни одного изъ теперь существующихъ мнѣній и прямо говоримъ, что, по нашему мнѣнію, весь вопросъ въ настоящую минуту ложно поставленъ — именно отъ слишкомъ горячаго спора; именно оттого, что дѣло дошло почти до вражды. Мы надѣемся доказать это.

Но представимъ самую сущность вопроса; что именно это за вопросъ, и въ чемъ онъ заключается?

Одни говорятъ и учатъ, что искусство служитъ само себѣ цѣлью и въ самой сущности своей должно находить

себѣ оправданіе. И потому вопроса о полезности искусства, въ настоящемъ смыслѣ слова, даже и быть не можетъ. Творчество — основное начало каждаго искусства, есть цѣльное, органическое свойство человѣческой природы и имѣетъ право существовать и развиваться уже потому одному, что оно необходимая принадлежность человѣческаго духа. Оно такъ же законно въ человѣкѣ, какъ умъ, какъ всѣ нравственныя свойства человѣка и, пожалуй, какъ двѣ руки, какъ двѣ ноги, какъ желудокъ. Оно неотдѣлимо отъ человѣка и составляетъ съ нимъ цѣлое. Конечно, умъ, напримѣръ, полезенъ, — такъ можно выразиться: плохо безъ ума. Полезны въ этомъ же смыслѣ человѣку и руки и ноги! Въ этомъ же смыслѣ полезно человѣку и творчество.

Но какъ нѣчто цѣльное, органическое, творчество развивается само изъ себя, неподчиненно и требуетъ полнаго развитія; главное — требуетъ полной свободы въ своемъ развитіи. Поэтому всякое стѣсненіе, подчиненіе, всякое постороннее назначеніе, всякая исключительная цѣль, поставленная ему, будутъ незаконны и неразумны. Если бъ ограничить творчество или запретить творческимъ и художественнымъ потребностямъ человѣка заниматься, — ну, чѣмъ бы, напримѣръ? — ну, хоть выраженіемъ извѣстныхъ ощущеній; запретить человѣку всю творческую его дѣятельность, которую бы возбуждали въ немъ извѣстныя явленія природы: восходъ солнца, морская буря и проч., и проч., — то все это было бы нелѣпымъ, смѣшнымъ и незаконнымъ стѣсненіемъ человѣческаго духа въ его дѣятельности и развитіи.

Это говоритъ одна партія, — партія защитниковъ свободы и полной неподчиненности искусства.

«Разумѣется, все это было бы нелѣпымъ стѣсненіемъ», отвѣтятъ утилитаристы (другая партія, учащая тому, что искусство должно служить человѣку прямой, непосредственной, практической и даже опредѣленной обстоятельствами пользой), — «разумѣется, всякое подобное стѣсненіе, безъ разумной цѣли, а единственно по прихоти — есть дикая и злая глупость. Но согласитесь сами (могутъ они прибавить) — вдругъ, напримѣръ, идетъ сраженіе — вы одинъ изъ сражающихся; вмѣсто того, чтобъ помогать своимъ товарищамъ въ битвѣ, вамъ, какъ артисту въ душѣ, вдругъ понравилась картина сраженія; вы бросите оружіе, вынимаете карандашъ, бумагу и начинаете срисовывать поле битвы. Хорошо вы дѣлаете? Разумѣется, вы имѣете полное право предаваться вашимъ вдохновеніямъ, но разумна ли будетъ ваша художественная дѣятельность въ такую минуту?»

«Однимъ словомъ, — заключаютъ они,—мы не отвергаемъ вашей теоріи о свободѣ развитія творчества; но эта свобода должна быть, по крайней мѣрѣ, хоть разумная».

Г. Панаевъ въ началѣ своихъ интересныхъ литературныхъ воспоминаній («Современникъ» 1861, книга I) упоминаетъ, что во время его молодости между петербургскими литераторами одного круга существовало убѣжденіе, что литераторы, поэты, художники, артисты не должны заниматься ничѣмъ насущнымъ, текущимъ, — ни политикой, ни внутреннею жизнью общества, къ которому принадлежатъ, ни даже какимъ-нибудь важнѣйшимъ общенароднымъ вопросомъ, а заниматься только однимъ *высокимъ искусствомъ*. Заниматься же чѣмъ-нибудь, кромѣ искусства, значитъ унижать его, низводить съ его высоты, глумиться надъ нимъ. По такому ученію, значитъ, надо было добровольно вырвать изъ-подъ себя всю почву, на которой всѣ стоятъ и которою всѣ живутъ, и, слѣдовательно, улетать все выше въ надзвѣздія, а тамъ, разумѣется, какъ-нибудь испариться, потому что вѣдь больше-то ничего не оставалось и дѣлать. Эта теорія могла привести прямо къ тому, что, напримѣръ, во время двѣнадцатаго года, когда все русское занималось только однимъ спасеніемъ отечества, однимъ литераторамъ и поэтамъ было бы гораздо приличнѣе заниматься — ну, хоть, напримѣръ, греческой антологіей. Въ литературной и художественной кучкѣ, о которой разсказываетъ г. Панаевъ, такъ и поступали: вопросами общественными не занимались. Одинъ изъ важнѣйшихъ членовъ этой кучки только и дѣлалъ въ то время, что писалъ драмы изъ жизни италіанскихъ художниковъ.

Возьмемъ еще примѣръ.

Положимъ, что мы переносимся въ восемнадцатое столѣтіе, именно въ день лиссабонскаго землетрясенія. Половина жителей въ Лиссабонѣ погибаетъ; дома разваливаются и проваливаются; имущество гибнетъ; всякій изъ оставшихся въ живыхъ что-нибудь потерялъ — или имѣніе или семью. Жители толкаются по улицамъ въ отчаяніи, пораженные, обезумѣвшіе отъ ужаса. Въ Лиссабонѣ живетъ въ это время какой-нибудь извѣстный португальскій поэтъ. На другой день утромъ выходитъ номеръ лиссабонскаго Меркурія (тогда все издавались Меркуріи). Номеръ журнала, появившагося въ такую минуту, возбуждаетъ даже нѣкоторое любопытство въ несчастныхъ лиссабонцахъ, несмотря на то, что имъ въ эту минуту не до журналовъ; надѣются, что номеръ вышелъ нарочно, чтобъ дать нѣкоторыя извѣстія о погибшихъ, о

пропавшихъ безъ вѣсти и проч. и проч. И вдругъ — на самомъ видномъ мѣстѣ листа бросается всѣмъ въ глаза что-нибудь въ родѣ слѣдующаго:

Шопотъ, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Соннаго ручья.
Свѣтъ ночной, ночныя тѣни,
Тѣни безъ конца,
Рядъ волшебныхъ измѣненій
Милаго лица,
Въ дымныхъ тучкахъ пурпуръ розы,
Отблескъ янтаря,
И лобзанія, и слезы
И заря, заря!

Да еще мало того: тутъ же, въ видѣ послѣсловія къ поэмкѣ, приложено въ прозѣ всѣмъ извѣстное поэтическое правило, что тотъ не поэтъ, кто не въ состояніи выскочить внизъ головой изъ четвертаго этажа (для какихъ причинъ? — я до сихъ поръ этого не понимаю; но ужъ пусть это непремѣнно надо, чтобъ быть поэтомъ; не хочу спорить). Не знаю навѣрно, какъ приняли бы свой Меркурій лиссабонцы, но мнѣ кажется, они тутъ же казнили бы всенародно, на площади, своего знаменитаго поэта, и вовсе не за то, что онъ написалъ стихотвореніе безъ глагола, а потому, что вмѣсто трелей соловья накануунѣ слышались подъ землей такія трели, а колыханіе ручья появилось въ минуту такого колыханія цѣлаго города, что у бѣдныхъ лиссабонцевъ не только не осталось охоты наблюдать —

Въ дымныхъ тучкахъ пурпуръ розы

или

Отблескъ янтаря,

но даже показался слишкомъ оскорбительнымъ и небратскимъ поступокъ поэта, воспѣвающаго такія забавныя вещи въ такую минуту ихъ жизни. Разумѣется, казнивъ своего поэта (тоже очень небратски), они всѣ непремѣнно бы кинулись къ какому-нибудь доктору Панглосу[1] за умнымъ совѣтомъ, и докторъ Панглосъ тотчасъ же и безъ большого труда увѣрилъ бы ихъ всѣхъ, что это очень хорошо случилось, что они провалились, и что уже если они провалились, то это непремѣнно къ лучшему. И доктора Панглоса никто бы не разорвалъ за это въ клочки; напротивъ, дали бы ему пенсію и провозгласили бы его другомъ человѣчества. Вѣдь такъ все идетъ на свѣтѣ.

[1] Докторъ Панглосъ — смѣшной философъ въ одной сказкѣ Вольтера, доказывающій, что все на свѣтѣ происходитъ къ лучшему.

Замѣтимъ, впрочемъ, слѣдующее: положимъ, лиссабонцы и казнили своего любимаго поэта, но вѣдь стихотвореніе, на которое они всѣ разсердились (будь оно хоть и о розахъ и янтарѣ), могло быть великолѣпно по своему художественному совершенству. Мало того, поэта-то они бъ казнили, а черезъ тридцать, черезъ пятьдесятъ лѣтъ поставили бы на площади памятникъ за его удивительные стихи вообще, а вмѣстѣ съ тѣмъ и за «пурпуръ розы» въ частности. Поэма, за которую казнили поэта, какъ памятникъ совершенства поэзіи и языка, принесла, можетъ быть, даже и не малую пользу лиссабонцамъ, возбуждая въ нихъ потомъ эстетическій восторгъ и чувство красоты, и легла благотворной росой на души молодого поколѣнія. Стало быть, виновато было не искусство, а поэтъ, злоупотребившій искусствомъ въ ту минуту, когда было не до того. Онъ пѣлъ и плясалъ у гроба мертвеца... Это, конечно, было очень нехорошо и чрезвычайно глупо съ его стороны; виноватъ опять-таки онъ, а не искусство.

Однимъ словомъ, утилитаристы требуютъ отъ искусства прямой, немедленной, непосредственной пользы, соображающейся съ обстоятельствами, подчиняющейся имъ, и даже до такой степени, что если въ данное время общество занято разрѣшеніемъ, напримѣръ, такого-то вопроса, то искусство (по ученію нѣкоторыхъ утилитаристовъ) и цѣли не можетъ задать себѣ иной, какъ разрѣшеніе этого же вопроса. Если разсматривать это соображеніе о пользѣ не какъ требованіе, а только какъ желаніе, то оно, по нашему мнѣнію, даже похвально, хотя мы и знаемъ, что все-таки это соображеніе не совсѣмъ вѣрно. Если, напримѣръ, все общество озабочено разрѣшеніемъ какого-нибудь важнаго внутренняго вопроса, то, разумѣется, пріятно было бы желать, чтобъ и всѣ силы общества согласно направлены были къ достиженію всеобщей цѣли, а слѣдовательно, чтобъ и искусство прониклось этой же идеей и тоже послужило бы общей пользѣ. Какое-нибудь общество, положимъ, на краю гибели; все, что имѣетъ сколько-нибудь ума, души, сердца, воли, все, что сознаетъ въ себѣ человѣка и гражданина, занято однимъ вопросомъ, однимъ общимъ дѣломъ. Неужели жъ тогда только между одними поэтами и литераторами не должно быть ни ума, ни души, ни сердца, ни любви къ родинѣ и сочувствія всеобщему благу? Дескать,

Служенье музъ не терпитъ суеты.

Это, положимъ, такъ. Но хорошо бы было, если бъ, напримѣръ, поэты не удалялись въ эѳиръ и не смотрѣли бы оттуда свысока на остальныхъ смертныхъ; потому что хотя греческая антологія и превосходная вещь, но вѣдь иногда она бываетъ просто не къ мѣсту, и вмѣсто нея пріятнѣе было бы видѣть что-нибудь болѣе подходящее къ дѣлу и помогающее ему. А искусство много можетъ помочь иному дѣлу своимъ содѣйствіемъ, потому что заключаетъ въ себѣ огромныя средства и великія силы. Повторяемъ: разумѣется, этого только можно желать, но не требовать, уже потому одному, что требуютъ большею частью, когда хотятъ заставить насильно, а первый законъ въ искусствѣ — свобода вдохновенія и творчества. Все же вытребованное, все вымученное споконъ вѣку до нашихъ временъ не удавалось и вмѣсто пользы приносило одинъ только вредъ. Защитники «искусства для искусства» собственно за то и сердятся на утилитаристовъ, что они, предписывая искусству опредѣленныя цѣли, тѣмъ самымъ разрушаютъ само искусство, стало быть, не цѣнятъ его и, слѣдовательно, не понимаютъ даже, къ чему оно можетъ быть полезно, — они толкуютъ прежде всего о пользѣ. Потому, говорятъ защитники искусства, — если бъ утилитаристы только знали, какая великая польза заключается въ искусствѣ для всего человѣчества, то они бы нѣсколько болѣе цѣнили его и не обращались бы съ нимъ съ такимъ неуваженіемъ. И въ самомъ дѣлѣ (продолжаютъ они), если бъ даже смотрѣть на искусство съ одной вашей точки зрѣнія, то есть со стороны одной полезности, то вѣдь еще неизвѣстенъ въ подробности нормальный историческій ходъ полезности искусства въ человѣчествѣ. Трудно измѣрить всю массу пользы, принесенную и до сихъ поръ приносимую всему человѣчеству, напримѣръ, Иліадой или Аполлономъ Бельведерскимъ, вещами, повидимому, совершенно въ наше время ненужными. Вотъ, напримѣръ, такой-то человѣкъ, когда-то, еще въ отрочествѣ своемъ, въ тѣ дни, когда свѣжи и «новы всѣ впечатлѣнья бытія», взглянулъ разъ на Аполлона Бельведерскаго, и Богъ неотразимо напечатлѣлся въ душѣ его своимъ величавымъ и безконечно-прекраснымъ образомъ. Кажется, фактъ пустой: полюбовался двѣ минуты красивой статуей и пошелъ прочь. Но вѣдь это любованіе не похоже на любованіе, напримѣръ, изящнымъ дамскимъ туалетомъ. «Мраморъ сей вѣдь богъ», и вы, сколько ни плюйте на него, никогда у него не отнимете его божественности. Пробовали отнять, да ничего не вышло. И потому впечатлѣніе юноши, можетъ быть, было горячее, потрясающее нервы, холодящее эпидерму; можетъ

быть, даже, — кто это знаетъ! — можетъ быть, даже при такихъ ощущеніяхъ высшей красоты, при этомъ сотрясеніи нервъ, въ человѣкѣ происходитъ какая-нибудь внутренняя перемѣна, какое-нибудь передвиженіе частицъ, какой-нибудь гальваническій токъ, дѣлающій въ одно мгновенье прежнее уже не прежнимъ, кусокъ обыкновеннаго желѣза магнитомъ. Впечатлѣній на свѣтѣ, конечно, множество, но вѣдь недаромъ же это впечатлѣніе особенное, впечатлѣніе бога. Недаромъ же такія впечатлѣнія остаются на всю жизнь. И кто знаетъ? Когда этотъ юноша, лѣтъ двадцать, тридцать спустя, отозвался во время какого-нибудь великаго общественнаго событія, въ которомъ онъ былъ великимъ передовымъ дѣятелемъ такимъ-то, а не такимъ-то образомъ, то, можетъ быть, въ массѣ причинъ, заставившихъ его поступить такъ, а не такъ, заключалось, бесознательно для него, и впечатлѣніе Аполлона Бельведерскаго, видѣннаго имъ двадцать лѣтъ назадъ. Вы смѣетесь? Дѣйствительно, все это похоже на бредъ, но, во-первыхъ, въ подобныхъ фактахъ, несмотря на всю эту положительность, вы сами еще ничего ровно не знаете. Можетъ быть, впослѣдствіи узнаете (мы вѣримъ въ науку), но теперь покамѣстъ не знаете. А во-вторыхъ, есть историческіе признаки, есть нѣкоторые историческіе факты, по которымъ можно подумать, что наши мечты и не совсѣмъ вздоръ. Ну, кто бы могъ подумать, что, напримѣръ, Корнель и Расинъ отзовутся своимъ вліяніемъ въ такія странныя и рѣшительныя минуты исторической жизни цѣлаго народа, что, казалось бы, и немыслимо было сначала, что дѣлать такимъ старымъ колпакамъ, какъ Корнель и Расинъ, въ такія эпохи. Оказалось, что души-то и не умираютъ. А потому, если давать заранѣе цѣли искусству и опредѣлять, чѣмъ именно оно должно быть полезно, то можно ужасно ошибиться, такъ что вмѣсто пользы можно принести одинъ вредъ, а слѣдовательно дѣйствовать прямо противъ себя, потому что утилитаристы требуютъ пользы, а не вреда. И такъ какъ искусство требуетъ прежде всего полной свободы, а свобода не существуетъ безъ спокойствія (всякая тревога уже не свобода), то слѣдственно искусство должно дѣйствовать тихо, ясно, не торопясь, не увлекаясь по сторонамъ, имѣя само себя цѣлью и вѣруя, что всякая дѣятельность его отзовется современемъ человѣчеству несомнѣнною пользою.

Вотъ что говорятъ сторонники искусства для искусства своимъ противникамъ утилитаристамъ.

Во всемъ этомъ, конечно, ничего нѣтъ новаго; споръ старъ, но вотъ что новое: что сами предводители обѣихъ

партій говорятъ такъ, а на дѣлѣ поступаютъ обратно-противоположно своимъ же словамъ. Слишкомъ ужъ заспорились. Не распространяясь много, покажемъ одинъ примѣръ.

Обличительная литература возбуждаетъ негодованіе сторонниковъ чистаго искусства. Съ одной стороны, это имѣетъ нѣкоторое основаніе: большею частью произведенія обличительной литературы до того худы, что болѣе вредны, чѣмъ полезны всеобщему дѣлу, и если мы съ своей стороны признаемъ, что нападки на эти произведенія отчасти и дѣльны, то единственно только въ этомъ смыслѣ. Но въ томъ-то и бѣда, что нападки на нихъ идутъ не съ одной этой стороны и не въ этомъ смыслѣ. Негодованіе заходитъ далѣе: обвиняется самъ г. Щедринъ, родоначальникъ обличительной литературы, несмотря на то, что г. надворный совѣтникъ Щедринъ во многихъ изъ своихъ обличительныхъ произведеній — настоящій художникъ. Мало того: гонится весь обличительный родъ искусства, какъ будто между обличительными писателями даже и не можетъ появиться истиннаго художника, геніальнаго писателя, поэта, самая спеціальность котораго именно и будетъ состоять въ обличеніи. Слѣдственно, изъ вражды къ противникамъ, сторонники чистаго искусства идутъ противъ самихъ себя, противъ своихъ же принциповъ, а именно — уничтожаютъ свободу въ выборѣ вдохновенія. А за эту свободу они-то бы и должны стоять.

Съ другой стороны, утилитаристы, не посягая явно на художественность, въ то же время совершенно не признаютъ ея необходимости. «Была бы видна идея, была бы только видна цѣль, для которой произведеніе написано, — и довольно; а художественность дѣло пустое, третьестепенное, почти ненужное». Вотъ какъ думаютъ утилитаристы. А такъ какъ произведеніе нехудожественное никогда и ни подъ какимъ видомъ не достигаетъ своей цѣли; мало того: болѣе вредитъ дѣлу, чѣмъ приноситъ пользы, то, стало быть, утилитаристы, не признавая художественности, сами же болѣе всѣхъ вредятъ дѣлу, а слѣдственно идутъ прямо противъ самихъ себя, потому что они ищутъ не вреда, а пользы.

Намъ скажутъ, что мы это все выдумали, что утилитаристы никогда не шли противъ художественности. Напротивъ, не только шли, но мы замѣтили, что имъ даже особенно пріятно позлиться на иное литературное произведеніе, если въ немъ главное достоинство — художественность. Они, напримѣръ, ненавидятъ Пушкина, называютъ всѣ его вдохновенія — вычурами, кривляніями, фокусами и фіоритурами, а стихотворенія его — альбомными побрякушками. Даже самое появленіе Пушкина въ нашей литературѣ они считаютъ какъ будто чѣмъ-то незаконнымъ. Мы вовсе не преувеличиваемъ. Все это почти ясно выражено г. —бовымъ въ нѣкоторыхъ критическихъ статьяхъ его прошлаго года. Замѣтно еще, что г. —бовъ начинаетъ высказываться съ какимъ-то особеннымъ расположеніемъ и о г. Тургеневѣ, самомъ художественномъ изъ всѣхъ современныхъ русскихъ писателей. Въ статьѣ же своей: «Черты для характеристики русскаго простонародья» («Современникъ» 1860, № IX), при разборѣ сочиненій Марко-Вовчка, г. —бовъ почти прямо выказываетъ, что художественность онъ считаетъ ничѣмъ, нулемъ, и выказываетъ именно тѣмъ, что не умѣетъ понять, къ чему полезна художественность. При разборѣ одной повѣсти Марка-Вовчка г. —бовъ прямо признаетъ, что авторъ написалъ эту повѣсть нехудожественно, и тутъ же, сейчасъ же послѣ этихъ словъ, утверждаетъ, что авторъ достигъ вполнѣ этой повѣстью своей цѣли, а именно: вполнѣ доказалъ, что такой-то фактъ существуетъ въ русскомъ простонародьѣ. Между тѣмъ, этотъ фактъ (очень важный) не только не доказывается этой повѣстью, но даже вполнѣ подвергается сомнѣнію именно потому, что по нехудожественности автора дѣйствующія лица повѣсти, выставленныя авторомъ для доказательства его главной идеи, утратили подъ перомъ его всякое русское значеніе, и читатель скорѣе согласится назвать ихъ шотландцами, италіанцами, сѣверо-американцами, чѣмъ русскимъ простонародьемъ. Какъ же въ такомъ случаѣ могли бы они доказать собою, что такой-то фактъ существуетъ въ русскомъ простонародьѣ, когда сами они, дѣйствующія лица, не похожи на русское простонародье? Но г. —бову до этого рѣшительно нѣтъ дѣла: была бы видна идея, цѣль, хотя бы всѣ нитки и пружины грубо выглядывали наружу; къ чему же послѣ этого художественность? Да и къ чему, наконецъ, писать повѣсти? Просто-за-просто написать бы, что вотъ такой-то фактъ существуетъ въ простонародьѣ — потому-то и потому-то, — и короче, и яснѣе, и солиднѣе! «А тутъ еще сказки разсказывать! Вотъ людямъ-то нечего дѣлать!»

Кстати сдѣлаемъ еще одно нота-бене. Чѣмъ познается художественность въ произведеніи искусства? Тѣмъ, если мы видимъ согласіе, по возможности полное, художественной идеи съ той формой, въ которую она воплощена. Скажемъ еще яснѣе: художественность, напримѣръ, хоть бы въ романистѣ, есть способность до того

ясно выразить въ лицахъ и образахъ романа свою мысль, что читатель, прочтя романъ, совершенно такъ же понимаетъ мысль писателя, какъ самъ писатель понималъ ее, создавая свое произведеніе. Слѣдственно, попросту: художественность въ писателѣ есть способность писать хорошо. Слѣдственно тѣ, которые ни во что не ставятъ художественность, допускаютъ, что позволительно писать нехорошо. А ужъ если согласиться, что *позволительно*, то вѣдь отсюда недалеко и до того, когда просто скажутъ: что *надо* писать нехорошо. Да чуть ли и не говорятъ.

Въ этой статьѣ нашей мы намѣрены прослѣдить этотъ критическій разборъ сочиненій Марко-Вовчка, помѣщенный г. —бовымъ въ № IX «Современника» за прошлый годъ. Мы дѣлаемъ это особенно потому, что въ этомъ разборѣ довольно ярко высказывается характеръ литературныхъ убѣжденій г. —бова, а вмѣстѣ и взглядъ его на искусство. А г. —бовъ есть, какъ мы уже сказали, одинъ изъ предводителей утилитаризма. Слѣдственно, изучивъ хоть отчасти г. —бова, мы поймемъ и то, какъ поставленъ въ настоящую минуту вопросъ объ искусствѣ въ нашей литературѣ.

Извѣстно всей читающей русской публикѣ, что Марко-Вовчокъ написалъ двѣ книги разсказовъ изъ народнаго малороссійскаго и изъ народнаго великорусскаго быта, Г. —бовъ разбираетъ одни великорусскіе разсказы, вышедшіе въ переводѣ на русскій языкъ. Всѣ разсказы разобраны имъ съ необыкновенною подробностью, слишкомъ на пяти печатныхъ листахъ мелкой печати. Этотъ разборъ особенно любопытенъ тѣмъ, что въ немъ съ одной стороны выясняется, какъ понимаетъ г. —бовъ назначеніе и цѣль литературы, что отъ нея требуетъ и какія свойства, средства и силы признаетъ за ней относительно вліянія на общество. Мы, впрочемъ, ограничимся только разборомъ одного перваго разсказа, и этого довольно, чтобъ ясно понять убѣжденія г. —бова. О самомъ же Марко-Вовчкѣ мы въ настоящей статьѣ не намѣрены говорить подробно. Скажемъ только, что признаемъ за авторомъ большой умъ и превосходныя побужденія, въ сильномъ же литературномъ талантѣ его сомнѣваемся. Мы особенно жалѣемъ, что высказываемъ такое мнѣніе, не доказавъ его, жалѣемъ еще болѣе, что какъ нарочно принуждены взять именно разборъ перваго разсказа: «Маша», — надо признаться, — можетъ быть, самаго слабаго изъ всѣхъ разсказовъ автора. Но г. —бовъ, при разборѣ этого разсказа, наиболѣе высказался именно съ той стороны, на которую мы хотимъ обратить вниманіе нашихъ читателей.

Разумѣется, мы не намѣрены разбирать *всѣ убѣжденія* г. —бова, хотя г. —бовъ, по нашему мнѣнію, стоитъ подобнаго разбора. Мы во многомъ совершенно съ нимъ несогласны и прямые его противники, но ужъ одно то, что онъ заставилъ публику читать себя, что критическія статьи «Современника», съ тѣхъ поръ какъ г. —бовъ въ немъ сотрудничаетъ, разрѣзываются изъ первыхъ, въ то время, когда почти никто не читаетъ критикъ, — уже одно это ясно свидѣтельствуетъ о литературномъ талантѣ г. —бова. Въ его талантѣ есть сила, происходящая отъ убѣжденія. Г. —бовъ не столько критикъ, сколько публицистъ. Основное начало убѣжденій его справедливо и возбуждаетъ симпатію публики, но идеи, которыми выражается это основное начало, часто бываютъ парадоксальны и отличаются однимъ важнымъ недостаткомъ, — кабинетностью. Г. —бовъ — теоретикъ, иногда даже мечтатель и во многихъ случаяхъ плохо знаетъ дѣйствительность; съ дѣйствительностью онъ обходится подчасъ даже ужъ слишкомъ безцеремонно; нагибаетъ ее въ ту и другую сторону, какъ захочетъ, только бъ поставить ее такъ, чтобъ она доказывала его идею. Пишетъ г. —бовъ простымъ, яснымъ языкомъ, хоть и говорятъ про него, что онъ ужъ слишкомъ жуетъ фразу, прежде чѣмъ положить ее въ ротъ читателю. Ему все какъ будто кажется, что его не понимаютъ. Впрочемъ, это еще небольшой недостатокъ. Ясность и простота языка его заслуживаютъ особеннаго вниманія и похвалы въ наше время, когда въ иныхъ журналахъ вмѣняютъ даже себѣ въ особую честь неясность, тяжелизну и кудреватость слога, вѣроятно, думая, что все это способствуетъ глубокомыслію. Кто-то увѣрялъ насъ, что если теперь иному критику захочется пить, то онъ не скажетъ прямо и просто: принеси воды, а скажетъ, навѣрно, что-нибудь въ такомъ родѣ:

— Принеси то существенное начало овлажненія, которое послужитъ къ размягченію болѣе твердыхъ элементовъ, осложнившихся въ моемъ желудкѣ.

Эта шутка отчасти похожа на правду.

Но обратимся къ дѣлу. Почти въ самомъ началѣ своего разбора г. —бовъ говоритъ:

> Въ малороссійскихъ разсказахъ мы видѣли злоупотребленія помѣщичьей власти и злоупотребленія нерѣдко довольно крутыя. Это даже подало, говорятъ, поводъ одному русскому критику объявить произведенія Марка Вовчка *„мерзостно-отвратительными картинками“*, и, причисливши ихъ къ обличительной литературѣ, *вслѣдствіе этого отвергнуть въ авторѣ ихъ всякій талантъ литературный*. Мы не читали статейки строгаго критика, потому что давно уже перестали ин-

тересоваться его литературными приговорами, но тѣмъ не менѣе *мы понимаемъ процессъ*, посредствомъ котораго онъ составилъ свое заключеніе. *Онъ — приверженецъ теоріи „искусства для искусства“*; разсказы Марка Вовчка нашли себѣ хвалителей тоже въ числѣ приверженцевъ этой теоріи. *Можете себѣ представить, что именно нравилось въ этихъ разсказахъ такимъ хвалителямъ.* Мы сами слышали, какъ двое художественныхъ цѣнителей восхищались необыкновенною прелестью и поэтичностью одного мѣста, которое, кажется, такъ читается: „геть, геть, далеко въ полѣ крестъ надъ могилой виднѣется“. Строгій критикъ, осудившій Марка Вовчка, *оказался даже нѣсколько благоразумнѣе подобныхъ цѣнителей*, понявши, что „геть, геть, далеко въ полѣ“ еще не есть чрезвычайная высота художественности. *А что онъ ничего другого не въ состояніи былъ понять въ „Народныхъ Разсказахъ“, такъ это опять совершенно естественно, и весьма страненъ былъ бы тотъ, кто сталъ бы ожидать отъ него такого пониманья. Тогда онъ сдѣлался бы отступникомъ теоріи „искусства для искусства“*; а можетъ ли онъ отступить отъ нея? *Безъ нея что бы онъ сталъ дѣлать на свѣтѣ, „куда бы годился онъ?*

Остановимся здѣсь. Это мѣсто въ статьѣ г. —бова какъ нельзя лучше оправдываетъ наши предыдущія замѣчанія о взаимныхъ сладкихъ отношеніяхъ обѣихъ литературныхъ партій, т. е. утилитаристовъ и приверженцевъ искусства для искусства. Вражда, преднамѣренныя недоразумѣнія, крайность обвиненій — вотъ что мы видимъ изъ этой выписки. Прежде всего г. —бовъ обвиняетъ *художественнаго* критика, что онъ, вслѣдствіе полезнаго направленія разсказовъ Марко-Вовчка, назвалъ ихъ *мерзостно-отвратительными картинками* и, причисливши ихъ къ обличительной литературѣ, *вслѣдствіе этого* отвергнулъ въ авторѣ всякій талантъ литературный. Хоть это обвиненіе и очень рѣзкое, но мы въ этомъ случаѣ почти рѣшаемся вѣрить г. —бову, *на слово*, потому что и мы не читали статейки *художественнаго* критика. Правда, что этотъ критикъ могъ отвергнуть литературный талантъ въ авторѣ разсказовъ и не по одному только поводу, что эти разсказы обличительные; мы признаемъ, что въ настоящемъ случаѣ онъ могъ основываться и на другихъ данныхъ. Но г. —бова прямо подтверждаетъ наши слова, что приверженцы искусства для искусства, изъ ненависти къ утилитарному направленію, не только отвергаютъ обличительную литературу, всю безъ изъятія, но даже отвергаютъ возможность появленія таланта въ обличительной литературѣ. Повторяемъ, что этому нужно повѣрить. Зато самъ г. —бовъ впадаетъ съ своей стороны въ грубѣйшую крайность: онъ говоритъ, что если бъ художественный критикъ могъ понять хоть что-нибудь въ разсказахъ Марко-Вовчка, то измѣнилъ бы себѣ, потому что тотчасъ же сталъ бы отступникомъ *теоріи искусства для искусства.*

Въ ослѣпленіи, въ озлобленіи, а потому и въ несправедливости еще можно обвинить нѣкоторыхъ приверженцевъ теоріи искусства для искусства. Но чтобъ сама теорія искусства для искусства обладала какимъ-то природнымъ свойствомъ дѣлать изъ своихъ приверженцевъ какихъ-то недоумковъ, умныхъ людей обращать въ отупѣвшихъ и ограниченныхъ — это ужъ несправедливо. Мало ли куда можетъ зайти теорія, партія, ученье въ какой-нибудь данный моментъ! Не принимать же всякое уклоненіе за общее правило!

Но будемъ продолжать наши выписки.

Но дѣло не въ приговорахъ художественнаго критика: Богъ съ нимъ, — вѣдь его никто не принимаетъ серьезно, стало быть художественныя потѣхи его остаются совершенно безвредными. Мы имѣемъ въ виду другіе толки, и другія мнѣнія, о которыхъ считаемъ удобнымъ поговорить теперь, по поводу книжки Марка Вовчка. Мнѣнія эти довольно распространены въ извѣстной части нашего общества называющей себя образованною, и между тѣмъ они обнаруживаютъ непониманіе дѣла и легкомысліе. Мнѣнія, о которыхъ мы говоримъ, касаются характеристики крестьянина и его отношеній къ крѣпостному праву. Крѣпостное право приходитъ къ своему концу. Но факты, существовавшіе въ теченіе столѣтій, не проходятъ даромъ, не остаются безъ всякаго слѣда. Какое-нибудь мѣстничество держится въ нравахъ спустя два столѣтія послѣ его уничтоженія закономъ: можно ли ожидать, что бы внезапно пересоздать всѣ отношенія, бывшія слѣдствіемъ крѣпостного права? Нѣтъ, еще долго будетъ оно отзываться намъ — и въ книжкахъ, и въ гостиныхъ разговорахъ, и въ цѣломъ устройствѣ нашихъ житейскихъ отношеній. Понятія не только отживающаго поколѣнія, не только того, которое теперь дѣйствуетъ, но и того, которое еще только готовится выступить на общественную дѣятельность, — сложились если не прямо на основаніи крѣпостного устройства, то во всякомъ случаѣ не безъ сильнаго его вліянія. Крѣпостное начало было узаконено и принято государствомъ. Теперь это начало отвергнуто, и, стало быть, понятія и требованія, имъ порожденныя и воспитанныя, находятъ себѣ осужденіе въ томъ самомъ, что прежде служило имъ оградою. Теперь дѣло литературы — преслѣдовать остатки крѣпостного права въ общественной жизни и добивать порожденныя имъ понятія. Марко Вовчокъ, въ своихъ простыхъ и *правдивыхъ* разсказахъ, является почти первымъ и *весьма искуснымъ борцомъ на этомъ поприщѣ*. Въ послѣднихъ своихъ разсказахъ онъ даже не старается, какъ въ прежнихъ, выставлять передъ нами преимущественно то, что называется обыкновенно „злоупотребленіемъ помѣщичьей власти“. Что ужъ толковать о злоупотребленіи того, что само по себѣ дурно! Что ужъ говорить о такихъ явленіяхъ, къ которымъ подавало поводъ крѣпостное право, но безъ которыхъ оно могло иногда обходиться! Нѣтъ, авторъ беретъ теперь нормальное положеніе крестьянина у помѣщика, *не* злоупотребляющаго своимъ правомъ, — и кротко, безъ гнѣва, безъ горечи рисуетъ намъ это положеніе. И изъ этихъ очерковъ, *въ которыхъ каждый, кто хоть немного имѣлъ дѣло съ русскимъ народомъ, узнаетъ знакомыя черты, — изъ этихъ очерковъ возстаетъ передъ нами характеръ русскаго простолюдина*, сохранившій

основныя черты свои посреди всѣхъ обезличивающихъ, давящихъ отношеній, которымъ онъ былъ подчиненъ въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій. На нѣкоторыя черты этого характера мы и хотимъ теперь обратить вниманіе.

Эту выписку мы сдѣлали потому, что она служитъ предисловіемъ и введеніемъ г. —бова въ его разборъ Марко-Вовчка. Здѣсь онъ отчасти излагаетъ свой взглядъ на Марко-Вовчка. Обратите вниманіе на строчки, отмѣченныя нами курсивомъ. Г. —бовъ признаетъ, что разсказы Марко-Вовчка *просты* и *правдивы*, что Марко-Вовчокъ является въ нихъ *весьма искуснымъ борцомъ на этомъ поприщѣ*, и что изъ этихъ очерковъ, — въ которыхъ каждый, *кто хоть немного имѣлъ дѣло съ русскимъ народомъ, узнаетъ знакомыя черты — изъ этихъ очерковъ возстаетъ передъ нами характеръ русскаго простолюдина.* Замѣтьте эти слова г. —бова. Изъ нихъ видно, что онъ признаетъ за Марко-Вовчкомъ, *кромѣ ума* и *знанія дѣла*, и *умѣнье излагать свои знанія* и *наблюденія*, однимъ словомъ — признаетъ за нимъ талантъ литературный.

Затѣмъ, у г. —бова слѣдуютъ нѣсколько превосходныхъ страницъ, въ которыхъ излагаются разныя теоріи и воззрѣнія, существующія въ настоящее время между нѣкоторыми господами насчетъ русскаго простонародья. Это великолѣпное мѣсто (впрочемъ, еще не лучшее въ статьѣ г. —бова) могло бы дать тѣмъ изъ читателей нашихъ, которые незнакомы съ талантомъ г. —бова, понятіе о томъ, чѣмъ, какъ и почему этотъ писатель заставилъ публику читать себя. Не выписываемъ этого мѣста (хотя бы намъ очень хотѣлось выписать его цѣликомъ), потому что не разбираемъ теперь всего г. —бова, а только взглядъ его на искусство. Постороннія же выписки нарушили бы единство нашей статьи. Но на слѣдующую выписку просимъ обратить особенное вниманіе. Въ ней г. —бовъ разсматриваетъ Марко-Вовчка отчасти и какъ художника, не признаетъ въ авторѣ рѣшительнаго художественнаго таланта, но тутъ же говоритъ, что въ немъ замѣтна широта пониманія той жизни, которую онъ изображаетъ, и что тѣмъ-то эти разсказы и нравятся ему, г. —бову. Мало того, г. —бовъ даже увлекается: какъ умный человѣкъ, онъ могъ увидать пружины, замѣтить намеки и намѣренія автора; могъ даже по нѣкоторымъ запутаннымъ и безсвязнымъ черточкамъ заключить, что авторъ говоритъ о томъ-то и о томъ-то, и вотъ, отъ радости, что заговорили о томъ-то и о томъ-то, онъ до того благодаренъ автору, что готовъ находить въ его разсказахъ и присутствіе русскаго духа, и знакомые образы (простонародья) и проч. и проч., а это уже есть

признаки художественности, которой онъ самъ не признаетъ въ авторѣ. Главное дѣло, что г. —бовъ доволенъ и безъ художественности, только чтобъ говорили о дѣлѣ. Послѣднее желаніе, конечно, похвальное, но пріятнѣе было бы, если бъ и о дѣлѣ говорили хорошо, а не какънибудь [1].

Но вотъ это мѣсто его статьи:

Надо замѣтить прежде всего, что характеры эти не воспроизведены со всею художественною полнотою, а только лишь намѣчены въ коротенькихъ разсказцахъ Марко-Вовчка. Мы не можемъ искать у него эпопеи нашей народной жизни, — это было бы ужъ слишкомъ много. Такой эпопеи мы можемъ ожидать въ будущемъ, а теперь попокамѣстъ нечего еще и думать о ней Сознаніе народа далеко еще не вошло у насъ въ тотъ періодъ, въ которомъ оно должно выразить все себя поэтическимъ образомъ; писатели изъ образованнаго класса до сихъ поръ почти всѣ занимались народомъ, какъ любопытной игрушкой, вовсе не думая смотрѣть на него серьезно. Сознаніе значенія народа едва начинается у насъ, и рядомъ съ этимъ смутнымъ сознаніемъ появляются серьезныя, искренно и съ любовью сдѣланныя наблюденія народнаго быта и характера. Въ числѣ этихъ наблюденій едва ли не самое почетное мѣсто принадлежитъ очеркамъ Марко-Вовчка. Въ нихъ много отрывочнаго, недосказаннаго, иногда фактъ берется случайный, частный, разсказывается безъ поясненія его внутреннихъ или внѣшнихъ причинъ, не связывается необходимымъ образомъ съ обычнымъ строемъ жизни. Но строгой оконченности и всесторонности, повторяемъ, невозможно еще требовать отъ нашихъ разсказовъ изъ крестьянской жизни, она еще не открываетъ намъ себя во всей полнотѣ, да и то, что открыто намъ, мы не всегда умѣемъ или не всегда можемъ хорошо выразить. *Для насъ довольно и того,* что въ разсказахъ Марко-Вовчка мы видимъ желаніе и умѣніе прислушиваться къ народной жизни: *мы чуемъ въ нихъ присутствіе русскаго духа, встрѣчаемъ знакомые образы,* узнаемъ ту логику, тѣ чувства, которыя мы и сами замѣчали когда-то, но пропускали безъ вниманія. *Вотъ чѣмъ и дороги для насъ эти разсказы; вотъ почему и цѣнимъ мы такъ высоко ихъ автора.* Въ немъ мы видимъ глубокое вниманіе и живое сочувствіе, въ немъ находимъ мы широкое пониманіе той жизни, на которую смотрятъ такъ легко и которую понимаютъ такъ узко и убого многіе изъ образованнѣйшихъ нашихъ экономистовъ, славянистовъ, юристовъ, нувеллистовъ и проч., и проч.

А теперь, послѣ этой выписки, мы перейдемъ къ самому разбору г. —бовымъ перваго разсказа Марка-Вовчка:

---

[1] Спѣшимъ оговориться. Отзываясь такимъ образомъ о сочиненіяхъ Марко-Вовчка, мы имѣемъ въ виду только первую повѣсть въ его разсказахъ изъ великорусскаго быта — „Маша“. Мы не можемъ не согласиться, что въ другихъ его разсказахъ есть много чрезвычайно талантливыхъ страницъ, хотя въ цѣломъ ни одинъ разсказъ не выдержанъ. Дѣйствительность часто идеализирована, представлена неправдоподобно, а между тѣмъ вы сами знаете что все это, представленное неправдоподобнымъ, дѣйствительно можетъ быть въ жизни, и досадуете, что оно не оправдано. Мы, впрочемъ, говоримъ объ однихъ великорусскихъ разсказахъ и не трогаемъ разсказовъ изъ малороссійскаго быта.

«Маша». Мы рѣшаемся выписать этотъ разборъ цѣликомъ. Намъ хочется, чтобъ читатель самъ познакомился съ этимъ разсказомъ, несмотря на то, что передаетъ этотъ разсказъ и дѣлаетъ изъ него выписки самъ г. —бовъ, — сторонникъ, любитель и заступникъ таланта Марка-Вовчка.

Мы помнимъ первое появленіе этого разсказа, — говоритъ г. —бовъ. — Люди, еще вѣрующіе въ неприкосновенность крѣпостного права, пришли отъ него въ ужасъ. А въ разсказѣ раскрывается естественное и ничѣмъ незаглушимое развитіе въ крестьянской дѣвочкѣ любви къ самостоятельности и отвращенія къ рабству. Ничего преступнаго тутъ нѣтъ, какъ видите, но на приверженцевъ крѣпостныхъ отношеній подобный разсказъ дѣйствительно долженъ былъ произвести потрясающее дѣйствіе. Онъ залеталъ въ ихъ послѣднее убѣжище, которое они считали неприступнымъ. Видите ли, они, какъ люди гуманные и просвѣщенные, согласились, что крѣпостное право въ основаніи своемъ несообразно съ успѣхами современнаго просвѣщенія. Но вслѣдъ затѣмъ они говорили, что вѣдь мужикъ еще не созрѣлъ до настоящей самостоятельности, что онъ о ней и не думаетъ и не желаетъ ея и вовсе не тяготится своимъ положеніемъ, — развѣ ужъ только гдѣ барщина очень тяжела и приказчикъ крутъ ... „Да и помилуйте, откуда заберется мужику въ голову мысль о свободѣ? Книгъ онъ не читаетъ вовсе никакихъ; съ литераторами незнакомъ; дѣла у него довольно, такъ что утопій сочинять и не досугъ ... Живетъ онъ себѣ, какъ жили отцы и дѣды, и если его теперь хотятъ освобождать, такъ это чисто по милости, по великодушію ... И повѣрьте, что мужикъ не скоро еще очнется, не скоро въ толкъ возьметъ, что такое и зачѣмъ даютъ ему ... Многіе, очень многіе, еще всплачутся по прежней жизни“. Такъ увѣряли умные и просвѣщенные люди и считали невозможнымъ всякое возраженіе. И вдругъ, представьте себѣ, прямо оспаривается дѣйствительность факта, на который они ссылаются. Имъ разсказываютъ случай, доказывающій, что и въ крестьянскомъ сословіи естественна любовь къ свободному труду и независимой жизни, и что развитіе этого чувства не нуждается даже въ пособіи литературы. Вотъ какой *простой* случай имъ разсказываютъ.

У крестьянской старушки воспитываются двѣ сироты: племянница ея Маша и племянникъ Ѳедя. Ѳедя — какъ быть мальчикъ, веселый, смирный, покорный; а Маша съ малолѣтства выказываетъ большую своенравность. Она не довольствуется тѣмъ, чтобы выслушать приказаніе, а непремѣнно требуетъ, чтобы сказали ей, зачѣмъ и почему; ко всему она прислушивается и присматривается и чрезвычайно рано обнаруживаетъ наклонность имѣть свое сужденіе. Будь бы дѣвочка у стараго отца съ матерью, у нея эту дурь, разумѣется, мигомъ бы выбили изъ головы, какъ обыкновенно и дѣлается у насъ съ сотнями и тысячами дѣвочекъ и мальчиковъ, обнаруживающихъ въ дѣтствѣ излишнюю пытливость и неумѣстную претензію на преждевременную дѣятельность разсудка. Но, къ счастію или несчастію Маши, тетка ея была добрая и простая женщина, которая не только не карала Машу за ея юркость, но даже и сама-то ей поддавалась и очень конфузилась, когда не могла удовлетворить разспросамъ племянницы или переспорить ее. Такимъ образомъ, Маша получила убѣжденіе, что она имѣетъ право думать, спрашивать, возражать. Этого ужъ было

довольно. На седьмомъ году случилось съ ней происшествіе, которое дало особенный оборотъ всѣмъ ея мыслямъ. Тетка съ Ѳедей поѣхала въ городъ. Маша осталась одна караулить избу. Сидитъ она на заваленкѣ и играетъ съ ребятишками. Вдругъ проходитъ мимо барыня; остановилась, посмотрѣла и говоритъ Машѣ: „Что это такъ растумѣлась? Свою барыню знаешь? А? чья ты?“ Маша оробѣла, что ли, не отвѣтила, а барыня-то ее и выбранила: „Дура растешь, не умѣешь говорить“. Маша въ слезы. Барынѣ жалко стало. „Ну, поди, говоритъ, ко мнѣ, дурочка“. Маша не идетъ: барыня приказываетъ ребятишкамъ подвести къ ней Машу. Маша ударилась бѣжать, да такъ и не пришла домой. Воротилась тетка съ Ѳедей изъ города — нѣтъ Маши: пошли искать, искали-искали, не нашли; ужъ на возвратномъ пути она сама къ нимъ вышла изъ чьего-то конопляника. Тетка хотѣла ее домой вести — не идетъ. „Меня, говоритъ, барыня возьметъ, не пойду я“. Кое-какъ тетка ее успокоила и тутъ же ей наставленіе дала, что надо барыню слушаться, хоть она и сурово прикажетъ.

„— А если не послушаешься? — промолвила Маша.

„— Тогда горя не оберешься, голубчикъ, говорю[1]. Любо развѣ кару-то принимать?..

„А Ѳедя даже смутился, смотритъ на сестру во всѣ глаза.

„— Убѣжать можно, — говоритъ Маша, — убѣжать далеко... Вотъ Тростянскіе лѣтось бѣгали.

„— Ну, и поймали ихъ, Маша... А которые на дорогѣ померли.

„— А пойманныхъ-то въ острогъ посадили, распинали всячески, — говоритъ Ѳедя.

„— Натерпѣлись они и стыда, и горя, дитятко, — я говорю; а Маша все свое: „да чего всѣ за барыню такъ стоятъ?“

„— Она барыня, — толкуемъ ей, — ей права даны, у ней казна есть... такъ ужъ ведется.

„— Вотъ что, — сказала дѣвочка. — А за насъ-то кто жъ стоитъ?

„Мы съ Ѳедей переглянулись: что это на нее нашло?

„— Неразумная ты головка, дитятко. — говорю.

„— Да кто жъ за насъ? — твердитъ.

„— Сами мы за себя, да Богъ за насъ, — отвѣчаю ей“ (стр. 29).

И съ той поры у Маши только и рѣчей, что про барыню. „И кто ей отдалъ насъ? и какъ? и зачѣмъ? и когда? Барыня одна, говоритъ, а насъ-то сколько! Пошли бы себѣ отъ нея, куда захотѣли: что она сдѣлаетъ?“ Старушка-тетушка, разумѣется, не могла удовлетворить Машу, и дѣвочка должна была сама доходить до разрѣшенія своихъ вопросовъ. Между тѣмъ, скоро пришлось ей примѣнить и на практикѣ свой образъ мыслей. Барыня вспомнила про Машу и велѣла старостѣ посылать ее на работу въ барскій садъ. Маша уперлась: „не пойду“, говоритъ, да и только. Теткѣ стало жалко дѣвочку: сказала старостѣ, что больна Маша. За эту отговорку и ухватилась дѣвченка: какъ только господская работа, она больна. Ужъ барыня и къ себѣ ее требовала и допрашивала: „чѣмъ больна?“ — „Все болитъ“, отвѣчаетъ Маша. Барыня побранитъ, погрозитъ и прогонитъ ее. А на другой разъ опять то же.

Сколько ни уговаривалъ Машу братъ ея, сколько ни просила тетка — ничто не помогало. Маша не только не хотѣла работать, да еще при этомъ и держала себя такъ, какъ будто бы она была въ пол-

[1] Разсказъ веденъ отъ лица тетки.

номъ правѣ, какъ будто бы то, что она дѣлала, такъ и должно было дѣлать ей. Она не хотѣла, напримѣръ, попросить у барыни, чтобъ освободила ее отъ работы. „Стоило только поклониться, попроситься, — разсуждаетъ тетка, — барыня ее отпустила бы сама, да не такая была Маша наша. Она, бывало, и глазъ-то на барыню не поднимете, и голосъ-то глухо звучитъ... А вѣдь извѣстенъ нравъ барскій: ты обмани — да поклонись низко, ты злой человѣкъ — да почтителенъ будь, проси, молися: ваша, молъ, власть казнить и миловать — простите! и все тебѣ простится; а чуть возмутился сердцемъ, слово горькое сорвалось, — буль ты и правдивъ, и честенъ, — милости надъ тобой не будетъ: ты грубіанъ! Барыня наша за добрую, за жалостливую слыла, а вѣдь какъ она Машу донимала! „Погодите,—бывало на насъ грозится, — я васъ всѣхъ проучу!“ Хоть она и не карала еще, да съ такими посулками время не весело шло“.

А въ Машѣ отвращеніе отъ барской работы дошло до какого-то ожесточенія, вызывало ее на *безсознательный, безумный героизмъ*. Разъ брать упрекнулъ ее, что она отъ работы отговаривается болѣзнью, а въ пляскахъ да играхъ передъ всей деревней отличается. „Развѣ, — говоритъ, — ты думаешь, до барыни не дойдетъ? Нехорошо, что ты насъ подъ барскій гнѣвъ подводишь“. Послѣ этого Маша перестала ходить на улицу. Скучно ей, тоскливо смотритъ она изъ окошка на игры подругъ, слеза бѣжитъ у ней по щекѣ, а не выйдетъ изъ избы. Тетка стала посылать ее къ подругамъ, братъ сталъ упрашивать, чтобы она перестала сердиться на его попрекъ. „Я, — говоритъ, — Ѳедя, не сердита, а только ты не упрашивай меня понапрасну, — не пойду“. Такъ и не ходила, а по ночамъ не спала да по огороду все гуляла одна одинешенька и никому того не сказывала, да разъ невзначай тетка ее подстерегла. „Богъ съ тобой, Маша, — говоритъ ей тетка. — Жить бы тебѣ, какъ люди живутъ. Отбыла барщину, да и не боишься ничего... А то вотъ по ночамъ бродишь, а днемъ показаться за ворота не смѣешь“. — „Не могу, шепчетъ, не могу! Вы хоть убейте меня — не хочу“. Такъ и оставили ее.

Между тѣмъ, Маша выросла, стала невѣстой, красавицей. Старуха-тетка начинаетъ ей загадывать о замужней жизни и пророчить счастье замужемъ. Но Машѣ и то не по нраву: Что жъ замужемъ-то, одинаково, говоритъ. — Какое счастье!..“ Тетка толкуетъ, что не все горе на свѣтѣ, есть и счастье. „Есть, да не про нашу честь“, — отвѣчаетъ Маша. Слушая такія рѣчи, и Ѳедя начинаетъ задумываться. Но Ѳедя не можетъ предаваться своимъ думамъ: онъ отбываетъ барщину. Маша же продолжаетъ упорно отказываться отъ всякой работы. Всѣ на деревнѣ стали дивиться и роптать на бездѣлье Маши, а барыня однажды такъ разсердилась, что велѣла немедленно силою привести къ себѣ Машу. Привели ее. Барыня бросилась къ ней, бранится и серпъ ей въ руки суетъ: „Выжни мнѣ траву въ цвѣтникѣ“. Да и стала надъ нею: „жни!“ Маша какъ взмахнула серпомъ — прямо себѣ по рукѣ угодила. Кровь брызнула, барыня перепугалась: „Ведите ее домой скорѣе! вотъ платочекъ — руку перевязать!“ Тѣмъ дѣло и кончилось; Маша не оцѣнила даже барской милости: какъ пришла домой такъ сорвала съ руки барынинъ платочекъ и далеко отъ себя бросила..

Упрямое сопротивленіе Маши всякому наряду на работу, ея тоска, ея странные запросы дурно подѣйствовали на ея брата. И онъ закручинился, и онъ отъ работы отбился. Старуха-тетушка нашла, что парня пора женить, и говоритъ ему разъ о невѣстахъ. „Коли свои, —

говоритъ, — не по нраву, такъ бы въ Дерновку съѣздилъ, тамъ есть дѣвушки хорошія“. — „Дерновскія всѣ вольныя“, — отозвалась Маша. — „Что жъ что вольныя, —вразумляетъ тетка. — Развѣ вольныя не выходятъ за барскихъ? Лишь бы имъ женихъ нашъ приглянулся“. — „Если бы я вольная была, — заговорила Маша, а сама такъ и задрожала: — я бы, — говоритъ, — лучше на плаху головою“. Ѳедя очень огорчился этимъ отзывомъ. „Ужъ очень ты барскихъ-то обижаешь, Маша, — проговорилъ онъ и въ лицѣ измѣнился: — они тоже вѣдь люди Божіи, только что безсчастные“. Да и вышелъ съ тѣмъ словомъ. Тетка начала, по обычаю, уговаривать Машу, говоря, что кручиной да слезами своей судьбѣ не поможешь, а развѣ что вѣку не доживешь. А Маша отвѣчаетъ, что оно и лучше умереть-то скорѣе. „Что мнѣ тутъ-то, — говоритъ, — на свѣтѣ-то?“

Такъ живетъ бѣдная семья, страдая отъ неумѣстно поднятыхъ и безаконно разросшихся вопросовъ и требованій дѣвочки. У дурной помѣщицы, у сердитаго управляющаго подобная блажь имѣла бы, конечно, очень дурной конецъ. Но разсказъ представляетъ намъ добрую, кроткую помѣщицу, даже еще съ либеральными наклонностями. Она рѣшилась дать позволеніе своимъ крестьянамъ выкупаться на волю. Можно представить себѣ, какъ подѣйствовало это извѣстіе на Машу и Ѳедю. Но мы не можемъ удержаться, чтобы не выписать здѣсь вполнѣ двухъ маленькихъ главъ, составляющихъ заключеніе этого разсказа Марка Вовчка.

„А Ѳедя все сумрачнѣй, да угрюмѣй, а Маша въ глазахъ у меня таетъ... слегла. Одинъ разъ я сижу подлѣ нея — она задумалась крѣпко; вдругъ входитъ Ѳедя — бодро такъ, весело: „Здравствуйте“, — говоритъ. Я-то обрадовалась: „Здравствуй, здравствуй, голубчикъ!“ Маша только взглянула: чего, молъ, веселье такое?

„— Маша, — говоритъ Ѳедя, — ты умирать собиралась; молода еще, видно, ты умирать-то.

„Самъ посмѣивается. Маша молчитъ.

„— Да ты очнись, сестрица, да прислушайся: я тебѣ вѣсточку принесъ.

„— Богъ съ тобой и съ вѣсточкой, — отвѣтила. — Ты себѣ веселись, Ѳедя, а мнѣ покой дай.

„— Какая вѣсточка, Ѳедя? скажи мнѣ, — спрашиваю.

„— Услышь, тетушка милая! — и обнялъ меня крѣпко-крѣпко и поцѣловалъ. — Очнись, Маша! — за руку Машу схватилъ и приподнялъ ее. — Барыня объявила намъ: кто хочетъ откупаться на волю — откупайся ...

„Какъ вскрикнетъ Маша, какъ бросится брату въ ноги! Цѣлуетъ и слезами обливается, дрожитъ вся, голосъ у ней обрывается: „Откупи меня, родной, откупи! Благослови тебя, Господи! Милый мой! откупи меня! Господи! помоги же намъ, помоги!“

„Ѳедя то самъ рѣкою разливается, а у меня сердце покатилось, стою, смотрю на нихъ.

„— Погоди жъ, Маша, — проговорилъ Ѳедя, — дай опомниться-то. Обсудить, обдумать надо хорошенько.

„— Не надо, Ѳедя! Откупайся скорѣй... скорѣй, братецъ милый!

„— Помѣхи еще есть, Маша, — я вступилася, — придется продать, почитай, послѣднее. Какъ, чѣмъ кормиться-то будемъ?

„— Я буду работать... Братецъ, безустанно буду работать! Я выпрошу, выплачу у людей... Я закабалюсь, куды хочешь, только

выкупи ты меня! Родной мой, выкупи! Я вѣдь изныла вся! Я дня веселаго, сна спокойнаго не знала! Пожалѣй ты моей юности. Я вѣдь не живу -- я томлюсь ... Охъ, выкупи меня, выкупи! Иди, иди *къ ней* ...

„Одѣваетъ его, торопитъ, сама молитъ-рыдаетъ... Я и не опомнилась, какъ она его выпроводила ... Сама по избѣ ходитъ, руки ломаетъ... И мое сердце трепещетъ, словно въ молодости, — вотъ что затѣвается! Трудно мнѣ было сообразиться, еще труднѣй успокоиться...

„Ждемъ мы Ѳедю, ждемъ не дождемся! Какъ завидѣла его Маша, горько заплакала, а онъ намъ еще издали кричитъ: „слава Богу!“ Маша такъ и упала на лавку, долго, долго еще плакала ... Мы унимать: „Пускай поплачу, говоритъ, не тревожьте; сладко мнѣ и любо, словно я на свѣтъ Божій нарождаюсь сызнова! Теперь мнѣ работу давайте. Я здорова... Я сильная какая; если бъ вы знали!..“

„Вотъ и откупились мы. Избу, все спродали... Жалко мнѣ было покидать, и Ѳедѣ сгрустнулось: садилъ, ростилъ, — все прощай! Только Маша веселая и бодрая — слезки она не выронила. Какое! Словно она изъ живой воды вышла: въ глазахъ блескъ, на лицѣ румянецъ, кажется, что каждая жилка радостью дрожитъ... Дѣло такъ и кипитъ у нея... „Отдохни, Маша!“ -- „Отдыхать? я работать хочу!“ — и засмѣется весело. Тогда я впервые узнала, что за смѣхъ у нея звонкій! Тогда Маша бѣлоручкой слыла, а теперь Машу первой рукодѣльницей, первой работницей величаютъ. И женихи къ намъ толпой... А барыня-то гнѣвалась — Боже мой! Сосѣди смѣются: „Холопка глупая васъ отуманила! Она нарочно больною притворилась... Вѣдь вы, небось, даромъ почти ее отпустили?“ Барыня и вправду Машей не дорожилась.

„Поселились мы въ избушкѣ ветхой, въ городѣ, да трудиться стали. Богъ намъ помогалъ, мы и новую избу срубили... Ѳедя женился. Маша замужъ пошла... Свекровь въ ней души не слышитъ: „Она меня словно дочь родная утѣшаетъ; что это за работящая! больна съ той поры не бывала“.

Къ этому первому разсказу г. —бовъ дѣлаетъ небольшое вступленіе. Но вы уже прочли его. Г. —бовъ утверждаетъ, что при появленіи этого разсказа люди, еще вѣрующіе въ неприкосновенность крѣпостного права, пришли отъ него въ ужасъ и что «въ разсказѣ разсказывается естественное и ничѣмъ не заглушимое развитіе въ крестьянской дѣвочкѣ любви къ самостоятельности и отвращенія къ рабству». Намъ какъ-то странно слышать про ужасъ людей, еще вѣровавшихъ въ неприкосновенность крѣпостного права и проч. Не понимаемъ, про какихъ это людей говоритъ г. —бовъ и много ли онъ ихъ видѣлъ? И хотя наше замѣчаніе не касается прямо литературнаго вопроса, о которомъ идетъ наша статья, но мы не можемъ удержаться, чтобъ не сдѣлать его. Кто хоть сколько-нибудь знаетъ русскую дѣйствительность, тотъ согласится тотчасъ же, что у насъ всѣ, рѣшительно всѣ, и цивилизованные и нецивилизованные, и образованные и необразованные, за немногими, быть можетъ, исключеніями, давнымъ давно и отлично хорошо знаютъ о степени того развитія, о которомъ говоритъ авторъ. Не говоримъ уже о нѣкоторомъ комизмѣ предположенія, что маленькій разсказъ могъ такъ потрясти такую огромную массу людей, мало того: привести ихъ въ ужасъ. «Имъ разсказывается случай, говоритъ г. —бовъ, доказывающій, что и въ крестьянскомъ сословіи естественна любовь къ свободному труду и независимой жизни, и что развитіе этого чувства не нуждается даже въ пособіи литературы. Вотъ какой *простой* случай имъ разсказываютъ».

Разсказывать такіе случаи и разсказывать съ талантомъ, умѣючи, съ знаніемъ дѣла — всегда полезно, несмотря на то, что такіе случаи давнымъ давно извѣстны. На то и талантъ у писателя, чтобъ произвести впечатлѣніе. Можно знать фактъ, видѣть его самолично сто разъ и все-таки не получить такого впечатлѣнія, какъ если кто-нибудь другой, человѣкъ особенный, станетъ подлѣ васъ и укажетъ вамъ тотъ же самый фактъ, но только по-своему, объяснитъ вамъ его своими словами, заставитъ васъ смотрѣть на него своимъ взглядомъ. Этимъ-то вліяніемъ и познается настоящій талантъ. Но если разсказывать теперь, въ настоящую минуту, о любви къ свободному труду и разсказывать для того, чтобъ доказать, что такой фактъ существуетъ, такъ вѣдь это все равно, какъ если бъ кто сталъ доказывать, что человѣку надобно пить и ѣсть. Теперь просимъ читателя обратить вниманіе на этотъ самый разсказъ, на этотъ *простой* случай, какъ выражается г. —бовъ. Скажите: читали ли вы когда-нибудь что-нибудь болѣе неправдоподобное, болѣе уродливое, болѣе безтолковое, какъ этотъ разсказъ? Что это за люди? Люди ли это, наконецъ? Гдѣ это происходитъ: въ Швеціи, въ Индіи, на Сандвичевыхъ островахъ, въ Шотландіи, на лунѣ? Говорятъ и дѣйствуютъ сначала, какъ будто, въ Россіи; героиня — крестьянская дѣвушка; есть тетка, есть барыня, есть братъ Ѳедя. Но что это такое? Эта героиня, эта Маша, — вѣдь это какой-то Христоѳоръ Колумбъ, которому не даютъ открыть Америку. Вся почва, вся дѣйствительность выхвачена у васъ изъ-подъ ногъ. Нелюбовь къ крѣпостному состоянію, конечно, можетъ развиться въ крестьянской дѣвушкѣ, да развѣ такъ она проявится? Вѣдь это какая-то балаганная героиня, какая-то книжная, кабинетная строка, а не женщина? Все это до того искусственно, до того подсочинено, до того манерно, что въ иныхъ мѣстахъ (особенно, когда Маша бросается къ брату и кричитъ: «откупи меня!») мы, напримѣръ, не могли удержаться

отъ самаго веселаго хохота. А развѣ такое впечатлѣніе должно производить это мѣсто въ повѣсти? Вы скажете, что надо уважать иныя положенія и за идею простить нѣкоторую неудачу въ ея выраженіи. Согласны и увѣряемъ васъ, что мы не смѣемся надъ вещами священными, но и вы согласитесь сами, что нѣтъ такой идеи, такого факта, котораго бы нельзя было опошлить и представить въ смѣшномъ видѣ. Можно долго крѣпиться, но, наконецъ, и расхохочешься, не утерпишь. Теперь предположимъ, что всѣ защитники настоящаго крестьянскаго быта, дѣйствительно, какъ увѣряетъ г. —бовъ, не вѣрятъ, что крестьянинъ желаетъ выйти на волю. Убѣдить ли хоть кого-нибудь изъ нихъ подобный разсказъ въ томъ, что они ошибаются? «Да это неправдоподобно!» закричатъ они... Но послушаемъ самого г. —бова.

„Фантазія! Идиллія! Мечты золотого вѣка!“ — закричали послѣ этого разсказа практическіе люди съ гуманными взглядами, но съ тайною симпатіею къ крѣпостнымъ отношеніямъ. „Гдѣ это видно, чтобы въ простой мужицкой натурѣ могло въ такой степени развиться сознаніе личности? Если когда-нибудь и бывало что-нибудь подобное, такъ это эксцентрическій случай, обязанный своимъ происхожденіемъ какимъ-нибудь особеннымъ обстоятельствамъ... Разсказъ о Машѣ вовсе не представляетъ картины изъ русскаго быта; онъ есть просто заоблачная выдумка. Авторъ взялъ не типъ русской простой женщины, а явленіе исключительное, и потому разсказъ его фальшивъ и лишенъ художественнаго достоинства. Требованіе художественности состоитъ въ томъ, чтобы воплощать...“ и проч.

Тутъ почтенные ораторы пускались въ разсужденія о художественности и чувствовали себя совершенно въ своей тарелкѣ.

Но людямъ, не заинтересованнымъ въ дѣлѣ, и въ голову не пришло возражать противъ естественности такого факта, какой разсказанъ въ „Машѣ“. Напротивъ, онъ казался нормальнымъ для всякаго, знакома о съ крестьянской жизнью. Въ самомъ дѣлѣ, неужели возможно отвергать въ крестьянинѣ присутствіе того, что мы считаемъ необходимой принадлежностью человѣческаго смысла у каждаго изъ людей? Это ужъ было бы слишкомъ...

Но, пожалуй, разсуждайте какъ угодно, факты докажутъ вамъ, что такія лица, какъ Маша и Ѳедя, далеко не составляютъ исключенія въ массѣ русскаго народа.

Пусть почтенный авторъ пускается въ разсужденія и въ доказательства того, что крестьянинъ дѣйствительно можетъ чувствовать потребность самостоятельности и сознать, что свободное состояніе лучше крѣпостного (въ чемъ ровно никто не сомнѣвается), пусть тратитъ на эти доказательства необыкновенное краснорѣчіе, какъ будто, дѣйствительно, нужно кому-нибудь доказывать, что крестьянинъ можетъ мыслить, и пусть, въ восторгѣ своемъ, даже доказываетъ, что явленіе Маши нормально, и доказываетъ на томъ основаніи, что она могла замѣчать,

разсуждать, мечтать, чувствовать и, наконецъ, сознать свое положеніе. Все это справедливо, г. —бовъ; мы вамъ и безъ краснорѣчія на слово вѣримъ, что все это справедливо, потому что сами знаемъ уже давно, что все это справедливо. Крестьянская дѣвушка, дѣйствительно, можетъ и разсуждать, и догадываться, и сознавать, и чувствовать отвращеніе и проч., и проч. Но развѣ такъ все это должно проявиться, какъ представлено въ повѣсти? Развѣ въ ней не представлено все такъ, что вѣроятное сдѣлано невѣроятнымъ, что все это происходитъ на Сандвичевыхъ островахъ, а не въ Россіи. Вы говорите:

Да, мы находимъ, что въ „Машѣ“ разсказанъ не исключительный случай, какъ претендуютъ землевладѣльцы и художественные критики. Напротивъ, въ личности Маши схвачено и воплощено стремленіе, общее всей массѣ русскаго народа. А если потребность возстановить независимость своей личности существуетъ, то, во всякомъ случаѣ, она проявится въ фактахъ народной жизни.

Позвольте, г. —бовъ. Если мы рѣшились сдѣлать такія длинныя выписки изъ вашей критики, то это вовсе не для того, чтобъ говорить о Маркѣ-Вовчкѣ и о вопросахъ, которые онъ затрагиваетъ въ своихъ разсказахъ. Мы замѣтили въ самомъ началѣ нашей статьи, что нигдѣ такъ ярко вы, предводитель утилитаризма въ искусствѣ, не высказываете вашихъ идей объ искусствѣ, какъ въ этомъ разборѣ. Теперь мы именно пришли къ той цѣли, для которой дѣлали наши длинныя выписки. Мы хотѣли показать, что утилитаристы, презирая искусствомъ и художественностью и не ставя ихъ на первый планъ въ дѣлѣ литературы, идутъ прямехонько противъ самихъ себя. Мало того: вредятъ дѣлу, которому сами служатъ, и мы вамъ это докажемъ.

Посмотрите: вы утверждаете, что искусство для искусства дѣлаетъ человѣка даже неспособнымъ понимать необходимость дѣльнаго направленія въ литературѣ; вы сами говорили это художественному критику. Мало того: передразнивая художниковъ, которыхъ вы ставите всѣхъ (замѣтьте: всѣхъ) на одну доску съ плантаторами, вы кричите, будто бы ихними словами, послѣ прочтенія разсказа «Маша»: «Фантазія, идиллія! мечты золотого вѣка! Гдѣ это видано, чтобы въ простой мужицкой натурѣ могло въ такой степени развиться сознаніе своей личности?» Отвѣчаемъ: Въ простой мужицкой натурѣ развивались и не такія вещи, да не въ видѣ исключенія, а чуть не сподрядъ; все это мы знаемъ и всему этому вѣримъ. Но вѣдь видимъ же мы, что вы сами чувствуете всю нелѣпость того, какъ представлено дѣло въ разсказѣ

Вовчка, иначе не стали бы вы пускаться въ такую горячую защиту разсказа, въ передразниваніе художниковъ, которыхъ вы выругали плантаторами. Выслушайте-ка теперь насъ, — не совѣты, не приговоры наши, а просто наши соображенія при настоящемъ случаѣ. Мы въ старинномъ спорѣ объ искусствѣ не участвовали, къ литературнымъ партіямъ доселѣ не принадлежали, пришли съ вѣтру и люди свѣжіе, по крайней мѣрѣ, безпристрастные. Благоволите же выслушать.

Во-первыхъ прежде всего увѣряемъ васъ, что, несмотря на любовь къ художественности и къ чистому искусству, мы сами алчемъ, жаждемъ хорошаго направленія и высоко его цѣнимъ. И потому поймите наше главное; мы на Марко-Вовчка нападаемъ вовсе не потому, что онъ пишетъ съ направленіемъ; напротивъ, мы его слишкомъ хвалимъ за это и готовы бы радоваться его дѣятельности. Но мы именно за то нападаемъ на автора народныхъ разсказовъ, что онъ не умѣлъ *хорошо* сдѣлать свое дѣло, сдѣлалъ его дурно и тѣмъ повредилъ дѣлу, а не принесъ ему пользу. Поймите же насъ, — мы не хотимъ быть дурно понятыми и оклеветанными. Чему вы сами радуетесь въ этихъ разсказахъ? Что въ нихъ дѣльныя мысли, виденъ умъ, хорошій, правдивый взглядъ на вещи? Такъ? Но предположивъ только, что ваша идея справедлива, то есть, что защитники настоящаго крестьянскаго быта, какъ говорите вы, не вѣруютъ, что мужику хочется на свободу, повторяемъ: неужели вы убѣдите ихъ этимъ разсказомъ? Вы прямо говорите, что этотъ разсказъ «залетаетъ въ ихъ послѣднее убѣжище», слѣдовательно, вѣрите въ его *полезность*. А между тѣмъ ваши противники прямо отвѣтятъ вамъ: «Вы утверждаете, что это случай повсемѣстный, и выходите изъ себя, чтобъ доказать это; то-то и есть, что онъ разсказанъ такъ, что мы ясно видимъ его исключительность, доходящую до нелѣпости, почти невозможную. Ужъ если вы, для доказательства вашей идеи, не нашли способа выразить ее въ русскомъ духѣ и русскими лицами, то, согласитесь сами, вѣдь позволительно заключить, что и факта такого нѣтъ въ русскомъ духѣ и невозможенъ онъ въ русской дѣйствительности». Вотъ что вамъ отвѣтятъ, а слѣдственно разсказъ, вмѣсто серьезнаго, дѣльнаго впечатлѣнія, возбудитъ только смѣхъ и напомнитъ басню «Медвѣдь и Пустынникъ». Вы даже не могли представить себѣ русскаго человѣка съ вашей идеей! — прибавятъ ваши противники. — Когда надо было указать, какъ осуществляется ваша мысль на дѣлѣ, въ жизни, русскій человѣкъ ускользнулъ отъ васъ. Вы принуждены

были одѣть въ русскіе кафтаны и сарафаны какихъ-то швейцарцевъ изъ балета; это пейзане и пейзанки, а не крестьяне и крестьянки. У васъ почва выскользнула изъподъ ногъ, только что вы шагъ первый ступили для доказательства вашего нелѣпаго парадокса. И послѣ этого вы хотите, чтобъ мы вамъ повѣрили, когда вы сами, защитники дѣла, не въ состояніи представить себѣ такого дѣла между русскими людьми? Нѣтъ, обманывайте себя, кабинетные мечтатели, а насъ оставьте въ покоѣ». Вотъ что вамъ скажутъ и по-своему будутъ правы. А между тѣмъ вѣдь мысль-то автора разсказовъ вѣрна. Представьте же себѣ, что вмѣсто этой балаганной шутихи, вмѣсто этой строки, Маши, вышло бы у автора разсказовъ яркое, вѣрное лицо, такъ что вы бы сразу, наяву, увидали то въ дѣйствительности, о чемъ такъ горячо спорите, — неужели вы бы отвергли такой разсказъ за то только, что онъ художественъ? Вѣдь такой разсказъ былъ бы въ тысячу разъ полезнѣе. Въ сущности вы презираете поэзію и художественность; вамъ нужно прежде всего дѣло, вы люди дѣловые. То-то и есть, что художественность есть самый лучшій, самый убѣдительный, самый безспорный и наиболѣе понятный для массы способъ представленія въ образахъ именно того самаго дѣла, о которомъ вы хлопочете, самый *дѣловой*, если хотите вы, дѣловой человѣкъ. Слѣдственно художественность въ высочайшей степени полезна и полезна именно съ *вашей* точки зрѣнія. Что же вы ее презираете и преслѣдуете, когда ее именно нужно поставить на первый планъ, прежде всякихъ требованій? «Прежде всякихъ требованій — нельзя, говорите вы, потому что прежде всего нужно дѣло»; но вѣдь и о дѣлѣ нужно говорить дѣльно, умѣючи. Вѣдь и въ дѣльномъ человѣкѣ немного пользы, если онъ не умѣетъ высказаться. Это все равно, если у васъ, напримѣръ, подъ командой куча солдатъ, народъ надежный, хорошій; вдругъ тревога: всѣ вскакиваютъ, надѣваютъ ранцы, аммуницію, хватаются за оружіе: «Скорѣе! Скорѣе! командуете вы, бросайте ранцы, патроны, не нужно: только опоздаемъ со всѣми лишними сборами; и оружія не нужно, — кто что успѣлъ захватить, съ тѣмъ и маршъ!» Вы, дѣйствительно, поспѣваете во-время на мѣсто, занимаете его, но вѣдь ваши солдаты безъ оружія и безъ аммуниціи, куда они годятся? Дѣло-то сдѣлано, да вѣдь нехорошо сдѣлано. Или, напримѣръ, передъ вами крѣпость; вамъ нужно ее аттаковать, и вотъ вы требуете непремѣннымъ условіемъ, чтобъ ваши солдаты всѣ до одного были хромые. Писатель безъ таланта — тотъ же хромой солдатъ. Неужели же вы предпочтете для выраженія вашей мысли заику?

Но вы улыбаетесь, вамъ смѣшно слушать, что васъ же какъ будто учатъ тому, что вы сами не только отлично знаете, но давнымъ давно уже въ своемъ мѣстѣ высказали. Въ одной изъ вашихъ статей вы говорите: «*пожалуй, пусть будетъ* произведеніе художественное, но будь оно и современное». И въ другой статьѣ: «Если вы хотите живымъ образомъ дѣйствовать на меня, хотите заставить меня полюбить красоту, — то умѣйте уловить въ ней этотъ общій смыслъ, это вѣяніе жизни, умѣйте указать и растолковать его мнѣ; тогда только вы достигнете вашей цѣли». Коротко и ясно; вы не отвергаете художественности, но требуете, чтобъ художникъ говорилъ о дѣлѣ, служилъ общей пользѣ, былъ вѣренъ современной дѣйствительности, ея потребностямъ, ея идеаламъ. Желаніе прекрасное. Но такое желаніе, *переходящее въ требованіе*, по-нашему, есть уже непониманіе основныхъ законовъ искусства и его главной сущности — свободы вдохновенія. Это значитъ просто не признавать искусства, какъ органическаго цѣлаго. Въ томъ-то вся и ошибка въ этомъ сбивчивомъ вопросѣ, которая привела насъ къ недоумѣніямъ, несогласіямъ и, что всего хуже, къ крайностямъ. Вы какъ будто думаете, что искусство не имѣетъ само по себѣ никакой нормы, никакихъ своихъ законовъ, что имъ можно помыкать по произволу, что вдохновеніе у всякаго въ карманѣ по первому востребованію, что оно можетъ служить тому-то и тому-то и пойти по такой дорогѣ, по которой вы захотите. А мы вѣримъ, что у искусства собственная, цѣльная, органическая жизнь и, слѣдовательно, основные и неизмѣнимые законы для этой жизни. Искусство есть такая же потребность для человѣка, какъ ѣсть и пить. Потребность красоты и творчества, воплощающаго ее, — неразлучна съ человѣкомъ, и безъ нея человѣкъ, можетъ быть, не захотѣлъ бы жить на свѣтѣ. Человѣкъ жаждетъ ея, находитъ и принимаетъ красоту *безъ всякихъ условій*, а такъ, потому только, что она красота, и съ благоговѣніемъ преклоняется передъ нею, не спрашивая, къ чему она полезна и что можно на нее купить? И, можетъ быть, въ этомъ-то и заключается величайшая тайна художественнаго творчества, что образъ красоты, созданный имъ, становится тотчасъ кумиромъ, *безъ всякихъ условій*. А почему онъ становится кумиромъ? Потому что потребность красоты развивается наиболѣе тогда, когда человѣкъ въ разладѣ съ дѣйствительностью, въ негармоніи, въ борьбѣ, т. е. когда *наиболѣе живетъ*, потому что человѣкъ наиболѣе живетъ именно въ то время, когда чего-нибудь ищетъ и добивается; тогда въ немъ и проявляется наиболѣе естественное желаніе всего гармоническаго, спокойствія, а въ красотѣ есть и гармонія и спокойствіе. Когда же находитъ то, чего добивается, то на время для него какъ бы замедляется жизнь, и мы видѣли даже примѣры, что человѣкъ, достигнувъ идеала своихъ желаній, не зная куда болѣе стремиться, удовлетворенный по горло, впадалъ въ какую-то тоску, даже самъ растравлялъ въ себѣ эту тоску, искалъ другого идеала въ своей жизни и, отъ усиленнаго пресыщенія, не только не цѣнилъ того, чѣмъ наслаждался, но даже сознательно уклонялся отъ прямого пути, раздражая въ себѣ посторонніе вкусы, нездоровые, острые, негармоническіе, иногда чудовищные, теряя тактъ и эстетическое чутье здоровой красоты и требуя вмѣсто нея исключеній. И потому красота присуща всему здоровому, т. е. наиболѣе живущему, и есть необходимая потребность организма человѣческаго. Она есть гармонія, въ ней залогъ успокоенія, она воплощаетъ человѣку и человѣчеству его идеалы. «Но позвольте, — скажутъ намъ, — про какіе идеалы вы говорите? Мы хотимъ дѣйствительности, жизни, вѣянія жизни. У насъ все общество, напримѣръ, разрѣшаетъ какой-нибудь современный вопросъ, оно стремится къ выходу, къ идеалу, который оно само себѣ поставило. Къ этому-то идеалу и поэты должны стремиться. Чѣмъ бы воплощать и уяснять передъ обществомъ этотъ идеалъ, вы вдругъ воспѣваете намъ Діану-охотницу или Лауру у Клавира». Все это безспорно и справедливо. Но прежде чѣмъ мы отвѣтимъ на это возраженіе, позвольте намъ сдѣлать одно постороннее, побочное замѣчаніе, такъ, чтобъ ужъ разомъ, окончивъ со всѣмъ постороннимъ, перейти къ главному отвѣту на ваше прекрасное и чрезвычайно справедливое замѣчаніе.

Мы уже сказали въ началѣ нашей статьи, что нормальные, естественные пути полезнаго намъ не совсѣмъ извѣстны, по крайней мѣрѣ, не исчислены до послѣдней точности. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, опредѣлить, ясно и безспорно, что именно надо дѣлать, чтобъ дойти до идеала всѣхъ нашихъ желаній и до всего того, чего желаетъ и къ чему стремится все человѣчество? Можно угадывать, изобрѣтать, предполагать, научать, мечтать и разсчитывать, но невозможно разсчитать каждый будущій шагъ всего человѣчества, въ родѣ календаря. Поэтому, какъ и опредѣлить *совершенно вѣрно*, что вредно и полезно? Но не только о будущемъ, мы даже не можемъ имѣть точныхъ и положительныхъ свѣдѣній о всѣхъ путяхъ и уклоненіяхъ, однимъ словомъ, о всемъ нормальномъ ходѣ полезнаго даже и въ прошедшемъ нашемъ. Мы из-

учаемъ этотъ путь, догадываемся, строимъ системы, выводимъ слѣдствія, но все-таки календаря и тутъ не составимъ, и исторія до сихъ поръ не можетъ считаться *точной* наукой, несмотря на то, что факты почти всѣ передъ нами. И потому, какъ, напримѣръ, вы опредѣлите, вымѣряете и взвѣсите — какую пользу принесла всему человѣчеству Иліада? Гдѣ, когда, въ какихъ случаяхъ она была полезна, чѣмъ, наконецъ, какое именно вліяніе она имѣла на такіе-то народы, въ такой-то моментъ ихъ развитія и сколько именно было этого вліянія (ну, хоть фунтовъ, пудовъ, аршинъ, километровъ, градусовъ и проч. и проч.)? А вѣдь если мы этого не можемъ опредѣлить, то очень возможно, что можемъ ошибиться и теперь, когда будемъ строго и рѣшительно опредѣлять людямъ занятія и указывать искусству нормальные пути полезности и настоящаго его назначенія.. А только согласитесь, что можно ошибиться, вотъ уже и неизвѣстно станетъ: можетъ быть, Лауру-то у Клавира и окажется на что-нибудь полезна? Правда, красота всегда полезна; но мы о ней теперь умолчимъ, а вотъ что мы скажемъ (впрочемъ, заранѣе предувѣдомляемъ, — можетъ быть мы скажемъ неслыханную, безстыднѣйшую дерзость, но пусть не смущаются нашими словами; мы вѣдь говоримъ только одно предположеніе), что скажемъ мы: а ну-ка, если Иліада-то полезнѣе сочиненій Марко-Вовчка, да не только прежде, а даже теперь, при современныхъ вопросахъ, полезнѣе какъ способъ достиженія извѣстныхъ цѣлей, этихъ же самыхъ вопросовъ, разрѣшенія настольныхъ задачъ? Вѣдь и теперь отъ Иліады проходитъ трепетъ по душѣ человѣка. Вѣдь это эпопея такой мощной, полной жизни, такого высокаго момента народной жизни и, замѣтимъ еще, жизни такого великаго племени, что въ наше время, — время стремленій, борьбы, колебаній и вѣры (потому что наше время есть время вѣры), однимъ словомъ, въ наше время наибольшей жизни, эта вѣковѣчная гармонія, которая воплощена въ Иліадѣ, можетъ слишкомъ рѣшительно подѣйствовать на душу. Нашъ духъ теперь наиболѣе воспріимчивъ, вліяніе красоты, гармоніи и силы можетъ величаво и благодѣтельнво подѣйствовать на него, *полезно* подѣйствовать, влить энергію, поддержать наши силы. Сильное любитъ силу; кто вѣруетъ, тотъ силенъ, а мы вѣруемъ и, главное, хотимъ вѣровать. Вѣдь чѣмъ гнусно занятіе Иліадой и подражаніе ей въ искусствѣ въ наше время, по взгляду противниковъ чистаго искусства? Тѣмъ, что мы, точно мертвецы, точно все пережившіе, или точно трусы, боящіеся нашей будущей жизни, наконецъ — точно равнодушные измѣнники тѣхъ изъ насъ, въ которыхъ

еще осталась жизненная сила и которые стремятся впередъ, точно энервированные до отупѣнія, до непониманія, что и у насъ есть жизнь, — въ какомъ-то отчаяніи, бросаемся въ эпоху Иліады и создаемъ себѣ такимъ образомъ искусственную дѣйствительность, жизнь, которую не мы создавали и не мы проживали, мечту, пустую и соблазнительную, — и, какъ низкіе люди, заимствуемъ, воруемъ нашу жизнь у давно-прошедшаго времени и прокисаемъ въ наслажденіи искусствомъ, какъ никуда негодные подражатели! Согласитесь сами, что направленіе утилитаристовъ, съ точки зрѣнія подобныхъ упрековъ, въ высшей степени благородно и возвышенно. Оттого-то мы имъ такъ и сочувствуемъ; оттого-то ихъ и хотимъ уважать. Бѣда только въ томъ, что это направленіе и эти упреки невѣрны. Не говоря уже о томъ, что мы говорили о потребности красоты, и о томъ, что у человѣчества уже опредѣлились отчасти ея вѣковѣчные идеалы (такъ что все это уже стало всемірной исторіей и связано общечеловѣчностью съ настоящимъ и съ будущимъ, навѣки и неразрывно), — не говоря уже о томъ, замѣтимъ утилитаристамъ, что вѣдь можно относиться къ прошедшей жизни и къ прошедшимъ идеаламъ и не наивно, а исторически. При отысканіи красоты человѣкъ жилъ и мучился. Если мы поймемъ его прошедшій идеалъ и то, чего этотъ идеалъ ему стоилъ, то, во-первыхъ, мы выкажемъ чрезвычайное уваженіе ко всему человѣчеству, облагородимъ себя сочувствіемъ къ нему, поймемъ, что это сочувствіе и пониманіе прошедшаго гарантируетъ намъ же, въ насъ же присутствіе гуманности, жизненной силы и способность прогресса и развитія. Кромѣ того можно относиться къ прошедшему и (такъ сказать) байронически. Въ мукахъ жизни и творчества бываютъ минуты не то чтобъ отчаянія, но безпредѣльной тоски, какого-то безотчетнаго позыва, колебанія, недовѣрія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, умиленія передъ прошедшими, могущественно и величаво законченными судьбами исчезнувшаго человѣчества. Въ этомъ энтузіазмѣ (байроническомъ, какъ называемъ мы его), передъ идеалами красоты, созданными прошедшимъ и оставленными намъ въ вѣковѣчное наслѣдство, мы изливаемъ часто всю тоску о настоящемъ, и не отъ безсилія передъ нашею собственною жизнью, а, напротивъ, отъ пламенной жажды жизни и отъ тоски по идеалу, котораго въ мукахъ добиваемся. Мы знаемъ одно стихотвореніе, которое можно почесть воплощеніемъ этого энтузіазма, страстнымъ зовомъ, моленіемъ передъ совершенствомъ прошедшей красоты и скрытой внутренней тоской по такому же совершенству, котораго ищетъ душа, но долж-

на еще долго искать и долго мучиться въ мукахъ рожденія, чтобъ отыскать его. Это стихотвореніе называется «Діана». Вотъ оно:

Діана.

Богини дѣвственной округлыя черты,
Во всемъ величіи блестящей наготы,
Я видѣлъ межъ деревъ надъ ясными водами.
Съ продолговатыми, безцвѣтными очами...
Высоко поднялось открытое чело,
Его недвижностью вниманье облегло, —
И дѣвъ моленію въ тяжелыхъ мукахъ чрева
Внимала чуткая и каменная дѣва.
Но вѣтеръ на зарѣ между листовъ проникъ;
Качнулся на водѣ богини ясный ликъ;
Я ждалъ, — она пойдетъ съ колчаномъ и стрѣлами,
Молочной бѣлизной мелькая межъ древами,
Взирать на сонный Римъ, на вѣчный славы градъ,
На желтоводный Тибръ, на группы коллонадъ,
На стогны длинные... Но мраморъ недвижимый
Бѣлѣлъ передо мной красой непостижимой.

Послѣднія двѣ строки этого стихотворенія полны такой страстной жизненности, такой тоски, такого значенія, что мы ничего не знаемъ болѣе сильнаго, жизненнаго во всей нашей русской поэзіи. Это отжившее, прежнее, воскресающее черезъ двѣ тысячи лѣтъ въ душѣ поэта, воскресающее съ такою силою, что онъ ждетъ и вѣритъ, въ моленіи и энтузіазмѣ, что богиня сейчасъ сойдетъ съ пьедестала и пойдетъ передъ нимъ,

Молочной бѣлизной мелькая межъ древами...

Но богиня не воскресаетъ, и ей не надо воскресать, ей не надо жить; она уже дошла до высочайшаго момента жизни; она уже въ вѣчности, для нея время остановилось; это высшій моментъ жизни, послѣ котораго она прекращается, — настаетъ олимпійское спокойствіе. Безконечно только одно будущее, вѣчно зовущее, вѣчно новое, и тамъ тоже есть свой высшій моментъ, котораго нужно искать и вѣчно искать, и это вѣчное исканіе и называется жизнью, и сколько мучительной грусти скрывается въ энтузіазмѣ поэта! Какой безконечный зовъ, какая тоска о настоящемъ въ этомъ энтузіазмѣ къ прошедшему!

Конечно, мы согласны, можетъ существовать и такой гаденькій, антологическій червячекъ, который дѣйствительно потерялъ все чутье дѣйствительности, который не понимаетъ, что у него тоже есть жизнь, который перебрался въ прошедшее и поселился тамъ, гдѣ-нибудь въ антологіи, не подозрѣвая ни себя, ни

вопросовъ, ни жизненныхъ мукъ, ни здѣшняго прихода. Но, во-первыхъ, вѣдь и червячку надо жить, а во-вторыхъ: лучше что ли его эти безчисленныя толпы грошовыхъ прогрессистовъ, съ убѣжденіями на прокатъ, съ совѣстью на прокатъ, съ осклабленіемъ надъ тѣмъ, чьего они праха не стоятъ, съ жалкимъ умишкомъ, вскочившимъ на фразу и выѣзжающимъ на ней подбоченясь? Что жъ дѣлать! И тѣмъ и этимъ жить надо. Дѣйствительность слишкомъ разнообразна. Что жъ дѣлать!

Теперь приступимъ къ нашему главному и окончательному отвѣту на вашъ справедливый вопросъ о томъ, почему искусство не всегда совпадаетъ своими идеалами съ идеаломъ всеобщимъ и современнымъ; яснѣе: почему искусство не всегда вѣрно дѣйствительности?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ у насъ готовъ.

Мы сказали уже, что вопросъ объ искусствѣ, по нашему мнѣнію, не такъ поставленъ въ настоящее время, дошелъ до крайности и запутался отъ взаимнаго ожесточенія обѣихъ партій. То же самое повторяемъ мы и теперь. Да, вопросъ не такъ поставленъ и по-настоящему спорить не о чемъ, потому что:

Искусство всегда современно и дѣйствительно, никогда не существовало иначе и, главное, не можетъ иначе существовать.

Теперь постараемся отвѣтить на всѣ возраженія.

Во-первыхъ, если намъ иногда кажется, что искусство уклоняется отъ дѣйствительности и не служитъ полезнымъ цѣлямъ, то это только потому, что мы не знаемъ навѣрно путей полезности искусства (о чемъ уже мы говорили) и, кромѣ того, отъ излишняго жара въ нашихъ желаніяхъ немедленной, прямой и непосредственной пользы; т. е. въ сущности отъ горячаго сочувствія къ общему благу. Такія желанія, конечно, похвальны, но иногда неразумны и похожи на то, какъ если бъ дитя, увидя солнце, потребовало, чтобъ ему сейчасъ его сняли съ неба и дали.

Во-вторыхъ, потому намъ иногда кажется, что искусство уклоняется отъ дѣйствительности, что дѣйствительно есть сумасшедшіе поэты и прозаики, которые прерываютъ всякое сношеніе съ дѣйствительностью, дѣйствительно умираютъ для настоящаго, обращаются въ какихъ-то древнихъ грековъ или въ средневѣковыхъ рыцарей и прокисаютъ въ антологіи или въ средневѣковыхъ легендахъ.

Такое превращеніе возможно, но поэтъ-художникъ, поступившій такимъ образомъ, есть сумасшедшій вполнѣ. Такихъ немного.

Въ-третьихъ, наши поэты и художники дѣйствительно могутъ уклоняться съ настоящаго пути или вслѣдствіе непониманія своихъ гражданскихъ обязанностей, или вслѣдствіе нежелѣнія общественнаго чутья, или отъ разрозненности общественныхъ интересовъ, отъ несозрѣлости, отъ непониманія дѣйствительности, отъ нѣкоторыхъ историческихъ причинъ, отъ несовсѣмъ еще сформировавшагося общества, оттого, что многіе — кто въ лѣсъ, кто по-дрова, и потому съ этой стороны призывы, укоры и разъясненія г. —бова въ высочайшей степени почтенны. Но г. —бовъ идетъ уже слишкомъ далеко. То, что онъ называетъ погремушками и альбомными побрякушками, мы, съ другой точки зрѣнія, признаемъ и нормальнымъ и полезнымъ, и такимъ образомъ антологическіе поэты не всѣ до единаго сумасшедшіе (какъ признаетъ г. —бовъ), а только тѣ изъ нихъ, которые совсѣмъ отрѣшились отъ современной дѣйствительности, въ родѣ иныхъ нашихъ барынь, проживающихъ всю жизнь въ Парижѣ и потерявшихъ употребленіе русскаго языка (на что, впрочемъ, ихъ добрая воля). «*Побрякушки*» же тѣмъ полезны, что, по нашему мнѣнію, мы связаны и исторической и внутренней духовной нашей жизнью и съ историческимъ прошедшимъ и съ общечеловѣчностью. Что жъ дѣлать? Безъ того вѣдь нельзя; вѣдь это законъ природы. Мы даже думаемъ, что чѣмъ болѣе человѣкъ способенъ откликаться на историческое и общечеловѣческое, тѣмъ шире его природа, тѣмъ богаче его жизнь и тѣмъ способнѣе такой человѣкъ къ прогрессу и развитію. Нельзя же такъ обстричь человѣка, что вотъ, дескать, это твоя потребность, такъ-вотъ нѣтъ же, не хочу, живи этакъ, а не такъ! И какіе ни представляйте резоны, — никто не послушается. И знаете еще что: мы увѣрены, что въ русскомъ обществѣ этотъ позывъ къ общечеловѣчности, а слѣдовательно и откликъ его творческихъ способностей на все историческое и общечеловѣческое и вообще на всѣ эти разнообразныя темы — былъ даже наиболѣе нормальнымъ состояніемъ этого общества, по крайней мѣрѣ, до сихъ поръ, и, можетъ быть, въ немъ вѣковѣчно останется. Мало того: намъ кажется, что этотъ всечеловѣческій откликъ въ русскомъ народѣ даже сильнѣе, чѣмъ во всѣхъ другихъ народахъ, и составляетъ его высшую и лучшую характерность. Вслѣдствіе петровской реформы, вслѣдствіе нашего усиленнаго переживанія вдругъ многихъ разнообразныхъ жизней, вслѣдствіе инстинкта всежизненности, и творчество наше должно было проявиться у насъ такъ характерно, такъ особенно, какъ ни въ какомъ народѣ. Вѣдь вы возстаете почти противъ нормальнаго нашего состоянія. Всѣ литературы европейскихъ народовъ были намъ почти родныя, почти наши собственныя, отразились въ русской жизни вполнѣ, какъ у себя дома. Вспомните: вѣдь и вы такъ воспитаны, г. —бовъ. Какъ вы думаете, вѣдь явленіе Жуковскаго невозможно, напримѣръ, у французовъ, а Пушкина и подавно. Откликнется ли кто-нибудь изъ европейскихъ самыхъ великихъ поэтовъ на все общечеловѣческое такъ родственно, въ такой полнотѣ, какъ откликнулся представитель нашей поэзіи — Пушкинъ? Поэтому-то отчасти мы и называемъ Пушкина величайшимъ національнымъ поэтомъ (а въ будущемъ и народнымъ, въ буквальномъ смыслѣ слова), потому именно называемъ, что онъ есть полнѣйшее выраженіе направленія, инстинктовъ и потребностей русскаго духа въ данный историческій моментъ. Вѣдь это отчасти современный типъ всего русскаго человѣка, по крайней мѣрѣ, въ историческомъ и общечеловѣческомъ стремленіи его. Нельзя же говорить (потому что такъ задалось въ кабинетѣ), что всѣ эти стремленія всего русскаго духа и безполезны, и глупы, и незаконны. И неужели вы, напримѣръ, думаете, что маркизъ Поза, Фаустъ и проч. и проч. были безполезны нашему русскому обществу въ его развитіи и не будутъ полезны еще? Вѣдь не за облака же мы съ ними пришли, а дошли до современныхъ вопросовъ и, кто знаетъ, можетъ быть, они тому много способствовали. Вотъ почему хоть бы, напримѣръ, всѣ эти антологіи, Иліады, Діаны-охотницы, Венеры и Юпитеры, Мадонны и Данте, Шекспиръ, Венеція, Парижъ и Лондонъ — можетъ быть, все это законно существовало у насъ и должно у насъ существовать — во-первыхъ, по законамъ общечеловѣческой жизни, съ которою мы всѣ нераздѣльны, а во-вторыхъ, и по законамъ русской жизни въ особенности.

— Но что вы насъ учите! — скажутъ намъ утилитаристы. — Мы очень хорошо и безъ васъ знаемъ, насколько все это намъ было полезно, какъ связь съ Европой, когда мы вдвигались въ общечеловѣчество; знаемъ очень хорошо, потому что мы сами изъ всего этого вышли. Но теперь намъ покамѣстъ не надо никакого общечеловѣчества и никакихъ историческихъ законовъ. У насъ теперь своя домашняя стирка, черное бѣлье выполаскивается, на-бѣло передѣлывается; теперь у насъ повсюду корыта, плескъ воды, запахъ мыла, брызги и замоченный полъ. Теперь надо писать не про маркиза Позу, а про свои дѣла, про извѣстные вопросы, про гласность, про полезность, про Крутогорскъ, про темное царство. Мы отвѣтимъ на это такъ: во-первыхъ, опредѣлить, что

именно надо и что не надо, на вѣсъ или цифрами, довольно трудно; можно загадывать, можно разсчитывать, позволительно и законно пробовать на дѣлѣ: такъ ли выйдетъ по разсчету? желать, убѣждать и увѣщевать другихъ къ общей дѣятельности, — все это законно и въ высшей степени полезно. Но писать въ «Современникѣ» указы, но требовать, но предписывать — пиши, дескать, вотъ непремѣнно объ этомъ, а не объ этомъ, — и ошибочно и безполезно (хотя ужъ потому одному, что вѣдь не послушаются. Конечно, робкаго народу у насъ много: бѣда какъ иные боятся критики! Да и самолюбіе: отстать отъ передовыхъ не хочется, — вотъ и пишутъ съ направленіемъ, да такъ какъ пишутъ-то не по своему вдохновенію, то и выходитъ все почти дрянь; но деспотизмъ нашей критики пройдетъ; станутъ писать по охотѣ, будутъ болѣе сами по себѣ и, можетъ быть, и въ обличительномъ родѣ напишутъ что-нибудь прекрасное. Давай-то Богъ!). Къ тому же вѣдь можно ошибиться. Вѣдь, можетъ быть, именно то, что наши прогрессивные умы считаютъ несовременнымъ и неполезнымъ, и есть современное и полезное. Больной не можетъ быть въ одно и то же время и больнымъ, и врачемъ. Можно сознавать себя больнымъ, сознавать, что мнѣ нужно лѣкарство, даже вообще можно знать, какое именно нужно лѣкарство, но рецепта до послѣдней точности себѣ самому прописать нельзя. А если поэзія, слово, литература есть тоже лѣкарство, то вѣдь отчасти есть и мѣрка: что именно въ поэзіи хорошо, а что неподходяще? Эта мѣрка въ томъ: чѣмъ болѣе симпатіи возбуждаетъ въ массѣ поэтъ, тѣмъ, стало быть, онъ наиболѣе оправдываетъ свое явленіе. Конечно, тутъ могутъ быть большія ошибки, капитальныя уклоненія; примѣры были: масса иногда въ данный моментъ и не знаетъ, чего ей нужно, что именно надо любить, чему симпатизировать. Но эти уклоненія сами собою скоро проходятъ, и общество всегда само отыскиваетъ потерянный путь. А главное въ томъ, что искусство всегда въ высшей степени вѣрно дѣйствительности, — уклоненія его мимолетныя, скоропреходящія; оно не только всегда вѣрно дѣйствительности, но и не можетъ быть невѣрно современной дѣйствительности. Иначе оно не настоящее искусство. Въ томъ-то и признакъ настоящаго искусства, что оно всегда современно, насущно-полезно. Если оно занимается антологіей, *стало быть, еще нужна антологія;* уклоненія и ошибки могутъ быть, но, повторяемъ, они преходящи. Искусства же несовременнаго, несоотвѣтствующаго современнымъ потребностямъ и совсѣмъ быть не можетъ. Если оно и есть, то оно не

искусство; оно мельчаетъ, вырождается, теряетъ силу и всякую художественность. Въ этомъ смыслѣ мы идемъ даже дальше г. —бова, въ его же идеѣ: онъ ещё признаетъ, что существуетъ безполезное искусство, чистое искусство, не современное и не насущное, и ополчается на него. А мы не признаемъ совсѣмъ такого искусства, и спокойны, — не за чѣмъ ополчаться, а если будутъ уклоненія, то безпокоиться нечего: сами собою пройдутъ, и скоро пройдутъ.

— Но позвольте, — спросятъ насъ, — на чемъ же вы основываетесь, изъ чего именно вы заключаете, что настоящее искусство никакъ и не можетъ быть не современнымъ и невѣрнымъ насущной дѣйствительности?

Отвѣчаемъ.

Во-первыхъ, по всѣмъ вмѣстѣ взятымъ историческимъ фактамъ, начиная съ начала міра до настоящаго времени, искусство никогда не оставляло человѣка, всегда отвѣчало его потребностямъ и его идеалу, всегда помогало ему въ отыскиваніи этого идеала, — рождалось съ человѣкомъ, развивалось рядомъ съ его историческою жизнью и умирало вмѣстѣ съ его историческою жизнью.

Во-вторыхъ (и главное), творчество, основаніе всякаго искусства живетъ въ человѣкѣ, какъ проявленіе части его организма, но живетъ нераздѣльно съ человѣкомъ. А слѣдственно творчество и не можетъ имѣть другихъ стремленій, кромѣ тѣхъ, къ которымъ стремится весь человѣкъ. Если бъ оно пошло другимъ путемъ, значитъ разъединилось бы съ нимъ. А слѣдственно, измѣнило бы законамъ природы. Но человѣчество еще покамѣстъ здорово, не вымираетъ и не измѣнитъ законамъ природы (говоря вообще). А слѣдственно, и за искусство опасаться нечего, — и оно не измѣнитъ своему назначенію. Оно всегда будетъ жить съ человѣкомъ его настоящею жизнью; больше оно ничего не можетъ сдѣлать. Слѣдственно, оно останется навсегда вѣрно дѣйствительности.

Конечно, въ жизни своей человѣкъ можетъ уклоняться отъ нормальной дѣйствительности, отъ законовъ природы; будетъ уклоняться за нимъ и искусство. Но это-то и доказываетъ его тѣсную, неразрывную связь съ человѣкомъ, всегдашнюю вѣрность человѣку и его интересамъ.

Но все-таки искусство тогда только будетъ вѣрно человѣку, когда не будетъ стѣснять его свободу развитія.

И потому первое дѣло: не стѣснять искусства разными цѣлями, не предписывать ему законовъ, не сбивать его съ толку, потому что у него и безъ того много подводныхъ камней, много соблазновъ и уклоненій, неразлуч-

ныхъ съ исторической жизнью человѣка. Чѣмъ свободнѣе будетъ оно развиваться, тѣмъ нормальнѣе разовьется, тѣмъ скорѣе найдетъ настоящій и *полезный* свой путь. А такъ какъ интересъ и цѣль его одна съ цѣлями человѣка, которому оно служитъ и съ которымъ соединено нераздѣльно, то чѣмъ свободнѣе будетъ его развитіе, тѣмъ болѣе пользы принесетъ оно человѣчеству.

Поймите же насъ: мы именно желаемъ, чтобъ искусство всегда соотвѣтствовало цѣлямъ человѣка, не разрозни-валось съ его интересами, и если мы желаемъ наибольшей свободы искусству, то именно вѣруя въ то, что чѣмъ свободнѣе оно въ своемъ развитіи, тѣмъ полезнѣе оно человѣческимъ интересамъ. Нельзя предписывать искусству цѣлей и симпатій. Къ чему предписывать, къ чему сомнѣваться въ немъ, когда оно, нормально развитое, и безъ вашихъ предписаній, по закону природы, не можетъ идти въ разладъ потребностямъ человѣческимъ? Оно не потеряется и не собьется съ дороги. Оно всегда было вѣрно дѣйствительности и всегда шло на ряду съ развитіемъ и прогрессомъ въ человѣкѣ. Идеалъ красоты, нормальности у здороваго общества не можетъ погибнуть; и потому оставьте искусство на своей дорогѣ и довѣрьтесь тому, что оно съ нея не собьется. Если и собьется, то *тотчасъ же воротится назадъ*, откликнется на первую же потребность человѣка. Красота есть нормальность, здоровье. Красота полезна, потому что она красота, потому что въ человѣчествѣ — всегдашняя потребность красоты и высшаго идеала ея. Если въ народѣ сохраняется идеалъ красоты и потребность ея, значитъ есть и потребность здоровья, нормы, а слѣдственно тѣмъ самымъ гарантировано и высшее развитіе этого народа. Частный человѣкъ не можетъ угадать вполнѣ вѣчнаго всеобщаго идеала, — будь онъ самъ Шекспиръ, — а слѣдственно не можетъ *предписывать* ни путей, ни цѣли искусству. Гадайте, желайте, доказывайте, подзывайте за собой, — все это позволительно, но предписывать непозволительно, быть деспотомъ непозволительно, а вѣдь вотъ хоть бы съ г. Никитинымъ вы, г. —бовъ, обошлись почти деспотически. — Пиши про свои нужды, описывай нужды и потребности своего сословія, — долой Пушкина, не смѣй восхищаться имъ, а восхищайся вотъ тѣмъ-то и тѣмъ-то и описывай то-то. — Да Пушкинъ былъ мое знамя, мой маякъ, мое развитіе, — восклицаетъ г. Никитинъ (или мы за г. Никитина); я мѣщанинъ, — онъ протянулъ мнѣ руку оттуда, гдѣ свѣтъ, гдѣ просвѣщеніе, гдѣ не гнетутъ оскорбительные предразсудки, по крайней мѣрѣ такъ, какъ въ моей средѣ; онъ былъ мой хлѣбъ духовный. —

Не надо, вздоръ! Пиши про свои нужды. — Но вѣдь я самъ нуждающійся, — продолжаетъ г. Никитинъ, — физическій хлѣбъ есть у меня, но мнѣ надобенъ хлѣбъ духовный. Не отнимайте же у меня этого хлѣба, желая его всѣмъ. Всѣмъ-то желаете, а какъ къ дѣлу пришлось, у меня перваго и отнимаете. Вы хотите, чтобъ я описывалъ свой бытъ, свои нужды. Да я, можетъ, и буду описывать! Только теперь-то позвольте пожить высшей жизнью. Для васъ она не высшая, вы ее уже презираете, а для меня — знаете, какъ она еще соблазнительна!.. — Мы ручаемся за г. Никитина, — прибавляемъ мы тутъ же съ своей стороны, — дайте ему пожить теперь, какъ онъ хочетъ. Пушкинъ для него теперь все. Вѣдь и мы къ современнымъ вопросамъ прошли черезъ Пушкина; вѣдь и для насъ онъ былъ началомъ всего, что теперь есть у насъ. А г. Никитину онъ болѣе чѣмъ родной. Пушкинъ — знамя, точка соединенія всѣхъ жаждущихъ образованія и развитія, потому что онъ наиболѣе художественъ, чѣмъ всѣ наши поэты, слѣдовательно наиболѣе простъ, наиболѣе плѣнителенъ, наиболѣе понятенъ. Тѣмъ-то онъ и народный поэтъ, что всѣмъ понятенъ. Перейдетъ г. Никитинъ черезъ Пушкина, и если у него дѣйствительно есть талантъ, — повѣрьте, г. —бовъ, дойдетъ, какъ и мы, до современныхъ вопросовъ и будетъ писать съ направленіемъ. А требовать отъ него теперь, вѣдь это... вѣдь это будетъ... какъ бы это выразиться: вѣдь это будетъ кабинетный скачекъ...

Но довольно! Мы не имѣемъ чести знать г. Никитина и соціальнаго его положенія; мы знаемъ только, что онъ мѣщанинъ, о чемъ онъ самъ публиковалъ при изданіи своихъ сочиненій. Если г. Никитинъ совсѣмъ не въ такомъ положеніи, въ которомъ мы его теперь представили, то просимъ у него извиненія. Въ такомъ случаѣ, вмѣсто него, мы ставимъ лицо отвлеченное, сочиненное, г. N.

III.

Книжность и грамотность[1].

Статья первая.

Читать, читать, а послѣ — хвать!
Фамусовъ. „Горе отъ ума".

Въ прошломъ и въ нынѣшнемъ году много говорили у насъ, и въ литературѣ и въ обществѣ, о необходимости

[1] Напечатано въ журналѣ „Время" за іюль 1861 г.

книги для народнаго чтенія. Дѣлались попытки изданія такой книги, предлагались проекты, чуть ли не назначались преміи. «Отечественныя Записки» напечатали въ своей февральской книжкѣ проектъ «Читальника», т. е. книги для народнаго чтенія, и почти съ укоризною обращались къ нашимъ литераторамъ: — Вотъ, дескать, мы напечатали проектъ «Читальника», а кто отзовется на этотъ проектъ? Хоть бы кто изъ литераторовъ сказалъ о немъ свое мнѣніе. — Мы именно хотимъ теперь заняться этимъ разборомъ. Но прежде чѣмъ мы приступимъ къ нему, скажемъ нѣсколько словъ и о любопытномъ общественномъ явленіи, именно о появленіи подобныхъ проектовъ и о всеобщихъ хлопотахъ высшаго общества образовывать низшее. Мы говоримъ: «всеобщихъ», потому что *настоящее* высшее, т. е. прогрессивное общество, всегда увлекало за собой большинство всѣхъ высшихъ классовъ русскаго общества, и потому если и есть теперь несогласные на народное образованіе, то ихъ скоро не будетъ: всѣ увлекутся за прогрессивнымъ большинствомъ, и если останутся крайніе упорные, то замолчатъ отъ безсилія.

Мы потому говоримъ объ этомъ такъ *навѣрно*, что въ обществѣ постиглась, наконецъ, полная необходимость всенароднаго образованія. Постиглась же потому, что само общество дошло до этой идеи, какъ до необходимости, увидѣло въ ней элементъ и собственной жизни, условіе собственнаго дальнѣйшаго существованія. Мы этому рады: мы говорили еще въ объявленіи о нашемъ журналѣ: «грамотность прежде всего, грамотность и образованіе усиленныя, — вотъ единственное спасеніе, единственный передовой шагъ, теперь остающійся, и который можно теперь сдѣлать. Мало того: даже при возможности и другихъ шаговъ грамотность и образованіе все-таки остаются единственнымъ первымъ шагомъ, который *надо* и должно сдѣлать». Мы обѣщались особенно стоять за грамотность, потому что въ распространеніи ея заключается единственное возможное соединеніе наше съ нашей родной почвой, съ народнымъ началомъ. Мы сознали необходимость этого соединенія, потому что не можемъ существовать безъ него; мы чувствуемъ, что истратили всѣ наши силы въ отдѣльной съ народомъ жизни, истратили и попортили воздухъ, которымъ дышали, задыхаемся отъ недостатка его и похожи на рыбу, вытащенную изъ воды на песокъ. Но обо всемъ этомъ скажемъ подробнѣе послѣ. Обратимъ сперва вниманіе на фактъ въ высшей степени поразительный и знаменательный, на фактъ, имѣющій даже глубокое историческое значеніе въ русской жизни, поразившій насъ уже давно, но проявившійся теперь въ чрезвычайно рѣзкомъ явленіи. Мы говорили объ этомъ фактѣ и прежде. Теперь же видимъ яркое доказательство того, что мы не ошиблись въ его существованіи.

Этотъ фактъ — глубина пропасти, раздѣляющей наше цивилизованное «по-европейски» общество съ народомъ. Посмотрите: какъ дошло до дѣла, то и оказалось, что мы даже не знаемъ съ чѣмъ и подступить къ народу. Явилась идея о всенародномъ образованіи; вслѣдствіе этой идеи явилась потребность въ книгѣ для народнаго чтенія, и вотъ мы становимся совершенно втупикъ. Задача въ томъ: какъ составить такую книгу? Что именно дать народу читать? Не говоримъ уже о томъ, что мы всѣ какъ-то ужъ молча, безо всякихъ лишнихъ словъ, разомъ сознали, что все написанное нами, вся теперешняя и прежняя литература, не годится для народнаго чтенія. Вѣрно это или нѣтъ, — другой вопросъ; ясно только то, что мы всѣ какъ будто согласились, безъ спора, что народъ въ ней ровно ничего не пойметъ. А согласившись въ томъ, мы всѣ безмолвно признали фактъ разъединенія нашего съ народомъ.

— Въ этомъ фактѣ ровно ничего нѣтъ особенно поражающаго, — могутъ намъ отвѣтить. — Дѣло ясное: одинъ классъ образованный, другой нѣтъ. Необразованный классъ не пойметъ образованнаго съ перваго разу. Это случалось и случается всегда и вездѣ, и тутъ нѣтъ никакого особеннаго значенія.

Положимъ такъ, мы теперь не будемъ спорить объ этомъ. Но *мы* все-таки до сихъ поръ не придумали, что дать народу читать. Это какъ вамъ покажется? Вѣдь надо же согласиться, что промахи наши въ этомъ случаѣ пресмѣшные, удивительные. Посмотрите на всѣ проекты народныхъ «читальниковъ» (ужъ одно то, что объ этомъ пишутъ проекты!). Написаны они людьми умными и добросовѣстными, а между тѣмъ ошибка на ошибкѣ. Нѣкоторыя же ошибки доходятъ до комическаго.

А между тѣмъ, опять повторяемъ, всѣ эти читальники, всѣ эти проекты пишутся у насъ литераторами опытными и талантливыми. Иные изъ нихъ пріобрѣли себѣ славу знатоковъ народной жизни. Что жъ они до сихъ поръ сдѣлали?

Скажемъ болѣе: мы, съ своей стороны, въ высочайшей степени увѣрены, что даже самые лучшіе наши «знатоки» народной жизни до сихъ поръ въ полной степени не понимаютъ, какъ *широка* и глубока сдѣлалась яма этого раздѣленія нашего съ народомъ, и не понимаютъ по са-

мой простой причинѣ: потому что никогда не жили съ народомъ, а жили другою, особенною жизнью. Намъ скажутъ, что смѣшно представлять такія причины, что всѣ ихъ знаютъ. Да, говоримъ мы, всѣ знаютъ; но знаютъ отвлеченно. Знаютъ, напримѣръ, что жили отдѣльной жизнью, но если бъ узнали, до какой степени эта жизнь была отдѣльна, то не повѣрили бы этому. Не вѣрятъ и теперь. Тѣ, которые дѣйствительно изучали народную жизнь, даже *жили* съ народомъ, т. е. жили съ нимъ не въ особой помѣщичьей усадьбѣ, а рядомъ съ нимъ, въ ихъ избахъ жили, *смотрѣли* на его нужды, видѣли всѣ его особенности, прочувствовали его желанія, узнали его воззрѣнія, даже складъ его мыслей и проч. и проч. Они ѣли вмѣстѣ съ народомъ, его же пищу; другіе даже *пили* съ нимъ. Наконецъ, есть и такіе, которые даже вмѣстѣ съ нимъ работали, т. е. работали его же простонародную работу. Хоть мало такихъ, да есть. И что жъ? Эти люди вполнѣ убѣждены, что они знаютъ народъ. Они даже засмѣются, если мы будемъ имъ противорѣчить и скажемъ имъ: Вы, господа, знаете одну внѣшность; вы очень умны, вы много замѣтили, но настоящей жизни, сущности жизни, сердцевины ея вы не знаете. Простолюдинъ будетъ говорить съ вами, разсказывать вамъ о себѣ, смѣяться вмѣстѣ съ вами; будетъ, пожалуй, плакать передъ вами (хоть и не съ вами), но никогда не сочтетъ васъ за своего. Онъ никогда серьезно не сочтетъ васъ за своего родного, за своего брата, за своего настоящаго посконнаго земляка. И никогда, никогда не будетъ онъ съ вами довѣрчивъ. Пусть сами вы одѣнетесь (или судьба васъ одѣнетъ) во все посконное, пусть вы будете даже работать вмѣстѣ съ нимъ и нести труды его, онъ и этому не повѣритъ. Безсознательно не повѣритъ, т. е. не повѣритъ, если бъ даже и хотѣлъ повѣрить, потому что эта недовѣрчивость вошла въ плоть и кровь его.

Разумѣется, причина тому, во-первыхъ, вся предыдущая наша исторія, во-вторыхъ, взаимная слишкомъ долголѣтняя отвычка другъ отъ друга, основанная на разности интересовъ нашихъ. Довѣренность народа теперь надо заслужить; надо его полюбить, надо пострадать, надо преобразиться въ него вполнѣ. Умѣемъ ли мы это? Можемъ ли это сдѣлать, доросли ли до этого?

Нашъ отвѣтъ: дорастаемъ и дорастемъ. Мы оптимисты, мы вѣримъ. Русское общество должно соединиться съ народною почвой и принять въ себя народный элементъ. Это необходимое условіе его существованія, и когда что-нибудь стало насущною необходимостью, то, разумѣется, сдѣлается.

Да, но какъ это сдѣлается?

Въ нынѣшнемъ году правительство высочайшимъ манифестомъ даровало народу новыя права. Такимъ образомъ призвало его къ наибольшей самостоятельности и самодѣятельности, однимъ словомъ — къ развитію. Мало того: оно до половины завалило ровъ, раздѣлявшій насъ съ народомъ; остальное сдѣлаетъ жизнь и многія условія, которыя теперь необходимо войдутъ въ самую сущность будущей жизни. Въ то же время высшее общество, проживъ эпоху своего сближенія съ Европой, свою эпоху цивилизаціи, почувствовало само собой необходимость обращенія къ народной почвѣ. Эта необходимость предчувствовалась уже задолго прежде, и при первой возможности выразиться — выразилась. Оба историческія явленія совершились вмѣстѣ и пойдутъ параллельно.

Кстати, наши журналы въ послѣднее время довольно много толковали о народности. Особенно выходили изъ себя «Отечественныя Записки», «Русскій Вѣстникъ», вступивъ благополучно на свою новую, булгаринскую дорогу, дошелъ, наконецъ, до того, что, по свидѣтельству «Отечественныхъ Записокъ», усомнился даже въ существованіи русской народности.

И кто же вознегодовалъ на «Русскій Вѣстникъ», кто серьезно началъ защищать и отстаивать передъ нимъ дѣйствительность русской народности, т. е. доказывать ему, что она существуетъ? «Отечественныя Записки», тѣ самыя «Отечественныя Записки», которыя *ничего* не признаютъ народнаго въ Пушкинѣ. Что за комизмъ!

Между прочимъ «Отечественныя Записки» говорятъ:

> ... Мысль, сказанная нами годъ назадъ (т. е. что въ Пушкинѣ ничего нѣтъ народнаго), не была плодомъ того яраго журнальнаго раздраженія, которое многихъ заставляетъ говорить вещи дикія, лишь бы обратить на себя вниманіе: этимъ промысломъ, слава Богу, мы не имѣемъ надобности заниматься.

О, Боже мой! вѣримъ, вполнѣ вѣримъ! Вы такъ *добродушно* напали на Пушкина и съ такимъ *добродушіемъ*, вотъ уже цѣлый годъ, попрекаете литераторовъ въ томъ, что на статью вашу не обращаютъ серьезнаго вниманія, что мы никакимъ образомъ не можемъ принять васъ за яраго Герострата или кого-нибудь въ этомъ родѣ. Такая слава вамъ не нужна. Вы люди «ученые», вамъ дороже всего «*истина*». По-нашему — вы просто нѣмецкіе гелертеры, переложенные на петербургскіе нравы; серьезно отыскивающіе съ фонаремъ въ рукахъ русскую

народность, которая отъ васъ спряталась, и не видящіе, что у васъ происходитъ подъ самымъ носомъ.

А что если къ довершенію комизма, покамѣстъ вы будете спорить съ «Русскимъ Вѣстникомъ» и доказывать ему, что есть русская народность, а онъ обратно, что нѣтъ русской народности, — что если вдругъ русская народность возьметъ да найдетъ васъ сама? Куда дѣнутся тогда всѣ *аглицкія* теоріи «Русскаго Вѣстника» и аглицкіе масштабы, подъ которые не подходила русская народность! Воображаю я и защитника ея въ «Отеч. Запискахъ». Онъ будетъ чрезвычайно удивленъ.

— Но вѣдь это не русская народность? — скажетъ онъ, смотря ей прямо въ глаза.

— Нѣтъ-съ, это русская народность, — кто-нибудь отвѣтитъ ему.

— Гм! «можетъ быть — да, а можетъ быть — нѣтъ»; во всякомъ случаѣ я не знаю ея.

— Очень можетъ быть, но только это она.

— Гм! Неужели?

— Да.

— Какъ-то не вѣрится... Во-первыхъ, обусловлено ли это явленіе? Совпадаетъ ли оно съ извѣстными и принятыми наукой принципами? Между прочимъ г. Буслаевъ говоритъ въ своей книгѣ...

И такъ далѣе, и такъ далѣе. Однимъ словомъ, повторяется случай съ «метафизикомъ».

Да, они метафизики. Намъ говорятъ (и мы не одинъ разъ это слышали), что «Отечественнымъ Запискамъ» отвѣчать стыдно. Почему? Что за аристократизмъ? Намъ говорятъ, что нельзя говорить съ тѣми, которые самыхъ простыхъ вещей не понимаютъ, языка русскаго не понимаютъ, такъ какъ нельзя говорить со слѣпыми о цвѣтахъ, съ глухими о музыкѣ.

Положимъ такъ: со слѣпыми трудно говорить о цвѣтахъ, но мы вѣдь вовсе не хотимъ разувѣрять и переубѣждать *ученый* журналъ. Мы говоримъ для публики. Признаемся, мы намѣрены даже тиснуть особую статью въ отвѣтъ на всѣ мнѣнія г. Дудышкина. Конечно, отвѣчать г. Дудышкину чрезвычайно *трудно*, но вѣдь безъ труда ничего не дѣлается...

Вообразите, напримѣръ, хоть бы образъ русскаго лѣтописца въ Борисѣ Годуновѣ. Вамъ вдругъ говорятъ, что въ немъ нѣтъ ничего русскаго, ни малѣйшаго проявленія народнаго духа, потому что это лицо выдуманное, сочиненное, потому что никогда не бывало у насъ, при

царяхъ московскихъ, такихъ уединенныхъ, независимыхъ монаховъ-лѣтописцевъ, которые умерли для свѣта и для которыхъ истина въ ихъ елейномъ смиренно-мудромъ прозрѣніи стала дороже всего; лѣтописцы, говорятъ намъ, были люди чуть не придворные, любившіе интригу и тянувшіе въ извѣстную сторону. Да хоть бы и такъ, вскрикиваете вы въ удивленіи: неужели пушкинскій лѣтописецъ, хоть бы и выдуманный, — перестаетъ быть вѣрнымъ древне-русскимъ лицомъ? Неужели въ немъ нѣтъ элементовъ русской жизни и народности, потому что онъ исторически невѣренъ? А поэтическая правда? Стало быть, поэзія игрушка? Неужели Ахиллесъ не дѣйствительно греческій типъ, потому что онъ, какъ лицо, можетъ быть, никогда и не существовалъ? Неужели Иліада не народная древне-греческая поэма, потому что въ ней всѣ лица явно пересозданныя изъ народныхъ легендъ и даже, можетъ быть, просто выдуманныя?

А вѣдь «Отечественныя Записки» сплошь да рядомъ щеголяютъ подобными доказательствами. Ну что послѣ этого имъ отвѣчать, когда главнаго-то дѣла, сердцевины-то дѣла онѣ не понимаютъ.

Онѣгинъ, напримѣръ, у нихъ типъ не народный. Въ немъ нѣтъ ничего народнаго. Это только портретъ великосвѣтскаго шалопая двадцатыхъ годовъ.

Попробуйте поспорить.

Какъ не народный? говоримъ, напримѣръ, мы. Да гдѣ же и когда такъ вполнѣ выразилась русская жизнь той эпохи, какъ въ типѣ Онѣгина? Вѣдь это типъ историческій. Вѣдь въ немъ до ослѣпительной яркости выражены именно всѣ тѣ черты, которыя могли выразиться у одного только рускаго человѣка въ извѣстный моментъ его жизни, — именно въ тотъ самый моментъ, когда цивилизація въ первый разъ ощутилась нами какъ жизнь, а не какъ прихотливый прививокъ, а въ то же время и всѣ недоумѣнія, всѣ странные, неразрѣшимые по-тогдашнему вопросы, въ первый разъ, со всѣхъ сторонъ, стали осаждать русское общество и проситься въ его сознаніе. Мы въ недоумѣніи стояли тогда передъ европейской дорогой нашей, чувствовали, что не могли сойти съ нея какъ отъ истины, принятой нами безо всякаго колебанія за истину, и въ то же время, въ первый разъ, настоящимъ образомъ стали сознавать себя русскими и почувствовали на себѣ, какъ трудно разрывать связь съ родной почвой и дышать чужимъ воздухомъ...

— Да съ какой стати вы находите это все въ Онѣгинѣ? — прерываютъ насъ *ученые*. — Развѣ это въ немъ есть?

— А какъ же? Разумѣется есть... Онѣгинъ именно принадлежитъ къ той эпохѣ нашей исторической жизни, когда чуть не впервые начинается наше томительное сознаніе и наше томительное недоумѣніе, вслѣдствіе этого сознанія, при взглядѣ кругомъ. Къ этой эпохѣ относится и явленіе Пушкина, и потому-то онъ первый и заговорилъ самостоятельнымъ и *сознательнымъ* русскимъ языкомъ. Тогда мы всѣ вдругъ стали прозирать и увидѣли въ окружающей русской жизни явленія странныя, не подходящія подъ такъ называемый европейскій нашъ элементъ, и въ то же время не знали, хорошо ли это или дурно, уродливо или прекрасно? Это было первымъ началомъ той эпохи, когда наши передовые люди рѣзко раздѣлились на двѣ стороны и потомъ горячо вступили въ междоусобный бой. Славянофилы и западники вѣдь тоже явленіе историческое и въ высшей степени народное. Вѣдь не изъ книжекъ же произошла сущность ихъ появленія? Какъ вы думаете? Но при Онѣгинѣ все это только едва сознавалось, едва предугадывалось. Тогда, т. е. въ эпоху Онѣгина, мы съ удивленіемъ, съ благоговѣніемъ, а съ другой стороны — чуть не съ насмѣшкой стали впервые понимать, что такое значитъ быть русскимъ, и, къ довершенію странности, все это случилось тогда, когда мы только что начали настоящимъ образомъ сознавать себя европейцами и поняли, что мы тоже должны войти въ общечеловѣческую жизнь. Цивилизація принесла плоды, и мы начали кое-какъ понимать, что такое человѣкъ, его достоинство и значеніе, — разумѣется, по тѣмъ понятіямъ, которыя выработала Европа. Мы поняли, что и мы можемъ быть европейцами не по однимъ только кафтанамъ и напудреннымъ головамъ. Поняли и — не знали что дѣлать. Мало-по-малу стали понимать, что намъ и нечего дѣлать. Самодѣятельности для насъ не оставалось никакой, и мы бросились съ горя въ скептическое саморазсматриваніе, саморазглядываньe. Это уже не былъ холодный, наружный, кантемировскій или фонъ-визинскій скептицизмъ. Скептицизмъ Онѣгина въ самомъ началѣ своемъ носилъ въ себѣ что-то трагическое и отзывался иногда злобной иронiей. Въ Онѣгинѣ въ первый разъ русскій человѣкъ съ горечью сознаетъ или, по крайней мѣрѣ, начинаетъ чувствовать, что на свѣтѣ ему нечего дѣлать. Онъ европеецъ: что жъ принесетъ онъ въ Европу, и нуждается ли еще она въ немъ? Онъ русскій: что же сдѣлаетъ онъ для Россіи, да еще понимаетъ ли онъ ее? Типъ Онѣгина именно долженъ былъ образоваться впервые въ такъ называемомъ высшемъ обществѣ нашемъ, въ томъ обществѣ, которое наиболѣе отрѣшилось отъ почвы, и гдѣ внѣшность цивилизаціи достигла высшаго своего развитія. У Пушкина это чрезвычайно вѣрная историческая черта. Въ этомъ обществѣ мы говорили на всѣхъ языкахъ, праздно ѣздили по Европѣ, скучали въ Россіи и въ то же время сознавали, что тѣмъ есть дѣло а намъ никакого, они у себя, а мы — нигдѣ.

Онѣгинъ — членъ этого цивилизованнаго общества, но онъ уже не уважаетъ его. Онъ уже сомнѣвается, колеблется; но въ то же время въ недоумѣніи останавливается передъ новыми явленіями жизни, не зная, поклониться ли имъ, или смѣяться надъ ними. Вся жизнь его выражаетъ эту идею, эту борьбу.

А между тѣмъ, въ сущности, душа его жаждетъ новой истины. Кто знаетъ, онъ, можетъ быть, готовъ броситься на колѣни предъ новымъ убѣжденіемъ и жадно, съ благоговѣніемъ принять его въ свою душу. Этому человѣку не устоять; онъ не будетъ никогда прежнимъ человѣкомъ, легкомысленно несознающимъ себя и наивнымъ, но онъ ничего и не разрѣшитъ, не опредѣлитъ сроихъ вѣрованій, онъ будетъ только страдать. Это первый страдалецъ русской сознательной жизни.

Русская жизнь, русская природа пахнула на него всѣмъ обаяніемъ своимъ. Прошла передъ нимъ и русская дѣвушка, — типъ единственный до сихъ поръ во всей нашей поэзіи, передъ которымъ съ такою любовью преклонилась душа Пушкина, какъ передъ роднымъ русскимъ созданіемъ. Онѣгинъ не узналъ ея и, какъ слѣдуетъ, сначала поломался надъ ней, отчасти оказался и хорошимъ человѣкомъ, и самъ не зналъ, что сдѣлалъ: хорошо или дурно? Зато онъ очень хорошо зналъ, что сдѣлалъ дурно, застрѣливъ Ленскаго... Начинаются его мученія, его долгая агонія. Проходитъ молодость. Онъ здоровъ, силы просятся наружу. Что дѣлать? За что взяться? Сознаніе шепчетъ ему, что онъ пустой человѣкъ, злобная иронія шевелится въ душѣ его, и въ то же время онъ сознаетъ, что онъ и не пустой человѣкъ: развѣ пустой можетъ страдать? Пустой занялся бы картами, деньгами, чванствомъ, волокитствомъ. Чего жъ онъ страдаетъ? Оттого, что нельзя ничего дѣлать? Нѣтъ, это страданіе достанется другой эпохѣ. Онѣгинъ страдаетъ еще только тѣмъ, что не знаетъ что дѣлать, не знаетъ даже что уважать, хотя твердо увѣренъ, что есть что-то, которое надо уважать и любить. Но онъ озлобился, и не уважаетъ ни себя, ни мыслей, ни мнѣній своихъ; не уважаетъ даже самую жажду жизни и истины, которая въ немъ; онъ чувствуетъ, что хоть она и сильна, но онъ ничѣмъ для нея не пожертвовалъ, — и онъ съ

ироніей спрашиваетъ: чѣмъ же ей жертвовать, да и *зачѣмъ?* Онъ становится эгоистомъ и между тѣмъ смѣется надъ собой, что даже и эгоистомъ быть не умѣетъ. О, если бъ онъ былъ настоящимъ эгоистомъ, онъ бы успокоился!

Чего мнѣ ждать? Тоска, тоска!

восклицаетъ это дитя своей эпохи среди неразрѣшенныхъ сомнѣній, странныхъ колебаній, невыяснившихся идеаловъ, погибшей вѣры въ прежніе идолы, дѣтскихъ предразсудковъ и неутомимой вѣры во что-то новое, неизвѣстное, но непремѣнно существующее и никакимъ скептицизмомъ, никакой ироніей неразбиваемое. Да! Это дитя эпохи, это вся эпоха, *въ первый разъ* сознательно на себя взглянувшая. Нечего и говорить, до какой полноты, до какой художественности, до какой обаятельной красоты все это — русское, наше, оригинальное, непохожее ни на что европейское, народное. Этотъ типъ вошелъ, наконецъ, въ сознаніе всего нашего общества и пошелъ перерождаться и развиваться съ каждымъ новымъ поколѣніемъ. Въ Печоринѣ онъ дошелъ до неутолимой, желчной злобы и до странной, въ высшей степени оригинально-русской противоположности двухъ разнородныхъ элементовъ: эгоизма до самообожанія и въ то же время злобнаго самонеуваженія. И все та же жажда истины и дѣятельности, и все то же вѣчное роковое *нечего дѣлать!* Отъ злобы и какъ будто на смѣхъ, Печоринъ бросается въ дикую, странную дѣятельность, которая приводитъ его къ глупой, смѣшной, ненужной смерти.

И все это дѣйствительная правда, повторялось, *дѣйствительно,* въ нашей жизни. Явилась потомъ смѣющаяся маска Гоголя, съ страшнымъ могуществомъ смѣха, — съ могуществомъ, не выражавшимся такъ сильно еще никогда, ни въ комъ, нигдѣ, ни въ чьей литературѣ съ тѣхъ поръ, какъ создалась земля. И вотъ послѣ этого смѣха Гоголь умираетъ предъ нами, уморивъ себя самъ, въ безсиліи создать и въ точности опредѣлить себѣ идеалъ, надъ которымъ бы онъ могъ не смѣяться. Но время идетъ впередъ, и послѣдняя точка нашего сознанія достигнута. Рудинъ и Гамлетъ Щигровскаго уѣзда уже не смѣются надъ своею дѣятельностью и своими убѣжденіями: они вѣруютъ, и эта вѣра спасаетъ ихъ. Они только смѣются иногда надъ самими собою, они еще не умѣютъ уважать себя, но они уже почти не эгоисты. Они много безкорыстно выстрадали... Въ наше время прошли ужъ и Рудины...

— Да помилуйте! — восклицаетъ ученый журналъ: — гдѣ же, въ чемъ тутъ народность?

— Какъ народность? — говоримъ мы, разинувъ ротъ отъ недоумѣнія.

— Ну да, русская народность! — говоритъ г. Краевскій, стараясь помочь г. Дудышкину: — ну, тамъ сказки, пѣсни, легенды, преданія... ну и все прочее...

— То есть не совсѣмъ-то, — поспѣшно прерываетъ г. Дудышкинъ своего достойнаго сотрудника по критической части; — а вотъ что: «вся ли Русь исповѣдуетъ элементы поэзіи Пушкина, или только мы одни, образованные? Вѣдь народный поэтъ носитъ въ себѣ и политическія, и общественныя, и религіозныя, и семейныя убѣжденія народа». Ну, что жъ это за народный поэтъ, если ничего изъ его поэзіи не проникло въ народъ, въ *настоящій* народъ?

— А вотъ и договорились! Такъ, стало быть, вы ужъ не признаете и за народъ высшее общество, такъ называемыхъ «образованныхъ»? Что жъ они, по-вашему, — ужъ и не русскіе? Да что за дѣло въ этомъ *случаѣ,* что народъ, государственнымъ переворотомъ, такъ рѣзко раздѣлился на двѣ половины? Вся разница въ томъ, что одна половина образованная, другая нѣтъ. — Вѣдь образованная половина доказала же, что она тоже русская, тотъ же народъ; вѣдь дошла же она до мысли о соединеніи съ народнымъ началомъ. А такъ какъ эта образованная половина болѣе развита, болѣе сознаетъ, чѣмъ необразованная, то въ ней и явился народный поэтъ. А вамъ бы хотѣлось такого народнаго поэта, который заговорилъ бы прямо народнымъ языкомъ, прежде совершившагося въ народѣ процесса развитія и сознанія? Да когда же и гдѣ это бывало? Трудно и представить себѣ такого поэта. Если у французовъ есть, напримѣръ, Беранже, то развѣ онъ для всего народа поэтъ? Онъ поэтъ только парижанъ: огромное большинство французовъ и не знаетъ, и не понимаетъ его, потому что не развито и не можетъ понять, а сверхъ того, исповѣдуетъ и другіе интересы. А если Беранже все-таки не такъ далекъ отъ сознанія непонимающаго его большинства, какъ у насъ Пушкинъ отъ простонародья, то это потому, что подобнаго историческаго раздвоенія народа, какъ у насъ, во Франціи не было. Да позвольте, наконецъ: вы, кажется, прямо опредѣляете народность — простонародностью? Неудивительно послѣ того, что васъ никто не понимаетъ. Почему, съ какой стати народность можетъ принадлежать только одной простонародности? Развѣ съ развитіемъ народа исчезнетъ его народность? Развѣ

мы, «образованные», ужъ и не русскій народъ? Намъ кажется, даже, напротивъ: съ развитіемъ народа развиваются и крѣпнутъ всѣ дары его природы, всѣ богатства ея, и духъ народа еще ярче выступаетъ наружу. Развѣ во времена Перикла греки были уже не греки, какъ триста лѣтъ назадъ? Вы думаете, мы себѣ противорѣчимъ, доказывая необходимость возвратиться къ народному началу, то есть сами признаемся, что мы нѣмцы, а не русскіе? Ничуть; мы именно тѣмъ-то и доказали, что мы русскіе, что признаемъ необходимость воротиться на родную почву. Мы сознали только, что мы разъединились чисто внѣшними обстоятельствами. Эти внѣшнія обстоятельства не давали остальной массѣ народа слѣдовать за нами и такимъ образомъ принесть въ нашу дѣятельность *всѣ* силы русскаго народнаго духа. Мы сознаемъ только то, что мы слишкомъ уединенная и маленькая кучка, и если народъ не пойдетъ вслѣдъ за нами, по той же дорогѣ, то намъ нельзя будетъ вполнѣ себя выразить, и мы выразимъ себя слишкомъ односторонне, слабосильно и даже — смѣло можно сказать, — даже не такъ, какъ выразили бы мы себя, если бъ весь русскій народъ былъ съ нами. Но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобъ мы потеряли народный духъ, чтобъ мы переродились. Почему же мы не народъ? Почему вы лишаете насъ этого почетнаго званія?

Нѣтъ, вы не правы. Вы правы только въ одномъ, что мы не весь народъ, а только часть его; но Пушкинъ, бывши поэтомъ этой части народа, былъ въ то же время и народный поэтъ: это безспорно. Вамъ это непонятно? Но скажите, повторяемъ мы опять, гдѣ же вы видѣли такого народнаго поэта, какъ вамъ онъ представляется? Былъ ли онъ когда-нибудь, возможенъ ли онъ по вашему идеалу? Разсудите: если явится такой поэтъ, какъ вы воображаете, объ чемъ же онъ будетъ говорить? Онъ выразитъ «всѣ политическія, общественныя, религіозныя и семейныя убѣжденія народа», говорите вы. Такъ, Беранже вотъ и выражалъ это же, но выразилъ все это только для небольшой части французовъ, сравнительно съ массой всего народонаселенія, именно для тѣхъ, которые жили, которые заинтересованы были въ политическомъ, общественномъ, религіозномъ и семейномъ движеніи націи. Остальные же французы даже, можетъ быть, и не слыхали о Беранже, потому что еще ни въ какомъ движеніи не участвовали. Когда же будутъ участвовать, то хотя у нихъ и будетъ свой новый Беранже (непремѣнно), и выразитъ онъ что-нибудь новое, что-нибудь такое, что самому Беранже и не грезилось, но, несмотря на то, и старый Беранже пойметъ ими. Они не могутъ его обойти: во-первыхъ, онъ будетъ имѣть для нихъ историческое значеніе, а во-вторыхъ, потому что онъ народенъ, потому что онъ все-таки выражалъ мнѣнія, вѣрованія и убѣжденія французскаго же народа. Точно такъ и Пушкинъ. Одна часть (и самая большая) русскаго народа почти совсѣмъ не участвовала въ томъ, въ чемъ участвовала другая, и разъединеніе продолжалось чрезвычайно долго. Пушкинъ былъ народный поэтъ одной части; но эта часть, во-первыхъ, была самая русская, во-вторыхъ, почувствовала, что Пушкинъ первый сознательно заговорилъ съ ней русскимъ языкомъ, русскими образами, русскими взглядами и воззрѣніями, почувствовала въ Пушкинѣ русскій духъ.

Она очень хорошо поняла, что и лѣтописецъ, что и Отрепьевъ, и Пугачевъ, и патріархъ, и иноки, и Ѣлкинъ, и Онѣгинъ, и Татьяна — все это Русь и русское. Не одно современное, слегка офранцуженное и отрѣшившееся отъ народнаго духа увидѣло въ немъ общество Общество знало, что такъ можетъ писать только Булгаринъ. Разумѣется, смѣшно отвѣчать на такіе вопросы: гдѣ же это русское семейство, которое хотѣлъ изобразить Пушкинъ, въ чемъ его русскій духъ, что именно изобразилъ онъ русскаго? Отвѣтъ ясенъ: надобно хоть немножко понимать поэзію. Отбросимъ все, самое колоссальное, что сдѣлалъ Пушкинъ; возьмите только его пѣсни западныхъ славянъ, прочтите «Видѣніе короля»; если вы русскій, то вы почувствуете, что это въ высочайшей степени русское, не поддѣлка подъ народную легенду, а художественная форма всѣхъ легендъ народныхъ, форма уже прошедшая черезъ сознаніе поэта, и главное — въ первый разъ намъ поэтомъ указанная. Въ первый разъ — это не шутка! Да, почти въ первый разъ вся красота, вся таинственность и все глубокое значеніе народной легенды было достигнуто массою нашего общества. Вы говорите, что въ простонародьѣ не отразился Пушкинъ? Да, потому что простонародье не двигалось въ своемъ развитіи, а не двигалось потому, что не могло двигаться. Оно и грамотѣ не умѣетъ. Но чуть только развитіе коснется народа, Пушкинъ тотчасъ же получитъ и для этой массы свое народное значеніе. Мало того, будетъ имѣть для нея историческое значеніе и будетъ для нея однимъ изъ главнѣйшихъ провозвѣстниковъ *общечеловѣческихъ* началъ, такъ гуманно и такъ широко развившихся въ Пушкинѣ: а это-то самое и нуж-

ное, потому что раздвоеніе наше заключалось въ томъ, что одна часть общества пошла въ Европу, а другая осталась дома. Съ общечеловѣческимъ элементомъ, къ которому такъ жадно склоненъ русскій народъ, онъ, мы увѣрены, наиболѣе познакомится черезъ Пушкина.

Скажемъ болѣе: мы готовы признать, что можетъ явиться народный поэтъ и въ средѣ самого простонародья, — не Кольцовъ, напримѣръ, который былъ неизмѣримо выше своей среды по своему развитію, но настоящій простонародный поэтъ. Такой поэтъ, во-первыхъ, можетъ выражать свою среду, но не возносясь надъ ней отнюдь, а принявъ всю окружающую дѣйствительность за норму, за идеалъ. Его поэзія почти совпадала бы тогда съ народными пѣснями, которыя сочинялись какъ-то созерцательно въ минуту самого пѣнія. Могъ бы онъ явиться и въ другомъ видѣ, т. е. не принимая за норму все окружающее, а уже отчасти отрицая ее, и изобразить какой-нибудь моментъ народной жизни, какое-нибудь движеніе народное, какое-нибудь желаніе его. Такой поэтъ могъ бы быть очень силенъ, могъ бы выразить неподдѣльно народъ. Но, во всякомъ случаѣ, онъ былъ бы не глубокъ, и кругозоръ его былъ бы очень узокъ. Во всякомъ случаѣ, Пушкинъ былъ бы неизмѣримо выше его. Что нужды, что народъ, на теперешней степени своего развитія, не пойметъ всего Пушкина? Онъ пойметъ его потомъ, и изъ его поэзіи научится познавать себя. И зачѣмъ народный поэтъ долженъ быть непремѣнно ниже развитіемъ, чѣмъ высшій классъ народа? По-вашему, вѣдь непремѣнно выходитъ такъ. Пушкинъ на той степени своего развитія, на которой онъ стоялъ, никогда бы не могъ быть понятъ простонародьемъ. Неужели ему, для того, чтобъ его понимало простонародье, слѣдовало непремѣнно идти къ нему и, заговоривъ его языкомъ (что онъ очень бы сумѣлъ сдѣлать), скрыть отъ народа свое развитіе? Народъ почти всегда правъ въ основномъ началѣ своихъ чувствъ, желаній и стремленій, но дороги его во многомъ иногда невѣрны, ошибочны и, что плачевнѣе всего, форма идеаловъ народныхъ часто именно противорѣчитъ тому, къ чему народъ стремится, конечно, моментально противорѣчитъ. Въ такомъ случаѣ Пушкину пришлось бы скрывать себя, вѣровать предразсудкамъ, чувствовать ложно. Какимъ же хитрецомъ представляете вы себѣ народнаго поэта и даже какимъ пейзаномъ съ фарфоровой чашки!

Но, положимъ, наконецъ, что совсѣмъ не надо скрывать свое развитіе и надѣвать маску. Что можно прямо и просто говорить народу истину, безъ лжи и безъ

фальши, благородно и смѣло. Что народъ все пойметъ и оцѣнитъ, будетъ благодаренъ за правду, что стоитъ только выговорить эту правду простымъ и понятнымъ народу языкомъ.

Не будемъ спорить. Во всякомъ случаѣ такой поэтъ былъ бы не сильнѣе Пушкина и далеко бы не выразилъ того, что выразилъ Пушкинъ. Для такой дѣятельности Пушкину надо бы было бросить настоящее свое дѣло и свое великое назначеніе, часть силъ своихъ оставить втунѣ, намѣренно сузить свой кругозоръ и сознательно отказаться отъ половины своей великой дѣятельности.

А въ чемъ состояла его великая дѣятельность? Опять-таки повторяемъ: чтобъ судить о ней, нужно прежде всего хоть немножко понимать поэзію.

«Русскій Вѣстникъ», между прочимъ, не отдаетъ чести Пушкину потому, что онъ не извѣстенъ въ Европѣ; потому что Шекспиръ, Шиллеръ, Гете, проникли всюду въ европейскія литературы и много привнесли въ общечеловѣческое европейское развитіе, а Пушкинъ нѣтъ. Какое дѣтское требованіе!

Не говоримъ ужъ о томъ, что и самый фактъ во многомъ невѣренъ. Въ самомъ дѣлѣ, дѣйствительно ли Шиллеръ и Гете извѣстны во Франціи? Они извѣстны во Франціи нѣсколькимъ ученымъ, нѣсколькимъ серьезнымъ поэтамъ и литераторамъ, да и то большею частью по переводамъ; въ оригиналѣ же и того меньше. Шекспиръ тоже; развѣ въ Германіи и то только въ образованномъ кругу Шекспиръ извѣстенъ; но во Франціи его слишкомъ мало знаютъ. Не ихъ вина, разумѣется, но, конечно, они до сихъ поръ немного сдѣлали для общечеловѣческаго европейскаго развитія, а были полезны каждый у себя дома[1]. «Русскій Вѣстникъ», кажется, безсознательно впалъ въ ошибку: онъ, вѣроятно, судилъ объ общечеловѣческомъ вліяніи вышепоименованныхъ великихъ поэтовъ по русскому обществу. Да, Шиллеръ, дѣйствительно, вошелъ въ кровь русскаго общества, особенно въ прошедшемъ и въ запрошломъ поколѣніи. Мы воспитывались на немъ, онъ намъ родной и во многомъ отразился на нашемъ развитіи. Шекспиръ тоже. Даже Гете извѣстенъ у насъ несравненно болѣе, чѣмъ во Франціи, а можетъ быть, и въ Англіи. Англійская же литература, безспорно, несравненно намъ извѣстнѣе, чѣмъ во Фран-

[1] Мнѣ разсказывали достовѣрно о существованіи въ Парижѣ такихъ литераторовъ, которые не знаютъ Барбье. Не то что не читали, а даже имени-то не знаютъ. Гдѣ жъ имъ послѣ этого знать Шиллера?

ціи. а можетъ быть, и въ Германіи. Но «Русскій Вѣстникъ» только плюетъ на эти факты; для него они не факты, потому что не подходятъ подъ его мѣрочку. Ему указываютъ на фактъ необыкновеннаго общечеловѣческаго стремленія русскаго племени, указываютъ на одного изъ провозвѣстниковъ этого стремленія — Пушкина, говорятъ ему, что явленіе это неслыханное и безпримѣрное между народами, что оно можетъ свидѣтельствовать о чрезвычайно оригинальной чертѣ русскаго характера, что оно, можетъ быть, есть главная сущность русской народности. Но «Русскій Вѣстникъ» не слушаетъ, а говоритъ, что и самой-то народности нѣтъ...

А главное, чѣмъ виноватъ Пушкинъ, что его покамѣстъ не знаетъ Европа? Дѣло въ томъ, что и Россію-то еще не знаетъ Европа: она знала ее досель только по тяжелой необходимости. Другое дѣло, когда русскій элементъ войдетъ плодотворной струей въ общечеловѣческое развитіе, тогда узнаетъ Европа и Пушкина. и навѣрно отыщетъ въ немъ несравненно больше, чѣмъ до сихъ поръ могъ отыскать «Русскій Вѣстникъ». А вѣдь тогда стыдно будетъ передъ иностранцами-то!..

Россія еще молода и только что собирается жить, но это вовсе не вина.

«Отечественныя Записки», отстаивая передъ «Русскимъ Вѣстникомъ» русскую народность, указываютъ какъ на доказательство ея дѣйствительнаго существованія, на чрезвычайное развитіе въ Россіи государственнаго начала.

По-нашему, не этимъ однимъ, да и вообще не этимъ можно доказать дѣйствительность и особенность русской народности. Особенность ея: безсознательная и чрезвычайная стойкость народа въ своей идеѣ, сильный и чуткій отпоръ всему, что ей противорѣчитъ, и вѣковѣчная, благодатная, ничѣмъ не смущаемая вѣра въ справедливость и въ правду.

Великъ былъ тотъ моментъ русской жизни, когда великая, вполнѣ русская воля Петра рѣшилась разорвать оковы, слишкомъ туго сдавившія наше развитіе. Въ дѣлѣ Петра (мы ужъ объ этомъ теперь не споримъ) было много истины. Сознательно ли онъ угадывалъ общечеловѣческое назначеніе русскаго племени, или безсознательно шелъ впередъ, по одному чувству стремившему его, но дѣло въ томъ, что онъ шелъ вѣрно. А между тѣмъ форма его дѣятельности, по чрезвычайной рѣзкости своей, можетъ быть, была ошибочна. Форма же, въ которую онъ преобразовалъ Россію, была, безспорно, ошибочна. Фактъ преобразованія былъ вѣренъ, но формы его были не русскія, не національныя, а нерѣдко и прямо, основнымъ образомъ противорѣчившія народному духу.

Народъ не могъ видѣть окончательной цѣли реформы, да врядъ ли кто-нибудь понималъ ее даже изъ тѣхъ, кто пошелъ за Петромъ, даже изъ такъ называемыхъ «птенцовъ гнѣзда Петрова»; они пошли за преобразователемъ слѣпо и помогали власти для своихъ выгодъ. Если не всѣ, то почти такъ. Гдѣ же было тогда народу угадать, куда ведутъ его? До него и теперь-то достигла только одна грязная струя цивилизаціи. Конечно, невозможно, чтобы хоть что-нибудь не прошло въ народъ живо и плодотворно, хоть безсознательно, хоть только въ возможности. Но то, что было въ реформѣ нерусскаго, фальшиваго, ошибочнаго, то народъ угадалъ разомъ, съ перваго взгляда, однимъ чутьемъ своимъ, и такъ какъ — повторяемъ — не могъ видѣть хорошей, здоровой стороны ея, то весь, однимъ разомъ отъ нея отшатнулся. И какъ стойко и спокойно онъ умѣлъ сохранить себя, какъ умѣлъ умирать за то, что онъ считалъ правдой!

Но идея Петра совершилась и достигла въ наше время окончательнаго развитія. Кончилось тѣмъ, что мы приняли въ себя общечеловѣческое начало и даже сознали, что мы-то, можетъ, и назначены судьбою для общечеловѣческаго мірового соединенія. Если не всѣ сознали это, то многіе сознаютъ. Но, по крайней мѣрѣ, всѣ сознаются, что цивилизація привела насъ обратно на родную почву. Она не сдѣлала насъ исключительно европейцами, не перелила насъ въ какую-нибудь готовую европейскую форму, не лишила народности. «Русскій Вѣстникъ» безконечно неправъ, говоря, что «тамъ, гдѣ идетъ споръ о народности, тамъ значитъ ея нѣтъ», и «Отечественныя Записки» совершенно правы, отвѣчая ему на это:

> На это отвѣтитъ вамъ исторія литературы въ Германіи въ началѣ XIX вѣка и во Франціи, гдѣ тѣ же споры составили цѣлый періодъ литературы, только назывались не спорами о народности, а спорами о романтизмѣ. Эти споры были занесены и къ намъ, но слишкомъ преждевременно, и мы не были готовы принять ихъ и понять во всей глубинѣ. Извѣстенъ результатъ этихъ споровъ на Западѣ: крутой поворотъ европейскихъ литературъ къ самостоятельности, къ народности...

Цивилизація не развела у насъ и сословій: напротивъ, замѣчательно стремится къ сглаженію и къ соединенію ихъ воедино. Можетъ быть, «Русскому Вѣстнику» это очень досадно, но англійскихъ лордовъ у насъ нѣтъ;

французской буржуазіи тоже нѣтъ, пролетаріевъ тоже не будетъ, мы въ это вѣримъ. Взаимной вражды сословій у насъ тоже развиться не можетъ: сословія у насъ, напротивъ, сливаются; теперь покамѣстъ еще все въ броженіи, ничто вполнѣ не опредѣлилось, но зато начинаетъ уже предчувствоваться наше будущее. Идеалъ этого слитія сословій воедино выразится яснѣе въ эпоху наибольшаго всенароднаго развитія образованности.

Образованность и теперь уже занимаетъ у насъ первую ступень въ обществѣ. Все уступаетъ ей; всѣ сословныя преимущества, можно сказать, таютъ въ ней... Въ усиленномъ, въ скорѣйшемъ развитіи образованія — вся наша будущность, вся наша самостоятельность, вся сила, единственный, сознательный путь впередъ и, что важнѣе всего, путь мирный, путь согласія, путь къ настоящей силѣ.

Настоящее высшее сословіе теперь у насъ — сословіе образованное. Но безъ настоящаго, серьезнаго, правильнаго образованія тотчасъ же является въ обществѣ феноменъ въ высшей степени вредный и пагубный: это *наука внѣ науки*. Такъ какъ жажда знаній и науки никакимъ образомъ не можетъ уничтожиться въ обществѣ, тѣмъ болѣе въ теперешнемъ нашемъ, то при маломъ развитіи настоящаго, правильнаго обученія, желающіе учиться начинаютъ учиться самоучкой, безъ системы, безъ правилъ, нерѣдко выбирая себѣ учителей неудачно или, что еще хуже, односторонне знакомыхъ съ наукой. Такимъ образомъ ложныя идеи прививаются къ обществу, особенно молодому и неопытному, укореняются въ немъ и приносятъ впослѣдствіи, а иногда и въ скорости, непріятные, вредные результаты. Совершенно напротивъ происходитъ при правильномъ, широкомъ развитіи образованія. У настоящей науки есть свои пріемы, преданія, системы. Настоящій хранитель такой науки не даетъ молодому уму сбиться на ложную дорогу. Онъ предохранитъ учащагося отъ заблужденія, потому что дѣйствуетъ на него всей силой науки, всѣмъ преданіемъ ея, всѣмъ тѣмъ, до чего правильно и стойко дошелъ умъ человѣческій.

Только образованіемъ можемъ мы завалить и глубокій ровъ, отдѣляющій насъ теперь отъ нашей родной почвы. Грамотность и усиленное распространеніе ея — первый шагъ всякаго образованія.

Когда-то «Отечественныя Записки» жестоко смѣялись надъ нами, что мы, провозглашая о необходимости соединенія общества съ народнымъ началомъ, несемъ ему ту же самую европейскую цивилизацію, которую сами же отвергаемъ.

Отвѣчаемъ.

Мы возвращаемся на нашу почву съ сознательно выжитой и принятой нами идеей общечеловѣческаго нашего назначенія. Къ этой-то идеѣ привела насъ сама цивилизація, которую въ смыслѣ исключительно европейскихъ формъ мы отвергаемъ. Возвращеніе наше свидѣтельствуетъ, что изъ русскаго человѣка цивилизація не могла сдѣлать нѣмца, и что русскій человѣкъ все-таки остался русскимъ. Но мы сознавали тоже, что идти далѣе намъ однимъ было нельзя; что въ помощь нашему дальнѣйшему развитію необходимы намъ и всѣ силы русскаго духа. Мы приносимъ на родную нашу почву образованіе, показываемъ прямо и откровенно, до чего мы дошли съ нимъ, и что оно изъ насъ сдѣлало. А затѣмъ будемъ ждать, что скажетъ вся нація, принявъ отъ насъ науку, будемъ ждать, чтобъ участвовать въ дальнѣйшемъ развитіи нашемъ, въ развитіи народномъ, настоящее-русскомъ, и съ новыми силами, взятыми отъ родной почвы, вступить на правильный путь.

Знаніе не перерождаетъ человѣка: оно только измѣняетъ его, но измѣняетъ не въ одну всеобщую, казенную форму, а сообразно натурѣ того человѣка. Оно не сдѣлаетъ и русскаго не русскимъ; оно даже насъ не передѣлало, а заставило воротиться къ своимъ. Вся нація, конечно, скорѣе скажетъ свое новое слово въ наукѣ и жизни, чѣмъ маленькая кучка, составлявшая до сихъ поръ наше общество. Мы только отвергаемъ исключительно-европейскую форму цивилизаціи и говоримъ, что она намъ не по мѣркѣ.

Но перейдемъ къ народнымъ книжкамъ и преимущественно къ «Читальнику».

IV.

Книжность и грамотность[1].

Статья вторая.

Пожалуй, можно выписать длиннѣйшій рядъ заглавій всѣхъ сочиненій, составленныхъ для народнаго чтенія. Мы хоть и обѣщали въ прошлой статьѣ поговорить о всѣхъ этихъ книжкахъ особенно, но такъ какъ игра почти не стоитъ свѣчъ, то и хотимъ прямо перейти къ разбору «Читальника», какъ единственно сколько-нибудь серьезнаго проекта для народной книги. Мысль нашу о

[1] Напечатано въ журналѣ „Время“ за августъ 1861 г.

«народныхъ книгахъ» читатель можетъ увидѣть и изъ этого разбора; слѣдственно онъ лишился только одного длиннаго перечня пустыхъ книженокъ, существующихъ теперь для «народнаго чтенія». Въ иномъ книгопродавческомъ объявленіи можно ихъ всѣ найти, а въ лавкахъ онѣ всѣ лежатъ особо, на отдѣльныхъ столахъ, не исключая и неудавшихся книжекъ г. Григоровича и «Краснаго яичка» г. Погодина.

Есть у насъ и еще одинъ «народный» писатель, г. Погосскій. Онъ, правда, пишетъ преимущественно для солдатъ. Но о немъ мы намѣрены говорить особенно. Г. Погосскій довольно исключительное явленіе въ нашей «народной литературѣ». Объ остальныхъ же «народныхъ» книжкахъ можно сказать, что онѣ числятся десятками, но помянуть ихъ добрымъ словомъ нельзя. Объ одномъ только онѣ свидѣтельствуютъ: о необыкновенной потребности книги для народнаго чтенія, но объ этомъ свидѣтельствуетъ и «Читальникъ», а потому перейдемъ уже прямо къ «Читальнику».

«Читальникъ» не книга, а проектъ книги для народнаго чтенія, сочиненный г. Щербиною и представленный публикѣ въ «Отечественныхъ Запискахъ» нынѣшняго шестьдесятъ перваго года, въ февралѣ мѣсяцѣ. Статья называется: «Опытъ о книгѣ для народа».

Взгляды автора, цѣльность его проекта, даже тонъ его статьи, — все это намъ показалось очень замѣчательно, во-первыхъ, ужъ потому, что умнѣе его проекта ничего еще у насъ въ этомъ родѣ и не было, сколько намъ помнится. «Отечественныя Записки» замѣчаютъ, что «Опытъ» г. Щербины и обсужденіе этого «Опыта» въ нашей литературѣ принесло бы пользу для составителей народныхъ книгъ. Ну, и то дѣльно.

Г. Щербина начинаетъ свою статью тѣмъ, что сердится на одну брошюрку для народнаго чтенія, появившуюся къ концѣ прошлаго года подъ названіемъ «Хрестоматіи» и стоющую пять копеекъ серебромъ. Похваливъ книженку за то, что она не стоитъ болѣе пяти копеекъ серебромъ, г. Щербина увѣряетъ, что ему «немыслимо», почему на первомъ планѣ ея напечатана сказка Пушкина о «*Кузьмѣ Остолопѣ*» и басня Крылова «*Демьянова Уха*».

Впрочемъ, такъ какъ мы хотимъ разобрать весь проектъ г. Щербины въ подробности (сообразно, разумѣется, силамъ нашимъ), то и выпишемъ изъ начала статьи его всю эту, исполненную негодованія тираду на недальновидныхъ и простодушныхъ издателей «Хрестоматіи».

Намъ просто немыслимо, почему на первомъ планѣ ея напечатана сказка Пушкина „*О Кузьмѣ Остолопѣ*“ или, далѣе, басня Крылова „*Демьянова Уха*“. Не говоримъ уже о названіи „Хрестоматія“, непонятномъ народу: это могло произойти и отъ нѣкоторыхъ посторонникъ причинъ, независящихъ отъ издателя, но зачѣмъ было помѣщать сказку Пушкина? Она имѣетъ свой смыслъ и значеніе въ кругу нашемъ, но народу она покажется *дурашною* и скомпрометируетъ, нѣкоторымъ образомъ, въ глазахъ его и самое ученіе грамотѣ. Попадись эта брошюрка въ руки ученика воскресныхъ школъ, то хозяинъ его, степенный шорникъ, мѣдникъ или слесарь, вѣроятно, со вздохомъ сказалъ бы: „чему ихъ тамъ въ школѣ учатъ!... Только баловство одно...“

„Мужикъ услышитъ подобную сказку и въ кабакѣ, и на площади, мальчикъ — въ своей мастерской и отъ дворника. Книга, такъ зря составленная, не внушитъ уваженія къ грамотѣ и не придастъ ей серьезнаго и полезнаго значенія... А къ чему, напримѣръ, послужитъ для народа знаніе басни „Демьянова Уха“? Она, по содержанію своему, понятна только въ литературномъ и артистическомъ быту, существованія котораго народъ и не подозрѣваетъ... Да и что въ ней занимательнаго или поучительнаго собственно для народа?... Что за большое зло добродушная назойливость тароватаго Демьяна!... Этого ли народу нужно? Это ли въ немъ вопіющая отрицательная сторона, которую нужно преслѣдовать сатирическою солью и насмѣшкою, выраженною въ образѣ?... Подумаешь, что такая „Хрестоматія“ издана не въ Петербургѣ, а гдѣ-нибудь въ Аркадіи — такъ отъ нея вѣетъ младенческимъ незнаніемъ жизни, наивными понятіями, буколическимъ простодушіемъ; такъ и ждешь, что увидишь на заглавномъ листкѣ брошюры слова: изданіе Меналка или Тирсиса... Понятно, что болѣе распространяться о ней логически-невозможно, но, за всѣмъ тѣмъ, появленіе ея наталкиваетъ на мысль о книгѣ для народа, которая въ настоящее время болѣе чѣмъ когда-либо оказывается крайне-необходимою.

Опытъ показалъ, что книги, писанныя исключительно для народа, не удались и не распространились въ немъ. Можно думать, что это отчасти произошло и оттого, что не было принято практическихъ мѣръ къ распространенію ихъ, но, главное, потому, что Россія для всѣхъ насъ terra incognita. Мы относились къ книгѣ для народа только à priori. Непосредственное наблюденіе, жизнь съ народомъ, проникновеніе его средой — были далеки отъ насъ!...

„Мы любимъ“, по словамъ поэта:

Въ роскошно убранной палатѣ
Потолковать о бѣдномъ братѣ,
Погорячиться о добрѣ...

И поэтъ, послѣ этого, могъ невольно воскликнуть:

О, слово старое поэта:
Слова, слова, одни слова!.

Слова благородныя и сильныя, негодованіе тоже благородное. Нѣкоторыя изъ этихъ разсужденій, пожалуй, и очень дѣльны; замѣчаніе о томъ, что сказка о «Кузьмѣ Остолопѣ» писана для господъ и принимается народомъ съ пренебреженіемъ — очень вѣрно, такъ что даже вчужѣ начинаешь сожалѣть о благородныхъ, но близорукихъ составителяхъ «Хрестоматіи». Но съ разсужденіями о

«Демьяновой Ухѣ» мы уже не такъ согласны. То есть, собственно говоря, намъ до самой «Демьяновой Ухи» и дѣла нѣтъ, а дѣло есть до нѣкоторыхъ взглядовъ г. Щербины, такъ сказать, до нѣкоторыхъ основныхъ его воззрѣній. «Что за большое зло добродушная назойливость тароватаго Демьяна!» говоритъ онъ. «Этого ли народу нужно? Это ли въ немъ вопіющая отрицательная сторона, которую нужно преслѣдовать сатирическою солью и насмѣшкою, выраженною въ образѣ?»

То-то и есть. «Демьянова Уха», конечно, имѣетъ у Крылова значеніе частное, а безъ этого значенія, до котораго народу и дѣла нѣтъ, она не только для него не интересна, но даже могла бы быть успѣшно замѣнена тысячью другихъ басенъ. Въ этомъ мы совершенно согласны, да вѣдь главное-то не въ томъ, а въ томъ именно, какъ увѣряетъ г. Щербина, что въ книгѣ для народа и, по возможности, въ каждой статейкѣ такой книги надо преслѣдовать разныя «отрицательныя стороны народа», преслѣдовать ихъ «сатирическою солью и насмѣшкою, выраженною въ образѣ». А «Демьянова Уха» ничего не *преслѣдуетъ* въ народѣ, слѣдственно «Хрестоматія», помѣстившая ее *на свои страницы*, до того невинна, до того, видите ли, вѣетъ отъ нея «младенческимъ незнаніемъ» жизни, наивными понятіями и буколическимъ простодушіемъ, что такъ и ждешь на заглавномъ листкѣ словъ: «изданіе Меналка и Тирсиса».

Мы вовсе не хотимъ здѣсь защищать ни «Демьяновой Ухи», ни «Меналковъ и Тирсисовъ», хотя «сіи послѣдніе» и были намъ когда-то полезны и даже милы. Но для насъ то важно, что намъ нужно соли, и непремѣнно «сатирической соли»; что непремѣнно надобно «преслѣдовать насмѣшками, ниспровергать предразсудки». Надобно, такъ сказать, карать... Учить надобно, *главное* — учить...

Опять повторяемъ: цѣль во всякомъ случаѣ возвышенная и прекрасная, и соотвѣтствуетъ вполнѣ благородству нашего духа. Просвѣщенные должны учить непросвѣщенныхъ. Это обязанность, не такъ ли? Но вотъ что странно и даже, пожалуй, скверно: мы и подойти не можемъ къ народу безъ того, чтобъ не посмѣяться надъ кимъ «безъ сатирической соли», а, главное, безъ того, чтобъ *не учить* его. И вообразить не можемъ, какъ это можно намъ появиться передъ этимъ посконнымъ народонаселеніемъ не какъ власть имѣющими, а запросто? Конечно, мы нашими солями и насмѣшками прежде всего имѣемъ въ виду принести пользу (хотя иногда и сами-то хорошо не знаемъ того, надъ чѣмъ въ народѣ насмѣхаемся. Ну, да это между нами). Мы только хотѣли скромно замѣтить, благо пришлось къ слову, что прежде непремѣнной, *немедленной* пользы народныхъ книжекъ, кромѣ всѣхъ солей, искорененій и нравоученій, очень бы не худо было имѣть въ виду просто распространеніе въ народѣ чтенія, постараться заохотить народъ къ чтенію занимательностью книги, и потому пусть вещь будетъ хоть и безъ соли, да если чуть-чуть занимательна и положительно *невредна* (надѣюсь, поймутъ, что мы подразумѣваемъ подъ словомъ: невредна), такъ и спасибо за нее...

«Придирка, да еще смѣшная!» скажутъ намъ просвѣтители. «Будто мы противъ занимательности, а главное, противъ распространенія любви къ чтенію! Да о немъ-то мы и хлопочемъ! Только вмѣсто «Демьяновой Ухи» все-таки можно помѣстить пресмѣшную, презанимательную, а вмѣстѣ съ тѣмъ и преполезную, пренасмѣшливую вещь, «убивающую отрицательныя стороны»... Такимъ образомъ, всѣ цѣли будутъ достигнуты. Чѣмъ же дурна полезность! Или, можетъ быть, вы противъ полезности, говорите вы намъ, противъ искорененія предразсудковъ и разогнанія мрака невѣжества?

— Ничуть, — отвѣчаемъ мы, — да и Боже насъ сохрани! Кому пріятны невѣжество и предразсудки, да еще не просто невѣжество, а «мракъ невѣжества»? Только вотъ что: *исключительное* напираніе на невѣжество и предразсудки и исключительная забота поскорѣе какъ можно искоренять ихъ въ народѣ, — по нашему мнѣнію (въ нѣкоторомъ смыслѣ, разумѣется) — тоже невѣжество и предразсудокъ. Не знаемъ, какъ бы намъ яснѣе выразиться. Вотъ, напримѣръ, мы знаемъ, что народъ предубѣжденъ противъ насъ, господъ; до того предубѣжденъ, что даже хорошее-то будетъ слушать отъ насъ недовѣрчиво. Ну, а мы, несмотря на это, все-таки хотимъ подходить къ нему не иначе, какъ власть имѣющіе, какъ тѣ же господа, — однимъ словомъ, даже и не можемъ иначе поступить, т. е. поступить пообиходнѣе, помягче, получше узнавъ, въ чемъ дѣло. «Народъ *глупъ*, слѣдственно его надо учить» — вотъ только это одно мы и затвердили, и если ужъ господами намъ предстать предъ нимъ не удастся, то, по крайней мѣрѣ, мудрецами предстанемъ... Впрочемъ, прервемъ на время наши разсужденія. Мы никакъ не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи выписать тутъ же сужденіе самого г. Щербины о нѣкоторыхъ нашихъ прогрессистахъ и умникахъ и вообще о такъ называемыхъ «знатокахъ» нашей родной жизни, готовящихъ себя въ ея руководители. Это золотыя слова!

Иная книга и была составлена, повидимому, весьма умно, но въ народѣ все-таки не прививалась, оттого, что какъ-то невольно сбивалась на нѣмца или француза, передѣтаго по-мужицки, а между тѣмъ на чувство простолюдина скорѣй подѣйствовали переводы „Потеряннаго Рая“ или „Франциля Венеціяна“, чѣмъ книги, писанныя соотечественниками собственно для народа, его языкомъ и почерпнутыя изъ его исторіи и быта. На это стоитъ обратить вниманіе. Мы были неспособны инстинктивно, прямодушно и, вмѣстѣ съ тѣмъ, практически стать твердою ногою на его почву, поставить себя на его мѣсто, перенестись на степень его развитія, сердцемъ и умомъ уразумѣть его понятія, вкусъ и наклонности. Въ этомъ намъ не помогли ни таланты, ни познанія, ни наше европейское образованіе, и это оттого, что Россію знаемъ мы всего менѣе, что *начало національности почти не входитъ въ наше воспитаніе:* отсюда у насъ недостатокъ практичности, физіономіи, самодѣятельности мысли. Примемся ли мы за самихъ себя, за явленія, факты и данныя нашей жизни, мы непремѣнно посмотримъ на нихъ въ какія-либо *цвѣтныя стеклышки*, купленныя нами или въ Палероялѣ, или на лейпцигской ярмаркѣ, или на отечественномъ толкучемъ рынкѣ.

Къ тому жъ, мы сами, не замѣчая того, люди рутины по преимуществу, и у всякаго небольшого періода времени есть своя рутина. Попробуй-ка кто отнестись безъ предубѣжденія, не съ низкопоклоннымъ анализомъ къ какой-нибудь модной и находящейся во всеобщемъ употребленіи идейкѣ, или къ какому ни на есть кумирчику, которымъ мы крѣпки въ данную минуту: онъ будетъ смѣшанъ съ грязью... Зато ужъ когда прорвется — намъ и гиганты нипочемъ: мы представляемъ собою, съ одной стороны, раболѣпіе, находясь въ крѣпостномъ состояніи у идеекъ и кумирчиковъ, съ другой, нетерпимость и деспотизмъ: у насъ тотъ, кто разнится съ нами въ убѣжденіяхъ — или умственно-ограниченный или недобросовѣстный человѣкъ. Слова нѣтъ, у насъ много благородныхъ идеаловъ, просвѣтленныхъ европейской наукой, но нѣтъ знанія многихъ условій, самомалѣйшихъ данныхъ, духа и обстановки нашей народной и мѣстной жизни. Мы въ практической жизни идеологи, и это частью и потому, что тутъ не требуется большого труда. Мы не воспринимаемъ знанія всецѣло, органически, не начинаемъ своего изученія ab ovo; съ насъ довольно послѣднихъ результатовъ мысли, верхушекъ знанія. Большинство изъ насъ не болѣе какъ „начетчики“. У насъ очень легко сдѣлаться умниками и передовыми людьми, попасть въ литературные или другіе какіе-либо общественные дѣятели. У насъ только и существуютъ что двѣ крайности: или свой собственный, доморощенный „глазомѣръ“, или безусловное, безотносительное, рабски-догматическое принятіе какого-либо ученія извнѣ. У насъ еще считаютъ образованнымъ, благороднымъ, современнымъ и, главное, умнымъ человѣкомъ того, кто пріобрѣлъ кой-какія знанія *въ абсолютномъ смыслѣ, въ абсолютной сторонѣ и сущности вещей* и кто имѣя самый обиходный разсудокъ, формулируетъ ихъ, при случаѣ, и разводитъ модными фразами и европейскими общими мѣстами. При томъ же подобныя добродѣтели даже и лично выгодны въ наше время. Мы еще далеки отъ того убѣжденія, что истинный *разумъ* только у того, кто въ каждый извѣстный моментъ найдется и сможетъ понять *относительную сторону и значеніе вещей* — этотъ омутъ безпрестанно вращающихся, измѣняющихся и возникающихъ данныхъ, кто въ состояніи схватить и невидимую связь ихъ съ идеаломъ, и связь между собою.. Да, тутъ ужъ требуется самостоятельность, самодѣятельность мысли и

прочная крѣпость знанія. Этого ужъ не у кого вычитать... Но что же дѣлать? Таковъ общій и, можетъ быть, не совсѣмъ зависящій отъ насъ недостатокъ нашего воспитанія...

Истинно золотыя слова, благородныя и золотыя! Тутъ что ни слово, то правда. То, что отмѣчено въ этой выпискѣ курсивомъ, — отмѣчено самимъ г. Щербиною. Мы было съ своей стороны хотѣли тоже отмѣтить нѣкоторыя, наиболѣе мѣткія и правдивыя его выраженія курсивомъ, — да и не отмѣтили, потому что тутъ что ни фраза, то и отмѣчай ее крестомъ. Такъ мѣтко и истинно, что мы рѣдко читали что-нибудь умнѣе этого сужденія. Жаль только, что немного отвлеченно высказано. Мы и такія-то истины не умѣемъ какъ-то высказать въ болѣе близкомъ приложеніи къ дѣйствительности, т. е. и умѣемъ, да у насъ это *не принято.* У насъ все болѣе сбивается на теорію, на знаніе въ *абсолютномъ смыслѣ*, въ *абсолютной сторонѣ вещей*, говоря словами самого г. Щербины. Далѣе, продолжая свою тираду, г. Щербина даже увлекается слишкомъ сильнымъ гнѣвомъ. Гнѣвъ его, конечно, благороденъ, но не совсѣмъ справедливъ, потому что ужъ слишкомъ силенъ. Вотъ что говоритъ г. Щербина.

Подобныя, повидимому, ничтожныя явленія невольно наводятъ на мысль о необходимости коренного преобразованія въ нашемъ воспитаніи и просвѣщеніи. Несостоятельность, пустота и безплодность ихъ очевидны: нѣтъ въ нихъ корней своей народности, себязнанія, нѣтъ въ нихъ прочной и строгой науки. Мы еще просты до того, что пустозвонство модныхъ современныхъ фразъ принимаемъ за образованность; мы благонамѣренны до того, что слово прогрессъ не сходитъ у насъ съ языка, а на самомъ дѣлѣ это слово у насъ не имѣетъ никакого значенія. Чтобъ дѣйствовать, нужно любить, чтобъ любить, необходимо знать то, что любишь... Мы же не знаемъ того... И вотъ, всѣ наши благородныя стремленія, что называется, „съ вѣтру“, привились модою, приняты извнѣ за догматъ, по силѣ всеобщаго авторитета, и самое чувство любви къ нашему дѣлу мы на себя „напустили“.

„То кровь кипитъ, то силъ избытокъ“ -- ибо любить невозможно не зная.

Г. Щербина тутъ слишкомъ строгъ. Не можетъ быть, что тутъ одна «кровь кипитъ и силъ избытокъ», чтобъ мы чувство любви къ нашему дѣлу на себя «напустили». Мы не вѣримъ въ строгость такого приговора. Настоящее движеніе идей будетъ имѣть со временемъ свою строгую и безпристрастную исторію. Тогда, можетъ быть, дѣло объяснится поглубже и поотраднѣе. Если посмотрѣть на дѣло не такъ отвлеченно, а нѣсколько попрактичнѣе, основываясь на нѣкоторыхъ фактахъ, то между фактами, противными нашему мнѣнію, мы навѣрно найдемъ нѣсколько и благопріятствующихъ. Къ чему «одно худое

видѣть»? Можно безпристрастно смотрѣть на дѣло и не будучи заклятымъ оптимистомъ, *смѣшнымъ* оптимистомъ, потому что у насъ, при обнаруженіи каждаго мнѣнія, чрезвычайно боятся смѣшного. Оттого-то такъ и много людей, держащихся мнѣній болѣе *общихъ*, взглядовъ *наиболѣе раздѣляемыхъ*. Походить на всѣхъ — самое лучшее средство радикально избѣгнуть смѣшного. Мы вовсе не хотимъ этимъ сказать, что г. Щербина тоже нѣсколько наклоненъ придерживаться *общихъ мнѣній*, походить на всѣхъ. Взглядъ г. Щербины, дѣйствительно, раздѣляется *большинствомъ* нашихъ людей, наиболѣе благородныхъ и передовыхъ, а наши передовые естественно не могутъ, во взглядахъ своихъ на наше поколѣніе, значительно разниться съ думою Лермонтова, хотя эта дума предупредила насъ четвертью столѣтія. Конечно, между передовыми людьми еще не положено теперь принимать, чтобъ въ двадцать пять лѣтъ между нами произошелъ хоть какой-нибудь прогрессъ, но невозможно, чтобъ его совершенно и не было. Мы увѣрены, что г. Щербина не потребуетъ отъ насъ именныхъ фактовъ для доказательства мнѣній нашихъ. Представимъ ему хоть, напримѣръ, одинъ случай, — именно слѣдующій: тамъ, гдѣ самъ г. Щербина, въ своей тирадѣ, которую мы выписали, говоритъ: «*мы* не знаемъ», «*мы* не вѣдаемъ»... «*мы* не любимъ»... «*мы* чувство любви на себя напустили»... «У *насъ* кровь кипитъ, у *насъ* силъ избытокъ», — это словцо *мы* у г. Щербины, вѣроятно, вездѣ поставлено для учтивости. Вѣдь не считаетъ же онъ себя въ самомъ дѣлѣ въ этой же категоріи, то есть нелюбящимъ, недозрѣвшимъ, любить неумѣющимъ, напустившимъ и проч., и проч. Иначе не сталъ бы онъ такъ горячиться, такъ укорять, презирать, давать такіе совѣты. Ну, а если такъ, то вотъ ужъ одинъ и есть, умѣющій и любить, и цѣнить, и дѣйствовать...

— Но вы какъ будто неискренни, — скажутъ намъ: — говорите какъ будто иронически, критикуете... Вотъ давеча вы, кажется, замѣтили, что ненадобно *учить*, что исключительное напираніе на невѣжество и предразсудки и исключительная забота, *какъ можно скорѣе* искоренять ихъ въ народѣ, — тоже своего рода невѣжество и предразсудокъ. Какая дичь!

— То есть мы было и осмѣлились замѣтить, — отвѣчаемъ мы, — но теперь даже и раскаеваемся, что сдѣлали это замѣчаніе. Для насъ оно ужасно щекотливо, «Попробуй-ка кто отнестись безъ предубѣжденія, не съ низкопоклоннымъ анализомъ къ какой-нибудь модной и находящейся во всеобщемъ употребленіи идейкѣ, и къ какому ни на есть кумирчику, которымъ мы крѣпки въ

данную минуту: онъ будетъ смѣшанъ съ грязью». Вотъ собственныя слова г. Щербины, и мы именно чувствуемъ себя теперь въ этомъ положеніи. — Какъ! — закричатъ намъ: — не учить народъ, то есть *распространять* предразсудки, невѣжество, безграмотность!.. Обскуранты! Преступники!

Ужасно трудно иногда объясняться!

Боже насъ сохрани! Мы вовсе не про то говоримъ, что *учить не надо*. Сами же мы только одно и кричимъ, только объ одномъ и возвѣщаемъ: грамотность! Грамотность! Учить, напротивъ, надо. Только много, слишкомъ много надо имѣть, по нашему мнѣнію, самоувѣренности, чтобъ думать, что народъ такъ вотъ и разинетъ ротъ, слушая, какъ мы будемъ его учить. Вѣдь народъ не совсѣмъ же стадо. Мы даже увѣрены, что онъ самъ про себя смекаетъ, а если не смекаетъ, то хоть чувствуетъ, что мы, господа, сами еще чего-то не знаемъ, идя къ нему въ учителя, такъ что намъ самимъ прежде надо бы кой-чему у него же поучиться, а оттого и, дѣйствительно, не уважаетъ и всю нашу науку, по крайней мѣрѣ, не любитъ ее.

Всякій, имѣвшій когда-нибудь дѣло съ народомъ, можетъ провѣрить на себѣ это впечатлѣніе. Вѣдь чтобъ народъ дѣйствительно слушалъ насъ, разиня ротъ, надо прежде всего это заслужить отъ него, т. е. войти къ нему въ довѣріе, въ уваженіе, а вѣдь легкомысленное убѣжденіе наше, что стоитъ намъ только разинуть ротъ, такъ мы и все побѣдимъ — вовсе не заслужитъ его довѣрія, тѣмъ болѣе уваженія. Вѣдь онъ это понимаетъ. Ничего такъ скоро не понимаетъ человѣкъ, какъ тона вашего обращенія съ нимъ, вашего чувства къ нему. Наивное наше сознаніе въ нашей неизмѣримой передъ народомъ мудрости и учености покажется ему только смѣшнымъ, а во многихъ случаяхъ даже оскорбительнымъ. Вотъ вы, г. Щербина, кажется, совершенно увѣрены, что народъ этого не замѣтитъ, то есть того необыкновеннаго нашего превосходства передъ нимъ, съ которымъ мы приступаемъ къ составленію для него книги по вашей программѣ. Вы, г. Щербина, любите народъ — мы въ этомъ увѣрены — и изъ любви къ нему работаете. Но вѣдь любить-то просто мало: надо умѣть выказать любовь. Вы вотъ и хотите выказать вашу любовь тѣмъ, что будете учить народъ, хвалить его за добро и смѣяться надъ его зломъ, особенно стараясь преслѣдовать насмѣшкою его «отрицательныя стороны» и проч., и проч. Э! мало ли кто его не училъ и не учитъ, мало ли кто не смѣялся надъ нимъ и не смѣется! Вѣдь этимъ любви не докажешь, по крайней

мѣрѣ, неудобно, да и надоѣстъ, наконецъ, столько учителей! А вдругъ къ тому же, если народъ узнаетъ (а не узнаетъ, такъ какъ-нибудь почувствуетъ), что вѣдь и насъ, обратно, онъ могъ бы многому научить, а мы-то и ухомъ не ведемъ и не подозрѣваемъ этого, даже смѣемся надъ этой мыслью и подступаемъ къ нему свысока съ своими указками. А научить-то народъ насъ могъ бы, право, многому; вотъ хоть бы тому, напримѣръ, какъ намъ его же учить. Вѣдь между нами попадаются иногда удивительные учителя. Иной, знаете, этакъ отъ почвы-то давно ужъ отдѣлился, еще прадѣдушка его администраторомъ былъ, съ народомъ никакихъ общихъ интересовъ не имѣлъ и за стыдъ почиталъ имѣть; развитіе-то у внучка вышло по преимуществу свысока, общечеловѣческое, научно-теоретическое, истины пошли идеальныя, — однимъ словомъ, человѣкъ вышелъ благороднѣйшій, но необыкновенно похожій на стертый пятиалтынный: видно, что серебро, а ни клейма, ни года, ни какой націи, французская ли, голландская ли, русская ли монста — неизвѣстно. Иной изъ такихъ станетъ вдругъ фертомъ середи дороги, и ну искоренять предразсудки. Всѣ эти господа чрезвычайно и какъ-то особенно любятъ искоренять предразсудки, напримѣръ, суесвятство, дурное обращеніе съ женщинами, поклоненіе идоламъ и проч., и проч. Многіе изъ нихъ уже написали объ этомъ цѣлые трактаты, другіе изучали эти вопросы въ университетахъ, иногда заграничныхъ, у ученыхъ профессоровъ, по прекраснымъ книжкамъ. И вдругъ этотъ «дѣятель» сталкивается, наконецъ, съ дѣйствительностью, замѣчаетъ какой-нибудь предразсудокъ. Онъ до того воспламеняется, что тотчасъ же обрушивается на него всѣмъ своимъ хохотомъ и свистомъ, преслѣдуетъ его насмѣшками, и, въ благородномъ негодованіи своемъ, харкаетъ и плюетъ на этотъ предразсудокъ, тутъ же при всемъ честномъ народѣ, забывая и даже не думая о томъ, что вѣдь этотъ предразсудокъ покамѣстъ все-таки дорогъ для народа; мало того, — что низокъ былъ бы народъ и недостоинъ ни малѣйшаго уваженія, если бъ онъ слишкомъ легко, слишкомъ *по-научному*, слишкомъ *вдругъ* способенъ бы былъ отказаться отъ дорогого и чтимаго имъ предмета. «Ты, баринъ, не смѣйся и не плюй,—скажутъ ему мужики:— вѣдь это намъ отъ отцовъ и дѣдовъ досталось; это мы любимъ и это чтимъ». — Тѣмъ скорѣе надо искоренять въ васъ этотъ предразсудокъ! — кричитъ просвѣтитель: — значитъ, тѣмъ глубже онъ въ васъ сидитъ; вотъ я и плюю на вашъ предразсудокъ, во-первыхъ, потому, что онъ мои благородныя чувства возмущаетъ, а во-вторыхъ, чтобъ вамъ же, дуракамъ, показать, какъ я его мало цѣню; вы и учитесь на меня глядя. — Ну, что съ такимъ дѣлать? Вѣдь этотъ господинъ не только неспособенъ смотрѣть на предметъ *исторически*, въ связи съ почвой и съ жизнью, но и человѣколюбиво-то смотрѣть неспособенъ, потому что и человѣколюбивъ-то онъ теоретически, по-книжному. А ужъ о томъ, чтобъ быть почтительнѣе къ народу, съ нимъ и говорить нечего. Ему дѣла нѣтъ, что этотъ предметъ только для него одного ничего не значитъ, а для другихъ онъ свидѣтель и знаменіе прошлой жизни, что онъ и теперь, можетъ быть, *вся* жизнь и знамя этой жизни. Да что говорить! Мы вѣдь совершенно увѣрены, что г. Щербина знаетъ все это гораздо лучше и основательнѣе насъ. Съ его умомъ какъ не знать. Да вѣдь одного знанія мало; не мѣшало бы быть и поосторожнѣе. А вѣдь слишкомъ исключительное и поспѣшное желаніе — прежде всего «обучить», «осмѣять насмѣшками» и «напасть на отрицательныя стороны» — тоже своего рода неосторожность. Не лучше ли подступить къ народу на болѣе равныхъ основаніяхъ? Когда онъ увидитъ въ васъ по-менѣе *исключительнаго желанія учить*, то скорѣе вамъ повѣритъ. Учить дѣло превосходное, да вѣдь не всякаго учителя любятъ. А ужъ если на то пошло, чтобъ учить и болѣе *ничего*, такъ не лучше ли бы прямо, съ перваго раза объявить откровеннѣе: «Вотъ смотри, народъ: я ученый, а вы всѣ дураки. Васъ учить пришелъ: слушайте и слушайтесь?» Вѣдь это, право, лучше. А то вы даже и тутъ подступаете съ подвохомъ и даже скрываете, что вы *исключительно* хотите учить и больше *ничего*. Хитрите вы очень и — *слишкомъ* ужъ считаете народъ глупымъ, а вѣдь это для него обидно Впрочемъ, вамъ наши слова навѣрно покажутся непонятными и даже придирчивыми. Мы и сами видимъ, что нечего разсуждать a priori. Приступимъ лучше прямо къ разбору вашего проекта. А для этого намъ необходимо сдѣлать изъ вашей же статьи значительныя выписки.

Хрестоматія, о которой мы упомянули, какъ бы вызываетъ каждаго, думавшаго о книгѣ для народнаго чтенія, изложить и свой планъ изданія ея. Разумѣется, такая книга назначается только для извѣстнаго времени, и потому на планъ ея должно смотрѣть не иначе, какъ относительно... но, во-первыхъ, назовемъ ее:

„Читальникъ“.

Предполагается, что эта книга должна распространиться и войти въ народъ, какъ нѣкогда извѣстный „*Письмовникъ Курганова*“, почему редакція „Читальника“ отчасти имѣетъ его въ виду по предмету содержанія и расположенія статей въ книгѣ. Назначеніемъ для народа

обусловливается такъ же внѣшній видъ, объемистость и дешевизна изданія.

Относительно самаго названія книги „*Читальникъ*“ можно сказать, по крайнему нашему разумѣнію, то, что оно составлено въ духѣ русскаго языка и простонародья, какъ, напримѣръ, отъ молитва „Молитвенникъ“, отъ поминать „Поминальница“, отъ пѣсня „Пѣсенникъ“, отъ письмо „Письмовникъ“ и т. д. [1].

Къ тому жъ, какъ намъ кажется, это названіе легко запечатлѣется въ народной памяти и сознаніи по формѣ своей и по внутреннему смыслу... Не называть же стать „Хрестоматіей“ или прямо „Книгой для народнаго чтенія и воскресныхъ школъ“: это было бы непрактически и показало бы недостатокъ знанія народа: не слѣдуетъ ему говорить, что, молъ, эту именно книгу онъ читать долженъ.

Сперва слѣдуетъ сказать о внутреннемъ содержаніи книги и расположеніи статей, составляющихъ ее.

При составленіи „Читальника“, издатель имѣетъ въ виду:

1) Основываясь на *психологическихъ соображеніяхъ*, онъ такъ располагаетъ отдѣлы и статьи въ книгѣ, чтобъ одинъ отдѣлъ, развивая понятія и подстрекая любопытство въ читающемъ, подготовлялъ его незамѣтно къ другому отдѣлу; прочтеніе другого отдѣла подготовляетъ къ третьему и такъ далѣе, въ психической постепенности. Начиная со случаевъ повседневной жизни простолюдина, выраженныхъ рядомъ басенъ, притчей, пословицъ и т. п. (что всего ближе къ его собственной личности), и переходя отъ нихъ къ предметамъ видимой, окружающей его природы (землѣ, воздуху, небу), онъ совокупностью этихъ и другихъ статей послѣдовательно приходитъ въ концѣ книги къ чтенію о духовно-нравственныхъ предметахъ: положимъ, отъ басни Крылова „*Крестьянинъ въ бѣдѣ*“ до стихотворен. Хомякова: „*По прочтеніи Псалма*“.

2) Основываясь на *практическихъ соображеніяхъ*, издатель, принявъ къ свѣдѣнію, какіе именно коренные недостатки существуютъ въ народѣ, недостатки общіе или свойственные въ особенности только нашему народу, такъ и подбираетъ содержаніе статей въ своей книгѣ. Издатель, сверхъ того, долженъ замѣчать, какія именно знанія необходимы въ условіяхъ народнаго быта, и чѣмъ народъ интересуется. Въ послѣднемъ случаѣ ему укажутъ на это предметы, упоминаемые въ народныхъ стихахъ, пѣсняхъ, легендахъ, въ древнерусской народной письменности, изъ чего онъ увидитъ, что можетъ быть любо народу въ книгѣ. Тутъ такъ же необходимо издателю принять въ разсужденіе успѣхъ у народа книжекъ въ родѣ: *Битвы русскихъ съ кабардинцами, Милорда Георга, Анекдотовъ о Балакиревѣ, Старичка-Весельчака, Новѣйшаго астрономическаго и астрологическаго Телескопа, Мамаева побоища* и т. п.

Въ статьяхъ, назначенныхъ для духовно-нравственнаго развитія, берется содержаніе, выражающее гуманизмъ, или содержаніе, направленное противъ жизни спустя-рукава, противъ бездушнаго своекорыстія, самодурства, безобщественности, неуваженія къ человѣческой личности, къ праву другого и тому подобнаго, замѣчаемаго исключительно въ нашемъ народѣ, какъ слѣдствіе независящихъ отъ него разныхъ историческихъ обстоятельствъ. Все это по большей части и

[1] Въ русской литературѣ до-петровскаго періода встрѣчаются названія книгъ въ такой же формѣ: „Травникъ“, „Мысленникъ“, „Громникъ“, „Волховникъ“, „Колядникъ“ и проч. *Авт.*

по возможности берется для книги представленнымъ въ образахъ, а не въ дидактическомъ и догматическомъ изложеніи, принимая во вниманіе, что нашъ народъ находится еще почти въ эпическомъ состояніи.

Ясно, что вся книга должна быть направлена къ двумъ главнымъ цѣлямъ: 1) чтобъ доставить народу, при развитіи понятій, *познанія*, необходимыя, какъ воздухъ, каждому человѣку вообще и русскому простолюдину въ особенности; 2) чтобъ содѣйствовать въ народѣ къ большему развитію нравственнаго, человѣческаго чувства, въ строгомъ соображеніи съ духомъ, нравами, обычаями, исторіею, обстановкой и бытомъ русскаго простонародья. При томъ же, для народа нужно такъ составить книгу, чтобъ было въ ней: „чего хочешь — того просишь“.

И кромѣ того вы приписываете, по поводу вашего мнѣнія, что нужно говорить съ народомъ простымъ, яснымъ и отчетливымъ языкомъ, а не поддѣлываться подъ тонъ народный и не стараться разговаривать маленькомужицкимъ слогомъ, слѣдующее:

Всякая поддѣлка въ книгѣ подъ народный тонъ, всякое балагурство, ломанье передъ народомъ компрометируютъ какъ извѣстную книгу, такъ и грамоту вообще въ глазахъ народа. Нашъ народъ уменъ и тотчасъ смекнетъ, кто подходитъ къ нему неспроста, а съ подвохомъ; это въ глазахъ его нѣкоторымъ образомъ сбивается на переодѣтыхъ по-мужичьи господъ, собирающихъ народныя пѣсни, или на баръ, читающихъ мужику-сиволапу наставленіе, которое, какъ обыкновенно всякое наставленіе, всегда и всѣми пропускается мимо ушей.

Остановимся хоть здѣсь. Вотъ видите, — вы сами противъ всякаго подвоха и говорите объ этомъ превосходно, особенно тамъ, гдѣ упоминаете про переодѣтыхъ по-мужичьи господъ и про наставленія, пропускаемыя мимо ушей. Теорія у васъ иногда выходитъ очень хорошо, но на практикѣ вы тотчасъ же себѣ противорѣчите. Будто вы сами подходите безъ подвоха, будто все, что мы теперь выписали — не своего рода подвохъ, начиная съ самаго названія книги: Читальникъ? Почему Читальникъ? Потому, дескать, что въ прежней литературѣ до-петровскаго періода встрѣчаются названія: Травникъ, Мысленникъ, Громникъ, Волховникъ, Колядникъ и проч. Но вѣдь то было въ до-петровской литературѣ. Тогда названіе это произошло наивно, тогда всѣ эти книги (назначаемыя и для сословія высшаго) иначе и не назывались. Теперь же книги называются иначе; для всѣхъ иначе, а для народа такъ вотъ по-старому: «Читальникъ». Эта особенность можетъ поразить народъ: «значитъ де для насъ и составлена особая книга, потому тѣ книги, знать, не про нашу честь»... Вѣдь послѣ такого разсужденія не прибавится уваженія къ «Читальнику», да и любящіе чтеніе изъ народа захотятъ скорѣе барскихъ

книгъ, запрещеннаго плода, и будутъ уважать ихъ не въ примѣръ больше своей обиходной *холопской*, посконной книги. «Народъ не замѣтитъ», скажете вы. Врядъ ли. А ну какъ замѣтитъ? Ну, да положимъ, не замѣтитъ; но согласитесь въ томъ, что ужъ излишнее, исключительное, до *мелочи* доходящее стараніе сдѣлать книгу какъ можно больше народною даже самымъ названіемъ ея — ужъ рекомендуетъ отчасти все изданіе. Мы уже предчувствуемъ его дальнѣйшій характеръ и — не обманываемся. Сейчасъ же послѣ этого вы говорите: «Не называть же стать (книгу) «Хрестоматіей» или прямо «Книгой для народнаго чтенія и воскресныхъ школъ»: это было бы непрактически и показало бы недостатокъ знанія народа: не слѣдуетъ ему говорить, что, молъ, эту именно книгу онъ читать долженъ». Вотъ вы ужъ и *обманываете* народъ, положимъ, съ благородною и возвышенною цѣлью, но не говоря уже о томъ, что самое это излишнее и мелочное стараніе ваше скрыть обманъ и наведетъ народъ на догадку объ обманѣ (названіе «Читальникъ» до того необыкновенное и *маленько-мужицкое*, что онъ тотчасъ догадается, потому что онъ гораздо умнѣе и догадливѣе, чѣмъ, кажется, вы предполагаете) — не говоря уже о томъ, опять-таки это стараніе скрыть отъ народа истину и подобмануть его, выказываетъ, несмотря на все благородство цѣли, что-то непріятное для народа. Вѣдь говорите же вы дальше въ одномъ мѣстѣ, что хоть статьи о физической природѣ и надо выбирать изъ дѣтскихъ книгъ, но такъ, чтобъ не по чему было замѣтить, что первоначально это писано для дѣтей. «Народъ съ одной стороны тоже дитя», говорите вы.

Разсмотримъ далѣе вашу выписку. Вы пишете:

Основываясь на психологическихъ соображеніяхъ, издатель такъ располагаетъ отдѣлы статьи въ книгѣ, чтобы одинъ отдѣлъ, развивая понятія и подстрекая любопытство въ читающемъ, подготовлялъ его незамѣтно къ другому отдѣлу; прочтеніе другого отдѣла подготовляетъ къ третьему и т. д., въ психической постепенности.

Или:

Основываясь на практическихъ соображеніяхъ, издатель, принявъ къ свѣдѣнію, какіе именно коренные недостатки существуютъ въ народѣ — недостатки общіе или свойственные въ особенности только нашему народу, *такъ и подбираетъ* содержаніе статей въ своей книгѣ. (Это *такъ и подбираетъ* — верхъ совершенства!)

И далѣе:

Издатель, сверхъ того, долженъ замѣчать, какія именно *знанія необходимы* въ условіяхъ народнаго быта, и чѣмъ народъ интересуется...

Кромѣ того, что довольно поздно замѣчать это уже при составленіи самой книги, — а надо бы знать пораньше, кромѣ этого, — что я за особенный такой человѣкъ, подумаетъ про себя простолюдинъ, что мнѣ и знанія-то надо особенныя? Да я вотъ хочу знать, на чемъ свѣтъ стоитъ.

— Врешь! Рано тебѣ это знать, — отвѣчаетъ благоразумный опекунъ: — ты мужикъ, а потому и долженъ знать про свое, про мужичье. Вотъ мы тебѣ тутъ *подобрали*...

Отвѣтъ, конечно, благоразумный и справедливый, и мужикъ, конечно, долженъ съ нимъ согласиться, но вѣдь слишкомъ-то явно высказывать это обидно. Вѣдь извѣстно, за что люди иногда обижаются. Вонъ у Гоголя одинъ герой назвалъ другого поповичемъ. Тотъ хотя и дѣйствительно былъ поповичъ, а неизвѣстно почему обидѣлся. А за что бы, кажется?

Правда, мужикъ не догадается, вы вѣдь на это разсчитываете (я все забываю). Но въ самомъ дѣлѣ, что за щепетильность, что за предосторожности! Вѣдь, пожалуй, бросится въ глаза. Старанья-то *подбиранія* слишкомъ ужъ много. Право, поменьше бы съ вашей стороны этой исключительной заботливости и даже какой-то подозрительности — и ей Богу было бы лучше. Вы были бы тогда болѣе за-просто, болѣе на равныхъ основаніяхъ къ вашему будущему ученику-народу. — Ему бы вотъ что могло тогда придти въ голову: что вы для денегъ, для спекуляціи составили вашу книжку, и самый-то подборъ вашъ, который все-таки въ книгѣ остался бы, хоть и въ меньшей степени, — послужилъ бы тогда на пользу. Народъ бы сказалъ: «Вишь хитрецы! Какъ хорошо про все расписали: заманиваютъ, чтобъ книжку раскупить!» И пусть бы онъ такъ думалъ и прекрасно бы вышло, потому что книжку-то онъ тогда бы купилъ. Конечно, тогда ужъ народъ не догадался бы обо всѣхъ нашихъ великодушныхъ стремленіяхъ, о нашемъ безкорыстіи, о томъ, что мы добровольно убытокъ приняли, чтобъ только его научить, но вѣдь и къ чему это? Во-первыхъ, ужъ, конечно, лучше приготовить себѣ награду на небеси, а во-вторыхъ, если бъ народъ догадался, то и книжку-то, пожалуй бы, не купилъ. Вѣдь народъ глупъ; пожалуй, еще махнетъ рукой на всѣ наши труды, да и скажетъ: «Та же опека!» Вѣдь онъ тоже ужасно какъ мнителенъ. Спекуляція лучше; въ видимомъ желаніи выманить у народа деньги, право, было бы больше съ нимъ панибратства и равенства, а вѣдь оно-то въ этомъ случаѣ и нужно, потому что народъ это любитъ и ужъ,

конечно, скорѣе довѣритъ своему брату, чѣмъ опекуну. А вашъ «Читальникъ» точно какой-то заговоръ. По крайней мѣрѣ, объ закладъ побьюсь, что книга, составленная по вашей программѣ, не имѣла бы успѣха въ народѣ, т. е., можетъ, и распространилась бы опекунскими средствами, но самъ-то народъ цѣнить ее много не будетъ. Даже, сдается мнѣ, будетъ смотрѣть на нее съ нѣкоторымъ страхомъ, особенно когда бы давали ему ее въ награду за хорошее поведеніе и прилежаніе, приговаривая, какъ сказано у васъ въ программѣ, что онъ можетъ ее потерять, истрепать и проч.... Но объ этомъ послѣ.

Воображаю я себѣ иную нянюшку: сядетъ она въ саду на лавочку съ нянюшками другихъ дѣтей, и начнутъ всѣ эти нянюшки *про свое* разговаривать, а чтобъ попокойнѣе быть насчетъ дѣтей, то имъ предварительно острастку зададутъ: «Слышь, Петя, вотъ ты здѣсь гуляй, а туда въ кусты не ходи, тамъ *окаянный* сидитъ, тебя въ мѣшокъ возьметъ и съ собой унесетъ». Мальчишка слушаетъ, и хоть онъ всего еще пяти лѣтъ, а, можетъ, ужъ и понимаетъ, что нянька-то вретъ, что никакого тамъ нѣтъ окаяннаго, а напротивъ, есть гдѣ поразгуляться, и маленькимъ своимъ умишкомъ уже смѣется надъ своей нянькой. Если бъ я былъ мужикъ, право, мнѣ бы ужасно было досадно, что меня считаютъ еще такимъ маленькимъ мальчикомъ и что обо мнѣ цѣлымъ секретнымъ комитетомъ заботятся, чтобъ меня на помочахъ водить: ей Богу мнѣ бы тогда (на мужичьемъ мѣстѣ) сдуру это представилось. Разумѣется, этого бы ничего въ сущности не было. Напротивъ, любили бы меня искренно, желали бы мнѣ счастья, но мнѣ-то бы тогда какъ представилось. Впрочемъ, я вѣдь только по себѣ сужу, и, можетъ быть, потому такъ сужу, что я ужъ такое дурное и неблагодарное существо. Я бы и самъ зналъ тогда (то есть на мѣстѣ мужика), что учиться мнѣ надо, и что я еще ничего не знаю, да вѣдь и опека-то надоѣдлива. Ишь: все сообразно моимъ порокамъ и недостаткамъ такъ и подобрано, даже отмѣчено, какія мнѣ знанія необходимы, и чѣмъ я интересуюсь. Это, дескать, знай, а это не знай, потому рано, — обожжешься. Прибавлю еще, что кромѣ всѣхъ моихъ дурныхъ качествъ я еще ужасно мнителенъ и подозрителенъ, и никакъ не могу теперь и на мужичьемъ мѣстѣ представить себя безъ мнительности и подозрительности. Я бы очень задумался и непремѣнно подумалъ бы про себя: «Такъ что жъ что обожгусь? Обожгусь я, а не ты, моя забота». Однимъ словомъ, поступилъ бы самымъ неблагодарнымъ образомъ.

— Да вѣдь для твоей же пользы, сиволапый! — закричалъ бы мнѣ благодѣтельный опекунъ.

Я бы, разумѣется, не могъ бы съ такимъ ученымъ человѣкомъ говорить и тутъ же согласился бы съ нимъ во всемъ. Даже, пожалуй, самъ бы отъ себя прибавилъ. изъ политики: «Посѣки, батюшка; мужикъ балуется, такъ ты его и посѣки», — а книжку все-таки бы не купилъ. Въ нутро бы она мнѣ не пошла.

— Баринъ мой добрый человѣкъ, — продолжалъ бы я думать про себя: — и проказникъ большой. Возлюбилъ ужъ онъ меня очень за что-то, ужъ совсѣмъ и не знаю за что, кажется, ничего ему не сдѣлалъ... такъ, вдругъ, ни съ того, ни съ сего возлюбилъ, ажно жутко становится. Вонъ книжку для меня сочинилъ... сколько труда-то небось принялъ, сердечный! «Поди, дескать, обучись, чтобъ мнѣ было съ тобой о чемъ разсуждать, и чтобъ я могъ съ тобой дѣла имѣть; а выучишься по одной книжкѣ всѣмъ наукамъ, другую такую же дадутъ, тоже со всѣми науками». И имя ей «Читальникъ»: прямо, стало быть, объяснено, что читать ее надо. Вотъ тутъ-то и штука: у господъ книги, а у меня еще только «Читальникъ». Это значитъ до настоящей, заправской книги ты, братъ, еще не доросъ. И «Читальникъ»-то отъ тебя потихоньку, цѣлымъ комитетомъ сочиняли, чтобъ ты не догадался, что для тебя нарочно его сочиняютъ, да еще, чтобъ милѣй тебѣ былъ этотъ самый «Читальникъ», справлялись, разыскивали и въ разсужденіе брали: почему тебѣ нравится «Милордъ Георгъ» да «Битва русскихъ съ кабардинцами». Ишь сколько объ тебѣ заботы было, о простомъ мужикѣ! Чувствуешь ли это? — Спасибо господамъ, — продолжаю я думать про себя: — хорошо, что я вотъ, сиволапый мужикъ, ни объ чемъ объ этомъ не могу теперь догадаться; потому гдѣ жъ мнѣ, безъ университетскаго образованія, объ этомъ догадаться? А то, пожалуй, при университетскомъ-то образованіи, я бы и отмочилъ такую штуку опекунамъ: «Неужели, дескать, вы, православные опекуны, думаете, что ужъ если я не знаю, кто такой графъ Кавуръ, или про то, что въ болотной водѣ водятся инфузоріи, такъ ужъ совсѣмъ я и глупъ и ужъ больше ничего не пойму? Неужели жъ вы вправду думаете, что народъ не пойметъ, что вы хоть и ужасно хотите обучить его чему-то, но въ то же время и ужасно хотите скрыть отъ него что-то, по той причинѣ, что онъ до того не доросъ? Нѣтъ, подлинно счастье, что я не получилъ университетскаго образованія (это я все продолжаю про себя думать), и потому ничего этого теперь не понимаю. А то бы, при университетскомъ-то образованіи, помянулъ бы вамъ одно

словечко князя Талейрана: «Pas de zèle, messieurs, surtout pas de zèle!» Ну, да вѣдь вы знаете анекдотъ лучше меня, мужика»...

Написали мы все это теперь и сами испугались: что если разсердятся на насъ читатели и закричатъ намъ: «Неужели вы всѣ эти «хитрости» признаете за г. Щербиной? Неужели онъ не хлопочетъ о настоящемъ образованіи народа? Неужели жъ необходимую осторожность его вы признаете за умышленно-злонамѣренную скрытность? Да! Такъ всегда бываетъ у насъ въ литературѣ! Чуть только благородно-мыслящій и ищущій добра человѣкъ примется за какое-нибудь полезное дѣло, тотчасъ же заскрипятъ на него рецензенты, какъ ищейки начнутъ искать недостатковъ, начнутъ искать къ чему бы придраться, что бы такое обругать, — и вовсе не для общественной пользы, а просто рука зудитъ, хочется колкихъ словъ насказать, свое остроуміе показать, безъ дѣла свое знаніе дѣла выставить. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Напишите-ка лучше сами свой проектъ, да прямо дѣломъ и разубѣдите насъ, а не голословными рецензіями. Тогда, можетъ, обратятъ и на васъ вниманіе»...

Вотъ этихъ-то криковъ мы и боимся. Главное, боимся того, чтобы не сказали, что мы хотимъ обругать проектъ г. Щербины. Въ томъ-то и дѣло, что нѣтъ! Искренно говоримъ, что мы не виноваты ни въ чемъ передъ г. Щербиной и, при взглядѣ на превосходный трудъ его кромѣ самой искренней благодарности и чувствовать ничего не можемъ. Мы только невольно перенесли себя въ темную и недовѣрчивую массу народа, и намъ *показалось*, что все, что мы выше написали, можетъ какимъ-нибудь процессомъ придти ему на умъ, такъ что онъ встрѣтитъ книгу г. Щербины (когда онъ издастъ ее) не съ надлежащей симпатіею, а даже, можетъ быть, съ недовѣрчивостью. Повторяемъ: намъ это такъ *показалось*, а вѣдь мы, разумѣется, можемъ ошибиться (чего въ настоящемъ случаѣ и желаемъ себѣ). Приступимъ же опять, оговорившись нѣсколько передъ публикой, къ продолженію подробнѣйшаго и обстоятельнѣйшаго изложенія всего проекта г. Щербины. Весь этотъ проектъ «Читальника» прелюбопытнѣйшая вещь, по цѣли своей необыкновенно замѣчательная. О чемъ же болѣе значительномъ и занимательномъ и говорить, если ужъ это не занимательно? Предупреждаемъ заранѣе: все это такъ умно, такъ хитро составлено, такъ подобрано, подведено, разсчитано, разлиневано, до такихъ мелочей обдумано и предусмотрѣно, что нѣтъ возможности не признать самаго совѣстливаго труда въ проектѣ г. Щербины, нѣтъ возможности не благодарить за этотъ трудъ и даже не полюбоваться невольно этой отдѣлкой, отчеканкой труда, его послѣдовательностью и отчетливостью. Впрочемъ, еще разъ повторяемъ: если намъ что и не нравится въ этомъ проектѣ, если что и смущаетъ насъ, такъ именно — это излишняя старательность; именно то, что это такъ излишне умно, излишне предусмотрѣно и разлиневано; то есть не нравится именно то, что ужъ все это слишкомъ хорошо: — впечатлѣніе, конечно, нелѣпое, но въ природѣ иногда случающееся. Даже самыя психологическія основанія проекта, и тѣ точно циркулемъ вымѣрены, точно изъ души нашего мужичка извлеченъ квадратный корень. И все это такъ спокойно, съ такимъ полнымъ убѣжденіемъ извлечено... Но къ дѣлу.

Проектъ раздѣляется на собственно проектъ и на предварительныя соображенія. Мы уже представили начало этихъ соображеній, этихъ основныхъ воззрѣній, на которыхъ зиждется все зданіе проекта, а вмѣстѣ съ тѣмъ представили и впечатлѣніе, произведенное на насъ этимъ началомъ. Далѣе г. Щербина, продолжая свои соображенія, говоритъ, что отъ *книги* народъ менѣе всего требуетъ паясничества и скоморошничества, какъ-то: завитковъ, прибаутокъ, простонародныхъ шутливыхъ реченій и проч., и что печатное слово для него какъ бы святыня, а не гаерскій балаганъ, и что, наконецъ, ему по сердцу такъ называемый высокій чувствительный слогъ, вслѣдствіе чего «Битва русскихъ съ кабардинцами» и расходится у него въ тысячахъ экземпляровъ. Сдѣлавъ это превосходное и даже довольно вѣрное замѣчаніе (хотя и не всегда, потому что *настоящая* остроумная шутка тоже понимается народомъ, и онъ отлично способенъ оцѣнить ее), г. Щербина предлагаетъ помѣщать въ «Читальникъ» статьи серьезныя и важныя, въ родѣ «Покоренія Казани» изъ исторіи Карамзина. И чтеніе *важное* и *познаніе* одного изъ событій отечественной исторіи у народа останется. Но на фантастическое и сверхъестественное г. Щербина обрушивается всѣмъ своимъ гнѣвомъ и рѣшительно изгоняетъ изъ «Читальника» все «фантастическое», потому что у народа и безъ того много суевѣрій (и несмотря на то, замѣчаемъ мы отъ себя, что народъ страшно любитъ фантастическое и съ жадностью читаетъ его, или слушаетъ, какъ читаютъ). По-нашему, все это прекрасно, но опять то же, что и прежде, т. е. страшная заботливость, страшная разлиневанность, въ томъ что надо и чего не

надо, подозрительность и опасенія, доходящія до болѣзни. «Не подходи, не подходи! Ты съ вѣтру!» кричитъ Обломовъ. Конечно, книга для народа авторитетъ, автосъ-эфа, какъ выражается г. Щербина, но вѣдь и не такой же народъ ипохондрикъ, какъ *ипохондрикъ* г. Писемскаго — всего боится: дунетъ вѣтерокъ, такъ сейчасъ и смерть. Фантастическаго, конечно, отнюдь не надо. Но г. то Щербина смотритъ на свою «книгу для народа» ужъ слишкомъ преувеличенно, точно воображаетъ, что въ ней начало и конецъ всей народной будущности, его образованіе, его университетъ, его счастье на тысячу лѣтъ впередъ; воображаетъ, что если народъ чуть-чуть прочтетъ и услышитъ хоть одну строчку неладную — тутъ ужъ тотчасъ ему и капутъ. Г. Щербина до того мнителенъ, что даже басенъ Крылова не хочетъ назвать баснями, а предлагаетъ прямо выставить одно названіе, напримѣръ: *Крестьянинъ и работникъ*, *Два мужика* и подписать подъ ними «Крыловъ». Все это на томъ основаніи, что басня, будто бы, принимается въ народѣ какъ пустяки и что «это даже можно заключить изъ пословицы и поговорки: «соловья баснями не кормятъ», или «бабьи басни». Ну, ужъ это слишкомъ, да и басни-то вовсе не въ такомъ неуваженіи у народа. Сколько ихъ между нимъ ходитъ, да еще преостроумныхъ, съ намеками. Вѣдь народъ понимаетъ, что такое басня. Иначе вы хоть и *скроете* отъ него, что это басня, но ужъ однимъ стихотворнымъ разсказомъ собьете его съ толку. Въ этомъ даже было бы больше опасности. Въ самомъ дѣлѣ, если бъ народъ былъ до такой степени недоумокъ, какъ вы о немъ предполагаете, то, конечно, остановился бы на стихахъ: скоморошничество, дескать, не по-человѣчески писано, въ рифму. Вы предполагаете даже выбирать басни, гдѣ дѣйствуютъ люди, а не животныя. «Говорящія животныя и деревья покажутся народу бахарьствомъ, мороченіемъ, чѣмъ-то шутовскимъ, въ ущербъ кредиту и авторитету книги», говорите вы. Будто? Да развѣ басня-то не изъ народа вышла? Народъ разберетъ, что это форма искусства, не безпокойтесь. Право, онъ не такъ глупъ и не до такой степени ограниченъ, какъ вы предполагаете.

Далѣе г. Щербина предполагаетъ изложеніе нужныхъ и общелюбопытныхъ предметовъ, особливо изъ физической природы, но съ тѣмъ, что издатель книги хотя и можетъ почерпать всѣ эти изложенія изъ дѣтскихъ книгъ, написанныхъ для старшаго возраста, но долженъ избирать такія мѣста, чтобъ не по чему было замѣтить, что писано для дѣтей. Ибо «народъ съ одной стороны то же дитя», замѣчаетъ г. Щербина.

Какую щепетильную обидчивость сами вы предполагаете въ народѣ и какъ вы боитесь его! Какая микроскопическая предусмотрительность!

Далѣе долженъ слѣдовать отдѣлъ историческій. «Отъ народной *исторической* пѣсни и легко понятнаго по языку сказанія лѣтописи должно *постепенно* и *послѣдовательно* перейти къ мѣстамъ, почерпнутымъ изъ отечественныхъ историковъ».

Во-первыхъ, къ чему такая осторожная *постепенность* и *послѣдовательность?* Что вы, въ университетъ, что ли, народъ, готовите? Ну, а если онъ возьметъ да развернетъ книгу наразбивъ и «отечественныхъ-то историковъ» прочтетъ прежде *лѣтописей* и *народныхъ пѣсенъ?* Что жъ онъ, тутъ же сейчасъ и пропадетъ отъ этого? Всѣ ваши труды тогда пропадутъ! Развѣ ужъ на заглавномъ листѣ книги напечатать, что книгу сію нельзя читать наразбивъ. Всего бы лучше черезъ земское начальство дѣйствовать и начальствомъ приказать непремѣнно читать сподрядъ, въ строгой *постепенности* и *послѣдовательности*, начиная отъ народной *исторической* пѣсни до отечественныхъ историковъ включительно и т. д.

Конечно, народу не по душѣ отрывочность, но для чего непремѣнно приводить въ «Читальникъ» *подлинную грамоту* о призваніи на царство дома Романовыхъ? Къ чему *подлинную* грамоту? Если вамъ хочется разсказать народу это событіе, то можно разсказать своими словами, теперешнимъ языкомъ, а не употреблять въ дѣло *грамоту*, собственно потому, что «она написана языкомъ народнымъ (какимъ это народнымъ?), въ смѣшеніи съ церковно-славянскимъ, уважаемымъ народомъ». Для чего это? И почему церковно-славянскій языкъ будетъ милѣе народу? Развѣ тѣмъ, что непонятнѣе? Но г. Щербина замѣчаетъ:

> Подобнаго рода составъ книги способенъ воспитывать народъ на положительной, коренной почвѣ его народности и исторіи, развить и направлять его здорово и органически, чего, къ сожалѣнію, недостаетъ и намъ, освѣщаемымъ даже солнцемъ съ запада.

Вотъ то-то и есть, что вы, кажется, всего разомъ хотите достигнуть однимъ вашимъ «Читальникомъ»: и воспитанія, и образованія, и развитія народнаго — и все это одной вашей книжкой. Вы не для того составляете ее, чтобъ просто доставить пріятное и полезное чтеніе народу. Нѣтъ, вы разомъ хотите достигнуть чуть не университетскаго образованія. Мы не клевещемъ на васъ: это просто въ глаза бросается. Иначе не стали бы вы такъ щепетильничать, выдумывать такія *послѣдователь-*

ности, чтобъ одно выходило изъ другого и изъ себя выпускало третье. Не боялись бы, что народъ прочтетъ одну статью прежде другой. Нѣтъ, для такой цѣли не составляются Читальники, и непремѣнное желаніе достичь этой цѣли невольно придаетъ вашей книгѣ педантизмъ, сбивчивость и, главное, нестерпимую сушь.

Мы вовсе не противъ вашихъ стремленій; мы восхищаемся вашимъ умомъ и вашей старательностью искренно. Вотъ вы, напримѣръ, далѣе требуете, чтобъ въ «Читальникъ» вошли и юридическія статьи, для просвѣтленія народа и даже для поднятія его нравственности, и медицинскія статьи «гигіеническаго содержанія», на томъ основаніи, что у насъ слишкомъ много «мретъ и калѣчится понапрасну народа отъ совершеннаго отсутствія самыхъ простыхъ, общихъ и необходимыхъ гигіеническихъ свѣдѣній». (Изъ этого слѣдуетъ, что народъ, прочтя «Читальникъ», тотчасъ же перестанетъ умирать и «калѣчиться понапрасну», ибо будетъ уже имѣть гигіеническія свѣдѣнія. Мы не глумимся, мы понимаемъ, что и сами вы не разсчитываете на такое немедленное вліяніе на народъ вашего «Читальника», но какъ будто вы ожидаете этого вліянія: такое именно впечатлѣніе производитъ «Читальникъ».) Далѣе у васъ предположено помѣстить календарныя свѣдѣнія, словарь иностранныхъ словъ, вошедшихъ во всеобщее употребленіе (NB.: когда еще множество русскихъ словъ, употребляемыхъ въ образованномъ обществѣ, неизвѣстно народу), и, наконецъ, къ довершенію всего, вы предполагаете растолковать народу: *«какія есть науки»*, то есть разомъ растолковать ему сущность всѣхъ наукъ на свѣтѣ.

Заключительнымъ отдѣломъ книги, — говорите вы, — будетъ отдѣлъ *нравственнаго содержанія*, къ послѣдовательному и психически-постепенному воспріятію котораго будетъ предпосланъ *отдѣлъ беллетристическій*, нѣчто въ родѣ *антологіи* для народа, въ которой, впрочемъ, по извѣстнымъ практическимъ соображеніямъ, не можетъ быть принята исключительно одна эстетическая цѣль. Въ пьесахъ, мѣстахъ и отрывкахъ этого отдѣла, подъ болѣе или менѣе художественной оболочкой, всегда будетъ заключаться или какое-либо историческое и другого рода свѣдѣніе, фактъ или гуманическая и духовно-нравственная идея, нужная въ особенности нашему народу.

Все это прекрасно и полезно, умно и великолѣпно; одно предшествуетъ другому, одно истекаетъ изъ другого, однимъ отдѣломъ «душа простолюдина» подготовляется къ другому отдѣлу и т. д. Чего лучше? Начинается формулированіе нашего проекта. Вы говорите:

Чтобъ яснѣе представить содержаніе, расположеніе, организмъ книги, необходимо здѣсь сформулировать ее въ *отдѣлы*, чѣмъ яснѣе можно усмотрѣть существенныя свойства логики, практическихъ и психологическихъ соображеній, которыя издатель кладетъ въ основу состава своего „Читальника“. Здѣсь, разумѣется, указаны будутъ *всѣ отдѣлы* и *нѣкоторыя, на первый случай*, статьи въ нихъ.

Начинаются отдѣлы.

Первый отдѣлъ. «Настоящее жизни. Житейская мудрость, собственно практика жизни обиходной, изображенная въ художественныхъ формахъ».

Подъ такимъ пышнымъ заглавіемъ помѣщаются басни Крылова, Хемницера, Дмитріева, Измайлова, сказки въ родѣ «О правдѣ и кривдѣ» (NB.: можно бы и позанимательнѣе, и посовременнѣе), далѣе—изъ «Памятниковъ старинной русской литературы» Н. Костомарова, «О мудрецѣ Керимѣ» Жуковскаго, небольшіе разсказы Даля, какъ то «Ось и чека», анекдоты (самые незамысловатые), притчи въ родѣ «Притча о хмѣлѣ», изъ «Памятниковъ» Костомарова, народныя пословицы, *самыя стереотипныя* (т. е. вѣроятно, тѣ, которыя народъ и безъ «Читальника» знаетъ), загадки для гимнастики ума, изреченія и т. п.

Этотъ отдѣлъ помѣщенъ въ началѣ книги съ разсчетомъ, чтобы завлечь на первый разъ читателя художественной приманкою поучительной мысли, съ перваго раза понимаемой, непосредственнымъ простодушіемъ формы, любопытною занимательностью, цѣлостною краткостью выраженія мысли и факта и, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ неискушенную душу заронить нравственно-практическія правила жизни въ повседневныхъ ея явленіяхъ.

Ну, чѣмъ это, кажется, не отдѣлъ? Народъ зачитается, да и только. Правда, на первый случай къ чему бы, кажется, столько «памятниковъ» старинной русской литературы? Что-нибудь посвѣжѣе было бы пріятнѣе. Но какъ вспомнимъ, что безъ этого народъ «не будетъ воспитанъ на положительной, коренной почвѣ его народности и исторіи», то и увидимъ, что памятники эти необходимы.

Все это отлично хорошо, но всего лучше мысль г. Щербины, что какъ только народъ прочтетъ этотъ первый отдѣлъ, то тотчасъ же въ неискушенную душу его и заронятся нравственно-историческія правила жизни въ повседневныхъ ея явленіяхъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и приготовятъ ее ко второму отдѣлу. Съ этимъ-то разсчетомъ и помѣщенъ между прочимъ этотъ отдѣлъ, какъ увѣряетъ самъ г. Щербина. Ну, какъ же не поблагодарить за такое стараніе и не пожелать успѣха?

Кстати, замѣтимъ кое-что о «неискушенной душѣ» народа, благо, къ слову пришлось. Вообще душу народа какъ-то ужъ давно принято считать чѣмъ-то необыкно-

венно свѣжимъ, непочатымъ и «неискушеннымъ». Намъ же, напротивъ, кажется (т. е. мы въ этомъ увѣрены), что душѣ народа предстоитъ поминутно столько искушеній, что судьба до того ее *починала* и нѣкоторыя обстоятельства до того содержали ее въ грязи, что пора бы пожалѣть ее бѣдную и посмотрѣть на нее поближе, съ болѣе христіанскою мыслью и не судить о ней по Карамзинскимъ повѣстямъ и по фарфоровымъ пейзанчикамъ.

Всѣ эти «отдѣлы» — рѣшительные «подвохи» и «подходы».

За этимъ первымъ отдѣломъ слѣдуетъ еще пять отдѣловъ, въ стройномъ порядкѣ, одинъ вызывая другого. Но мы, для краткости, разскажемъ о нихъ своими словами.

Второй отдѣлъ, это — *прошедшее жизни*, т. е. историческія свѣдѣнія, картины, разсказы, статьи географическаго содержанія. Онъ начинается русскими *историческими пѣснями*, затѣмъ слѣдуютъ мѣста изъ историческихъ лѣтописей, хронографовъ и проч. Затѣмъ *акты и грамоты*. (Вы не вѣрите? — рѣшительный университетъ!) Затѣмъ. . какъ вы думаете, что? «Слово о полку Игоревѣ» въ переводѣ Дубенскаго! Это ужъ изъ рукъ вонъ! Да чѣмъ можетъ быть занимательно «Слово о полку Игоревѣ» *теперь* народу? Вѣдь оно занимательно для однихъ ученыхъ и, положимъ, для поэтовъ, но и на поэтовъ-то наиболѣе дѣйствуетъ древняя форма поэмы. Народъ не имѣетъ ни малѣйшаго понятія объ исторіи: что жъ пойметъ онъ въ «Словѣ»? Вѣдь онъ найдетъ въ немъ одну смертельную скуку да бездну непонятнаго, необъясненнаго. Вотъ что значитъ жертвовать всѣмъ для *ученаго образованія* народа! «Иначе какъ бы онъ воспитался на положительной коренной почвѣ его народности и исторіи?» Точно не было для этого чего-нибудь несравненно занимательнѣе и не такъ страннаго!

Затѣмъ слѣдуютъ историческія стихотворенія русскихъ поэтовъ, какъ-то: «Малое слово о Великомъ (Петрѣ I)» Бенедиктова и проч. Намъ кажется, лучше бы сперва сообщить что-нибудь народу о Петрѣ, а потомъ уже воспѣвать его.

Отсюда переходъ къ историческимъ разсказамъ и мѣстамъ изъ писателей отечественной исторіи (ну, это хорошо), потомъ біографіи: Ермакъ, Мининъ, Ломоносовъ, Кулибинъ; потомъ статьи русско-географическаго содержанія: Петербургъ, Москва, Кіевъ, Сибирь и проч. Наконецъ, разсказы изъ всеобщей исторіи и географіи (въ гораздо меньшемъ количествѣ статеекъ), въ родѣ: Александръ Македонскій, Наполеонъ, Колумбъ, Царьградъ.

Этимъ кончается второй отдѣлъ и наступаетъ третій: *Видимость*, т. е. среда жизни, окружающая человѣка природа.

Въ этомъ отдѣлѣ: о землѣ, о воздухѣ, о небѣ и — объ инфузоріяхъ! Къ чему смущать народъ безъ нужды инфузоріями? Къ чему прежде времени всѣ эти тайны нѣмецкой науки? Къ чему это нестерпимое желаніе учить — *поскорѣй, всему* научить? Не любитъ народъ такихъ учителей, прямо становящихся передъ нимъ его воспитателями и *владѣтелями-просвѣтителями*. Не въ инфузоріяхъ дѣло, а въ этомъ желаніи скороспѣлаго обученія. Народъ *исторически* наклоненъ къ недовѣрчивости, къ подозрительности; не повѣритъ онъ *доброму* въ вашихъ желаніяхъ и не полюбитъ васъ: а вѣдь прежде всего надо бы стараться заставить себя полюбить. Сушь, предписанія, ученость, система, инфузоріи; это, дескать, знай, это не знай — вотъ вашъ «Читальникъ»!

Въ IV отдѣлѣ — энциклопедія и справочное мѣсто. Тутъ помѣщено: какія есть науки? Словарь иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ составъ русскаго языка (что необходимо, замѣчаетъ г. Щербина, *при чтеніи газетъ* и *въ повседневномъ быту*... для народа-то? и теперь?). Затѣмъ излагаются юридическія свѣдѣнія, необходимыя для крестьянина, затѣмъ гигіеническія, затѣмъ календарныя, однимъ словомъ — употреблены рѣшительно всевозможныя средства, чтобъ народъ немедленно спросилъ: зачѣмъ всѣ другія книги не такъ написаны, а эта вотъ такъ написана? — и особенно задумался бы надъ этимъ.

За этимъ IV отдѣломъ начинается вторая часть книги. Во второй части являются матеріалы для духовно-нравственнаго развитія. Предполагается, что она будетъ напечатана болѣе емкимъ, убористымъ шрифтомъ. Начинается она

V отдѣломъ, *антологіей для народа*, который, кажется, самый лучшій отдѣлъ во всей книгѣ, хотя бы по тому одному, что всѣхъ занимательнѣе. Въ немъ, видите ли, будутъ «систематически» (непремѣнно систематически) расположены цѣлыя пьесы и *мѣста изъ народной словесности и русскихъ писателей, способныя развивать и направлять народъ гуманически*[1]. Однимъ словомъ, все будетъ расположено съ ужимкой, да и самый отдѣлъ этотъ устроенъ тоже не самъ по себѣ, а чтобъ «подготовить» читателя къ послѣднему, заключительному въ кни-

[1] Подчеркнуто у автора.

гѣ отдѣлу. Въ него входятъ пѣсни и стихи, но болѣе проза. Для характеристики отдѣла обозначаются даже нѣкоторыя изъ выбранныхъ мѣстъ и стихотвореній. Замѣчено тоже, что изъ народныхъ пѣсенъ должно помѣщать только тѣ, которыя «выражаютъ гуманическое чувство, или *горько-осуждающія какой-либо коренной недостатокъ въ народныхъ правахъ и обычаяхъ*». Вотъ подходъ, такъ подходъ! Даже и пѣсни-то веселыя на запрещеніи.

Вслѣдъ затѣмъ и помѣщаются: Кольцова — какъ вы думаете, что? Ужъ разумѣется: «Что ты спишь, мужичекъ», или: «Ахъ, зачѣмъ меня силой выдали».

Пѣсни, разумѣется, прекрасныя, полныя самой свѣжей поэзіи, безсмертныя произведенія Кольцова. Да вѣдь развѣ мы здѣсь пѣсни хулимъ?

Ну ужъ, разумѣется, затѣмъ и Никитина стихотворенія, и графа А. Толстого, и Цыганова, и Шевцова, и Некрасова — всѣ подобранныя подъ одинъ тонъ, а «также стихотворенія въ этомъ родѣ» Пушкина, Языкова, Майкова, Мея, Берга и проч., а вмѣстѣ съ тѣмъ считается *необходимымъ* помѣстить и Лермонтова «Пѣсню про купца Калашникова»... неужели не догадались, зачѣмъ? А затѣмъ, что «въ ней выражено чувство чести по отношенію къ женѣ, *чего большею частью недостаетъ нашему простонародью*».

Затѣмъ переводы въ стихахъ разныхъ сербскихъ, болгарскихъ и проч. пѣсенъ, затѣмъ проза: народные славянскіе разсказы и преданія изъ книги Боричевскаго, изъ памятниковъ старинной русской литературы Костомарова; анекдоты изъ жизни Петра Великаго, Суворова, Наполеона; отрывки изъ романовъ Загоскина, Лажечникова, изъ разсказовъ Л. Толстого.

Это, разумѣется, очень хорошо.

И затѣмъ переходъ къ VI и послѣднему отдѣлу. Этотъ отдѣлъ представляетъ «*чтеніе для необходимыхъ духовныхъ потребъ и высшаго развитія (собственно въ народномъ смыслѣ)*». Онъ состоитъ изъ частей «догматической», «исторической», «практически-нравственной» и «духовно-нравственной» и заключаетъ въ себѣ, для примѣра, слѣдующія вещи:

Символъ вѣры, Молитву Господню и Десять заповѣдей. (Должно быть напечатано церковно-славянскимъ шрифтомъ, для ознакомленія народа съ церковно-славянскимъ шрифтомъ и «*чтобъ придать книгѣ болѣе вѣса и авторитета*».)

Затѣмъ: разсказы изъ священной исторіи, изъ «Книги премудрости Іисуса, сына Сирахова», мѣста изъ Евангелія, переведеннаго на рускій языкъ, послѣдніе дни Іисуса Христа изъ книги Иннокентія, мѣста изъ объясненій на литургію, изъ сочиненій Гоголя и другихъ, изъ «Начертанія христіанскихъ обязанностей» Кочетова, изъ поученій Иродіона Путятина, слово о пьянствѣ Тихона Задонскаго. Затѣмъ слѣдуютъ статьи «церковно-историческаго и священно-географическаго содержанія», какъ-то: принятіе христіанства Константиномъ Великимъ, принятіе христіанства на Руси Владиміромъ, житіе нѣкоторыхъ мучениковъ, житіе св. Ольги, Кирилла и Меѳодія, Нестора-лѣтописца. Описаніе святыхъ мѣстъ: Іерусалима, Виѳлеема, Аѳона, — извлеченіе изъ путешествій Барскаго, инока Парѳенія, *Муравьева* и проч. Затѣмъ стихотворенія духовно-нравственнаго содержанія и даже ода «Богъ» Державина.

Опять-таки повторяемъ: все это, разумѣется, превосходно и отлично *подобрано*. Авторъ въ заключеніе говоритъ:

> Такъ представлялись пишущему эти строки содержаніе и строй книги для народа и воскресныхъ школъ. Все, что написано здѣсь, взято изъ непосредственнаго наблюденія и опыта въ средѣ народной и изъ многообразія относительныхъ данныхъ и явленій насущной, практической жизни, возведено въ мысль, которая, можетъ быть, еще далека отъ надлежащаго требованія, но зато высказана по крайнему разумѣнію и убѣжденію нашему. Никто не можетъ отрѣшиться вполнѣ отъ своей среды, отъ своего воспитанія, и потому статья эта, вѣроятно, имѣетъ свойственные ей недостатки!

Что сказать на это? Мы, кажется, уже все высказали. Припомнимъ, впрочемъ, здѣсь нѣсколько словъ, сказанныхъ о «Читальникѣ» нашимъ фельетонистомъ, въ майскомъ номерѣ нашего журнала. Намъ кажется, что эти нѣсколько строкъ могутъ послужить хорошимъ заключительнымъ словомъ и къ нашей теперешней статьѣ.

... «Изъ смѣси двухъ старыхъ жизней можетъ выйти новая. Открывайте свою жизнь мужикамъ и изучайте жизнь ихъ, и, конечно, отъ этого будете ближе къ желаемому нами примиренію, ближе къ уничтоженію сословной нашей раздѣльности, но передавайте народу тайны жизни нашей во всей ихъ полнотѣ, оставляя на его выборъ худое и хорошее, и тогда онъ помирится съ вами, потому что повѣритъ вамъ: иначе онъ зачувствуетъ сознаваемое вами превосходство надъ нимъ, и будетъ послѣднее горше перваго. Нужно уважить вкусъ и любопытство народа; нужно ему дать то, чего онъ проситъ, чего хочетъ онъ, и не раздражать его *статейками экономическаго содержанія*

объ артели, трудѣ, домоводствѣ... Если мы своихъ женъ не можемъ еще заставить интересоваться такими статейками, то съ какого горя станетъ ихъ читать мужикъ, онъ, которому трудъ еще, быть можетъ, противенъ по нѣкоторымъ историческимъ воспоминаніямъ? Пусть для него чтеніе будетъ сначала забавою, наслажденіемъ; потомъ онъ изъ него выжметъ пользу. Свобода на первомъ мѣстѣ! Зачѣмъ же навязывать?»

Но знаете ли что? Я вѣдь не кончилъ статью мою. Мнѣ вдругъ представилось, что я самъ составлю «Читальникъ» для народа, и вмѣстѣ съ тѣмъ мнѣ пришло въ голову столько соображеній, что ужасно захотѣлось сообщить ихъ всѣмъ будущимъ составителямъ «Читальниковъ». Разумѣется, это только *нѣкоторыя* соображенія. Я вовсе не претендую на такую отдѣлку и отчеканку работы, какимъ отличается «Опытъ» г. Щербины.

Я бы вотъ какъ сдѣлалъ.

Прежде всего я бы поставилъ передъ собой на первый планъ слѣдующую мысль (которую призналъ бы за основную и которой слѣдовалъ бы неуклонно). Именно:

1) Что прежде чѣмъ хлопотать о *немедленномъ* образованіи и обученіи народа, нужно просто-за-просто похлопотать сначала о быстрѣйшемъ распространеніи въ немъ грамотности и охоты къ чтенію.

2) Такъ какъ хорошая книга чрезвычайно развиваетъ охоту къ чтенію, то надо хлопотать *преимущественно* о доставленіи народу какъ можно болѣе *пріятнаго* и *занимательнаго* чтенія.

3) И ужъ потомъ, когда народъ полюбитъ читать книги, тогда уже и приняться за образованіе и обученіе его. И хотя въ первыхъ «Читальникахъ», изданныхъ для народа, никто и не мѣшаетъ мнѣ подбирать статьи такъ, чтобъ онѣ принесли народу всевозможную *пользу*, но все-таки *занимательность* стояла бы у меня на первомъ планѣ, потому что прежде всего нужно достичь одной цѣли, а потомъ уже другой, т. е. сначала распространить въ народѣ охоту къ чтенію, а потомъ уже приступить къ его обученію, ибо гоняться за двумя зайцами разомъ не слѣдуетъ, и одно могло бы повредить другому.

Примѣчаніе. Разумѣется, нечего и сомнѣваться въ томъ, что упорное и усиленное желаніе *прежде всего* учить и перевоспитывать повредитъ книгѣ въ ея занимательности и пріятности для народа; ибо она будетъ слишкомъ *выдѣланная*, слишкомъ *подобранная*, суха до педантизма, со статьями скучными *для народа* (какъ, напримѣръ, «Слово о полку Игоревѣ», помѣщенное въ «Читальникѣ» г. Щербины для того, «чтобъ воспитывать народъ на положительной и коренной почвѣ его народности»... другими словами, чтобъ *народъ* сдѣлать *народнымъ*), съ отдѣлами, помѣщенными съ разсчетомъ, «чтобъ завлечь на первый разъ читателя художественною *приманкой поучительной* мысли», и расположенными такъ, чтобъ одинъ отдѣлъ выпускалъ изъ себя второй, а второй — третій... Все это естественно придастъ книгѣ чрезвычайную тяжеловѣсность, *обнаружитъ передъ народомъ ея заднюю мысль* и этимъ можетъ ей очень повредить съ перваго раза. Однимъ словомъ, все это мы уже высказали. И потому, право, было бы не грѣхъ на первый разъ пожертвовать ученостью занимательности.

Скажутъ мнѣ, пожалуй, умные люди, что въ моей книжкѣ будетъ мало *дѣльнаго, полезнаго?* Будутъ какія-то сказки, повѣсти, разная фантастическая дичь, безъ системы, безъ прямой цѣли, однимъ словомъ, тарабарщина, и что народъ съ перваго разу мою книжку и отъ «Прекрасной магометанки» не отличитъ.

Пусть съ перваго разу не отличитъ, отвѣчаю я. Пусть даже задумается, которой изъ нихъ отдать преимущество. Значитъ, она ему *понравится*, коли онъ ее съ любимой книгой будетъ сличать. Требовать отъ него *тотчасъ же* точной критики невозможно. Но вѣдь онъ книжку мою полюбитъ, замѣтитъ *чье* изданіе (потому что я непремѣнно выставлю это на оберткѣ), и когда я издамъ вторую такую же книжку, съ обозначеніемъ: «изданіе такого-то, выпускъ второй», то онъ не обинуясь, съ удовольствіемъ купитъ и вторую книжку, помня занимательность первой. А такъ какъ я все-таки буду помѣщать хоть и *любопытнѣйшія, завлекательнѣйшія*, но вмѣстѣ съ тѣмъ и *хорошія* статьи въ этой книжкѣ, то мало-по-малу достигну слѣдующихъ результатовъ:

1) что народъ за моими книжками забудетъ «Прекрасную магометанку»;

2) мало того, что забудетъ; онъ даже отдастъ моей книжкѣ положительное преимущество передъ нею, потому что свойство хорошихъ сочиненій — очищать вкусъ и разсудокъ, и это свойство естественное; потому-то такъ я на него и надѣюсь; и наконецъ,

3) вслѣдствіе удовольствія (преимущественно *удовольствія*), доставленнаго моими книжками, мало-по-малу распространится въ народѣ и охота къ чтенію. Какъ вы думаете: важныхъ или не важныхъ результатовъ я та-

кимъ образомъ достигну? *Заохотить къ чтенію* — я считаю первымъ, главнѣйшимъ шагомъ, настоящей цѣлью, а вѣдь въ способности и умѣньѣ сдѣлать *первый шагъ* и заключается, по-моему, настоящая *практичность* и *дѣловитость* всякаго полезнаго дѣятеля. Намъ не до жиру, а быть бы живу; только бы первое-то дѣло сдѣлать, а жиру-то потомъ наживемъ. А какъ это сдѣлать, не стараясь удалить отъ народа всякую мысль о нашей господской опекѣ? Вы, конечно, справедливы, что для мужика книга важное дѣло, отъ книги онъ требуетъ серьезнаго, поучительнаго. Это такъ. Но *господскаго-то обученія* онъ не любитъ; не любитъ, чтобъ глядѣли-то на него свысока, чтобъ въ опеку его брали даже и тогда, когда онъ полное право имѣетъ самъ по своей волѣ и охотѣ поступать. «Вотъ, дескать, мужичекъ, поучись по моей книжкѣ; что «Магометанку»-то читать! Это дрянь; — вотъ у меня, для твоего развлеченія, въ концѣ книжки изъ романа Лажечникова выписано, изъ «Ледяного Дома», такъ ужъ не «Магометанкѣ» чета; «Ледяной Домъ»! Ну, слыхалъ ли ты, чтобъ была когда такая диковинка: домъ изо льда? Слогъ-то какой! А то я слыхалъ, что ты про божественное любишь читать; ну, вотъ тебѣ тутъ и объ Аѳонѣ написано, какъ тамъ иноки, божіи люди, живутъ, молятся. Ну, вотъ и поразвлечешься, и поиграешь этими статейками послѣ серьезнаго обученія въ первыхъ отдѣлахъ. А то смотри: и игры-то у тебя какія неблагонравныя. Вотъ я слышалъ, ты еще до сихъ поръ въ бабки играешь, а я тебѣ вотъ журналъ «Учитель» принесъ; посмотри, какія здѣсь все благонравныя и поучительныя игры: вотъ уточки нарисованы, — видишь, плаваютъ? А вотъ тутъ охотникъ ихъ застрѣлилъ; вотъ подписана и загадка: плавало на водѣ пять уточекъ, охотникъ выстрѣлилъ, трехъ убилъ, много ль изъ пяти останется? Ну, вотъ ты и угадай, милое дитя... то бишь, милый мужичекъ, — чѣмъ въ бабки-то играть». — Я не буду тоже увѣрять себя при составленіи моей книги, что мужикъ не узнаетъ, къ чему я клоню, не догадается объ опекѣ. Я знаю навѣрно, что у него есть такое чутье, что онъ всѣ ваши подходы тотчасъ узнаетъ, а не узнаетъ, такъ почувствуетъ ихъ. Я не сталъ бы также прибѣгать къ начальству для распространенія моей книги. Вѣдь отъ этого, право, недалеко до того, что черезъ начальство начнутъ, пожалуй, и выгѣснять изъ употребленія всѣ прежнія негодныя книжки, которыя читаетъ народъ. А что, въ самомъ дѣлѣ, чего смотрѣть-то: собрать бы ихъ всѣ да сжечь! Нѣтъ, кромѣ шутокъ, какъ такой умный человѣкъ, какъ г. Щербина, можетъ разсчитывать при распространеніи своего «Читальника» на слѣдующія средства:

Въ видахъ средствъ распространенія книги приглашать чрезъ газеты благотворителей и ревнителей духовно-нравственнаго просвѣщенія народа, помѣщиковъ, фабрикантовъ, заводчиковъ и всѣхъ, у кого есть заведенія, гдѣ бываетъ сборъ простолюдиновъ, покупать „Читальникъ“ для подарка грамотнымъ изъ нихъ.

Или въ другомъ мѣстѣ:

Нужно постановить, что каждый ученикъ, поступающій или находящійся въ воскресной или сельской школѣ (вѣдомства министерствъ государственныхъ имуществъ и удѣловъ, а также и солдатскихъ полковыхъ школъ), долженъ непремѣнно получить одинъ экземпляръ „Читальника“ въ полную собственность, въ полное свое распоряженіе, безконтрольно. Это будетъ какъ бы „свидѣтельствомъ“ или юридическимъ актомъ, утверждающимъ въ дѣйствительности поступленія въ число учениковъ школы. То же можно было бы постановить и въ приходскихъ училищахъ министерства народнаго просвѣщенія [1]. „Читальникъ“ можетъ произвольно мѣняться, продаваться, дариться учениками, и, такимъ образомъ, переходитъ изъ рукъ въ руки, слѣдовательно, все-таки оставаться въ народѣ же.

Да помилуйте! Вѣдь это вѣрнѣйшее средство придать книгѣ видъ офиціальный: а вѣдь этого бѣгутъ; вѣрнѣйшее средство, чтобъ она опошлилась, потеряла цѣну. И, наконецъ, ваши слова: «все-таки останется въ народѣ же» показываютъ, что вы признаете лучшимъ одинъ только способъ распространенія: обязательный, чуть не насильственный, по крайней мѣрѣ, *навязливый*, т. е. рѣшительно худшій изъ всѣхъ возможныхъ способовъ распространенія. Такимъ способомъ ничего не сдѣлаете. Ужъ пробовали. Распространялись чуть ли еще не двадцать лѣтъ тому назадъ книжки офиціальнымъ способомъ: да развѣ ихъ читаетъ народъ? Сдѣлались онѣ популярными? Но, положимъ, еще съ этимъ вы не согласитесь, будете спорить. Но ужъ нижеслѣдующее мѣсто вашей статьи верхъ самаго невозможнаго незнанія дѣйствительности. Посудите:

Есть еще способъ широкаго распространенія „Читальника“ въ народѣ чрезъ посредство администраціи, — именно предложить волостнымъ головамъ и сельскимъ старостамъ въ волостныхъ правленіяхъ и сельскихъ расправахъ, покупая на экономическія деньги, дарить „Читальникъ“ грамотнымъ мужикамъ въ селахъ и деревняхъ, какъ бы

[1] Такъ какъ почетные попечители училищъ пользуются всѣми правами гражданской службы, не употребляя на нее личнаго труда, и бываютъ вообще люди со средствами, то и можно было бы вмѣнить имъ въ обязанность пріобрѣтать на ихъ счетъ эти книги для учениковъ училища, что составитъ, во всякомъ случаѣ, небольшую сумму ежегодно. *Авт.*

въ награду за ихъ грамотность. Дареніе происходитъ на мірской сходкѣ самымъ патріархальнымъ способомъ, безъ всякаго контроля со стороны начальства и бюрократической процедуры. Est modus in rebus.

Можно предположить, что если бъ въ этомъ послѣднемъ случаѣ распространеніе книги поручено было непосредственно чиновникамъ земской полиціи, то, пожалуй, иные мужики и не сказались бы грамотными. Сельскіе старшины должны объяснить на сходкѣ, что молъ „книга тебѣ дарится въ награжденіе за то, что ты научился грамотѣ, отдается тебѣ на всю волю: затеряй, продай, промѣняй, подари кому хочешь — твое добро... начальство тебя о томъ никогда не спроситъ". Во всякомъ случаѣ, книга не уничтожается, но все-таки остается въ народѣ, и тѣмъ еще болѣе распространяетъ свою извѣстность, что переходитъ изъ рукъ въ руки... Тогда будетъ *запросъ* на книгу и въ городахъ, у площадныхъ книгопродавцевъ и у коробейниковъ по деревнямъ.

Точно на лунѣ или въ «Марѳѣ Посадницѣ» Карамзина. Какая дѣйствительность! Да тутъ всѣ, рѣшительно всѣ — Фролы Силины, благодѣтельные человѣки! «Предложить волостнымъ головамъ и сельскимъ старостамъ въ волостныхъ правленіяхъ и сельскихъ расправахъ, *покупая на экономическія деньги* (эво-на!), дарить «Читальникъ» грамотнымъ мужикамъ, какъ бы въ награду за ихъ грамотность». То есть прежде распространенія образованія предположить въ мужикѣ такую любовь къ образованію, такое ясное сознаніе необходимости его, что онъ *добровольно* согласится на *жертву деньгами*. Потомъ, прежде распространенія «Читальника» и узнанія, что онъ такое, предположить такое огромное къ нему уваженіе, что его ужъ въ награду дарятъ (вѣдь вы не силою же хотите заставить дарить, а по доброй волѣ). Наконецъ, главное: такое необычайное, неслыханное происшествіе совершенно не въ привычкахъ и не въ нравахъ народа: это что-то чудовищно-нѣмецкое. Да не лучше ли ужъ пришивать бантики къ правому плечу мужика, изъ розовыхъ ленточекъ, за грамотность! Да вѣдь мужики будутъ ровно тридцать лѣтъ и три года стоять и думать на сходкѣ: что это такое? — когда вы имъ предложите «Читальникъ», да еще на экономическія деньги. Какъ *приказъ*, они, конечно, исполнятъ: но по *доброй волѣ*... они не поймутъ этого. И посмотрите, какое при этомъ тонкое, какое удивительное знаніе народа въ глубокоюмористическомъ замѣчаніи г. Щербины, что если бъ такое распространеніе книги поручено было непосредственно чиновникамъ земской полиціи, то, пожалуй, иные мужики не сказались бы грамотными. Ну, а вы такъ непремѣнно увѣрены, что дарованіе на мірской сходкѣ, безъ непосредственнаго участія полиціи, произойдетъ у васъ

самымъ *патріархальнымъ*, самымъ благонравнымъ образомъ?

Сельскіе старшины, по-вашему, должны объяснить на сходкѣ, что, *молъ*, «книга тебѣ дарится въ *награжденіе за то*, что ты научился грамотѣ, отдается тебѣ на всю волю: затеряй, продай, промѣняй, подари кому хочешь — твое добро... начальство тебя о томъ никогда не спроситъ».

Намъ случилось прочесть въ рукописи одинъ проектъ распространенія въ народѣ грамотности. Тамъ прямо представлялось, какъ самое лучшее средство: запретить мужикамъ жениться до тѣхъ поръ, пока они не выучатся грамотѣ. (До какого деспотизма можетъ дойти иной либералъ!) Нечего и говорить, что этимъ способомъ, въ сущности совершенно неисполнимымъ, произвелось бы только озлобленіе и отвращеніе къ грамотности, но несмотря на то, этотъ неисполнимый и драконовскій способъ кажется намъ все-таки дѣйствительнѣе невиннаго и дезульеровскаго способа г. Щербины. Воображаю я мужичка, только что получившаго въ награжденіе «Читальникъ» на мірской сходкѣ. Смущенный и встревоженный такой небывальщиной, бережно донесетъ онъ его домой, осторожно, даже со страхомъ положитъ книгу на столъ, сурово отгонитъ отъ стола всѣхъ домашнихъ, которые разбредутся въ страхѣ по угламъ, сядетъ на лавку, подопретъ обѣими руками голову и въ недоумѣніи уставится глазами на «Читальникъ». Затѣмъ тотчасъ же наберутся любопытные сосѣди и кумовья, въ свою очередь тоже озадаченные происшествіемъ на сходкѣ.

— Награда, говорятъ. Отъ начальства, что ли? — скажетъ одинъ.

— Отъ начальства.

— Изъ Петербурха, слышно, пришла.

— Да какая жъ тутъ награда, глупый ты человѣкъ!— ввяжется самъ хозяинъ. — Награда за то, что грамотѣ знаю! Мнѣ же лучше: за что жъ награждать?

— А за то, чтобъ, на тебя глядя, и другіе старались награду получить: такъ ономясь Гришка говорилъ, — скажетъ кумъ.

— «Читальникъ». Цѣна 30 коп., — прочтетъ другой сосѣдъ.—А поди-ка, продай, пятака, пожалуй, не дадутъ; лучше бъ они тебѣ, Гаврила Матвѣичъ, эти самыя тридцать копеекъ деньгами бы дали.

— Гм! не то ты говоришь, — перебьетъ кумъ. — Значитъ, понимай: то тридцать копеекъ, ты ихъ пойдешь и въ кабакѣ пропьешь, а тутъ тебѣ книга дается, «Читаль-

никъ», въ которой вся, какая ни на есть, премудрость описана...

— Стой, кумъ, не такъ! — кричитъ опять хозяинъ. — А зачѣмъ мнѣ Григорій Савичъ на сходкѣ сказалъ: затеряй, продай, промѣняй, подари кому хошь, — никто съ тебя не спроситъ, твое добро! Кабы значитъ эта книга нужна мнѣ была, зачѣмъ бы я сталъ ее терять, аль продавать? Нѣтъ, тутъ не то... Тутъ начальство!..

— Начальство, — отзовутся другіе, въ еще большемъ смущеніи.

— Бѣда!

— Къ становому, ребята! Сѣдлай коней, Митька! — закричалъ мужикъ, рѣшительно вскакивая съ мѣста.

А тутъ еще и насмѣшники найдутся:

— Ишь какую Гаврюхѣ модель подвели!

— Значитъ, все одно, что медаль получилъ.

— Опека, ребята!

«Часто распространеніе книги въ народѣ зависитъ отъ *случайности*», добавляетъ г. Щербина: «иногда на книгу, подходящую подъ его вкусъ и требованія, онъ вовсе не набредетъ и не наткнется. Эти случайности могутъ прямо вытекать изъ указанныхъ нами мѣръ и представляться несравненно чаще».

Нѣтъ, г. Щербина, отвѣчаемъ мы на это. Изъ такихъ мѣръ, какъ вы предлагаете, ничего не вытечетъ. Только развѣ упадетъ кредитъ книги. Безъ администраціи у васъ ни на шагъ! Даже чтобъ книги народу *понравились*, и то прибѣгаете къ администраціи. А какъ вы думаете: отчего это бываетъ, что книга нравится народу? Вѣдь что-нибудь должна же заключать въ себѣ «Магометанка», что нравится и расходится. Вы вотъ приписываете тому, что она написана высокимъ и чувствительнымъ слогомъ, который народу по сердцу и въ его вкусѣ. Тутъ есть крошечное зернышко правды. Дѣйствительно, высокій и чувствительный слогъ можетъ нравиться, потому что заключаетъ въ себѣ и облекаетъ собою дѣйствительность, хоть и невозможную, хоть и безсмысленную, но совершенно противоположную скучной и тягостной обыденной дѣйствительности простолюдина. Но вѣдь это не все, тутъ далеко не вся причина. Главная и первая причина, по-нашему, та, что эта книга не *барская* или *перестала быть барскою*. Очень можетъ быть, что авторъ писалъ и назначилъ ее, въ простотѣ своей, для самаго высшаго общества. Но литература наша встрѣтила ее съ насмѣшкой. Издалась она у маленькаго книгопродавца-спекулятора, который пустилъ ее по рынкамъ, за

дешевѣйшую цѣну. Отвергнутая «господами», книжка тотчасъ же нашла кредитъ въ народѣ, и, можетъ быть, ей очень помогло, въ глазахъ народа, именно то, что она не господская. Разумѣется, она не между мужиками расходилась сначала, а попалась горничнымъ, писарямъ, лакеямъ, приказчикамъ, мѣщанамъ и тому подобному народу. Попавшись разъ, укоренилась и начала распространяться по казармамъ, а наконецъ, даже и по деревнямъ. Только по деревнямъ все-таки очень мало. Мы для того дѣлаемъ это замѣчаніе, что наши составители народныхъ книжекъ прямо мѣтятъ на мужика-пахаря. Это глубоко ошибочно. Крестьянинъ-пахарь еще далеко не ощущаетъ такой потребности въ чтеніи, какъ городской простолюдинъ, мѣщанинъ, писарь, приказчикъ и даже какъ деревенскій же дворовый человѣкъ. Къ крестьянину и книжки-то *заходятъ черезъ этотъ, высшій классъ простолюдиновъ*, и смѣшивать характеры и потребноси этихъ двухъ классовъ народа — невозможно, а у насъ ихъ часто смѣшиваютъ, оттого и рождается у насъ ошибочная мысль дѣйствовать при распространеніи книги прямо черезъ сельскія общества. Книга, которая сельскому народу понравится, дойдетъ къ нему сама собою, отъ городскихъ простолюдиновъ и отъ дворовыхъ, и вотъ покамѣстъ существующій въ дѣйствительности у насъ способъ распространенія книгъ въ народѣ. Этотъ-то способъ распространенія и надо бы преимущественно имѣть въ виду. Этотъ высшій классъ простолюдиновъ, заключающій въ себѣ лакеевъ, мѣщанъ, писарей и проч., граничитъ даже съ иными чиновниками и помѣщиками включительно. Многіе и изъ благородныхъ, и изъ служащихъ, недоученые и малообразованные, тоже читаютъ и цѣнятъ «Магометанокъ»; «Зефироты» же, напримѣръ, дѣйствуютъ не только на низшій классъ, но захватываютъ чрезвычайную массу и изъ высшаго, т. е. даже и не изъ очень мало-образованнаго высшаго. Тотъ, который уже не станетъ читать и «Магометанку», съ наслажденіемъ прочтетъ «Зефиротовъ», равно какъ и всѣ толки о свѣтопреставленіи и прочихъ такихъ же предметахъ. Въ человѣкѣ, лишенномъ всевозможной самодѣятельности и принявшемъ (и п вообычаю, и по невозможности принять иначе) предстоящую дѣйствительность за нѣчто крайне нормальное, невообразимо непреложное и установившееся, естественно рождается нѣкоторое влеченіе, нѣкоторый соблазнъ къ сомнѣнію, къ философствованію, къ отрицанію. «Зефироты» и проч., представляя собою факты или возможность фактовъ, прямо противо-

положныхъ насущной дѣйствительности и глубоко отрицающихъ ея непреложность и ея гнетущее спокойствіе, — чрезвычайно нравятся этой отрицательной точкой зрѣнія средней массѣ общества и, написанные популярно, даютъ превосходный способъ поволноваться умамъ, пофилософствовать и насладиться хоть какимъ-нибудь скептицизмомъ. Вотъ почему и простолюдинъ, и даже пахарь любятъ въ книгахъ наиболѣе то, что противорѣчитъ ихъ дѣйствительности, всегда почти суровой и однообразной, и показываетъ имъ возможность міра другого, совершенно непохожаго на окружающій. Даже сказки, т. е. прямыя небылицы, нравятся простому народу, можетъ, отчасти по этой же самой причинѣ. Каково же будетъ дѣйствовать на него все мистическое? А такъ какъ всѣ эти книги не выходятъ изъ народныхъ воззрѣній и не превышаютъ его философію, то и признаются *своими*, и съ накопленіемъ этихъ книгъ высшая, *господская* литература все рѣзче и глубже отдѣляется отъ *народной*. И потому ужасно смѣшно, когда г. Щербина предлагаетъ народу «Слово о полку Игоревѣ» и, еще лучше, *пословицы*. То есть то, что изъ народа же вышло, что составляетъ его обыденную дѣйствительность, — пословицы — предлагаются народу же отъ насъ. Ну, къ чему ему пословицы? Чтобъ быть еще народнѣе? Не безпокойтесь, онъ ихъ не забудетъ и безъ вашихъ напоминаній; вы-то сами ихъ не забудьте.

Въ книгѣ г. Щербины не все совершенно неинтересное для народа. Но тонъ книги, барское происхожденіе ея, подступы и подходы ея — все это будетъ несносно для народа. Онъ *инстинктивно* отвергнетъ ее. Къ тому же вышеприведенный способъ распространенія ея убьетъ ея успѣхъ окончательно.

Повторяемъ опять: по-нашему, самый лучшій способъ (изъ искусственныхъ) — это спекуляція. Тутъ, если хотите, тоже высшая искусственность, высшая степень подхода и подступа, и отъ этого и успѣхъ тоже можетъ быть отчасти сомнителенъ. Тутъ потому *высшая* искусственность, что весь *подступъ*, весь *подвохъ*, будетъ именно состоять въ томъ, что его совершенно снаружи не будетъ видно, то есть книга съ перваго взгляда какъ будто издана и распространена совершенно для однихъ барышей. Въ самомъ дѣлѣ, спекуляторъ — какой же баринъ? Какой же *умышленный* распространитель просвѣщенія въ народѣ? Спекуляторъ свой братъ, гроши изъ кармана тянетъ, а не *напрашивается* съ своими учеными благодѣяніями. Но вотъ задача: какъ обратить *умышленнаго* просвѣтителя въ спекулятора? Издаетъ книгу какое-нибудь благотворительное общество, или какой-нибудь вельможа — просвѣтитель человѣчества, или, наконецъ, просто ученый — другъ человѣчества. Къ чему имъ деньги? Они рады своихъ положить. Тутъ нужно очень схитрить, чтобъ не примѣтно было народу. Такъ что всего бы лучше было, если бъ этотъ другъ человѣчества и *вправду* былъ спекуляторъ. Въ этомъ, по-нашему, и дурного-то не очень много. Трудящійся достоинъ платы; это давно сказано. Представимъ себѣ человѣка благодѣтельнаго, сгорающаго желаніемъ добра, но бѣднаго. Вѣдь надобно же и ему жить и кормиться отъ труда своего. А такъ какъ онъ имѣетъ особый талантъ составлять народныя книжки, то есть знаетъ народъ и что именно ему нужно; а сверхъ всего этого и самъ воспламененъ желаніемъ способствовать наискорѣйшему распространенію въ народѣ грамотности и образованности, то вотъ онъ и нашелъ себѣ занятіе: издаетъ себѣ книжки, продаетъ ихъ и доходомъ съ нихъ кормится. И даже вовсе не надо тутъ возвышать особенно цѣну на эти книжки. Если онѣ придутся по нраву, то будетъ расходиться и въ большомъ количествѣ, слѣдственно, какъ бы ни былъ малъ барышъ съ каждой книжки, въ суммѣ онъ былъ бы значительный. Тутъ именно чѣмъ талантливѣе составлена книжка, тѣмъ болѣе ея разойдется, слѣдовательно тѣмъ вѣрнѣе барышъ. А талантливо составить — значитъ занимательно составить, потому что самая лучшая книга, какая бы она ни была и о чемъ бы ни трактовала, — это занимательная. Для этого-то и нужно, по возможности, избѣгать всякаго подхода, всякихъ «отдѣловъ», основанныхъ на предварительныхъ ученыхъ и психологическихъ изученіяхъ мужичьей души; всякихъ отдѣловъ, выпускающихъ изъ себя вторые отдѣлы, а вторые — третьи и т. д.; всякихъ статей съ разсчетомъ завлечь и пріободрить, и, однимъ словомъ, чтобъ какъ можно труднѣе (а не яснѣе, какъ сказано у г. Щербины) можно было «усмотрѣть тѣ существенныя свойства логики, практическихъ и психологическихъ соображеній», которыя издатель положитъ въ основу своей книги. То есть и логика, и всѣ эти практическія и психологическія соображенія непремѣнно должны быть и будутъ у составителя книги, если только онъ умный и дѣльный человѣкъ; но надо, чтобъ они были по возможности скрыты, такъ что всего бы лучше было, если бъ всѣ эти основы были даже и отъ самого составителя скрыты и дѣйствовали бы въ немъ наивно и даже безсознательно. Но это ужъ идеалъ;

это возможно бы было только въ томъ случаѣ, когда бы составитель народныхъ книжекъ видѣлъ въ этомъ составленіи неудержимое призваніе свое съ самаго дѣтства и ощущалъ бы въ себѣ самую наивную и горячую потребность жить съ народомъ и говорить съ нимъ во всѣ дни и часы своей жизни. Таковы, говорятъ, бываютъ нѣкоторые *врожденные* педагоги, до страсти любящіе жить и обходиться съ дѣтьми, которыхъ отнюдь не надо смѣшивать съ учеными и искусственными педагогами. И первые, то есть врожденные, могутъ, въ свою очередь, тоже быть очень учеными педагогами, но безъ внутренняго влеченія и призванія одна ихъ ученость не принесла бы такихъ плодовъ. Но подобнаго составителя народныхъ книгъ трудно имѣть теперь въ виду, хотя они непремѣнно явятся впослѣдствіи. Всякая вновь появившаяся въ обществѣ дѣятельность достигаетъ, наконецъ, идеала въ своихъ дѣятеляхъ. У насъ же эта дѣятельность всего только что зарождается,но обѣщаетъ перейти въ крайнюю потребность. Такіе дѣятели впослѣдствіи безо всякаго опасенія будутъ издавать и всѣ необходимыя юридическія, гигіеническія и всевозможно-ическія свѣдѣнія для народа, и издадутъ ихъ прекрасно, издадутъ именно *то*, что нужно, безо всякаго подвоха и подхода, именно потому, что онѣ будутъ нужны народу, и тѣмъ скорѣе все это удастся имъ такъ хорошо, что они-то сами-то издатели, будутъ настоящими народными дѣятелями, такъ что, наконецъ, и самъ народъ признаетъ ихъ за своихъ, и книжки ихъ будутъ расходиться въ безмѣрномъ числѣ экземпляровъ, потому что, кромѣ того что будутъ полезны и нужны, онѣ будутъ еще изданы *талантливо;* ибо *прежде всего* нуженъ *талантъ*, чтобъ подходить къ народу и обращаться съ нимъ, наивный и прирожденный талантъ, чего, кажется, вовсе не имѣютъ въ виду составители теперешнихъ «Читальниковъ». Но мы теперь покамѣстъ издаемъ *искусственно* и *съ хитростью,* и потому, чтобъ ужъ какъ-нибудь маскировать эту хитрость, нужно, чтобъ и искусственность, и хитрость наша приписана была народомъ одной спекуляціи, одному желанію сбыть книгу за деньги. И потому, во-первыхъ, педантская простота такихъ названій, какъ напримѣръ «Читальникъ», могла бы быть и устранена. Народъ вовсе не такой пуританинъ, какъ вы думаете. Онъ не обидится заманчивымъ заглавіемъ и догадается, что оно выставлено на книгѣ единственно для того, чтобъ подманить его купить ее, а не для того, какъ въ «Читальникѣ», что ее нужно читать, для того, что стыдно быть безграмотнымъ и необразованнымъ мужикомъ, стыдно передъ добрыми людьми и благодѣтельными господами, которые принуждены были, наконецъ, административно и офиціально распространять въ невѣжественномъ черномъ народѣ просвѣщеніе. И потому всякое административное распространеніе книги должно быть по возможности устранено, а нужно, чтобъ народъ самъ досталъ ее съ рынку, именно потому, что самъ кумъ Матвѣй слышалъ и рекомендовалъ, что книжка «занятная». Никогда такъ сильно не распространяется книга, какая бы она ни была, какъ натурально, сама собою, и это самое вѣрное, самое толковое, крѣпкое и полезное распространеніе ея. Въ книжкѣ этой, по крайней мѣрѣ хоть на *первый разъ*, все должно быть пожертвовано занимательности и завлекательности. И потому при составленіи такой книжки отнюдь не надо чуждаться того, что выходитъ изъ обыденной, видимой и часто противной простолюдину его дѣйствительности. Вовсе не преступно будетъ, напримѣръ, дѣйствовать преимущественно на воображеніе простолюдина. Чудеса природы, разсказы объ отдаленныхъ странахъ, о царяхъ и народахъ, о русскихъ царяхъ и ихъ дѣяніяхъ, о карѣ Новгорода, о самозванцахъ, объ осадѣ Лавры, о войнахъ, походахъ, о смерти Ивана-царевича, занимательныя приключенія частныхъ людей, путешествія, въ родѣ, напримѣръ, путешествій Кука или занимательнѣйшаго для *всѣхъ классовъ* и *возрастовъ* путешествія капитана Бонтекое, геніально составленнаго изъ прежнихъ матеріаловъ Александромъ Дюма...

Боже! Что я слышу! Какой гомерическій хохотъ, какое страшное негодованіе поднялось кругомъ. Какъ! Въ книгу для народнаго чтенія переводить изъ Александра Дюма! Но что же дѣлать, если Александръ Дюма написалъ Бонтекое (для дѣтей, кажется) геніально, именно такъ, какъ нужно для разсказа народу. Народъ вовсе не такой пуританинъ, какъ кажется, а не побрезгать при случаѣ и Дюма, можетъ быть, было бы именно настоящей-то, желаемой-то практичностью и дѣловитостью, потребной при составленіи книги. Народъ очень не прочь читать, но онъ очень еще не искусился въ чтеніи. Къ чему кормить его заурядъ одними только эссенціями полезности, благонравія и вашей благонамѣренности? Вы скажете, что народъ вовсе не такъ избалованъ вкусами, какъ какая-нибудь барыня, которой непремѣнно надо Дюма, чтобъ у ней книга не выпала тотчасъ же отъ зѣвоты изъ рукъ? Согласенъ съ вами, но книга все-таки для народа новинка, и хоть онъ вовсе не того ищетъ въ

ней, чего требуетъ отъ нихъ праздная и тупая барыня, но завлекательность крайне не вредитъ. Мнѣ самому случалось въ казармахъ слышать чтеніе солдатъ, вслухъ (одинъ читалъ, другіе слушали) о приключеніяхъ какого-нибудь кавалера де-Шеварни и герцогини де-Лавергондьеръ. Книга (какой-то толстый журналъ) принадлежала юнкеру Солдатики читали съ наслажденіемъ. Когда же дошло дѣло до того, что герцогиня де-Лавергондьеръ отказывается отъ всего своего состоянія и отдаетъ нѣсколько милліоновъ своего годового дохода бѣдной гризеткѣ Розѣ, выдаетъ ее за кавалера де-Шеварни, а сама, обратившись въ гризетку, выходитъ за Оливье Дюрана, простого солдата, но хорошей фамиліи, который не хочетъ быть офицеромъ единственно потому, что для этого не желаетъ прибѣгать къ унизительной протекціи, то эфектъ впечатлѣнія былъ чрезвычайный. И сколько разъ мнѣ приходилось иногда самому читать вслухъ солдатикамъ и другому народу разныхъ капитановъ Полей, капитановъ Панфиловъ и проч. Я всегда производилъ эффектъ чтеніемъ, и это мнѣ чрезвычайно нравилось, даже до наслажденія. Меня останавливали, просили у меня объясненій разныхъ историческихъ именъ, королей, земель, полководцевъ. Я думаю, Диккенсъ произвелъ бы гораздо менѣе эффекта, Текеррей еще менѣе, а военные разсказы Скобелева такъ ничего не производили: только зѣвали отъ скуки. Охъ, да какой это чуткій народъ! Тотчасъ разберетъ ложь и подходъ. И какой юмористичный, вострый народъ въ то же время. Разумѣется, мнѣ скажутъ: какой же полезной цѣли достигли вы вашимъ чтеніемъ вслухъ? Образовали ль вы вашихъ слушателей, съ чѣмъ они ушли отъ насъ? Во-первыхъ, отвѣчаю, что я вовсе не хотѣлъ образовывать моихъ слушателей, а только доставить имъ удовольствіе, и потому я этого хотѣлъ, что мнѣ самому доставляло это чрезвычайное удовольствіе. Когда же я растолковывалъ о короляхъ, о земляхъ и вообще дѣлалъ полезныя замѣчанія, то и это мнѣ доставляло очень много удовольствія. Во-вторыхъ, тутъ все-таки было *чтеніе*, а не что другое, и какъ бы то ни было, а эти люди все-таки пріучались находить наслажденіе въ *книгѣ*. Книга, стало быть, вообще выигрывала. Въ-третьихъ, хоть я и вовсе не думалъ тогда о томъ, но впослѣдствіи мнѣ пришло въ голову, что книга все-таки лучше, чѣмъ *три-листа* или *горка*. Въ-четвертыхъ, если ужъ пошло на полезность и на отчетъ въ ней, то вѣдь что-нибудь значатъ же, наконецъ, хоть напримѣръ, вынесенныя изъ чтенія душевныя впечатлѣнія, нѣкоторыя мысли, нѣкоторыя мечты. Разумѣется, было бы несравненно полезнѣе, если бъ они прослушали «Слово о полку Игоревѣ», «объ инфузоріяхъ», «рядъ пословицъ», объ «аѳонской горѣ» или хоть о «Несторѣ-лѣтописцѣ» (котораго біографія помѣщается въ «Читальникѣ», кажется, не потому только, что занимательно было бы узнать житіе Нестора, а потому, что Несторъ былъ *лѣтописецъ*, что, разумѣется, въ глазахъ народа придало бы ему чрезвычайную занимательность, не правда ли?). Пожалуйста, не обвиняйте меня въ подходѣ: я вовсе не спорю, и всѣ эти названныя мною статьи «Читальника» могли бы, разумѣется, быть чрезвычайно и полезны и занимательны для народа. Но вотъ что мнѣ кажется: мнѣ кажется, мало того, чтобъ взять, выбрать ихъ откуда-нибудь и помѣстить въ «Читальникѣ», чтобъ народъ ихъ тотчасъ же съ жадностью прочелъ: мнѣ кажется, ихъ надобно и составить по возможности съ вдохновеніемъ, съ призваніемъ и именно съ тѣмъ талантомъ, который необходимъ для такой *народной* литературы.

Меня спросятъ: да откудова же вы возьмете теперь статей для вашей, напримѣръ, книги, хотя бы вы ее и составили для спекуляціи, безо всякой офиціальности и подходности и проч., и проч.? Отвѣчаемъ: Мы бы, конечно, *теперь* воспользовались тоже нашей современной литературой, хотя вся она, чуть не сплошь, — литература *для господъ*. Но, разумѣется, и въ ней можно много, даже *очень много* выбрать удобнаго и для народнаго чтенія. Только надобно сумѣть сдѣлать выборъ. Какъ сдѣлать этотъ выборъ, — мы полагаемъ, послѣ всего нами сказаннаго, объяснять излишнимъ. Мы разбираемъ статью г. Щербины, но вовсе не претендуемъ на то, что мы способны сдѣлать такой выборъ умнѣе и удачнѣе его. Сдѣлаемъ только одно замѣчаніе, именно: какія бы мы *спекуляціи* ни предлагали, но думаемъ, что теперь, въ настоящую минуту, хорошаго «Читальника» у насъ все-таки никто не составитъ. Зато мы совершенно увѣрены, что впослѣдствіи и, можетъ быть, даже скоро, у насъ откроется свой особенный отдѣлъ литературы, собственно для народнаго чтенія. Это только гаданіе, но намъ вѣрится въ его осуществленіе. Дѣятели этой будущей литературы, какъ мы уже упомянули выше, будутъ дѣйствовать по прямому *врожденному* призванію, по вдохновенію. Можетъ быть, они наивно, безо всякаго труда найдутъ тотъ языкъ, которымъ заговорятъ съ народомъ, дѣйствительно сольются съ его взглядами, потребностью, философіей. Они перескажутъ ему все, что мы знаемъ,

и въ этой дѣятельности, въ этомъ пересказываніи будутъ сами находить наслажденіе. Намъ даже кажется, что имъ не придется нимало скрывать отъ народа дѣйствительное свое развитіе. Тогда, можетъ быть, они ощутятъ въ себѣ и совершенно новые взгляды и совершенно новыя воззрѣнія, живыя, положительныя, сила и самостоятельность которыхъ получатся именно отъ новой дѣятельности, отъ потребности этой дѣятельности и которыя будутъ плодомъ насущной, настоятельной необходимости нашего соединенія съ народнымъ началомъ. Это, разумѣется, только еще гаданіе, и хотя много бы намъ хотѣлось сказать, въ смыслѣ гаданія, теперь объ этой будущей дѣятельности литературы нашей, но по нѣкоторымъ причинамъ мы теперь объ этомъ умалчиваемъ. Къ тому же надо объ этомъ особо говорить. Но во всякомъ случаѣ мы отнюдь не отрицаемъ теперешней дѣятельности нашихъ умныхъ и благонамѣренныхъ людей при составленіи книгъ для народнаго чтенія. Давай Богъ. Изъ этой-то дѣятельности и явится послѣдующая, болѣе благотворная. И потому, если мы теперь и не согласились въ чемъ съ г. Щербиною, то повторяемъ: рѣдко что мы читали болѣе умнаго, болѣе благонамѣреннаго, чѣмъ его «Опытъ». Автору «Опыта» мы не можемъ не быть благодарными за превосходнѣйшій и полезнѣйшій трудъ его и завидуемъ журналу, помѣстившему у себя такую дѣльную статью.

V.

Послѣднія литературныя явленія[1].

Газета „День“.

Когда дѣла нѣтъ, настоящаго, серьезнаго дѣла, тогда дѣятели живутъ какъ кошки съ собаками и начинаютъ между собою разныя дрязги за принципы и убѣжденія. Одинъ упрекаетъ другого, что тотъ не такъ вѣруетъ, другой упрекаетъ перваго, что тотъ у себя подъ носомъ ничего не видитъ; третій кричитъ о книжкахъ и объ оберткахъ книжекъ, четвертый ко всему, кромѣ себя, равнодушенъ, пятый успокоился на незыблемыхъ міровыхъ законахъ, подводитъ все и всѣхъ подъ міровой ватерпасъ и свистигъ на всѣхъ глядя. И такъ далѣе, и такъ далѣе. Всего не перечтешь. Вотъ явилась газета «День»,

[1] Напечатано въ журналѣ „Время“ за ноябрь 1861 г.

всего только пять нумеровъ, а уже поднялась ругань. Явился «новый вопросъ» объ университетахъ, и вотъ полился на насъ цѣлый водопадъ статей объ университетахъ. Вотъ и мы хотимъ сказать свое слово объ этихъ послѣднихъ литературныхъ явленіяхъ, и мы будемъ спорить о принципахъ, и мы будемъ упрекать другихъ, что они не такъ вѣруютъ... Что дѣлать! Одна для всѣхъ колея. А сказать свое слово надо: всѣ участвуютъ... во всеобщемъ движеніи и т. д., и т. д.

«День» — это та же покойная, но неуспокоившаяся «Русская Бесѣда», разбитая на газетные листки. Тѣ же имена, тѣ же мысли, тѣ же принципы. Редакторомъ Ив. Аксаковъ, статьи въ первомъ номерѣ Хомякова, Константина Аксакова (покойниковъ). Въ журналѣ всего замѣчательнѣе «славянскій» и «областной» отдѣлы. Этого нѣтъ почти ни въ одномъ теперешнемъ русскомъ изданіи, по крайней мѣрѣ, въ такой непрерывности, и это ставитъ газету на довольно любопытное мѣсто. Вообще изданіе очень любопытное.

Кое-гдѣ оно уже очень насолило; Аскоченскій, говорятъ, восторженно похвалилъ его, а нѣкоторые такъ даже поспѣшили похоронить новый «День» (печатно, разумѣется). Въ одномъ петербургскомъ журналѣ нѣкоторые погребальщики уже *догадались* и о томъ отдѣленіи, къ которому надо причислить журналъ.

Но господа могильщики не правы.

Тутъ и слова не можетъ быть о раздѣлѣ по отдѣленіямъ.

Мы не за «День» заступаемся и не за взгляды его. Но имя Аксаковыхъ, всѣхъ троихъ, слишкомъ извѣстно, чтобъ не знать съ кѣмъ имѣешь дѣло. И наконецъ, что за терроръ мысли? Чуть мыслитъ человѣкъ не по вашему — губить его, — чѣмъ другимъ нельзя, такъ хоть клеветой. Что за домашніе деспотики! Что за домашній терроризмъ, вспоенный на кисломъ молочкѣ!

Но довольно... Скажемъ и наше слово о новой газетѣ.

Это все тѣ же славянофилы, то же чистое, идеальное славянофильство, нимало неизмѣнившееся, у котораго идеалы и дѣйствительность до сихъ поръ такъ странно вмѣстѣ смѣшиваются, для котораго нѣтъ событій и нѣтъ уроковъ. Тѣ же славянофилы, съ тою же неутомимою враждой ко всему, что не ихнее, и съ тою же неспособностью примиренія; съ тою же ярою нетерпимостью и мелочною, совершенно нерусскою формальностью. Вотъ для образчика изъ перваго номера «Дня»:

И на какомъ же широкомъ просторѣ разгулялась, да еще и разгуливаетъ эта ложь! Все внутреннее развитіе, вся жизнь общества, какъ проказой, поражены и растлѣны ею. Ложь! Ложь въ просвѣщеніи, чисто внѣшнемъ, лишенномъ всякой самодѣятельности и творчества. Ложь въ вдохновеніяхъ искусства, силящагося воплотить чуждые, случайные идеалы. Ложь въ литературѣ, съ надменною важностью разрабатывающей задачи, созданныя историческими условіями, чуждыми нашей народной, исторической жизни; въ литературѣ, болѣющей чужими болѣзнями и *равнодушной къ скорбямъ народнымъ*. Ложь въ *порицаніи нашей народности, не въ силу негодующей пылкой любви, но въ силу внутренняго нечестія, инстинктивно враждебнаго всякой святынѣ чести и долга*. Ложь въ самовосхваленіи, сопряженномъ съ упадкомъ духа и съ невѣріемъ въ свои собственныя силы. Ложь въ поклоненіи свободѣ, уживающемся рядомъ съ побужденіями самаго утонченнаго деспотизма. Ложь въ религіозности, преданности вѣрѣ, прикрывающей грубое безвѣріе. Ложь въ торжествѣ дикихъ ученій, созданныхъ безстыднымъ невѣжествомъ, безбоязненно оскорбляющимъ общественную совѣсть и несмиряющимся передъ очевидною несокрушимою крѣпостью коренныхъ основъ народной жизни. Ложь въ легкомысленной гоньбѣ за новизною подъ чужестранною фирмою прогресса и цивилизаціи. Ложь въ гуманности и образованности, которыми, въ своей систематической непослѣдовательности, щеголяетъ наше общество, допускающее безъ разбора самыя несовмѣстимыя начала, закрывающее глаза отъ выводовъ, обходящее сознательно всѣ основные вопросы, раболѣпствующее всѣмъ модньмъ кумирамъ современности и выдающее за подвигъ высокаго благородства и терпимости — дешевое умѣнье замазывать, не разрѣшая, самыя непримиримыя противорѣчія!... Страшное, невиданное сочетаніе ребяческой незрѣлости со всѣми недугами дряхлой старости, — и при всемъ томъ — исцѣленіе возможно и даже несомнѣнно! Мы это всѣ чувствуемъ, мы даже не можемъ усомниться въ томъ искренно, и заря нашего спасенія уже брезжитъ.

Не думаемъ, чтобъ эта заря брезжила для славянофиловъ. Славянофилы имѣютъ рѣдкую способность не узнавать своихъ и ничего не понимать въ современной дѣйствительности. Одно худое видѣть — хуже чѣмъ ничего не видѣть. А если и останавливаетъ ихъ когда что хорошее, то если чуть-чуть это хорошее непохоже на разъ отлитую когда-то въ Москвѣ формочку ихъ идеаловъ, то оно безвозвратно отвергается и еще ожесточеннѣе преслѣдуется, именно за то, что оно смѣло быть хорошимъ не такъ, какъ разъ навсегда въ Москвѣ приказано. Впрочемъ, и собственный-то идеалъ у нихъ еще вовсе не выясненъ. Есть у нихъ иногда сильное чутье, тонкое и мѣткое, нѣкоторыхъ (но отнюдь не всѣхъ) основныхъ элементовъ русской народной особенности. Ни одинъ западникъ не понялъ и не сказалъ ничего лучше о мірѣ, объ общинѣ русской, какъ Константинъ Аксаковъ въ одномъ изъ самыхъ послѣднихъ своихъ сочиненій, къ сожалѣнію, неоконченномъ. Трудно представить

себѣ пониманіе болѣе точное, ясное, широкое и плодотворное. Но тотъ же К. Аксаковъ пишетъ статью о русской литературѣ, помѣщенную теперь въ первомъ номерѣ «Дня»... Но о ней послѣ. Отвѣтимъ на приведенную выше выписку.

Скажемъ прямо: предводители славянофиловъ извѣстны какъ честные люди. А если такъ, то какъ можно сказать обо всей литературѣ, что она «равнодушна къ скорбямъ народнымъ»? Какъ смѣть сказать «о порицаніи нашей народности, *не въ силу негодующей, пылкой любви*, но въ силу внутренняго нечестія, инстинктивно враждебнаго всякой святынѣ чести и долга»? Что за фанатизмъ вражды! Что за рѣзкая увѣренность въ самыхъ сокровенныхъ помышленіяхъ противниковъ, въ сердцѣ и въ совѣсти ихъ! Неужели любить родину и быть честными дано въ видѣ привилегіи только однимъ славянофиламъ? Кто могъ сказать это, кто бы рѣшился написать это, кромѣ человѣка въ послѣдней степени фанатическаго изступленія!.. Да тутъ почти пахнетъ кострами и пытками... Мы не преувеличиваемъ. Въ концѣ статьи нашей мы приведемъ еще одну тираду изъ «Дня»: она на многое намекаетъ...

Да, конечно; у насъ лжи было много: это правда. Чужіе интересы не разъ принимались за свои, но если и принимались, то именно потому, что казались *своими*, родными, кровными, а вовсе не потому, что будто бы двигало западниками одно «внутреннее нечестіе, инстинктивно враждебное всякой святынѣ чести и долга». (Какъ поднялась у васъ рука написать это! Нужно во многомъ сперва заручиться, чтобъ взвести такое ужасное обвиненіе!) Но зачѣмъ же не замѣчать правды, зачѣмъ выпускать изъ виду возрождающуюся со всѣхъ сторонъ жизненность, стремленіе къ дѣйствительности, къ почвѣ? Если есть ложь, если была она, то наша художественная литература, за десятки послѣднихъ лѣтъ, почти сплошь, относилась къ этой лжи *отрицательно*, а не *положительно*. Для славянофиловъ, кажется, не существуетъ подобнаго, напримѣръ, факта, что во время самаго яраго западничества, доходившаго чуть не до послѣднихъ крайностей, вся художественная литература наша, Гоголь (до болѣзни его) и всѣ за нимъ слѣдовавшіе, относились къ плодамъ и результатамъ того же самаго западничества — отрицательно. Исчезъ для нихъ и тотъ фактъ, что именно эта самая литература, страстно-отрицательная, съ неслыханной ни въ какой еще литературѣ силою смѣха и добровольнаго самоосужденія, — благородная и съ энту-

зіазмомъ шедшая прямо къ тому, что считала доблестнымъ и честнымъ, — что эта самая литература восторженно поддерживалась самыми крайними западниками. Но славянофилы до сихъ поръ упорно хотятъ видѣть въ западникахъ своихъ враговъ и говорятъ о нихъ не иначе, какъ съ презрѣніемъ и проклятіемъ, забывая или, лучше, не желая понять, что западничество и даже самыя послѣднія его крайности были вызваны непремѣннымъ желаніемъ самопровѣрки, самопознанія, послѣдней вспышкой жизни въ умиравшей петровской реформѣ и первой вспышкой сознанія, его осудившаго, т. е. было вызвано самимъ процессомъ жизни. Будто въ западникахъ не было такого же чутья русскаго духа и народности, какъ въ славянофилахъ? Было, но западники не хотѣли по-факирски заткнуть глазъ и ушей передъ нѣкоторыми непонятными для нихъ явленіями; они не хотѣли оставить ихъ безъ разрѣшенія и *во что бы ни стало* отнестись къ нимъ враждебно, какъ дѣлали славянофилы; не закрывали глазъ для свѣта и хотѣли дойти до правды умомъ, анализомъ, понятіемъ. Западничество перешло бы свою черту и совѣстливо отказалось бы отъ своихъ ошибокъ. Оно и перешло ее, наконецъ, и обратилось къ *реализму*, тогда какъ славянофильство до сихъ поръ еще стоитъ на смутномъ и неопредѣленномъ идеалѣ своемъ, состоящемъ, въ *сущности*, изъ нѣкоторыхъ удачныхъ изученій стариннаго нашего быта, изъ страстной, но нѣсколько книжной и отвлеченной любви къ отечеству, изъ святой вѣры въ народъ и въ его правду, а вмѣстѣ съ тѣмъ (зачѣмъ утаивать? отчего не высказать?) — изъ панорамы Москвы съ Воробьевыхъ горъ, изъ мечтательнаго представленія московскихъ баръ половины семнадцатаго столѣтія, изъ осады Казани и Лавры и изъ прочихъ панорамъ, представленныхъ во французскомъ вкусѣ Карамзинымъ, изъ впечатлѣнія его же Марфы Посадницы, прочитанной когда-то въ дѣтствѣ, и наконецъ, изъ мечтательной картины полнаго будущаго торжества надъ нѣмцами, нѣсколько даже физическаго, — надъ нѣмцами непрощенными и даже, уже послѣ торжества надъ ними, попрекаемыми. Мы вовсе не хотимъ смѣяться говоря это, да и смѣяться-то не надъ чѣмъ; но мы хотѣли только заявить о нѣсколько мечтательномъ элементѣ славянофильства, который иногда доводитъ его до совершеннаго неузнанія своихъ и до полнаго разлада съ дѣйствительностью. Такъ что во всякомъ случаѣ западничество все-таки было реальнѣе славянофильства, и несмотря на всѣ свои ошибки, оно все-таки дальше ушло, все-таки движеніе осталось на его сторонѣ, тогда какъ славянофильство постоянно не двигалось съ мѣста и даже вмѣняло это себѣ въ большую честь. Западничество смѣло задало себѣ послѣдній вопросъ, съ болью разрѣшило его и, черезъ самосознаніе, воротилось-таки на народную почву и признало соединеніе съ народнымъ началомъ и спасеніе въ почвѣ. Мы, съ своей стороны, заявляемъ какъ фактъ и твердо вѣримъ въ непреложность его, что въ теперешнемъ, чуть не всеобщемъ (кромѣ нѣкоторыхъ крайнихъ и смѣшныхъ исключеній) поворотѣ къ почвѣ, сознательномъ и безсознательномъ, вліяніе славянофиловъ слишкомъ мало участвовало, а даже, можетъ быть, и совсѣмъ не участвовало. Партія движенія шла собственнымъ путемъ и осмыслила свой путь собственнымъ анализомъ. Но и признавъ необходимость почвы, она прежнею жизнью, прежнимъ развитіемъ убѣдились, что дѣло не въ проклятіи, а въ примиреніи и соединеніи, что реформа, отжившая свой вѣкъ, все-таки внесла къ намъ великій элементъ общечеловѣчности, заставила насъ осмыслить его и поставила его въ нашемъ будущемъ какъ главное назначеніе наше, какъ законъ природы нашей, какъ главнѣйшую цѣль всѣхъ стремленій русской силы и русскаго духа. И замѣтьте себѣ: западникамъ сочувствовала всегда у насъ масса общества. Не презирайте ее, эту зарождающуюся массу! Не говорите о ней, какъ ужъ и слышится съ нѣкоторыхъ сторонъ, что масса нашего общества слишкомъ ничтожна, слишкомъ невѣжественна, слишкомъ изуродована на европейскій ладъ и уже подгнила, прежде чѣмъ хоть во что-нибудь успѣла сложиться. Не утѣшайте себя этимъ, не пренебрегайте инстинктами общества, каковы бы они ни были. Вспомнимъ, что общество страстно сочувствовало западникамъ и раздѣляло всѣ ихъ ошибки и увлеченія, тогда какъ постоянно принимало славянофильство за маскарадъ. А гдѣ тайна этого сочувствія массы? Тайна въ томъ, что жизнь, хоть какая-нибудь, что дѣйствительность, что обновленіе, что залоги будущаго, что даже самый возвратъ на родную почву и первый шагъ къ тому — все-таки въ рукахъ реалистовъ, потому что европеизмъ, западничество, реализмъ — все-таки есть возрожденная жизнь, начало сознанія, начало воли, начало новыхъ формъ жизни. Западничество шло путемъ безпощаднаго анализа, и за нимъ шло все, что могло идти въ нашемъ обществѣ. Реалисты не боятся результатовъ своего анализа. Пусть ложь въ этой массѣ, пусть въ ней сбродъ тѣхъ лжей, которыя съ такимъ ярымъ наслажденіемъ вы пересчитываете. Мы не

боимся этого злораднаго исчисленія нашихъ болѣзней. Всѣ эти лжи, если есть онѣ — заранѣе опредѣленныя судьбою станціи пытливаго ума и анализа. Пусть это лжи, но движетъ насъ правда. Мы въ это вѣруемъ. Движеніе остановиться не можетъ, и общество дойдетъ-таки до окончательнаго результата, по крайней мѣрѣ, тепершнихъ усилій своихъ; будьте въ этомъ увѣрены.

Но вы являетесь съ газетой. Вы не хотите стоять въ сторонѣ отъ всеобщаго движенія. Вы хотите отзываться на современныя явленія жизни живымъ, неустаннымъ словомъ, войти съ усиленною противъ прежняго дѣятельностью въ эту толчею почти чуждыхъ вамъ (какъ вы сами заявляете) интересовъ. Мы рады товариществу, но вѣдь товарищемъ вы не будете. Вы все-таки будете насъ учить нестерпимо свысока... учить, безпрерывно учить; смѣяться надъ нашими ошибками; не признавать нашихъ мукъ и страданій; осуждать ихъ со всею жестокостью изступленнаго идеализма и... и... Но вы ужъ и начали. Смотрите, какъ тотъ же К. Аксаковъ, въ статьѣ своей, въ 1 № «Дня», относится сплошь ко всей русской литературѣ. Онъ смотритъ на нее враждебно скептически, онъ отрицаетъ въ ней все *свое*, съ легкостью нестерпимою отъ серьезно болѣющаго сердцемъ человѣка, съ уловкой свысока-оскорбительной. Даже если бъ онъ былъ правъ совершенно въ сужденіи своемъ, то легкость, скептицизмъ статьи, это самообожаніе въ величавомъ отдѣленіи себя отъ всего съ нимъ рядомъ живущаго, этотъ презрительный взглядъ, скользящій сверху и неудостаивающій ни надъ чѣмъ серьезно остановиться, не удостаивающій ничего оцѣнить, — ужъ одно это было бы въ высшей степени безсердечно и легкомысленно. У него вся литература наша — сплошь подражаніе и стремленіе къ иноземному идеалу. Онъ отрицаетъ всякое проявленіе сознанія общественнаго въ нашей литературѣ, не вѣритъ анализу, въ ней проявлявшемуся, самоосужденію, мукамъ, смѣху, въ ней отражавшимся. Нѣтъ, господа; вы съ нами не жили, вы въ нашихъ радостяхъ и скорбяхъ не участвовали; вы пріѣхали изъ-за моря!

Да, конечно, европейскій идеалъ, европейскій взглядъ и вообще европейское вліяніе сильно отозвалось въ созданіяхъ нашей литературы, отражается и до сихъ поръ. Но развѣ мы рабски воспринимали ихъ, развѣ не переживали ихъ жизненнымъ процессомъ, развѣ не вырабатывали своего русскаго взгляда на эти иноземныя явленія, развѣ не убѣдились, не прочувствовали самою жизнью, что общественность есть, можетъ быть, самое важнѣйшее

и святѣйшее свойство нашей народности? Развѣ, наконецъ, мы не сознавали народности, не сознавали необходимости почвы и обращенія къ ней? К. Аксаковъ говоритъ, что всѣ попытки обращенія къ народности оказались въ литературѣ нашей неудачными. «Портретъ купца похожъ — говоритъ онъ — у Островскаго; рѣчь сходна: говоритъ *должонъ*, а не *долженъ*». Неужели жъ К. Аксаковъ у Островскаго только и замѣтилъ это *должонъ*, а не *долженъ*? По смыслу и по тону статьи такъ выходитъ. Нѣтъ, мы не повѣримъ въ этомъ К. Аксакову; онъ прикидывается. Вѣдь случается иногда съ самымъ серьезнымъ человѣкомъ какой-то капризъ, какая-то потребность избочениться, вставить въ глазъ стеклышко и посмотрѣть на вселенную, — ну хоть такъ, какъ смотрятъ у насъ иногда на вселенную, въ четвертомъ часу пополудни, на Невскомъ проспектѣ... И какъ вы думаете, чего требуетъ К. Аксаковъ: «гдѣ же — говоритъ — настоящій купецъ? Гдѣ душа его? Гдѣ то, что въ немъ жить должно?» То есть, ни больше ни меньше, требуетъ изображенія положительныхъ сторонъ русскаго человѣка, съ патетической его стороны. А, каково? То есть послѣдняго слова сознанія, послѣдней степени красоты мелькающаго намъ и манящаго насъ идеала. Бездѣлица! Мы не упрекаемъ К. Аксакова, что онъ не разглядѣлъ въ Островскомъ слѣдовъ положительной русской красоты, уже кое-гдѣ намѣченной во всемъ его «Темномъ царствѣ», что онъ не подивился на то: какъ это такъ рано удалось, такъ рано случилось, такъ рано начало высказываться это новое слово — вмѣсто того, чтобъ попрекать и подсмѣиваться? Мало ли что человѣкъ можетъ не замѣтить, особенно подъ вліяніемъ извѣстнаго идеальнаго настроенія. Но намъ нестерпимо сужденіе Аксакова, какъ было бы нестерпимо сужденіе барича въ желтыхъ перчаткахъ и съ хлыстикомъ въ рукѣ надъ работою чернорабочаго: «А что, урока отчего не сработалъ? По восьми пудовъ не можешь носить? Нѣженка!» Да что жъ вы-то дѣлали, К. Аксаковъ? А не вы, такъ всѣ ваши славянофилы? Читаешь иныя ваши мнѣнія и, наконецъ, поневолѣ придешь къ заключенію, что вы рѣшительно въ сторонѣ себя поставили, смотрите на насъ какъ на чуждое племя, точно съ луны къ намъ пріѣхали, точно не въ нашемъ царствѣ живете, не въ наши годы, не ту же жизнь переживаете! Точно опыты надъ кѣмъ-то дѣлаете, въ микроскопъ кого-то разсматриваете. Да вѣдь это ваша же литература, ваша, русская? Что же вы свысока-то на нее смотрите, какъ козявку ее разбираете? Да вѣдь вы сами литераторы, г-да

славянофилы. Вѣдь вы хвалитесь же знаніемъ народа, ну и представьте намъ сами ваши идеалы, ваши образы. Но сколько намъ извѣстно, выше князя Луповицкаго вы еще не подымались. Вы скажете: нелѣпо и грубо намъ такъ разсуждать. Извольте, мы согласимся съ вами, но только тогда, когда вы не будете разсматривать вашихъ же русскихъ свысока, какъ букашекъ, какъ кучку какихъ-нибудь муравьевъ, и забавляться надъ нашими усиліями, муками и ошибками. Бросьте вашъ тонъ свысока и вспомните, что вы сами русскіе и принадлежите къ тому же самому обществу, одинъ фатализмъ насъ связалъ, и *свысока, со стороны* вы судить не можете, себя выгораживая. Вы какъ будто хвалитесь, что у васъ есть *свое, особое*, не такое, какъ у насъ. Вѣдь согласитесь, въ словахъ «*должонъ*, а не *долженъ*» лежитъ столько насмѣшки, столько лукавой про себя насмѣшки: «Вѣдь вотъ, дескать, чего этотъ жалкій народъ не знаетъ! Какихъ основныхъ вещей не понимаетъ! Какъ совратился и отупѣлъ!» Ну, и покажите намъ то, что у васъ есть, не скрывайте сокровище; да не въ наставленіяхъ, не въ надгробныхъ надъ нами рѣчахъ покажите его, а въ настоящемъ дѣлѣ, — ну хоть въ искусствѣ, такъ какъ это всего невиннѣе и... сподручнѣе. Иначе вѣдь странно со стороны: что жъ это въ самомъ дѣлѣ, подумаешь, люди, говорятъ, постигли тайну русскаго назначенія, русскаго духа, привилегированно отмежевали себѣ знаніе русскихъ судебъ, русскаго человѣка и то, «*какъ онъ быть долженъ*», а смотришь — на дѣлѣ отъ нихъ и нѣтъ ничего. И не могутъ сами-то показать, «*какъ онъ быть долженъ!*» И добро бы не было у нихъ литераторовъ!

Литераторы-то есть, да жизни-то нѣтъ!

Да, ея нѣтъ! Чутья дѣйствительности нѣтъ. Идеализмъ одуряетъ, увлекаетъ и — мертвитъ, и вы сами ясно понимаете то, пониманіемъ чего хвалитесь передъ нами. Вотъ почему мы и сказали, что у васъ есть чутье нѣкоторыхъ основныхъ элементовъ русской жизни, но не всѣхъ. Чутья какъ не быть: вы русскіе, люди честные, любите родину, но идеализмъ губитъ васъ, и иногда вы даете ужасные промахи, даже въ пониманіи именно этихъ-то основныхъ элементовъ русской жизни. Ну вотъ, напримѣръ, еще тирада, изъ 2 № «Дня». Полюбуйтесь:

„Что видимъ мы... хоть въ нашей литературѣ? Какія — *теоріи?* Съ одной стороны пустое, голое отрицаніе, волненіе, безъ содержанія и безъ цѣли, какой-то призракъ жизни и движенія, — а въ сущности нѣтъ ни жизни, ни движенія, все полумертво и гнило, и заимствуетъ силу только отъ силы враждебнаго напора; съ другой—грубая, тупая

безсмысленная *сила*, только въ насиліи и бездушномъ механизмѣ полагающая спасеніе! Съ одной стороны ложь разрушенія, съ другой ложь созиданія; съ одной стороны невѣріе, поклоняющееся, какъ богамъ, людскимъ, временнымъ кумирамъ; съ другой—мнимая вѣра, поклоняющаяся и Богу, какъ кумиру, и силою божьяго имени служащая своимъ корыстнымъ цѣлямъ и выгодамъ! Тутъ раболѣпство передъ каждымъ послѣднимъ словомъ науки; тамъ грубое презрѣніе къ наукѣ, къ мысли, къ подвигамъ разума и духа; тутъ злоупотребленіе, нечестное обращеніе со словомъ; тамъ преслѣдованіе слова, любовь нѣмоты и мрака, тайное сочувствіе съ безсловесными! И тутъ, и тамъ одинаковое умертвленіе духа: тамъ черезъ внѣшнее насиліе, а тутъ—черезъ оскудѣніе и огрубленіе духа. И тутъ и тамъ одинаковое подобострастное, рабское отношеніе къ иноземному, безсмысленная покорность подражанія, измѣна народному духу, при наружной грубой поддѣлкѣ подъ русскую народность. Въ безысходный мракъ погружены обѣ враждующія стороны, во мракѣ терзаютъ и истребляютъ другъ друга! — И если народъ, наконецъ, подыметъ усталыя отъ долгой дремоты очи и взглянетъ — на нашихъ литераторовъ и всякаго рода художниковъ (кромѣ нѣкоторыхъ исключеній), взглянетъ на этихъ незванныхъ гостей, устроившихъ свой буйный пиръ у его ложа, прислушается къ ихъ оглушительнымъ кликамъ, къ треску и грому ихъ велѣній и вѣщаній, — что скажетъ онъ? „Куда дѣвали вы порученные вамъ дары нашей родной, богатой земли? Куда расточили ея духовныя сокровища? Что сталось съ моимъ обычаемъ, вѣрою, преданіемъ, моею прожитою жизнью, моимъ долгимъ и горькимъ опытомъ? Что совер шили вы на досугѣ? Гдѣ цѣльность и единство жизни и духа? Гдѣ наука, вами взрощенная? Гдѣ мое живое, изобразительное, свободное слово? Какого хлама нанесли вы на мою почву?... Нѣтъ, вы не мои, вы безобразные снимки съ чужихъ народовъ! Подите къ нимъ если они васъ примутъ: — я не знаю васъ, вы мнѣ не нужны, вы чужды мнѣ“... скажетъ народъ, пробуждаясь къ сознанію,—и смететъ ихъ, какъ соръ, свѣжая струя воскресшаго народнаго духа!

Но еще не наступила пора. И хотя мы почти увѣрены, что голосъ нашъ раздается напрасно, но, примѣняясь къ предмету настоящей рѣчи нашей, скажемъ и мы: „Гласъ вопіющаго въ пустынѣ: уготовайте путь Господень... Покайтеся!...“

Хорошо-съ. Но такъ ли скажетъ народъ? Такъ ли (и это главное) разсудитъ онъ? Не приписываете ли вы ему своего суда, своихъ мнѣній? Вы говорите про нашихъ художниковъ и литераторовъ. Про художниковъ мы теперь ничего не скажемъ и не будемъ гадать о томъ, какая участь постигнетъ нашу академію художествъ. Но другимъ, о которыхъ вы говорите, онъ скажетъ, по-нашему, вотъ что: «Успокойтесь! Вы тѣ же русскіе, и я признаю васъ русскими за то, что вы меня сами, наконецъ, признали и догадались, что безъ меня вамъ жить плохо, и что безъ меня вы ничего не сдѣлаете. Честь и слава вамъ, что какъ только проснулась ваша мысль, какъ только вы выросли и возмужали, тотчасъ же вспомнили обо мнѣ. Честь и слава вамъ, что вы скорбѣли моими

скорбями и другихъ научали скорбѣть; что вы заступались за меня и рѣшили сообща — воротиться ко мнѣ, на родную почву. Научите жъ вы меня теперь тому, что вы за моремъ узнали, и опишите мнѣ въ точности всѣ ваши странствованія и страданія. Я же васъ научу тому, что вы своего позабыли. Во многомъ вы ошибались, но ошибку въ фальшь не ставятъ. Ошибокъ умышленныхъ вы промежь себя не терпѣли и не хотѣли терпѣть, а я это выше всего цѣню. Всѣ мы изъ одной благородной почвы и, какъ русскіе, всѣ мы другъ передъ другомъ равны»... И ужъ если пошло на тексты, то не грозный текстъ пророка приведетъ онъ тогда, а милосердое слово безконечной любви... Такъ намъ кажется. Намъ кажется, что мы заслужимъ въ его сознаніи, а сознательно онъ не смететъ насъ какъ соръ... Вѣдь и у васъ онъ говоритъ сознательно: какъ же вы сознательно вложили ему такія слова въ уста! Нѣтъ, господа, не клевещите на русскій народъ, не приписывайте ему своего суда!

Есть у васъ и еще тирады, но объ нихъ какъ-то не приходится намъ судить (чтобъ не распространять статью, разумѣется). И тѣмъ болѣе странно для насъ, что вѣдь вы сами знали, что объ этихъ тирадахъ не будутъ судить и на нихъ не будутъ возражать. Но несмотря на то, вы увлеклись и — судили до конца. И вѣдь какъ судили-то, какимъ судомъ! Сами же признавались, начиная судъ, что будете говорить только объ одной сторонѣ, выслушаете только одного подсудимаго. Въ какомъ же судѣ выслушиваютъ только одну сторону? А вы выслушали, да еще положили рѣшеніе, т. е. осудили— одну сторону. Хорошо это вы сдѣлали? Оставляемъ это на вашу совѣсть. Дѣло, конечно, шло объ русской литературѣ. Это еще не такъ важно. Ну, а если бы шло о чемъ поважнѣе? Повѣрьте, что это нехорошій пріемъ. Дурные «Дни» вы сулите намъ впереди. Мы съ симпатіей думали встрѣтить журналъ вашъ, но вы хоть какую симпатію потушите. Или вотъ еще: проявился у васъ въ 4 номерѣ одинъ корреспондентъ Н. Б. Пишетъ онъ о крестьянахъ. Трудно представить себѣ что-нибудь болѣе ограниченнаго и самодовольнаго, какъ сужденія господина Н. Б. Редакторъ «Дня» самымъ обязательнѣйшимъ образомъ возится съ нимъ въ продолженіе всей статьи, всзражаетъ ему поминутно; увѣряетъ его, что тамъ, гдѣ г. Н. Б. видитъ одну дичь, глупость и невѣжество крестьянина, не только нѣтъ дичи, глупости, но что даже, напротивъ, видно много ума. На нѣкоторыя возмущающія душу сужденія г-на Н. Б. редакторъ возражаетъ необыкновенно снисходительно и деликатно, и даже спѣшитъ, въ одномъ мѣстѣ, заявить, что г. Н. Б. совсѣмъ не обскурантъ. «Намъ слишкомъ хорошо извѣстенъ образъ мыслей и дѣйствій автора, — замѣчаетъ редакторъ, — чтобъ допустить возможность подобнаго о немъ отзыва». Ну, да положимъ... т. е. не то что г. Н. Б. не обскурантъ: это мы никакъ допустить не можемъ, несмотря на отзывъ редактора, а положимъ, что у всякаго своя фантазія, что редакціи нравится помѣщать такія статьи, на которыя она сама принуждена писать въ томъ же номерѣ критику. Ну, а вотъ это какъ вамъ покажется: На одно мнѣніе г-на Н. Б. редакторъ уже самъ дѣлаетъ слѣдующую замѣтку о бывшемъ крѣпостномъ состояніи:

Мы даже думаемъ, что *въ общей сложности* личныя отношенія помѣщиковъ и крестьянъ были довольно человѣчны. Покоясь на лонѣ повидимому незыблемаго, крѣпостного права, наивно увѣренный въ его совершенной человѣческой и божеской законности, помѣщикъ не имѣлъ надобности оправдывать это право клеветами на крестьянъ и относился къ нимъ довольно дружелюбно и простосердечно. Этому доказательствомъ служитъ между прочимъ и то, что помѣщики допустили образованіе и развитіе крестьянскихъ общинъ и міра, совершившееся вовсе не вопреки ихъ волѣ и не въ ограниченіе только отъ помѣщичьяго произвола. У насъ никогда не было ничего подобнаго отношеніямъ феодальныхъ владѣльцевъ къ ихъ вассаламъ. Крестьянинъ не былъ для помѣщика „виленемъ“ (vilain), а „рабомъ божіимъ“ такимъ-то, „христіанскою же душою“, хотя подчасъ и „съ глупымъ крестьянскимъ разумомъ“! Совершались иногда страшныя злоупотребленія, но они не возводились *въ законъ*, какъ на Западѣ. Такія пошлины, какія взимались тамъ, такія *„права“* владѣльцевъ, какъ знаменитое *jus p. n.*, у насъ просто немыслимы. Когда же критика общественнаго сознанія обличила всю внутреннюю неправду крѣпостного права и нарушила блаженный міръ безсознательныхъ, деспотическихъ и въ то же время какихъ-то простодушныхъ отношеній, возникли дѣйствительно со стороны многихъ помѣщиковъ клеветы на крестьянъ, и вообще ложныя оцѣнки крестьянскаго права, — не помѣшавшія, впрочемъ, совершиться дѣлу освобожденія.

Гораздо сильнѣе клеветъ крѣпостного права были клеветы на русскій народъ, создаваемыя неистовыми поклонниками западной образованности, отрицавшими въ народѣ всякое право на свободное и самобытное народное развитіе.

Хорошо? «Покоясь на лонѣ, повидимому незыблемаго, крѣпостного права, наивно увѣренный въ его совершенной человѣческой и божеской законности, помѣщикъ относился къ крестьянамъ довольно *дружелюбно* и *простосердечно*»...

Во-первыхъ, до какой же отупѣлости долженъ дойти человѣкъ, чтобъ быть увѣреннымъ въ *божеской* закон-

ности крѣпостного права. А если такъ, то какъ же можно ручаться, что такой человѣкъ могъ относиться къ своему крестьянину *дружелюбно?* Вы говорите, что у насъ не было ничего подобнаго феодальнымъ отношеніямъ на Западѣ? Ну, нѣтъ-съ; одно другого вѣрно стоило. Спросите у мужиковъ.

«Крестьянинъ — говорите вы — не былъ для помѣщика *виленемъ*, а рабомъ божіимъ, христіанскою душою». А холопъ, хамъ, халуй, хамлетъ: — что, эти названія, по-вашему, благороднѣе виленя? Но позвольте, что вы разумѣете подъ именемъ дружелюбныхъ помѣщиковъ? Да помѣщикъ, при тѣхъ правахъ, которыми онъ обладалъ, даже самый добрый, самый добрѣйшій, не могъ относиться въ нѣкоторыхъ случаяхъ къ своимъ крестьянамъ «дружелюбно и простосердечно». Но что говорить!.. Объ этомъ такъ уже много сказано, и это такъ для всѣхъ ясно, что трудно въ настоящее время не понимать этого.

Вы замѣчаете, наконецъ, что клеветы западниковъ на русскій народъ были сильнѣе клеветъ помѣщиковъ на крестьянъ, когда блаженный міръ «простосердечныхъ» отношеній нарушился усиленнымъ присмотромъ правительства. Ну нѣтъ-съ, это вамъ только кажется...

Но довольно. Вѣдь намъ еще, можетъ быть, нѣсколько разъ придется повстрѣчаться съ газетою «День» на дорогѣ.

Дневникъ писателя.

За 1873 годъ.

I.

Вступленіе[1].

Двадцатаго декабря я узналъ, что уже все рѣшено и что я редакторъ «Гражданина». Это чрезвычайное событіе, т. е. чрезвычайное для меня (я никого не хочу обижать), — произошло, однако, довольно просто. Двадцатаго декабря я какъ разъ читалъ статью «Московскихъ Вѣдомостей» о бракосочетаніи китайскаго императора; она оставила во мнѣ сильное впечатлѣніе. Это великолѣпное и, повидимому, весьма сложное событіе произошло тоже удивительно просто: все оно было предусмотрѣно и опредѣлено еще за тысячу лѣтъ, до послѣдней подробности, почти въ двухстахъ томахъ церемоній. Сравнивъ громадность китайскаго событія съ моимъ назначеніемъ въ редакторы, — я вдругъ почувствовалъ неблагодарность къ отечественнымъ установленіямъ, несмотря на то, что меня такъ легко утвердили, и подумалъ, что намъ, т. е. мнѣ и князю Мещерскому, въ Китаѣ было бы несравненно выгоднѣе, чѣмъ здѣсь, издавать «Гражданина». Тамъ все такъ ясно... Мы оба предстали бы въ назначенный день въ тамошнее главное управленіе по дѣламъ печати. Стукнувшись лбами объ полъ и полизавъ полъ языкомъ, мы бы встали и подняли наши указательные персты передъ собою, почтительно склонивъ головы. Главноуправляющій по дѣламъ печати, конечно, сдѣлалъ бы видъ, что не обращаетъ на насъ ни малѣйшаго вниманія, какъ на влетѣвшихъ мухъ. Но всталъ бы третій помощникъ третьяго его секретаря и, держа въ рукахъ дипломъ о моемъ назначеніи въ редакторы, произнесъ бы намъ внушительнымъ, но ласковымъ голосомъ опредѣленное церемоніями наставленіе. Оно было

[1] Напечатано въ № 1 журнала „Гражданинъ“ за 1873 г.

бы такъ ясно и такъ понятно, что обоимъ намъ было бы неимовѣрно пріятно слушать. На случай, если бъ я въ Китаѣ былъ такъ глупъ и чистъ сердцемъ, что, приступая къ редакторству и сознавая слабость моихъ способностей, ощутилъ бы въ себѣ страхъ и угрызенія совѣсти, — мнѣ бы тотчасъ же было доказано, что я вдвое глупъ, питая такія чувства. Что именно съ этого момента мнѣ вовсе не надо ума, если бъ даже и былъ; напротивъ того, несравненно благонадежнѣе, если его нѣтъ вовсе. И ужъ, безъ сомнѣнія, это было бы весьма пріятно выслушать. Заключивъ прекрасными словами: «Иди, редакторъ, отнынѣ ты можешь ѣсть рисъ и пить чай съ новымъ спокойствіемъ твоей совѣсти», третій помощникъ третьяго секретаря вручилъ бы мнѣ красивый дипломъ, напечатанный на красномъ атласѣ золотыми литерами, князь Мещерскій далъ бы полновѣсную взятку, и оба мы, возвратясь домой, тотчасъ же бы издали великолѣпнѣйшій № «Гражданина», такой, какого здѣсь никогда не издадимъ. Въ Китаѣ мы бы издавали отлично.

Подозрѣваю, однако, что въ Китаѣ князь Мещерскій непремѣнно бы со мною схитрилъ, пригласивъ меня въ редакторы наиболѣе съ тою цѣлью, чтобъ я замѣнялъ его лицо въ глазномъ управленіи по дѣламъ печати каждый разъ, когда бы его приглашали туда получать удары по пятамъ бамбуковыми дощечками. Но я перехитрилъ бы его: я бы тотчасъ пересталъ печатать «Бисмарка», самъ же, напротивъ, сталъ отлично писать статьи, — такъ что къ бамбуку призывали бы меня всего лишь черезъ нумеръ. Зато я бы выучился писать.

Въ Китаѣ я бы отлично писалъ; здѣсь это гораздо труднѣе. Тамъ все предусмотрѣно и все разсчитано на тысячу лѣтъ; здѣсь же все вверхъ дномъ на тысячу лѣтъ. Тамъ я даже поневолѣ писалъ бы понятно; такъ что не знаю, кто бы меня сталъ и читать. Здѣсь, чтобы заставить себя читать, даже выгоднѣе писать непонятно. Только въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» передовыя статьи пишутся въ полтора столбца и — къ удивленію — понятно; да и то если принадлежатъ извѣстному перу. Въ «Голосѣ» онѣ пишутся въ восемь, въ десять, въ двѣнадцать и даже въ тринадцать столбцовъ. Итакъ, вотъ сколько надо здѣсь истратить столбцовъ, чтобы заставить уважать себя.

У насъ говорить съ другими — наука, т. е. съ перваго взгляда, пожалуй такъ же, какъ и въ Китаѣ: какъ и тамъ, есть нѣсколько очень упрощенныхъ и чисто научныхъ пріемовъ. Прежде, напримѣръ, слова: «я ничего

не понимаю», означали только глупость произносившаго ихъ; теперь же приносятъ великую честь. Стоитъ лишь произнести съ открытымъ видомъ и съ гордостью: «Я не понимаю религіи, я ничего не понимаю въ Россіи, я ровно ничего не понимаю въ искусствѣ» — и вы тотчасъ же ставьте себя на отмѣнную высоту. И это особенно выгодно, если вы въ самомъ дѣлѣ ничего не понимаете.

Но этотъ упрощенный пріемъ ничего не доказываетъ. Въ сущности у насъ каждый подозрѣваетъ другого въ глупости, безо всякой задумчивости и безо всякаго обратнаго вопроса на себя: «да ужъ не я ли это глупъ въ самомъ дѣлѣ?» Положеніе вседовольное, и однакоже никто не доволенъ имъ, а всѣ сердятся. Да и задумчивость въ наше время почти невозможна: дорого стоитъ. Правда, покупаютъ готовыя идеи. Онѣ продаются вездѣ, даже даромъ, но даромъ-то еще дороже обходятся, и это уже начинаютъ предчувствовать. Въ результатѣ никакой выгоды и попрежнему безпорядокъ.

Пожалуй, мы тотъ же Китай, но только безъ его порядка. Мы едва лишь начинаемъ то, что въ Китаѣ уже оканчивается. Несомнѣнно придемъ къ тому же концу, но когда? Чтобы принять тысячу томовъ «Церемоній», съ тѣмъ, чтобы уже окончательно выиграть право ни о чемъ не задумываться, намъ надо прожить, по крайней мѣрѣ, еще тысячелѣтіе задумчивости. И что же — никто не хочетъ ускорить срокъ, потому что никто не хочетъ задумываться.

Правда и то: если никто не хочетъ задумываться, то, казалось бы, тѣмъ легче русскому литератору. Да, легче дѣйствительно; и горе тому литератору и издателю, который въ наше время задумывается. Еще горше тому, кто самъ захотѣлъ бы учиться и понимать, но еще горше тому, который объявитъ объ этомъ искренно, а если заявитъ, что уже капельку понялъ и желаетъ высказать свою мысль, то немедленно всѣми оставляется. Ему остается лишь подыскать какого-нибудь одного подходящаго человѣчка, или даже нанять его, и только съ нимъ однимъ и разговаривать; можетъ быть, для него одного и журналъ издавать. Положеніе омерзительное, ибо это все равно что говорить самому съ собой и издавать журналъ для собственнаго удовольствія. Я сильно подозрѣваю, что «Гражданину» еще долго придется говорить самому съ собой для собственнаго удовольствія. Взять ужъ то, что по медицинѣ разговоръ съ собой обозначаетъ предрасположеніе къ помѣшательству. «Гражданинъ» дол-

женъ непремѣнно говорить съ гражданами, и вотъ въ томъ вся бѣда его!

Итакъ, вотъ къ какому изданію я пріобщилъ себя. Положеніе мое въ вышей степени неопредѣленное. Но буду и я говорить самъ съ собой и для собственнаго удовольствія, въ формѣ этого дневника, а тамъ что бы ни вышло. О чемъ говорить? Обо всемъ, что поразитъ меня или заставитъ задуматься. Если же найду читателя и, Боже сохрани, оппонента, то понимаю, что надо умѣть разговаривать и знать, съ кѣмъ и какъ говорить. Этому постараюсь выучиться, потому что у насъ это всего труднѣе, т. е. въ литературѣ. Къ тому же и оппоненты бываютъ различные: не со всякимъ можно начать разговоръ. Разскажу одну басню, которую слышалъ на дняхъ. Говорятъ, что басня древняя, чуть не индійскаго происхожденія, что весьма утѣшительно.

Однажды свинья поспорила со львомъ и вызвала его на дуэль. Воротясь домой, одумалась и струсила. Собралось все стадо, подумали и рѣшили такъ:

— Видишь, свинья, тутъ у насъ поблизости есть одна яма; поди, вываляйся въ ней хорошенько и явись такъ на мѣсто. Увидишь.

Свинья такъ и сдѣлала. Левъ пришелъ, понюхалъ, поморщился и пошелъ прочь. Долго еще потомъ свинья хвалилась, что левъ струсилъ и убѣжалъ съ поля битвы.

Вотъ басня. Конечно, львовъ у насъ нѣтъ, — не по климату, да и слишкомъ величественно. Но поставьте вмѣсто льва порядочнаго человѣка, какимъ каждый обязанъ быть, и нравоученіе выйдетъ то же самое.

Кстати, разскажу еще присказку.

Однажды, разговаривая съ покойнымъ Герценомъ, я очень хвалилъ ему одно его сочиненіе, — «Съ того берега». Объ этой книгѣ, къ величайшему моему удовольствію, съ похвалой отнесся и Михаилъ Петровичъ Погодинъ въ своей превосходной и любопытнѣйшей статьѣ о свиданіи его за границей съ Герценомъ. Эта книга написана въ формѣ разговора двухъ лицъ, Герцена и его оппонента.

— И мнѣ особенно нравится, — замѣтилъ я между прочимъ, — что вашъ оппонентъ тоже очень уменъ. Согласитесь, что онъ васъ во многихъ случаяхъ ставитъ къ стѣнѣ.

— Да вѣдь въ томъ-то и вся штука, — засмѣялся Герценъ. — Я вамъ разскажу анекдотъ. Разъ, когда я былъ въ Петербургѣ, затащилъ меня къ себѣ Бѣлинскій и усадилъ слушать свою статью, которую горячо писалъ: «Разговоръ между господиномъ А. и господиномъ Б.» (Вошла въ собраніе его сочиненій). Въ этой статьѣ господинъ А., т. е., разумѣется, самъ Бѣлинскій — выставленъ очень умнымъ, а господинъ Б., его оппонентъ, поплоше. Когда онъ кончилъ, то съ лихорадочнымъ ожиданіемъ спросилъ меня:

— Ну что, какъ ты думаешь?

— Да хорошо то хорошо, и видно, что ты очень уменъ, но только охота тебѣ была съ такимъ дуракомъ свое время терять.

Бѣлинскій бросился на диванъ, лицомъ въ подушку, и закричалъ, смѣясь что есть мочи:

— Зарѣзалъ! Зарѣзалъ!

II.

Старые люди.

Этотъ анекдотъ о Бѣлинскомъ напомнилъ мнѣ теперь мое первое вступленіе на литературное поприще, Богъ знаетъ сколько лѣтъ тому назадъ; грустное, роковое для меня время. Мнѣ именно припомнился самъ Бѣлинскій, какимъ я его тогда встрѣтилъ, и какъ онъ меня тогда встрѣтилъ. Мнѣ часто припоминаются теперь старые люди, конечно, потому, что встрѣчаюсь съ новыми. Это была самая восторженная личность изъ всѣхъ мнѣ встрѣчавшихся въ жизни. Герценъ былъ совсѣмъ другое: то былъ продуктъ нашего барства, gentilhomme russe et citoyen du monde прежде всего, — типъ, явившійся только въ Россіи, и который нигдѣ кромѣ Россіи не могъ явиться. Герценъ не эмигрировалъ, не полагалъ начало русской эмиграціи; — нѣтъ, онъ такъ ужъ и родился эмигрантомъ. Они всѣ, ему подобные, такъ прямо и рождались у насъ эмигрантами, хотя большинство ихъ и не выѣзжало изъ Россіи. Въ полтораста лѣтъ предыдущей жизни русскаго барства, за весьма малыми исключеніями, истлѣли послѣдніе корни, расшатались послѣднія связи его съ русской почвой и съ русской правдой. Герцену какъ будто сама исторія предназначила выразить собою въ самомъ яркомъ типѣ этотъ разрывъ съ народомъ огромнаго большинства образованнаго нашего сословія. Въ этомъ смыслѣ это типъ историческій. Отдѣлясь отъ народа, они естественно потеряли и Бога. Безпокойные изъ нихъ стали атеистами; вялые и спокойные — индиферентными. Къ русскому народу они питали лишь одно пре-

зрѣніе, воображая и вѣруя въ то же время, что любятъ его и желаютъ ему всего лучшаго. Но они любили его отрицательно, воображая вмѣсто него какой-то идеальный народъ, — какимъ бы долженъ быть, по ихъ понятіямъ, русскій народъ. Этотъ идеальный народъ невольно воплощался тогда у иныхъ передовыхъ представителей большинства въ парижскую чернь девяносто третьяго года. Тогда это былъ самый плѣнительный идеалъ народа. Разумѣется, Герценъ долженъ былъ стать соціалистомъ и именно какъ русскій баричъ, т. е. безо всякой нужды и цѣли, а изъ одного только «логическаго теченія идей» и отъ сердечной пустоты на родинѣ. Онъ отрекся отъ основъ прежняго общества; отрицалъ семейство и былъ, кажется, хорошимъ отцомъ и мужемъ. Отрицалъ собственность, а въ ожиданіи успѣлъ устроить дѣла свои и съ удовольствіемъ ощущалъ за границей свою обезпеченность. Онъ заводилъ революціи, и подстрекалъ къ нимъ другихъ, и въ то же время любилъ комфортъ и семейный покой. Это былъ художникъ, мыслитель, блестящій писатель, чрезвычайно начитанный человѣкъ, остроумецъ, удивительный собесѣдникъ (говорилъ онъ даже лучше, чѣмъ писалъ) и великолѣпный рефлектеръ. Рефлекція, способность сдѣлать изъ самаго глубокаго своего чувства объектъ, поставить его передъ собою, поклониться ему, и сейчасъ же, пожалуй, и насмѣяться надъ нимъ, была въ немъ развита въ высшей степени. Безъ сомнѣнія, это былъ человѣкъ необыкновенный, но чѣмъ бы онъ ни былъ — писалъ ли свои записки, издавалъ ли журналъ съ Прудономъ, выходилъ ли въ Парижѣ на баррикады (что такъ комически описалъ въ своихъ запискахъ); страдалъ ли, радовался ли, сомнѣвался ли, посылалъ ли въ Россію, въ шестьдесятъ третьемъ году, въ угоду полякамъ свое воззваніе къ русскимъ революціонерамъ, въ то же время не вѣря полякамъ и зная, что они его обманули, зная, что своимъ воззваніемъ онъ губитъ сотни этихъ несчастныхъ молодыхъ людей; съ наивностью ли неслыханною признавался въ этомъ самъ въ одной изъ позднѣйшихъ статей своихъ, даже и не подозрѣвалъ, въ какомъ свѣтѣ самъ себя выставляетъ такимъ признаніемъ — всегда, вездѣ и во всю свою жизнь онъ, прежде всего, былъ gentilhomme russe et citoyen du monde, попросту продуктъ прежняго крѣпостничества, которое онъ ненавидѣлъ и изъ котораго произошелъ, не по отцу только, а именно черезъ разрывъ съ родной землей и съ ея идеалами. Бѣлинскій — напротивъ, Бѣлинскій былъ вовсе не gentilhomme, — о, нѣтъ. (Онъ Богъ знаетъ

отъ кого происходилъ. Отецъ его былъ, кажется, военнымъ лѣкаремъ.)

Бѣлинскій былъ по преимуществу не рефлективная личность, а именно беззавѣтно восторженная, всегда и во всю его жизнь. Первая повѣсть моя «Бѣдные Люди» восхитила его (потомъ, почти годъ спустя, мы разошлись — отъ разнообразныхъ причинъ, весьма, впрочемъ, неважныхъ во всѣхъ отношеніяхъ); но тогда, въ первые дни знакомства, привязавшись ко мнѣ всѣмъ сердцемъ, онъ тотчасъ же бросился съ самою простодушною торопливостью обращать меня въ свою вѣру. Я нисколько не преувеличиваю его горячаго влеченія ко мнѣ, по крайней мѣрѣ, въ первые мѣсяцы знакомства. Я засталъ его страстнымъ соціалистомъ, и онъ прямо началъ со мной съ атеизма. Въ этомъ много для меня знаменательнаго,— именно удивительное чутье его и необыкновенная способность глубочайшимъ образомъ проникаться идеей. Интернаціоналка, въ одномъ изъ своихъ воззваній, года два тому назадъ, начала прямо съ знаменательнаго заявленія: «мы прежде всего общество атеистическое», т. е., начала съ самой сути дѣла; тѣмъ же началъ и Бѣлинскій. Выше всего цѣня разумъ, науку и реализмъ, онъ въ то же время понималъ глубже всѣхъ, что одни разумъ, наука и реализмъ могутъ создать лишь муравейникъ, а не соціальную «гармонію», въ которой бы можно было ужиться человѣку. Онъ зналъ, что основа всему — начала нравственныя. Въ новыя нравственныя основы соціализма (который, однако, не указалъ до сихъ поръ ни единой, кромѣ гнусныхъ извращеній природы и здраваго смысла) онъ вѣрилъ до безумія и безо всякой рефлексіи; тутъ былъ одинъ лишь восторгъ. Но какъ соціалисту, ему прежде всего слѣдовало низложить христіанство; онъ зналъ, что революція непремѣнно должна начинать съ атеизма. Ему надо было низложить ту религію, изъ которой вышли нравственныя основанія отрицаемаго имъ общества. Семейство, собственность, нравственную отвѣтственность личности — онъ отрицалъ радикально. (Замѣчу, что онъ былъ тоже хорошимъ мужемъ и отцомъ, какъ и Герценъ.) Безъ сомнѣнія, онъ понималъ, что, отрицая нравственную отвѣственность личности, онъ тѣмъ самымъ отрицаетъ и свободу ея; но онъ вѣрилъ всѣмъ существомъ своимъ (гораздо слѣпѣе Герцена, который, кажется, подъ конецъ усумнился), что соціализмъ не только не разрушаетъ свободу личности, а напротивъ — возстановляетъ ее въ неслыханномъ величіи, но на новыхъ и уже адамантовыхъ основаніяхъ.

Тутъ оставалась однако сіяющая личность самого Христа, съ которою всего труднѣе было бороться. Ученіе Христово онъ, какъ соціалистъ, необходимо долженъ былъ разрушать, называть его ложнымъ и невѣжественнымъ человѣколюбіемъ, осужденнымъ современною наукой и экономическими началами, но все-таки оставался пресвѣтлый ликъ Богочеловѣка, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но въ безпрерывномъ, неугасимомъ восторгѣ своемъ Бѣлинскій не остановился даже и передъ этимъ неодолимымъ препятствіемъ, какъ остановился Ренанъ, провозгласившій въ своей полной безвѣрія книгѣ «Vie de Jesus», что Христосъ все-таки есть идеалъ красоты человѣческой, типъ недостижимый, которому нельзя уже болѣе повториться даже и въ будущемъ.

— Да знаете ли вы, — взвизгивалъ онъ разъ вечеромъ (онъ иногда какъ-то взвизгивалъ, если очень горячился), обращаясь ко мнѣ: — знаете ли вы, что нельзя насчитывать грѣхи человѣку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество такъ подло устроено, что человѣку невозможно не дѣлать злодѣйствъ, когда онъ экономически приведенъ къ злодѣйству, и что нелѣпо и жестоко требовать съ человѣка того, чего уже по законамъ природы не можетъ онъ выполнить, если бъ даже хотѣлъ...

Въ этотъ вечеръ мы были не одни; присутствовалъ одинъ изъ друзей Бѣлинскаго, котораго онъ весьма уважалъ и во многомъ слушался; былъ тоже одинъ молоденькій, начинающій литераторъ, заслужившій потомъ извѣстность въ литературѣ.

— Мнѣ даже умилительно смотрѣть на него, — прервалъ вдругъ свои яростныя восклицанія Бѣлинскій, обращаясь къ своему другу и указывая на меня: — каждый-то разъ, когда я вотъ такъ помяну Христа, у него все лицо измѣняется, точно заплакать хочетъ... Да, повѣрьте же, наивный вы человѣкъ, — набросился онъ опять на меня: — повѣрьте же, что вашъ Христосъ, если бы родился въ наше время, былъ бы самымъ незамѣтнымъ и обыкновеннымъ человѣкомъ; такъ и стушевался бы при нынѣшней наукѣ и при нынѣшнихъ двигателяхъ человѣчества.

— Ну, нѣ-ѣ-ѣтъ! — подхватилъ другъ Бѣлинскаго. (Я помню, мы сидѣли, а онъ расхаживалъ взадъ и впередъ по комнатѣ.) — Ну, нѣтъ: если бы теперь появился Христосъ, онъ бы примкнулъ къ движенію и сталъ во главѣ его...

— Ну-да, ну-да, — вдругъ и съ удивительною поспѣшностью согласился Бѣлинскій. — Онъ бы именно примкнулъ къ соціалистамъ и пошелъ за ними.

Эти двигатели человѣчества, къ которымъ предназначалось примкнуть Христу, были тогда все французы: прежде всѣхъ Жоржъ Зандъ, теперь совершенно забытый Кабетъ, Пьеръ Леру и Прудонъ, тогда еще только начинавшій свою дѣятельность. Этихъ четырехъ, сколько припомню, всего болѣе уважалъ тогда Бѣлинскій. Фурье уже далеко не такъ уважался. О нихъ толковалось у него по цѣлымъ вечерамъ. Былъ тоже одинъ нѣмецъ, передъ которымъ тогда онъ очень склонялся — Фейербахъ. (Бѣлинскій, не могшій всю жизнь научиться ни одному иностранному языку, произносилъ: Фіербахъ.) О Штраусѣ говорилось съ благоговѣніемъ.

При такой теплой вѣрѣ въ свою идею, это былъ, разумѣется, самый счастливѣйшій изъ людей. О, напрасно писали потомъ, что Бѣлинскій, если бъ прожилъ дольше, примкнулъ бы къ славянофильству. Никогда бы не кончилъ онъ славянофильствомъ. Бѣлинскій, можетъ быть, кончилъ бы эмиграціей, если бы прожилъ дольше и если бы удалось ему эмигрировать, и скитался бы теперь маленькимъ и восторженнымъ старичкомъ съ прежнею теплою вѣрой, не допускающей ни малѣйшихъ сомнѣній, гдѣ-нибудь по конгрессамъ Германіи и Швейцаріи, или примкнулъ бы адъютантомъ къ какой-нибудь нѣмецкой m-me Геггъ, на побѣгушкахъ по какому-нибудь женскому вопросу.

Этотъ всеблаженный человѣкъ, обладавшій такимъ удивительнымъ спокойствіемъ совѣсти, иногда, впрочемъ, очень грустилъ; но грусть эта была особаго рода, — не отъ сомнѣній, не отъ разочарованій, о, нѣтъ, — а вотъ почему не сегодня, почему не завтра? Это былъ самый торопившійся человѣкъ въ цѣлой Россіи. Разъ я встрѣтилъ его, часа въ три пополудни, у Знаменской церкви. Онъ сказалъ мнѣ, что выходилъ гулять и идетъ домой.

— Я сюда часто захожу взглянуть, какъ идетъ постройка (вокзала Николаевской желѣзной дороги, тогда еще строившейся). Хоть тѣмъ сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконецъ-то и у насъ будетъ хоть одна желѣзная дорога. Вы не повѣрите, какъ эта мысль облегчаетъ мнѣ иногда сердце.

Это было горячо и хорошо сказано; Бѣлинскій никогда не рисовался. Мы пошли вмѣстѣ. Онъ, помню, сказалъ мнѣ дорогою:

— А вотъ, какъ зароютъ въ могилу (онъ зналъ, что

у него чахотка), тогда только спохватятся и узнаютъ, кого потеряли.

Въ послѣдній годъ его жизни я уже не ходилъ къ нему. Онъ меня не взлюбилъ, но я страстно принялъ тогда все ученіе его. Еще годъ спустя, въ Тобольскѣ, когда мы, въ ожиданіи дальнѣйшей участи, сидѣли въ острогѣ на пересыльномъ дворѣ, жены декабристовъ умолили смотрителя острога и устроили въ квартирѣ его тайное свиданіе съ нами. Мы увидѣли этихъ великихъ страдалицъ, добровольно послѣдовавшихъ за своими мужьями въ Сибирь. Онѣ бросили все: знатность, богатство, связи и родныхъ, всѣмъ пожертвовали для высочайшаго нравственнаго долга, самаго свободнаго долга, какой только можетъ быть. Ни въ чемъ неповинныя, онѣ въ долгія двадцать пять лѣтъ перенесли все, что перенесли ихъ осужденные мужья. Свиданіе продолжалось часъ. Онѣ благословили насъ въ новый путь, перекрестили и каждаго одѣлили евангеліемъ — единственная книга, позволенная въ острогѣ. Четыре года пролежала она подъ моей подушкой въ каторгѣ. Я читалъ ее иногда и читалъ другимъ. По ней выучилъ читать одного каторжнаго. Кругомъ меня были именно тѣ люди, которые, по вѣрѣ Бѣлинскаго, *не могли* не сдѣлать своихъ преступленій, а стало быть, были правы и только несчастнѣе, чѣмъ другіе. Я зналъ, что весь русскій народъ называетъ насъ тоже «несчастными» и слышалъ это названіе множество разъ и изъ множества устъ. Но тутъ было что-то другое, совсѣмъ не то, о чемъ говорилъ Бѣлинскій, и что слышится, напримѣръ, теперь въ иныхъ приговорахъ нашихъ присяжныхъ. Въ этомъ словѣ «несчастные», въ этомъ приговорѣ народа, звучала другая мысль. Четыре года каторги была длинная школа; я имѣлъ время убѣдиться... Теперь именно объ этомъ хотѣлось бы поговорить.

III.

Среда [1].

Кажется, одно общее ощущеніе всѣхъ присяжныхъ засѣдателей въ цѣломъ мірѣ, а нашихъ въ особенности (кромѣ прочихъ, разумѣется, ощущеній) должно быть ощущеніе власти, или, лучше сказать, самовластія. Ощущеніе иногда пакостное, т. е. въ случаѣ если преобладаетъ

[1] № 2 „Гражданина“ 1873 г.

надъ прочими. Но хоть и не въ замѣтномъ видѣ, хоть и подавленное цѣлою массою иныхъ благороднѣйшихъ ощущеній, все-таки оно должно крѣпиться въ каждой засѣдательской душѣ, даже при самомъ высокомъ сознаніи своего гражданскаго долга. Мнѣ думается, что это какъ-нибудь выходитъ изъ самыхъ законовъ природы и потому, я помню, ужасно мнѣ было любопытно въ одномъ смыслѣ, когда только что установился у насъ новый (правый) судъ. Мнѣ въ мечтаніяхъ мерещились засѣданія, гдѣ почти сплошь будутъ засѣдать, напримѣръ, крестьяне, вчерашніе крѣпостные. Прокуроръ, адвокаты будутъ къ нимъ обращаться, заискивая и заглядывая, а наши мужички будутъ сидѣть и про себя помалчивать: «Вонъ оно какъ теперь, захочу, значитъ, оправдаю, не захочу — въ самоё Сибирь».

И вотъ, однакоже, замѣчательно теперь, что они не карающъ, а сплошь оправдываютъ. Конечно, это тоже пользованіе властью, даже почти черезъ край, но въ какую-то одну сторону, сантиментальную что ли, не разберешь — но общую, чуть не предвзятую у насъ повсемѣстно, точно всѣ сговорились. Общность «направленія» не подвержена сомнѣнію. Въ томъ и задача, что манія оправданія во что бы то ни стало не у однихъ только крестьянъ, вчерашнихъ униженныхъ и оскорбленныхъ, а захватила сплошь всѣхъ русскихъ присяжныхъ, даже самаго высокаго подбора, нобльменовъ и профессоровъ университета. Уже одна эта общность представляетъ прелюбопытную тему для размышленій и наводитъ на многообразныя и, пожалуй, странныя иногда догадки.

Недавно въ одной изъ нашихъ вліятельнѣйшихъ газетъ, въ очень скромной и очень благонамѣренной статейкѣ, была мелькомъ проведена догадка: ужъ не наклонны ли наши присяжные, какъ люди, вдругъ и ни съ того, ни съ сего ощутившіе въ себѣ столько могущества (точно съ неба упало), да еще послѣ такой вѣковой приниженности и забитости — не наклонны ли они подсолить вообще «властямъ», при всякомъ удобномъ случаѣ, такъ, для игривости или, такъ сказать, для контраста съ прошедшимъ, прокурору хоть, напримѣръ? Догадка не дурная и тоже не лишенная нѣкоторой игривости, но, разумѣется, ею нельзя всего объяснить.

«Просто жаль губить чужую судьбу; человѣки тоже. Русскій народъ жалостливъ», разрѣшаютъ иные, какъ случалось иногда слышать.

Я однакоже всегда думалъ, что въ Англіи, напримѣръ, народъ тоже жалостливъ; и если и нѣтъ въ немъ

такой, такъ сказать, слабосердости, какъ въ нашемъ русскомъ народѣ, то, по крайней мѣрѣ, гуманность есть; есть сознаніе и живо чувство христіанскаго долга къ ближнему, и, можетъ быть, доведенныя до высокой степени, до твердаго и самостоятельнаго убѣжденія; даже, можетъ быть, болѣе твердаго, чѣмъ у насъ, взявъ во вниманіе тамошнюю образованность и вѣковую самостоятельность. Тамъ вѣдь не «вдругъ съ неба» имъ столько власти свалилось. Да и самый судъ-то присяжныхъ они сами себѣ выдумали, ни у кого не занимали, вѣками утвердили, изъ жизни вынесли, не въ видѣ дара получили.

А между тѣмъ тамъ присяжный засѣдатель понимаетъ, чуть только займетъ свое мѣсто въ залѣ суда, что онъ — не только чувствительный человѣкъ съ нѣжнымъ сердцемъ, но прежде всего гражданинъ. Онъ думаетъ даже (вѣрно ли, нѣтъ ли), что исполненіе долга гражданскаго даже, пожалуй, и выше частнаго сердечнаго подвига. Еще недавно общій гулъ пошелъ у нихъ по всему королевству, когда присяжные оправдали одного явнаго вора. Общее движеніе страны доказало, что если и тамъ возможны такіе же приговоры, какъ и у насъ, то появляются рѣдко, какъ случаи исключительные и немедленно возмущающіе общее мнѣніе. Тамъ присяжный понимаетъ прежде всего, что въ рукахъ его знамя всей Англіи, что онъ уже перестанетъ быть частнымъ лицомъ, а обязанъ изображать собою мнѣніе страны. Способность быть гражданиномъ — это и есть способность возносить себя до цѣлаго мнѣнія страны. О, и тамъ есть «жалостливость» приговора, и тамъ принимается во вниманіе «заѣдающая среда» (кажется, любимое теперь ученіе наше) — но до извѣстнаго предѣла, на сколько допускаетъ здоровое мнѣніе страны и степень просвѣщенія ея христіанскою нравственностью (а степень-то, кажется, довольно высокая). Но зато, и весьма часто, тамошній присяжный, скрѣпя свое сердце, произноситъ приговоръ обвинительный, понимая прежде всего, что обязанность его состоитъ въ томъ преимущественно, чтобы засвидѣтельствовать своимъ приговоромъ передъ всѣми согражданами, что въ старой Англіи, за которую всякій изъ нихъ отдастъ свою кровь, порокъ попрежнему называется порокомъ и злодѣйство — злодѣйствомъ и что нравственныя основы страны все тѣ же, крѣпки, не измѣнились, стоятъ, какъ и прежде стояли.

— Даже хоть и предположить, — слышится мнѣ голосъ, — что крѣпкія-то ваши основы (т. е. христіанскія) все тѣ же, и что вправду надо быть прежде всего гражданиномъ, ну и тамъ держать знамя и пр., какъ вы наговорили, — хоть и предположить пока безъ спору, подумайте, откуда у насъ взяться гражданамъ-то? Вѣдь сообразить только, что было вчера! Вѣдь гражданскія-то права (да еще какія!) на него вдругъ какъ съ горы скатились. Вѣдь они придавили его, вѣдь они пока для него только бремя, бремя!

— Конечно, есть правда въ вашемъ замѣчаніи, — отвѣчаю я голосу, нѣсколько повѣся носъ, — но вѣдь опять-таки русскій народъ...

— Русскій народъ? Позвольте, — слышится мнѣ другой голосъ, — вотъ говорятъ, что дары-то съ горы скатились и его придавили. Но вѣдь онъ не только, можетъ быть, ощущаетъ, что столько власти онъ получилъ какъ даръ, но и чувствуетъ сверхъ того, что и получилъ-то ихъ даромъ, т. е., что не стоитъ онъ этихъ даровъ пока. Замѣтьте, это вовсе не значитъ, что и въ самомъ дѣлѣ онъ не стоитъ этихъ даровъ, и что *не надо* или *рано* было одарять его; совсѣмъ даже напротивъ: то самъ народъ въ своей смиренной совѣсти сознаетъ, что онъ не достоинъ даровъ такихъ, — и это смиренное, но высокое сознаніе народное о своей недостойности есть именно залогъ того, что онъ-то ихъ и достоинъ. А покамѣстъ, въ смиреніи своемъ, народъ смущенъ. Кто заглядывалъ въ сокровенные тайники его сердца? Можетъ ли у насъ хоть кто-нибудь сказать, что вполнѣ знакомъ съ русскимъ народомъ? Нѣтъ, тутъ не одна только жалостливость и слабосердость, какъ изволите вы насмѣхаться. Тутъ сама эта власть страшна! Испугала насъ эта страшная власть надъ судьбой человѣческою, надъ судьбой родныхъ братьевъ, и пока дорастемъ до вашего гражданства — мы милуемъ. Изъ страха милуемъ. Мы сидимъ присяжными и, можетъ быть, думаемъ: «Сами-то мы лучше ли подсудимаго? Мы вотъ богаты, обезпечены, а случись намъ быть въ такомъ же положеніи какъ онъ, такъ, можетъ, сдѣлаемъ еще хуже, чѣмъ онъ, — мы и милуемъ». Такъ вѣдь это еще, можетъ быть, хорошо-съ, умиленіе-то это сердечное. Это, можетъ быть, залогъ къ чему-нибудь такому высшему христіанскому въ будущемъ, чего еще и не знаетъ міръ до сихъ поръ!

«Это отчасти славянофильскій голосъ», разсуждаю я про себя. Мысль дѣйствительно утѣшительная, а догадка о смиреніи народномъ предъ властью, полученною даромъ и дарованною пока «недостойному», ужъ, конечно, почище догадки о желаніи «поддразнить прокурора», хотя все-таки и эта догадка продолжаетъ мнѣ нравиться

своимъ реализмомъ (конечно, принимая ее болѣе въ видѣ частнаго случая, какъ выставляетъ, впрочемъ, и самъ авторъ ея), но... вотъ что наиболѣе смущаетъ меня однако: что это нашъ народъ вдругъ сталъ бояться такъ своей жалости? «Больно, дескать, очень приговорить человѣка». Ну и что жъ, и уйдите съ болью. Правда выше вашей боли.

Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь если ужъ мы считаемъ, что сами иной разъ еще хуже преступника, то тѣмъ самымъ признаемся и въ томъ, что на половину и виноваты въ его преступленіи. Если онъ преступилъ законъ, который земля ему написала, то сами мы виноваты въ томъ, что онъ стоитъ теперь передъ нами. Вѣдь если бы мы всѣ были лучше, то и онъ бы былъ лучше и не стоялъ бы теперь передъ нами...

— Такъ вотъ тутъ-то и оправдать?

Нѣтъ, напротивъ; именно тутъ-то и надо сказать правду и зло назвать зломъ; но зато половину тяготы приговора взять на себя. Войдемъ въ залу суда съ мыслью, что и мы виноваты. Эта боль сердечная, которой всѣ теперь такъ боятся и съ которою мы выйдемъ изъ залы суда, и будетъ для насъ наказаніемъ. Если истинна и сильна эта боль, то она насъ очиститъ и сдѣлаетъ лучшими. Вѣдь, сдѣлавшись сами лучшими, мы и среду исправимъ и сдѣлаемъ лучшею. Вѣдь только этимъ однимъ и можно ее исправлять. А такъ-то бѣжать отъ собственной жалости и, чтобы не страдать самому, сплошь оправдывать — вѣдь это легко. Вѣдь этакъ мало-по-малу придемъ къ заключенію, что и вовсе нѣтъ преступленій, а во всемъ «среда виновата». Дойдемъ до того, по клубку, что преступленіе сочтемъ даже долгомъ, благороднымъ протестомъ противъ «среды». «Такъ какъ общество гадко устроено, то въ такомъ обществѣ нельзя ужиться безъ протеста и безъ преступленій». «Такъ какъ общество гадко устроено, то нельзя изъ него выбиться безъ ножа въ рукахъ». — Вѣдь вотъ что говоритъ ученіе о средѣ въ противоположность христіанству, которое, вполнѣ признавая давленіе среды и провозгласивши милосердіе къ согрѣшившему, ставитъ однакоже нравственнымъ долгомъ человѣку борьбу со средой, ставитъ предѣлъ тому, гдѣ среда кончается, а долгъ начинается. Дѣлая человѣка отвѣтственнымъ, христіанство тѣмъ самымъ признаетъ и свободу его. Дѣлая же человѣка зависящимъ отъ каждой ошибки въ устройствѣ общественномъ, ученіе о средѣ доводитъ человѣка до совершенной безличности, до совершеннаго освобожденія его отъ всякаго нравственнаго личнаго долга, отъ всякой самостоятельности, доводитъ до мерзѣйшаго рабства, какое только можно вообразить. Вѣдь этакъ табаку человѣку захочется, а денегъ нѣтъ, такъ убить другого, чтобы достать табаку. Помилуйте: «развитому человѣку, ощущающему сильнѣе неразвитаго страданіе отъ неудовлетворенія своихъ потребностей, надо денегъ для удовлетворенія ихъ — такъ почему ему не убить неразвитаго, если нельзя иначе денегъ достать?» Да неужели вы не прислушивались къ голосамъ адвокатовъ: «конечно, дескать, нарушенъ законъ, конечно, это преступленіе, что онъ убилъ неразвитаго, но, господа присяжные, возьмите во вниманіе и то»... и т. д. Вѣдь уже почти раздавались голоса, да и не почти...

— Ну, вы, однакоже, — слышится мнѣ чей-то язвительный голосъ, — вы, кажется, народу новѣйшую философію среды навязываете, это какъ же она къ нему залетѣла? Вѣдь эти двѣнадцать присяжныхъ иной разъ сплошь изъ мужиковъ сидятъ, и каждый изъ нихъ за смертный грѣхъ почитаетъ въ постъ оскоромиться. Вы бы ужъ прямо обвинили ихъ въ спеціальныхъ тенденціяхъ.

«Конечно, конечно, гдѣ же имъ до «среды», т. е. сплошь-то всѣмъ, — задумываюсь я, — но вѣдь идеи, однакоже, носятся въ воздухѣ, въ идеѣ есть нѣчто проницающее»...

— Вотъ на! — хохочетъ язвительный голосъ.

— А что если нашъ народъ особенно наклоненъ къ ученію о средѣ, даже по существу своему, по своимъ, положимъ, хоть славянскимъ наклонностямъ? Что если именно онъ-то и есть наилучшій матеріалъ въ Европѣ для иныхъ пропагаторовъ?

Язвительный голосъ хохочетъ еще громче, но какъ-то выдѣланно.

Нѣтъ, тутъ съ народомъ пока еще только фортель, а не «философія среды». Тутъ есть одна ошибка, одинъ обманъ и въ этомъ обманѣ много соблазна.

Обманъ этотъ можно разъяснить въ такомъ видѣ, примѣромъ, по крайней мѣрѣ.

Положимъ, народъ называетъ осужденныхъ «несчастными», подаетъ имъ гроши и калачи. Что же хочетъ онъ этимъ сказать. вотъ уже, можетъ быть, въ продолженіе вѣковъ? Христіанскую ли правду или правду «среды»? Именно тутъ-то и камень преткновенія, именно

тутъ-то и скрывается тотъ рычагъ, за который съ успѣхомъ могъ бы ухватиться пропагаторъ «среды».

Есть идеи невысказанныя, безсознательныя и только лишь сильно чувствуемыя: такихъ идей много, какъ бы слитыхъ съ душой человѣка. Есть онѣ и въ цѣломъ народѣ, есть и въ человѣчествѣ, взятомъ какъ цѣлое. Пока эти идеи лежатъ лишь безсознательно въ жизни народной и только лишь сильно и вѣрно чувствуются, — до тѣхъ поръ только и можетъ жить сильнѣйшею живою жизнью народъ. Въ стремленіяхъ къ выясненію себѣ этихъ сокрытыхъ идей и состоитъ вся энергія его жизни. Чѣмъ непоколебимѣе народъ содержитъ ихъ, чѣмъ менѣе способенъ измѣнить первоначальному чувству, чѣмъ менѣе склоненъ подчиняться различнымъ и ложнымъ толкованіямъ этихъ идей, тѣмъ онъ могучѣе, крѣпче, счастливѣе. Къ числу такихъ сокрытыхъ въ русскомъ народѣ идей — идей русскаго народа — и принадлежитъ названіе преступленія несчастьемъ, преступниковъ — несчастными.

Идея эта чисто русская. Ни въ одномъ европейскомъ народѣ ея не замѣчалось. На западѣ провозглашаютъ ее теперь лишь философы и толковники. Народъ же нашъ провозгласилъ ее еще задолго до своихъ философовъ и толковниковъ. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы онъ не могъ быть сбитъ съ толку ложнымъ развитіемъ этой идеи толковникомъ, временно, по крайней мѣрѣ, съ краю. Окончательный смыслъ и послѣднее слово останутся, безъ сомнѣнія, всегда за нимъ, но *временно* — можетъ быть иначе.

Короче: этимъ словомъ «несчастные» народъ какъ бы говоритъ «несчастнымъ»: «Вы согрѣшили и страдаете, но и мы вѣдь грѣшны. Будь мы на вашемъ мѣстѣ, — можетъ, и хуже бы сдѣлали. Будь мы получше сами, можетъ, и вы не сидѣли бы по острогамъ. Съ возмездіемъ за преступленія ваши вы приняли тяготу и за всеобщее беззаконіе. Помолитесь о насъ, и мы о васъ помолимся. А пока берите, «несчастные», гроши наши; подаемъ ихъ, чтобы знали вы, что васъ помнимъ и не разорвали съ вами братскихъ связей».

Согласитесь, что ничего нѣтъ легче, какъ примѣнить къ такому взгляду ученіе о «средѣ»: «Общество скверно, потому и мы скверны; но мы богаты, мы обезпечены, насъ миновало только случайно то, съ чѣмъ вы столкнулись. Столкнись мы — сдѣлали бы то же самое, что и вы. Кто виноватъ? Среда виновата. Итакъ, есть только подлое устройство среды, а преступленій нѣтъ вовсе».

Вотъ въ этомъ-то софистическомъ выводѣ и состоитъ тотъ фортель, о которомъ я говорилъ.

Нѣтъ, народъ не отрицаетъ преступленія и знаетъ, что преступникъ виновенъ. Народъ знаетъ только, что и самъ онъ виновенъ вмѣстѣ съ каждымъ преступникомъ. Но, обвиняя себя, онъ тѣмъ-то и доказываетъ, что не вѣритъ въ «среду»; вѣритъ, напротивъ, что среда завситъ вполнѣ отъ него, отъ его безпрерывнаго покаянія и самосовершенствованія. Энергія, трудъ и борьба — вотъ чѣмъ перерабатывается среда. Лишь трудомъ и борьбой достигается самобытность и чувство собственнаго достоинства. «Достигнемъ того, будемъ лучше, и среда будетъ лучше». Вотъ что, невысказанно, ощущаетъ сильнымъ чувствомъ въ своей сокрытой идеѣ о несчастьѣ преступника русскій народъ.

Представьте же теперь, что если самъ преступникъ, слыша отъ народа, что онъ «несчастный», сочтетъ себя только несчастнымъ, а не преступникомъ. Вотъ тогда-то и отшатнется отъ такого лжетолкованія народъ и назоветъ его измѣною народной правдѣ и вѣрѣ.

Я бы могъ представить и примѣры тому, но отложимъ ихъ пока и скажемъ такъ:

Преступникъ и намѣревающійся совершить преступленіе — это два разныя лица, но одной категоріи. Что же если, приготовляясь къ преступленію сознательно, преступникъ скажетъ себѣ: «Нѣтъ преступленія!» Что, назоветъ его народъ «несчастнымъ»?

Можетъ, и назоветъ, безъ сомнѣнія, назоветъ; народъ жалостливъ; да и ничего нѣтъ несчастнѣе такого преступника, который даже пересталъ себя считать за преступника: это животное, это звѣрь. Что жъ въ томъ, что онъ не понимаетъ, что онъ животное и заморилъ въ себѣ совѣсть? Онъ только вдвое несчастнѣе. Вдвое несчастнѣе, но и вдвое преступнѣе. Народъ пожалѣетъ и его, но не откажется отъ правды своей. Никогда народъ, называя преступника «несчастнымъ», не переставалъ его считать за преступника! И не было бы у насъ сильнѣе бѣды, какъ если бы самъ народъ согласился съ преступникомъ и отвѣтилъ ему: «Нѣтъ, не виновенъ, ибо нѣтъ «преступленія»!»

Вотъ наша вѣра, наша общая вѣра, хотѣлось бы мнѣ сказать; вѣра всѣхъ уповающихъ и ожидающихъ. Прибавлю еще два слова.

Я былъ въ каторгѣ и видалъ преступниковъ, «рѣшеныхъ» преступниковъ. Повторяю, это была долгая школа. Ни одинъ изъ нихъ не переставалъ себя считать преступникомъ. Съ виду это былъ страшный и жестокій народъ. «Куражились», впрочемъ, только изъ глупенькихъ, новенькіе, и надъ ними смѣялись. Большею

частью народъ былъ мрачный, задумчивый. Про преступленія свои никто не говорилъ. Никогда не слыхалъ я никакого ропота. О преступленіяхъ своихъ даже и нельзя было вслухъ говорить. Случалось, что раздавалось чье-нибудь слово съ вызовомъ и вывертомъ, и — «вся каторга», какъ одинъ человѣкъ, осаживала выскочку. Про *это* не принято было говорить. Но, вѣрно говорю, можетъ ни одинъ изъ нихъ не миновалъ долгаго душевнаго страданія внутри себя, самаго очищающаго и укрѣпляющаго. Я видалъ ихъ одиноко задумчивыхъ, я видалъ ихъ въ церкви молящихся передъ исповѣдью; прислушивался къ отдѣльнымъ внезапнымъ словамъ ихъ, къ ихъ восклицаніямъ; помню ихъ лица, о — повѣрьте, никто изъ нихъ не считалъ себя правымъ въ душѣ своей!

Не хотѣлъ бы я, чтобы слова мои были приняты за жестокость. Но все-таки я осмѣлюсь высказать. Прямо скажу: строгимъ наказаніемъ, острогомъ и каторгой вы, можетъ быть, половину спасли бы изъ нихъ. Облегчили бы ихъ, а не отяготили. Самоочищеніе страданіемъ легче, — легче, говорю вамъ, чѣмъ та участь, которую вы дѣлаете многимъ изъ нихъ сплошнымъ оправданіемъ ихъ на судѣ. Вы только вселяете въ его душу цинизмъ, оставляете въ немъ соблазнительный вопросъ и насмѣшку надъ вами же. Вы не вѣрите? Надъ вами же, надъ судомъ вашимъ, надъ судомъ всей страны! Вы вливаете въ ихъ душу безвѣріе въ правду народную, въ правду Божію; оставляете его смущеннаго... Онъ уходитъ и думаетъ: «Э, да вотъ какъ теперь, нѣту строгости. Поумнѣли, знать. Боятся, можетъ. Значитъ, оно можно и въ другой разъ также. Понятно, коли я былъ въ такой нуждѣ — какъ же было не своровать».

И неужто вы думаете, что, отпуская всѣхъ сплошь невиновными или «достойными всякаго снисхожденія», — вы тѣмъ даете имъ шансъ исправиться? Станетъ онъ вамъ исправляться! Какая ему бѣда? «Значитъ, пожалуй, я и не виновенъ вовсе», — вотъ что онъ скажетъ въ *концѣ концовъ*. Сами же вы натолкнете его на такой выводъ. Главное то, что вѣра въ законъ и въ народную правду расшатывается.

Еще недавно я жилъ нѣсколько дней сряду за границей. Когда я выѣхалъ изъ Россіи, новый судъ только что у насъ начинался. Съ какою жадностью я читалъ тамъ все, что касалось русскихъ судовъ, въ нашихъ газетахъ. За границей я тоже съ горечью смотрѣлъ на нашихъ абсентеистовъ; на дѣтей ихъ, не знающихъ роднаго языка или забывающихъ его. Мнѣ ясно было, что

половина ихъ, самою силою вещей, обратится подъ конецъ въ эмигрантовъ. Объ этомъ мнѣ всегда было больно думать: столько силъ, столько, можетъ быть, лучшихъ людей, а у насъ такъ нуждаются въ людяхъ! Но иногда, выходя изъ читальной залы, ей Богу, господа, я невольно мирился съ абсентеизмомъ и съ абсентеистами. Сердце поднималось до боли. Читаешь, — тамъ оправдали жену, убившую мужа. Преступленіе явное, доказанное; она сознается сама: «Нѣтъ, не виновна». Тамъ молодой человѣкъ разламываетъ кассу и крадетъ деньги. «Влюбленъ, дескать, очень былъ, надо было денегъ добыть, любовницѣ угодить». — «Нѣтъ, не виновенъ». И хоть бы всѣ эти случаи оправдывались состраданіемъ, жалостью; то-то и есть, что не понималъ я причинъ оправданія, путался. Впечатлѣніе выносилось смутное и — почти оскорбительное. Въ эти злыя минуты мнѣ представлялась иногда Россія какой-то трясиной, болотомъ, на которомъ кто-то затѣялъ построить дворецъ. Снаружи почва какъ бы и твердая, гладкая, а между тѣмъ это нѣчто въ родѣ поверхности какого-нибудь гороховаго киселя, ступите и такъ и скользнете внизъ, въ самую бездну. Я очень упрекалъ себя за мое малодушіе; меня ободряло, что все-таки я издали могу ошибаться, что все-таки я покамѣстъ тоже абсентеистъ, не вижу близко, не слышу ясно...

И вотъ я давно уже снова на родинѣ.

«Да полно, жалко ли имъ въ самомъ дѣлѣ», — вѣдь вотъ вопросъ! Не смѣйтесь, что я придаю такую важность ему. «Жалость», по крайней мѣрѣ, хоть что-нибудь и какъ-нибудь объясняетъ, хоть изъ потемокъ выводитъ, а безъ этого послѣдняго объясненія — одно недоумѣніе, точно мракъ, въ которомъ живетъ какой-то сумасшедшій.

Мужикъ забиваетъ жену, увѣчитъ ее долгіе годы, ругается надъ нею хуже, чѣмъ надъ собакой. Въ отчаяніи, рѣшившись на самоубійство, идетъ она почти обезумѣвшая въ свой деревенскій судъ. Тамъ отпускаютъ ее, промямливъ ей равнодушно: «Живите согласнѣе». Да развѣ это жалость? Это какія-то тупыя слова проснувшагося отъ запоя пьяницы, который едва различаетъ, что вы стоите передъ нимъ, глупо и безпредметно машетъ на васъ рукой, чтобы вы не мѣшали, у котораго еще не ворочается языкъ, чадъ и безуміе въ головѣ.

Исторія этой женщины, впрочемъ, извѣстна, слишкомъ недавняя. Ее читали во всѣхъ газетахъ и, можетъ быть, еще помнятъ. Просто-за-просто жена отъ побоевъ мужа повѣсилась; мужа судили и нашли достойнымъ

снисхожденія. Но мнѣ еще долго мерещилась вся обстановка, мерещится и теперь...

Я все воображалъ себѣ его фигуру: сказано, что онъ высокаго роста, очень плотнаго сложенія, силенъ, бѣлокуръ. Я прибавилъ бы еще — съ жидкими волосами. Тѣло бѣлое, пухлое, движенія медленныя, важныя, взглядъ сосредоточенный, какъ многоцѣнный бисеръ, и самъ цѣнитъ ихъ прежде всѣхъ. Свидѣтели показали, что характера былъ жестокаго: поймаетъ курицу и повѣситъ ее за ноги, внизъ головой, такъ, для удовольствія; это его развлекало: превосходная характернѣйшая черта! Онъ билъ жену чѣмъ попало нѣсколько лѣтъ сряду, — веревками, палками. Вынетъ половицу, просунетъ въ отверстіе ея ноги, а половицу притиснетъ и бьетъ, и бьетъ. Я думаю, онъ и самъ не зналъ, за что ее бьетъ, такъ, по тѣмъ же, вѣроятно, мотивамъ, по которымъ и курицу вѣшалъ. Морилъ тоже голодомъ, по три дня не давалъ ей хлѣба. Положитъ на полку хлѣбъ, ее подзоветъ и скажетъ: «не смѣй трогать хлѣба, это *мой* хлѣбъ», — чрезвычайно характерная тоже черта! Она побиралась съ десятилѣтнимъ ребенкомъ у сосѣдей: дадутъ хлѣбца — поѣдятъ, не дадутъ — сидятъ голодомъ. Работу съ нея спрашивалъ; все она исполняла неуклонно, безсловесно, запуганно и стала, наконецъ, какъ помѣшанная. Я воображаю и ея наружность: должно быть, очень маленькая, исхудавшая, какъ щепка, женщина. Иногда это бываетъ, что очень большіе и плотные мужчины, съ бѣлымъ, пухлымъ тѣломъ, женятся на очень маленькихъ, худенькихъ женщинахъ (даже наклонны къ такимъ выборамъ, я замѣтилъ), и такъ странно смотрѣть на нихъ, когда они стоятъ или идутъ вмѣстѣ. Мнѣ кажется, что если бы она забеременѣла отъ него въ самое послѣднее время, то это была бы еще характернѣйшая черта, чтобы восполнить обстановку; а то чего-то какъ будто недостаетъ. Видѣли ли вы, какъ мужикъ сѣчетъ жену? Я видалъ. Онъ начинаетъ веревкой или ремнемъ. Мужицкая жизнь лишена эстетическихъ наслажденій — музыки, театровъ, журналовъ; есгественно надо чѣмъ-нибудь восполнить ее. Связавъ жену или забивъ ея ноги въ отверстіе половицы, нашъ мужичекъ начиналъ, должно быть, методически, хладнокровно, сонливо даже, мѣрными ударами, не слушая криковъ и моленій; то есть именно слушая ихъ, слушая съ наслажденіемъ, а то какое было бы удовольствіе ему бить? Знаете, господа, люди родятся въ разной обстановкѣ: неужели вы не повѣрите, что эта женщина, въ другой обстановкѣ, могла бы быть какой-нибудь Юліей или Беатриче изъ Шекспира, Гретхенъ изъ Фауста? Я вѣдь не говорю, что была — и было бы это очень смѣшно утверждать, — но вѣдь могло быть въ зародышѣ и у ней нѣчто благородное въ душѣ, пожалуй, не хуже, чѣмъ въ благородномъ сословіи: любящее, даже возвышенное сердце, характеръ, исполненный оригинальнѣйшей красоты. Уже одно то, что она столько медлила наложить на себя руки, показываетъ ее въ такомъ тихомъ, кроткомъ, терпѣливомъ, любящемъ свѣтѣ. И вотъ эту-то Беатриче или Гретхенъ сѣкутъ, сѣкутъ, какъ кошку! Удары сыплются все чаще, рѣзче, безчисленнѣе; онъ начинаетъ разгорячаться, входить во вкусъ. Вотъ уже онъ озвѣрѣлъ совсѣмъ, и самъ съ удовольствіемъ это знаетъ. Животные крики страдалицы хмѣлятъ его какъ вино: «Ноги твои буду мыть, воду эту пить», кричитъ Беатриче нечеловѣческимъ голосомъ, наконецъ, затихаетъ, перестаетъ кричать и только дико какъ-то кряхтитъ, дыханіе поминутно обрывается, а удары тутъ-то и чаще, тутъ-то и садче... Онъ вдругъ бросаетъ ремень, какъ ошалѣлый схватываетъ палку, сучекъ, что попало, ломаетъ ихъ съ трехъ послѣднихъ ужасныхъ ударовъ на ея спинѣ, — баста! Отходитъ, садится за столъ, воздыхаетъ и принимается за квасъ. Маленькая дѣвочка, дочь ихъ (была же и у нихъ дочь!), на печкѣ въ углу дрожитъ, прячется: она слышала, какъ кричала мать. Она уходитъ. Къ разсвѣту мать очнется, встанетъ охая и вскрикивая при каждомъ движеніи, идетъ доить корову, тащится за водой, на работу.

А онъ ей, уходя, своимъ методическимъ и важнымъ голосомъ: «Не смѣй ѣсть этотъ хлѣбъ, это *мой* хлѣбъ».

Подъ конецъ ему нравилось тоже вѣшать ее за ноги, какъ вѣшалъ курицу. Повѣситъ, должно быть, а самъ отойдетъ, сядетъ, примется за кашу, поѣстъ, потомъ вдругъ опять возьметъ ремень и начнетъ, и начнетъ висячую... А дѣвочка все дрожитъ, скорчившись на печи, дико заглянетъ украдкой на повѣшенную за ноги мать и опять спрячется...

Она удавилась въ маѣ, поутру, должно быть, въ ясный весенній день. Ее видѣли наканунѣ избитую, совсѣмъ обезумѣвшую. Ходила она тоже передъ смертью въ волостной судъ, и вотъ тамъ-то и промямлили ей: «Живите согласнѣе».

Когда она повѣсилась и захрипѣла, дѣвочка закричала ей изъ угла: «Мама, на что ты давишься?» Потомъ робко подошла, окликнула висѣвшую, дико осмотрѣла ее и нѣсколько разъ въ утро подходила изъ угла на нее смотрѣть, до самыхъ тѣхъ поръ, какъ воротился отецъ.

И вотъ онъ передъ судомъ, — важный, пухлый, сосредоточенный; запирается во всемъ: «Душа въ душу жили», роняетъ онъ цѣннымъ бисеромъ рѣдкія слова. Присяжные выходятъ и по «краткомъ совѣщаніи» выносятъ приговоръ:

«Виновенъ, *но достоинъ снисхожденія*».

Замѣтьте, что дѣвочка свидѣтельствовала противъ отца. Она разсказала все и исторгла, говорятъ, слезы присутствующихъ. Если бы не «снисхожденіе» присяжныхъ, то его сослали бы на поселеніе въ Сибирь. Но съ «снисхожденіемъ» ему только восемь мѣсяцевъ пробыть въ острогѣ, а тамъ воротится домой и потребуетъ къ себѣ свидѣтельствовавшую противъ его за мать дѣвочку. Будетъ кого опять за ноги вѣшать.

«Достоинъ снисхожденія!» И вѣдь тотъ приговоръ данъ зазнамо. Знали вѣдь, что ожидаетъ ребенка. Къ кому, къ чему снисхожденіе? Чувствуешь себя какъ въ какомъ-то вихрѣ: захватило васъ и вертитъ, вертитъ.

Постойте, разскажу еще анекдотъ.

Когда-то, еще до новыхъ судовъ (впрочемъ, незадолго до нихъ), прочиталъ я въ нашихъ газетахъ вотъ какой одинъ фактикъ: мать таскала на рукахъ ребенка годового или четырнадцати мѣсяцевъ. Въ этотъ возрастъ идутъ зубки; дѣти нездоровы, плачутъ и очень мучаются. Надоѣлъ ребенокъ матери, можетъ, и дѣла у ней было много, а тутъ таскай его на рукахъ и слушай его раздирающій плачъ. Озлилась она. А впрочемъ, неужто бить за это такого маленькаго ребеночка? Вѣдь такъ жалко прибить его, и что онъ смыслитъ? Вѣдь онъ такъ безпомощенъ, зависитъ отъ послѣдней пылинки... Вѣдь и не уймешь, коли прибьешь: онъ зальется своими слёзками и васъ же обхватитъ ручками, а то васъ же начнетъ цѣловать, и плачетъ, и плачетъ. Но она не прибила его, а тамъ въ комнатѣ кипѣлъ самоваръ. Она поднесла ручку ребенка подъ самый кранъ и отвернула кранъ. Она выдержала ручку подъ кипяткомъ секундъ десять.

Это фактъ, я читалъ. Но вотъ, представьте, что это случилось теперь, и эту женщину вызвали въ судъ. Присяжные удаляются и «по краткомъ совѣщаніи» выносятъ приговоръ:

«Достойна всякаго снисхожденія».

Ну, представьте это себѣ; я, по крайней мѣрѣ, матерей приглашаю представить. То-то, должно быть, вертѣлся бы тутъ адвокатъ:

— Господа присяжные, конечно, случай этотъ нельзя назвать вполнѣ гуманнымъ, но возьмите дѣло въ его цѣлости, представьте среду, обстановку. Эта женщина бѣдна, одна въ домѣ работница, терпитъ непріятности. Ей не на что было даже няньку нанять. Естественно, что подъ такую минуту, когда злоба отъ заѣвшей среды входитъ, такъ сказать, внутрь, господа, естественно, что она и поднесла ручку подъ кранъ самовара... ну и... и...»

О, конечно, я понимаю всю полезность и всю высоту адвокатскаго званія, всѣми уважаемаго. Но нельзя же не взглянуть иногда съ одной точки, — согласенъ, легкомысленной, но и невольной: вѣдь какова же иногда ихъ должность каторжная, подумаешь про себя, вертится, изворачивается какъ ужъ, лжетъ противъ совѣсти, противъ собственнаго убѣжденія, противъ всякой нравственности, противъ всего человѣческаго! Нѣтъ, подлинно не даромъ деньги берутъ.

— Да подите! — восклицаетъ вдругъ давешній язвительный голосъ. — Вѣдь все это вздоръ и одна только ваша фантазія. Никогда не выносили такого приговора присяжные. Никогда не вертѣлся адвокатъ. Все напредставили.

А жена, привѣшенная вверхъ ногами какъ курица, а «это *мой* хлѣбъ, не смѣй ѣсть его», а дѣвочка, дрожащая на печи, полчаса слушающая крики матери, а «мама, на что ты давишься?» — это развѣ не то же самое, что и ручка подъ кипяткомъ? Вѣдь *почти* то же самое!

«Неразвитость, тупость, пожалѣйте, среда», настаивалъ адвокатъ мужика. Да вѣдь ихъ милліоны живутъ, и не всѣ же вѣшаютъ женъ своихъ за ноги! Вѣдь все-таки тутъ должна быть черта... Съ другой стороны, вотъ и образованный человѣкъ, да сейчасъ повѣситъ. Полноте вертѣться, господа адвокаты, съ вашей «средой».

IV.

Нѣчто личное[1].

Меня нѣсколько разъ вызывали написать мои литературныя воспоминанія. Не знаю, напишу ли, да и память слаба. Да и грустно вспоминать; я вообще не люблю вспоминать. Но нѣкоторые эпизоды моего литературнаго поприща мнѣ поневолѣ представляются съ чрезвычайною отчетливостью, несмотря на слабую память. Вотъ, напримѣръ, одинъ анекдотъ.

Разъ весной, поутру, я зашелъ къ покойному Егору Петровичу Ковалевскому. Ему очень нравился мой ро-

[1] № 3 „Гражданина“ 1873 г.

манъ «Преступленіе и Наказаніе», появившійся тогда въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Онъ съ жаромъ хвалилъ его и передалъ мнѣ одинъ драгоцѣнный для меня отзывъ одного лица, имени котораго не могу выставить. Тѣмъ временемъ въ комнату вошли одинъ за другимъ два издателя журналовъ. Одинъ изъ этихъ журналовъ пріобрѣлъ впослѣдствіи небывалое доселѣ ни у одного изъ нашихъ ежемѣсячныхъ изданій число подписчиковъ, но тогда только лишь начинался. Другой, напротивъ, уже оканчивалъ замѣчательное и вліятельное на литературу и публику существованіе свое; но тогда, въ то утро, его издатель еще не зналъ, что изданіе его уже такъ близко къ своему берегу. Вотъ съ этимъ-то издателемъ мы вышли въ другую комнату и остались наединѣ.

Не называя его имени, скажу лишь, что первая встрѣча моя съ нимъ въ жизни была чрезвычайно горячая, изъ необыкновенныхъ, для меня вѣчно памятная. Можетъ, помнитъ и онъ. Тогда еще онъ не былъ издателемъ. Потомъ произошли многія недоразумѣнія. По возвращеніи моемъ изъ Сибири мы очень рѣдко встрѣчались, но разъ мелькомъ онъ сказалъ мнѣ чрезвычайно теплое слово и по одному поводу указалъ на одни стихи, — лучшіе, что онъ написалъ когда-либо. Прибавлю, что видомъ и обычаемъ никто менѣе его не походилъ на поэта, да еще изъ «страдающихъ». А между тѣмъ, онъ одинъ изъ самыхъ страстныхъ, мрачныхъ и «страдающихъ» нашихъ поэтовъ.

— Ну, вотъ мы васъ обругали, — сказалъ онъ мнѣ (т. е. въ его журналѣ за «Преступленіе и Наказаніе»).

— Знаю, — сказалъ я.

— А знаете почему?

— По принципу, должно быть.

— За Чернышевскаго.

Я остолбенѣлъ отъ удивленія.

— N. N., который написалъ критическую статью, — продолжалъ издатель, — сказалъ мнѣ такъ: «Романъ его хорошъ, но такъ какъ онъ въ своей повѣсти два года назадъ не постыдился надругаться надъ несчастнымъ ссыльнымъ и окарикатурить его, то я его романъ обругаю».

— Такъ это все та же глупая сплетня о «Крокодилѣ»? — вскричалъ я, сообразивъ. — Да неужто и вы вѣрите? Читали вы эту мою повѣсть, сами, «Крокодила»?

— Нѣтъ, не читалъ.

— Да вѣдь все это сплетня, самая пошлѣйшая сплетня, какая только можетъ случиться. Вѣдь нужно имѣть умъ и поэтическое чутье Булгарина, чтобы въ этой бездѣлкѣ, повѣсти для смѣху, прочитать между строкъ

такую «гражданскую» аллегорію, да еще на Чернышевскаго! Если бъ вы знали, какъ глупа такая натяжка! Никогда, впрочемъ, не прощу себѣ, что два года назадъ не протестовалъ противъ этой подлой клеветы, когда только что ее выпустили!

Этотъ разговоръ мой съ издателемъ уже давно угаснувшаго теперь журнала происходилъ лѣтъ семь тому назадъ, и вотъ я до сихъ поръ еще не протестовалъ противъ «клеветы» — то пренебрегалъ, то «не было времени». Между тѣмъ эта низость, мнѣ приписываемая, такъ и осталась въ воспоминаніяхъ иныхъ особъ несомнѣннымъ фактомъ, имѣла ходъ въ литературныхъ кружкахъ, проникла и въ публику и уже не разъ принесла мнѣ непріятности. Пора сказать обо всемъ этомъ хоть одно слово, тѣмъ болѣе, что оно теперь кстати, и хотя голословно, но опровергнуть клевету, впрочемъ, тоже въ высшей степени голословную. Долгимъ молчаніемъ моимъ и небрежностью я до сихъ поръ какъ бы подтверждалъ ее.

Съ Николаемъ Гавриловичемъ Чернышевскимъ я встрѣтился въ первый разъ въ пятьдесятъ девятомъ году, въ первый же годъ по возвращеніи моемъ изъ Сибири, не помню гдѣ и какъ. Потомъ иногда встрѣчались, но очень не часто, разговаривали, но очень мало. Всегда, впрочемъ, подавали другъ другу руку. Герценъ мнѣ говорилъ, что Чернышевскій произвелъ на него непріятное впечатлѣніе, т. е. наружностью, манерою. Мнѣ наружность и манера Чернышевскаго нравились.

Однажды утромъ я нашелъ у дверей моей квартиры, на ручкѣ замка, одну изъ самыхъ замѣчательныхъ прокламацій, изо всѣхъ, которыя тогда появлялись, а появлялось ихъ тогда довольно. Она называлась: «Къ молодому поколѣнію». Ничего нельзя было представить нелѣпѣе и глупѣе. Содержанія возмутительнаго въ самой смѣшной формѣ, какую только ихъ злодѣй могъ бы имъ выдумать, чтобы ихъ же зарѣзать. Мнѣ ужасно стало досадно и было грустно весь день. Все это было тогда еще вновѣ и до того вблизи, что даже и въ этихъ людей вполнѣ всмотрѣться было тогда еще трудно. Трудно именно потому, что какъ-то не вѣрилось, чтобы подъ всей этой сумятицей скрывался такой пустякъ. Я не про движеніе тогдашнее говорю, въ его цѣломъ, а говорю только про людей. Что до движенія, то это было тяжелое, болѣзненное, но роковое своею историческою послѣдовательностью явленіе, которое будетъ имѣть свою серьезную страницу въ петербургскомъ періодѣ нашей исторіи. Да и страница эта, кажется, еще далеко не дописана.

И вотъ мнѣ, давно уже душой и сердцемъ несогласному ни съ этими людьми, ни со смысломъ ихъ движенія, — мнѣ вдругъ тогда стало досадно и почти какъ бы стыдно за ихъ неумѣлость: «Зачѣмъ у нихъ это такъ глупо и неумѣло выходитъ?» И какое мнѣ было до того дѣло? Но я жалѣлъ о неудачѣ ихъ. Собственно разбрасывателей прокламацій я не зналъ ни единаго, не знаю и до сихъ поръ, но тѣмъ-то и грустно было, что явленіе это представлялось мнѣ не единичнымъ, не глупенькою продѣлкой такихъ-то вотъ именно лицъ, до которыхъ нѣтъ дѣла. Тутъ подавлялъ одинъ фактъ: уровень образованія, развитія и хоть какого-нибудь пониманія дѣйствительности подавлялъ ужасно. Несмотря на то, что я уже три года жилъ въ Петербургѣ и присматривался къ инымъ явленіямъ, — эта прокламація въ то утро какъ бы ошеломила меня, явилась для меня совсѣмъ какъ бы новымъ неожиданнымъ откровеніемъ: никогда до этого дня не предполагалъ я такого ничтожества! Пугала именно степень этого ничтожества. Передъ вечеромъ мнѣ вдругъ вздумалось отправиться къ Чернышевскому. Никогда до тѣхъ поръ ни разу я не бывалъ у него и не думалъ бывать, равно какъ и онъ у меня.

Я вспоминаю, что это было часовъ въ пять пополудни. Я засталъ Николая Гавриловича совсѣмъ одного, даже изъ прислуги никого дома не было, и онъ отворилъ мнѣ самъ. Онъ встрѣтилъ меня чрезвычайно радушно и привелъ къ себѣ въ кабинетъ.

— Николай Гавриловичъ, что это такое? — вынулъ я прокламацію.

Онъ взялъ ее какъ совсѣмъ незнакомую ему вещь и прочелъ. Было всего строкъ десять.

— Ну, что же? — спросилъ онъ съ легкой улыбкой.

— Неужели они такъ глупы и смѣшны? Неужели нельзя остановить ихъ и прекратить эту мерзость?

Онъ чрезвычайно вѣско и внушительно отвѣчалъ:

— Неужели вы предполагаете, что я солидаренъ съ ними, и думаете, что я могъ участвовать въ составленіи этой бумажки?

— Именно не предполагалъ, — отвѣчалъ я, — и даже считаю ненужнымъ васъ въ томъ увѣрять. Но во всякомъ случаѣ ихъ надо остановить во что бы ни стало. Ваше слово для нихъ вѣско, и ужъ, конечно, они боятся вашего мнѣнія.

— Я никого изъ нихъ не знаю.

— Увѣренъ и въ этомъ. Но вовсе и не нужно ихъ знать и говорить съ ними лично. Вамъ стоитъ только вслухъ гдѣ-нибудь заявить ваше порицаніе, и это дойдетъ до нихъ.

— Можетъ, и не произведетъ дѣйствія. Да и явленія эти, какъ сторонніе факты, неизбѣжны.

— И однако всѣмъ и всему вредятъ.

Тутъ позвонилъ другой гость, не помню кто. Я уѣхалъ. Долгомъ считаю замѣтить, что съ Чернышевскимъ я говорилъ искренно и вполнѣ вѣрилъ, какъ вѣрю и теперь, что онъ не былъ «солидаренъ» съ этими разбрасывателями. Мнѣ показалось, что Николаю Гавриловичу не непріятно было мое посѣщеніе; черезъ нѣсколько дней онъ подтвердилъ это, заѣхавъ ко мнѣ самъ. Онъ просидѣлъ у меня съ часъ, и, признаюсь, я рѣдко встрѣчалъ болѣе мягкаго и радушнаго человѣка, такъ что, тогда же подивился нѣкоторымъ отзывамъ о его характерѣ, будто бы жесткомъ и необщительномъ. Мнѣ стало ясно, что онъ хочетъ со мною познакомиться, и помню, мнѣ было это пріятно. Потомъ я былъ у него еще разъ, и онъ у меня тоже. Вскорѣ по нѣкоторымъ моимъ обстоятельствамъ я переселился въ Москву и прожилъ въ ней мѣсяцевъ девять. Начавшееся знакомство, такимъ образомъ, прекратилось. За симъ произошелъ арестъ Чернышевскаго и его ссылка. Никогда ничего не могъ я узнать о его дѣлѣ: не знаю и до сихъ поръ.

Года полтора спустя, мнѣ вздумалось написать одну фантастическую сказку, въ родѣ подражанія повѣсти Гоголя «Носъ». Никогда еще не пробовалъ я писать въ фантастическомъ родѣ. Это была чисто литературная шалость, единственно для смѣха. Представилось, дѣйствительно, нѣсколько комическихъ положеній, которыя мнѣ захотѣлось развить. Хоть и не стоитъ того, но разскажу сюжетъ, чтобы понятно было, что потомъ изъ него вывели. Тогда въ Петербургѣ, въ Пассажѣ, какой-то нѣмецъ показывалъ за деньги крокодила. Одинъ петербургскій чиновникъ, предъ поѣздкой за границу, отправляется съ своей молодой женой и съ неотлучнымъ другомъ своимъ въ Пассажъ, и между прочимъ всѣ заходятъ посмотрѣть крокодила. Чиновникъ этотъ, — средняго круга, но изъ тѣхъ, которые имѣютъ нѣкоторое независимое состояніе, еще молодой, но заѣденный самолюбіемъ; прежде всего дуракъ, какъ и незабвенный маіоръ Ковалевъ, потерявшій свой носъ. Онъ комически увѣренъ въ своихъ великихъ достоинствахъ; полуобразованъ, но считаетъ себя чуть не за генія, почитается въ своемъ департаментѣ за человѣка пустѣйшаго и постоянно обиженъ всеобщимъ къ нему невниманіемъ. Какъ бы въ отместку за это муштруетъ и тиранизируетъ своего без-

характернаго друга, величаясь надъ нимъ своимъ умомъ. Другъ ненавидитъ его, но переноситъ все потому, что втайнѣ ему нравится его жена. Въ Пассажѣ, пока эта дамочка, молоденькая и хорошенькая, чисто петербургскаго типа, глупенькая кокетка средняго круга, засмотрѣлась на показывавшихся вмѣстѣ съ крокодиломъ обезьянъ, геніальный супругъ ея какъ-то раздразнилъ доселѣ сонаго и лежавшаго какъ колода крокодила: тотъ вдругъ разѣваетъ пасть и проглатываетъ его всего цѣликомъ, безъ остатку. Вскорѣ оказывается, что великій человѣкъ не потерпѣлъ отъ того ни малѣйшаго поврежденія; напротивъ, по свойственному ему упрямству объявилъ изъ крокодила, что ему очень хорошо въ немъ сидѣть. Другъ и жена удаляются хлопотать по начальству о его освобожденіи. Для этого представлялось совершенно необходимымъ убить крокодила, взрѣзать его и освободить великаго человѣка; но при томъ, конечно, слѣдовало вознаградить за крокодила нѣмца-хозяина и его неразлучную муттеръ. Нѣмецъ сначала въ негодованіи и отчаяніи изъ боязни, что его крокодилъ, проглотившій «ганцъ чиновникъ», можетъ умереть; но скоро догадывается, что проглоченный членъ петербургской администраціи и оставшійся при томъ въ живыхъ можетъ доставить ему впредь чрезвычайный сборъ во всей Европѣ. Онъ требуетъ за крокодила огромную сумму и, сверхъ того, чинъ русскаго полковника. Съ другой стороны, начальство приходитъ въ немалое затрудненіе, что слишкомъ ужъ новый по министерству случай и что подобныхъ примѣровъ до сихъ поръ не бывало. «Если бы намъ хоть какой-нибудь подобный примѣрчикъ прежде, то можно бы дѣйствовать, а то затруднительно». Подозрѣваетъ тоже, что чиновникъ залѣзъ въ крокодила вслѣдствіе какихъ-нибудь запрещенныхъ, либеральныхъ тенденцій. Супруга между тѣмъ стала находить, что положеніе ея «въ родѣ какъ бы вдовы» не лишено интереса. Проглоченный супругъ между тѣмъ объявляетъ своему другу окончательно, что ему несравненно лучше оставаться въ крокодилѣ, чѣмъ на службѣ, ибо теперь онъ уже поневолѣ обратитъ на себя вниманіе, чего никогда прежде не могъ добиться. Онъ настаиваетъ, чтобы жена его завела вечера, и чтобы на эти вечера его приносили вмѣстѣ съ крокодиломъ въ ящикѣ. Онъ увѣренъ, что на вечера эти бросится весь Петербургъ и всѣ государственные сановники — смотрѣть новый феноменъ. Тутъ-то онъ и намѣренъ выиграть: «Буду изрекать правду и учить; государственному мужу подамъ совѣтъ, предъ министромъ выкажу способности», говоритъ онъ, считая себя какъ бы уже не

стъ міра сего и уже въ правѣ давать совѣты и изрекать приговоры. На осторожный, но ядовитый вопросъ друга: «А ну, какъ если онъ неожиданнымъ какимъ-нибудь процессомъ, котораго слѣдуетъ ожидать, переварится во что-нибудь такое, чего не ожидаетъ» — великій человѣкъ отвѣчаетъ, что уже думалъ объ этомъ; но съ негодованіемъ будетъ сопротивляться этому весьма возможному по законамъ природы явленію. Супруга, однакоже, не соглашается давать вечера съ такою цѣлью, хотя ей и нравится мысль о нихъ: «Какъ же это моего мужа будутъ приносить ко мнѣ въ ящикѣ?» — говоритъ она. Къ тому же и положеніе какъ бы вдовы ей все болѣе и болѣе нравится. Она входитъ во вкусъ; въ ней берутъ участіе. Къ ней ѣздитъ начальникъ ея мужа и играетъ съ ней въ свои козыри... Вотъ первая часть этого шутовского разсказа — онъ не докончень. Когда-нибудь непремѣнно докончу, хоть я уже и забылъ о немъ и теперь долженъ былъ перечитать, чтобы припомнить.

Вотъ что, однакоже, сдѣлали изъ этой маленькой вещицы. Едва только разсказъ появился въ журналѣ «Эпоха» (въ 1865 году), какъ вдругъ «Голосъ» въ фельетонѣ сдѣлалъ странную замѣтку. Не помню буквально, да и слишкомъ далеко справляться, но смыслъ былъ въ родѣ того: «Напрасно, дескать, авторъ «Крокодила» вступаетъ на такой путь; это не принесетъ ему ни чести, ни ожидаемой выгоды» и проч., и проч. Затѣмъ нѣсколько самыхъ туманныхъ и непріязненныхъ колкостей. Я прочелъ мелькомъ, ничего не понялъ, видѣлъ только много яду, но не зналъ за что. Этотъ туманный фельетонный отзывъ, самъ по себѣ, разумѣется, не могъ повредить мнѣ; изъ читателей все равно никто бы его не понялъ, такъ же какъ и я, но вдругъ, недѣлю спустя, Н. Н. С. сказалъ мнѣ: «Знаете, что тамъ думаютъ? Тамъ увѣрены, что вашъ «Крокодилъ» — аллегорія, исторія ссылки Чернышевскаго, и что вы хотѣли выставить и осмѣять Чернышевскаго». Я хоть и удивился, но не очень безпокоился; мало ли какихъ не бываетъ догадокъ? Мнѣніе это показалось мнѣ слишкомъ единичнымъ и натянутымъ, чтобъ оно возымѣло ходъ, и я почелъ совершенно ненужнымъ протестовать. Никогда не прощу себѣ этого, ибо мнѣніе укрѣпилось и возымѣло ходъ. Colomniez, il en restera toujours quelque chose.

Я, впрочемъ, убѣжденъ и теперь, что тутъ вовсе и не было клеветы, да и за что, для чего? Я почти ни съ кѣмъ въ литературѣ не поссорился, по крайней мѣрѣ, очень не ссорился. Теперь, въ эту минуту, я всего во второй разъ, въ двадцать семь лѣтъ моей литературной

дѣятельности, говорю о себѣ лично. Просто тутъ была тупость, угрюмая, мнительная тупость, засѣвшая въ какую-нибудь голову «съ направленіемъ». Я убѣжденъ, что эта многодумная голова совершенно увѣрена до сихъ поръ, что не ошиблась, и что я непремѣнно глумился надъ несчастнымъ Чернышевскимъ. Убѣжденъ даже, что никакими объясненіями и извиненіями не измѣню взгляда ея въ свою пользу даже и теперь. Но вѣдь зато она и многодумная голова. (Я, разумѣется, не объ Андреѣ Александровичѣ говорю; въ качествѣ редактора и издателя своей газеты, онъ тутъ, какъ и всегда, въ сторонѣ.)

Въ чемъ же аллегорія? Ну, конечно — крокодилъ изображаетъ собою Сибирь; самонадѣянный и легкомысленный чиновникъ — Чернышевскаго. Онъ попалъ въ крокодила и все еще питаетъ надежду поучать весь міръ. Безхарактерный другъ его, котораго онъ деспотируетъ — это все здѣшніе друзья Чернышевскаго. Хорошенькая, но глупенькая жена чиновника, радующаяся своему положенію «какъ бы вдовы» — это... Но тутъ уже такъ грязно, что я не хочу мараться и продолжать разъясненіе аллегоріи. (А между тѣмъ, вѣдь она укрѣпилась и именно, можетъ быть, послѣдній-то намекъ и укрѣпился; я имѣю несомнѣнныя доказательства.)

Значитъ, предположили, что я, самъ бывшій ссыльный и каторжный, обрадовался ссылкѣ другого «несчастнаго»; мало того — написалъ на этотъ случай радостный пашквиль. Но гдѣ же тому доказательства; въ аллегоріи? Но принесите мнѣ что хотите: «Записки сумасшедшаго», оду «Богъ», «Юрія Милославскаго», стихи Фета — что хотите — и я берусь вамъ вывести тотчасъ же изъ первыхъ десяти строкъ, вами указанныхъ, что тутъ именно аллегорія о франко-прусской войнѣ или пашквиль на актера Горбунова, однимъ словомъ, на кого угодно, на ксго прикажете. Вспомните, какъ въ старину, въ самомъ ксицѣ сороковыхъ годовъ, напримѣръ, цензора разсматривали рукописи и транспаранты: не было строки, не было точки, въ которыхъ бы не подозрѣвалось чего-нибудь, какой-нибудь аллегоріи. Пусть лучше представятъ хоть что-нибудь изъ всей моей жизни для доказательства, что я похожъ на злого безсердечнаго пашквилянта, и что отъ меня можно ожидать такихъ аллегорій.

Именно поспѣшность и торопливость подобныхъ бездоказательныхъ выводовъ и свидѣтельствуетъ, напротивъ, о нѣкоторой низменности духа самихъ обвинителей, о грубости и негуманности взгляда ихъ. Тутъ даже самое простодушіе догадки не извинительно. Что жъ? Можно быть и простодушно низменнымъ и только.

Можетъ быть, я ненавидѣлъ Чернышевскаго лично? Чтобы предупредить это обвиненіе, я нарочно разсказалъ выше о нашемъ краткомъ и радушномъ знакомствѣ. Скажутъ, — этого мало, и что я питалъ затаенную ненависть. Но пусть же выставятъ и предлоги къ этой ненависти, если имѣютъ что выставить. Ихъ не было. Съ другой стороны, я убѣжденъ, что самъ Чернышевскій подтвердитъ точность моего разсказа о нашей встрѣчѣ, если когда-нибудь прочтетъ его. И дай Богъ, чтобы онъ получилъ возможность это сдѣлать. Я такъ же тепло и горячо желаю того, какъ искренно сожалѣлъ и сожалѣю о его несчастьѣ.

Но ненависть изъ-за убѣжденій, быть можетъ?

Почему же? Чернышевскій никогда не обижалъ меня своими убѣжденіями. Можно очень уважать человѣка, расходясь съ нимъ въ мнѣніяхъ радикально. Тутъ, впрочемъ, я могу говорить не совсѣмъ голословно и имѣю даже маленькое доказательство. Въ одномъ изъ самыхъ послѣднихъ №№ прекратившагося въ то время журнала «Эпоха» (чуть ли не въ самомъ послѣднемъ) была помѣщена большая критическая статья о «знаменитомъ» романѣ Чернышевскаго «Что дѣлать»? Эта статья замѣчательная и принадлежитъ извѣстному перу. И что же? Въ ней именно отдается все должное уму и таланту Чернышевскаго. Собственно о романѣ его было даже очень горячо сказано. Въ замѣчательномъ же умѣ его никто и никогда не сомнѣвался. Сказано было только въ статьѣ нашей объ особенностяхъ и уклоненіяхъ этого ума, но уже самая серьезность статьи свидѣтельствовала и о надлежащемъ уваженіи нашего критика къ достоинствамъ разбираемаго имъ автора. Теперь согласитесь: если бы была во мнѣ ненависть изъ-за убѣжденій, я бы, конечно, не допустилъ въ журналѣ статьи, въ которой говорилось о Чернышевскомъ съ надлежащимъ уваженіемъ; на самомъ дѣлѣ вѣдь я былъ редакторомъ «Эпохи», а не кто другой.

Можетъ быть, я, печатая ядовитую аллегорію, надѣялся выиграть гдѣ-нибудь en haut lieu? Но когда и кто можетъ сказать про меня, что я заигрывалъ или выигрывалъ въ этомъ смыслѣ въ какомъ-нибудь lieu, т. е. продавалъ свое перо. Я думаю даже, что самъ авторъ догадки не имѣлъ такой мысли, несмотря на все свое простодушіе. Да и не укрѣпилась бы она ни за что въ литературномъ мірѣ, если бы только въ этомъ состояло обвиненіе.

Что же касается до возможности обвиненія въ пашквильной аллегоріи насчетъ иныхъ какихъ-нибудь домашнихъ обстоятельствъ Николая Гавриловича, то

опять-таки повторяю, что не хочу даже и прикасаться съ той точки къ моему «оправданію», чтобы не вымараться...

Мнѣ очень досадно, что на этотъ разъ я заговорилъ о себѣ. Вотъ что значитъ писать литературныя воспоминанія; никогда не напишу ихъ. Весьма сожалѣю, что несомнѣнно надоѣлъ читателю, но я пишу дневникъ, дневникъ отчасти личныхъ моихъ впечатлѣній, а какъ разъ недавно я вынесъ одно «литературное» впечатлѣніе, косвенно вдругъ напомнившее мнѣ и этотъ забытый анекдотъ о забытомъ моемъ «Крокодилѣ».

На-дняхъ одинъ изъ самыхъ уважаемыхъ мною людей, мнѣніемъ котораго я высоко дорожу, сказалъ мнѣ:

— Я только что прочелъ статью вашу о «Средѣ» и о приговорахъ нашихъ присяжныхъ («Гражданинъ», № 2). Я съ вами совершенно согласенъ, но статья ваша можетъ произвести непріятное недоумѣніе. Подумаютъ, что вы за отмѣну суда присяжныхъ и за новое вмѣшательство административной опеки...

Я былъ горестно изумленъ. Это былъ голосъ человѣка въ высшей степени безпристрастнаго и стоящаго внѣ всякихъ литературныхъ партій и «аллегорій».

— Неужели такъ можно истолковать мою статью! Послѣ этого ни о чемъ нельзя говорить. Экономическое и нравственное состояніе народа по освобожденіи отъ крѣпостного ига — ужасно. Несомнѣнные и въ высшей степени тревожные факты о томъ свидѣтельствуютъ поминутно. Паденіе нравственности, дешевка, жиды-кабатчики, воровство и дневной разбой — все это несомнѣнные факты, и все растетъ, растетъ. Ну, что жъ? Если кто-нибудь, тревожась духомъ и сердцемъ, возьметъ перо и напишетъ, — что же, неужели закричатъ, что онъ крѣпостникъ и стоитъ за обратное закрѣпощеніе крестьянъ?

— Во всякомъ случаѣ надо желать, чтобы народъ имѣлъ полную свободу самъ выйти изъ грустнаго своего положенія, безо всякой опеки и поворотовъ назадъ.

— Да непремѣнно же такъ, и это именно моя мысль! И если бы даже отъ упадка народнаго (сами же они, оглядываясь иногда на себя, говорятъ теперь по мѣстамъ: «Ослабѣли, ослабѣли!») — если бы даже, говорю я, произошло какое-нибудь уже настоящее, несомнѣнное несчастье народное, какое-нибудь огромное паденіе, большая бѣда — то и тутъ народъ спасетъ себя самъ, себя и насъ, какъ уже неоднократно бывало съ нимъ, о чемъ свидѣтельствуетъ вся его исторія. Вотъ моя мысль. Именно — довольно вмѣшательствъ! Но какъ, однакоже, могутъ быть поняты и перетолкованы слова. Пожалуй, и еще натолкнешься на аллегорію!

V.

Власъ[1].

Помните ли вы Власа? Онъ что-то мнѣ вспоминается.

Въ армякѣ съ открытымъ воротомъ,
Съ обнаженной головой,
Медленно проходитъ городомъ
Дядя Власъ — старикъ сѣдой.
На груди икона мѣдная:
Просить онъ на Божій храмъ...

У этого Власа, какъ извѣстно, прежде «Бога не было»:

. . . . . побоями
Въ гробъ жену свою загналъ.
Промышляющихъ разбоями,
Конокрадовъ укрывалъ.

Даже и конокрадовъ, — пугаетъ насъ поэтъ, впадая въ тонъ набожной старушки. Ухъ, вѣдь какіе грѣхи! Ну, и грянулъ же громъ. Заболѣлъ Власъ и видѣлъ видѣніе, послѣ котораго поклялся пойти по міру и собирать на храмъ. Видѣлъ онъ адъ-съ, ни мало, ни меньше:

Видѣлъ свѣта преставленіе,
Видѣлъ грѣшниковъ въ аду:
Мучатъ бѣсы ихъ проворные,
Жалитъ вѣдьма-егоза.
Эѳіопы — видомъ черные
И какъ угліе глаза.
. . . . . .
Тѣ на длинный шестъ нанизаны,
Тѣ горячій лижутъ полъ...“

Однимъ словомъ, невообразимые ужасы, такъ даже, что страшно читать. «Но всего не описать» — продолжаетъ поэтъ.

Богомолки, бабы умныя,
Могутъ лучше разсказать.

О, поэтъ! (къ несчастью, истинный поэтъ нашъ) если

[1] № 6 „Гражданина“ 1873 г.

бы вы не подходили къ народу съ вашими восторгами, про которые

Богомолки, бабы умныя,
Могутъ лучше разсказать, —

то не оскорбили бы и насъ выводомъ, что вотъ изъ-за такихъ-то, въ концѣ концовъ, бабьихъ пустяковъ

Вырастаютъ храмы Божіи
По лицу земли родной.

Но хоть и по «глупости» своей ходитъ съ котомкою Власъ, но серьезность его страданія вы все-таки поняли; все же васъ поразила величавая фигура его. (Да вѣдь и поэтъ же вы; не могло быть иначе.)

Сила вся души великая
Въ дѣло Божіе ушла,

великолѣпно говорите вы. Хочу, впрочемъ, вѣрить, что вы вставили вашу насмѣшку невольно, страха ради либеральнаго, ибо эта страшная, пугающая даже, сила смиренія Власова, эта потребность самоспасенія, эта страстная жажда страданія поразила и васъ, общечеловѣка и русскаго gentilhomme'а, и величавый образъ народный вырвалъ восторгъ и уваженіе и изъ вашей высоко-либеральной души!

Роздалъ Власъ свое имѣніе,
Самъ остался босъ и голъ,
И сбирать на построеніе
Храма Божьяго пошелъ.
Съ той поры мужикъ скитается
Вотъ ужъ скоро *тридцать* лѣтъ,
Подаяніемъ питается —
Строго держитъ свой обѣтъ
. . . . . .
Полонъ скорбью неутѣшною
Смуглолицъ, высокъ и прямъ

(Чудо какъ хорошо!) . . . . . .

Ходитъ онъ стопой неспѣшною
По селеньямъ, городамъ.
. . . . . .
Ходитъ съ образомъ и съ книгою,
Самъ съ собой все говоритъ
И желѣзною вервіею
Тихо на ходу звенитъ.

Чудо, чудо какъ хорошо! Даже такъ хорошо, что точно и не вы писали; точно это не вы, а другой кто замѣсто васъ кривлялся потомъ «на Волгѣ», въ великолѣпныхъ тоже стихахъ, про бурлацкія пѣсни. А впрочемъ, — не кривлялись вы и «на Волгѣ», развѣ только немножко; вы и на Волгѣ любили общечеловѣка въ бурлакѣ и дѣйствительно страдали по немъ, то есть не по бурлакѣ собственно, а, такъ сказать, по обще-бурлакѣ. Видите ли съ, любить общечеловѣка значитъ навѣрно ужъ презирать, а подчасъ и ненавидѣть стоящаго подлѣ себя настоящаго человѣка. Я нарочно подчеркнулъ неизмѣримо прекрасные стихи въ этомъ шутовскомъ (въ его цѣломъ, ужъ извините меня) стихотвореніи вашемъ.

Я потому припомнилъ этого стихотворнаго Власа, что слышалъ на-дняхъ одинъ удивительно фантастическій разсказъ про другого Власа, даже про двухъ, но уже совершенно особенныхъ, даже неслыханныхъ доселѣ Власовъ. Происшествіе это истинное и уже по одной своей необыкновенности замѣчательное.

На Руси, по монастырямъ, есть, говорятъ, и теперь иные схимники, монахи-исповѣдники и совѣтодатели. Хорошо или дурно то, нужно ли монаховъ или не нужно ихъ, — про это въ данную минуту не хочу разсуждать и не для того взялъ перо. Но такъ какъ мы живемъ въ данной дѣйствительности, то вѣдь нельзя же выпихнуть изъ разсказа хотя бы даже и монаха, если на немъ зиждется разсказъ. Эти монахи-совѣтодатели бываютъ иногда, будто бы, великаго образованія и ума. Такъ, по крайней мѣрѣ, повѣствуютъ о нихъ; я ничего не знаю. Говорятъ, что встрѣчаются нѣкоторые съ удивительнымъ, будто бы, даромъ проникновенія въ душу человѣческую и умѣнія совладать съ нею. Нѣсколько такихъ лицъ извѣстны, говорятъ, всей Россіи, т. е., въ сущности, тѣмъ, кому надо. Живетъ этотъ старецъ, положимъ, въ Херсонской губерніи, а къ нему ѣдутъ или даже идутъ пѣшкомъ изъ Петербурга, изъ Архангельска, съ Кавказа и изъ Сибири. Идутъ, разумѣется, съ раздавленною отчаяніемъ душою, которая уже и не ждетъ себѣ исцѣленія, или съ такимъ страшнымъ бременемъ на сердцѣ, что грѣшникъ уже и не говоритъ о немъ своему священнику-духовнику, — не отъ страха или недовѣрія, а просто въ совершенномъ отчаяніи за спасеніе свое. А прослышитъ вдругъ про какого-нибудь такого монаха совѣтодателя, и пойдетъ къ нему.

«И вотъ», говорилъ одинъ изъ такихъ старцевъ однажды, въ дружеской бесѣдѣ наединѣ съ однимъ слушателемъ, — «выслушиваю я людей двадцать лѣтъ и вѣрите ли, ужъ сколько, казалось бы, въ двадцать лѣтъ знакомства моего съ самыми потаенными и сложными болѣзнями души человѣческой; но и черезъ двадцать лѣтъ

приходишь иногда въ содроганіе и въ негодованіе, слушая иныя тайны. Теряешь необходимое спокойствіе духа для поданія утѣшенія и самъ вынужденъ себя же укрѣплять въ смиреніи и безмятежности».

И тутъ-то онъ и разсказалъ ту удивительную повѣсть изъ народнаго быта, о которой я выше упомянулъ.

«Вижу, вползаетъ ко мнѣ разъ мужикъ на колѣняхъ. Я еще изъ окна видѣлъ, какъ онъ ползъ по землѣ. Первымъ словомъ ко мнѣ:

«— Нѣтъ мнѣ спасенія; проклятъ! И что бы ты ни сказалъ — все одно проклятъ!

«Я его кое-какъ успокоилъ; вижу, за страданіемъ приползъ человѣкъ; издалека.

«— Собрались мы въ деревнѣ нѣсколько парней, — началъ онъ говорить, — и стали промежду себя спорить: «кто кого дерзостнѣе сдѣлаетъ?» Я по гордости вызвался передъ всѣми. Другой парень отвелъ меня и говоритъ мнѣ съ глазу на глазъ:

«— Это никакъ невозможно тебѣ, чтобы ты сдѣлалъ, какъ говоришь. Хвастаешь.

«Я ему сталъ клятву давать.

«— Нѣтъ, стой, поклянись, — говоритъ, — своимъ спасеніемъ на томъ свѣтѣ, что все сдѣлаешь, какъ я тебѣ укажу.

«Поклялся.

«— Теперь скоро постъ, — говоритъ, — стань говѣть. Когда пойдешь къ причастію — причастье прими, но не проглоти. Отойдешь — вынь рукой и сохрани. А тамъ я тебѣ укажу.

«Такъ я и сдѣлалъ. Прямо изъ церкви повелъ меня въ огородъ. Взялъ жердь, воткнулъ въ землю и говоритъ: положи! Я положилъ на жердь.

«— Теперь, — говоритъ, — принеси ружье.

«Я принесъ.

«— Заряди.

«Зарядилъ.

«— Подыми и выстрѣли.

«Я поднялъ руку и намѣтился. И вотъ только бы выстрѣлить, вдругъ предо мною какъ есть крестъ, а на немъ Распятый. Тутъ я и упалъ съ ружьемъ въ безчувствіи».

Происходило это еще за нѣсколько лѣтъ до прихода къ старцу. Кто былъ этотъ Власъ, откуда и какъ его имя — старецъ, разумѣется, не открылъ, равно какъ и покаяніе, которое наложилъ на него. Должно быть, обременилъ душу страшнымъ трудомъ, даже не по силамъ человѣческимъ, разсуждая, что чѣмъ больше, тѣмъ тутъ и лучше: «Самъ за страданіемъ приползъ». Не правда ли, что происшествіе даже вемьма характерное, съ одной стороны, на многое намекающее, такъ что, пожалуй, и стоитъ двухъ-трехъ минутъ особеннаго разбора. Я все того мнѣнія, что вѣдь послѣднее слово скажутъ они же, вотъ эти самые разные «Власы», кающіеся и не кающіеся; они скажутъ и укажутъ намъ новую дорогу и новый исходъ изъ всѣхъ, казалось бы, безысходныхъ затрудненій нашихъ. Не Петербургъ же разрѣшитъ окончательно судьбу русскую. А потому всякая, даже малѣйшая *новая* черта объ этихъ, теперь уже «новыхъ людяхъ», можетъ быть достойна вниманія нашего.

Во-первыхъ, мнѣ именно удивительно — удивительно всего болѣе — самое начало дѣла, то есть возможность такого спора и состязанія въ русской деревнѣ: «Кто кого дерзостнѣе сдѣлаетъ?» Ужасно на многое намекающій фактъ, а для меня почти совсѣмъ даже и неожиданный; а я видывалъ-таки довольно народу, да еще самаго характернаго. Замѣчу тоже, что кажущаяся исключительность факта тѣмъ самымъ, однако, и свидѣтельствуетъ о его достовѣрности: когда лгутъ, то изобрѣтаютъ что-нибудь гораздо болѣе обыкновенное и къ обыденному подходящее, чтобы всѣ повѣрили.

Затѣмъ, замѣчательна собственно медицинская часть факта. Галлюцинація есть преимущественно явленіе болѣзненное, и болѣзнь эта весьма рѣдкая. Возможность внезапной галлюцинаціи, хотя и у крайне возбужденнаго, но все же совершенно здороваго человѣка, — можетъ быть, случай еще неслыханный. Но это дѣло медицинское, а я въ немъ мало знаю.

Другое дѣло — психологическая часть факта. Тутъ являются передъ нами два народные типа, — въ высшей степени изображающіе намъ весь русскій народъ въ его цѣломъ. Это, прежде всего, забвеніе всякой мѣрки во всемъ (и, замѣтьте, всегда почти временное и преходящее, являющееся какъ бы какимъ-то навожденіемъ). Это — потребность хватить черезъ край, потребность въ замирающемъ ощущеніи, дойдя до пропасти, свѣситься въ нее на половину, заглянуть въ самую бездну и — въ частныхъ случаяхъ, но весьма нерѣдкихъ — броситься въ нее, какъ ошалѣлому, внизъ головой. Это — потребность отрицанія въ человѣкѣ, иногда самомъ неотрицающемъ и благоговѣющемъ, отрицанія всего, самой главной святыни сердца своего, самаго полнаго идеала своего, всей

народной святыни во всей ея полнотѣ, передъ которой сейчасъ лишь благоговѣлъ и которая вдругъ какъ будто стала ему невыносимымъ какимъ-то бременемъ. Особенно поражаетъ та торопливость, стремительность, съ которою русскій человѣкъ спѣшитъ иногда заявить себя, въ иныя характерныя минуты своей или народной жизни, заявить себя въ хорошемъ или въ поганомъ. Иногда тутъ просто нѣтъ удержу. Любовь ли, вино ли, разгулъ, самолюбіе, зависть — тутъ иной русскій человѣкъ отдается почти беззавѣтно, готовъ порвать все, отречься отъ всего: отъ семьи, обычая, Бога. Иной добрѣйшій человѣкъ какъ-то вдругъ можетъ сдѣлаться омерзительнымъ безобразникомъ и преступникомъ, — стоитъ только попасть ему въ этотъ вихрь, роковой для насъ круговоротъ судорожнаго и моментальнаго самоотрицанія и саморазрушенія, такъ свойственный русскому народному характеру въ иныя роковыя минуты его жизни. Но зато съ такою же силою, съ такою же стремительностью, съ такою же жаждою самосохраненія и покаянія русскій человѣкъ, равно какъ и весь народъ, и спасаетъ себя самъ, и обыкновенно, когда дойдетъ до послѣдней черты, т. е. когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчекъ, толчекъ возстановленія и самоспасенія, всегда бываетъ серьезнѣе прежняго порыва,— порыва отрицанія и саморазрушенія. То есть, то бываетъ всегда на счету какъ бы мелкаго малодушія; тогда какъ въ возстановленіе свое русскій человѣкъ уходитъ съ самымъ огромнымъ и серьезнымъ усиліемъ, а на отрицательное прежнее движеніе свое смотритъ съ презрѣніемъ къ самому себѣ.

Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русскаго народа — есть потребность страданія, всегдашняго и неутолимаго, вездѣ и во всемъ. Этою жаждою страданія онъ, кажется, зараженъ искони вѣковъ. Страдальческая струя проходитъ черезъ всю его исторію, не отъ внѣшнихъ только несчастій и бѣдствій, а бьетъ ключемъ изъ самаго сердца народнаго. У русскаго народа даже въ счастьѣ непремѣнно есть часть страданія, иначе счастье его для него неполно. Никогда, даже въ самыя торжественныя минуты его исторіи, не имѣетъ онъ гордаго и торжествующаго вида, а лишь умиленный до страданія видъ; онъ воздыхаетъ и относитъ славу свою къ милости Господа. Страданіемъ своимъ русскій народъ какъ бы наслаждается. Что въ цѣломъ народѣ, то и въ отдѣльныхъ типахъ, говоря, впрочемъ, лишь вообще. Вглядитесь, напримѣръ, въ многочисленные типы русскаго безобразника. Тутъ не одинъ лишь разгулъ

черезъ край, иногда удивляющій дерзостью своихъ предѣловъ и мерзостью паденія души человѣческой. Безобразникъ этотъ, прежде всего, самъ страдалецъ. Наивно-торжественнаго довольства собою въ русскомъ человѣкѣ совсѣмъ даже нѣтъ, даже въ глупомъ. Возьмите русскаго пьяницу и, напримѣръ, хоть нѣмецкаго пьяницу: русскій пакостнѣе нѣмецкаго, но пьяный нѣмецъ несомнѣнно глупѣе и смѣшнѣе русскаго. Нѣмцы — народъ по преимуществу самодовольный и гордый собою. Въ пьяномъ же нѣмцѣ эти основныя черты народныя вырастаютъ въ размѣрахъ выпитаго пива. Пьяный нѣмецъ несомнѣнно счастливый человѣкъ и никогда не плачетъ; онъ поетъ самохвальныя пѣсни и гордится собою. Приходитъ домой пьяный, какъ стелька, но гордый собою. Русскій пьяница любитъ пить съ горя и плакать. Если же куражится, то не торжествуетъ, а лишь буянитъ. Всегда вспомнитъ какую-нибудь обиду и упрекаетъ обидчика, тутъ ли онъ, нѣтъ ли. Онъ дерзостно, пожалуй, доказываетъ, что онъ чуть ли не генералъ, горько ругается, если ему не вѣрятъ, и, чтобы увѣрить, въ концѣ концовъ всегда зоветъ «караулъ». Но вѣдь потому онъ такъ и безобразенъ, потому и зоветъ «караулъ», что въ тайникахъ пьяной души своей онъ навѣрно самъ убѣжденъ, что онъ вовсе не «генералъ», а только гадкій пьяница и опакостился ниже всякой скотины. Что въ микроскопическомъ примѣрѣ, то и въ крупномъ. Самый крупный безобразникъ, самый даже красивый своею дерзостью и изящными пороками, такъ что ему даже подражаютъ глупцы, все-таки слышитъ какимъ-то чутьемъ, въ тайникахъ безобразной души своей, что въ концѣ концовъ онъ лишь негодяй и только. Онъ недоволенъ собою; въ сердцѣ его нарастаетъ попрекъ, и онъ мститъ за него окружающимъ; бѣснуется и мечется на всѣхъ, и тутъ-то вотъ и доходитъ до краю, борясь съ накопляющимся ежеминутно въ сердцѣ страданіемъ своимъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и какъ бы упиваясь имъ съ наслажденіемъ. Если онъ способенъ возстать изъ своего униженія, то мститъ себѣ за прошлое паденіе ужасно, даже больнѣе, чѣмъ вымещалъ на другихъ, въ чаду безобразія, свои тайныя муки отъ собственнаго недовольства собою.

Кто натолкнулъ обоихъ парней на споръ о томъ: «кто сдѣлаетъ дерзостнѣе?», и какими причинами сложилась возможность подобнаго состязанія — осталось неизвѣстнымъ, но несомнѣнно, что оба страдали — одинъ принимая вызовъ, другой предлагая его. Конечно, тутъ было что-нибудь предварительно: или затаенная ненависть между ними, или ненависть съ дѣтства, и даже

неизвѣстная имъ самимъ и вдругъ проявившаяся въ минуту спора и вызова. Послѣднее вѣроятнѣе; и вѣроятно, они были друзьями до сей минуты и жили въ согласіи, которое становилось, чѣмъ далѣе, тѣмъ невыносимѣе; но, въ моментъ вызова, напряженіе взаимной ненависти и зависти жертвы къ своему Мефистофелю уже было необыкновенное.

— Не побоюсь ничего, сдѣлаю все, что укажешь; погибай душа, а осрамлю тебя!

— Хвастаешь, убѣжишь какъ мышь въ подполье, насмѣюсь надъ тобой, погибай душа!

Можно было выбрать для состязанія что-нибудь очень дерзкое и другого рода, — разбой, убійство, открытое буйство противъ могущественнаго человѣка. Вѣдь поклялся же парень, что на все пойдетъ, и искуситель его зналъ, что на этотъ разъ серьезно говорено, впрямь пойдетъ.

Нѣтъ. Самыя страшныя «дерзости» кажутся искусителю слишкомъ обыкновенными. Онъ придумываетъ неслыханную дерзость, небывалую и немыслимую, и въ ея выборѣ выразилось цѣлое міровоззрѣніе народное.

Немыслимую? А между тѣмъ одно уже то, что онъ именно остановился на ней, показываетъ, что онъ уже, можетъ быть, и мыслилъ о ней. Можетъ быть, давно уже, съ дѣтства, эта мечта заползала въ душу его, потрясала ее ужасомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и мучительнымъ наслажденіемъ. Что придумалъ онъ все давно уже, и ружье, и огородъ, и держалъ только въ страшной тайнѣ — въ этомъ почти нѣтъ сомнѣнія. Придумалъ, разумѣется, не для того, чтобы исполнить, да и не посмѣлъ бы, можетъ быть, одинъ никогда. Просто нравилось ему это видѣніе, проницало его душу изрѣдка, манило его, а онъ робко поддавался, и отступалъ, холодѣя отъ ужаса. Одинъ моментъ такой неслыханной дерзости, а тамъ хоть все пропадай! И ужъ, конечно, онъ вѣровалъ, что за это ему вѣчная гибель; но — «былъ же и я на такомъ верху!»...

Можно многое не сознавать, а лишь чувствовать. Можно очень много знать безсознательно. Но, не правда ли, любопытная душа, и, главное, изъ этого быта. Въ этомъ все вѣдь и дѣло. Хорошо бы тоже узнать, какъ онъ считалъ себя: виновнѣе или нѣтъ своей жертвы? Судя по кажущемуся его развитію, надо полагать, что считалъ виновнѣе, или, по крайней мѣрѣ, равнымъ по винѣ; такъ что, вызывая жертву на «дерзость», вызывалъ и себя.

Говорятъ, русскій народъ плохо знаетъ Евангеліе, не знаетъ основныхъ правилъ вѣры. Конечно такъ, но Христа онъ знаетъ и носитъ его въ своемъ сердцѣ искони. Въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Какъ возможно истинное представленіе Христа безъ ученія о вѣрѣ? — Это другой вопросъ. Но сердечное знаніе Христа и истинное представленіе о немъ существуетъ вполнѣ. Оно передается изъ поколѣнія въ поколѣніе и слилось съ сердцами людей. Можетъ быть, единственная любовь народа русскаго есть Христосъ, и онъ любилъ образъ Его по-своему, то есть до страданія.

Названіемъ же православнаго, то-есть истиннѣе всѣхъ исповѣдающаго Христа, онъ гордится болѣе всего. Повторю, можно очень много знать безсознательно.

И вотъ, надругаться надъ такой святыней народною, разорвать тѣмъ со всею землей, разрушить себя самого во вѣки вѣковъ для одной лишь минуты торжества отрицаньемъ и гордостью — ничего не могъ выдумать русскій Мефистофель дерзостнѣе! Возможность такого напряженія страсти, возможность такихъ мрачныхъ и сложныхъ ощущеній въ душѣ простолюдина поражаетъ! И, замѣтьте, все это возросло почти до сознательной идеи.

Жертва однакоже не дается, не смиряется, не пугается. По крайней мѣрѣ, дѣлаетъ видъ, что не пугается. Парень принимаетъ вызовъ. Проходятъ дни, и онъ стоитъ на своемъ. Наступаетъ уже не мечта, а самое дѣло: онъ ходитъ въ церковь, слышитъ ежедневно слова Христовы и не отступаетъ. Бываютъ страшные убійцы, не смущающіеся даже при видѣ убитой ими жертвы. Одинъ изъ такихъ убійцъ, явный и уличенный на мѣстѣ, не сознавался до конца и продолжалъ лгать передъ слѣдователемъ. Когда же тотъ всталъ и велѣлъ отвести его въ острогъ, то онъ, съ умиленнымъ видомъ, попросилъ какъ милости проститься съ лежавшею тутъ же убитою (его бывшею любовницею, которую онъ убилъ изъ ревности). Онъ нагнулся, поцѣловалъ ее съ умиленіемъ, заплакалъ и, не вставая съ колѣнъ, еще разъ повторилъ надъ нею, простирая руку, что онъ не виновенъ. Я только хочу замѣтить, до какой звѣрской степени можетъ доходить въ человѣкѣ безчувственность.

Но здѣсь была совсѣмъ не безчувственность. Сверхъ того было еще нѣчто совсѣмъ особенное — мистическій ужасъ, самая огромная сила надъ душой человѣческой. Онъ несомнѣнно былъ, судя, по крайней мѣрѣ, по развязкѣ дѣла. Но сильная душа парня съ этимъ ужасомъ еще могла вступить въ борьбу; онъ доказалъ это. Сила ли это, впрочемъ, или въ послѣдней степени малодушіе? Вѣроятно, и то и другое вмѣстѣ, въ соприкосновеніи противоположностей. Тѣмъ не менѣе этотъ мистическій

ужасъ не только не порвалъ, но еще продлилъ борьбу, и навѣрно онъ-то и способствовалъ привести ее къ окончанію, именно тѣмъ, что удалялъ отъ сердца грѣшника всякое чувство умиленія, и чѣмъ сильнѣе подавлялъ его, тѣмъ невозможнѣе оно становилось. Ощущеніе ужаса есть чувство жестокое, сушитъ и каменитъ сердце для всякаго умиленія и высокаго чувства. Вотъ почему преступникъ выдержалъ и моментъ передъ чашей, хотя, можетъ быть, и цѣпенѣя отъ страху до изнеможенія. Я думаю тоже, что взаимная ненависть между жертвой и ея мучителемъ упала въ эти дни совершенно. Порывами искушаемый могъ съ болѣзненною злостью ненавидѣть себя, окружающихъ, молящихся въ церкви, но всего менѣе своего Мефистофеля. Оба они чувствовали, что взаимно другъ въ другѣ нуждаются, чтобы сообща кончить дѣло. Каждый навѣрно считалъ себя безсильнымъ его кончить одинъ. Для чего же они продолжали его, для чего же приняли столько муки? Они и не могли, впрочемъ, разорвать союзъ. Если бъ ихъ контрактъ былъ нарушенъ, то тотчасъ же возгорѣлась бы взаимная ненависть въ десять разъ сильнѣе прежняго и навѣрно произошло бы убійство: мученикъ убилъ бы своего мучителя.

Пусть и это. Даже и это бы ничего передъ вынесеннымъ жертвою ужасомъ. То-то и есть, что тутъ должно было быть непремѣнно, на днѣ души, и у того и у другого, нѣкоторое адское наслажденіе собственной гибелью, захватывающая дыханіе потребность нагнуться надъ пропастью и заглянуть въ нее, потрясающее восхищеніе передъ собственной дерзостью. Почти невозможно, чтобы дѣло было доведено до конца безъ этихъ возбуждающихъ и страстныхъ ощущеній. Не простые же были эти баловники, мальчишки тупые и глупые, — начиная съ состязанія о «дерзости» и кончая отчаяніемъ передъ старцемъ.

Замѣтьте еще, что искуситель не открылъ своей жертвѣ всей тайны; она еще не знала, выходя изъ церкви, что должна будетъ сдѣлать съ святыней, до самаго того момента, какъ онъ велѣлъ принести ружье. Столько дней такой мистической неизвѣстности опять свидѣтельствуютъ объ ужасомъ упорствѣ грѣшника. Съ другой стороны, и деревенскій Мефистофель выказываетъ себя большимъ психологомъ.

Но, можетъ быть, придя въ огородъ, оба они уже не помнили себя? Парень помнилъ, однако, какъ заряжалъ ружье и наводилъ. Можетъ быть, дѣйствовалъ лишь машинально, хотя и въ полной памяти, какъ дѣйствительно бываетъ иногда въ состояніи ужаса? Не думаю: если бы онъ обратился въ одну лишь машину, продолжающую дѣйствовать по одной лишь инерціи, то навѣрно не имѣлъ бы потомъ видѣнія; просто упалъ бы безъ чувствъ, когда бы истощилъ весь запасъ инерціи — и не *до*, а ужъ послѣ выстрѣла. Нѣтъ, вѣроятнѣе всего, что сознаніе сохранялось все время въ чрезвычайной ясности, несмотря на смертельный ужасъ, все нараставшій съ каждымъ мгновеніемъ прогрессивно. И уже потому, что жертва выдержала такое давленіе ужаса, нараставшаго прогрессивно, повторю опять, она была несомнѣнно одарена огромною душевною силой.

Обратимъ вниманіе на то, что заряжаніе ружья есть операція, во всякомъ случаѣ требующая нѣкотораго вниманія. Самое труднѣйшее и невыносимое дѣло въ подобную минуту, по-моему, есть способность оторваться отъ своего ужаса, отъ подавляющей собою идеи. Обыкновенно, до послѣдней степени пораженные ужасомъ уже не могутъ оторваться отъ его созерцанія, отъ предмета или идеи, ихъ поразившихъ: они стоятъ передъ ними какъ вкопанные и своему ужасу смотрятъ прямо въ глаза, какъ очарованные. Но парень зарядилъ ружье внимательно, онъ это помнилъ; онъ помнилъ, какъ потомъ сталъ наводить, помнилъ все, до послѣдняго момента. Могло быть и то, что процессъ заряжанія ружья былъ ему облегченіемъ, исходомъ страждущей души его, и онъ радъ былъ сосредоточить себя хотя бы одно только мгновеніе на какомъ-нибудь исходномъ внѣшнемъ предметѣ. Такъ бываетъ на гильотинѣ съ тѣми, которымъ рубятъ голову. Дюбарри кричала палачу: «Encore un moment, monsieur le bourreau, encore un moment!» Въ двадцать разъ она бы выстрадала больше въ эту даровую минуту, если бъ ей ее подарили, а все-таки кричала и молила о ней. Но если предположить, что заряжаніе ружья было для нашего грѣшника въ родѣ какъ у Дюбарри «encore un moment», то ужъ, конечно, онъ бы не могъ послѣ такого момента опять обратиться къ своему ужасу, отъ котораго разъ оторвался, и продолжать дѣло, наводить и стрѣлять. Тутъ просто бы онѣмѣли руки и перестали бы слушаться, ружье бы вывалилось изъ нихъ само собою, несмотря даже на сохранившіяся сознаніе и волю.

И вотъ, въ самый послѣдній моментъ — вся ложь, вся низость поступка, все малодушіе, принимаемое за силу, весь срамъ паденія, все это вырвалось вдругъ, въ одно мгновеніе, изъ его сердца и стало передъ нимъ въ грозномъ обличеніи. Неимовѣрное видѣніе предстало ему... все кончилось.

Судъ прогремѣлъ изъ его сердца, конечно. Почему прогремѣлъ не сознательно, не внезапнымъ прояснѣніемъ ума и совѣсти, почему проявился въ образѣ, какъ бы совершенно внѣшнимъ, независимымъ отъ его духа фактомъ? Въ этомъ огромная психологическая задача и дѣло Господа. Для него, для преступника, безъ сомнѣнія, было дѣломъ Господнимъ. Власъ пошелъ по міру и потребовалъ страданія.

Ну, а другой-то Власъ, оставшійся, искуситель? Легенда не говоритъ, что онъ поползъ за покаяніемъ, не упоминаетъ о немъ ничего. Можетъ, поползъ и онъ, а можетъ, и остался въ деревнѣ и живетъ себѣ до сихъ поръ, опять пьетъ и зубоскалитъ по праздникамъ: вѣдь не онъ же видѣлъ видѣніе. Такъ ли, впрочемъ? Очень бы желательно узнать и его исторію, для свѣдѣнія, для этюда.

Вотъ почему еще желательно бы: что, если то и впрямь настоящій нигилистъ деревенскій, доморощенный отрицатель и мыслитель, не вѣрующій, съ высокомѣрною насмѣшкой выбравшій предметъ состязанія, не страдавшій, не трепетавшій вмѣстѣ съ своею жертвою, какъ предположили мы въ нашемъ этюдѣ, а съ холоднымъ любопытствомъ слѣдившій за ея трепетаніями и корчами, изъ одной лишь потребности чужого страданія, человѣческаго униженія, — чертъ знаетъ, можетъ быть, изъ ученаго наблюденія?

Если ужъ есть и такія черты даже и въ народномъ характерѣ (а въ настоящее время все возможно предположить), да еще въ нашей деревнѣ, — то это уже новое откровеніе, нѣсколько даже и неожиданное. Что-то не слыхано было прежде о подобныхъ чертахъ. Искуситель у г. Островскаго въ прекрасной комедіи «Не такъ живи какъ хочется» вышелъ даже очень плоховатъ. Жаль, что тутъ нельзя узнать ничего достовѣрнаго.

Конечно, интересъ разсказанной исторіи — если только въ ней есть интересъ, — лишь въ томъ, что она истинная. Но заглядывать въ душу современнаго Власа иногда дѣло не лишнее. Современный Власъ быстро измѣняется. Тамъ, внизу, у него такое же кипѣніе, какъ и сверху у насъ, начиная съ 19-го февраля. Богатырь проснулся и расправляетъ члены; можетъ, захочетъ кутнуть, махнуть черезъ край. Говорятъ, ужъ закутилъ. Разсказываютъ и печатаютъ ужасы: пьянство, разбой, пьяныя дѣти, пьяныя матери, цинизмъ, нищета, безчестность, безбожіе. Соображаютъ иные серьезные, но нѣсколько торопливые люди, и соображаютъ по фактамъ, что если продолжится такой «кутежъ» еще хоть только на десять лѣтъ, то и

представить нельзя послѣдствій, хотя бы только съ экономической точки зрѣнія. Но вспомнимъ «Власа» и успокоимся: въ послѣдній моментъ вся ложь, если только есть ложь, выскочитъ изъ сердца народнаго и станетъ передъ нимъ съ неимовѣрною силою обличенія. Очнется Власъ и возьмется за дѣло Божіе. Во всякомъ случаѣ спасетъ себя самъ, если бы и впрямь дошло до бѣды. Себя и насъ спасетъ, ибо опять-таки — свѣтъ и спасеніе возсіяютъ снизу (въ совершенно, можетъ быть, неожиданномъ видѣ для нашихъ либераловъ, и въ этомъ будетъ много комическаго). Есть даже намеки на эту неожиданность, наклевываются и теперь даже факты... Впрочемъ, объ этомъ можно и послѣ поговорить. Во всякомъ случаѣ наша несостоятельность, какъ «птенцовъ гнѣзда Петрова», въ настоящій моментъ несомнѣнна. Да вѣдь девятнадцатымъ февралемъ и закончился по-настоящему Петровскій періодъ русской исторіи, такъ что мы давно уже вступили въ полнѣйшую неизвѣстность.

VI.

Бобокъ [1].

На этотъ разъ помѣщаю «Записки одного лица». Это не я; это совсѣмъ другое лицо. Я думаю, болѣе не надо никакого предисловія.

Записки одного лица.

Семенъ Ардальоновичъ третьяго дня мнѣ какъ-то сказалъ:

— Да будешь ли ты, Иванъ Ивановичъ, когда-нибудь трезвъ, скажи на милость?

Странное требованіе. Я не обижаюсь, я человѣкъ робкій, но однакоже вотъ меня и сумасшедшимъ сдѣлали. Списалъ съ меня живописецъ портретъ изъ случайности: «все-таки ты, говоритъ, литераторъ». Я дался, онъ и выставилъ. Читаю: «Ступайте смотрѣть на это болѣзненное, близкое къ помѣшательству лицо».

Оно пусть, но вѣдь какъ же, однако, такъ прямо въ печати? Въ печати надо все благородное; идеаловъ надо, а тутъ...

Скажи, по крайней мѣрѣ, косвенно, на то тебѣ слогъ.

[1] № 6 „Гражданина“ 1873 г.

Нѣтъ, онъ косвенно уже не хочетъ. Нынѣ юморъ и хорошій слогъ исчезаютъ и ругательства за мѣсто остроты принимаются. Я не обижаюсь: не Богъ знаетъ какой литераторъ, чтобы съ ума сойти. Написалъ повѣсть — не напечатали. Написалъ фельетонъ — отказали. Этихъ фельетоновъ я много по разнымъ редакціямъ носилъ, вездѣ отказывали: соли, говорятъ, у васъ нѣтъ.

— Какой же тебѣ соли, — спрашиваю съ насмѣшкою: — аттической?

Даже и не понимаетъ. Перевожу больше книгопродавцамъ съ французскаго. Пишу и объявленія купцамъ: «Рѣдкость! Красненькій, дескать, чай, съ собственныхъ плантацій»... За панегирикъ его превосходительству покойному Петру Матвѣевичу большой кушъ хватилъ. «Искусство нравиться дамамъ» по заказу книгопродавца составилъ. Вотъ этакихъ книжекъ я штукъ шесть въ моей жизни пустилъ. Вольтеровы бонмо хочу собрать, да боюсь, не прѣсно ли нашимъ покажется. Какой теперь Вольтеръ; нынче дубина, а не Вольтеръ! Послѣдніе зубы другъ другу повыбили! Ну, вотъ и вся моя литературная дѣятельность. Развѣ что безмездно письма по редакціямъ разсылаю, за моею полною подписью. Все увѣщанія и совѣты даю, критикую и путь указую. Въ одну редакцію, на прошлой недѣлѣ, сороковое письмо за два года послалъ; четыре рубля на однѣ почтовыя марки истратилъ. Характеръ у меня скверенъ, вотъ что.

Думаю, что живописецъ списалъ меня не литературы ради, а ради двухъ моихъ симметрическихъ бородавокъ на лбу: феноменъ, дескать. Идеи-то нѣтъ, такъ они теперь на феноменахъ выѣзжаютъ. Ну, и какъ же у него на портретѣ удались мои бородавки, — живыя! Это они реализмомъ зовутъ.

А насчетъ помѣшательства, такъ у насъ прошлаго года многихъ въ сумасшедшіе записали. И какимъ слогомъ: «При такомъ, дескать, самобытномъ талантѣ... и вотъ что подъ самый конецъ оказалось... впрочемъ, давно уже надо было предвидѣть»... Это еще довольно хитро; такъ что съ точки чистаго искусства даже и похвалить можно. Ну, а тѣ вдругъ еще умнѣй воротились. То-то, свести-то съ ума у насъ сведутъ, а умнѣй-то еще никого не сдѣлали.

Всѣхъ умнѣй, по-моему, тотъ, кто хоть разъ въ мѣсяцъ самого себя дуракомъ назоветъ, — способность нынѣ неслыханная! Прежде, по крайности, дуракъ хоть разъ въ годъ зналъ про себя, что онъ дуракъ, ну, а теперь — ни-ни. И до того замѣшали дѣла, что дурака отъ умнаго не отличишь. Это они нарочно сдѣлали.

Припоминается мнѣ испанская острота, когда французы, два съ половиною вѣка назадъ, выстроили у себя первый сумасшедшій домъ: «Они заперли всѣхъ своихъ дураковъ въ особенный домъ, чтобы увѣрить, что сами они люди умные». Оно и впрямь: тѣмъ что другого запрешь въ сумасшедшій, своего ума не докажешь. «К. съ ума сошелъ, значитъ, теперь мы умные». Нѣтъ, еще не значитъ.

Впрочемъ, чертъ... и что я съ своимъ умомъ развозился: брюзжу, брюзжу. Даже служанкѣ надоѣлъ. Вчера заходилъ пріятель. «У тебя, говоритъ, слогъ мѣняется, рубленый. Рубишь, рубишь — и вводное предложеніе, потомъ къ вводному еще вводное, потомъ въ скобкахъ еще что-нибудь вставишь, а потомъ опять зарубишь, зарубишь»...

Пріятель правъ. Со мной что-то странное происходитъ. И характеръ мѣняется, и голова болитъ. Я начинаю видѣть и слышать какія-то странныя вещи. Не то чтобы голоса, а такъ, какъ будто кто подлѣ: «бобокъ, бобокъ, бобокъ!»

Какой такой бобокъ? Надо развлечься.

Ходилъ развлекаться, попалъ на похороны. Дальній родственникъ. Коллежскій, однако, совѣтникъ. Вдова, пять дочерей, всѣ дѣвицы. Вѣдь это только по башмакамъ, такъ во что обойдется! Покойникъ добывалъ, ну а теперь — пенсіонишка. Подожмутъ хвосты. Меня принимали всегда нерадушно. Да и не пошелъ бы я и теперь, если бы не экстренный такой случай. Провожалъ до кладбища въ числѣ другихъ; сторонятся отъ меня и гордятся. Вицмундиръ мой дѣйствительно плоховатъ. Лѣтъ двадцать пять, я думаю, не бывалъ на кладбищѣ; вотъ еще мѣстечко!

Во-первыхъ, духъ. Мертвецовъ пятнадцать наѣхало. Покровы разныхъ цѣнъ; даже было два катафалка: одному генералу и одной какой-то барынѣ. Много скорбныхъ лицъ, много и притворной скорби, а много и откровенной веселости. Причту нельзя пожаловаться: доходы. Но духъ, духъ. Не желалъ бы быть здѣшнимъ духовнымъ лицомъ.

Въ лица мертвецовъ заглядывалъ съ осторожностью, не надѣясь на мою впечатлительность. Есть выраженія мягкія, есть и непріятныя. Вообще улыбки не хороши, а у иныхъ даже очень. Не люблю; снятся.

За обѣдней вышелъ изъ церкви на воздухъ; день былъ сѣроватъ, но сухъ. Тоже и холодно; ну, да вѣдь и

октябрь же. Походилъ по могилкамъ. Разные разряды. Третій разрядъ въ тридцать рублей: и прилично, и не такъ дорого. Первые два въ церкви и подъ папертью; ну, это кусается. Въ третьемъ разрядѣ за этотъ разъ хоронили человѣкъ шесть, въ томъ числѣ генерала и барыню.

Заглянулъ въ могилки — ужасно: вода, и какая вода! Совершенно зеленая и... ну, да ужъ что! Поминутно могильщикъ выкачивалъ черпакомъ. Вышелъ, пока служба, побродить за врата. Тутъ сейчасъ богадѣльня, а немного подальше и ресторанъ. И такъ себѣ, не дурной ресторанчикъ: и закусить и все. Набилось много и изъ провожатыхъ. Много замѣтилъ веселости и одушевленія искренняго. Закусилъ и выпилъ.

Затѣмъ участвовалъ собственноручно въ отнесеніи гроба изъ церкви къ могилѣ. Отчего это мертвецы въ гробу дѣлаются такъ тяжелы? Говорятъ, по какой-то инерціи, что тѣло будто бы какъ-то уже не управляется самимъ... или какой-то вздоръ въ этомъ родѣ; противорѣчитъ механикѣ и здравому смыслу. Не люблю, когда при одномъ лишь общемъ образованіи суются у насъ разрѣшать спеціальности, а у насъ это сплошь. Штатскія лица любятъ судить о предметахъ военныхъ и даже фельдмаршальскихъ, а люди съ инженернымъ образованіемъ судятъ больше о философіи и политической экономіи.

На литію не поѣхалъ. Я гордъ, и если меня принимаютъ только по экстренной необходимости, то чего же таскаться по ихъ обѣдамъ, хотя бы и похороннымъ? Не понимаю только, зачѣмъ остался на кладбищѣ; сѣлъ на памятникъ и соотвѣтственно задумался.

Началъ съ московской выставки, а кончилъ объ удивленіи, говоря вообще, какъ о темѣ. Объ «удивленіи» я вотъ что вывелъ:

«Всему удивляться, конечно, глупо, а ничему не удивляться гораздо красивѣе и почему-то признано за хорошій тонъ. Но врядъ ли такъ въ сущности. По-моему, ничему не удивляться гораздо глупѣе, чѣмъ всему удивляться. Да и кромѣ того: ничему не удивляться почти то же, что ничего не уважать. Да глупый человѣкъ и не можетъ уважать».

— Да я, прежде всего, желаю уважать. Я *жажду* уважать, — сказалъ мнѣ какъ-то разъ, на-дняхъ, одинъ мой знакомый.

Жаждетъ онъ уважать! И, Боже, подумалъ я, что бы съ тобой было, если бъ ты это дерзнулъ теперь напечатать!

Тутъ-то я и забылся. Не люблю читать надгробныхъ надписей; вѣчно то же. На плитѣ подлѣ меня лежалъ недоѣденный бутербродъ: глупо и не къ мѣсту. Скинулъ его на землю, такъ какъ это не хлѣбъ, а лишь бутербродъ. Впрочемъ, на землю хлѣбъ крошить, кажется, не грѣшно; это на полъ грѣшно. Справиться въ календарѣ Суворина.

Надо полагать, что я долго сидѣлъ, даже слишкомъ; то есть даже прилегъ на длинномъ камнѣ въ видѣ мраморнаго гроба. И какъ это такъ случилось, что вдругъ началъ слышать разныя вещи? Не обратилъ сначала вниманія и отнесся съ презрѣніемъ. Но однако разговоръ продолжался. Слышу, — звуки глухіе, какъ будто рты закрыты подушками; и при всемъ томъ внятные и очень близкіе. Очнулся, присѣлъ и сталъ внимательно вслушиваться.

— Ваше превосходительство, это просто никакъ невозможно-съ. Вы объявили въ червяхъ, я вистую, и вдругъ у васъ семь въ бубнахъ. Надо было условиться заранѣе насчетъ бубенъ-съ.

— Что же, значитъ, играть наизусть? Гдѣ же привлекательность?

— Нельзя, ваше превосходительство, безъ гарантіи никакъ нельзя. Надо непремѣнно съ болваномъ, и чтобъ была одна темная сдача.

— Ну, болвана здѣсь не достанешь.

Какія заносчивыя, однако, слова! И странно, и неожиданно. Одинъ такой вѣскій и солидный голосъ, другой какъ бы мягко услащенный; не повѣрилъ бы, если бъ не слышалъ самъ. На литіи я, кажется, не былъ. И однако какъ же это здѣсь преферансъ, и какой такой генералъ? Что раздавалось изъ-подъ могилъ, въ томъ не было и сомнѣнія. Я нагнулся и прочелъ надпись на памятникѣ:

«Здѣсь покоится тѣло генерала-маіора Первоѣдова... такихъ-то и такихъ орденовъ кавалера». Гмъ. «Скончался въ августѣ сего года... пятидесяти-семи... Покойся, милый прахъ, до радостнаго утра!»

Гмъ, чертъ, въ самомъ дѣлѣ генералъ! На другой могилкѣ, откуда шелъ льстивый голосъ, еще не было памятника; была только плитка; должно быть, изъ новичковъ. По голосу надворный совѣтникъ.

— Охъ-хо-хо-хо! — послышался совсѣмъ уже новый голосъ, саженяхъ въ пяти отъ генеральскаго мѣста и уже совсѣмъ изъ-подъ свѣжей могилки, — голосъ мужской и простонародный, но разслабленный на благоговѣйно-умиленный манеръ.

— Охъ-хо-хо-хо!

— Ахъ, опять онъ икаетъ! — раздался вдругъ брезг-

ливый и высокомѣрный голосъ раздраженной дамы, какъ бы высшаго свѣта. Наказаніе мнѣ подлѣ этого лавочника!

— Ничего я не икалъ, да и пищи не принималъ, а одно лишь это мое естество. — И все-то вы, барыня, отъ вашихъ здѣшнихъ капризовъ никакъ не можете успокоиться.

— Такъ зачѣмъ вы сюда легли?

— Положили меня, положили супруга и малыя дѣтки, а не самъ я возлегъ. Смерти таинство! И не легъ бы я подлѣ васъ ни за что, ни за какое злато, а лежу по собственному капиталу, судя по цѣнѣ-съ. Ибо это мы всегда можемъ, чтобы за могилку нашу по третьему разряду внести.

— Накопилъ, людей обсчитывалъ?

— Чѣмъ васъ обсчитаешь-то, коли съ января, почитай, никакой вашей уплаты къ намъ не было. Счетецъ на васъ въ лавкѣ имѣется.

— Ну, ужъ это глупо; здѣсь, по-моему, долги разыскивать очень глупо! Ступайте наверхъ. Спрашивайте у племянницы; она наслѣдница.

— Да ужъ гдѣ теперь спрашивать и куда пойдешь. Оба достигли предѣла и предъ Судомъ Божіимъ во грѣсѣхъ равны.

— Во грѣсѣхъ! — презрительно передразнила покойница. — И не смѣйте совсѣмъ со мной говорить!

— Охъ-хо-хо-хо!

— Однако лавочникъ-то барыни слушается, ваше превосходительство.

— Почему же бы ему не слушаться?

— Ну да, извѣстно, ваше превосходительство, такъ какъ здѣсь новый порядокъ.

— Какой же это новый порядокъ?

— Да вѣдь мы, такъ сказать, умерли, ваше превосходительство.

— Ахъ, да! Ну, все же порядокъ...

Ну, одолжили; нечего сказать, утѣшили! Если ужъ здѣсь до того дошло, то чего же спрашивать въ верхнемъ-то этажѣ? Какія, однакоже, штуки! Продолжалъ, однако, выслушивать, хотя и съ чрезмѣрнымъ негодованіемъ.

— Нѣтъ, я бы пожилъ! Нѣтъ .. я, знаете... я бы пожилъ, — раздался вдругъ чей-то новый голосъ, гдѣ-то въ промежуткѣ между генераломъ и раздражительной барыней.

— Слышите, ваше превосходительство, нашъ опять за то же. По три дня молчитъ-молчитъ и вдругъ: «Я бы пожилъ, нѣтъ, я бы пожилъ»! И съ такимъ, знаете, аппетитомъ, хи-хи!

— И съ легкомыслiемъ.

— Пронимаетъ его, ваше превосходительство, и, знаете, засыпаетъ, совсѣмъ уже засыпаетъ, съ апрѣля вѣдь здѣсь, и вдругъ: «я бы пожилъ»!

— Скучновато однако, — замѣтилъ его превосходительство.

— Скучновато, ваше превосходительство, развѣ Авдотью Игнатьевну опять пораздразнить, хи-хи?

— Нѣтъ, ужъ прошу уволить. Терпѣть не могу этой задорной криксы.

— А я, напротивъ, васъ обоихъ терпѣть не могу, — брезгливо откликнулась крикса. — Оба вы самые прескучные и ничего не умѣете разсказать идеальнаго. Я про васъ, ваше превосходительство, — не чваньтесь, пожалуйста, — одну исторійку знаю, какъ васъ изъ-подъ одной супружеской кровати поутру лакей щеткой вымелъ.

— Скверная женщина! — сквозь зубы проворчалъ генералъ.

— Матушка, Авдотья Игнатьевна, — возопилъ вдругъ опять лавочникъ, — барынька ты моя, скажи ты мнѣ, зла не помня, что жъ я по мытарствамъ это хожу, али что иное дѣется?..

— Ахъ, онъ опять за то же, такъ я и предчувствовала, потому слышу духъ отъ него, духъ, а это онъ ворочается!

— Не ворочаюсь я, матушка, и нѣтъ отъ меня никакого такого особаго духу, потому еще въ полномъ нашемъ тѣлѣ какъ есть сохранилъ себя, а вотъ вы, барынька, такъ ужъ тронулись, — потому духъ дѣйствительно нестерпимый, даже и по здѣшнему мѣсту. Изъ вѣжливости только молчу.

— Ахъ, скверный обидчикъ! Отъ самого такъ и разитъ, а онъ на меня.

— Охъ-хо-хо-хо! Хоша бы сороковинки наши скорѣе пристигли: слезные гласы ихъ надъ собою услышу, супруги вопль и дѣтей тихій плачъ!..

— Ну, вотъ о чемъ плачетъ: нажрутся кутьи и уѣдутъ. Ахъ, хоть бы кто проснулся!

— Авдотья Игнатьевна, — заговорилъ льстивый чиновникъ. — Подождите капельку, новенькіе заговорятъ.

— А молодые люди есть между ними?

— И молодые есть, Авдотья Игнатьевна. Юноши даже есть.

— Ахъ, какъ бы кстати!

— А что не начинали еще, — освѣдомился его превосходительство.

— Даже и третьеводнишніе еще не очнулись, ваше превосходительство, сами изволите знать, иной разъ по недѣлѣ молчатъ. Хорошо, что ихъ вчера, третьяго дня и сегодня какъ-то разомъ вдругъ навезли. А то вѣдь кругомъ сажень на десять почти все у насъ прошлогодніе.

— Да, интересно.

— Вотъ, ваше превосходительство, сегодня дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Тарасевича схоронили. Я по голосамъ узналъ. Племянникъ его мнѣ знакомъ, давеча гробъ опускалъ.

— Гмъ, гдѣ же онъ тутъ?

— Да шагахъ въ пяти отъ васъ, ваше превосходительство, влѣво. Почти въ самыхъ вашихъ ногахъ-съ... Вотъ бы вамъ, ваше превосходительство, познакомиться.

— Гмъ, нѣтъ — ужъ... мнѣ что же первому.

— Да онъ самъ начнетъ, ваше превосходительство. Онъ будетъ даже польщенъ, поручите мнѣ, ваше превосходительство, и я...

— Ахъ, ахъ... ахъ, что же это со мною? — закрячтѣлъ вдругъ чей-то испуганный новенькій голосокъ.

— Новенькій, ваше превосходительство, новенькій, слава Богу, и какъ вѣдь скоро! Другой разъ по недѣлѣ молчатъ.

— Ахъ, кажется, молодой человѣкъ! — взвизгнула Авдотья Игнатьевна.

— Я... я... я отъ осложненія и такъ внезапно! — залепеталъ опять юноша. — Мнѣ Шульцъ еще наканунѣ: у васъ, говоритъ, осложненіе, а я вдругъ къ утру и померъ. Ахъ! Ахъ!

— Ну, нечего дѣлать, молодой человѣкъ, — милостиво и очевидно радуясь новичку замѣтилъ генералъ, — надо утѣшиться! Милости просимъ въ нашу, такъ сказать, долину Іосафатову. Люди мы добрые, узнаете и оцѣните. Генералъ-маіоръ Василій Васильевичъ Первоѣдовъ, къ вашимъ услугамъ.

— Ахъ, нѣтъ! Нѣтъ, нѣтъ, это я никакъ! Я у Шульца; у меня, знаете, осложненіе вышло, сначала грудь захватило и кашель, а потомъ простудился: грудь игриппъ... и вотъ вдругъ совсѣмъ неожиданно... главное, совсѣмъ неожиданно.

— Вы говорите: сначала грудь, — мягко ввязался чиновникъ, какъ бы желая ободрить новичка.

— Да грудь и мокрота, а потомъ вдругъ нѣтъ мокроты и грудь, и дышать не могу... и знаете...

— Знаю, знаю. Но если грудь, вамъ бы скорѣе къ Эку, а не къ Шульцу.

— А я, знаете, все собирался къ Боткину... и вдругъ...

— Ну, Боткинъ кусается, — замѣтилъ генералъ.

— Ахъ нѣтъ, онъ совсѣмъ не кусается; я слышалъ, онъ такой внимательный и все предскажетъ впередъ.

— Его превосходительство замѣтилъ насчетъ цѣны,— поправилъ чиновникъ.

— Ахъ, что вы, всего три цѣлковыхъ, и онъ такъ осматриваетъ, и рецептъ... и я непремѣнно хотѣлъ, потому что мнѣ говорили... Что же, господа, какъ же мнѣ, къ Эку или къ Боткину?

— Что? Куда? — пріятно хохоча заколыхался трупъ генерала. Чиновникъ вторилъ ему фистулой.

— Милый мальчикъ, милый, радостный мальчикъ, какъ я тебя люблю! — восторженно взвизгнула Авдотья Игнатьевна. — Вотъ если бъ этакого подлѣ положили!

Нѣтъ, этого ужъ я не могу допустить! И это современный мертвецъ! Однако, послушать еще и не спѣшить заключеніями. Этотъ соплякъ-новичекъ, — я его давеча въ гробу помню, — выраженіе перепуганнаго цыпленка, напротивнѣйшее въ мірѣ! Однако, что далѣе?

Но далѣе началась такая катавасія, что я всего и не удержалъ въ памяти, ибо очень многіе разомъ проснулись: проснулся чиновникъ, изъ статскихъ совѣтниковъ, и началъ съ генераломъ тотчасъ же и немедленно о проектѣ новой подкомиссіи въ министерствѣ — дѣлъ и о вѣроятномъ, сопряженномъ съ подкомиссіей, перемѣщеніи должностныхъ лицъ, — чѣмъ весьма и весьма развлекъ генерала. Признаюсь, я и самъ узналъ много новаго, такъ что подивился путямъ, которыми можно иногда узнавать въ сей столицѣ административныя новости. Затѣмъ полупроснулся одинъ инженеръ, но долго еще бормоталъ совершенный вздоръ, такъ что наши и не приставали къ нему, а оставили до времени вылежаться. Наконецъ, обнаружила признаки могильнаго воодушевленія схороненная поутру подъ катафалкомъ знатная барыня. Лебезятниковъ (ибо льстивый и ненавидимый мною надворный совѣтникъ, помѣщавшійся подлѣ генерала Первоѣдова, по имени оказался Лебезятниковымъ) очень суетился и удивлялся, что такъ скоро на этотъ разъ всѣ просыпаются. Признаюсь, удивился и я; впрочемъ, нѣкоторые изъ проснувшихся были схоронены еще третьяго дня, какъ, напримѣръ, одна молоденькая очень дѣвица, лѣтъ шестнадцати, но все хихикавшая... мерзко и плотоядно хихикавшая.

— Ваше превосходительство, тайный совѣтникъ Тарасевичъ просыпаются! — возвѣстилъ вдругъ Лебезятниковъ съ чрезвычайною торопливостью.

— А? Что? — брезгливо и сюсюкающимъ голосомъ прошамкалъ вдругъ очнувшійся тайный совѣтникъ. Въ звукахъ голоса было нѣчто капризно-повелительное. Я съ любопытствомъ прислушался, ибо въ послѣдніе дни нѣчто слышалъ о семъ Тарасевичѣ,—соблазнительное и тревожное въ высшей степени.

— Это я-съ, ваше превосходительство, покамѣстъ всего только я-съ.

— Чего просите и что вамъ угодно?

— Единственно освѣдомиться о здоровьѣ вашего превосходительства; съ непривычки здѣсь каждый съ перваго разу чувствуетъ себя какъ бы въ тѣснотѣ-съ... Генералъ Первоѣдовъ желалъ бы имѣть честь знакомства съ вашимъ превосходительствомъ и надѣются...

— Не слыхалъ.

— Помилуйте, ваше превосходительство, генералъ Первоѣдовъ, Василій Васильевичъ...

— Вы генералъ Первоѣдовъ?

— Нѣтъ-съ, ваше превосходительство, я всего только надворный совѣтникъ Лебезятниковъ-съ къ вашимъ услугамъ, а генералъ Первоѣдовъ...

— Вздоръ! И прошу васъ оставить меня въ покоѣ.

— Оставьте, — съ достоинствомъ остановилъ, наконецъ, самъ генералъ Первоѣдовъ гнусную торопливость могильнаго своего кліента.

— Не проснулись еще, ваше превосходительство, надо имѣть въ виду-съ; это они съ непривычки-съ: проснутся и тогда примутъ иначе-съ..

— Оставьте, — повторилъ генералъ.

— Василій Васильевичъ! Эй вы, ваше превосходительство! — вдругъ громко и азартно прокричалъ подлѣ самой Авдотьи Игнатьевны одинъ совсѣмъ новый голосъ, — голосъ барскій и дерзкій, съ утомленнымъ по модѣ выговоромъ и съ нахальною его скандировкою; — я васъ всѣхъ уже два часа наблюдаю; я вѣдь три дня лежу; вы помните меня, Василій Васильевичъ? Клиневичъ, у Волоконскихъ встрѣчались, куда васъ, не знаю почему, тоже пускали.

— Какъ, графъ Петръ Петровичъ... да неужели же вы... и въ такихъ молодыхъ годахъ... Какъ сожалѣю!

— Да я и самъ сожалѣю, но только мнѣ все равно, и я хочу отовсюду извлечь все возможное. И не графъ, а баронъ, всего только баронъ. Мы какіе-то шелудивые баронишки, изъ лакеевъ, да и не знаю почему, наплевать. Я только негодяй псевдо-высшаго свѣта и считаюсь «милымъ полисономъ». Отецъ мой какой-то генералишка, а мать была когда-то принята en haut lieu. Я съ Зифелемъ жидомъ на пятьдесятъ тысячъ прошлаго года фальшивыхъ бумажекъ провелъ, да на него и донесъ, а деньги всѣ съ собою Юлька Charpentier de-Lusignan увезла въ Бордо. И представьте, я уже совсѣмъ былъ помолвленъ— Щевалевская, трехъ мѣсяцевъ до шестнадцати не доставало, еще въ институтѣ, за ней тысячъ девяносто даютъ. Авдотья Игнатьевна, помните, какъ вы меня, лѣтъ пятнадцать назадъ, когда я еще былъ четырнадцатилѣтнимъ пажемъ, развратили?..

— Ахъ, это ты, негодяй, ну хоть тебя Богъ послалъ, а то здѣсь...

— Вы напрасно вашего сосѣда негоціанта заподозрили въ дурномъ запахѣ... Я только молчалъ, да смѣялся. Вѣдь это отъ меня; меня такъ въ заколоченномъ гробѣ и хоронили.

— Ахъ, какой мерзкій! Только я все-таки рада; вы не повѣрите, Клиневичъ, не повѣрите, какое здѣсь отсутствіе жизни и остроумія.

— Ну да, ну да, и я намѣренъ завести здѣсь нѣчто оригинальное. Ваше превосходительство, — я не васъ, Первоѣдовъ, — ваше превосходительство, другой, господинъ Тарасевичъ, тайный совѣтникъ! Откликнитесь! Клиневичъ, который васъ къ m-lle Фюри постомъ возилъ, слышите?

— Я васъ слышу, Клиневичъ, и очень радъ, и повѣрь-те...

— Ни на грошъ не вѣрю и наплевать. Я васъ, милый старецъ, просто расцѣловать хочу, да, слава Богу, не могу. Знаете вы господа, что этотъ grand-père сочинилъ? Онъ третьяго дня аль четвертаго померъ и, можете себѣ представить, цѣлыхъ четыреста тысячъ казеннаго недочету оставилъ? Сумма на вдовъ и сиротъ, и онъ одинъ почему-то хозяйничалъ, такъ что его, подъ конецъ, лѣтъ восемь не ревизовали. Воображаю, какія тамъ у всѣхъ теперь длинныя лица, и чѣмъ они его поминаютъ? Не правда ли, сладострастная мысль! Я весь послѣдній годъ удивлялся, какъ у такого семидесятилѣтняго старикашки, подагрика и хирагрика, уцѣлѣло еще столько силъ на развратъ и — и вотъ теперь и разгадка! Эти вдовы и сироты — да одна уже мысль о нихъ должна была раскалять его!.. Я про это давно уже зналъ, одинъ только я и зналъ, мнѣ Charpentier передала, и какъ я узналъ, тутъ-то я на него, на Святой, и налегъ по-пріятельски: «Подавай двадцать пять тысячъ, не то завтра обревизуютъ»; такъ, представьте, у него только тринадцать тысячъ тогда нашлось, такъ что

онъ, кажется, теперь очень кстати померъ. Grand-père, grand-père, слышите?

— Cher Клиневичъ, я совершенно съ вами согласенъ и напрасно вы... пускались въ такія подробности. Въ жизни столько страданій, истязаній и такъ мало возмездія... я пожелалъ, наконецъ, успокоиться, и, сколько вижу, надѣюсь извлечь и отсюда все...

— Бьюсь объ закладъ, что онъ уже пронюхалъ Катишь Берестову!

— Какую?.. Какую Катишь, — плотоядно задрожалъ голосъ старца.

— А-а, какую Катишь? А вотъ, здѣсь, налѣво, въ пяти шагахъ отъ меня, отъ васъ — въ десяти. Она ужъ здѣсь пятый день, и если бъ вы знали, grand-père, что это за мерзавочка... хорошаго дома, воспитана и — монстръ, монстръ до послѣдней степени! Я тамъ ее никому не показывалъ, одинъ я и зналъ... Катишь, откликнись!

— Хи-хи-хи! — откликнулся надтреснутый звукъ дѣвичьяго голоска, но въ немъ послышалось нѣчто въ родѣ укола иголки. — Хи-хи-хи!

— И блон-ди-ночка? — обрывисто въ три звука пролепеталъ grand-père.

— Хи-хи-хи!

— Мнѣ... мнѣ давно уже, — залепеталъ, задыхаясь, старецъ, — нравилась мечта о блондиночкѣ... лѣтъ пятнадцати... и именно при такой обстановкѣ...

— Ахъ, чудовище! — воскликнула Авдотья Игнатьевна.

— Довольно! — порѣшилъ Клиневичъ — я вижу, что матеріалъ превосходный. Мы здѣсь немедленно устроимся къ лучшему. Главное, чтобы весело провести остальное время; но какое время? Эй, вы, чиновникъ какой-то, Лебезятниковъ, что ли, я слышалъ, что васъ такъ звали!

— Лебезятниковъ, надворный совѣтникъ, Семенъ Евсѣичъ, къ вашимъ услугамъ и очень-очень-очень радъ.

— Наплевать, что вы рады, а только вы, кажется, здѣсь все знаете. Скажите, во-первыхъ (я еще со вчерашняго дня удивляюсь), какимъ это образомъ мы здѣсь говоримъ? Вѣдь мы умерли, а между тѣмъ говоримъ: какъ будто и движемся, а между тѣмъ и не говоримъ и не движемся? Что за фокусы?

— Это, если бъ вы пожелали, баронъ, могъ бы вамъ лучше меня Платонъ Николаевичъ объяснить.

— Какой такой Платонъ Николаевичъ? Не мямлите, къ дѣлу.

— Платонъ Николаевичъ, нашъ доморощенный здѣшній философъ, естественникъ и магистръ. Онъ нѣсколько

философскихъ книжекъ пустилъ, но вотъ три мѣсяца и совсѣмъ засыпаетъ, такъ что уже здѣсь его невозможно теперь раскачать. Разъ въ недѣлю бормочетъ по нѣсколько словъ, не идущихъ къ дѣлу.

— Къ дѣлу, къ дѣлу!..

— Онъ объясняетъ все это самымъ простымъ фактомъ, именно тѣмъ, что наверху, когда еще мы жили, то считали ошибочно тамошнюю смерть за смерть. Тѣло здѣсь еще разъ какъ будто оживаетъ, остатки жизни сосредоточиваются, но только въ сознаніи. Это — не умѣю вамъ выразить — продолжается жизнь какъ бы по инерціи. Все сосредоточено, по мнѣнію его, гдѣ-то въ сознаніи и продолжается еще мѣсяца два или три... иногда даже полгода... Есть, напримѣръ, здѣсь одинъ такой, который почти совсѣмъ разложился, но разъ, недѣль въ шесть, онъ все еще вдругъ пробормочетъ одно слово, конечно, безсмысленное, про какой-то бобокъ: «Бобокъ, бобокъ», — но и въ немъ, значитъ, жизнь все еще теплится незамѣтною искрой...

— Довольно глупо. Ну, а какъ же вотъ я не имѣю обоняніе, а слышу вонь?

— Это... хе-хе... Ну, ужъ тутъ нашъ философъ пустился въ туманъ. Онъ именно про обоняніе замѣтилъ, что тутъ вонь слышится, такъ сказать, нравственная — хе-хе! Вонь будто бы души, чтобы въ два-три этихъ мѣсяца успѣть спохватиться... и что это, такъ сказать, послѣднее милосердіе... Только мнѣ кажется, баронъ, все это уже мистическій бредъ, весьма извинительный въ его положеніи...

— Довольно, и далѣе, я увѣренъ, все вздоръ. Главное, два или три мѣсяца жизни и, въ концѣ концовъ — бобокъ. Я предлагаю всѣмъ провести эти два мѣсяца какъ можно пріятнѣе и для того всѣмъ устроиться на иныхъ основаніяхъ. Господа! я предлагаю ничего не стыдиться!

— Ахъ, давайте, давайте ничего не стыдиться! — послышались многіе голоса, и, странно, послышались даже совсѣмъ новые голоса, значитъ, тѣмъ временемъ, вновь проснувшихся. Съ особенною готовностью прогремѣлъ басомъ свое согласіе совсѣмъ уже очнувшійся инженеръ. Дѣвочка Катишь радостно захихикала.

— Ахъ, какъ я хочу ничего не стыдитсья! — съ восторгомъ воскликнула Авдотья Игнатьевна.

— Слышите, ужъ коли Авдотья Игнатьевна хочетъ ничего не стыдиться...

— Нѣтъ-нѣтъ-нѣтъ, Клиневичъ, я стыдилась, я все-

таки тамъ стыдилась, а здѣсь я ужасно, ужасно хочу ничего не стыдиться!

— Я понимаю, Клиневичъ, — пробасилъ инженеръ,— что вы предлагаете устроить здѣшнюю, такъ сказать, жизнь, на новыхъ и уже разумныхъ началахъ.

— Ну, это мнѣ наплевать! На этотъ счетъ подождемъ Кудеярова, вчера принесли. Проснется и вамъ все объяснитъ. Это такое лицо, такое великанское лицо! Завтра, кажется, притащутъ еще одного естественника, одного офицера навѣрно и, если не ошибаюсь, дня черезъ три-четыре одного фельетониста, и, кажется, вмѣстѣ съ редакторомъ. Впрочемъ, чертъ съ ними, но только насъ соберется своя кучка, и у насъ все само собою устроится. Не пока я хочу, чтобъ не лгать. Я только этого и хочу, потому что это главное. На землѣ жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы; ну, а здѣсь мы для смѣху будемъ не лгать. Чертъ возьми, вѣдь значитъ же что-нибудь могила! Мы всѣ будемъ вслухъ разсказывать наши исторіи и уже ничего не стыдиться. Я прежде всѣхъ про себя разскажу. Я, знаете, изъ плотоядныхъ. Все это тамъ вверху было связано гнилыми веревками. Долой веревки и проживемъ эти два мѣсяца въ самой безстыдной правдѣ! Заголимся и обнажимся!

— Обнажимся, обнажимся! — закричали во всѣ голоса.

— Я ужасно, ужасно хочу обнажиться! — взвизгивала Авдотья Игнатьевна.

— Ахъ... ахъ... Ахъ, я вижу, что здѣсь будетъ весело; я не хочу къ Эку!

— Нѣтъ, я бы пожилъ, нѣтъ, знаете, я бы пожилъ!

— Хи-хи-хи! — хихикала Катишь.

—Главное, что никто не можетъ намъ запретить, и хоть Первоѣдовъ, я вижу, и сердится, а рукой онъ меня все-таки не достанетъ. Grand-père, вы согласны?

— Я совершенно, совершенно согласенъ и съ величайшимъ моимъ удовольствіемъ, но съ тѣмъ, что Катишь начнетъ первая свою бі-о-графію.

— Протестую! Протестую изо всѣхъ силъ, — съ твердостью произнесъ генералъ Первоѣдовъ.

— Ваше превосходительство! — въ торопливомъ волненіи и понизивъ голосъ лепеталъ и убѣждалъ негодяй Лебезятниковъ,—ваше превосходительство, вѣдь это намъ даже выгоднѣе, если мы согласимся. Тутъ, знаете, эта дѣвочка... и, наконецъ, всѣ эти разныя штучки...

— Положимъ, дѣвочка, но...

— Выгоднѣе, ваше превосходительство, ей Богу бы

выгоднѣе! Ну, хоть для примѣрчика, ну, хоть попробуемъ...

— Даже и въ могилѣ не дадутъ успокоиться!

— Во-первыхъ, генералъ, вы въ могилѣ въ преферансъ играете, а во-вторыхъ, намъ на васъ на-пле-вать, — проскандировалъ Клиневичъ.

— Милостивый государь, прошу однако не забываться.

— Что? Да вѣдь вы меня не достанете, а я васъ могу отсюда дразнить, какъ Юлькину болонку. И, во-первыхъ, господа, какой онъ здѣсь генералъ? Это тамъ онъ былъ генералъ, а здѣсь пшикъ!

— Нѣтъ не пшикъ... я и здѣсь...

— Здѣсь вы сгніете въ гробу, и отъ васъ останется шесть мѣдныхъ пуговицъ.

— Браво, Клиневичъ, ха-ха-ха! — заревѣли голоса.

— Я служилъ государю моему... я имѣю шпагу...

— Шпагой вашей мышей колоть, и къ тому же вы ее никогда не вынимали

— Все равно-съ; я составлялъ часть цѣлаго.

— Мало ли какія есть части цѣлаго.

— Браво, Клиневичъ, браво, ха-ха-ха!

— Я не понимаю, что такое шпага, — провозгласилъ инженеръ.

— Мы отъ пруссаковъ убѣжимъ, какъ мыши, растреплютъ въ пухъ! — прокричалъ отдаленный и неизвѣстный мнѣ голосъ, но буквально захлебывавшійся отъ восторга.

— Шпага, сударь, есть честь! — крикнулъ было генералъ, но только я его и слышалъ. Поднялся долгій и неистовый ревъ, бунтъ и гамъ, и лишь слышались нетерпѣливые до истерики взвизги Авдотьи Игнатьевны:

— Да поскорѣе же, поскорѣй! Ахъ, когда же мы начнемъ ничего не стыдиться!

— Охъ-хо-хо! Воистину душа по мытарствамъ ходитъ! — раздался было голосъ простолюдина, и...

И тутъ я вдругъ чихнулъ. Произошло внезапно и ненамѣренно, но эффектъ вышелъ поразительный: все смолкло, точно на кладбищѣ, исчезло какъ сонъ. Настала истинно-могильная тишина. Не думаю, чтобы они меня устыдились: рѣшились же ничего не стыдиться! Я прождалъ минутъ съ пять и — ни слова, ни звука. Нельзя тоже предположить, чтобы испугались доноса въ полицію, ибо что можетъ тутъ сдѣлать полиція? Заключаю невольно, что все-таки у нихъ должна быть какая-то тайна, неизвѣстная смертному, и которую они тщательно скрываютъ отъ всякаго смертнаго.

«Ну, подумалъ, миленькіе, я еще васъ навѣщу», и съ симъ словомъ оставилъ кладбище.

Нѣтъ, этого я не могу допустить; нѣтъ, воистину нѣтъ! Бобокъ меня не смущаетъ (вотъ онъ бобокъ-то и оказался!).

Развратъ въ такомъ мѣстѣ, развратъ послѣднихъ упованій, развратъ дряблыхъ и гніющихъ труповъ и — даже не щадя послѣднихъ мгновеній сознанія! Имъ даны, подарены эти мгновенія и... А главное, главное въ такомъ мѣстѣ! Нѣтъ, этого я не могу допустить...

Побываю въ другихъ разрядахъ, послушаю вездѣ. То-то и есть, что надо послушать вездѣ, а не съ одного лишь краю, чтобы составить понятіе. Авось наткнусь и на утѣшительное.

А къ тѣмъ непремѣнно вернусь. Обѣщали свои біографіи и разные анекдотцы. Тьфу! Но пойду, непремѣнно пойду; дѣло совѣсти!

Снесу въ «Гражданинъ»; тамъ одного редактора портретъ тоже выставили. Авось напечатаетъ.

VII.

„Смятенный видъ“[1].

Я кое-что прочелъ изъ текущей литературы и чувствую, что «Гражданинъ» обязанъ упомянуть о ней на своихъ страницахъ. Но — какой я критикъ? Я дѣйствительно хотѣлъ было писать критическую статью, но, кажется, я могу сказать кое-что лишь «по поводу». Всего я прочелъ: «Запечатлѣннаго Ангела» г. Лѣскова, поэму Некрасова и статью г. Щедрина. Прочелъ я тоже статьи гг. Скабичевскаго и Н. М. въ «Отечественныхъ Запискахъ». Обѣ эти статьи въ нѣкоторомъ смыслѣ были для меня какъ бы новымъ откровеніемъ; когда-нибудь непремѣнно надо поговорить о нихъ. А теперь начну съ начала, т. е. въ томъ порядкѣ, какъ читалъ, именно съ «Запечатлѣннаго Ангела».

Этотъ разсказъ г. Лѣскова въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Извѣстно, что сочиненіе это многимъ понравилось здѣсь въ Петербургѣ, и что очень многіе его прочли. Дѣйствительно, оно того стоитъ: и характерно, и занимательно. Это

[1] № 8 „Гражданина“ 1873 г.

повѣсть, разсказанная однимъ бывшимъ раскольникомъ на станціи въ рождественскую ночь о томъ, какъ всѣ они, раскольники, человѣкъ сто пятьдесятъ, цѣлою артелью перешли въ православіе, вслѣдствіе чуда. Эта артель работниковъ строила мостъ въ одномъ большомъ русскомъ городѣ и года три жила въ отдѣльныхъ баракахъ на берегу рѣки. Была у нихъ своя часовня, а въ ней множество древнихъ образовъ, освященныхъ еще до временъ патріарха Никона. Очень замѣчательно разсказано, какъ одному господину, не совершенно маловажному чиновнику, захотѣлось сорвать съ артели взятку, тысячъ въ пятнадцать. Наѣхавъ вдругъ въ часовню со властью, онъ потребовалъ по сту рублей съ иконы выкупа. Дать не могли. Тогда онъ арестовалъ образа. Въ нихъ просверлили дырья, нанизали ихъ на желѣзныя спицы, какъ бублики, и унесли куда-то въ подвалъ. Но тутъ была икона Ангела, древняя и особо уважаемая, считаемая артелью за чудотворную. Чтобы поразить, отмстить и оскорбить, чиновникъ, раздраженный упорствомъ неплатящихъ раскольниковъ, взялъ сургучъ и, въ виду всего собранія, накапалъ его на ликъ образа и приложилъ казенную печать. Мѣстный архіерей, увидавъ запечатлѣнный ликъ святыни, изрекъ: «Смятенный видъ», и распорядился поставить поруганную икону въ соборѣ на окно. Г. Лѣсковъ увѣряетъ, что слова архіерея и распоряженіе отнести поруганную икону въ соборъ, а не въ подвалъ, будто бы очень понравилось раскольникамъ.

Затѣмъ началась запутанная и занимательная исторія о томъ, какъ былъ выкраденъ этотъ «Ангелъ» изъ собора. Съ раскольниками связался англичанинъ, баринъ и, кажется, подрядчикъ по строящемуся мосту, полюбилъ ихъ и, такъ какъ съ нимъ они были откровенны, — то взялся имъ помогать. Особенно выдаются въ разсказѣ бесѣды раскольниковъ съ англичаниномъ объ иконной живописи. Это мѣсто серьезно хорошо, лучшее во всемъ разсказѣ. Все кончается тѣмъ, что за всенощной икону, наконецъ, выкрали изъ собора, Ангела распечатлѣли, подмѣнили иконою новою, еще не освященною, которую взялась «запечатлѣть», на подобіе первой, жена англичанина. И вотъ въ критическую минуту случилось чудо: отъ новой запечатлѣнной иконы видѣли свѣтъ (правда, видѣлъ одинъ только человѣкъ), а икона, когда ее принесли, оказалась незапечатлѣнною, т. е. безъ сургуча на ликѣ. Это такъ поразило принесшаго ее раскольника, что онъ тутъ же отправился въ соборъ къ архіерею и во всемъ ему покаялся, при чемъ владыко простилъ и изрекъ:

«Это тебѣ должно быть внушительно теперь, гдѣ вѣра дѣйственнѣе: вы, говоритъ, плутовствомъ съ своего Ангела печать свели, а нашъ самъ съ себя ее снялъ и тебя сюда привелъ».

Чудо такъ поразило раскольниковъ, что они всею артелью, сто пятьдесятъ или около человѣкъ, перешли въ православіе.

Но тутъ авторъ не удержался и кончилъ повѣсть далеко неловко. (Къ этимъ неловкостямъ г. Лѣсковъ способенъ; вспомнимъ только конецъ діакона Ахиллы въ его «Соборянахъ».) Онъ, кажется, испугался, что его обвинятъ въ наклонности къ предразсудкамъ, и поспѣшилъ разъяснить чудо. Самъ же разсказчикъ, т. е. мужичекъ, бывшій раскольникъ, «весело» у него сознается, что на другой день послѣ ихъ обращенія въ православіе доискались, почему распечатлѣлся Ангелъ. Англичанка не осмѣлилась закапать ликъ хотя и не освященной иконы, а сдѣлала печать на бумажкѣ и подвела ее подъ края оклада. Въ дорогѣ бумажка, конечно, соскользнула, и Ангелъ распечатлѣлся. Такимъ образомъ, отчасти и непонятно, почему раскольники остались въ православіи, несмотря на разъясненіе чуда? Но взявъ въ соображеніе твердость и чистоту ихъ прежнихъ вѣрованій, взявъ въ соображеніе посрамленіе ихъ святыни и надруганіе надъ святынею ихъ собственныхъ чувствъ, взявъ въ соображеніе, наконецъ, вообще характеръ нашего раскола, врядъ ли можно объяснить обращеніе раскольниковъ однимъ умиленіемъ, да и къ чему, къ кому? Въ благодарность за одно только *прощеніе архіерея?* Вѣдь понимали же они — даже лучше другихъ — что именно, на самомъ дѣлѣ, должна бы означать власть архіерея въ церкви, а потому и не могли бы умилиться чувствомъ къ этой церкви, гдѣ архіерей, послѣ такого неслыханнаго, всенародно безстыднаго и самоуправнаго святотатства, которое позволилъ себѣ взяточникъ-чиновникъ, касающагося какъ раскольниковъ, такъ равно и *всѣхъ православныхъ*, ограничивается лишь тѣмъ, что говоритъ съ воздыханіемъ: «Смятенный видъ!» и не въ силахъ остановить даже второстепеннаго чиновника отъ такихъ звѣрскихъ и ругательныхъ для религіи дѣйствій.

И вообще въ этомъ смыслѣ повѣсть г. Лѣскова оставила во мнѣ впечатлѣніе болѣзненное и нѣкоторое недовѣріе къ правдѣ описаннаго. Она, конечно, отлично разсказана и заслуживаетъ многихъ похвалъ, но вопросъ: неужели это все правда? неужели это все у насъ могло произойти? То-то и есть, что разсказъ, говорятъ, основанъ на дѣйствительномъ фактѣ. Вообразимъ только такой случай: положимъ, гдѣ-нибудь, теперь, въ какой-нибудь православной церкви, находится древняя чудотворная икона, повсемѣстно чтимая всѣмъ православіемъ. Представимъ, что какая-нибудь артель раскольниковъ цѣлымъ скопомъ выкрадываетъ эту икону изъ собора, собственно, чтобы имѣть ту древнюю святыню у себя, въ своей моленной. Все то, конечно, могло бы случиться. Представимъ, что лѣтъ черезъ десять какой-нибудь чиновникъ находитъ ту икону, торгуется съ раскольниками, чтобы добыть знатную взятку; они такой суммы дать не въ силахъ, и вотъ онъ беретъ сургучъ и капаетъ его на ликъ святыни съ приложеніемъ казенной печати. Неужели отъ того только, что икона побыла нѣкоторое время въ рукахъ раскольниковъ, она потеряла свою святыню? Вѣдь и икона «Ангела», о которой разсказываетъ г. Лѣсковъ, была древле освященною православною иконою, чтимою до раскола всѣмъ православіемъ? И неужели при семъ мѣстный архіерей не могъ и не имѣлъ бы права поднять хоть палецъ въ защиту святыни, а лишь съ воздыханіемъ проговорилъ: «Смятенный видъ». Мои *тревожные* вопросы могутъ показаться нашимъ образованнымъ людямъ мелкими и предразсудочными, но я того убѣжденія, что оскорбленіе народнаго чувства во всемъ, что для него есть святого — есть страшное насиліе и чрезвычайная безчеловѣчность. Неужели раскольникамъ не пришла въ голову мысль: «Что же, какъ бы сей православный владыко защитилъ церковь, если бы обидчикомъ было еще болѣе важное лицо?» Могли ли они съ почтеніемъ отнестись къ той церкви, въ которой высшая духовная власть, какъ описано въ повѣсти, такъ мало имѣетъ власти? Ибо чѣмъ же объяснить поступокъ архіерея, какъ не малою властью его? Неужели равнодушіемъ и лѣностью и неслыханнымъ предположеніемъ, что онъ, забывъ обязанность своего сана, обратился въ чиновника отъ правительства? Вѣдь если ужъ такая нелѣпость зайдетъ въ головы духовныхъ чадъ его, то ужъ это всего хуже: православныя дѣти его постепенно потеряютъ всякую энергію въ дѣлѣ вѣры, умиленіе и преданность къ церкви, а расколъ будетъ смотрѣть на православную Церковь съ презрѣніемъ. Вѣдь, значитъ же что-нибудь пастырь? Вѣдь понимаютъ же это раскольники?

Итакъ, вотъ какія мысли приходятъ въ голову послѣ чтенія прекраснаго разсказа г. Лѣскова; такъ что мы, повторяемъ, наклонны считать этотъ разсказъ, въ нѣкоторыхъ подробностяхъ, почти неправдоподобнымъ. Меж-

ду тѣмъ, въ одномъ изъ недавнихъ №№ «Голоса» прочелъ я слѣдующее извѣстіе:

«Одинъ изъ деревенскихъ священниковъ Орловской губерніи пишетъ въ газету «Современность»: «Занимаясь обученіемъ дѣтей своихъ прихожанъ грамотѣ почти съ самаго уничтоженія крѣпостного права, я оставилъ эту обязанность только тогда, когда наше д—ское земство приняло на себя вознагражденіе и пожелало имѣть свободныхъ отъ другихъ занятій наставниковъ. Но, въ началѣ нынѣшняго 1872—73 учебнаго года, оказался недостатокъ народныхъ учителей въ нашемъ уѣздѣ. Я, не желая закрытія училища въ своемъ селѣ, рѣшился изъявить свое желаніе занять должность наставника и обратился въ училищный совѣтъ съ прошеніемъ объ утвержденіи меня въ этой должности. Совѣтъ отвѣтилъ мнѣ, что «я тогда буду утвержденъ въ должности наставника, когда на то изъявитъ свое согласіе общество». Общество пожелало и составило о томъ приговоръ. Обращаюсь въ волостное правленіе для засвидѣтельствованія приговора, какъ требовалъ того училищный совѣтъ. Волостное правленіе, имѣя во главѣ невѣжественнаго писаря М. С. и во всемъ послушнаго ему старшину, не восхотѣло засвидѣтельствовать приговора, ссылаясь на то, что мнѣ учить некогда, но въ душѣ руководясь другими побужденіями. Я обращаюсь къ мировому посреднику. Посредникъ П. высказалъ мнѣ въ глаза слѣдующія достопримѣчательныя слова: «*Правительство вообще не расположено къ тому, чтобы народное образованіе было въ рукахъ духовенства*». Почему бы такъ? — спрашиваю я. «Потому, — отвѣчаетъ посредникъ, — что *духовенство проводитъ суевѣріе*».

Какъ вамъ нравится, господа, это сообщеніе? Вѣдь оно, конечно, въ косвенномъ смыслѣ, почти возстанавливаетъ правдоподобность разсказа г. Лѣскова, въ которой мы такъ усомнились и упорно продолжаемъ сомнѣваться. Тутъ важно не то, что случился такой посредникъ: что за нужда, что какой-нибудь глупецъ скажетъ съ вѣтру глупое слово? И какое намъ дѣло до его убѣжденій? Тутъ важно то, что это такъ откровенно и со властью высказано, съ такою небезпокоющеюся безцеремонностью. Онъ высказываетъ свое премудрое убѣжденіе уже прямо и не обинуясь *въ глаза* и, кромѣ того, имѣетъ дерзость навязывать такія убѣжденя правительству и говорить *отъ лица* правительства.

Ну, осмѣлился бы это сказать не то что какой-то посредникъ, а въ десять разъ выше его по власти лицо какому-нибудь, хоть напримѣръ, остзейскому пастору?

Господи, какой бы этотъ пасторъ затѣялъ крикъ и какой бы въ самомъ дѣлѣ поднялся крикъ! У насъ священникъ смиренно обличаетъ дерзкаго путемъ гласности. Но приходитъ мысль: если бы это лицо было повыше посредника (что вѣдь очень можетъ быть, потому что у насъ все можетъ случиться), то вѣдь, можетъ быть, пастырь добрый и не сталъ бы совсѣмъ обличать его, зная, что изъ того выйдетъ одинъ лишь «смятенный видъ» и ничего болѣе. Да и нельзя же требовать отъ него энергіи первыхъ вѣковъ христіанства, хотя бы и желалось того. Мы вообще наклонны обвинять наше духовенство въ равнодушіи къ святому дѣлу; но какъ же и быть ему при иныхъ обстоятельствахъ? А, между тѣмъ, помощь духовенства народу никогда еще не была такъ настоятельно необходима. Мы переживаемъ самую смутную, самую неудобную, самую переходную и самую роковую минуту, можетъ быть, изъ всей исторіи русскаго народа.

Очень странное явленіе случилось недавно въ одномъ углу Россіи — нѣмецкое протестанство въ средѣ православія, новая секта штундистовъ. «Гражданинъ» о ней сообщалъ своевременно. Явленіе почти уродливое, но въ немъ какъ бы слышится нѣчто пророческое.

Въ Херсонской губерніи какой-то пасторъ Бонекетбергъ пожалѣлъ отъ добраго сердца тамошній русскій народъ, видя его непросвѣщеннымъ и духовно-оставленнымъ, и сталъ проповѣдывать ему христіанскую вѣру, но держась православія и самъ уговаривая его отъ православія не отступать. Но случилось иначе: проповѣдь имѣла полный успѣхъ, но новые христіане тотчасъ же начали тѣмъ, что отстали отъ православія, поставили себѣ это первымъ и непремѣннымъ условіемъ, отвернулись отъ обрядовъ, иконъ, стали собираться по-лютерански и пѣть псалмы по книжкѣ; иные выучились даже нѣмецкому языку. Секта распространяется съ фанатическою быстротой, переходитъ въ другіе уѣзды и губерніи. Сектанты измѣнили образъ жизни, не пьянствуютъ. Они такъ, напримѣръ, разсуждаютъ:

— У нихъ (то есть у нѣмецкихъ, лютеранскихъ штундистовъ), — у нихъ потому хорошо и потому они такъ честно и благообразно живутъ, что нѣтъ постовъ...

Логика мизерная, но какой-то есть смыслъ, какъ хотите, особенно если смотрѣть на постъ какъ на одинъ лишь обрядъ. А откудова бѣдный человѣкъ могъ бы узнать спасительную, глубокую цѣль поста? Да онъ и

всю свою прежнюю вѣру зналъ какъ одинъ лишь обрядъ.

Значитъ, противъ обряда и протестовалъ.

Это, положимъ, понятно. Но почему онъ такъ вдругъ схватился протестовать. Гдѣ причина, его подвигнувшая?

Причина, можетъ быть, очень общая — та, что возсіялъ ему свѣтъ новой жизни съ 19 февраля. Онъ могъ споткнуться и упасть съ первыхъ шаговъ на новомъ пути, но очнуться надо было непремѣнно, а очнувшись, онъ вдругъ увидалъ, какъ онъ «жалокъ и бѣденъ, и слѣпъ, и нищъ, и нагъ». Главное, — правды захотѣлось, правды во что бы ни стало, даже жертвуя всѣмъ, что было до сихъ поръ ему свято. Потому что никакимъ развратомъ, никакимъ давленіемъ и никакимъ униженіемъ не истребишь, не замертвишь и не искоренишь въ сердцѣ народа нашего жажду правды, ибо эта жажда ему дороже всего. Онъ можетъ страшно упасть, но въ моменты самаго полнаго своего безобразія онъ всегда будетъ помнить, что онъ всего только безобразникъ и болѣе ничего, но что есть гдѣ-то высшая правда и что эта правда выше всего.

Вотъ явленіе. Явленіе это, можетъ быть, пока единичное, съ краю, но врядъ ли случайное. Оно можетъ затихнуть и зачерствѣть въ самомъ началѣ и опять-таки преобразиться въ какую-нибудь обрядность, подобно большинству русскихъ сектъ, особенно если ихъ не трогать. Но, какъ хотите, въ явленіи этомъ, повторяю, можетъ все-таки заключиться какъ бы нѣчто пророческое. Въ настоящее время, когда все будущее такъ загадочно, позволительно иногда даже вѣрить въ пророчества.

Ну, что если нѣчто подобное развернется уже по всей Руси? Не это самое, не штундисты (тѣмъ болѣе, что, говорятъ, уже приняты надлежащія мѣры), а только нѣчто подобное? Что если весь народъ вдругъ скажетъ себѣ, дойдя до краевъ своего безобразія и разглядѣвъ свою нищету: «Не хочу безобразія, не хочу пить вина, а хочу правды и страха Божьяго, а главное — правды, правды прежде всего».

Что возжаждетъ онъ правды — въ томъ, конечно, явленіе отрадное. А между тѣмъ, вмѣсто правды можетъ выйти чрезвычайная ложь, какъ и у штундистовъ.

Ну, какой въ самомъ дѣлѣ нашъ народъ протестантъ и какой онъ нѣмецъ? И къ чему ему учиться по-нѣмецки, чтобы пѣть псалмы? И не заключается ли все, все, чего ищетъ онъ, — въ православіи? Не въ немъ ли одномъ и правда, и спасеніе народа русскаго, а въ будущихъ вѣкахъ и для всего человѣчества? Не въ православіи ли одномъ сохранился божественный ликъ Христа во всей чистотѣ? И, можетъ быть, главнѣйшее предызбранное назначеніе народа русскаго въ судьбахъ всего человѣчества и состоитъ лишь въ томъ, чтобъ сохранить у себя этотъ божественный образъ Христа во всей чистотѣ, а когда придетъ время, — явить этотъ образъ міру, потерявшему пути свои!

Да, но покамѣстъ это все сбудется, пасторъ-то вотъ всталъ пораньше, съ первыми птицами, да и пришелъ къ народу, чтобы сказать ему правду — православную правду, онъ былъ очень совѣстливъ. Но народъ пошелъ за нимъ, а не за православіемъ, — не изъ благодарности только, а за то, что отъ него первую правду увидѣлъ. Ну, и вышло, что «у него потому хорошо, что постовъ нѣтъ». Заключеніе очень понятное, коли замѣшалась личность.

Ну, а кстати: что же наши священники? Что о нихъ-то слышно?

А наши священники тоже, говорятъ, просыпаются. Духовное наше сословіе, говорятъ, давно уже начало обнаруживать признаки жизни. Съ умиленіемъ читаемъ мы назиданія владыкъ по церквамъ своимъ о проповѣдничествѣ и благообразномъ житіи. Наши пастыри, по всѣмъ извѣстіямъ, рѣшительно принимаются за сочиненіе проповѣдей и готовятся произнести ихъ.

Поспѣютъ ли только во-время? Поспѣютъ ли проснуться съ первыми птицами? Пасторъ все-таки птица иная, залетная, да и гарантированъ иначе. Ну, да и служба совсѣмъ другая, начальство и проч. Такъ-то такъ, да вѣдь не чиновникъ же въ самомъ дѣлѣ и нашъ священникъ! И не проповѣдникъ ли онъ единой великой Истины, имѣющей обновить весь міръ?

Пасторъ поспѣлъ раньше него, это все правда; но что же и дѣлать, однако, было священнику, въ случаѣ, напримѣръ, хоть штундистовъ? Мы вотъ все наклонны обвинять нашихъ священниковъ, а вникнемъ однако: неужели ограничиться лишь доносомъ начальству? О, конечно, нѣтъ, добрыхъ пастырей у насъ много, — можетъ быть, болѣе даже чѣмъ мы можемъ надѣяться, или сами того заслуживаемъ. Но все-таки, что же онъ сталъ бы тутъ проповѣдывать? — (приходитъ мнѣ иногда въ голову какъ свѣтскому человѣку, съ дѣломъ незнакомому) — о преимуществѣ православія передъ лютеранствомъ? Но вѣдь мужики люди темные: ничего не поймутъ и, пожалуй, не убѣдятся. Доброе поведеніе и добрые нравы,говоря вообще и не слишкомъ пускаясь въ подробности? Но какія же тутъ «добрые нравы», когда народъ

пьянъ съ утра до вечера. Воздержаніе отъ вина въ такомъ случаѣ, чтобы истребить зло въ самомъ корнѣ? Безъ сомнѣнія, такъ, хотя тоже не слишкомъ пускаясь въ подробности, ибо... ибо все-таки надо имѣть въ соображеніи величіе Россіи, какъ великой державы, которое такъ дорого стоитъ... Ну, а вѣдь ужъ это въ нѣкоторомъ родѣ почти то же, что и «смятенный видъ-съ». Остается стало быть, проповѣдывать, чтобы народъ пилъ *немножко только поменьше*...

Ну, а пастору какое дѣло до величія Россіи, какъ великой европейской державы? И не боится онъ никакого «смятеннаго вида», и служба у него совсѣмъ другая. А потому дѣло и осталось за нимъ.

VIII.

Полписьма „одного лица“[1].

Ниже я помѣщаю письмо, или, лучше сказать, полписьма «одного лица» въ редакцію «Гражданина»; все письмо напечатать было никакъ невозможно. Это все то же «лицо», вотъ тотъ самый, который уже отличился разъ въ «Гражданинѣ» насчетъ «могилокъ». Признаюсь, печатаю единственно чтобы отъ него отвязаться. Редакція буквально задавлена его статьями. Во-первыхъ, то «лицо» рѣшительно выступаетъ моимъ защитникомъ противъ литературныхъ «враговъ» моихъ. Онъ написалъ уже за меня и въ пользу мою три «антикритики», двѣ «замѣтки», три «случайныя замѣтки», одно «по поводу» и, наконецъ, «наставленіе какъ вести себя». Въ томъ послѣднемъ полемическомъ сочиненіи своемъ, онъ, подъ видомъ наставленія «врагамъ» моимъ, нападаетъ уже на меня самого и нападаетъ въ такомъ даже тонѣ, что я ничего подобнаго, по энергіи и ярости, не встрѣчалъ даже и у «враговъ моихъ. Онъ хочетъ, чтобы я это все напечаталъ! Я рѣшительно заявилъ ему, что, во-первыхъ, «враговъ моихъ» никакихъ не имѣю, и что все это только такъ и призраки; во-вторыхъ, что и время уже прошло, ибо весь этотъ гамъ журналистовъ, раздавшійся съ появленія перваго № «Гражданина» сего 1873 года съ такою неслыханною литературною яростью, безпардонностью и простодушіемъ атаки, теперь недѣли двѣ, даже три тому назадъ, вдругъ и неизвѣстно почему прекратился, точно такъ же, какъ неизвѣстно почему и начался. Наконецъ, что если бы я и вздумалъ кому отвѣчать, то сумѣлъ бы это сдѣлать самъ, безъ его помощи.

[1] № 10 „Гражданина“ 1873 г.

Онъ разсердился и, поссорясь со мною, вышелъ... Я даже былъ радъ тому. Это человѣкъ болѣзненный... Онъ въ напечатанной у насъ еще прежде статьѣ уже сообщилъ, отчасти, нѣкоторыя черты изъ своей біографіи: человѣкъ огорченный и ежедневно себя «огорчающій». Но, главное, меня пугаетъ эта непомѣрная сила «гражданской энергіи» сего сотрудника. Представьте, онъ съ первыхъ словъ заявилъ мнѣ, что не требуетъ ни малѣйшаго гонорарія, а пишетъ единственно изъ «гражданскаго долга». Даже признался мнѣ, съ гордою, но вредящею себѣ откровенностью, что писалъ вовсе не для того, чтобы защищать меня, а единственно чтобы провести при семъ случаѣ свои мысли, такъ какъ ихъ ни въ одной редакціи не принимаютъ. Онъ просто-за-просто питалъ сладкую надежду отмежевать себѣ, хоть задаромъ, постоянный уголокъ въ нашемъ журналѣ, чтобы имѣть возможность постоянно излагать свои мысли. Какія же это мысли? Пишетъ онъ обо всемъ, отзывается на все съ горечью, съ яростью, съ ядомъ и со «слезой умиленія». «Девяносто процентовъ на ядъ и одинъ процентъ на слезу умиленія!» — объявляетъ онъ самъ въ одной своей рукописи. Начнется новый журналъ или новая газета, и онъ ужъ немедленно тутъ: поучаетъ и даетъ наставленія. Это совершенная правда, что въ одну газету онъ отослалъ до сорока писемъ съ наставленіями, т. е. какъ издавать, какъ вести себя, о чемъ писать и на что обращать вниманіе. Въ нашей редакціи накопилось его писемъ, въ два съ половиною мѣсяца, до двадцати восьми штукъ. Пишетъ онъ всегда за своею полною подписью, такъ что его вездѣ уже знаютъ, и мало того что тратитъ послѣднія копейки на франкировку, но еще въ письма же вкладываетъ свѣжія марки, предполагая, что добьется своего и затѣетъ гражданскую переписку съ редакціями. Всего болѣе удивляетъ меня, что я никакъ не могъ, даже изъ двадцати восьми его писемъ, открыть, какого онъ направленія и чего собственно добивается? Это какой-то сумбуръ... Рядомъ съ грубостью пріемовъ, съ цинизмомъ краснаго носа и «огорченнаго запаха», изступленнаго слога и разорванныхъ сапоговъ, мелькаетъ какая-то скрытая жажда нѣжности, чего-то идеальнаго, рѣра въ красоту, Sehnsucht по чему-то утраченному, и все это выходитъ какъ-то до крайности въ немъ отвратительно. И вообще онъ мнѣ

надоѣлъ. Правда, онъ грубитъ открыто и денегъ за это не требуетъ, стало быть, отчасти лицо благородное, но Богъ съ нимъ и съ его благородствомъ! Не далѣе какъ три дня послѣ нашей ссоры, онъ явился опять, съ «послѣднею уже попыткой», и принесъ вотъ это «Письмо одного лица». Нечего дѣлать, я взялъ и долженъ теперь напечатать.

Первую половину письма рѣшительно нельзя напечатать. Это — одни только личности и ругательства чуть не всѣмъ петербургскимъ и московскимъ изданіямъ, выходящія изо всякой мѣрки. Ни одно изъ упрекаемыхъ имъ изданій не возвышалось до такого цинизма въ ругательствахъ. И, главное, самъ-то онъ ихъ ругаетъ единственно за цинизмъ и за дурной тонъ ихъ полемики. Я просто отрѣзалъ ножницами всю первую часть письма и возвратилъ ему. Заключительную же часть печатаю лишь потому, что тутъ, такъ сказать, тема общая: это нѣкое увѣщаніе какому-то воображаемому фельетонисту, — увѣщаніе даже пригодное для фельетонистовъ всѣхъ вѣковъ и народовъ, до того оно общее. Слогъ возвышенный, при чемъ сила слога равняется лишь наивности изложенныхъ мыслей. Обращаясь съ увѣщаніемъ къ фельетонисту, онъ говоритъ ему *ты*, какъ въ одахъ стараго времени. Онъ ни за что не хотѣлъ, чтобы я началъ съ точки, и настоялъ на томъ, чтобы печатаніе полуписьма его началось съ полуфразы, именно такъ, какъ отрѣзалось ножницами: «пусть, дескать, увидятъ, какъ меня исказили!» Онъ же отстоялъ и заглавіе: я хотѣлъ все-таки написать: «Письмо одного лица»; онъ непремѣнно потребовалъ чтобы озаглавлено было: «Полписьма одного лица».

Итакъ, вотъ эти полписьма...

„Полписьма одного лица“.

... и неужели въ словѣ «свинья» заключается столь магическій и заманчивый смыслъ, что ты тотчасъ же и несомнѣнно принимаешь его на свой счетъ? Я давно ужъ сталъ замѣчать, что въ русской литературѣ это словцо постоянно имѣетъ нѣкоторый особенный и даже какъ бы мистическій смыслъ. Даже дѣдушка Крыловъ, понимая это, употреблялъ съ особою любовью «свинью» въ своихъ апологахъ. Читающій литераторъ, даже въ уединеніи и про себя, встрѣтившись съ словомъ симъ, немедленно вздрагиваетъ и тотчасъ же начинаетъ задумываться: «Не я ли это? Не про меня ли написано?» Согласенъ, что словцо энергическое, но зачѣмъ же подразумѣвать непремѣнно себя и даже себя одного? Есть

и другіе кромѣ тебя. Ужъ не имѣешь ли тайныхъ причинъ къ сему? Ибо чѣмъ иначе могу объяснить твою мнительность?[1].

Второе, что замѣчу тебѣ, о, другъ мой фельетонистъ, это то, что ты невоздержанъ въ планировкѣ своихъ фельетоновъ. Ты напихиваешь въ столбцы свои столько генераловъ, акціонеровъ, князей, въ тебѣ и въ острыхъ словахъ твоихъ имѣющихъ нужду, что поневолѣ заключаю, читая, что за обиліемъ многихъ не имѣешь ни одного. Здѣсь ты присутствуешь на значительномъ засѣданіи совѣта и изрекаешь бонмо, свысока и небрежно, но тѣмъ бросаешь лучъ, и совѣтъ немедленно и торопливо перемѣняется къ лучшему. Тамъ въ глаза осмѣялъ одного богатаго князя, за что онъ немедленно зоветъ тебя на обѣдъ, но ты проходишь мимо и гордо, но либерально отъ обѣда отказываешься. Тамъ заѣзжему милорду, въ интимномъ разговорѣ, въ салонѣ, въ шутку открываешь всю тайную подкладку Россіи: онъ, въ страхѣ и въ восхищеніи, тутъ же телеграфируетъ въ Лондонъ, и на другой же день министерство Викторіи падаетъ. Тамъ, на Невскомъ, на прогулкѣ отъ двухъ до четырехъ, ты разрѣшаешь государственную задачу тремъ отставнымъ, но бѣгущимъ за тобою министрамъ; встрѣчаешь проигравшагося гвардейскаго ротмистра и бросаешь ему двѣсти рублей взаймы; съ нимъ ѣдешь къ Фифинѣ для благороднаго (будто бы?) негодованія... Однимъ словомъ, ты тутъ, ты тамъ, ты вездѣ; ты разсыпанъ въ обществѣ, тебя рвутъ нарасхватъ: глотаешь трюфли, ѣшь конфекты, разъѣзжаешь на извозчикахъ, въ дружбѣ съ половыми у Палкина, — словомъ, безъ тебя ничего. Столь высокая обстановка твоя является, наконецъ, подозрительною. Тихій читатель провинціи сочтетъ тебя, можетъ быть, и вправду за обойденнаго наградой или по крайней мѣрѣ, за отставного министра, желающаго вновь

[1] Это несомнѣнно преувеличено, но отчасти и вѣрно. Тутъ намекъ собственно на то, что въ первомъ № „Гражданина“ я имѣлъ несчастье привести одну древнѣйшую индѣйскую басню о дуэли льва и свиньи, при чемъ ловко отклонилъ даже самую возможность предположенія, что слово левъ нескромно отношу на свой счетъ. И что же? Дѣйствительно, многіе выказали чрезвычайную и поспѣшную мнительность. Даже было нѣчто въ родѣ феномена: въ редакцію пришло письмо одного подписчика изъ одной далекой окраины Россіи; подписчикъ дерзко и азартно укоряетъ редакцію за то, что подъ словомъ свиньи она, будто бы, несомнѣнно подразумѣваетъ своихъ подписчиковъ — предположеніе до того нелѣпое, что даже иные и петербургскіе фельетонисты не рѣшились имъ воспользоваться въ своихъ обвиненіяхъ... а это уже мѣра всему.

Ред.

путемъ свободной, но оппозиціонной печати возвратить свою должность. Но опытный житель обѣихъ столицъ знаетъ иное: ибо знаетъ онъ, что ты не болѣе какъ нанятый борзописецъ у антрепренера-издателя; ты нанятъ и обязанъ его защищать. Онъ же (но не кто другой) натравливаетъ тебя на кого ему вздумается.

Итакъ, весь этотъ гнѣвъ и азартъ въ тебѣ, весь этотъ лай твой, — все это лишь наемное и натравленное чужою рукой. И добро бы ты самъ за себя стоялъ! Напротивъ, чему всего болѣе удивляюсь въ тебѣ — это тому, что ты, наконецъ, горячишься дѣйствительно, принимаешь къ сердцу какъ будто въ самомъ дѣлѣ свое, ругаешься съ фельетонистомъ-соперникомъ какъ бы изъ-за какой-то любимой идеи, изъ-за дорогого тебѣ убѣжденія. Между тѣмъ, знаешь самъ, что своихъ идей не имѣешь, а убѣжденій и подавно. Или, можетъ быть, вслѣдствіе многолѣтней горячки и упоенія смраднымъ успѣхомъ своимъ, ты возмечталъ, наконецъ, что у тебя есть идея, что и ты способенъ имѣть убѣжденіе? Если такъ, то какъ же разсчитываешь послѣ сего на мое уваженіе?

Нѣкогда ты былъ честнымъ и благообразнымъ юношей... О, вспомни у Пушкина, если не ошибаюсь, съ персидскаго: почтенный старецъ говоритъ рвущемуся сразиться юношѣ:

Я боюсь, среди сраженій
Ты утратишь навсегда
Скромность робкую движеній,
Прелесть нѣги и стыда.

Увы, ты все это и давно уже навсегда утратилъ! Смотри самъ, какъ ты споришь съ фельетоннымъ врагомъ твоимъ, и пойми, до чего вы, наконецъ, доругались! Ибо вовсе вы уже не такъ подлы, какъ другъ друга рисуете. Вспомни, что въ дѣтскомъ возрастѣ дѣти дерутся наиболѣе потому, что не научились еще разумно излагать свои мысли. Ты же, сѣдое дитя, за неимѣніемъ мыслей, бранишься всѣми словами разомъ, — худой пріемъ! Именно за неимѣніемъ убѣжденій и настоящей учености, ты стараешься болѣе вникнуть въ частную жизнь своего соперника; съ жадностью узнаешь проступки его, искажаешь ихъ и предаешь ихъ благодѣтельной гласности. Не жалѣешь жены и дѣтей его. Предполагая другъ друга умершими, пишете каждый и обоюдно одинъ другому, въ видѣ пашквиля, по надгробному слову. Скажи же, кто повѣритъ тебѣ, наконецъ? Читая

фельетонъ твой, обрызганный слюной и чернилами, я невольно наклоненъ подумать, что ты не правъ, что въ фельетонѣ твоемъ особый и секретный смыслъ, что вы вѣрно гдѣ-нибудь подрались на дачѣ и не можете позабыть сего. Невольно заключаю въ пользу твоего соперника, и эффектъ твой манкированъ. А къ тому ли ты стремился?

И какая дѣтская неумѣлость въ тебѣ! Обругавъ соперника, ты заключаешь свой фельетонъ словами: «Вижу васъ, господинъ NN, какъ вы, прочитавъ эти строки, бѣгаете внѣ себя по комнатѣ, рвете ваши волосы, кричите на вбѣжавшую въ испугѣ жену свою, гоните прочь дѣтей и, скрежеща зубами, колотите въ стѣну кулакомъ отъ безсильнаго бѣшенства»...

Другъ мой, простодушный, но изступленный страдалецъ своего фиктивнаго, напускного въ пользу антрепренера бѣшенства, о, другъ мой фельетонистъ! Скажи: прочитавъ въ твоемъ фельетонѣ подобныя строки будто бы о твоемъ соперникѣ, неужели я не догадаюсь, что это ты, ты самъ, а не соперникъ твой, бѣгаешь по своей комнатѣ, рвешь свои волосы, бьешь вбѣжавшаго въ испугѣ лакея, если онъ есть у тебя и съ 19 февраля еще не утратилъ первобытной невинности; съ визгомъ и скрежетомъ кидаешься ты на стѣну и отбиваешь въ кровь кулаки свои! Ибо кто повѣритъ, что можно послать такія строки сопернику, не отбивъ въ кровь своихъ собственныхъ кулаковъ предварительно? Такимъ образомъ, самъ выдаешь себя.

Очнись же и пріобрѣти стыдъ. Пріобрѣтя стыдъ, пріобрѣтешь и умѣнье писать фельетоны, — вотъ выгода.

Представлю тебѣ аллегорію. Ты вдругъ публикуешь въ афишкѣ, что на будущей недѣлѣ въ четвергъ или въ пятницу (словомъ, представь себѣ день, въ который пишешь свои фельетоны) въ театрѣ Берга или въ особо устроенномъ для того помѣщеніи, будешь показывать себя нагишомъ и даже въ совершенной подробности. Вѣрю, что найдутся любители; такія зрѣлища особенно привлекаютъ современное общество. Вѣрю, что съѣдутся и даже во множествѣ, но для того ли, чтобы уважать тебя? А если такъ, то въ чемъ же твое торжество?

Теперь разсуди, если можешь: не то ли самое изображаютъ твои фельетоны? Не выходишь ли каждую недѣлю, въ такой-то именно день нагишомъ и со всѣми подробностями передъ публикой? И для чего, для кого ты стараешься?

Тутъ смѣшнѣе всего, что вся публика знаетъ весь секретъ войны вашей, знаетъ и знать не хочетъ, проходитъ мимо васъ равнодушно; вы же рветесь изъ себя и думаете. что всѣ берутъ въ васъ участіе. Человѣкъ простодушный! Публикѣ слишкомъ извѣстно, что антрепренеръ столичной газеты, когда, по примѣру его, основалась другая газета, въ испугѣ сказалъ себѣ, схватясь за карманъ: «Эта новооснованная негодница можетъ лишить меня двухъ или двухъ съ половиною тысячъ подписчиковъ. Найму же кудлашку и натравлю на соперницу». Кудлашка — вѣдь это ты!

Антрепренеръ тобою доволенъ; онъ гладитъ свои бакенбарды и, послѣ завтрака, съ улыбкою думаетъ: «Какъ я однакоже натравилъ его!».

Помнишь ли Антропку въ Тургеневѣ? Сія вещь любимаго писателя публики — поистинѣ геніальная. Антропка есть провинціальный мальчишка или вѣрнѣе братъ другого провинціальнаго мальчишки, и уже Антропки (а первый, положимъ, Нефедъ), скрывшагося изъ избы въ темную лѣтнюю ночь, по поводу сдѣланной шалости. Строгій отецъ послалъ старшаго мальчика привести нашалившаго братишку домой. И вотъ надъ обрывомъ оврага раздаются раздирательные вопли:

— Антропка! Антропка!

Долго не откликается виноватый шалунъ, но, наконецъ, «какъ бы съ того свѣта» раздается дрожащій и робкій голосенокъ его, съ другой стороны оврага:

— Чиво-о?

— А тебя тятенька выси-ичъ хочи-итъ! — съ злобною и торопливою радостью подхватываетъ старшій братишка...

Голосъ «съ того свѣта», разумѣется, затихаетъ. Но вотъ съ надрывомъ и съ безсильнымъ, самоскребущимъ озлобленіемъ все еще слышатся въ темную ночь безконечные, но безсильные вопли:

— Антропка-а! Антропка-а-а!

Сей геніальный возгласъ къ Антропкѣ и — что главное — безсильный, но злобный надрывъ его можетъ повториться не только среди провинціальныхъ мальчишекъ, но и между взрослыми, дошедшими до почтенныхъ сѣдинъ, членами современнаго, но взволнованнаго реформами общества. И не напоминаетъ ли тебѣ хотя бы что-либо сихъ Антропокъ въ столицѣ? Ибо между сими двумя антрепренерами столичныхъ изданій не замѣчаешь ли нѣчто антропочное? Ты и соперникъ твой — не высланы ли вы оба своими хозяевами для отыскиванія Антропокъ? Антропки — не тѣ ли это изъ предполагаемыхъ вами новыхъ подписчиковъ которые могли бы повѣрить вашей невинности? Вы знаете оба, что вся ваша ярость, весь надрывъ и старанія ваши останутся втунѣ, что не отозвется Антропка, что не отобьете вы другъ у друга ни одного подписчика, что у каждаго будетъ довольно и безъ того; но вы уже такъ въѣлись въ игру сію, и такъ нравится вамъ этотъ скребущій сердца ваши фельетонный безсильный надрывъ, что вы уже не можете удержаться! И вотъ, еженедѣльно и въ извѣстные дни, среди темной ночи, объявшей нашу литературу, съ надрывомъ и съ яростью раздается: Антропка-а! Антропка-а! И мы это слушаемъ.

Позволю себѣ и еще аллегорію.

Представь, что тебя пригласили въ порядочное общество, ибо предполагаю, что ѣздишь и ты въ порядочные круги общества. Ты прибылъ на званую вечеринку къ статскому даже совѣтнику, въ день его именинъ. Гости уже заранѣе предувѣдомлены хозяиномъ о твоемъ остроуміи. Ты входишь съ приличіемъ, одѣтъ хорошо, расшаркиваешься съ хозяйкою и говоришь ей любезности. Съ удовольствіемъ ощущаешь, что на тебя смотрятъ, и готовишься отличиться. И вдругъ, о ужасъ! замѣчаешь въ углу залы литературнаго твоего соперника, прибывшаго раньше тебя и котораго даже и знакомымъ въ семъ мѣстѣ не предполагалъ до послѣдней минуты. Ты измѣнился въ лицѣ, но хозяинъ, относя сіе къ минутному твоему нездоровью, спѣшитъ, по наивности, познакомить тебя съ литературнымъ врагомъ твоимъ. Вы мычите и тотчасъ же повертываетесь другъ къ другу спинами. Хозяинъ въ смущеніи, но ободряется, полагая, что это лишь новый литературный пріемъ, не извѣстный ему за дѣлами службы. Между тѣмъ спѣшатъ картами, и хозяйка приглашаетъ тебя въ ералашъ, съ свойственною ея любезностью. Чтобъ избавиться отъ соперника, ты берешь карту съ радостью; новый ужасъ: оказывается, что вы за однимъ столомъ! Отказаться уже нельзя, ибо причиною тому обѣ развязныя и любезныя свѣтскія дамы, ваши партнерки. Обѣ садятся спѣша, а кругомъ нихъ нѣсколько родственницъ и знакомыхъ, и всѣ жаждутъ слушать двухъ литераторовъ, всѣ смотрятъ на ваши рты, всѣ ловятъ ваше первое слово, не спуская съ васъ глазъ своихъ. Соперникъ твой обращается къ дамѣ съ спокойствіемъ и говоритъ ей: «Ка-

жется, сдача за вами, сударыня». Всѣ улыбаются, всѣ переглядываются, остроумное слово получаетъ успѣхъ, и сердце твое сжимается завистью. Но слѣдуетъ сдача. Открываешь свои карты: тройки, двойки, шестерки и самая старшая — валетъ. Ты скрежещешь зубами, а соперникъ твой улыбается. Къ нему пришли карты, и онъ съ гордостью объявляетъ коронку. Взоръ твой тускнѣетъ. Схватываешь бронзовый вѣскій фамильный подсвѣчникъ, которымъ гордится хозяинъ, хранящійся весь годъ у хозяйки въ шкафу и выставляемый на видъ лишь единственно въ дни ангеловъ — схватываешь и стремительно пускаешь его въ лобъ своему сопернику. Крикъ и недоумѣніе! Всѣ вскакиваютъ, но вы уже бросились и съ пѣной ярости вцѣпились другъ другу въ волосы[1]. Ибо, судя по твоему нетерпѣнію въ литературѣ и неумѣнію сдержать себя, имѣю право заключить и о нетерпѣніи твоемъ въ частныхъ обществахъ. Партнерка твоя, молодая дама, ожидавшая отъ тебя столько остроумія, съ крикомъ спасается подъ крыло своего супруга, значительнаго инженеръ-подполковника. Тотъ, указывая на васъ обоихъ, крутящихся за волосы, говоритъ ей: «Я предварялъ тебя, миленькая, чего можно ожидать отъ современной беллетристики». Но васъ уже стащили вонъ съ лѣстницы и выпихнули на улицу. Именинникъ хозяинъ, чувствуя вину свою передъ созваннымъ обществомъ, проситъ у всѣхъ извиненія, рекомендуя забыть о русской литературѣ и продолжать ералашъ. Ты же лишилъ себя свѣтскаго вечера, пріятныхъ, хотя и невинныхъ минутъ съ петербургскою дамой и ужина. Но вамъ не до того: вы схватываете по легковому извозчику и несетесь по зловоннымъ петербургскимъ улицамъ каждый въ квартиру свою, чтобы тотчасъ же сѣсть за фельетонъ. Ты погоняешь извозчика, мимоходомъ завидуя его невинности, но уже обдумываешь и разсказываешь точь-въ-точь и въ малѣйшей подробности все, что случилось съ тобой у совѣтника!

Ты обличаешь именинника, ты обличаешь жену его, угощеніе ихъ, возстаешь противъ обычая именинъ, противъ инженеръ-полковника, противъ дамы, своей партнерки, и, наконецъ-то, добираешься до соперника. О, тутъ уже все до послѣдней подробности, по извѣстной нынѣшней общей манерѣ вашей выставлять подноготную. Ты разсказываешь, какъ онъ билъ тебя, и какъ ты его билъ, обѣщаешь, что будешь бить, и какъ онъ обѣ-

[1] Редакція находитъ эту картину немного преувеличенною.

щался бить. Ты хочешь приложить къ статьѣ своей пачку вырванныхъ у него волосъ. Но вотъ уже утро... Ты бѣгаешь по комнатѣ и ждешь редакціоннаго часа. Являешься къ редактору, и вдругъ тотъ, съ спокойнымъ видомъ, объявляетъ тебѣ, что еще наканунѣ примирился съ антрепренеромъ-соперникомъ, прекратившимъ изданіе и сдавшимъ ему подписчиковъ, самъ же запилъ съ нимъ миръ у Дюссота бутылкой шампанскаго. Затѣмъ благодаритъ тебя за услуги и объявляетъ, что ты ему больше не нуженъ. Скажи, каково положеніе твое!

Всего болѣе не люблю я послѣднихъ дней масленицы, когда черный народъ допивается до послѣдней степени своего безобразія. Отупѣлыя рожи пьяницъ, въ рваныхъ халатахъ и сюртучишкахъ толпятся у кабаковъ. Вотъ двое остановились на улицѣ: одинъ увѣряетъ, что онъ генералъ, а другой ему: врешь! Тотъ бѣсится и рветъ, что онъ генералъ, а этотъ: врешь! Тотъ еще пуще, а этотъ все то же: вр-решь! И такъ далѣе до двухсотъ даже разъ! Оба именно находятъ красоту въ безсильномъ и въ безконечномъ повтореніи одного и того же слова, такъ сказать, погрязая въ услажденіи безсиліемъ своего униженія.

Читая фельетоны твои, невольно воображаю себѣ слишкомъ уже долго продолжающуюся въ литературѣ нашей какую-то безконечную, пьяную, безтолковую масленицу. Ибо не то же ли и у васъ, какъ и у этихъ двухъ остановившихся у перекрестка безтолковыхъ, пьяныхъ халатниковъ? Не увѣряетъ ли твой соперникъ въ каждомъ фельетонѣ своемъ, что онъ генералъ, и не отвѣчаешь ли ты ему, какъ халатникъ на перекресткѣ: «Врешь!» И все это такое безконечное число разъ, безъ малѣйшаго даже предчувствія, какъ все это, наконецъ, надоѣло. Воображаю васъ именно какъ на масленицѣ, обезумѣвшихъ и упившихся, въ послѣдній (прощеный!) день; воображаю, какъ вы валяетесь каждый передъ окнами своей редакціи и, копошась въ грязномъ, столичномъ, буромъ снѣгу, кричите изо всей мочи, другъ на друга, сиплыми голосами:

— Караулъ! кар-раулъ! кар-раулъ!

Но молчу и поспѣшаю мимо...

Молчаливый наблюдатель.

NB. «Молчаливый наблюдатель» — это псевдонимъ «Одного лица»; я забылъ о томъ предувѣдомить.

IX.

По поводу выставки[1].

Я заходилъ на выставку. На вѣнскую всемірную выставку отправляется довольно много картинъ нашихъ русскихъ художниковъ. Это уже не въ первый разъ, и русскихъ современныхъ художниковъ начинаютъ знать въ Европѣ. Но все-таки приходитъ на мысль: возможно ли тамъ понять нашихъ художниковъ и съ какой точки зрѣнія ихъ тамъ будутъ цѣнить? По-моему, переведите комедію Островскаго, — ну «Свои люди сочтемся», или даже любую, и переведите по возможности лучше, на нѣмецкій или французскій языкъ, и поставьте гдѣ-нибудь на европейской сценѣ, — и я право не знаю, что выйдетъ. Что-нибудь, конечно, поймутъ и, кто знаетъ, можетъ быть, даже найдутъ нѣкоторое удовольствіе. но, по крайней мѣрѣ, три четверти комедіи останутся совершенно недоступны европейскому пониманію. Я помню, въ моей молодости, какъ ужасно заинтересовало меня извѣстіе, что г. Віардо (мужъ знаменитой пѣвицы, пѣвшей у насъ тогда въ итальянской оперѣ) французъ, не знающій ничего по-русски, переводитъ нашего Гоголя подъ руководствомъ г. Тургенева. У Віардо, конечно, была художественно-критическая способность и сверхъ того чуткость въ пониманіи поэзіи чужихъ національностей, что онъ и доказалъ превосходнымъ своимъ переводомъ «Донъ Кихота» на французскій языкъ. Господинъ же Тургеневъ понималъ Гоголя, конечно, до тонкости; какъ всѣ тогда, полагаю, любилъ его до восторга и сверхъ того самъ былъ поэтъ, хотя тогда почти не начиналъ еще своего поэтическаго поприща. (NB. Онъ написалъ только нѣсколько стиховъ, забылъ какихъ, и сверхъ того повѣсть «Три портрета» — произведеніе уже значительное.) Такимъ образомъ могло бы что-нибудь и выйти. Замѣчу, что г. Тургеневъ, должно быть, превосходно знаетъ французскій языкъ. И что же? Вышла изъ этого перевода такая странность, что я хоть и предчувствовалъ заранѣе, что Гоголя нельзя передать по-французски, все-таки никакъ не ожидалъ такого исхода. Этотъ переводъ можно достать и теперь — посмотрите что это такое. Гоголь исчезъ буквально. Весь юморъ,

[1] № 18 „Гражданина“ 1873 г.

все комическое, всѣ отдѣльныя детали и главные моменты развязокъ, отъ которыхъ и теперь, вспоминая ихъ иногда, нечаянно, наединѣ (и часто въ самые нелитературные моменты жизни) зальешься вдругъ самымъ неудержимымъ смѣхомъ про себя, — все это прошло, какъ не бывало вовсе. Я не понимаю, что могли заключать тогда французы о Гоголѣ, судя по этому переводу; впрочемъ, кажется, ничего не заключили. «Пиковая дама», «Капитанская дочка», которыя были тоже переведены тогда по-французски, безъ сомнѣнія, тоже исчезли на половину, хотя въ нихъ гораздо болѣе можно было понять, чѣмъ въ Гоголѣ. Словомъ, все характерное, все наше національное по преимуществу (а, стало быть, все истинно художественное), по-моему мнѣнію, для Европы неузнаваемо. Переведите повѣсть «Рудинъ» Тургенева (я потому говорю о г. Тургеневѣ, что онъ наиболѣе переведенъ изъ русскихъ писателей, а о повѣсти «Рудинъ» потому, что она наиболѣе изъ всѣхъ произведеній г. Тургенева подходитъ къ чему-то нѣмецкому) — на какой хотите европейскій языкъ — и даже ея не поймутъ. Главная суть дѣла останется совсѣмъ даже не подозрѣваемою. «Записки же охотника» точно такъ же не поймутъ, какъ и Пушкина, какъ и Гоголя. Такъ что всѣмъ нашимъ крупнымъ талантамъ, мнѣ кажется, суждено надолго, можетъ быть, остаться для Европы совсѣмъ неизвѣстными; и даже такъ, что чѣмъ крупнѣе и своеобразнѣе талантъ, тѣмъ онъ будетъ и неузнаваемѣе. Между тѣмъ мы на русскомъ языкѣ понимаемъ Диккенса, я увѣренъ, почти такъ же какъ и англичане, даже, можетъ быть, со всѣми оттѣнками; даже, можетъ быть, любимъ его не меньше его соотечественниковъ. А однако какъ типиченъ, своеобразенъ и національненъ Диккенсъ? Что же изъ этого заключить? Есть ли такое пониманіе чужихъ національностей особый даръ русскихъ предъ европейцами? Даръ особенный, можетъ быть, и есть, и если есть этотъ даръ (равно какъ и даръ говорить на чужихъ языкахъ, дѣйствительно сильнѣйшій чѣмъ у всѣхъ европейцевъ), то даръ этотъ чрезвычайно значителенъ и сулитъ много въ будущемъ, на многое русскихъ предназначаетъ, — хотя и не знаю: вполнѣ ли это хорошій даръ, или есть тутъ что-нибудь дурное... Вѣрнѣе же (скажутъ многіе), что европейцы мало знаютъ Россію и русскую жизнь, потому что не имѣли до сихъ поръ еще и нужды ее узнавать въ слишкомъ большой подробности. Правда, дѣйствительно въ Европѣ до сихъ поръ не было никакой особенной надоб-

ности слишкомъ подробно насъ узнавать. Но все-таки кажется несомнѣннымъ, что европейцу, какой бы онъ ни былъ національности, всегда легче выучиться другому европейскому языку и вникнуть въ душу всякой другой европейской національности, чѣмъ научиться русскому языку и понять нашу русскую суть. Даже нарочно изучавшіе насъ европейцы, для какихъ-нибудь цѣлей (а таковые были), и положившіе на это большой трудъ, несомнѣнно уѣзжали отъ насъ хотя и много изучивъ, но все-таки до конца не понимая иныхъ фактовъ и даже, можно сказать, — долго еще не будутъ понимать, въ современныхъ и ближайшихъ поколѣніяхъ по крайней мѣрѣ. Все это намекаетъ на долгую еще, можетъ быть, и печальную нашу уединенность въ европейской семьѣ народовъ; на долгія еще въ будущемъ ошибки европейцевъ въ сужденіяхъ о Россіи; на ихъ видимую наклонность судить насъ всегда къ худшему и, можетъ быть, объясняетъ и ту постоянную, всеобщую, основанную на какомъ-то сильнѣйшемъ непосредственномъ и гадливомъ ощущеніи, враждебность къ намъ Европы; отвращеніе ея отъ насъ, какъ отъ чего-то противнаго, отчасти даже нѣкоторый суевѣрный страхъ ея передъ нами и — вѣчный, извѣстный, давнишній приговоръ ея о насъ: что мы вовсе не европейцы... Мы, разумѣется, обижаемся и изо всѣхъ силъ таращимся доказать, что мы европейцы...

Я, конечно, не говорю, что въ Европѣ не поймутъ нашихъ, напримѣръ, пейзажистовъ: виды Крыма, Кавказа, даже нашихъ степей будутъ, конечно, и тамъ любопытны. Но зато нашъ русскій, по преимуществу національный пейзажъ, то есть сѣверной и средней полосы нашей Европейской Россіи, я думаю, тоже не произведетъ въ Вѣнѣ большого эффекта. «Эта скучная природа», вся характерность которой состоитъ, такъ сказать, въ ея безхарактерности, намъ мила, однако, и дорога. Ну, а нѣмцамъ что до чувствъ нашихъ? Вотъ, напримѣръ, эти двѣ березки въ пейзажѣ г. Куинджи («Видъ на Валаамѣ»): на первомъ планѣ болото и болотная поросль, на заднемъ — лѣсъ; оттуда — туча не туча, но мгла, сырость: сыростью васъ какъ будто проницаетъ всего, вы почти ее чувствуете, и на срединѣ, между лѣсомъ и вами, двѣ бѣлыя березки, яркія, тверныя — самая сильная точка въ картинѣ. Ну, что тутъ особеннаго? Что тутъ характернаго, а между тѣмъ какъ это хорошо!.. Можетъ быть, я ошибаюсь, но нѣмцу это не можетъ такъ понравиться.

Про историческій родъ и говорить нечего; въ чисто-историческомъ родѣ мы давно уже не блистаемъ, а стало

быть, и Европу не удивимъ; даже батальнымъ родомъ не удивимъ; даже переселеніе черкесовъ (огромная пестрая картина, можетъ быть, съ большими достоинствами — не могу судить) не произведетъ, по-моему, за границею слишкомъ сильнаго впечатлѣнія. Но жанръ, нашъ жанръ — въ немъ-то что поймутъ? А вѣдь у насъ онъ, вотъ уже столько лѣтъ, почти исключительно царствуетъ; и если есть намъ чѣмъ-нибудь погордиться и что-нибудь показать, то, ужъ конечно, изъ нашего жанра. Вотъ, напримѣръ, небольшая картинка (Маковскаго), «Любители соловьинаго пѣнія», кажется, не знаю какъ она названа. Посмотрите: комнатка у мѣщанина, аль у какого-то отставного солдата, торговца пѣвчими птицами, должно быть, тоже и птицелова. Видно нѣсколько птичьихъ клѣтокъ; скамейки, столъ, на столѣ самоваръ, а за самоваромъ сидятъ гости, два купца или лавочника, любители соловьинаго пѣнія. Соловей виситъ у окна въ клѣткѣ и, должно быть, свиститъ, заливается, щелкаетъ, а гости слушаютъ. Оба они, видимо, люди серьезные, тугіе лавочники и барышники, уже въ лѣтахъ, можетъ быть и безобразники въ домашнемъ быту (какъ-то уже это принято, что все это «темное царство» непремѣнно составлено изъ безобразниковъ и должно безобразничать въ домашнемъ быту), а между тѣмъ, оба они видимо уже раскисли отъ наслажденія, — самаго невиннаго, почти трогательнаго. Тутъ происходитъ что-то трогательное до глупости. Сидящій у окна немного потупилъ голову, одну руку приподнялъ и держитъ на вѣсу, вслушивается, таетъ, въ лицѣ блаженная улыбка; онъ дослушиваетъ трель... Онъ хочетъ что-то ухватить, боится что-то потерять. Другой сидитъ за столомъ, за чаемъ, къ намъ почти спиной, но вы знаете, что онъ «страдаетъ» не менѣе своего товарища. Передъ ними хозяинъ, зазвавшій ихъ слушать и, конечно, имъ же продать соловья. Это довольно сухощавый и высокій парень лѣтъ сорока слишкомъ, въ домашнемъ, довольно безцеремонномъ костюмѣ (да и что тутъ теперь церемониться); онъ что-то говоритъ купцамъ, и вы чувствуете, что онъ со властью говоритъ. Передъ этими лавочниками онъ, по соціальному положенію своему, т. е. по карману, конечно, личность ничтожная, но теперь у него соловей, и хорошій соловей, а потому онъ смотритъ гордо (какъ будто это онъ самъ поетъ), обращается къ купцамъ даже съ какимъ-то нахальствомъ, съ строгостью (нельзя же-съ)... Любопытно, что лавочники непремѣнно сидятъ и думаютъ, что это такъ и должно быть, чтобы онъ ихъ тутъ немножко подраспекъ, потому что «ужъ оченно хорошъ

у него соловей!» Чай кончится, и начнется торгъ... Ну, что, спрашивается, пойметъ въ этой картинѣ нѣмецъ, или вѣнскій жидъ (Вѣна, какъ и Одесса, говоритъ, вся въ жидахъ)? Можетъ, кто и растолкуетъ въ чемъ дѣло, и они узнаютъ, что у русскаго купца средней руки двѣ страсти — рысакъ и соловей, и что потому это ужасно смѣшно; но что же изъ этого выйдетъ? Это знаніе какое-то отвлеченное, и нѣмцу очень трудно будетъ представить почему это такъ смѣшно. Мы же смотримъ на картинку, и улыбаемся; вспоминаемъ про нее потомъ и намъ опять почему-то смѣшно и пріятно. Право, и пусть смѣются надо мной, но вотъ въ этихъ маленькихъ картинкахъ, по-моему, есть даже любовь къ человѣчеству, не только къ русскому въ особенности, но даже и вообще. Я вѣдь эту картинку только для одного примѣра поставилъ. Но вѣдь что всего досаднѣе — это то, что мы-то подобную картинку у нѣмцевъ, изъ ихъ нѣмецкаго быта, поймемъ точно такъ же, какъ и они сами, и даже восхищаться будемъ, какъ они сами, почти ихъ же, нѣмецкими, чувствами, а они вотъ у насъ совсѣмъ ничего не поймутъ. Впрочемъ, можетъ быть, для насъ это въ нѣкоторомъ смыслѣ и выгоднѣе.

Ну, вотъ въ эстонской или лифляндской каютѣ игра въ карты, — это, конечно, понятно, особенно фигура мальчика, участвующаго въ игрѣ; въ карты всѣ играютъ и гадаютъ, такъ что и «Десятка пикъ» (такъ названа одна картинка) будетъ совершенно понятна, но не думаю, чтобы поняли, напримѣръ, Перова «Охотниковъ». Я нарочно назначаю одну изъ понятнѣйшихъ картинъ нашего національнаго жанра. Картина давно уже всѣмъ извѣстна: «Охотники на привалѣ»; одинъ горячо и зазнамо вретъ, другой слушаетъ и изъ всѣхъ силъ вѣритъ, а третій ничему не вѣритъ, прилегъ тутъ же и смѣется... Что за прелесть! Конечно, растолковать — такъ поймутъ и нѣмцы, но вѣдь не поймутъ они, какъ мы, что это русскій враль, и что вретъ онъ по-русски. Мы вѣдь почти слышимъ и знаемъ, о чемъ онъ говоритъ, знаемъ весь оборотъ его вранья, его слогъ, его чувства. Я увѣренъ, что если бы г. Перовъ (и онъ навѣрно бы смогъ это сдѣлать) изобразилъ французскихъ или нѣмецкихъ охотниковъ (конечно, по другому и въ другихъ лицахъ), то мы, русскіе, поняли бы и нѣмецкое и французское вранье, со всѣми тонкостями, со всѣми національными отличіями, и слогъ и тему вранья, угадали бы все только смотря на картину. Ну, а нѣмецъ, какъ ни напрягайся, а нашего русскаго вранья не пойметъ. Конечно, не большой ему въ

томъ убытокъ, да и намъ, опять таки, можетъ быть, это и выгоднѣе; но зато и картину не вполнѣ пойметъ, а стало быть, и не оцѣнитъ какъ слѣдуетъ; ну, а ужъ это жаль, потому что мы ѣдемъ, чтобъ насъ похвалили.

Не знаю какъ отнесутся въ Вѣнѣ къ «Псаломщикамъ» Маковскаго. По-моему, это уже не жанръ, а картина историческая. Я пошутилъ, конечно, но присмотритесь однако: больше ничего какъ пѣвчіе, въ нѣкоторомъ родѣ оффиціальный хоръ, исполняющій за обѣдней концертъ. Все это господа въ оффиціальныхъ костюмахъ, съ гладко-гладко выбритыми подбородками. Вглядитесь, напримѣръ, въ этого господина съ бакенбардами; ясно, что онъ, такъ сказать, переряженъ въ этотъ совершенно не гармонирующій съ нимъ костюмъ и носитъ его лишь по службѣ. Правда, и всѣ пѣвчіе надѣваютъ такіе костюмы лишь по службѣ, и искони такъ велось, съ патріархальныхъ временъ, но тутъ эта переряженность какъ-то особенно въ глаза бросается. Вы такого благообразнаго чиновника привыкли видѣть лишь въ вицмундирѣ и въ департаментѣ; это скромный и солидный, прилично остриженный человѣчекъ средняго круга. Онъ тянетъ что-то въ родѣ извѣстнаго «уязвленъ!», но и «уязвленъ» обращается, глядя на него, во что-то оффиціальное. Ничего даже нѣтъ смѣшнѣе, какъ предположить, чтобъ этотъ вполнѣ благонамѣренный и успокоенный службою человѣкъ могъ быть «уязвленъ!» Не смотрѣть на нихъ, отвернуться и только слушать и выйдетъ что-нибудь прелестное; ну, а посмотрѣть на эти фигуры и вамъ кажется, что псаломъ поется только такъ... что тутъ что-то вовсе другое...

Я ужасно боюсь «направленія», если оно овладѣваетъ молодымъ художникомъ, особенно при началѣ его поприща; и какъ вы думаете, чего именно тутъ боюсь: а вотъ именно того, что цѣль-то направленія не достигнется. Повѣритъ ли одинъ милый критикъ, котораго я недавно читалъ, но котораго называть теперь не хочу, — повѣритъ ли онъ, что всякое художественное произведеніе, безъ предвзятаго направленія, исполненное единственно изъ художнической потребности и даже на сюжетъ совсѣмъ посторонній, совсѣмъ и не намекающій на что-нибудь «направительное», — повѣритъ ли этотъ критикъ, что такое произведеніе окажется гораздо полезнѣе для *его же цѣлей*, чѣмъ, напримѣръ, всѣ пѣсни о рубашкѣ (не Гуда, а нашихъ писателей), хотя бы съ виду и походило на то, что называютъ «удовлетвореніемъ празднаго любопытства»? Если даже люди ученые, повидимому, еще

не догадались объ этомъ, то что же можетъ происходить иногда въ сердцахъ и умахъ нашихъ молодыхъ писателей и художниковъ? Какая бурда понятій и предвзятыхъ ощущеній? Въ угоду общественному давленію молодой поэтъ давитъ въ себѣ натуральную потребность излиться въ собственныхъ образахъ, боится, что осудятъ за «праздное любопытство», давитъ, стираетъ образы, которые сами просятся изъ души его, оставляетъ ихъ безъ развитія и вниманія и вытягиваетъ изъ себя, съ болѣзненными судорогами, тему, удовлетворяющую общему, мундирному, либеральному и соціальному мнѣнію. Какая, однако, ужасно простая и наивная ошибка, какая грубая ошибка! Одна изъ самыхъ грубѣйшихъ ошибокъ состоитъ въ томъ, что обличеніе порока (или то, что либерализмомъ принято считать за порокъ) и возбужденіе къ ненависти и мести считается за единственный и возможный путь къ достиженію цѣли! Впрочемъ, даже и на этомъ узкомъ пути можно было бы вывернуться сильному дарованію и не заглохнуть въ началѣ поприща; стоило бы вспоминать лишь почаще о золотомъ правилѣ, что высказанное слово — серебряное, а не высказанное — золотое. Есть очень и очень значительные таланты, которые такъ много обѣщали, но которыхъ до того заѣло направленіе, что рѣшительно одѣло ихъ въ какой-то мундиръ. Я читалъ двѣ послѣднія поэмы Некрасова — рѣшительно этотъ почтенный поэтъ нашъ ходитъ теперь въ мундирѣ. А вѣдь даже и въ этихъ поэмахъ есть нѣсколько хорошаго и намекаетъ на прежній талантъ г. Некрасова. Но что дѣлать: мундирный сюжетъ, мундирность мысли, слога, натуральности... да, мундирность даже самой натуральности. Знаетъ ли, напримѣръ, маститый поэтъ нашъ, что никакая женщина, даже преисполненная первѣйшими гражданскими чувствами, пріявшая, чтобы свидѣться съ несчастнымъ мужемъ, столько трудовъ, проѣхавшая шесть тысячъ верстъ въ телѣгѣ и «узнавшая прелесть телѣги», слетѣвшая, какъ вы сами увѣряете, «съ высокой вершины Алтая» (что, впрочемъ, совсѣмъ уже невозможно) — знаете ли вы, поэтъ, что эта женщина ни за что не поцѣлуетъ сначала цѣпей любимаго человѣка, а поцѣлуетъ непремѣнно сначала его самого, а потомъ уже его цѣпи, если ужъ такъ сильно и внезапно пробудится въ ней великодушный порывъ гражданскаго чувства, и такъ сдѣлаетъ всякая женщина рѣшительно. Конечно, замѣчаніе мое пустячное, да и не стоило бы приводить, потому что и поэма-то такъ только написана, ну, напримѣръ, чтобы къ первому января отвязаться... Впрочемъ, г. Некрасовъ

все-таки уже громкое литературное имя, почти законченное, и имѣетъ за собою много прекрасныхъ стиховъ. Это поэтъ страданія и почти заслужилъ это имя. Ну, а повѣнькихъ все-таки жаль: не у всякаго такой сильный талантъ, чтобы не подчиниться мундирной мысли въ началѣ поприща, а стало быть, и уберечь себя отъ литературной чахотки и смерти. Что дѣлать: мундиръ-то вѣдь такъ красивъ, съ такимъ шитьемъ, блеститъ... Да и какъ выгоденъ! то есть теперь особенно выгоденъ.

Чуть только я прочелъ въ газетахъ о бурлакахъ г. Рѣпина, то тотчасъ же испугался. Даже самый сюжетъ ужасенъ: у насъ какъ-то принято, что бурлаки всего болѣе способны изображать извѣстную соціальную мысль о неоплатномъ долгѣ высшихъ классовъ народу. Я такъ и приготовился ихъ всѣхъ встрѣтить въ мундирахъ, съ извѣстными ярлыками на лбу. И что же. Къ радости моей, весь страхъ мой оказался напраснымъ: бурлаки, настоящіе бурлаки и болѣе ничего. Ни одинъ изъ нихъ не кричитъ съ картины зрителю: «Посмотри, какъ я несчастенъ, и до какой степени ты задолжалъ народу!» И ужъ это одно можно поставить въ величайшую заслугу художнику. Славныя, знакомыя фигуры: два передовые бурлака почти смѣются, по крайней мѣрѣ, вовсе не плачутъ и ужъ отнюдь не думаютъ о соціальномъ своемъ положеніи. Солдатикъ хитритъ и фальшивитъ, хочетъ набить трубочку. Мальчишка серьезничаетъ, кричитъ, даже ссорится — удивительная фигура, почти лучшая въ картинѣ и равна по замыслу съ самымъ заднимъ бурлакомъ, понуреннымъ мужиченкой, плетущимся особо, котораго даже и лица не видно. Невозможно и представить себѣ, чтобы мысль о политико-экономическихъ и соціальныхъ долгахъ высшихъ классовъ народу могла хоть когда-нибудь проникнуть въ эту бѣдную, понуренную голову этого забитаго вѣковѣчнымъ горемъ мужиченка... и — знаете ли вы, милый критикъ, что вотъ эта-то смиренная невинность мысли этого мужиченки и достигаетъ цѣли несравненно болѣе, чѣмъ вы думаете — именно вашей направительной либеральной цѣли! Вѣдь иной зритель уйдетъ съ нарывомъ въ сердцѣ и любовью (съ какою любовью!) къ этому мужиченкѣ, или къ этому плуту-подлецу солдатику! Вѣдь нельзя не полюбить ихъ, этихъ беззащитныхъ, нельзя уйти, ихъ не полюбя. Нельзя не подумать, что долженъ, дѣйствительно долженъ народу.. Вѣдь эта бурлацкая «партія» будетъ сниться потомъ во снѣ, черезъ пятнадцать лѣтъ вспомнится! А не были бы они такъ натуральны, невинны и просты — не производили бы та-

кого впечатлѣнія и не составили бы такой картины. Теперь вѣдь это почти картина! Да и отвратительны всѣ мундирные воротники, какъ ни расшивай ихъ золотомъ! Впрочемъ, что тутъ разглагольствовать; да и картину разсказывать нечего; картины слишкомъ трудно передавать словами. Просто скажу: фигуры Гоголевскія. Слово это большое, но я не говорю, что г. Рѣпинъ — есть Гоголь въ своемъ родѣ искусства. Нашъ жанръ еще до Гоголя и до Диккенса не доросъ.

Нѣкоторую утрировку можно замѣтить, впрочемъ, и у г. Рѣпина: это именно въ костюмахъ, и то только въ двухъ фигурахъ. Такія лохмотья даже и быть не могутъ. Эта рубашка, напримѣръ, нечаянно попала въ корыто, въ которой рубили сѣчкой котлеты. Безъ сомнѣнія, бурлаки костюмами не блистаютъ. Всѣмъ извѣстно, откуда этотъ народъ; дома въ концѣ зимы, какъ не разъ извѣщали, по крайней мѣрѣ, — корой питаются и идутъ по вёснѣ къ хозяину тянуть барку, по крайней мѣрѣ иные— изъ-за одной только каши, почти безъ всякаго уговора. Примѣры бывали, что съ первыхъ дней такъ и умретъ у каши бурлакъ, навалившись на нее съ голодухи, задушится, «лопнетъ». Лѣкаря взрѣзывали, говорятъ, этихъ людей и находили одну только кашу до самаго горла. Вотъ это какіе иногда субъекты. Но все же не высказанное слово — золотое, тѣмъ болѣе, что такую рубашку и надѣть нельзя, если разъ только снять: не влѣзетъ. Впрочемъ, въ сравненіи съ достоинствомъ и независимостью замысла картины, эта крошечная уртировка костюмовъ ничтожна.

Жаль, что я ничего не знаю о г. Рѣпинѣ. Любопытно узнать, молодой это человѣкъ или нѣтъ? Какъ бы я желалъ, чтобъ это былъ очень еще молодой и только еще начинающій художникъ. Нѣсколько строкъ выше я поспѣшилъ оговориться, что все-таки это не Гоголь. Да, г. Рѣпинъ, до Гоголя еще ужасно какъ высоко; не возгордитесь заслуженнымъ успѣхомъ. Нашъ жанръ на хорошей дорогѣ, и таланты есть, но чего-то недостаетъ ему, чтобы раздвинуться или расшириться. Вѣдь и Диккенсъ— жанръ, не болѣе; но Диккенсъ создалъ «Пиквика», «Оливера Твиста» и «Дѣдушку и внучку» въ романѣ «Лавка древностей»; нѣтъ, нашему жанру до этого далеко; онъ еще стоитъ на «Охотникахъ и Соловьяхъ». «Соловьевъ и Охотниковъ» у Диккенса множество на второстепенныхъ мѣстахъ. Я даже думаю, что нашему жанру, въ настоящую минуту нашего искусства, сколько могу судить по нѣкоторымъ признакамъ, «Пиквикъ» и «Внучка» покажутся даже чѣмъ-то идеальнымъ, а сколько я замѣтилъ

по разговорамъ съ иными изъ нашихъ крупнѣйшихъ художниковъ — идеальнаго они боятся въ родѣ нечистой силы. Боязнь благородная, безъ сомнѣнія, но предразсудочная и несправедливая. Надо побольше смѣлости нашимъ художникамъ, побольше самостоятельности мысли и, можетъ быть, побольше образованія. Вотъ почему, я думаю, страдаетъ и нашъ историческій родъ, который какъ-то затихъ. Повидимому, современные наши художники даже боятся историческаго рода живописи и ударились въ жанръ, какъ въ единый истинный и законный исходъ всякаго дарованія. Мнѣ кажется, что и художникъ какъ будто предчувствуетъ что (по понятіямъ его) придется ему непремѣнно «идеальничать» въ историческомъ родѣ, а стало быть, лгать. «Надо изображать дѣйствительность какъ она есть», говорятъ они, тогда какъ такой дѣйствительности совсѣмъ нѣтъ, да и никогда на землѣ не бывало, потому что сущность вещей человѣку недоступна, а воспринимаетъ онъ природу такъ, какъ отражается она въ его идеѣ, пройдя черезъ его чувства; стало быть, надо дать поболѣе ходу идеѣ и не бояться идеальнаго. Портретистъ усаживаетъ, напримѣръ, субъекта, чтобы снять съ него портретъ, приготовляется, вглядывается. Почему онъ это дѣлаетъ? А потому, что онъ знаетъ на практикѣ, что человѣкъ не всегда на себя похожъ, а потому и отыскиваетъ «главную идею его физіономіи», тотъ моментъ, когда субъектъ наиболѣе на себя похожъ. Въ умѣніи пріискать и захватить этотъ моментъ и состоитъ даръ портретиста. А стало быть, что же дѣлаетъ тутъ художникъ, какъ не довѣряется скорѣе своей идеѣ (идеалу), чѣмъ предстоящей дѣйствительности! Идеалъ вѣдь тоже дѣйствительность, такая же законная, какъ и текущая дѣйствительность. У насъ какъ будто многіе не знаютъ того. Вотъ, напримѣръ, «Гимнъ Пиѳагорейцевъ» Бронникова: иной художникъ-жанристъ (и даже изъ самыхъ талантливыхъ) удивится даже, какъ возможно современному художнику хвататься за такія темы. А между тѣмъ, такія темы (почти фантастическія) такъ же дѣйствительны и такъ же необходимы искусству и человѣку, какъ и текущая дѣйствительность.

Что такое въ сущности жанръ? Жанръ есть искусство изображенія современной, текущей дѣйствительности, которую перечувствовалъ художникъ самъ лично и видѣлъ собственными глазами, въ противоположность исторической, напримѣръ, дѣйствительности, которую нельзя видѣть собственными глазами и которая изображается не въ текущемъ, а уже въ законченномъ видѣ. (Сдѣлаю Nota bene: мы говоримъ: «видѣлъ собственными

глазами». Вѣдь Диккенсъ никогда не видѣлъ Пиквика собственными глазами, а замѣтилъ его только въ многоразличіи наблюдаемой имъ дѣйствительности, создалъ лицо и представилъ его, какъ результатъ своихъ наблюденій. Такимъ образомъ, это лицо такъ же точно реально, какъ и дѣйствительно существующее, хотя Диккенсъ и взялъ только идеалъ дѣйствительности.) Между тѣмъ, у насъ именно происходитъ смѣшеніе понятій о дѣйствительности. Историческая дѣйствительность, напримѣръ, въ искусствѣ, конечно, не та, что текущая (жанръ) — именно тѣмъ, что она законченная, а не текущая. Спросите какого угодно психолога, и онъ объяснитъ вамъ, что если воображать прошедшее событіе и особливо давно прошедшее, завершенное, историческое (а жить и не воображать о прошломъ нельзя), то событіе *непремѣнно* представится въ законченномъ его видѣ, то есть съ прибавкою всего послѣдующаго его развитія, еще и не происходившаго въ тотъ именно историческій моментъ, въ которомъ художникъ старается вообразить лицо или событіе. А потому сущность историческаго событія и не можетъ быть представлена у художника точь-въ-точь такъ, какъ оно, можетъ быть, совершалось въ дѣйствительности. Такимъ образомъ, художника объемлетъ какъ бы суевѣрный страхъ того, что ему, можетъ быть, поневолѣ придется «идеальничать», что, по его понятіямъ, значитъ лгать. Чтобъ избѣгнуть мнимой ошибки, онъ придумываетъ (случаи бывали) смѣшать обѣ дѣйствительности — историческую и текущую; отъ этой неестественной смѣси происходитъ ложь пуще всякой. По-моему взгляду, эта пагубная ошибка замѣчается въ нѣкоторыхъ картинахъ г. Ге. Изъ своей «Тайной Вечери», напримѣръ, надѣлавшей когда-то столько шуму, онъ сдѣлалъ совершенный жанръ. Всмотритесь внимательнѣе: это обыкновенная ссора весьма обыкновенныхъ людей. Вотъ сидитъ Христосъ, но развѣ это Христосъ? Это, можетъ быть, и очень добрый молодой человѣкъ, очень огорченный ссорой съ Іудой, который тутъ же стоитъ и одѣвается, чтобы идти доносить, но не тотъ Христосъ, котораго мы знаемъ. Къ Учителю бросились его друзья утѣшать его, но спрашивается: гдѣ же и при чемъ тутъ послѣдовавшіе восемнадцать вѣковъ христіанства? Какъ можно, чтобъ изъ этой обыкновенной ссоры такихъ обыкновенныхъ людей, какъ у г. Ге, собравшихся поужинать, произошло нѣчто столь колоссальное?

Тутъ совсѣмъ ничего не объяснено, тутъ нѣтъ исторической правды; тутъ даже и правды жанра нѣтъ, тутъ все фальшивое.

Съ какой бы вы ни захотѣли судить точки зрѣнія, событіе это не могло такъ произойти: тутъ же все происходитъ совсѣмъ несоразмѣрно и непропорціонально будущему. Тиціанъ, по крайней мѣрѣ, придалъ бы этому Учителю хоть то лицо, съ которымъ изобразилъ Его въ извѣстной картинѣ своей «Кесарево Кесареви»; тогда многое бы стало тотчасъ понятно. Въ картинѣ же г. Ге просто перессорились какіе-то добрые люди; вышла фальшь и предвзятая идея, а всякая фальшь есть ложь и уже вовсе не реализмъ. Г-нъ Ге гнался за реализмомъ.

Однако, я и забылъ о выставкѣ. Впрочемъ... Какой же я репортеръ; я хотѣлъ лишь сдѣлать нѣсколько отмѣтокъ «по поводу». Тѣмъ не менѣе редакція обѣщаетъ помѣстить подробный отчетъ о картинахъ нашихъ художниковъ, отправляющихся на вѣнскую выставку; или, можетъ быть, еще лучше, постарается упомянуть о нихъ уже съ выставки, уже съ отчетомъ о впечатлѣніи, которое они произведутъ, въ свою очередь, на собравшихся иностранцевъ.

X.

Ряженый [1].

Кто тебя!

Въ «Русскомъ Мірѣ» (№ 103) появилась на меня ругательная замѣтка. Ни на одну ругательную статью я не отвѣчаю; на эту отвѣчу — по нѣкоторымъ соображеніямъ, а по какимъ — выяснится въ продолженіе отвѣта.

И, во-первыхъ, дѣло въ томъ, что ругатель мой, духовное лицо, — съ этой стороны менѣе всего ждалъ нападенія. «Замѣтка» подписана «Свящ. П. Касторскій». Что такое: «Свящ.»? Священникъ? Что можетъ означать это сокращеніе, кромѣ «священникъ»? Тѣмъ болѣе, что и рѣчь о церковномъ предметѣ. Въ 15—16 № «Гражданина» напечатана была повѣсть г. Недолина: «Дьячекъ». Ну, вотъ объ ней-то и дѣло.

Вотъ эта «замѣтка».

Холостыя понятія о женатомъ монахѣ.

Священнослужители и церковники весьма нерѣдко въ наше время бываютъ избираемы нашими повѣствователями и романистами въ герои своихъ повѣствованій; еще чаще они появляются тамъ въ качествѣ

[1] № 18 „Гражданина“ 1873 г.

вводныхъ, такъ сказать, аксессуарныхъ лицъ. Это и прекрасно, что ихъ описываютъ: въ духовномъ быту очень много типическихъ лицъ, и почему ихъ не изображать съ ихъ добрыми и худыми сторонами? Недавній успѣхъ „*Записокъ причетника*“ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ и потомъ еще большій успѣхъ „*Соборянъ*“ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ показываютъ, какъ много интереса могутъ возбуждать въ обществѣ художественныя изображенія бытовой среды нашего клира. Оба названныя произведенія представляли нашихъ клировыхъ людей съ разныхъ точекъ зрѣнія, и оба они прочитаны со вниманіемъ и удовольствіемъ. А почему? — Потому что они написаны хорошо, художественно и съ знаніемъ дѣла. Но совсѣмъ не то выходитъ, когда по подражательности или почему-нибудь другому, — напримѣръ, по самодѣянности или по легкомыслію — за это дѣло берутся люди, которые не имѣютъ о немъ никакого понятія. Они только конфузятъ себя и вредятъ дѣлу, устанавливая на него ложные взгляды, а потому проходить такія вредныя покушенія – карикатурить бытъ нашего духовенства — невозможно, и я, вслѣдъ за *псаломщикомъ*, недавно замѣтившимъ въ „Русскомъ Мірѣ“ невѣжество писателя Достоевскаго насчетъ пѣвчихъ, не могу промолчать о еще болѣе грубомъ, смѣшномъ и непростительномъ невѣжествѣ, обличенномъ опять въ томъ же журналѣ „Гражданинѣ“, подъ которымъ подписывается редакторомъ тотъ же г. Достоевскій.

Остановимся пока тутъ. Что значитъ «вслѣдъ за *псаломщикомъ*, обличившимъ въ «Русскомъ Мірѣ» невѣжество писателя Достоевскаго»? Не читалъ. (И опять «Русскій Міръ»!) Отыскиваю (№ 87), дѣйствительно есть обличеніе, подписано «Псаломщикъ». Посмотримъ, что такое:

О пѣвческой ливреѣ.

(Письмо въ редакцію.)

„Въ 13 № журнала „Гражданинъ“ (26 марта) мнѣ случилось прочесть статью г. Ѳ. Достоевскаго по поводу академической художественной выставки. Г-нъ Достоевскій, трактуя въ этой статьѣ о псаломщикахъ, изображенныхъ художникомъ Маковскимъ, написалъ такія строки: „Все это господа въ *официальныхъ костюмахъ* съ гладко-гладко выбритыми подбородками. Правда, и *всѣ пѣвчіе надѣваютъ такіе костюмы* лишь по службѣ и *искони надѣваютъ такіе костюмы и искони такъ велось съ патріархальныхъ временъ*“...

Прервемъ на минуту: во-первыхъ, такой глупой фразы у меня совсѣмъ нѣтъ. У меня написано: «Правда, и всѣ пѣвчіе надѣваютъ такіе костюмы лишь по службѣ и искони такъ велось, съ патріархальныхъ временъ» ... — а это совсѣмъ другое.

Продолжаемъ выписку:

Это неосновательно: ни *искони*, ни съ *патріархальныхъ* временъ клировые пѣвцы въ русской церкви никогда не надѣвали на себя такихъ костюмовъ, въ какихъ мы видимъ ихъ нынѣ, и въ какихъ псаломщики изображены на картинѣ г. Маковскаго. Эта ливрея есть позднѣйшее позаимствованіе, взятое съ Запада или, точнѣе сказать, изъ Польши, и

въ числѣ достопочтенныхъ іерарховъ нашей церкви было и есть не мало такихъ, которые находятъ этотъ ливрейный маскарадъ неумѣстнымъ и пѣвцы состоящихъ при нихъ хоровъ поютъ въ обыкновенныхъ черныхъ сюртукахъ, что, конечно, гораздо скромнѣе и пристойнѣе польскаго контуша. „Искони“ же, во времена „патріархальныя“ пѣвцы пѣли стоя въ длинныхъ черныхъ азямахъ и непремѣнно съ лѣстовками въ рукѣ; также точно стоятъ пѣвцы и нынѣ въ церквахъ единовѣрцевъ и моленныхъ раскольниковъ.

NB. Выходитъ, пожалуй, что у насъ, въ теперешнихъ православныхъ храмахъ, пѣвчіе поютъ сидя. Свѣдущаго человѣка всегда полезно выслушать.

Опасаясь (есть чего!) дабы черезъ невѣдующее слово г. Достоевскаго не укрѣплялось неосновательное мнѣніе насчетъ этихъ ливрей (землетрясеніе будетъ отъ этого, что ли?), которыя давно бы пора перекроить на русскій ладъ, я имѣю честь просить редакцію „Русскаго Міра“ дать мѣсто этимъ краткимъ строкамъ моимъ.

Псаломщикъ

Вотъ эта замѣтка псаломщика, на которую ссылается свящ. Касторскій. Прежде чѣмъ будемъ продолжать Касторскаго, кончимъ съ «псаломщикомъ».

Чего вы разсердились, г. псаломщикъ? Вы указываете ошибку и учите, а между тѣмъ ошибаетесь сами. Вы говорите: «Это неосновательно: ни *искони*, ни съ *патріархальныхъ* временъ клировые пѣвцы въ русской церкви никогда не надѣвали на себя такихъ костюмовъ» ... Какъ такъ? Почему «это неосновательно»? Почему нельзя сказать: *искони* и съ *патріархальныхъ* временъ? Что же, они вчера, что ли, такъ одѣлись? Вѣдь, по крайней мѣрѣ, при пра-пра-прадѣдахъ? Съ насупившимся видомъ глубокаго историка вы являетесь насъ поправлять, а между тѣмъ сами ничего не говорите точнаго? Ждешь, что глубокій историкъ съ точностью опредѣлитъ время, годъ, а пожалуй, и день, когда клиръ въ первый разъ одѣлся въ эти костюмы, а вы, послѣ всего, что натрубили, довольствуетесь вялой догадкой: «Это де у насъ съ польскаго», — и только! А звону-то, звону-то!

Вы только отвѣтьте, г. псаломщикъ, какъ по-вашему: польское вліяніе, отразившееся одновременно у насъ на очень многомъ и даже вотъ на клирѣ — давно оно было, по-вашему, или всего только третьяго дня? Такъ почему же, ради всего сколько-нибудь толковаго, нельзя выразиться, что *искони* такъ велось, съ *патріархальныхъ* временъ? Не только съ патріархальныхъ, но почти съ *патріаршими* временами это соприкасается.

Эти костюмы (или подобные имъ) появились съ Петра Великаго, стало быть, почти соприкасались съ временами патріаршими, немногаго не достало. Развѣ это не-

давно? Нельзя, что ли, сказать *искони?* Или съ «патріархальныхъ временъ»? Если же я, въ статьѣ моей, и самъ не опредѣлилъ съ исторической точностью: съ какого именно времени наши пѣвчіе въ эти костюмы одѣваются, то потому, что и намѣренія сего не питалъ, и цѣли такой не имѣлъ, а единственно хотѣлъ выразить, что заведено это очень давно, — такъ давно, что всегда можно выразиться «*искони*», и это всякій пойметъ, кто прочтетъ статью мою. Не про Димитрія Донского время я говорилъ и не про Ярославово. Я хотѣлъ сказать, что «очень давно» и ничего больше.

Но довольно съ ученымъ псаломщикомъ. Выскочилъ, камахалъ руками, и — ничего не вышло. По крайней мѣрѣ, этотъ выразился вѣжливо: «Опасаясь, дескать, дабы черезъ *незъдующее* слово г. Достоевскаго» и т. д. Но свящ. Касторскій разомъ перескакиваетъ предѣлы, поставленные «псаломщикомъ». Рѣзвый человѣкъ!.. «Невѣжество писателя Достоевскаго насчетъ пѣвчихъ»... «Не могу промолчать о еще болѣе грубомъ, смѣшномъ и непростительномъ невѣжествѣ, обличенномъ опять въ томъ же журналѣ «Гражданинѣ», подъ которымъ подписывается редакторомъ тотъ же г. Достоевскій».

Подумаешь, что за страшныя преступленія натворилъ этотъ Достоевскій: *простить* даже невозможно! Духовное лицо, которое, казалось, должно бы быть сама любовь, и то простить не въ состояніи!.. Но, однако, выпишемъ всего Касторскаго, угостимъ читателей. Зачѣмъ «хорошаго понемножку»? Чѣмъ больше его, тѣмъ лучше, — вотъ моя мысль.

Въ 15—16 № журнала „Гражданинъ“, вышедшемъ 16 сего апрѣля, напечатанъ *„Дьячекъ. Разсказъ въ пріятельскомъ кругу, г. Недолина“*. Разсказъ этотъ имѣетъ самое ложное и невозможное основаніе: въ немъ представленъ голосистый дьячекъ, котораго *бьетъ* его жена и *бьетъ* его такъ усердно и жестоко, что онъ отъ ея побоевъ сбѣгаетъ въ монастырь, гдѣ и „обрекъ себя Господу и не долженъ больше ни о чемъ земномъ думать“. Онъ остается въ монастырской оградѣ, а долго бившая его жена его, дьячиха, стоитъ за оградою; онъ тамъ звонко распѣваетъ переложеніе псалма:

И свять, о Боже, твой избранникъ!
Мечемъ ли руку ополчитъ,
Велѣній Господа посланникъ,
Онъ исполина сокрушитъ.

А покинутая жена опять „стоитъ у монастырской ограды и, приложивъ свою пылавшую голову къ монастырской стѣнѣ, плачетъ“ и проситъ выманить къ ней опредѣлившагося въ монастырь мужа, съ тѣмъ, что она „будетъ ему рабой и собакой“. Но мужъ не вышелъ и такъ и умеръ въ монастырѣ.

Какая жалкая, невозможная и смѣшная небылица! Кто этотъ г. Недолинъ, мы не знаемъ, но всеконечно это человѣкъ совсѣмъ не знающій ни русскаго законодательства, ни русской жизни, — не знающій ихъ до того, что онъ полагаетъ, будто въ Россіи можно женатому человѣку опредѣлиться въ монастырь и будто его тамъ станутъ держать; но какъ же не знать этого редактору г. Достоевскому, который недавно такъ пространно заявлялъ, что онъ большой христіанинъ и при томъ православный и православно вѣрующій въ самыя мудреныя чудеса? Развѣ, можетъ быть, онъ и это принятіе въ монастырь женатаго человѣка причисляетъ къ чудесамъ, — тогда это другое дѣло, но всякій мало-мальски знающій законы и уставы своей церкви можетъ легко убѣдить г. Достоевскаго, что даже такое чудо у насъ невозможно, потому что оно строго запрещено и преслѣдуется нашими положительными законами, которыхъ никакое монастырское начальство преступить не можетъ, и человѣка, имѣющаго живую жену, въ монастырь не приметъ.

Крайне бѣдная и неискусно скомпанованная фабула разсказа „Дьячекъ“, конечно, все-таки могла бы кое-что выиграть, если бы ей была дана вѣроподобная развязка, а таковая вполнѣ возможна была для писателя или для редактора, хотя немножечко знакомаго съ бытомъ изображаемой среды. Разсказъ, напримѣръ, могъ быть доведенъ до того весьма знакомаго драматическаго положенія, что дьячекъ, чтобы скрыться отъ сварливой жены, бѣжитъ въ монастыри, но изъ однихъ его выгоняетъ начальство, потому что онъ женатъ, а изъ другихъ сама жена его вытребовываетъ и, пожалуй, опять его бьетъ... Тогда, не видя нигдѣ въ отечествѣ спасенія отъ жены и въ то же время стремясь къ монастырской жизни, злополучный дьячекъ могъ бы, напримѣръ, бѣжать на Аѳонъ, гдѣ подъ мусульманскимъ управленіемъ турецкаго султана православная церковь дѣйствуетъ во многомъ самостоятельнѣе, чѣмъ въ Россіи. Тамъ, какъ извѣстно, въ монастыряхъ иногда не боятся принимать и женатыхъ людей, ищущихъ одиночества и тамъ-то немилосердно побиваемый женою русскій дьячекъ могъ бы пріютиться и молиться, и пѣть, но во всякомъ случаѣ, только пѣть отнюдь не то стихотворное переложеніе, которое поетъ дьячекъ „Гражданина“, потому что, *во-первыхъ*, какъ основательно извѣстно, это переложеніе у лицъ духовнаго званія вниманіемъ не пользуется; *во, вторыхъ*, оно на голосъ не положено и не поется, а *въ-третьихъ* — никакихъ свѣтскихъ стихотворныхъ переложеній въ стѣнахъ православныхъ монастырей распѣвать не дозволяется и запрещеніемъ этимъ никто, живущій въ монастырѣ, манкировать не смѣетъ, дабы не нарушать тишины, подобающей мѣсту.

Свящ. П. Касторскій.

Теперь отвѣтимъ по пунктамъ и, во-первыхъ, успокоимъ взволнованнаго священника Касторскаго въ самомъ главномъ пунктѣ, объяснивъ ему, что повѣсть «*Дьячекъ*» вовсе не бытовая. Почтенному автору ея г. Недолину (не псевдонимъ), часть своей жизни проведшему на самой дѣятельной государственной службѣ, никакого дѣла не было, въ настоящемъ случаѣ, до церковнаго быта. Его герой «*дьячекъ*» могъ безъ всякой потери для себя и для разсказа быть какимъ-нибудь, напримѣръ, почтамтскимъ чиновникомъ, и если остался въ разсказѣ дьячкомъ, то

единственно потому, что происшествіе это истинное. Поэма эта — исключительная, почти фантастическая. Знаете ли вы, священникъ Касторскій, что истинныя происшествія, описанныя со всею исключительностью ихъ случайности, — почти всегда носятъ на себѣ характеръ фантастическій, почти невѣроятный? Задача искусства — не случайности быта, а общая ихъ идея, зорко угаданная и вѣрно снятая со всего многоразличія однородныхъ жизненныхъ явленій. Въ разсказѣ г. Недолина обсбщено совсѣмъ другое явленіе человѣческаго духа. Если бы, напротивъ, онъ имѣлъ претензію на бытовое изображеніе, то, съ этой точки зрѣнія и съ однимъ своимъ анекдотомъ, непремѣнно попалъ бы въ исключительность. Недавно, т. е. нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, въ одномъ изъ нашихъ знатнѣйшихъ монастырей случилось, говорятъ, что одинъ глупый и злой монахъ убилъ въ школѣ десятилѣтняго мальчика жестокими побоями, да еще при свидѣтеляхъ. Ну, не фантастическое ли это приключеніе на первый взглядъ? А между тѣмъ оно, кажется, вполнѣ истинное. Ну, опиши его кто-нибудь — мигомъ закричатъ, что это невѣроятно, исключительно, изображено съ намѣреніемъ предумышленнымъ — и будутъ правы, если судить съ точки зрѣнія одной бытовой вѣрности изображенія нашихъ монастырей. Вѣрности не было бы и съ однимъ такимъ анекдотомъ: и понынѣ найдется въ монастыряхъ нашихъ ангельское житіе во славу Божію и церкви, и приключеніе съ злымъ монахомъ останется навсегда исключительнымъ. Но для повѣствователя, для поэта могутъ быть и другія задачи, кромѣ бытовой стороны; есть общія, вѣчныя и, кажется, вовѣки неизслѣдимыя глубины духа и характера человѣческаго. А ужъ вамъ такъ и кажется, что ужъ если написано «дьячекъ», такъ ужъ непремѣнно спеціальное описаніе быта; а ужъ коли описаніе быта, такъ ужъ непремѣнно отмежеванные и патентованные писатели для изображенія его и не смѣй, дескать, соваться на нашу ниву; это нашъ уголъ, наша эксплоатація, наша доходная статья. Не правда ли, вѣдь это васъ взволновало, священникъ Касторскій? Помилуйте, можно написать перомъ слово «дьячекъ» совсѣмъ безъ намѣренія отбивать что-нибудь у г. Лѣскова. И потому успокойтесь.

Успокоивъ васъ, попрошу васъ обратить вниманіе на заглавіе вашей полемической статьи:

«Холостыя понятія о женатомъ монахѣ».

И мимоходомъ спрошу: къ чему тутъ «холостыя»? Насколько измѣнятся понятія, если они будутъ женатыя? И развѣ есть холостыя понятія и женатыя понятія? Ну, да вы не литераторъ, и все это вздоръ; вы — взволнованный священникъ Касторскій и съ васъ слогу нечего спрашивать, особенно въ такомъ состояніи. Главное дѣло вотъ въ чемъ: кто вамъ сказалъ, что нашъ дьячекъ поступилъ въ монахи? Гдѣ, во всей повѣсти г. Недолина, нашли вы, что онъ постригся? Между тѣмъ это очень важно; озаглавивъ такимъ образомъ, вы читателя, незнакомаго съ повѣстью г. Недолина, прямо вводите въ недоумѣніе: «Да, дѣйствительно, подумаетъ онъ, женатый дьячекъ не могъ поступить въ монахи! Какъ же этого не знаетъ «Гражданинъ«?» Такимъ образомъ, отведя словомъ «монахъ» глаза читателю, вы уже побѣдоносно восклицаете въ срединѣ вашей статьи:

Какая жалкая, невозможная и смѣшная небылица!.. Какъ же не знать этого редактору г. Достоевскому, который" и т. д.

А между тѣмъ вы просто-за-просто подтасовали дѣло, и я преспокойно ловлю васъ на плутнѣ. Но вы немножко ошиблись, батюшка, и разсчитали безъ хозяина. Женатаго въ монахи не *постригутъ*, это такъ, но почему «никакое монастырское начальство имѣющаго живую жену въ монастырь не приметъ», какъ утверждаете вы съ азартомъ? Это откудова почерпнули вы такое извѣстіе? Кто-нибудь, напримѣръ, имѣлъ бы намѣреніе поселиться въ монастырѣ (гдѣ есть, напримѣръ, удобное помѣщеніе), но онъ женатъ, жена его гдѣ-нибудь въ столицѣ или за границей, и вотъ, потому только, что онъ женатъ, его гонятъ вонъ изъ монастыря? Такъ ли это? Не знаете дѣла, батюшка, а еще духовное лицо. Я вамъ даже смогъ бы указать на нѣкоторыя, извѣстныя всему петербургскому обществу лица, памятныя въ обществѣ до сихъ поръ и которыя кончили тѣмъ, что поселились жить подъ конецъ жизни въ монастыряхъ, и вотъ уже живутъ тамъ очень долго, а между тѣмъ женаты, и жены ихъ живы до сихъ поръ. Все произошло съ обоюднаго согласія. Такъ точно *поселился жить* въ монастырѣ и дьячекъ г. Недолина. Уничтожьте только подтасовку постриженія въ монахи, съ умысломъ вами придуманную, и чего совсѣмъ нѣтъ во всей повѣсти г. Недолина, и вамъ тотчасъ же все объяснится. Тутъ даже лучше, чѣмъ съ «обоюднаго согласія» произошло; тутъ прямо произошло съ соизволенія начальства. Я васъ, батюшка, имѣю средства на этотъ счетъ въ высшей степени успокоить. Предположите, что я навелъ справки и вотъ какія получилъ свѣдѣнія:

Во-первыхъ, артистъ-дьячекъ, еще за полгода до *поступленія* въ монастырь, когда, при прощаніи съ помѣ-

щикомъ, открылся ему въ первый разъ, что намѣренъ уйти *жить* въ монастырь, уже и тогда зналъ, что говорилъ. Именно потому, что уже сообщилъ о намѣреніи своемъ отцу Іоанну, игумену монастыря, который его очень любилъ, то есть болѣе любилъ его пѣніе, потому что былъ чрезвычайный любитель музыки и Софрону изо всѣхъ силъ покровительствовалъ; даже самъ, кажется, и переманивалъ его *жить* въ монастырѣ. Дьячекъ поколебался на предложеніе помѣщика ѣхать за границу и вотъ почему прождалъ еще съ полгода, но когда кончилось его терпѣніе, ушелъ въ монастырь. Устроить же это было очень легко: отецъ Іоаннъ состоялъ въ тѣснѣйшей дружбѣ съ епархіальнымъ начальникомъ, а когда два такія лица согласились, то и предлоговъ не надо. Но навѣрно былъ отысканъ и предлогъ, по которому дьячекъ былъ, такъ сказать, «откомандированъ» въ монастырь. Обѣтъ же данный дьячкомъ, «посвятить себя Господу» (на что вы такъ особенно сердитесь), былъ совершенно свободный, внутренній, не офиціальный, дѣло его совѣсти, данъ самому себѣ. Мало того, въ разсказѣ г. Недолина есть совершенно ясное указаніе на то, что дьячекъ только *проживалъ* въ монастырѣ, а отнюдь не былъ постриженъ въ монахи, какъ вы съ такою безцеремонностью присочинили, батюшка. Именно: воротившійся помѣщикъ все еще уговариваетъ Софрона выйти изъ монастыря и отправиться за границу, и дьячекъ въ первый день переговоровъ даже колеблется. Ну, могло ли бы это быть, если бъ Софронъ былъ уже постриженъ? Не маскируйте, наконецъ, и того, что вѣдь это былъ артистъ неслыханный, по крайней мѣрѣ, одаренный неслыханно, и такимъ онъ является въ повѣсти съ самаго начала. А если такъ, то понятно и такое пристрастіе къ нему отца Іоанна, страстнаго любителя музыки...

«Но вѣдь это не объяснено въ повѣсти!» воскликнете вы въ чрезвычайномъ гнѣвѣ. Нѣтъ, отчасти объяснено; очень о многомъ можно догадаться изъ разсказа, хотя онъ быстръ и кратокъ. Но положимъ, и не все объяснено, — зачѣмъ объяснять? Было бы только вѣроятно, а уничтожьте подтасовку постриженія въ монахи и все станетъ вѣроятно. Да, разсказъ г. Недолина нѣсколько сжатъ, но знаете, батюшка, вы вотъ человѣкъ не литературный, что и доказали, а между тѣмъ я вамъ прямо скажу, что ужасно много современныхъ повѣстей и романовъ выиграли бы, если бъ ихъ сократить. Ну, что толку, что авторъ тянетъ васъ въ продолженіе тридцати листовъ и вдругъ, на тридцатомъ листѣ, ни съ того, ни съ чего, бросаетъ свой разсказъ въ Петербургѣ или

Москвѣ, а самъ тащитъ васъ куда-нибудь въ Молдо-Валахію, единственно съ тою цѣлью, чтобъ разсказать вамъ о томъ, какъ стая воронъ и совъ слетѣла съ какой-то молдо-валахской крыши и, разсказавъ, вдругъ опять бросаетъ и воронъ, и Молдо-Валахію, какъ будто ихъ не бывало вовсе, и уже ни разу болѣе не возвращается къ нимъ въ остальномъ разсказѣ, такъ что читатель остается, наконецъ, въ совершенномъ недоумѣніи. Изъ-за денегъ пишутъ, чтобы только больше страницъ написать! Г. Недолинъ написалъ иначе и хорошо, можетъ быть, сдѣлалъ.

«Но жена, жена!» восклицаете вы, вращая глазами, «какъ же жена позволила и не жаловалась, какъ «не выстребовала» она его закономъ, силой!» А вотъ тутъ-то вы, и именно на женскомъ-то этомъ пунктѣ, всего больше и спасовали, батюшка. Вы вѣдь до того разыгрались въ вашей статьѣ, что даже сами принялись сочинять романъ, а именно, какъ жена своего дьячка, наконецъ, воротила и опять начала колотить, какъ онъ «сбѣжалъ» въ другой монастырь, какъ изъ другого воротила, какъ онъ сбѣжалъ, наконецъ, на Аѳонъ и тамъ уже успокоился подъ «*мусульманскимъ*» управленіемъ султана (представьте, а вѣдь я до сихъ поръ думалъ, что султанъ христіанинъ!).

Шутки въ сторону; знайте, батюшка, что хоть вамъ бы и слѣдовало, уже по одному сану вашему, немножко знать сердце человѣческое, но вы его вовсе не знаете. Вы хоть и плохой сочинитель, но, можетъ быть, если бы взялись за перо, дѣйствительно, описали бы бытовую сторону духовенства вѣрнѣе г. Недолина, но въ сердцѣ человѣческомъ г. Недолинъ знаетъ болѣе вашего. Женщина, которая цѣлые дни выстаиваетъ у монастырской стѣны и плачетъ, — не пойдетъ подавать просьбы и не станетъ уже дѣйствовать силой. Довольно силы! У васъ, вотъ, все битье да битье; въ порывѣ авторскаго увлеченія, вы продолжаете романъ и опять у васъ битье. Нѣтъ, ужъ довольно битья! Вспомните, батюшка, у Гоголя въ «Женитьбѣ», въ послѣдней сценѣ, послѣ того какъ Подколесинъ выпрыгнулъ въ окошко, Кочкаревъ кричитъ: «воротить его, воротить!» воображая, что, выпрыгнувши въ окошко, женихъ все еще пригоденъ для свадьбы. Ну, вотъ, точно такъ же разсуждаете и вы. Кочкарева останавливаетъ сваха словами: «Эхъ, дѣла ты свадебнаго не знаешь; добро бы въ дверь вышелъ, а ужъ коли въ окно махнулъ, такъ ужъ тутъ мое почтеніе». Сблагородьте случай съ Подколесинымъ, и онъ какъ разъ придется къ положенію бѣдной, оставленной мужемъ

дьячихи. Нѣтъ, батюшка, битье кончилось! Эта женщина, — этотъ исключительный характеръ, страстное и сильное существо, гораздо высшее, между прочимъ, по душевнымъ силамъ, чѣмъ артистъ, ея мужъ, — эта женщина, подъ вліяніемъ среды, привычекъ, необразованности, могла, дѣйствительно, начать битьемъ. Толковому, понимающему человѣку тутъ именно реализмъ событія понравится, и г. Недолинъ мастерски поступилъ, что не смягчилъ дѣйствительности. Слишкомъ сильныя духомъ и характеромъ женщины, особенно если страстны, иначе и не могутъ любить, какъ деспотически, и имѣютъ даже особенную наклонность къ такимъ слабымъ, ребяческимъ характерамъ, какъ у артиста-дьячка. И за что она такъ полюбила его? Развѣ она знаетъ это? Онъ плачетъ, она не можетъ не презирать его слезъ, но плотоядно, сама мучаясь, наслаждается его слезами. Она ревнива: «не смѣй пѣть при господахъ!» Она бы, кажется, проглотила его живьемъ изъ любви. Но вотъ онъ бѣжалъ отъ нея и — никогда бы она тому не повѣрила! Она горда и самонадѣянна, она знаетъ, что красавица и — странная психологическая задача, — повѣрите ли, вѣдь она все время была убѣждена, что онъ точно такъ же ее безъ памяти любитъ, какъ и она его, безъ нея жить не можетъ, несмотря на битье! Вѣдь въ этомъ состояла вся ея вѣра; мало того, тутъ и сомнѣній для нея не существовало, и вдругъ ей все открывается: этотъ ребенокъ, артистъ, ея нисколько не любитъ, давно уже пересталъ любить, можетъ быть, никогда не любилъ и прежде! Она вдругъ смирилась, поникла, раздавлена, а отказаться отъ него все-таки не въ силахъ, безумно любитъ, еще безумнѣе, чѣмъ прежде. Но такъ какъ характеръ сильный, благородный и необыкновенный, то и вырастаетъ вдругъ неизмѣримо и надъ прежнимъ бытомъ, и надъ прежней средой своей. Нѣтъ, ужъ теперь она его не потребуетъ силой. Силой ей его теперь и даромъ не надо; она все еще неизмѣримо горда, но гордость эта уже другого рода, уже облагородилась: она скорѣе умретъ съ горя тутъ же, въ травѣ у ограды, а не захочетъ употребить насиліе, писать просьбы, доказывать права свои. Ахъ, батюшка, да вѣдь въ этомъ и вся повѣсть, а вовсе не въ бытовой сторонѣ церковниковъ! Нѣтъ, батюшка, этотъ крошечный разсказикъ гораздо значительнѣе, чѣмъ вамъ кажется, и поглубже. Повторяю, вы такъ не напишете, даже не поймете въ чемъ дѣло. У васъ, отчасти, душа кочкаревская (въ литературномъ отношеніи, разумѣется, — далѣе я не иду), какъ и имѣлъ я вамъ честь замѣтить...

Что же касается до сочинительства вашего и до пониманія художественнаго, то къ вамъ, въ этомъ отношеніи, вполнѣ, я думаю, можно приложить извѣстную эпиграмму Пушкина:

Картину разъ высматривалъ сапожникъ
И въ обуви ошибку указалъ;
Взявъ тотчасъ кисть, исправился художникъ
„Вотъ“, подбочась, сапожникъ продолжалъ:
„Мнѣ кажется, лицо немного криво...
А эта грудь не слишкомъ ли нага“.
Но Апеллесъ прервалъ нетерпѣливо:
„Суди, дружокъ, не свыше сапога!“
. . . . . .

Вы, батюшка, точь-въ-точь какъ этотъ сапожникъ, съ тою только разницею, что даже и въ обуви не сумѣли указать г. Недолину, что, надѣюсь, я вамъ и доказалъ основательно. А подтасовкой ничего не возьмете. Тутъ, видите ли, чтобы понимать что-нибудь въ душѣ человѣческой и «судить повыше сапога», надо бы побольше развитія въ другую сторону, поменьше этого цинизма, этого «духовнаго» матеріализма; поменьше этого презрѣнія къ людямъ, поменьше этого неуваженія къ нимъ, этого равнодушія. Поменьше этой плотоядной стяжательности, побольше вѣры, надежды, любви! Посмотрите, напримѣръ, съ какимъ грубымъ цинизмомъ обращаетесь вы со мной лично, съ какимъ совсѣмъ несвойственнымъ вашему сану неприличіемъ говорите о чудесахъ. Вѣрить не хотѣлъ, когда прочелъ у васъ слѣдующее про себя:

!!... Но какъ же не знать этого редактору г. Достоевскому, который недавно такъ пространно заявлялъ, что онъ большой христіанинъ и при томъ православный и православно вѣрующій въ самыя мудреныя чудеса? Развѣ, можетъ быть, онъ и это принятіе въ монастырь женатаго человѣка причисляетъ къ чудесамъ, — тогда это другое дѣло...

Во-первыхъ, батюшка, вы и тутъ сочинили (экая вѣдь страсть у васъ къ сочинительству!) Никогда и нигдѣ не объявлялъ я о себѣ *лично* ничего о вѣрѣ моей въ чудеса. Все это вы выдумали, и я васъ вызываю указать: гдѣ вы это нашли? Позвольте еще: если бъ я, Ѳ. Достоевскій, гдѣ-нибудь и объявилъ о себѣ (чего не было), то ужъ, повѣрьте, не отказался бы отъ словъ моихъ изъ-за какого либеральнаго страху, или страху ради касторскаго. Просто-за-просто ничего подобнаго не было, и я только констатирую фактъ. Но если бы и было — что вамъ-то до вѣры моей въ чудеса? Чѣмъ они подходятъ къ дѣлу? И что такое мудреныя чудеса и немудреныя? Какъ уживаетесь вы съ подобными раз-

дѣленіями сами? Вообще же желаю, чтобы въ этомъ отношеніи вы оставили меня въ покоѣ — уже хоть по тому одному, что приставать ко мнѣ съ этимъ вовсе къ вамъ не идетъ, несмотря на все современное просвѣщеніе ваше. Духовное лицо, и такъ раздражительны! Стыдно, г. Касторскій.

А знаете, вѣдь вы вовсе не г. Касторскій, а ужъ тѣмъ болѣе не священникъ г. Касторскій, и все это поддѣлка и вздоръ. Вы *ряженый*, вотъ точь-въ-точь такой, какъ на святкахъ. И, знаете, что еще. Ни единой то самой маленькой минутки я не пробылъ въ обманѣ; тотчасъ же узналъ ряженаго и вмѣняю себѣ это въ удовольствіе, ибо вижу отсюда вашъ длинный носъ: вы вполнѣ были увѣрены, что я шутовскую маску, вывѣсочной работы, приму за лицо настоящее. Знайте тоже, что я и отвѣчалъ вамъ немного уже слишкомъ развязно единственно потому, что сейчасъ же узналъ переряженаго. Если бы вы были въ самомъ дѣлѣ священникомъ, я, несмотря на всѣ ваши грубости, которыя въ концѣ вашей статьи доходятъ до какого-то побѣдоносно-семинарскаго ржанья, — все-таки отвѣтилъ бы вамъ «съ соблюденіемъ», — не изъ личнаго къ вамъ уваженія, а изъ уваженія къ вашему высокому сану, къ высокой идеѣ, которая въ немъ заключается. Но такъ какъ вы всего только ряженый, то и должны понести наказаніе. Наказаніе начну съ того, что объясню вамъ подробно, почему васъ узналъ (между нами, я даже предугадалъ, кто именно подъ маской скрывается, но имя вслухъ не объявлю, а оставлю при себѣ до времени) и это вамъ естественно будетъ очень досадно.

— А если предугадали, то почему же отвѣчали какъ священнику, — спросите вы, — къ чему написали предварительно столько лишняго?

— А по платью встрѣчаютъ, — отвѣчаю я вамъ, — и если написалъ что-нибудь непріятное г. «священнику», то ужъ пусть возьметъ это на свою совѣсть тотъ господинъ, который выдумалъ и употребилъ недостойный пріемъ перерядиться въ священника. Да, недостойный пріемъ, и онъ самъ это чувствовалъ. Мало того, онъ, сколько могъ, оберегъ себя. Онъ не подписался: «священникъ П. Касторскій», а подписался сокращенно: Свящ. П. Касторскій. *Свящ.* все-таки не священникъ, а если ужъ крѣпко обличать, всегда можно сказать, что подразумѣвался «*священнолюбецъ*», или что-нибудь въ такомъ родѣ.

Я узналъ васъ, г. ряженый, по слогу. Видите ли, въ

чемъ тутъ главная штука: въ томъ, что современные критики и хвалятъ, пожалуй, иногда современныхъ писателей-художниковъ, и даже публика довольна (потому что, что же ей, наконецъ, читать?). Но и критика понизилась уже очень давно, да и художники наши, большею частью, смахиваютъ на вывѣсочныхъ маляровъ, а не на живописцевъ. Не всѣ, конечно. Есть нѣкоторые и съ талантомъ, но большая часть самозванцы. Во-первыхъ, г. ряженый у васъ пересолено. Знаете ли вы, что значитъ говорить эссенціями? Нѣтъ? Я вамъ сейчасъ объясню. Современный «писатель-художникъ», дающій типы и отмежевывающій себѣ какую-нибудь въ литературѣ спеціальность (ну, выставлять кущовъ, мужиковъ и проч.), обыкновенно ходитъ всю жизнь съ карандашемъ и съ тетрадкой, подслушиваетъ и записываетъ характерныя словечки; кончаетъ тѣмъ, что наберетъ нѣсколько сотъ нумеровъ характерныхъ словечекъ. Начинаетъ потомъ романъ, и чуть заговоритъ у него купецъ или духовное лицо, — онъ и начинаетъ подбирать ему рѣчь изъ тетрадки по записанному. Читатели хохочутъ и хвалятъ и ужъ кажется бы вѣрно: дословно съ натуры записано, но оказывается, что хуже лжи, именно потому, что купецъ или солдатъ въ романѣ говорятъ эссенціями, т. е. какъ никогда ни одинъ купецъ и ни одинъ солдатъ не говоритъ въ натурѣ. Онъ, напримѣръ, въ натурѣ скажетъ такую-то, записанную отъ него же фразу, изъ десяти фразъ въ одиннадцатую. Одиннадцатое словечко характерно и безобразно, а десять словечекъ передъ тѣмъ ничего, какъ и у всѣхъ людей. А у типиста-художника онъ говоритъ характерностями сплошь, по записанному, — и выходитъ неправда. Выведенный типъ говоритъ *какъ по книгѣ*. Публика хвалитъ, ну, а опытнаго, стараго литератора не надуете.

И большею частью работа вывѣсочная, малярная. Между тѣмъ, «художникъ», считаетъ себя подъ конецъ за Рафаэля, и не разувѣришь его! Записывать словечки хорошо и полезно и безъ этого нельзя обойтись; но нельзя же и употреблять ихъ совсѣмъ механически. Правда, есть оттѣнки и между «художниками-записывателями»; одинъ все-таки другого талантливѣе, а потому употребляетъ словечки съ оглядкой, сообразно съ эпохой, съ мѣстомъ, съ развитіемъ лица и соблюдая пропорцію. Но эссенціозности все-таки избѣжать не можетъ. Драгоцѣнное правило, что высказанное слово серебряное, а невысказанное — золотое, давнымъ давно уже не въ привычкахъ нашихъ художниковъ. Мало мѣры. Чувство мѣры уже совсѣмъ исчезаетъ. Взять и то, наконецъ, что наши

художники (какъ и всякая ординарность) начинаютъ отчетливо замѣчать явленія дѣйствительности, обращать вниманіе на ихъ характерность и обрабатывать данный типъ въ искусствѣ уже тогда, когда большею частью онъ проходитъ и исчезаетъ, вырождается въ другой, сообразно съ ходомъ эпохи и ея развитія, такъ что всегда почти старое подаютъ намъ на столъ за новое. И сами вѣрятъ тому, что это новое, а не преходящее. Впрочемъ, подобное замѣчаніе для нашего писателя-художника нѣсколько тонко; пожалуй, и не поймете. Но я все-таки выскажу, что только геніальный писатель, или ужъ очень сильный талантъ угадываетъ типъ *современно* и подаетъ его *своевременно;* а ординарность только слѣдуетъ по его пятамъ, болѣе или менѣе рабски, и работая по заготовленнымъ уже шаблонамъ.

Я, напримѣръ, не встрѣчалъ еще ни одного священника, во всю мою жизнь, даже самаго высокообразованнаго, совершенно безъ всякихъ характерныхъ особенностей разговора, относящихся до его сословной среды. Всегда хоть капельку, да есть что-нибудь. Между тѣмъ, если бъ дословно стенографировать его разговоръ и потомъ напечатать, то, пожалуй, у иного высокообразованнаго и долго бывшаго въ обществѣ священника и не замѣтите никакой особенной характерности. Нашему «художнику» этого, естественно, мало, да и публика къ другому пріучена. Простонародье, напримѣръ, въ повѣстяхъ Пушкина, по мнѣнію большинства читателей, навѣрно говоритъ хуже, чѣмъ у писателя Григоровича, всю жизнь описывавшаго мужиковъ. Я думаю, и по мнѣнію многихъ художниковъ тоже. Не вытерпитъ онъ, что священникъ, напримѣръ, говоритъ почти безо всякой характерности, зависящей отъ сословія, отъ среды его, а потому и не помѣститъ его въ свою повѣсть, а помѣститъ характернѣйшаго. Такимъ образомъ, современнаго священника, при извѣстныхъ обстоятельствахъ и въ извѣстной средѣ, заставитъ говорить иногда, какъ священника начала столѣтія и тоже при извѣстныхъ обстоятельствахъ и извѣстной средѣ.

Священникъ Касторскій начинаетъ, какъ и всѣ, нѣкоторое время почти совсѣмъ не напоминая собою извѣстной среды.

Пока онъ хвалитъ хукожественность писателя Лѣскова, онъ говоритъ *какъ* и *всѣ,* безо всякой характерности словечекъ и мыслей, обличающихъ сословіе. Но такъ надо было автору: надо было его оставить въ покоѣ, чтобы литературная похвала вышла серьезнѣе, а порицаніе г. Недолину строже, ибо смѣшная и характерная фраза нарушила бы строгость. Но вдругъ авторъ, сообразивъ, что, вѣдь, пожалуй, читатель и не повѣритъ, что священникъ писалъ, — пугается и разомъ бросается въ типичности и уже тутъ ихъ цѣлый возъ. Что ни слово, то типичность! Изъ такой суматохи, естественно, выходитъ типичность фальшивая и не пропорціональная.

Главный признакъ человѣка необразованнаго, но почему-нибудь принужденнаго заговорить языкомъ и понятіями не своей среды — это нѣкоторая неточность въ употребленіи словъ, которыхъ онъ значеніе, положимъ, и знаетъ, но не знаетъ всѣхъ оттѣнковъ его употребленія въ сферѣ понятій другого сословія. «А потому *проходить* такія *вредныя* покушенія»... «невѣжествѣ, *обличенномъ* опять въ томъ журналѣ»... «въ немъ представленъ *голосистый* дьячекъ» и т. д. Послѣднее словцо *голосистый* — уже слишкомъ грубо, и именно тѣмъ, что свящ. Касторскій, желая выразить понятіе о лицѣ, одаренномъ прекраснымъ голосомъ пѣвца, думаетъ, что выражаетъ это понятіе словомъ голосистый. Авторъ-спеціалистъ забылъ, что хотя въ священнической средѣ и теперь, конечно, встрѣчаются малообразованные люди, но чрезвычайно мало до такой ужъ степени непонимающихъ значеніе словъ. Это годится для романа, г. ряженый, а дѣйствительности не выдерживаетъ. Такое ошибочное выраженіе прилично было бы развѣ пономарю, а все же не священнику. Не слѣжу за всѣми выраженіями далѣе; повторяю, ихъ тамъ цѣлый возъ, чрезвычайно грубо натасканный изъ тетрадки. Но хуже всего то, что типичникъ-авторъ (если говорятъ о художникѣ-авторѣ, то возможно понятіе и о *ремесленникѣ*-авторѣ, а слово *типичникъ* опредѣляетъ ремесло или мастерство), что типичникъ-авторъ выставилъ свой типъ въ такомъ непривлекательномъ нравственномъ видѣ. Надо бы выставить все-таки въ свящ. Касторскомъ человѣка съ достоинствомъ, добродѣтельнаго и типичность ничему бы тутъ не помѣшала. Но типичникъ былъ самъ поставленъ въ затруднительное положеніе, изъ котораго и не сумѣлъ вывернуться: ему непремѣнно надо было обругать своего собрата-автора, поглумиться надъ нимъ, и вотъ свои прекрасныя побужденія онъ, переряженный, поневолѣ долженъ былъ навязать своему священнику. А ужъ насчетъ чудесъ — типичникъ совсѣмъ не сдержалъ себя. Вышла ужасная глупость: духовное лицо — да еще глумится надъ чудесами и дѣлитъ ихъ на мудреныя и немудреныя! Плохо, г. типичникъ.

Я даже думаю, что и «Псаломщикъ» — произведеніе того же пера: очень ужъ перенаивничалъ неумѣлый мастеровой въ окончаніи, именно въ «опасеніяхъ» пса-

ломщика, которыя слишкомъ ужъ не блистаютъ умомъ. Однимъ словомъ, господа, вся эта вывѣсочная работа, положимъ, еще и сойдетъ въ повѣстяхъ, но, повторяю вамъ, не выдержитъ столкновенія съ дѣйствительностью и тотчасъ же обличитъ себя. Не вамъ, господа-художники, надуть стараго литератора.

Что же это, шутки, что ли, съ ихъ стороны? И, нѣтъ-нѣтъ, вовсе не шутки. Это — это, такъ сказать, дарвинизмъ, борьба за существованіе. Не смѣй, дескать, заходить на нашу ниву. И чѣмъ могъ вамъ повредить, господа, г. Недолинъ? Увѣряю же васъ, что онъ вовсе не имѣетъ намѣренія описывать бытовую сторону духовенства, можете вполнѣ успокоиться. Правда, смутило меня, на одно мгновеніе, одно странное обстоятельство: вѣдь если ряженый типичникъ напалъ на г. Недолина, то, ругая его, въ противоположность ему долженъ бы былъ хвалить самого себя. (На этотъ счетъ у этихъ людей нѣтъ ни малѣйшаго самолюбія: съ полнѣйшимъ безстыдствомъ готовы они писать и печатать похвалы себѣ сами и собственноручно). А между тѣмъ, къ величайшему моему удивленію, типичникъ выставляетъ и хвалитъ талантливаго г. Лѣскова, а не себя. Тутъ что-нибудь другое, и, навѣрное, выяснится. Но *ряженый* не подверженъ ни малѣйшему сомнѣнію.

А при чемъ же тутъ самъ «Русскій Міръ»? Рѣшительно не знаю. Ничего и никогда не имѣлъ съ «Русскимъ Міромъ», и не предполагалъ имѣть. Богъ знаетъ съ чего выскочатъ люди.

XI.

Мечты и грезы[1].

Мы въ прошломъ № «Гражданина» опять заговорили о пьянствѣ, или скорѣе о возможности исцѣленія отъ язвы всенароднаго пьянства, о нашихъ надеждахъ, о нашей вѣрѣ въ ближайшее лучшее будущее. Но уже давно и невольно грусть и сомнѣнія приходятъ на сердце. Конечно, за текущими важными дѣлами (а у насъ всѣ смотрятъ такими важными дѣловыми людьми), некогда и глупо думать о томъ, что будетъ черезъ десять лѣтъ или къ концу столѣтія, то есть когда насъ не будетъ. Девизъ настоящаго дѣлового человѣка нашего времени — après moi le déluge. Но людямъ праздным, не практи-

[1] № 21 „Гражданина" 1873 г.

ческимъ и не имѣющимъ дѣлъ — право, простительно мечтать иногда о дальнѣйшемъ, если только мечтается. Мечталъ же Поприщинъ («Записки сумасшедшаго» Гоголя) объ испанскихъ дѣлахъ: «всѣ эти событія меня такъ убили и потрясли, что я»... и т. д., писалъ онъ сорокъ лѣтъ назадъ. Я признаюсь, что и меня иногда многое потрясаетъ и, право, я даже въ унынiи отъ моихъ мечтаній. Я на-дняхъ мечталъ, напримѣръ, о положеніи Россіи, какъ великой европейской державы, и ужъ чего-чего не пришло мнѣ въ голову на эту грустную тему!

Взять уже то, что намъ во что бы то ни стало и какъ можно скорѣе надо стать великой европейской державой. Положимъ, мы и есть великая держава, но я только хочу сказать, что это намъ слишкомъ дорого стоитъ — гораздо дороже чѣмъ другимъ великимъ державамъ, а это предурной признакъ. Такъ что даже оно какъ бы и ненатурально выходитъ. Спѣшу, однако, оговориться: я единственно только съ западнической точки зрѣнія сужу, и вотъ съ этой точки оно, дѣйствительно, такъ у меня выходитъ. Другое дѣло точка національная и, такъ сказать, немножко славянофильская; тутъ, извѣстно, есть вѣра въ какія-то внутреннія самобытныя силы народа, въ какія-то начала народныя, совершенно личныя и оригинальныя, нашему народу присущія, его спасающія и поддерживающія. Но съ чтеніемъ статей г. Пыпина я отрезвился. Разумѣется, я желаю и попрежнему продолжаю желать изо всѣхъ моихъ силъ, чтобы драгоцѣнныя, твердыя и самостоятельныя начала, присущія народу русскому, существовали дѣйствительно, но согласитесь тоже — что же это за такія начала, которыхъ даже самъ г. Пыпинъ не видитъ, не слышитъ и не примѣчаетъ, которыя спрятаны, спрятались и никакъ не хотятъ отыскаться? А потому невольно остается и мнѣ обойтись безъ этихъ угѣшающихъ душу началъ. Такимъ образомъ и выходитъ у меня, что мы, покамѣстъ, всего только лѣпимся на нашей высотѣ великой державы, стараясь изо всѣхъ силъ, чтобы не такъ скоро замѣтили это сосѣди. Въ этомъ намъ чрезвычайно можетъ помочь всеобщее европейское невѣжество во всемъ, что касается Россіи. По крайней мѣрѣ, до сихъ поръ это невѣжество не подвержено было сомнѣнію — обстоятельство, о которомъ намъ нечего горевать; напротивъ, намъ очень будетъ даже невыгодно, если сосѣди наши насъ разсмотрятъ поближе и покороче. То, что они ничего не понимали въ насъ до сихъ поръ — въ этомъ была наша великая сила. Но въ томъ-то и дѣло, что теперь, увы, кажется, и они начинаютъ насъ понимать лучше прежняго; а это очень опасно.

Огромный сосѣдъ изучаетъ насъ неусыпно и, кажется, уже многое видитъ насквозь. Не вдаваясь въ тонкости, возьмите хоть самыя наглядныя, въ глаза бросающіяся у насъ вещи. Возьмите наше пространство и наши границы (заселенныя инородцами и чужеземцами, изъ года въ годъ все болѣе и болѣе крѣпчающими въ индивидуальности своихъ собственныхъ инородческихъ, а отчасти и иноземныхъ сосѣдскихъ элементовъ), возьмите и сообразите: во сколькихъ точкахъ мы стратегически уязвимы? Да намъ войска, чтобы все это защитить (по-моему, штатскому, впрочемъ, мнѣнію), надо гораздо больше имѣть, чѣмъ у нашихъ сосѣдей. Возьмите опять и то, что нынѣ воюютъ не столько оружіемъ, сколько умомъ, и согласитесь, что это послѣднее обстоятельство даже особенно для насъ невыгодно.

Теперь почти въ каждыя десять лѣтъ измѣняется оружіе, даже чаще. Лѣтъ черезъ пятнадцать, можетъ, будутъ стрѣлять уже не ружьями, а какой-нибудь молніей, какою-нибудь всесожигающею электрическою струею изъ машины. Скажите, что можемъ мы изобрѣсти въ этомъ родѣ, съ тѣмъ, чтобы приберечь въ видѣ сюрприза для нашихъ сосѣдей? Что если лѣтъ черезъ пятнадцать у каждой великой державы будетъ заведено, потаенно и про запасъ, по одному такому сюрпризу на всякій случай? Увы, мы можемъ только перенимать и покупать оружіе у другихъ, и много-много что сумѣемъ починить его сами. Чтобы изобрѣтать такія машины, нужна наука самостоятельная, а не покупная, своя, а не выписная, укоренившаяся и свободная. У насъ такой науки еще не имѣется, да и покупной даже нѣтъ. — Возьмите опять наши желѣзныя дороги, сообразите наши пространства и нашу бѣдность; сравните наши капиталы съ капиталами другихъ великихъ державъ и смекните: во что намъ наша дорожная сѣть, необходимая намъ, какъ великой державѣ, обойдется? И замѣтьте: тамъ у нихъ эти сѣти устроились давно и устраивались постепенно, а намъ приходится догонять и спѣшить; тамъ концы маленькіе, а у насъ сплошь въ родѣ Тихо-океанскихъ. Мы уже и теперь больно чувствуемъ, во что намъ обошлось лишь начало нашей сѣти; какимъ тяжелымъ отвлеченіемъ капиталовъ въ одну сторону ознаменовалось оно, въ ущербъ хотя бы бѣдному нашему земледѣлію и всякой другой промышленности. Тутъ дѣло не столько въ денежной суммѣ, сколько въ степени усилія націи. Впрочемъ, конца не будетъ, если по пунктамъ высчитывать наши нужды и наше убожество. Возьмите, наконецъ, просвѣщеніе, т. е. науку, и посмотрите, насколько намъ нужно догнать въ этомъ смыслѣ другихъ. По

моему бѣдному сужденію, на просвѣщеніе мы должны ежегодно затрачивать, по крайней мѣрѣ, столько же, какъ и на войско, если хотимъ догнать хоть какую-нибудь изъ великихъ державъ, — взявъ и то, что время уже слишкомъ упущено, что и денегъ такихъ у насъ не имѣется и что, въ концѣ концовъ, все это будетъ только толчекъ, а не нормальное дѣло, такъ сказать, потрясеніе, а не просвѣщеніе.

Все это мои мечты, разумѣется; но... повторяю, невольно мечтается иногда въ этомъ смыслѣ, а потому и продолжаю мечту. Замѣтьте, что я цѣню все на деньги, но развѣ это вѣрный разсчетъ? Деньгами ни за что не купишь всего; такъ можетъ только какой-нибудь необразованный купецъ разсуждать въ комедіи г. Островскаго. Деньгами вы, напримѣръ, настроите школъ, но учителей сейчасъ не надѣлаете. Учитель — это штука тонкая; народный, національный учитель вырабатывается вѣками, держится преданіями, безчисленнымъ опытомъ. Но, положимъ, надѣлаете деньгами не только учителей, но даже, наконецъ, и ученыхъ, и что же? — все-таки людей не надѣлаете. Что въ томъ, что онъ ученый, коли дѣла не смыслитъ? Педагогіи онъ, напримѣръ, выучится и будетъ съ каѳедры отлично преподавать педагогію, а самъ все-таки педагогомъ не сдѣлается. Люди, люди, — это самое главное. Люди дороже даже денегъ. Людей ни на какомъ рынкѣ не купишь и никакими деньгами, потому что они не продаются и не покупаются, а опять-таки только вѣками выдѣлываются; ну, а на вѣка надо время, годковъ этакъ двадцать пять или тридцать, даже и у насъ, гдѣ вѣка давно уже ничего не стоютъ. Человѣкъ идеи и науки самостоятельной, человѣкъ самостоятельно дѣловой, образуется лишь долгою самостоятельною жизнью націи, вѣковымъ многострадальнымъ трудомъ ея, однимъ словомъ, образуется всею историческою жизнью страны. Ну, а историческая жизнь наша, въ послѣднія два столѣтія, была не совсѣмъ-таки самостоятельною. Ускорять же искусственно необходимые и постоянные историческіе моменты жизни народной никакъ невозможно. Мы видѣли примѣръ на себѣ, и онъ до сихъ поръ продолжается: еще два вѣка тому назадъ хотѣли поспѣшить и все подогнать, а вмѣсто того и застряли; ибо, несмотря на всѣ торжественные возгласы нашихъ западниковъ, мы несомнѣнно застряли. Наши западники — это такой народъ, что сегодня трубятъ во всѣ трубы, съ чрезвычайнымъ злорадствомъ и торжествомъ, о томъ, что у насъ нѣтъ ни науки, ни здраваго смысла, ни терпѣнія, ни умѣнья, что намъ дано только ползти ползкомъ за Европой, ей

подражать во всемъ рабски и, въ видахъ европейской опеки, преступно даже и думать о собственной нашей самостоятельности; а завтра, — заикнитесь лишь только о вашемъ сомнѣніи въ безусловно-цѣлительной силѣ бывшаго у насъ два вѣка назадъ переворота, — и тотчасъ же закричатъ они дружнымъ хоромъ, что всѣ ваши мечты о народной самостоятельности — одинъ только квасъ, квасъ и квасъ; и что мы, два вѣка назадъ, изъ толпы варваровъ стали европейцами, просвѣщеннѣйшими и счастливѣйшими, и по гробъ нашей жизни должны вспоминать о семъ съ благодарностью.

Но оставимъ западниковъ и положимъ, что деньгами можно все сдѣлать, даже время купить, даже самобытность жизни воспроизвести какъ-нибудь на парахъ; спрашивается: откуда такія деньги достать? Чуть не половину теперешняго бюджета нашего оплачиваетъ водка, т. е. по-теперешнему народное пьянство и народный развратъ, — стало быть, вся народная будущность. Мы, такъ сказать, будущностью нашею платимъ за нашъ величавый бюджетъ великой европейской державы. Мы подсѣкаемъ дерево въ самомъ корнѣ, чтобы достать поскорѣе плодъ. И кто же хотѣлъ этого? Это случилось невольно, само собой, строгимъ историческимъ ходомъ событій. Освобожденный великимъ Монаршимъ словомъ народъ нашъ, неопытный въ новой жизни и самобытно еще не жившій, начинаетъ первые шаги свои на новомъ пути: переломъ огромный и необыкновенный, почти внезапный, почти невиданный въ исторіи по своей цѣльности и по своему характеру. Эти первые и уже собственные шаги освобожденнаго богатыря на новомъ пути требовали большой опасности, чрезвычайной осторожности, а между тѣмъ, что встрѣтилъ нашъ народъ при этихъ первыхъ шагахъ? Шаткость высшихъ слоевъ общества, вѣками укоренившуюся отчужденность отъ него нашей интеллигенціи (вотъ это-то самое главное) и въ довершеніе — дешевку и жида. Народъ закутилъ и запилъ — сначала съ радости, а потомъ по привычкѣ. Показали ль ему хоть что-нибудь лучше дешевки? Развлекли ли, научили ль чему-нибудь? Теперь въ иныхъ мѣстностяхъ, во многихъ мѣстностяхъ, кабаки стоятъ уже не для сотенъ жителей, а всего для десятковъ; мало того — для малыхъ десятковъ. Есть мѣстности, гдѣ на полсотни жителей и кабакъ, менѣе даже чѣмъ на полсотни. «Гражданинъ» уже сообщалъ разъ, въ особой статьѣ, подробный бюджетъ теперешняго нашего кабака: возможности нѣтъ предположить, чтобы кабаки могли существовать лишь однимъ виномъ. Чѣмъ же, стало быть, они окупаются? Народнымъ развратомъ, воровствомъ, укрывательствомъ, ростовщичествомъ, разбоемъ, разрушеніемъ семейства и стыдомъ народнымъ — вотъ чѣмъ они окупаются!

Матери пьютъ, дѣти пьютъ, церкви пустѣютъ, отцы разбойничаютъ; бронзовую руку у Ивана Сусанина отпилили и въ кабакъ снесли, а въ кабакѣ приняли! Спросите лишь одну медицину: какое можетъ родиться поколѣніе отъ такихъ пьяницъ? Но пусть, пусть (и дай Боже!), пусть это лишь одна мечта пессимиста, въ десять разъ преувеличившая бѣду! Вѣримъ и хотимъ вѣровать, но... если въ текущія десять, пятнадцать лѣтъ наклонность народа къ пьянству (которая все-таки несомнѣнна) не уменьшится, удержится, а стало быть, еще болѣе разовьется, то — не оправдается ли и вся мечта? Вотъ намъ необходимъ бюджетъ великой державы, а потому очень, очень нужны деньги; спрашивается: кто же ихъ будетъ выплачивать черезъ эти пятнадцать лѣтъ, если настоящій порядокъ продолжится? Трудъ, промышленность? Ибо правильный бюджетъ окупается лишь трудомъ и промышленностью. Но какой же образуется трудъ при такихъ кабакахъ? Настоящіе, правильные капиталы возникаютъ въ странѣ не иначе, какъ основываясь на всеобщемъ трудовомъ благосостояніи ея, иначе могутъ образоваться лишь капиталы кулаковъ и жидовъ. Такъ и будетъ, если дѣло продолжится, если самъ народъ не опомнится, а интеллигенція не поможетъ ему. Если не опомнится, то весь, цѣликомъ, въ самое малое время очутится въ рукахъ у всевозможныхъ жидовъ, и ужъ тутъ никакая община его не спасетъ: будутъ лишь обще-солидарные нищіе, заложившіеся и закабалившіеся всею общиной, а жиды и кулаки будутъ выплачивать за нихъ бюджетъ. Явятся мелкіе, подленькіе, развратнѣйшіе буржуа и безконечное множество закабаленныхъ имъ нищихъ рабовъ, — вотъ картина! Жидки будутъ пить народную кровь и питаться развратомъ и униженіемъ народнымъ, но такъ какъ они будутъ платить бюджетъ, то, стало быть, ихъ же надо будетъ поддерживать. Мечта скверная, мечта ужасная и — слава Богу, что это только лишь сонъ! Сонъ титулярнаго совѣтника Поприщина, я съ этимъ согласенъ. Но не сбыться ему! Не разъ уже приходилось народу выручать себя! Онъ найдетъ въ себѣ охранительную силу, которую всегда находилъ; найдетъ въ себѣ начала, охраняющія и спасающія, — вотъ тѣ самыя, которыхъ ни за что не находитъ въ немъ наша интеллигенція. Не захочетъ онъ самъ кабака; захочетъ труда и порядка, захочетъ чести, а не кабака!..

И слава Богу, все это, кажется, подтверждается; по крайней мѣрѣ, есть признаки; мы уже упоминали объ обществахъ трезвости. Правда, они едва начинаются; попытки слабыя, едва замѣтныя, но — но только бы не помѣшали имъ развернуться вслѣдствіе какихъ-нибудь особенныхъ поводовъ! Напротивъ, о, если бы ихъ поддержать! Что если бъ, съ своей стороны, поддержали ихъ, и всѣ наши передовые умы, наши литераторы, наши соціалисты, наше духовенство и всѣ, всѣ изнемогающіе ежемѣсячно и печатно подъ тяжестью своего долга народу. Что если бы поддержалъ ихъ и нарождающійся нашъ школьный учитель! Я знаю, что я человѣкъ непрактическій (теперь, послѣ извѣстной недавней рѣчи г-на Спасовича въ этомъ даже лестно признаться), но мнѣ — представьте себѣ — мнѣ воображается, что даже самый бѣднѣйшій какой-нибудь школьный учитель и тотъ бы ужасно много могъ сдѣлать и единственно одной лишь своей иниціативой, захоти только сдѣлать! Въ томъ-то и дѣло, что тутъ важна личность, характеръ, важенъ дѣловой человѣкъ и такой, который дѣйствительно способенъ хотѣть. На учительское мѣсто у насъ большею частью пріѣзжаетъ теперь молодой человѣкъ, хотя бы даже и желающій сдѣлать добро, но не знающій народа, мнительный и недовѣрчивый; послѣ первыхъ, иногда самыхъ горячихъ и благородныхъ усилій, — быстро утомляется, смотритъ угрюмо, начинаетъ считать свое мѣсто за нѣчто переходное къ лучшему, а потомъ — или спивается окончательно, или за лишніе десять рублей бросаетъ все и бѣжитъ куда угодно, даже даромъ бѣжитъ, даже въ Америку, «чтобъ испытать свободный трудъ въ свободномъ государствѣ». Это случалось и, говорятъ, случается и теперь. Тамъ, въ Америкѣ, какой-нибудь гнуснѣйшій антрепренеръ моритъ его на грубой ручной работѣ, обсчитываетъ и даже тузитъ его кулаками, а онъ за каждымъ тузомъ восклицаетъ про себя въ умиленіи: «Боже, какъ эти же самые тузы, на моей родинѣ, ретроградны и неблагородны и какъ, напротивъ, они здѣсь благородны, вкусны и либеральны!» И долго еще такъ ему будетъ казаться; не измѣнять же изъ-за такихъ пустяковъ своимъ убѣжденіямъ! Но оставимъ его въ Америкѣ; я буду продолжать мою мысль. Моя мысль — напомню ее — въ томъ, что даже самый мелкій сельскій школьный учитель могъ бы взять на себя весь починъ, всю иниціативу освобожденія народа отъ варварской страсти къ пьянству, если бъ только того захотѣлъ. На этотъ счетъ у меня есть даже сюжетъ одной повѣсти и, можетъ быть, я рискну сообщить его читателю раньше повѣсти...

XII.

(По поводу новой драмы.)[1]

Эта новая драма — драма г. Кишенскаго «Пить до дна — не видать добра», которой три послѣдніе акта мы рѣшились помѣстить въ этомъ 25 номерѣ «Гражданина», разомъ, несмотря на то, что она заняла у насъ чуть не половину мѣста. Но намъ хотѣлось не дробить впечатлѣнія, и, можетъ быть, читатели согласятся, что драма стоитъ даже особаго ихъ вниманія. Она написана для народнаго театра и написана съ знаніемъ дѣла, съ отчетливостью и съ несомнѣннымъ талантомъ — а это главное, особенно теперь, когда почти не является новыхъ талантовъ.

Это все типы фабричнаго быта, «фабричнаго села» — чрезвычайно разнообразные и твердо очерченные. Сюжетъ налицо, и мы его подробно излагать не будемъ. Мысль серьезная и глубокая. Это вполнѣ трагедія, и fatum ея — водка; водка все связала, заполонила, направила и погубила. Правда, авторъ, какъ истинный художникъ, не могъ не взглянуть еще шире на міръ, имъ рисуемый, хотя и провозгласилъ въ названіи своей драмы, что тема его: «пить до дна — не видать добра». Тутъ, кромѣ того, отзывается и все чрезвычайное экономическое и нравственное потрясеніе послѣ огромной реформы нынѣшняго царствованія. Прежній міръ, прежній порядокъ — очень худой, но все же порядокъ — отошелъ безвозвратно. И странное дѣло: мрачныя нравственныя стороны прежняго порядка — эгоизмъ, цинизмъ, рабство, разъединеніе, продажничество—не только не отошли съ уничтоженіемъ крѣпостного быта, но какъ бы усилились, развились и умножились, тогда какъ изъ хорошихъ нравственныхъ сторонъ прежняго быта, которыя все же были, почти ничего не осталось. Все это отозвалось и въ картинѣ г. Кишенскаго, по крайней мѣрѣ какъ мы ее понимаемъ. Тутъ все переходное, все шатающееся и — увы — даже и не намекающее на лучшее будущее.

Авторъ съ энергіей указываетъ на образованіе какъ на спасеніе, какъ на единственный выходъ; а покамѣстъ — все захватила водка, все отравила и направила къ худшему, заполонила и поработила народъ. Мрачную, ужасную картину этого новаго рабства, въ которое вдругъ

[1] № 25 „Гражданина“ 1873 г.

впалъ русскій крестьянинъ, выйдя изъ прежняго рабства, и рисуетъ г. Кишенскій.

Тутъ два сорта типовъ — людей отживающихъ и новыхъ, молодого поколѣнія.

Молодое поколѣніе знакомо автору. Типы, излюбленные имъ, указываемые имъ какъ надежда будущаго, составляющіе сіяніе мрачной картины — вышли довольно удачны (что очень странно; ибо «положительные» типы почти совсѣмъ не удаются нашимъ поэтамъ). По крайней мѣрѣ, Марья вышла безукоризненна. Иванъ, женихъ ея, удался нѣсколько менѣе, несмотря на всю вѣрность его изображенія. Это парень молодой, красивый, смѣлый, грамотный, довольно видѣвшій и узнавшій новаго, добрый и честный. Весь недостатокъ его въ томъ, что авторъ немного слишкомъ полюбилъ его, слишкомъ положительно его выставилъ. Отнесись онъ къ нему отрицательнѣе — и впечатлѣніе читателя вышло бы болѣе въ пользу излюбленнаго имъ героя. Правда, какъ тонкій художникъ, авторъ не миновалъ и самыхъ невыгодныхъ чертъ характера своего Ивана. Иванъ съ сильной энергіей и съ сильными умственными способностями, но молодъ и заносчивъ. Онъ великодушно вѣруетъ въ правду и въ правый путь, но правду смѣшиваетъ съ людьми и несправедливо требуетъ отъ нихъ невозможнаго. Онъ, напримѣръ, знаетъ иные законы, такъ что писарь «Леванидъ Игнатьичъ» побаивается прямо нападать на него, но слишкомъ простодушно вѣруетъ въ свое знаніе, а потому не вооруженъ передъ зломъ и не только не понимаетъ опасности, но и не предполагаетъ ея. Все это такъ натурально и вышло бы прекрасно, потому что такъ и должно ему быть. Мало того, авторъ не упустилъ множество самыхъ симпатическихъ подробностей: Ваня, понимая всю мерзость негодяевъ (вдобавокъ еще враждебныхъ ему), какъ молодой человѣкъ, свѣжій, сильный, и которому все такъ еще любо на свѣтѣ, — недостаточно гнушается ими, съ ними водится, съ ними *пѣсни поетъ*. Эта молодая черта привлекаетъ къ нему читателя чрезвычайно. Но, повторяемъ, авторъ слишкомъ его полюбилъ и не рѣшается ни разу посмотрѣть на него свысока. Намъ кажется, что мало еще выставить вѣрно всѣ данныя свойства лица; надо рѣшительно освѣтить его собственнымъ художническимъ взглядомъ. Настоящему художнику ни за что нельзя оставаться наравнѣ съ изображаемымъ имъ лицомъ, довольствуясь одною его реальною правдой: правды въ впечатлѣніи не выйдетъ. Немного бы, капельку лишь иронiи автора надъ самоувѣренностью и молодою заносчивостью героя — и читателю онъ сталъ

бы милѣе. А то думаешь, что авторъ такъ и желалъ изобразить его совершенно правымъ во всемъ обрушившемся на него несчастьѣ.

Другія лица молодого поколѣнія, — лица погибшія чуть не съ дѣтства, «поколѣніе пожертвованное», — вышли еще вѣрнѣе «положительныхъ типовъ». Ихъ два сорта: невиноватые и виновные. Тутъ, напримѣръ, есть одна дѣвочка (Матреша) — созданіе пожертвованное и несчастное, и, что ужаснѣе всего, вы чувствуете, что она не одна такая, что такихъ «несчастныхъ» на Руси у насъ сколько хотите, всѣ деревни полны, бездна. Вѣрность этого изображенія заставитъ человѣка съ сердцемъ и смотрящаго въ наше будущее сознательно — ужаснуться. Это поколѣніе, поднявшееся уже послѣ реформы. Въ первомъ дѣтствѣ оно застало семью уже разлагающуюся и циническое, поголовное пьянство, а затѣмъ попало прямо на фабрику. Бѣдная дѣвочка! Она развратничаетъ, можетъ быть, уже съ двѣнадцатилѣтняго возраста и — почти не знаетъ сама, что развратна. На Рождество она съ фабрики пріѣхала на побывку въ село и искренно удивляется, какъ можетъ прежняя товарка ея, деревенская дѣвушка Маша, предпочитать честь нарядамъ: «Во, Степанъ Захарычъ, и видна необразованность!» говоритъ она, «велика бѣда, што купецъ аль господинъ съ дѣвкой поиграетъ». Это говоритъ она съ совершеннымъ убѣжденіемъ въ истинѣ и правотѣ своей, мало того: жалѣя Машу и деревенскихъ; когда Маша отталкиваетъ подлеца купчишку, она говоритъ прямо: «Охота тебѣ съ энтимъ народомъ толковать! Сипы! На ее таперича мѣстѣ другая порадовалась бы! Такъ бы ихъ облистила, приняла бъ, и себѣ-то припентъ принесла и брату угодила!» И наконецъ, когда эта несчастная подсыпаетъ соннаго зелья Машѣ, сговорясь съ купчишной, чтобъ въ безчувствіи изнасиловать бѣдную честную Машу, и потомъ, когда лѣзетъ на печь смотрѣть, заснула ли жертва, — она дѣлаетъ все это злодѣйство не только безъ сознанія зла, но вполнѣ убѣжденная, что дѣлаетъ этой Машѣ, прежней подругѣ своей, добро, благодѣяніе, за которое та, спустя, благодарить будетъ. Въ пятомъ актѣ, въ послѣдней ужасной катастрофѣ — ни отчаяніе Маши, отца ея, жениха, ни убійство, готовое совершиться, — ничто не смущаетъ ее; да и сердца совсѣмъ у ней нѣтъ, — гдѣ же было развиться ему? Она пожимаетъ плечами и говоритъ свое любимое слово: «необразованность!» Авторъ не забылъ этого восклицанія, доканчивая послѣднюю художественную черту этого типа. Трагическая судьба! Человѣческое существо обращено въ ка-

кого-то гнилого червячка и совершенно довольно собой и жалкимъ своимъ кругозоромъ.

Тутъ среда, тутъ fatum, эта несчастная не виновата, и вы понимаете это, но вотъ другой типъ — самый полный въ драмѣ — типъ развратнаго, испитаго, плюгаваго фабричнаго парня, брата Маши, продающаго потомъ сестру купчищкѣ за триста рублей и за бархатную поддевку, — это, о, это уже типъ изъ виновныхъ «пожертвованнаго» поколѣнія. Тутъ уже не одна среда. Правда, обстановка та же и та же среда: пьянство, разлагающаяся семья и фабрика. Но этотъ не простодушно, какъ Матреша, увѣровалъ въ развратъ. Онъ не простодушно подлъ, какъ она, а съ любовью, онъ въ подлость привнесъ своего. Онъ понимаетъ, что развратъ есть развратъ, и знаетъ, что такое не развратъ, но развратъ онъ полюбилъ сознательно, а честь презираетъ. Онъ уже сознательно отрицаетъ старый порядокъ семьи и обычая; онъ глупъ и тупъ, это правда, но въ немъ какой-то энтузіазмъ плотоугодія и самаго подлаго, самаго циническаго матеріализма. Это уже не просто червячекъ, какъ Матреша, въ которой все такое маленькое и изсохшее. Онъ стоитъ на деревенской мірской сходкѣ, и вы чувствуете, что онъ ничего уже въ ней не понимаетъ и не можетъ понимать, что онъ уже не отъ «міра сего» и съ нимъ разорвалъ окончательно. Онъ продаетъ сестру безо всякаго угрызенія совѣсти и на утро является въ отцовскую избу, на сцену отчаянія, въ бархатной поддевкѣ и съ новой гармоніей въ рукахъ. Есть пунктъ, въ который онъ вѣритъ, какъ во всемогущество; это — водка. Съ самой тупой, но чѣрной ухваткой онъ, передъ всякимъ начинаніемъ, — выставляетъ водку — горькую мужикамъ и сладкую бабамъ, увѣренный, что все по его сдѣлается, и что водка все можетъ. Въ немъ, къ полнотѣ иронiи, въ изображеніи его, рядомъ съ полнымъ цинизмомъ уживается потребность — прежнихъ вѣжливыхъ манеръ, исконной деревенской «учливости». Прибывъ въ село и еще не повидавшись съ матерью, а засѣвъ въ кабакѣ, онъ вѣжливо посылаетъ ей сладкой водки. Когда онъ и Матреша привлекаютъ мать въ кабакъ, чтобъ, на свободѣ, выманить ея позволеніе продать родную дочь купцу на изнасильничаніе, онъ вѣжливо выставляетъ прежде всего сладкой водки и, указывая на мѣсто, говоритъ: «пыжалте, мамынька-съ», и та очень довольна «учливостью». Нашего автора упрекали иные, читавшіе первый актъ, за слишкомъ ужъ *натуральный* мужицкій языкъ, утверждая, что онъ могъ бы быть болѣе литературнымъ. Этой *натуральностью языка* и мы недовольны; все должно быть художественно. Но, прочтя внимательно, прочтя другой разъ драму, вы невольно согласитесь, что невозможно было измѣнить языкъ, въ иныхъ ея мѣстахъ по крайней мѣрѣ, не ослабивъ ея характерности. Это «пыжалте, мамынька-съ» не могло быть измѣнено: вышло бы не такъ подло. И замѣтьте, что эту гадкую, глупую пьющую старуху, свою «мамыньку» сынокъ уважаетъ столько же, сколько свою подошву.

Вотъ трагическія слова отца этой семьи, пьющаго старика, про это «пожертвованное поколѣніе»:

Захаръ *(выпиваетъ стаканъ водки)*. Пьяницы! Вы таперь подумайте, други: сидитъ этта фабришный цѣлую недѣлю за станомъ, ноги-то, руки-то занѣмѣютъ, въ головѣ словно туману напущено! Словно шальные всѣ! И виду-то челычьяго-то нѣтъ! Въ хороминѣ-то духота, стѣны голыя — не глядѣлъ бы! Солнышко въ ино мѣсто не заглянетъ! Только и видишь его што по праздникамъ! Ну, други, придетъ этта праздникъ: ты, дѣдъ, писаніе станешь читать, другой въ поле хлѣбъ поглядѣть пойдетъ, аль въ лѣсъ, аль къ пчеламъ, аль съ сусѣдями толковать — земство, значитъ, аль сходка, аль о цѣнахъ хлѣбныхъ — скажи, куда фабришному-то идтить? О чемъ ему говорить-то? У него все отмѣряно да взвѣшено? Развѣ о томъ, что штрафы пишетъ незнамо за што, да провизію отпускаетъ гнилую, да за рублевый чай береть два съ полтиной, за ворота не пущаетъ, штобъ провизію у него брали, да штобъ разврату болѣ было! Объ эвтомъ развѣ! Ну, значитъ, одна дорога въ кабакъ! Одинъ разговоръ-отъ о водкѣ да распутствѣ.

Василій. Это точно!

Захаръ. Вы подумайте, други, вѣдь тоже отдохнуть хоцца! Тоже молодость! Соберется хороводъ, пѣсни, смѣхъ, — хожалый разгонитъ, Ну, всѣ гурьбой и въ кабакъ да трахтиръ! И пойдутъ толки о дѣвкахъ! да кто кого переньетъ! И глянь-ка што творится на фабрикахъ-то! Дѣвчонки двѣнадцати лѣтъ полюбовниковъ ищутъ! шпульники водку хлыщутъ что воду! на фабрикѣ-то матершинничество, ахальничество — стонъ стоитъ, адъ кромѣшный! Дѣти отъ большихъ займаются! На пагубу ребятъ своихъ мы туда отдаемъ! Есть ли хоша одна дѣвка безъ распутства, одинъ парень не пьяница — на фабрикахъ-то!?

Но самая характерная изъ всѣхъ сценъ этой народной драмы — это третій актъ, мірская сходка. Сильная мысль положена въ этотъ эпизодъ поэмы. Эта сходка — это *все*, что осталось твердаго и краеугольнаго въ народномъ русскомъ строѣ, главная исконная связь его и главная будущая надежда его, — и вотъ и эта сходка уже носитъ въ себѣ начало своего разложенія, уже больна въ своемъ внутреннемъ содержаніи! Вы видите, что уже во многомъ — это лишь одна форма, но что внутренній духъ ея, внутренняя вѣковая правда ея пошатнулись — пошатнулись вмѣстѣ съ зашатавшимися людьми.

На этой сходкѣ происходитъ возмутительная неправда: вопреки обычаю и закону, единственнаго сына вдовы (Ивана, героя драмы) отдаютъ въ солдаты вмѣсто одного изъ богатой семьи тройниковъ, и, что хуже всего, — это дѣлается сознательно, съ сознательнымъ неуваженіемъ къ правдѣ и обычаю, дѣлается за вино, за деньги. Тутъ даже и не подкупъ; подкупъ бы еще ничего; подкупъ можетъ быть преступленіемъ единичнымъ и исправимымъ. Нѣтъ, тутъ все почти выходитъ именно изъ сознательнаго неуваженія къ себѣ, къ своему же суду, стало быть, и къ собственному бытовому строю своему. Цинизмъ уже въ томъ проявляется, что противъ обычая и древняго правила, въ началѣ сходки, міръ допускаетъ попойку: «Съ угарцемъ-то будетъ лучше судить», зубоскаля говорятъ предводители сходки. Половина этихъ собравшихся гражданъ давно уже не вѣритъ въ силу мірского рѣшенія, а стало быть, и въ необходимость его; почти считаетъ за ненужную форму, которую всегда можно обойти. Можно и должно, вопреки правдѣ и ради первой текущей выгоды. Еще немного пройдетъ, и вы чувствуете, что умники поновѣе сочтутъ всю эту церемонію за глупость, за одно лишь ненужное бремя, потому что мірской приговоръ, что бы тамъ ни было, всегда состоится такой, какого хочетъ богатый и сильный міроѣдъ, заправляющій сходкой. Такъ ужъ лучше, вмѣсто пустой формалистики, прямо и перейти подъ власть этого міроѣда. А онъ еще, вдобавокъ, и водкой будетъ поить. Вы видите, что у большинства этихъ самоуправляющихся членовъ даже и предположеніе утратилось, что рѣшеніе ихъ могло бы быть произнесено вопреки волѣ сильнаго человѣка; всѣ «ослабѣли»; ожирѣли сердца; всѣмъ хо́чется сладенькаго, матеріальной выгоды. Всѣ рабы уже по существу своему и даже представить не могутъ себѣ, какъ это можно рѣшить для правды, а не для собственной выгоды. Молодое поколѣніе тутъ присутствуетъ и смотритъ на дѣло отцовъ не только безъ уваженія, не только съ насмѣшкою, но какъ на устарѣлую дичь, именно какъ на глупую, ненужную форму, которая и держится-то всего лишь упрямствомъ двухъ-трехъ глупыхъ стариковъ, которыхъ, вдобавокъ, всегда купить можно. Такъ стоитъ и такъ ведетъ себя на сходкѣ Степанъ, тотъ испитой, плюгавый, пропившійся паренекъ, который потомъ продаетъ сестру свою. Всѣ эти эпизоды мірской сходки удались автору. И главное, Степанъ почти правъ въ томъ, что не только не понимаетъ ничего въ мірской сходкѣ, но что и нужнымъ не считаетъ ее понимать. Не могъ же онъ не видѣть, что на сходку уже допущено постороннее вліяніе купчишки, который положилъ себѣ — погубить Ваньку и отбить у него дѣвку-невѣсту. Міръ выпилъ его вино и допустилъ купчишкина приказчика сказать себѣ вслухъ, что безъ него, безъ купца-фабриканта, который фабричной работой имъ хлѣбъ даетъ, «вся бы волость ваша по папертямъ церковнымъ нищенствовала», а что если приговорятъ по его, то за это его степенство, купецъ, много штрафовъ народу проститъ. Дѣло, разумѣется, разрѣшается въ пользу купца, и Ваньку отдаютъ въ солдаты.

Тутъ на сходкѣ (весьма разнообразной лицами и характерами) являются два почти трагическія лица; одинъ — Наумъ Егоровъ, старикъ, уже двадцать лѣтъ сидящій на первомъ мѣстѣ на сходкѣ и заправляющій ею, и Степанида, мать Ивана. Наумъ Егорычъ — старикъ разумный, твердый, честный, съ высокой душой. На мірской приговоръ онъ смотритъ съ высшей точки. Для него это не просто сходка домохозяевъ въ такомъ-то селѣ; нѣтъ, чувствомъ онъ возвысился до понятія самаго широкаго: приговоръ хотя бы только сходки села его, — для него какъ бы часть приговора всей крестьянской Россіи, которая лишь міромъ и его приговоромъ вся держится и стоитъ. Но увы, онъ слишкомъ разуменъ и не можетъ не видѣть наступившаго мірского шатанія, и куда съ нѣкотораго времени міръ попянулъ. Неправда, злодѣйства, конечно, бывали и на прежнихъ сходкахъ, двадцать лѣтъ назадъ, но неуваженія къ сходкѣ самихъ членовъ ея, неуваженія къ собственному дѣлу — не было, по крайней мѣрѣ не возводимо было въ принципъ. Дѣлали подлое, но знали, что дѣлаютъ подлое, а что есть хорошее; теперь же не вѣруютъ въ хорошее и даже въ необходимость его. Но все-таки Наумъ, этотъ своего рода послѣдній Могиканъ, продолжаетъ вѣрить въ правду мірскую во что бы то ни стало, чуть не *насильно*, — и въ этомъ трагизмъ его. Онъ—формалистъ; чувствуя, что содержаніе ускользаетъ, онъ стоитъ тѣмъ крѣпче за форму. Видя, что міръ пьянъ, онъ попросилъ было отложить сходку, но когда закричали, что съ «угарцемъ лучше судить» — онъ покоряется: «міръ рѣшилъ, противъ міра нельзя идти». Онъ слишкомъ хорошо и съ страданіемъ понимаетъ про себя, что въ сущности наемный ихъ писаришка, Леванидъ Игнатьичъ, значитъ все, и что купцовъ приказчикъ какъ прикажетъ сходкѣ рѣшить, такъ она и рѣшитъ. Но старикъ все еще, пока время, хоть насильно, да обманываетъ себя: онъ прогоняетъ Леванида съ перваго мѣста и, какъ предсѣдатель сходки, читаетъ приказчику наставленіе за невѣжливыя его слова противъ міра.

За Ваньку поднимается нѣсколько правдивыхъ голо-

совъ, хвалятъ его, говорятъ, что парень хорошій, толковый, міру нужный, что такого бы приберечь, и вотъ вдругъ, между другими, раздается голосъ одной старой, хмѣльной головы: «Ну, онъ лучше всѣхъ — во, его и въ рекруты!» Это уже насмѣшка надъ правдой сознательная, щегольство неправдой, игра... Самъ надъ собою шутитъ судья, да еще въ такомъ дѣлѣ, какъ судьба человѣческая! Наумъ слышитъ и, конечно, понимаетъ, что кончается его «міръ». Тутъ стоитъ мать Ивана. Это баба еще не старая, сильная, гордая. Давно уже осталась она молодой вдовой. Какъ вдову, ее притѣсняли, ее міръ обижалъ. Но она выдержала все: поправила домишко, подняла своего единственнаго ненагляднаго Ваню на радость, на утѣху себѣ и вотъ — слушаетъ теперь, какъ міръ отнимаетъ у нея послѣднюю надежду, послѣднюю радость ея, сына. Наумъ Егорычъ, предчувствуя хмѣльное, буявое рѣшеніе міра, говоритъ поскорѣй Степанидѣ: Эхма, а дѣлать неча! Міръ — сила! Проси, Степанида, проси міръ-отъ!» Но та не хочетъ просить. Та строптиво укоряетъ міръ въ неправдѣ, въ подкупѣ, въ пьяномъ рѣшеніи, въ зависти къ ея Ванѣ. «Ты, Степанида, хуже міръ-отъ злобишь!» тревожно восклицаетъ Наумъ. «Аль ты думаешь, Наумъ Егорычъ, — отвѣчаетъ ему Степанида, — кали бъ я видѣла, што тутъ законъ да совѣсть — тутъ водка! Кали бъ я знала, што тутъ умолить можно, да я колѣни свои стерла бы о сырую землю, полъ-отъ вымыла бъ въ избѣ слезами своими, голову бъ расшибла бъ, міру кланяючись! Да тутъ не упросишь, не умолишь! Развѣ ты не видишь, — тутъ все подстроено да подлажено! Сгубятъ они, вороны, яснаго сокола, заклюютъ! За водку продаете вы души-то свои— во кому вы молитесь — водкѣ! Кто больше поднесъ — тотъ васъ и купилъ. Обидѣлъ вишь ты, Ваня, купчину, а иль вы не знаете, што купчина-то пьяный лѣзъ порочить невѣсту Ванюхину! Да вы эвто знаете! Водка-то купчины хороша! Страмники вы, кровопивцы, и то въ вину поставили, что сироту безпріютнаго во дворъ взяла! Да не быть по-вашему! Не быть! Посредственникъ Ванюшу знаетъ — въ обиду не дастъ!» (быстро уходитъ).

Эта гордая женщина — одно изъ очень удавшихся нашему поэту лицо. Какъ хотите, господа, а это сильное мѣсто. Это, конечно, русская деревня, а лицо — простая баба, которая грамотно и говорить не умѣетъ, но, ей Богу, этотъ монологъ о стертыхъ колѣнкахъ, «если бъ тутъ умолить было можно» — стоитъ многихъ высокихъ мѣстъ въ иныхъ трагедіяхъ въ этомъ родѣ. Тутъ нѣтъ классическихъ фразъ, краснваго языка, бѣлаго покры-

вала, черныхъ горящихъ глазъ Рашели, но, увѣряю васъ, если бъ у насъ была наша Рашель, вы содрогнулись бы въ театрѣ отъ этой сцены материнскаго проклятія мірскому суду, отъ всей этой неприкрашенной правды ея. Сцена кончается многозначительнымъ движеніемъ — бѣгствомъ за правдой къ «посредственнику» съ жалобой ему на мірской приговоръ, а это тяжелое пророчество.

Указывать далѣе на всѣ лучшія сцены этого произведенія почти излишне. Не могу не подѣлиться впечатлѣніемъ и прямо скажу: рѣдко что читалъ я сильнѣе и трагичнѣе финала четвертаго акта.

Жертва, запроданная матерью и братомъ кущу, уже опоена зельемъ и заснула въ безчувствіи на печи. Матреша, эта невинная преступница, лѣзетъ на печь поглядѣть и, почти съ радостью, почти убѣжденная, что теперь осчастливила Машу, возвѣщастъ купчишкѣ: «Готова! Не пошевельнется, хоть на куски изрѣжь!» Писаришка Леванидъ, товарищъ купчишки, встаетъ и уходитъ: «Жизнь вамъ, купцамъ-то!» говоритъ онъ завистливо. И вотъ купчишка, передъ тѣмъ какъ лѣзть къ своей жертвѣ, приходитъ въ какой-то поэтическій пафосъ: «Потому мы теперь сила!» восклицаетъ онъ плотоядно-пророчески. «Што хотимъ, то и могимъ сдѣлать! Если таперь купецъ чево вздумалъ — то и сдѣлалъ — потому сила!» — «Сила — чаго и толковать!» поддакиваетъ братъ жертвы. Затѣмъ лишніе выходятъ изъ избы, негодяй лѣзетъ къ Машѣ, а пьяная мать, продавшая свою невинную дочь, невѣсту несчастнаго Вани, въ пьяномъ безчувствіи тутъ же валится на полъ и засыпаетъ въ ногахъ пьянаго безъ просыпу отца этого счастливаго семейства... «Пить до дна — не видать добра!»

Не указываю на всѣ эти поражающія своею дальнѣйшею правдой черты ужасной картины, — на этихъ преступниковъ, почти не понимающихъ своего преступленія; на понимающихъ, но уже не имѣющихъ права проклясть его, какъ пьяный отецъ семьи, напримѣръ, которому дочь трагически бросаетъ въ глаза обвиненіе и дочернее свое проклятіе... Есть черты чрезвычайно тонко замѣченныя: эта очнувшаяся Маша, въ первыя минуты хотѣвшая убить себя, надѣваетъ однако оставленный ей у матери купчишкой шелковый сарафанъ, но надѣваетъ изъ злорадства, *для мученія*, для того, чтобъ истерзать себя еще больше: «вотъ, дескать, сама теперь потаскухой стала!» Вотъ разговоръ «невинной» матери и «невинной» Матреши на другой день послѣ бѣды:

Матрешка *(входитъ)*. Здорово, тетка Арина! Што у васъ тутъ дѣется? Вчера-то я, признаться, и побоялась придти-то къ вамъ!

Арина. И-и-и, дѣвынька, что страховъ-отъ натерпѣлись! Страсти! Какъ поутру-то узнала дѣвка, схватила ножъ, да насъ-то маненько не перерѣзала, а потомъ себя! Ужъ насилу! насилу мы съ ней сладили! Степку теперь на глаза не пущаетъ!

Матрешка. Сказывалъ онъ мнѣ!

Арина. Ну, къ вечеру-то, знаешь, отпустило ее, — стала она теперь словно камень! Богъ, говоритъ, меня, говоритъ, наказалъ за Матрешку, теперь — говоритъ — сама така жъ! Нонѣ, дѣвынька, дала я ей сарахванъ-отъ, што Силантій Савельичъ у тебя ей-то купилъ, она надѣла — Матрешкой, говоритъ, стала, ее и сарахванъ надыть! Во што!

Матрешка. Гдѣ жъ она теперь?

Арина. И-и-и, дѣвынька, уйдетъ въ сарай, *зароется въ солому да ничкомъ и лежитъ!*

Матрешка. Какъ бы рукъ на себя не наложила сгоряча-то?

Но жертва не наложила на себя рукъ: «Страшно стало» потомъ-то, говоритъ она сама. Нашъ поэтъ богатъ психологическимъ знаніемъ народа. Вотъ и Ваня, являющійся внезапно отъ посредника, къ которому на сутки отлучился. Поэтъ не пощадилъ своего героя, для реальной правды: Иванъ въ первое мгновеніе, въ бестіальной ярости, обвиняетъ одну Машу, онъ несправедливъ и отвратителенъ, но понявъ, наконецъ, какъ было дѣло, онъ какъ бы невольно предложилъ было Машѣ идти за него и *такъ*. Но автору слишкомъ хорошо извѣстно, что въ нашемъ народномъ быту это почти немыслимо, если только дѣло носитъ честный характеръ. Обезчещенная дѣвушка, хоть и обманомъ, хоть и безъ вины, считается все-таки уже нечистою, если не совсѣмъ безчестною. Да и сама Маша горда: «Не марайся объ меня, Ваня!» кричитъ она, «уйди!» «Прощай, Ваня!» и затѣмъ, въ послѣднемъ монологѣ, быстро подходитъ къ столу, наливаетъ стаканъ водки, обводитъ всѣхъ горячимъ взглядомъ и съ отчаяннымъ вывертомъ кричитъ:

«Ну, што же пріуныли? Радуйтесь, ваше дѣло! Матушка! батюшка! пить давайте, гулять! Не одинъ ты, батюшка, будешь по кабакамъ-то шляться! Съ дочкой! Скучно, матушка, пить одной-то было, вдвоемъ теперь, съ дочкой! Заливай вино! Потопи ты мое горе, мою совѣсть!»

И подноситъ стаканъ къ губамъ. Тѣмъ кончается драма.

Не говорю, что тутъ совсѣмъ нѣтъ ошибокъ, но въ этомъ произведеніи такъ много истинныхъ достоинствъ, что ошибки эти почти ничтожны. Напримѣръ, тонъ Маши въ монологѣ четвертаго акта, который заканчиваетъ она прелестнымъ, высокимъ душевнымъ движеніемъ: «теперь легко таково стало!» — Этотъ тонъ немного ужъ слишкомъ пѣвучъ. Правда, это почти не монологъ, а дума, чувство, — тѣ самыя думы и чувства, подъ вліяніемъ которыхъ у русскихъ людей, съ сердцемъ и поэзіей, сложились и всѣ пѣсни русскаго народа. Поэтому и дума Маши, по существу въ высшей степени вѣрная и натуральная, могла выйти по формѣ своей нѣсколько какъ бы лиричною. Но у искусства есть предѣлы и правила, и монологъ могъ бы быть покороче. Можетъ быть, не совсѣмъ вѣренъ и тонъ Маши въ концѣ драмы, уже послѣ катастрофы: лучше было бы, если бъ она говорила капельку менѣе. Ужасныя слова ея отцу гораздо бы сильнѣе выдались, если бъ тоже были покороче и не такъ пѣвучи. Но все это поправимо, авторъ очень можетъ исправить это во второмъ изданіи, и, повторяемъ, сравнительно съ безспорными достоинствами его произведенія, все это почти мелочи. Хорошо еще, если бъ авторъ выбросилъ изъ своей драмы совсѣмъ появленіе въ концѣ ея (и вовсе ненужное) добродѣтельнаго старика-фабриканта, толкующаго чуть ли не о нашихъ «долгахъ народу». Появленіе его тѣмъ болѣе нелѣпо, что это тотъ самый фабрикантъ, который закабалилъ весь окрестный людъ, замучилъ произвольными штрафами и кормитъ работниковъ гнилою пищею. Наконецъ, самъ хозяинъ дома, Захаръ, вышелъ нѣсколько неясенъ. Въ собственномъ объясненіи его, отчего онъ запилъ — есть какъ бы какая-то фальшь, что-то необъясненное и натянутое; межъ тѣмъ дѣло могло быть выставлено гораздо проще и натуральнѣе.

Впрочемъ, это только мое мнѣніе, и я могу ошибиться, но увѣренъ, что не ошибаюсь въ твердыхъ достоинствахъ этого серьезнаго произведенія. Мнѣ слишкомъ пріятно было подѣлиться моимъ впечатлѣніемъ съ читателями. Серьезнѣе ничего, по крайней мѣрѣ, не появилось въ нашей литературѣ за послѣднее и, можетъ быть, довольно длинное время...

XIII.

Маленькія картинки[1].

1.

Лѣто, каникулы, пыль и жаръ, жаръ и пыль. Тяжело оставаться въ городѣ. Всѣ разъѣхались. На-дняхъ при-

[1] № 29 „Гражданина“ 1873 г.

нялся было за перечитываніе накопившихся въ редакціи рукописей... Но о рукописяхъ послѣ, хотя о нихъ есть что сказать. Хочется воздуху, воли, свободы, но вмѣсто воздуха и свободы бродишь одинъ безъ цѣли по засыпаннымъ пескомъ и известкой улицамъ и чувствуешь себя какъ бы кѣмъ-то обиженнымъ — право, ощущеніе какъ будто похожее! Извѣстно, что половина горя долой, лишь бы подыскать кого-нибудь виноватаго въ немъ передъ вами, и тѣмъ досаднѣе, если подыскать рѣшительно некого...

На-дняхъ переходилъ Невскій проспектъ съ солнечной стороны на тѣневую. Извѣстно, что Невскій проспектъ переходишь всегда съ осторожностью, не то мигомъ раздавятъ, — лавируешь, присматриваешься, улучаешь минуту, прежде чѣмъ пуститься въ опасный путь, и ждешь, чтобы хоть капельку расчистилось отъ несущихся одинъ за другимъ, въ два или три ряда, экипажей. Зимой, за два, за три дня передъ Рождествомъ, напримѣръ, переходить особенно интересно: сильно рискуете, особенно если бѣлый морозный туманъ съ разсвѣта опустится на городъ, такъ что въ трехъ шагахъ едва различаешь прохожаго. Вотъ проскользнулъ коекакъ мимо первыхъ рядовъ каретъ и извозчиковъ, несущихся въ сторону Полицейскаго моста, и радуешься, что уже не боишься ихъ: топотъ и грохотъ и сиплые окрики кучеровъ остались за вами, но однако и некогда радоваться: вы только достигли середины опаснаго перехода, а дальше — рискъ и полная неизвѣстность. Вы быстро и тревожно осматриваетесь и на-скоро придумываете, какъ бы проскользнуть и мимо второго ряда экипажей, несущихся уже въ сторону Аничкова моста. Но чувствуете, что и думать ужъ некогда и къ тому же этотъ адскій туманъ; слышны лишь топотъ и крики, а видно кругомъ лишь на сажень. И вотъ вдругъ, внезапно раздаются изъ тумана быстрые, частые, сильно приближающіеся твердые звуки, страшные и зловѣщіе въ эту минуту, очень похожіе на то, какъ если бы шесть или семь человѣкъ сѣчками рубили въ чанѣ капусту. «Куда дѣваться? Впередъ или назадъ? Успѣю или нѣтъ?» И благо вамъ, что остались: изъ тумана, на разстояніи лишь одного шагу отъ васъ вдругъ вырѣзывается сѣрая морда жарко-дышущаго рысака, бѣшено несущагося со скоростью желѣзнодорожнаго курьерскаго поѣзда: пѣна на удилахъ, дуга на отлетѣ, возжи натянуты, а красивыя сильныя ноги съ каждымъ взмахомъ быстро, ровно и твердо отмѣриваютъ по сажени. Одинъ мигъ, отчаянный окрикъ кучера и — все мелкнуло и пролетѣло изъ тумана въ туманъ, и топотъ, и рубка, и крики — все исчезло опять, какъ видѣніе. Подлинно петербургское видѣніе! Вы креститесь и, уже почти презирая второй рядъ экипажей, такъ пугавшій васъ за минуту, быстро достигаете желаннаго тротуара, еще весь дрожа отъ перенесеннаго впечатлѣнія и, — странно, — ощущая въ то же время неизвѣстно почему и какое-то отъ него удовольствіе, и вовсе не потому, что избѣгли опасности, а именно потому, что ей подвергались. Удовольствіе ретроградное, я не спорю, и къ тому же въ нашъ вѣкъ безполезное, тѣмъ болѣе, что надо бы было, напротивъ, протестовать, а не ощущать удовольствіе, ибо рысакъ въ высшей степени не либераленъ, напоминаетъ гусара или кутящаго купчика, а стало быть, неравенство, нахальство, la tyrannie и т. д. Знаю и не спорю, но теперь я хочу лишь докончить. Итакъ, на-дняхъ, съ привычною зимнею осторожностью, сталъ было я переходить черезъ Невскій проспектъ и вдругъ, очнувшись отъ задумчивости, въ удивленіи остановился на самой серединѣ перехода: никого-то нѣтъ, ни одного экипажа, хоть бы какія-нибудь дребезжащія извозчичьи дрожки! Мѣсто пусто саженъ на пятьдесятъ въ обѣ стороны, хоть остановитесь разсуждать съ пріятелемъ о русской литературѣ — до того безопасно! Даже обидно. Когда это бывало?

Пыль и жаръ, удивительные запахи, взрытая мостовая и перестраивающіеся дома. Все больше отдѣлываютъ фасады со стараго на новое, для шику, для характеристики. Удивительна мнѣ эта архитектура нашего времени. Да и вообще архитектура всего Петербурга чрезвычайно характеристична и оригинальна и всегда поражала меня, — именно тѣмъ, что выражаетъ всю его безхарактерность и безличность за все время существованія. Характернаго въ положительномъ смыслѣ, своего собственнаго, въ немъ развѣ только вотъ эти деревянныя, гнилыя домишки, еще уцѣлѣвшія даже на самыхъ блестящихъ улицахъ, рядомъ съ громаднѣйшими домами, и вдругъ поражающія вашъ взглядъ словно куча дровъ возлѣ мраморнаго палаццо. Что же касается до палацовъ, то въ нихъ-то именно и отражается вся безхарактерность идеи, вся отрицательность сущности петербургскаго періода, съ самаго начала его до конца. Въ этомъ смыслѣ нѣтъ такого города, какъ онъ: въ архитектурномъ смыслѣ онъ отраженіе всѣхъ архитектуръ въ мірѣ, всѣхъ періодовъ и модъ; все постепенно заимствовано и все по-своему перековеркано. Въ этихъ зданіяхъ, какъ по кни-

гѣ, прочтете всѣ наплывы всѣхъ идей и идеекъ, правильно или внезапно залетавшихъ къ намъ изъ Европы и постепенно насъ одолѣвавшихъ и полонившихъ. Вотъ безхарактерная архитектура церквей прошлаго столѣтія, а вотъ и эпоха возрожденія и отысканный, будто бы, архитекторомъ Тономъ, въ прошлое царствованіе, типъ древняго византійскаго стиля. Вотъ затѣмъ нѣсколько зданій — больницъ, институтовъ и даже дворцовъ, первыхъ и десятыхъ годовъ нашего столѣтія, — это стиль времени Наполеона Перваго — огромно, псевдо-величественно и скучно до невѣроятности, что-то натянутое и придуманное тогда нарочно, вмѣстѣ съ пчелами на наполеоновской порфирѣ, для выраженія величія вновь наступившей тогда эпохи и неслыханной династіи, претендовавшей на безконечность. Вотъ потомъ дома, или почти дворцы иныхъ нашихъ дворянскихъ фамилій, но гораздо позднѣйшаго времени. Это ужъ на манеръ иныхъ итальянскихъ палаццо или не совсѣмъ чистый французскій стиль до-революціонной эпохи. Но тамъ, въ венеціанскихъ или римскихъ палаццо, отжили или еще отживаютъ жизнь свою цѣлыя поколѣнія древнихъ фамилій. одно за другимъ, въ теченіе столѣтій. У насъ же поставили наше палаццо всего только въ прошлое царствованіе, но тоже, кажется, съ претензіей на столѣтія: слишкомъ ужъ крѣпкимъ и ободрительнымъ казался установившійся тогдашній порядокъ вещей, и въ появленіи этихъ палаццо какъ бы выразилась вся вѣра въ него: тоже вѣка собирались прожить. Пришлось, однакоже, все это почти наканунѣ крымской войны, а потомъ и освобожденія крестьянъ... Мнѣ очень грустно будетъ, если когда-нибудь на этихъ палаццо прочту вывѣску трактира съ увеселительнымъ садомъ или французскаго отеля для пріѣзжающихъ. И, наконецъ, — вотъ архитектура современной, огромной гостиницы — это уже дѣловитость, американизмъ, сотни номеровъ, огромное промышленное предпріятіе: тотчасъ же видно, что и у насъ явились желѣзныя дороги, и мы вдругъ очутились дѣловыми людьми. А теперь, теперь... право не знаешь, какъ и опредѣлить теперешнюю нашу архитектуру. Тутъ какая-то безалаберщина, совершенно, впрочемъ, соотвѣтствующая безалаберности настоящей минуты. Это — множество чрезвычайно высокихъ (первое дѣло высокихъ) домовъ подъ жильцовъ, чрезвычайно, говорятъ, тонкостѣнныхъ и скупо-выстроенныхъ, съ изумительною архитектурою фасадовъ: тутъ и Растрелли, тутъ и позднѣйшее рококо, дожевскіе балконы и окна, непремѣнно оль-дебефы и непремѣнно пять этажей, и все это въ одномъ и томъ же фасадѣ. «Дожевское-то окно ты мнѣ, братецъ, поставь неотмѣнно, потому что чѣмъ я хуже какого-нибудь ихняго голоштаннаго дожа; ну, а пять-то этажей ты мнѣ все-таки выведи—жильцовъ пускать; окно—окномъ, а этажи чтобъ этажами; не могу же я изъ-за игрушекъ всего нашего капиталу рѣшиться». Впрочемъ, я не петербургскій фельетонистъ и не о томъ совсѣмъ заговорилъ. Началъ объ редакціонныхъ рукописяхъ, а свелъ на чужое дѣло.

2.

Пыль и жаръ. Говорятъ, для оставшихся въ Петербургѣ открыто нѣсколько садовъ и увеселительныхъ заведеній, гдѣ можно «подышать» свѣжимъ воздухомъ. Не знаю, есть ли тамъ чѣмъ подышать, но я нигдѣ еще не былъ. Въ Петербургѣ лучше, душнѣе, грустнѣе. Ходишь, созерцаешь, одинъ-одинешенекъ — это лучше, чѣмъ свѣжій воздухъ увеселительныхъ петербургскихъ садовъ. Къ тому же и въ городѣ открылось вдругъ множество садовъ, тамъ, гдѣ ихъ вовсе не подозрѣвали. Почти на каждой улицѣ встрѣтите теперь, при входѣ въ какія-нибудь ворота, иногда заваленныя известкой и кирпичемъ, надпись: «входъ въ садъ трактира». Тамъ, на дворѣ, гдѣ-нибудь передъ старымъ флигелькомъ лѣтъ сорокъ назадъ отгороженъ какой-нибудь палисадникъ, шаговъ десяти длиною и пяти шириною; ну, вотъ, это-то и есть теперь «садъ трактира». Скажите, отчего въ Петербургѣ гораздо грустнѣе по воскресеньямъ, чѣмъ въ будни? Отъ водки? Отъ пьянства? Оттого, что пьяные мужики валяются и спятъ на Невскомъ проспектѣ среди бѣлаго... вечера, какъ я самъ это видѣлъ! Не думаю. Гуляки изъ рабочаго люда мнѣ не мѣшаютъ, и я къ нимъ, оставшись теперь въ Петербургѣ, совсѣмъ привыкъ, хотя прежде терпѣть не могъ, даже до ненависти. Они ходятъ по праздникамъ пьяные, иногда толпами, давятъ и натыкаются на людей — не отъ буянства, а такъ, потому что пьяному нельзя не натыкаться и не давить; сквернословятъ вслухъ, несмотря на цѣлыя толпы дѣтей и женщинъ, мимо которыхъ проходятъ — не отъ нахальства, а такъ, потому что пьяному и нельзя имѣть другого языка кромѣ сквернословнаго. Именно это языкъ, цѣлый языкъ, я въ томъ убѣдился недавно, языкъ самый удобный и оригинальный, самый приспособленный къ пьяному или даже лишь къ хмѣльному состоянію, такъ что онъ совер-

шенно не могъ не явиться, и если бъ его совсѣмъ не было — il faudrait l'inventer. Я вовсе не шутя говорю. Разсудите: извѣстно, что въ хмѣлю, первымъ дѣломъ, связанъ и туго ворочается языкъ во рту, наплывъ же мыслей и ощущеній у хмѣльного, или у всякаго не какъ стелька пьянаго человѣка, почти удесятеряется. А потому естественно требуется, чтобы былъ отысканъ такой языкъ, который могъ бы удовлетворять этимъ обоимъ противоположнымъ другъ другу состояніямъ. Языкъ этотъ уже споконъ вѣку отысканъ и принятъ во всей Руси. Это просто запросто названіе одного нелексиконнаго существительнаго, такъ что весь этотъ языкъ состоитъ изъ одного только слова, чрезвычайно удобно-произносимаго. Однажды въ воскресенье, уже къ ночи, мнѣ пришлось пройти шаговъ съ пятнадцать рядомъ съ толпой шестерыхъ пьяныхъ мастеровыхъ, и я вдругъ убѣдился, что можно выразить всѣ мысли, ощущенія и даже цѣлыя глубокія разсужденія однимъ лишь названіемъ этого существительнаго, до крайности къ тому же немногосложнаго. Вотъ одинъ парень рѣзко и энергически произноситъ это существительное, чтобы выразить о чемъ-то, о чемъ раньше у нихъ общая рѣчь зашла, свое самое презрительное отрицаніе. Другой въ отвѣтъ ему повторяетъ это же самое существительное, но совсѣмъ уже въ другомъ тонѣ и смыслѣ, — именно въ смыслѣ полнаго сомнѣнія въ правдивости отрицанія перваго парня. Третій вдругъ приходитъ въ негодованіе противъ перваго парня, рѣзко и азартно ввязывается въ разговоръ и кричитъ ему то же самое существительное, но въ смыслѣ уже брани и ругательства. Тутъ ввязывается опять второй парень въ негодованіи на третьяго, на обидчика, и останавливаетъ его въ такомъ смыслѣ, «что, дескать, что жъ ты такъ, парень, влетѣлъ? Мы разсуждали спокойно, а ты откуда взялся — лѣзешь Фильку ругать!» И вотъ, всю эту мысль онъ проговорилъ тѣмъ же самымъ однимъ заповѣднымъ словомъ, тѣмъ же крайне односложнымъ названіемъ одного предмета, развѣ только что поднялъ руку и взялъ третьяго парня за плечо. Но вотъ вдругъ четвертый паренекъ, самый молодой изъ всей партіи, доселѣ молчавшій, должно быть, вдругъ отыскавъ разрѣшеніе первоначальнаго затрудненія, изъ-за котораго вышелъ споръ, въ восторгѣ, приподнимая руку кричитъ... Эврика, вы думаете? Нашелъ, нашелъ? Нѣтъ, совсѣмъ не эврика и не нашелъ; онъ повторяетъ лишь то же самое нелексиконное существительное, одно только слово, всего одно слово, но только съ восторгомъ, съ визгомъ упоенія

и, кажется, слишкомъ ужъ сильнымъ, потому что шестому, угрюмому и самому старшему парню это не «показалось» и онъ мигомъ осаживаетъ молокососный восторгъ паренька, обращаясь къ нему и повторяя угрюмымъ и назидательнымъ басомъ... да все то же самое запрещенное при дамахъ существительное, что, впрочемъ, ясно и точно обозначало: «чего орешь, глотку дерешь!» Итакъ, не проговоря ни единаго другого слова, они повторили это одно только излюбленное ими словечко шесть разъ, кряду, одинъ за другимъ, и поняли другъ друга вполнѣ. Это фактъ, которому я былъ свидѣтелемъ. Помилуйте! — закричалъ я имъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего (я былъ въ самой серединѣ толпы) — всего только десять шаговъ прошли, а шесть разъ (имя рекъ) повторили! Вѣдь это срамежъ! Ну, не стыдно ли вамъ?

Всѣ вдругъ на меня уставились, какъ смотрятъ на нѣчто совсѣмъ неожиданное, и на мигъ замолчали; я думалъ выругаютъ, но не выругали, а только молоденькій паренекъ, пройдя уже шаговъ десять, вдругъ повернулся ко мнѣ и на ходу закричалъ:

— А ты что же самъ-то семой разъ *его* поминаешь, коли на насъ шесть разовъ насчиталъ?

Раздался взрывъ хохота, и партія прошла, уже не безпокоясь болѣе обо мнѣ.

3.

Нѣтъ, я не про этихъ гулякъ говорю, и не отъ нихъ мнѣ такъ особенно грустно по воскресеньямъ. Я недавно съ большимъ удивленіемъ открылъ, что есть въ Петербургѣ мужики, мѣщане и мастеровые совершенно трезвые, совсѣмъ ничего не «употребляющіе» даже и по воскресеньямъ; и не это собственно меня удивило, а то, что ихъ несравненно, кажется, больше, чѣмъ я предполагалъ до сихъ поръ. Ну, вотъ на этихъ-то мнѣ смотрѣть еще грустнѣе, чѣмъ на пьяныхъ гулякъ, и не то чтобъ отъ состраданія къ нимъ; вовсе нѣтъ и причины имъ сострадать; а такъ приходитъ въ голову все какая-то странная мысль... По воскресеньямъ къ вечеру (по буднямъ ихъ совсѣмъ не видать) очень много этого, всю недѣлю занятаго работою, но совершенно трезваго люда выходитъ на улицу. Выходитъ именно погулять. Я замѣтилъ, что на Невскій они никогда не заходятъ, а такъ — все больше прохаживаются около своихъ же домовъ, или идутъ «прохладно», возвращаясь съ семействами откудова-нибудь изъ гостей. (Семейныхъ мастеровыхъ тоже, кажется, очень въ Петербургѣ много.) Идутъ они степенно и съ ужасно серьезными ли-

цами, точно и не на прогулкѣ, очень мало разговаривая другъ съ другомъ, особенно мужья съ женами, почти совсѣмъ молча, но всегда разодѣтые по-праздничному. Наряды плохи и стары, на женщинахъ пестры, но все вычищено и вымыто къ празднику, нарочно, можетъ быть, къ этому часу. Есть которые и въ русскихъ платьяхъ, но много и въ нѣмецкихъ и бреющихъ бороду. Досаднѣе всего, что они, кажется, дѣйствительно и серьезно воображаютъ, что этакъ прохаживаясь доставляютъ себѣ несомнѣнное воскресное удовольствіе. Ну, какое бы, кажется, удовольствіе на этой широкой, оголенной, пыльной улицѣ, пыльной еще послѣ заката солнца? То-то и есть, что имъ и это кажется раемъ; всякому, значитъ, свое.

Очень часто они съ дѣтьми; дѣтей тоже очень много въ Петербургѣ, а еще говорятъ, что они въ немъ ужасно какъ мрутъ. Всѣ эти дѣти, какъ я замѣтилъ, большею частью всегда почти маленькія, перваго возраста, едва ходятъ или совсѣмъ еще не умѣютъ ходить; не потому ли и такъ мало дѣтей постарше, что не доживаютъ и умираютъ? Вотъ замѣчаю въ толпѣ одинокаго мастерового, но съ ребенкомъ, съ мальчикомъ, — одинокіе оба, и видъ у нихъ обоихъ такой одинокій. Мастеровому лѣтъ тридцать, испитое и нездоровое лицо. Онъ нарядился по-праздничному: нѣмецкій сюртукъ, истертый по швамъ, потертыя пуговицы и сильно засалившійся воротникъ сюртука; панталоны «случайные», изъ третьихъ рукъ съ толкучаго рынка, но все вычищено по возможности. Коленкоровая манишка и галстухъ, шляпа цилиндръ, очень смятая, бороду бреетъ. Должно быть, гдѣ-нибудь въ слесарной или чѣмъ-нибудь въ типографіи. Выраженіе лица мрачно-угрюмое, задумчивое, жесткое, почти злое. Ребенка онъ держитъ за руку, и тотъ колыхается за нимъ, кое-какъ перекачиваясь. Это мальчикъ лѣтъ двухъ съ небольшимъ, очень слабенькій, очень блѣдненькій, но одѣтъ въ кафтанчикъ, въ сапожкахъ, съ красной оторочкой и съ павлиньимъ перышкомъ на шляпѣ. Онъ усталъ; отецъ ему что-то сказалъ, можетъ быть, просто сказалъ, а вышло, что какъ будто прикрикнулъ. Мальчикъ притихъ. Но прошли еще шаговъ пять, и отецъ нагнулся, бережно поднялъ ребенка, взялъ на руки и понесъ. Тотъ привычно и довѣрчиво прильнулъ къ нему, обхватилъ его за шею правой ручкой и съ дѣтскимъ удивленіемъ сталъ пристально смотрѣть на меня: «Чего, дескать, я иду за нимъ и такъ смотрю?» Я кивнулъ было ему головой и улыбнулся, но онъ нахмурилъ бровки и еще крѣпче ухватился за отцовскую шею. Друзья, должно быть, оба большіе.

Я люблю, бродя по улицамъ, присматриваться къ иным совсѣмъ незнакомымъ прохожимъ, изучать ихъ лица и угадывать: кто они, какъ живутъ, чѣмъ занимаются и что особенно ихъ въ эту минуту интересуетъ. Про мастерового съ мальчикомъ мнѣ пришло тогда въ голову, что у него, всего только съ мѣсяцъ тому, умерла жена и почему-то непремѣнно отъ чахотки. За сироткой-мальчикомъ (отецъ всю недѣлю работаетъ въ мастерской) пока присматриваетъ какая-нибудь старушенка въ подвальномъ этажѣ, гдѣ они нанимаютъ каморку, а можетъ быть всего только уголъ. Теперь же, въ воскресенье, вдовецъ съ сыномъ ходили куда-нибудь далеко на Выборгскую, къ какой-нибудь единственной оставшейся родственницѣ, всего вѣрнѣе къ сестрѣ покойницы, къ которой не очень-то часто ходили прежде, и которая замужемъ за какимъ-нибудь унтеръ-офицеромъ съ нашивкой и живетъ непремѣнно въ какомъ-нибудь огромнѣйшемъ казенномъ домѣ и тоже въ подвальномъ этажѣ, но особнячкомъ. Та, можетъ быть, повздыхала о покойницѣ, но не очень; вдовецъ, навѣрно, тоже не очень вздыхалъ во время визита, но все время былъ угрюмъ, говорилъ рѣдко и мало, непремѣнно свернулъ на какой-нибудь дѣловой, спеціальный пунктъ, но и о немъ скоро пересталъ говорить. Должно быть, поставили самоваръ, выпили въ прикуску чайку. Мальчикъ все время сидѣлъ на лавкѣ въ углу, хмурился и дичился, а подъ конецъ задремалъ. И тетка, и мужъ ея мало обращали на него вниманія, но молочка съ хлѣбцемъ, наконецъ-таки, дали, при чемъ хозяинъ унтеръ-офицеръ, до сихъ поръ не обращавшій на него никакого вниманія, что-нибудь сострилъ про ребенка въ видѣ ласки, но что-нибудь очень соленое и неудобное, и самъ (одинъ, впрочемъ) тому разсмѣялся, а вдовецъ, напротивъ, именно въ эту минуту строго и неизвѣстно за что прикрикнулъ на мальчика, вслѣдствіе чего тому немедленно захотѣлось аа, и тутъ отецъ уже безъ крику и съ серьезнымъ видомъ вынесъ его на минутку изъ комнаты... Простились также угрюмо и чинно, какъ и разговоръ вели, съ соблюденіемъ всѣхъ вѣжливостей и приличій. Отецъ сгребъ на руки мальчика и понесъ домой, съ Выборгской на Литейную. Завтра опять въ мастерскую, а мальчикъ къ старушенкѣ. И вотъ ходишь-ходишь и все этакія пустыя картинки и придумываешь для своего развлеченія. Никакого въ этомъ нѣтъ толку и «ничего поучительнаго нельзя извлечь». Оттого и беретъ хандра по воскресеньямъ, въ каникулы, на пыльныхъ и угрюмыхъ петербургскихъ улицахъ. Что, не приходило вамъ въ голову, что въ Петербургѣ угрюмыя

улицы? Мнѣ кажется, это самый угрюмый городъ, какой только можетъ быть на свѣтѣ!

Правда, и въ будни выносятъ дѣтей во множествѣ, но по воскресеньямъ къ вечеру ихъ является на улицахъ чуть не вдесятеро болѣе. Какія все испитыя, какія блѣдныя, худосочныя, малокровныя, и какія у нихъ угрюмыя личики, особенно у тѣхъ, которыя еще на рукахъ; а тѣ, которыя уже ходятъ — всѣ съ кривыми ножками и всѣ на ходу сильно колыхаются изъ стороны въ сторону. Почти всѣ, впрочемъ, тщательно пріодѣты. Но, Боже мой, ребенокъ что цвѣтокъ, что листокъ, завязавшійся весною на деревѣ; ему надо свѣту, воздуху, воли, свѣжей пищи, и вотъ, вмѣсто всего этого, душный подвалъ съ какимъ-нибудь кваснымъ или капустнымъ запахомъ, страшное зловоніе по ночамъ, нездоровая пища, тараканы и блохи, сырость, влага, текущая со стѣнъ, а на дворѣ — пыль, кирпичъ и известка.

Но они любятъ своихъ блѣдныхъ и худосочныхъ дѣтей. Вотъ маленькая, трехлѣтняя дѣвочка, хорошенькая и въ свѣжемъ платьицѣ спѣшитъ къ матери, которая сидитъ у воротъ, въ большомъ обществѣ, сошедшемся со всего дома часокъ-другой поболтать. Мать болтаетъ, но глазомъ наблюдаетъ ребенка, играющаго отъ нея въ десяти шагахъ. Дѣвочка нагнулась что-то поднять, какой-то камушекъ, и неосторожно наступила на свой подолъ ножками и вотъ никакъ распрямиться не можетъ, раза два выпрямилась, быстро и любопытно на меня посмотрѣла, пробовала, упала и заплакала. Мать приподнялась было къ ней на помощь, но я поднялъ дѣвочку раньше. Она еще со слезинками на глазахъ, и вдругъ бросилась, немного въ испугѣ и въ дѣтскомъ смущеніи, къ матери. Я подошелъ и учтиво освѣдомился сколько лѣтъ дѣвочкѣ; мать привѣтливо, но очень сдержанно мнѣ отвѣтила. Я сказалъ, что и у меня такая же дѣвочка; на это уже не послѣдовало отвѣта: «Можетъ, ты и хорошій человѣкъ» — молча глядѣла на меня мать — «да только что жъ тебѣ тутъ стоять, проходилъ бы мимо». Вся разговорившаяся публика тоже затихла, и тоже какъ будто это же самое думала. Я притронулся къ шляпѣ и прошелъ мимо.

Вотъ другая дѣвочка на бойкомъ перекресткѣ отстала отъ матери, которая до сихъ поръ ее вела за руку. Правда, бабенка вдругъ увидала, шагахъ въ пятнадцати отъ себя, товарку, пришедшую ее навѣстить, и надѣясь, что ребенокъ знаетъ дорогу, бросила его ручку и пустилась бѣгомъ встрѣчать гостью, но ребенокъ, оставшійся вдругъ одинъ, испугался и закричалъ, въ слезахъ догоняя мать.

Сѣдой и совсѣмъ незнакомый прохожій, мѣщанинъ съ бородой, вдругъ останавливаетъ на дорогѣ незнакомую ему бѣгущую женщину и схватываетъ ее за руку:

— Чего разбѣжалась! Вишь ребенокъ сзади кричитъ; такъ нельзя; испужаться можетъ.

Бабенка хотѣла что-то бойко возразить, но не возразила, одумалась; безо всякой досады и нетерпѣнія взяла на руки добѣжавшую къ ней дѣвочку и уже чинно пошла къ своей гостьѣ. Мѣщанинъ строго выждалъ до конца и направился своею дорогою.

Пустыя, самыя пустыя картинки, которыя даже совѣстно вносить въ дневникъ. Впредь постараюсь быть гораздо серьезнѣе.

XIV.

Учителю[1].

За прошлыя мои три маленькія картинки («Гражданинъ» № 29) московскій фельетонистъ обругалъ меня въ нашемъ петербургскомъ «Голосѣ» (№ 210), — кажется, изъ цѣломудрія, за то, что я, въ картинѣ № 2, заговоривъ о сквернословномъ языкѣ нашего хмѣльного народа, упомянулъ, ужъ конечно, не называя прямо, объ одномъ неприличномъ предметѣ... «Мнѣ и въ голову не могло придти, до чего можетъ дописаться фельетонистъ, когда у него нѣтъ подъ рукой подходящаго матеріала», говоритъ обо мнѣ московскій мой обличитель. Итакъ, выходитъ, что я прибѣгнулъ къ неприличному предмету единственно для оживленія моего фельетона, для сока, для кайенскаго перцу...

Вотъ это мнѣ грустно, а я-то даже думалъ, что заключатъ изъ моего фельетона именно противоположное, т. е. что изъ огромнаго матеріала я вывелъ мало. Я думалъ, что названіе спасетъ меня: маленькія картинки, а не большія, съ маленькихъ не такъ спросятъ. Я и набросалъ лишь нѣсколько грустныхъ мыслей о праздничномъ времяпрепровожденіи чернорабочаго петербургскаго люда. Скудость ихъ радостей, забавъ, скудость ихъ духовной жизни, подъѣлы, гдѣ возрастаютъ ихъ блѣдныя, золотушныя дѣти, скучная, вытянутая въ струнку широкая петербургская улица, какъ мѣсто ихъ прогулки, этотъ молодой мастеровой вдовецъ съ ребенкомъ на рукахъ (картинка истин-

[1] № 32 „Гражданина“ 1873 г.

ная) — все это мнѣ показалось матеріаломъ для фельетона достаточнымъ, такъ что, повторяю, можно было бы упрекнуть меня совершенно въ обратномъ смыслѣ, — т. е. что я мало изъ такого богатаго матеріала сдѣлалъ. Меня утѣшало, что я хоть намекнулъ на мой главный выводъ, т. е. что въ огромномъ большинствѣ народа нашего, даже и въ петербургскихъ подвалахъ, даже и при самой скудной духовной обстановкѣ, — есть все-таки стремленіе къ достоинству, къ нѣкоторой порядочности, къ истинному самоуваженію; сохраняется любовь къ семьѣ, къ дѣтямъ. Меня особенно поразило, что они такъ дѣйствительно и даже съ нѣжностью любятъ своихъ болѣзненныхъ дѣтей; я именно обрадовался мысли, что безпорядки и безчинства въ семейномъ быту народа, даже среди такой обстановки, какъ въ Петербургѣ, все же пока исключенія, хотя, быть можетъ, и многочисленныя, и думалъ подѣлиться этимъ свѣжимъ впечатлѣніемъ съ читателями. Я какъ разъ прочелъ передъ тѣмъ въ одномъ фельетонѣ преоткровенное признаніе одного, ужъ конечно, умнаго человѣка по поводу вышедшей одной офиціальнаго характера книги, — именно: что заниматься вопросомъ о томъ: полезна или не полезна была народу реформа? — есть въ сущности вопросъ праздный; что если бъ даже и не полезна она оказалась народу, то все равно, проваливайся все, а реформа должна была совершиться (и въ этомъ, пожалуй, много правды, на основаніи pereat mundus, несмотря на постановку вопроса). И наконецъ, что касается собственно до народа, до мужиковъ, то — признался фельетонистъ весьма явственно — «это вѣдь и правда, что собственно народъ нашъ не стоилъ реформы» — «и что если мы до реформы, въ литературѣ и публицистикѣ, вѣнчали лаврами и розами, съ гг. Марко-Вовчкомъ и Григоровичемъ, мужиковъ, то вѣдь мы очень хорошо знаемъ, что вѣнчали только вшивыя головы... Но нужно было это тогда для поджиленія дѣла» и т. д. Вотъ сущность мысли (изложеніе мое не буквальное), выраженной въ фельетонѣ съ такою откровенностью и уже безъ малѣйшей прежней церемоніи. Признаюсь, эта слишкомъ уже откровенная мысль, эта обнаженность ея, почти впервые обнаружившаяся съ такимъ удовольствіемъ, привела меня тогда въ прелюбопытное настроеніе духа, и, помню, я тогда заключилъ, что мы, ну, напримѣръ, въ «Гражданинѣ», хоть и раздѣляемъ первую часть этой мысли, т. е. реформа, даже несмотря ни на какія послѣдствія, но все же не раздѣлимъ ни за что второй части этой роковой мысли и твердо увѣрены, что вшивыя головы все-таки были достойны реформы и даже совсѣмъ

не ниже ея. Я думаю, подобное убѣжденіе можетъ составлять именно одну изъ характерныхъ сторонъ собственно нашего направленія; вотъ почему я объ этомъ теперь и упоминаю.

Что же касается до моего фельетона... А кстати, московскій фельетонистъ, мой собратъ по перу, неизвѣстно почему думаетъ, что я стыжусь названія фельетониста и увѣряетъ на французскомъ языкѣ, что я — «plus feuilletoniste que Jules Janin, plus catholique que le pape». Этотъ французскій языкъ изъ Москвы, конечно, тутъ для того, чтобъ подумали, что авторъ хорошаго тона, но все-таки не понимаю, къ чему тутъ приписываемое мнѣ исповѣданіе католической религіи и къ чему понадобился тутъ бѣдный папа? А что до меня, то я лишь выразился, что я не «петербургскій» фельетонистъ, и хотѣлъ лишь этимъ сказать, на всякій случай для будущаго, что въ моемъ «Дневникѣ» не объ одной собственно петербургской жизни пишу и намѣренъ писать, а, стало быть, и спрашивать съ меня слишкомъ подробныхъ отчетовъ о петербургской жизни, когда я заговорю о ней по необходимости, — нечего. Если же московскому моему учителю непремѣнно хочется назвать мой «Дневникъ» фельетономъ, то пусть; я этимъ очень доволенъ.

Московскій учитель мой увѣряетъ, что фельетонъ мой произвелъ фуроръ въ Москвѣ «въ рядахъ и Зарядьѣ», и называетъ его гостинодворскимъ фельетономъ. Очень радъ, что доставилъ такое удовольствіе читателямъ изъ этихъ мѣстъ нашей древней столицы. Но ядъ въ томъ, что будто я нарочно и билъ на эффектъ; за неимѣніемъ читателей высшихъ, искалъ читателей въ Зарядьѣ, и съ этою цѣлью заговорилъ «*о немъ*», а стало быть, я — «самый находчивый изъ всѣхъ фельетонистовъ»...

...То-исъ ума не приберу (пишетъ учитель, разсказывая объ эффектѣ моего фельетона въ Москвѣ), — ума не приберу, что это за диковинка такая, какой спросъ на этого „Гражданина“ вышелъ, удивлялся одинъ изъ газетныхъ разносчиковъ на мой вопросъ о спросѣ на „Гражданинъ“. Когда я объяснилъ ему въ чемъ дѣло, разносчикъ побѣжалъ къ Мекленбургу и Живареву — нашимъ оптовымъ торговцамъ газетами, чтобы взять оставшіеся нумера, но ихъ и тамъ расхватали: „все-то изъ рядовъ да изъ Зарядья спрашиваютъ“... Дѣло въ томъ, что до Гостинаго двора дошло свѣдѣніе, что въ „Гражданинѣ“ напечатана цѣлая статья *о немъ*, и вотъ гостинодворцы, вмѣсто того чтобы покупать „Развлеченіе“, кинулись на „Гражданинъ“...

Да вѣдь это вовсе недурно, послушайте, это извѣстіе, и напрасно вы стыдите меня гостинодворскими читателями Напротивъ, очень бы желалъ пріобрѣсти ихъ рас-

положеніе, ибо вовсе не такъ худо о нихъ думаю, какъ вы о нихъ думаете. Видите ли, покупали они, конечно, для смѣху и изъ того, что скандалъ вышелъ. На скандалъ всякій человѣкъ набрасывается, это уже свойство всякаго человѣка, преимущественно въ Россіи (вы, напримѣръ, вотъ набросились же); такъ что гостинодворцевъ за это, я думаю, нельзя презирать слишкомъ-то спеціально. Что же до забавы, до смѣху, — то есть разныя забавы и разный смѣхъ, даже въ самыхъ соблазнительныхъ случаяхъ. Учитель мой, впрочемъ, оговаривается; онъ прибавляетъ: «Я увѣренъ, что перомъ автора «картинки о *немъ*» руководили самыя добрыя намѣренія, когда онъ писалъ этотъ гостинодворскій фельетонъ», — т. е. учитель дѣлаетъ мнѣ честь, допуская, что я не имѣлъ непосредственною и главною цѣлью, упоминая о *немъ*, развратить народъ. Благодаримъ хоть за то; такъ какъ авторъ пишетъ въ «Голосѣ», то великодушная оговорка эта, пожалуй, и не лишняя, ибо знаю по опыту, что Андрею Александровичу ничего не стоитъ обвинить меня въ чемъ угодно, даже въ развратительныхъ цѣляхъ противъ народа и общества русскаго. (Обвинялъ же меня въ крѣпостничествѣ.) Андрей Александровичъ сказался тоже подъ вашимъ перомъ и въ удивительной обратной догадкѣ: «и если подобныя «картинки» ваши ничего не сдѣлаютъ для исправленія гулякъ изъ рабочаго люда»... говорите вы. Такая догадка какъ разъ изъ головы Андрея Александровича! Вѣдь придетъ же въ голову, что я писалъ, имѣя непосредственною и ближайшею цѣлью исправить (отъ сквернословія) нашъ ругающійся рабочій народъ! Да вѣдь они не только про насъ съ вами, но даже и про Андрея-то Александровича никогда не слыхивали — эти изъ рабочаго-то люда, которыхъ я описывалъ въ моемъ фельетонѣ!

Нѣтъ, я писалъ съ другимъ направленіемъ — о семъ «существительномъ», «при дамахъ къ произнесенію неудобнымъ», «а между пьяными наиболѣе употребительномъ» — и настаиваю, что имѣлъ довольно серьезную и извинительную цѣль, и это вамъ докажу. Мысль моя была доказать — цѣломудренность народа русскаго, указать, что народъ нашъ, въ пьяномъ видѣ (ибо въ трезвомъ сквернословятъ несравненно рѣже), если и сквернословитъ, то дѣлаетъ это не изъ любви къ скверному слову, не изъ удовольствія сквернословить, а просто по гадкой привычкѣ, перешедшей чуть не въ необходимость, такъ что даже самыя далекія отъ сквернословія мысли и ощущенія выражаетъ въ сквернословныхъ же словахъ. Я указывалъ дальше, что главную причину этой сквернословной

привычки искать надо въ пьянствѣ. Про догадку мою о потребности, въ пьяномъ видѣ, когда туго ворочается языкъ и между тѣмъ сильное желаніе говорить — прибѣгать къ словамъ краткимъ, условнымъ и выразительнымъ — про эту догадку мою можете думать что угодно; но что народъ нашъ цѣломудренъ, даже и сквернословя,— на это стоило указать. Я даже имѣю дерзость утверждать, что эстетически и умственно развитые слои нашего общества несравненно развратнѣе, въ этомъ смыслѣ, нашего грубаго и столь неразвитаго простого народа. Въ мужскихъ обществахъ, даже самаго высшаго круга, случается иногда, послѣ ужина, иной разъ даже между сѣдыми и звѣздоносными старичками, когда уже переговорятъ о всѣхъ важныхъ и даже иногда государственныхъ матеріяхъ — перейти мало-по-малу на эстетически каскадныя темы. Эти каскадныя темы быстро, въ свою очередь, переходятъ въ такой развратъ, въ такое сквернословіе, что никогда воображенію народному даже и не представить себѣ ничего подобнаго. Это случается ужасно часто, между всѣми оттѣнками этого столь возвышеннаго надъ народомъ круга людей. Мужи, извѣстные самыми идеальными добродѣтелями, даже богомольцы, даже самые романтическіе поэты съ жадностью участвуютъ въ сихъ разговорахъ. Тутъ всего важнѣе именно то, что иные изъ сихъ мужей— почтенны безспорно и дѣлаютъ много и хорошихъ поступковъ. Нравится имъ именно пакость и утонченность пакости, не столько скверное слово, сколько идея, въ немъ заключающаяся; нравится низость паденія, нравится именно вонь, словно лимбургскій сыръ (неизвѣстный народу) утонченному гастроному; тутъ именно потребность размазать и понюхать, и упиться запахомъ. Они смѣются, они объ этой пакости, конечно, говорятъ свысока, но видно, что она имъ нравится, и что безъ нея они уже обойтись не могутъ, хоть на словахъ. Совсѣмъ иной смѣхъ у народа, хотя бы даже и на эти темы. Я увѣренъ, что у васъ въ Зарядьѣ смѣялись не для пакости, не изъ любви *къ нему и къ искусству*, а смѣхомъ въ высшей степени простодушнымъ, не развратнымъ, здоровымъ, хотя и грубоватымъ, — совсѣмъ не такимъ, какимъ смѣются иные размазыватели въ нашемъ обществѣ или въ нашей литературѣ. Народъ сквернословитъ зря, и часто не о томъ совсѣмъ говоря. Народъ нашъ не развратенъ, а *очень даже цѣломудренъ*, несмотря на то, что это безспорно самый сквернословный народъ въ цѣломъ мірѣ, — и объ этой противоположности, право, стоитъ хоть немножко подумать.

Московскій учитель мой оканчиваетъ обо мнѣ въ сво-

емъ фельетонѣ съ чрезмѣрною, почти сатанинскою гордостью:

«Я воспользуюсь примѣромъ почтеннаго коллеги (т. е. моимъ),—говоритъ онъ,—когда мнѣ случится писать фельетонъ, а матеріала никакого не будетъ, и постараюсь тогда заняться тоже «картинками», — (какое презрѣнье!) — но въ данный моментъ мнѣ нѣтъ надобности пользоваться преподаннымъ мнѣ примѣромъ — (т. е. у умнаго человѣка и безъ «*него*» всегда много мыслей), потому что хоть у насъ въ Москвѣ тоже «жаръ и пыль», «пыль и жаръ» — (начальныя слова моего фельетона — для того чтобъ еще разъ устыдить меня) — но изъ этой пыли — (а-а! вотъ тутъ-то теперь и пойдетъ, вотъ онъ покажетъ намъ сейчасъ, что можетъ умная московская фельетонная голова вывести даже изъ «этой пыли» — сравнительно съ петербургскими), но изъ этой пыли и изъ-подъ этого жара — (это что же такое «изъ-подъ жара»?) можно, при извѣстной внимательности, усмотрѣть—(слушайте! слушайте!)— «что жизненный пульсъ нашей бѣлокаменной, значительно слабѣющій лѣтомъ, начинаетъ, такъ сказать, оживляться съ тѣмъ, чтобы, оживляясь все болѣе и болѣе, достигнуть въ зимніе мѣсяцы той интенсивности, дальше которой уже не можетъ идти пульсъ московской жизни».

Вотъ такъ мысль! Вонъ оно какъ у насъ въ Москвѣ-то! А мнѣ-то, мнѣ-то какой урокъ! А знаете что, учитель? Мнѣ-то вотъ и кажется, что вы нарочно подхватили у меня о *немъ*, именно чтобъ сдѣлать и вашъ фельетонъ занимательнѣе (а то что интенсивность-то!), можетъ быть, даже позавидовали моему успѣху въ Зарядьѣ! Это очень и очень можетъ быть. Не стали бы вы такъ копаться и размазывать и столько разъ поминать объ этомъ; мало того что поминали и размазывали, даже нюхали...

...все же мы доросли, по крайней мѣрѣ, чтобъ разнюхать, когда намъ подносятъ что-нибудь уже очень бьющее въ носъ, и умѣемъ цѣнить это, помимо намѣреній автора...

Ну, такъ чѣмъ же пахнетъ?

XV.

Нѣчто о враньѣ[1].

Отчего у насъ всѣ лгутъ, всѣ до единаго? Я убѣжденъ, что тотчасъ же остановятъ меня и закричатъ: «Э, вздоръ,

[1] № 35 „Гражданина“ 1873 г.

совсѣмъ не всѣ! У васъ темы нѣтъ, вотъ вы и выдумываете, чтобъ начать поэффектнѣе. Безтемностью меня ужъ попрекали; но въ томъ и дѣло, что я дѣйствительно въ этой поголовности нашего лганья теперь убѣжденъ. Пятьдесятъ лѣтъ живешь съ идеею, видишь и осязаешь ее, и вдругъ она предстанетъ въ такомъ видѣ, что какъ будто совсѣмъ и не зналъ ея до сихъ поръ. Съ недавняго времени меня вдругъ осѣнила мысль, что у насъ въ Россіи, въ классахъ интеллигентныхъ, даже совсѣмъ и не можетъ быть не лгущаго человѣка. Это именно потому, что у насъ могутъ лгать даже совершенно честные люди. Я убѣжденъ, что въ другихъ націяхъ, въ огромномъ большинствѣ, лгутъ только одни негодяи; лгутъ изъ практической выгоды, т. е. прямо съ преступными цѣлями. Ну, а у насъ могутъ лгать совершенно даромъ самые почтенные люди и съ самыми почтенными цѣлями. У насъ, въ огромномъ большинствѣ, лгутъ изъ гостепріимства. Хочется произвесть эстетическое впечатлѣніе въ слушателѣ, доставить удовольствіе, ну и лгутъ, даже, такъ сказать, жертвуя собою слушателю. Пусть припомнитъ кто угодно — не случалось ли ему разъ двадцать прибавить, напримѣръ, число верстъ, которое проскакали въ часъ времени везшія его тогда-то лошади, если только это нужно было для усиленія радостнаго впечатлѣнія въ слушателѣ. И не обрадовался ли дѣйствительно слушатель до того, что тотчасъ же сталъ увѣрять васъ объ одной знакомой тройкѣ, которая на пари обогнала желѣзную дорогу, и т. д. и т. д. Ну, а охотничьи собаки, или о томъ, какъ вамъ въ Парижѣ вставляли зубы, или о томъ, какъ васъ вылѣчилъ здѣсь Боткинъ? Не разсказывали ли вы о своей болѣзни такихъ чудесъ, что хотя, конечно, и повѣрили сами себѣ съ половины разсказа (ибо съ половины разсказа всегда самъ себѣ начинаешь вѣрить), но однако, ложась на ночь спать и съ удовольствіемъ вспоминая, какъ пріятно пораженъ былъ вашъ слушатель, вы вдругъ остановились и невольно проговорили: «Э, какъ я вралъ!» Впрочемъ, примѣръ этотъ слабъ, ибо нѣтъ пріятнѣе, какъ говорить о своей болѣзни, если только найдется слушатель; а заговорить, такъ ужъ невозможно не лгать; это даже лѣчитъ больного. Но, возвратясь изъ-за границы, не разсказывали ли вы о тысячѣ вещей, которыя видѣли «своими глазами»... впрочемъ, и этотъ примѣръ я беру назадъ: не прибавлять о «заграницѣ» возвратившемуся оттуда русскому человѣку нельзя; иначе не за чѣмъ было бы туда ѣздить. Но, напримѣръ, естественныя науки! Не толковали ли вы о естественныхъ наукахъ или о банкротствахъ

и бѣгствахъ разныхъ петербургскихъ и другихъ жидовъ за границу, ровно ничего не смысля въ этихъ жидахъ и не зная въ зубъ толкнуть о естественныхъ наукахъ? Позвольте, — не передавали ли вы анекдота, будто бы съ вами случившагося, тому же самому лицу, которое вамъ же про себя и разсказывало? Неужели вы позабыли, какъ, съ половины разсказа, вдругъ припомнили и объ этомъ догадались, что ясно подтвердилось и въ страдающемъ взглядѣ вашего-слушателя, упорно на васъ устремленномъ (ибо въ такихъ случаяхъ почему-то съ удесятереннымъ упорствомъ смотрятъ другъ другу въ глаза); помните, какъ, несмотря ни на что и уже лишившись всего вашего юмора, вы все-таки съ мужествомъ, достойнымъ великой цѣли, продолжали лепетать вашу повѣсть и, кончивъ поскорѣе съ нервно-уторопленными учтивостями, пожатіемъ рукъ и улыбками, разбѣжались въ разныя стороны, такъ что когда васъ вдругъ дернуло ни съ того, ни съ сего, въ порывѣ послѣдней конвульсіи, крикнуть уже на лѣстницу, сбѣгавшему по ней вашему слушателю, вопросъ о здоровьѣ его тетушки, то онъ не обернулся и не отвѣтилъ тогда о тетушкѣ, — что и осталось въ воспоминаніяхъ вашихъ мучительнѣе всего изъ всего этого, съ вами случившагося анекдота. Однимъ словомъ, если кто на все это мнѣ отвѣтитъ: *нѣтъ*, т. е. что онъ не передавалъ анекдотовъ, не трогалъ Боткина, не лгалъ о жидахъ, не кричалъ съ лѣстницы о здоровьѣ тетушки и что ничего подобнаго съ нимъ никогда не случалось, — то я просто этому не повѣрю. Я знаю, что русскій лгунъ сплошь да рядомъ лжетъ совсѣмъ для себя непримѣтно, такъ что просто можно было совсѣмъ не примѣтить. Вѣдь что случается: чуть только солжетъ человѣкъ и удачно, то такъ слюбится, что и включаетъ анекдотъ въ число несомнѣнныхъ фактовъ своей собственной жизни, и дѣйствуетъ совершенно совѣстливо, потому что самъ вполнѣ тому вѣритъ; да и неестественно было бы иногда не повѣрить.

«Э, вздоръ! — скажутъ мнѣ опять, — лганье невинное, пустяки, ничего мірового». Пусть. Я самъ соглашаюсь, что все очень невинно и намекаетъ лишь на благородныя свойства характера, на чувство благодарности, напримѣръ. Потому что если васъ слушали, когда вы лгали, то нельзя же не дать поврать и слушателю, хотя бы изъ одной благодарности.

Деликатная взаимность вранья есть почти первое условіе русскаго общества — всѣхъ русскихъ собраній,

вечеровъ, клубовъ, ученыхъ обществъ и проч. Въ самомъ дѣлѣ, только правдивая тупица какая-нибудь вступается въ такихъ случаяхъ за правду и начинаетъ вдругъ сомнѣваться въ числѣ проскаканныхъ вами верстъ, или въ чудесахъ, сдѣланныхъ съ вами Боткинымъ. Но это лишь безсердечные и гемороидальные люди, которые сами же и немедленно несутъ за то наказаніе, удивляясь потомъ отчего оно ихъ постигло? Люди бездарные. Тѣмъ не менѣе все это лганье, несмотря на всю невинность свою, намекаетъ на чрезвычайно важныя основныя наши черты до того, что ужъ тутъ почти начинаетъ выступать міровое. Напримѣръ, 1) на то, что мы, русскіе, прежде всего боимся истины, т. е. и не боимся, если хотите, а постоянно считаемъ истину чѣмъ-то слишкомъ ужъ для насъ скучнымъ и прозаичнымъ, недостаточно поэтичнымъ, слишкомъ обыкновеннымъ, и тѣмъ самымъ, избѣгая ея постоянно, сдѣлали ее, наконецъ, одною изъ самыхъ необыкновенныхъ и рѣдкихъ вещей въ нашемъ русскомъ мірѣ (я не про газету говорю). Такимъ образомъ у насъ совершенно утратилась аксіома: что истина — поэтичнѣе всего что есть на свѣтѣ, особенно въ самомъ чистомъ своемъ состояніи; мало того, даже фантастичнѣе всего, что могъ бы налгать и напредставить себѣ повадливый умъ человѣческій. Въ Россіи истина почти всегда имѣетъ характеръ вполнѣ фантастическій. Въ самомъ дѣлѣ, люди сдѣлали, наконецъ, то, что все, что налжетъ и перележетъ себѣ умъ человѣческій, имъ уже гораздо понятнѣе истины, и это сплошь на всемъ свѣтѣ. Истина лежитъ передъ людьми по сту лѣтъ на столѣ, и ее они не берутъ, а гоняются за придуманнымъ, именно потому, что ее-то и считаютъ фантастичнымъ и утопическимъ.

Второе, на что наше всеобщее русское лганье намекаетъ, это то, что мы всѣ стыдимся самихъ себя. Дѣйствительно, всякій изъ насъ носитъ въ себѣ чуть ли не прирожденный стыдъ за себя и за свое собственное лицо, и, чуть въ обществѣ, всѣ русскіе люди тотчасъ же стараются, поскорѣе и во что бы ни стало, каждый показаться непремѣнно чѣмъ-то другимъ, но только не тѣмъ, чѣмъ онъ есть въ самомъ дѣлѣ, каждый спѣшитъ принять совсѣмъ другое лицо.

Еще Герценъ сказалъ про русскихъ за границею, что они никакъ не умѣютъ держать себя въ публикѣ: говорятъ громко, когда всѣ молчатъ, и не умѣютъ слово сказать прилично и натурально, когда надобно говорить. И это истина: сейчасъ же вывертъ, ложь, мучительная конвульсія; сейчасъ же потребность устыдиться всего, что

есть въ самомъ дѣлѣ, спрятать и прибрать свое данное Богомъ русскому человѣку лицо и явиться другимъ, какъ можно болѣе чужимъ и нерусскимъ лицомъ. Все это изъ самаго полнаго внутренняго убѣжденія, что собственное лицо у каждаго русскаго — непремѣнно ничтожное и комическое до стыда лицо; а что если онъ возьметъ французское лицо, англійское, однимъ словомъ не свое лицо, то выйдетъ нѣчто гораздо почтеннѣе, и что подъ этимъ видомъ его никакъ не узнаютъ. Отмѣчу при этомъ нѣчто весьма характерное: весь тотъ дрянной стыдишка за себя и все то подлое самоотрицаніе себя — въ большинствѣ случаевъ безсознательны; это нѣчто конвульсивное и непреоборимое; но, въ сознаніи, русскіе, — хотя бы и самые полные самоотрицатели изъ нихъ, — все-таки съ ничтожностью своею не такъ скоро соглашаются въ такомъ случаѣ и непремѣнно требуютъ уваженія: «Я вѣдь совсѣмъ какъ англичанинъ, — разсуждаетъ русскій, — стало быть, надо уважать и меня, потому что всѣхъ англичанъ уважаютъ». Двѣсти лѣтъ вырабатывался этотъ главный типъ нашего общества подъ непремѣннымъ, еще двѣсти лѣтъ тому назадъ указаннымъ принципомъ: «ни за что и никогда не быть самимъ собою, взять другое лицо, а свое навсегда оплевать, всегда стыдиться себя и никогда не походить на себя» — и результаты вышли самые полные. Нѣтъ ни нѣмца, ни француза, нѣтъ въ цѣломъ мірѣ такого англичанина, который, сойдясь съ другими, стыдился бы своего лица, если по совѣсти увѣренъ, что ничего не сдѣлалъ дурного. Русскій очень хорошо знаетъ, что нѣтъ такого англичанина; а воспитанный русскій знаетъ и то, что не стыдиться своего лица, даже гдѣ бы то ни было, есть именно самый главный и существенный пунктъ собственнаго достоинства. Вотъ почему онъ и хочетъ казаться поскорѣй французомъ иль англичаниномъ, именно затѣмъ, чтобъ и его приняли поскорѣй за такого же, который нигдѣ и никогда не стыдится своего лица.

«Невинности, старина, говорено уже тысячу разъ», скажутъ опять. Пусть, но вотъ уже нѣчто похарактернѣе. Есть пунктъ, въ которомъ всякій русскій человѣкъ разряда интеллигентнаго, являясь въ общество или въ публику, ужасно требователенъ и ни за что уступить не можетъ. (Другое дѣло — у себя дома и самъ про себя.) Пунктъ этотъ — умъ, желанье показаться умнѣе, чѣмъ есть, и — замѣчательно это — отнюдь не желаніе показаться умнѣе всѣхъ или даже кого бы то ни было, а только лишь *не глупѣе никого*. «Признай, дескать, меня, что я не глупѣе никого, и я тебя признаю, что и ты не глупѣй никого». Опять-таки тутъ нѣчто въ родѣ взаимной благодарности. Передъ авторитетомъ европейскимъ, напримѣръ, русскій человѣкъ, какъ извѣстно, со счастьемъ и поспѣшностью преклоняется, даже не позволяя себѣ анализа; даже особенно не любитъ анализа въ такихъ случаяхъ. О, другое дѣло, если геніальное лицо сойдетъ съ пьедестала или даже просто выйдетъ изъ моды: тогда нѣтъ строже русской интеллигенціи къ такому лицу, нѣтъ предѣла ея высокомѣрію, презрѣнію, насмѣшкѣ. Мы пренаивно удивляемся потомъ, если вдругъ какъ-нибудь узнаемъ, что въ Европѣ все еще продолжаютъ смотрѣть на сошедшее у нихъ съ пьедестала лицо съ уваженіемъ и цѣнить его по достоинству. Но зато тотъ же самый русскій человѣкъ, хотя бы и преклонился передъ геніемъ въ модѣ даже и безъ анализа, все-таки ни за что и никогда не признаетъ себя глупѣе этого генія, предъ которымъ самъ сейчасъ преклонился, будь онъ разъевропейскій. «Ну, Гёте,— ну, Либихъ, — ну, Бисмаркъ, ну, положимъ... а все-таки и я тоже» — представляется каждому русскому непремѣнно, даже изъ самыхъ плюгавенькихъ, если только дойдетъ до того. И не то, что представляется, ибо сознанія тутъ почти никакого, а только какъ-то его всего дергаетъ въ этомъ смыслѣ. Это какое-то безпрерывное ощущеніе празднаго и шатающагося по свѣту самолюбія, ничѣмъ не оправданнаго. Однимъ словомъ, до такого, можетъ быть, самаго высшаго проявленія человѣческаго достинства, т. е. признать себя глупѣе другого, когда другой дѣйствительно умнѣе его — русскій человѣкъ высшихъ классовъ никогда и ни въ какомъ случаѣ не можетъ дойти, и даже я не знаю, могутъ ли быть исключенія. Пусть не очень-то смѣются надъ моимъ «парадоксомъ». Соперникъ Либиха, можетъ быть, и въ гимназіи не окончилъ курса и ужъ, конечно, съ Либихомъ не свяжется спорить о первенствѣ, когда ему скажутъ и укажутъ, что это вотъ Либихъ. Онъ промолчитъ, — но все-таки его будетъ дергать, даже при Либихѣ... Другое дѣло если бъ, напримѣръ, онъ встрѣтился съ Либихомъ, не зная, что это вотъ Либихъ, хоть въ вагонѣ желѣзной дороги. И если бъ только завязался разговоръ о химіи и нашему господину удалось бы къ разговору примазаться, то, сомнѣнія нѣтъ, онъ могъ бы выдержать самый полный ученый споръ, зная изъ химіи всего только одно слово: химія. Онъ удивилъ бы, конечно, Либиха, но кто знаетъ — въ глазахъ слушателей остался бы, можетъ

быть, побѣдителемъ. Ибо въ русскомъ человѣкѣ дерзости его ученаго языка — почти нѣтъ предѣловъ. Тутъ именно происходитъ феноменъ, существующій только въ русской интеллигентныхъ классовъ душѣ: не только нѣтъ въ душѣ этой, *лишь только она почувствуетъ себя въ публикѣ*, сомнѣнія въ умѣ своемъ, но даже въ самой полной учености, если только дѣло дойдетъ до учености. Про умъ еще можно понять, но про ученость свою, казалось бы, каждый долженъ имѣть самыя точныя свѣдѣнія...

Конечно, все это только въ публикѣ, когда кругомъ чужіе. Дома же про себя... Ну, дома про себя ни одинъ русскій человѣкъ объ образованіи и учености своей не заботится, даже и вопроса о томъ никогда не ставитъ... Если же поставитъ, то вѣрнѣе всего, что и дома рѣшитъ его въ свою пользу, хотя бы и имѣлъ самыя полныя свѣдѣнія о своей учености.

Мнѣ самому случилось выслушать недавно, сидя въ вагонѣ, цѣлый трактатъ о классическихъ языкахъ, въ продолженіе двухъ часовъ дороги. Говорилъ одинъ, а всѣ слушали. Это былъ никому изъ пассажировъ незнакомый господинъ, осанистый, зрѣлыхъ лѣтъ, сдержаннаго и барскаго вида, вѣско и неторопливо выпускавшій слова. Онъ всѣхъ заинтересовалъ. Очевидно было съ самыхъ первыхъ словъ его, что онъ не только въ первый разъ говорилъ, но даже, можетъ быть, въ первый разъ и думалъ объ этой темѣ, такъ что это была лишь блестящая импровизація. Онъ вполнѣ отрицалъ классическое образованіе и введеніе его у насъ называлъ «историческимъ и роковымъ дурачествомъ», — впрочемъ, это было единственное рѣзкое слово, которое онъ себѣ позволилъ; тонъ его взятъ былъ слишкомъ высоко и не позволялъ ему горячиться, изъ одного ужъ презрѣнія къ факту. Основанія, на которыхъ стоялъ онъ, были самыя первоначальныя, приличныя развѣ лишь тринадцатилѣтнему школьнику, почти тѣ же самыя, на которыхъ еще до сихъ поръ стоятъ иныя изъ нашихъ газетъ, воюющія съ классическими языками, напримѣръ, такъ какъ всѣ латинскія сочиненія переведены, то и не надо латинскаго языка, и проч., и проч. — въ этомъ родѣ. Въ нашемъ вагонѣ онъ произвелъ чрезвычайный эффектъ; многіе, разставаясь съ нимъ, благодарили его за доставленное удовольствіе, особенно дамы. Я убѣжденъ, что онъ ушелъ чрезвычайно уважая себя.

Теперь у насъ въ публикѣ (въ вагонахъ ли, въ другомъ ли мѣстѣ), разговоры сильно измѣнились противъ

прежнихъ, старыхъ лѣтъ; теперь жаждутъ учителей — на всѣ общественныя и соціальныя темы. Правда, разговоры въ публикѣ у насъ ужасно туго завязываются; всѣхъ сначала долго коробитъ, пока рѣшатся заговорить, ну, а заговорятъ — въ такой пафосъ иной разъ войдутъ, что почти надо за руки держать. Разговоры же болѣе сдержанные и солидные и, такъ сказать, болѣе высшіе и уединенные вертятся преимущественно на темахъ биржевыхъ или правительственныхъ, но съ секретной, изнаночной точки зрѣнія, съ познаніемъ высшихъ тайнъ и причинъ, обыкновенной публикѣ неизвѣстныхъ. Обыкновенная публика слушаетъ смирно и почтительно, а говоруны выигрываютъ въ своей осанкѣ. Разумѣется, изъ нихъ мало кто вѣритъ одинъ другому, но разстаются они почти всегда одинъ другимъ довольные и другъ другу даже нѣсколько благодарные. Задача проѣхать пріятно и весело по желѣзной нашей дорогѣ заключается въ умѣньи давать врать другимъ и какъ можно болѣе вѣрить; тогда и вамъ дадутъ тоже съ эффектомъ прилгнуть, если и сами вы соблазнитесь; стало быть, взаимная выгода. Но, какъ я сказалъ уже, есть и общія, животрепещущія, насущныя темы разговоровъ, въ которыя ввязывается уже вся публика, и то не за тѣмъ однимъ, чтобы пріятно время провести: повторяю, жаждутъ научиться, разъяснить себѣ современныя затрудненія, ищутъ, жаждутъ учителей и особенно, женщины, особенно матери семействъ. Замѣчательно то, что при всей этой чрезвычайно любопытной и далеко намекающей жаждѣ общественныхъ совѣтниковъ и руководителей, при всемъ этомъ благородномъ стремленіи, — удовлетворяются слишкомъ легко, самымъ иногда неожиданнымъ образомъ, вѣрятъ всему, подготовлены и вооружены весьма слабо, — гораздо слабѣе, чѣмъ могла бы представить вамъ самая яркая ваша фантазія, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда о нашемъ русскомъ обществѣ труднѣе было сдѣлать точное заключеніе, сравнительно съ теперешнимъ временемъ, когда уже имѣется болѣе фактовъ и свѣдѣній. Положительно можно сказать, что всякій говорунъ, съ нѣсколько порядочными манерами (къ порядочнымъ манерамъ наша публика, увы, до сихъ поръ еще чувствуетъ предразсудочную слабость, несмотря на все болѣе и болѣе разливающееся изъ фельетоновъ образованіе) — можетъ одержать верхъ и увѣрить слушателей своихъ въ чемъ угодно, получить благодарность и уйти глубоко уважая себя. Разумѣется, при несомнѣнномъ условіи быть либеральнымъ, — объ этомъ уже нечего и упоминать. Въ другой

разъ мнѣ, тоже въ вагонѣ и тоже недавно, случилось выслушать цѣлый трактатъ объ атеизмѣ. Ораторъ, свѣтскаго и инженернаго вида господинъ, вида, впрочемъ, угрюмаго, но съ болѣзненной жаждою слушателя, началъ съ монастырей. Въ монастырскомъ вопросѣ онъ не зналъ самаго перваго слова: онъ принималъ существованіе монастырей за нѣчто неотъемлемое отъ догматовъ вѣры, воображалъ, что монастыри содержатся отъ государства и дорого стоютъ казнѣ, и, забывая, что монахи совершенно свободная ассоціація лицъ, какъ и всякая другая, требовалъ, во имя либерализма, ихъ уничтоженія, какъ какую-то тиранію. Онъ кончилъ совершеннымъ и безбрежнымъ атеизмомъ на основаніи естественныхъ наукъ и математики. Онъ ужасно часто повторялъ о естественныхъ наукахъ и математикѣ, не приведя, впрочемъ, ни одного факта изъ этихъ наукъ въ продолженіе всей своей диссертаціи. Говорилъ, опять-таки, онъ одинъ, а прочіе только слушали: «Я научу сына моего быть честнымъ человѣкомъ, вотъ и все», — порѣшилъ онъ въ заключеніе, въ полной и очевидной увѣренности, что добрыя дѣла, нравственность и честность есть нѣчто данное и абсолютное, ни отъ чего не зависящее и которое можно всегда найти въ своемъ карманѣ, когда понадобится, безъ трудовъ, сомнѣній и недоумѣній. Этотъ господинъ имѣлъ тоже необыкновенный успѣхъ. Тутъ были офицеры, старцы, дамы и взрослыя дѣти. Его горячо благодарили, разставаясь, за доставленное удовольствіе, при чемъ одна дама, мать семейства, щеголевато одѣтая и очень недурная собой, громко и съ милымъ хихиканьемъ объявила, что она теперь совершенно убѣждена, что въ душѣ ея «одинъ только паръ». Этотъ господинъ тоже, должно быть, ушелъ съ необыкновеннымъ чувствомъ уваженія къ себѣ.

Вотъ это-то уваженіе къ себѣ и сбиваетъ меня съ толку. Что есть дураки и болтуны, — конечно, тому нечего удивляться; но господинъ этотъ, очевидно, былъ не дуракъ. Навѣрно, тоже не негодяй, не мошенникъ; даже очень можетъ быть, что честный человѣкъ и хорошій отецъ. Онъ только ровно ничего не понималъ въ тѣхъ вопросахъ, которые взялся разрѣшить. Неужто ему не придетъ въ голову черезъ часъ, черезъ день, черезъ мѣсяцъ: «Другъ мой, Иванъ Васильевичъ (или тамъ кто бы ни было),—вотъ ты спорилъ, а вѣдь ты ровно ничего не понимаешь въ томъ, о чемъ трактовалъ. Вѣдь ты это лучше всѣхъ знаешь. Ты вотъ ссылался на естественныя науки и математику, — а вѣдь тебѣ лучше всѣхъ извѣстно, что свою скудную математику, изъ твоей спеціальной школы, давно забылъ, да и тамъ-то не твердо зналъ, а въ естественныхъ наукахъ никогда не имѣлъ никакого понятія. Какъ же ты говорилъ? Какъ же ты училъ? Вѣдь ты же понимаешь, что только вралъ, а между тѣмъ до сихъ поръ гордишься собою; и не стыдно это тебѣ?»

Я убѣжденъ, что онъ могъ задать себѣ всѣ эти вопросы, несмотря на то, что, можетъ быть, занятъ «дѣломъ» и нѣтъ у него времени на праздные вопросы. Я даже несомнѣнно убѣжденъ, что они хоть вскользь, а побывали въ его головѣ. *Но ему не было стыдно, ему не было совѣстно!* Вотъ эта-то извѣстнаго рода безсовѣстность русскаго интеллигентнаго человѣка — рѣшительный для меня феноменъ. Что въ томъ, что она у насъ такъ сплошь да рядомъ обыкновенна и всѣ къ ней привыкли и приглядѣлись; она все-таки остается фактомъ удивительнымъ и чудеснымъ. Она свидѣтельствуетъ о такомъ равнодушіи къ суду надъ собой своей собственной совѣсти, или, что то же самое, о такомъ необыкновенномъ собственномъ неуваженіи къ себѣ, что придешь въ отчаяніе и потеряешь всякую надежду на что-нибудь самостоятельное и спасительное для націи, даже въ будущемъ, отъ такихъ людей и такого общества. Публика, т. е. внѣшность, европейскій обликъ, разъ навсегда данный изъ Европы законъ — эта публика производитъ на всякаго русскаго человѣка дѣйствіе подавляющее: въ публикѣ онъ европеецъ, гражданинъ, рыцарь, республиканецъ, съ совѣстью и съ собственнымъ твердо установленнымъ мнѣніемъ. Дома, про себя, — «Э, чертъ ли въ мнѣніяхъ, да хошь бы высѣкли!» Поручикъ Пироговъ, сорокъ лѣтъ тому назадъ высѣченный въ Большой Мѣщанской слесаремъ Шиллеромъ, — былъ страшнымъ пророчествомъ, пророчествомъ генія, такъ ужасно угадавшаго будущее, — ибо Пироговыхъ оказалось безмѣрно много, такъ много, что и не пересѣчь. Вспомните. что поручикъ, сейчасъ же послѣ приключенія, съѣлъ слоеный пирожокъ и отличился въ тотъ же вечеръ въ мазуркѣ, на именинахъ у одного виднаго чиновника. Какъ вы думаете: когда онъ откалывалъ мазурку и вывертывалъ, дѣлая па, свои столь недавно оскорбленные члены, — думалъ ли онъ, что его всего только часа два какъ высѣкли? Безъ сомнѣнія, думалъ. А было ли ему стыдно? Безъ сомнѣнія, нѣтъ! Проснувшись на другой день поутру, онъ, навѣрно, сказалъ себѣ: «Э, чертъ, стоитъ ли начинать, коли никто не узнаетъ!..» Это «стоитъ ли начинать», конечно, съ одной стороны намекаетъ на такую способность уживчивости со всѣмъ чѣмъ угодно, а вмѣстѣ съ тѣмъ и на такую широту нашей русской природы — что передъ этими качествами блѣд-

нѣетъ и гаснетъ даже все безграничное. Двухсотлѣтняя отвычка отъ малѣйшей самостоятельности характера и двухсотлѣтніе плевки на свое русское лицо раздвинули русскую совѣсть до такой роковой безбрежности, отъ которой... ну, чего можно ожидать, какъ вы думаете?

Я убѣжденъ, что поручикъ въ состояніи былъ дойти до такихъ столповъ или до такой безбрежности, что, можетъ быть, въ тотъ же вечеръ, своей дамѣ въ мазуркѣ, старшей дочери хозяина, объяснился въ любви и сдѣлалъ формальное предложеніе. Безконечно-*трагиченъ* образъ этой барышни, порхающей съ этимъ молодцомъ въ очаровательномъ танцѣ и не знающей, что ея кавалера всего только часъ какъ высѣкли и что это ему совсѣмъ ничего. Ну, а какъ вы думаете, если бъ она узнала, а предложеніе все-таки было бы сдѣлано — вышла бы она за него (разумѣется, подъ условіемъ, что болѣе ужъ никто не узнаетъ)? — Увы, непремѣнно бы вышла!

А все-таки, изъ числа Пироговыхъ и вообще всѣхъ «безбрежныхъ», кажется, можно исключить огромное большинство нашихъ женщинъ. Въ нашей женщинѣ все болѣе и болѣе замѣчается искренность, настойчивость, серьезность и честь, исканіе правды и жертва, да и всегда въ русской женщинѣ все это было выше, чѣмъ у мужчинъ. Это несомнѣнно, несмотря на всѣ даже теперешнія уклоненія. Женщина меньше лжетъ, многія даже совсѣмъ не лгутъ, а мужчинъ почти нѣтъ не лгущихъ, — я говорю про теперешній моментъ нашего общества. Женщина настойчивѣе, терпѣливѣе въ дѣлѣ; она *серьезнѣе* чѣмъ мужчина, хочетъ дѣла для самаго дѣла, а не для того лишь, чтобъ *казаться*. Ужъ не въ самомъ ли дѣлѣ намъ отсюда ждать большой помощи?

XVI.

Одна изъ современныхъ фальшей[1].

Нѣкоторые изъ нашихъ критиковъ замѣтили, что я, въ моемъ послѣднемъ романѣ «Бѣсы», воспользовался фабулой извѣстнаго Нечаевскаго дѣла; но тутъ же заявили, что собственно портретовъ или буквальнаго воспроизведенія Нечаевской исторіи у меня нѣтъ; что взято явленіе и что я попытался лишь объяснить возможность его въ нашемъ обществѣ, и уже въ смыслѣ общественнаго явленія, а не въ видѣ анекдотическомъ, не въ видѣ

[1] № 50 „Гражданина“ 1873 г.

лишь описанія московскаго частнаго случая. Все это, скажу отъ себя, совершенно справедливо. До извѣстнаго Нечаева и жертвы его Иванова въ романѣ моемъ лично я не касаюсь. Лицо *моего* Нечаева, конечно, непохоже на лицо настоящаго Нечаева. Я хотѣлъ поставить вопросъ, и сколько возможно яснѣе, въ формѣ романа, дать на него отвѣтъ: какимъ образомъ въ нашемъ переходномъ и удивительномъ современномъ обществѣ возможны — не Нечаевъ, а *Нечаевы*, и какимъ образомъ можетъ случиться, что эти *Нечаевы* набираютъ себѣ подъ конецъ Нечаевцевъ?

И вотъ недавно, — впрочемъ, ужъ съ мѣсяцъ назадъ — прочелъ я въ «Русскомъ Мірѣ» слѣдующія любопытныя строки: «... Намъ кажется, что Нечаевское дѣло могло убѣдить, что *учащаяся* молодежь въ подобныхъ безумствахъ — не бываетъ у насъ замѣшана. Идіотическій фанатикъ, въ родѣ Нечаева, могъ найти себѣ прозелитовъ только среди праздной, недоразвитой и вовсе неучащейся молодежи».

И далѣе:

...«тѣмъ болѣе, что еще на-дняхъ министръ народнаго просвѣщенія (въ Кіевѣ) заявилъ, что послѣ осмотра учебныхъ заведеній въ 7 округахъ онъ можетъ сказать, что *«въ послѣдніе годы молодежь несравненно серьезнѣе относится къ дѣлу науки, несравненно болѣе и основательнѣе работаетъ»*.

Сами по себѣ, т. е. судя безотносительно, строки эти довольно ничтожны (авторъ, надѣюсь, извинитъ меня). Но въ нихъ есть вывертъ и старая пріѣвшаяся ложь. Полная и основная идея въ томъ, что Нечаевы если и являются у насъ иногда, то непремѣнно всѣ они идіоты и фанатики, а если имъ и удастся найти себѣ прозелитовъ, то непремѣнно «*только* среди праздной, недоразвитой и *вовсе* неучащейся молодежи». Не знаю, что именно хотѣлъ доказать этимъ вывертомъ собственно авторъ статейки «Русскаго Міра»: хотѣлъ ли онъ польстить учащейся молодежи? Или, напротивъ, хитрымъ маневромъ и, такъ сказать, въ видѣ ласкательства думалъ ее же поднадуть немного, но только съ самыми почтенными цѣлями, т. е. для ея же пользы, — и для достиженія цѣли употребилъ столь извѣстный пріемъ гувернантокъ и нянюшекъ съ маленькими ребятками: «Вотъ, дескать, милыя дѣти, видите, какіе *тѣ* нехорошіе буяны, кричатъ и дерутся и ихъ непремѣнно высѣкутъ за то, что они такіе «недоразвитки»; вы же вотъ какіе милые хваленые паиньки, за столомъ сидите прямо, ножками подъ столомъ не болтаете, и вамъ за это непремѣнно гостинца дадутъ». Или, наконецъ, просто-запросто автору захотѣлось «защитить»

нашу учащуюся молодежь передъ правительствомъ и употребить для сего пріемъ, который самъ онъ, можетъ быть, считаетъ необыкновенно хитрымъ и тонкимъ?

Прямо скажу: хотя я поставилъ всѣ эти вопросы, но личныя цѣли автора статейки «Русскаго Міра» не возбуждаютъ во мнѣ ни малѣйшаго любопытства. И даже, чтобъ оговориться окончательно, прибавлю, что ложь и старый пріѣвшійся вывертъ выраженной «Русскимъ Міромъ» мысли я наклоненъ считать въ настоящемъ случаѣ чѣмъ-то неумышленнымъ и нечаяннымъ, т. е., что самъ авторъ статейки совершенно повѣрилъ словамъ своимъ и принялъ ихъ за правду съ тѣмъ высшимъ простодушіемъ, которое такъ похвально и даже трогательно по своей беззащитности во всякомъ другомъ случаѣ. Но кромѣ того, что ложь, принятая за правду, имѣетъ всегда самый опасный видъ (несмотря даже на то, что является въ «Русскомъ Мірѣ»), — кромѣ того, бросается въ глаза и то, что никогда еще не являлась она въ столь обнаженномъ, точномъ и безыскусственномъ видѣ, какъ въ этой статейкѣ. Подлинно, заставь иного человѣка молиться Богу, онъ и лобъ расшибетъ. Вотъ въ этомъ-то видѣ и любопытно прослѣдить эту ложь и вывести ее на свѣтъ по возможности, ибо когда-то еще дождешься въ другой разъ такой безыскусственной откровенности.

Вотъ уже съ незапамятныхъ псевдо-либеральныхъ нашихъ временъ, въ нашей газетной прессѣ принято за правило «защищать молодежь», — противъ кого? противъ чего? — это иногда остается во мракѣ неизвѣстности и такимъ образомъ часто принимаетъ пребезтолковый и даже прекомическій видъ, особенно при нападеніяхъ на другіе органы печати въ томъ смыслѣ, что «вотъ, дескать, мы либеральнѣе, а вы-то нападаете на молодежь, стало быть, вы ретроградиѣе». Замѣчу въ скобкахъ, что въ той же статейкѣ «Русскаго Міра» есть обвиненіе, прямо направленное на «Гражданинъ», въ томъ, что въ немъ будто бы сплошь обвиняютъ нашу учащуюся молодежь въ Петербургѣ, Москвѣ и въ Харьковѣ. Не говоря уже о томъ, что авторъ статейки самъ *отлично хорошо знаетъ*, что ничего подобнаго этому поголовному и сплошному обвиненію у насъ нѣтъ и не было, я просто попрошу нашего обвинителя объяснить: что значитъ обвинять молодежь поголовно? Я совершенно не понимаю этого! Это, конечно, значитъ сплошь почему-то не любить всю молодежь, — и не столько даже молодежь, сколько извѣстный возрастъ нашихъ молодыхъ людей? Что за сумбуръ? Кто можетъ повѣрить такому обвиненію? Ясно, что и обвиненіе, и защита сдѣланы сплеча, даже не думавши много.

Стоитъ, дескать, объ этомъ задумываться: «показалъ, что самъ либераленъ, что хвалю молодежь, что ругаю тѣхъ, которые ее не хвалятъ, ну, и довольно для подписки и съ плечъ долой!». Именно съ плечъ долой — ибо только самый злѣйшій врагъ нашей молодежи могъ бы рѣшиться защищать ее *такимъ образомъ* и наткнуться на такой удивительный вывертъ, на какой наткнулся (нечаянно — я убѣжденъ въ этомъ теперь болѣе, чѣмъ когда-нибудь) — простодушный авторъ статейки «Русскаго Міра».

Въ томъ-то и вся важность, что пріемъ этотъ не выдумка одного только «Русскаго Міра», а пріемъ общій многимъ органамъ нашей псевдо-либеральной прессы и тамъ, можетъ быть, онъ дѣлается уже не столь простодушно. Сущность его, *во-первыхъ*, — въ сплошной похвалѣ молодежи, во всемъ и во всякомъ случаѣ, и въ грубыхъ нападкахъ на всѣхъ тѣхъ, которые при случаѣ позволятъ себѣ отнестись даже и къ молодежи критически. Пріемъ этотъ основанъ на смѣшномъ предположеніи, что молодежь настолько еще не доросла и такъ любитъ лесть, что не разберетъ и приметъ все за чистую монету. И вправду, достигли того, что уже очень многіе изъ молодежи (мы твердо вѣримъ, что далеко не всѣ), дѣйствительно, полюбили грубую похвалу, требуютъ себѣ лести и безъ разбора готовы обвинять всѣхъ тѣхъ, кто не потакаетъ имъ сплошь и на всякомъ шагу, особенно въ иныхъ случаяхъ. Впрочемъ, тутъ пока еще вредъ всего только временный; съ опытомъ и съ возрастомъ и взгляды молодежи измѣнятся. Но есть и другая сторона лжи, которая влечетъ уже непосредственный и вещественный вредъ.

Эта другая сторона пріема «защиты нашей молодежи предъ обществомъ и передъ правительствомъ» состоитъ въ простомъ *отрицаніи факта*, — иногда самомъ грубомъ и нахальномъ: «нѣтъ, дескать, факта, не было его и быть не могло; кто говоритъ, что онъ былъ — значитъ, клевещетъ на молодежь, значитъ, врагъ нашей молодежи!»

Вотъ пріемъ. Повторяю, — самый злѣйшій врагъ нашей молодежи не выдумалъ бы ничего вреднѣе для прямыхъ ея интересовъ. Мнѣ непремѣнно хочется доказать это.

Отрицаніемъ факта, во что бы то ни стало, можно достигнуть удивительныхъ результатовъ.

Ну, что вы тѣмъ докажете, господа, и чѣмъ облегчите дѣло, если начнете удостовѣрять (и, главное, Богъ знаетъ для чего) — что «увлекающаяся» молодежь, т. е. тѣ, которые могутъ «увлечься» (пусть даже и Нечаевымъ),

непремѣнно должна состоять изъ однихъ только «праздныхъ недоразвитковъ», изъ тѣхъ, которые *вовсе* не учатся, — однимъ словомъ, изъ шалопаевъ съ самыми дурными наклонностями? Такимъ образомъ, уединяя дѣло, выводя его изъ сферы учащихся и сводя непремѣнно лишь на «праздныхъ недоразвитковъ», вы тѣмъ самымъ уже заранѣе обвиняете этихъ несчастныхъ и отказываетесь отъ нихъ окончательно: «сами виноваты, буяны и лѣнивцы и смирно за столомъ не умѣли сидѣть». Уединяя случай и лишая его права быть разсмотрѣннымъ въ связи съ общимъ цѣлымъ (а въ этомъ-то и состоитъ единственная возможная защита несчастныхъ «заблудшихся»!), вы тѣмъ самымъ не только какъ бы подписываете имъ окончательный приговоръ, но даже удаляете отъ нихъ самое милосердіе, ибо прямо удостовѣряете, что сами заблужденія ихъ произошли единственно отъ отвратительныхъ качествъ ихъ, и что эти юноши, даже и безъ всякаго преступленія, должны возбуждать къ себѣ презрѣніе и отвращеніе.

Съ другой стороны, вдругъ случится, что въ какомъ-нибудь *дѣлѣ* оказались бы замѣшанными вовсе не недоразвитки, вовсе не буяны, болтающіе ногами подъ столомъ, вовсе не одни лѣнивцы, а, напротивъ, молодежь прилежная, горячая, именно учащаяся и даже съ хорошимъ сердцемъ, а только лишь дурно направленная? (Поймите это слово: *направленная*. Гдѣ, въ какой Европѣ найдете вы теперь болѣе шалости въ всевозможныхъ направленіяхъ, какъ у насъ въ наше время!) И вотъ, по вашей теоріи «лѣнтяевъ и недоразвитковъ», эти новые «несчастные» окажутся уже втрое виновнѣе: «имъ были средства даны, они прошли курсъ наукъ, они основательно работали, — нѣтъ у нихъ оправданій! Они втрое менѣе чѣмъ праздные недоразвитки могутъ заслуживать милосердія!» Вотъ результатъ прямо выходящій изъ вашей теоріи.

Позвольте, господа (я говорю вообще, а не одному только сотруднику «Русскаго Міра»), — вы, на основаніи «отрицанія факта», утверждаете, что «Нечаевы» непремѣнно должны быть идіотами, «идіотическими фанатиками». Такъ ли это опять? Справедливо ли? Устраняю въ настоящемъ случаѣ Нечаева, а говорю «Нечаевы», во множественномъ числѣ. Да, изъ Нечаевыхъ могутъ быть существа весьма мрачныя, весьма безотрадныя и исковерканныя, съ многосложнѣйшей по происхожденію жаждой интриги, власти, съ страстной и болѣзненно-ранней потребностью выказать личность, но — почему же они «идіоты»? Напротивъ, даже настоящіе монстры изъ нихъ могутъ быть очень развитыми, прехитрыми и даже образованными людьми. Или вы думаете, что знанія, «научки», школьныя свѣдѣньица (хотя бы университетскія) такъ уже окончательно формируютъ душу юноши, что, съ полученіемъ диплома, онъ тотчасъ же пріобрѣтаетъ незыблемый талисманъ, разъ навсегда, узнавать истину и избѣгать искушеній, страстей и пороковъ. Такимъ образомъ, всѣ эти окончившіе курсъ наукъ юноши станутъ тотчасъ же, по-вашему, чѣмъ-то въ родѣ множества маленькихъ папъ, не подлежащихъ прегрѣшенію.

И почему вы полагаете, что Нечаевы непремѣнно должны быть фанатиками? Весьма часто это просто мошенники. «Я мошенникъ, а не соціалистъ», говоритъ одинъ Нечаевъ, положимъ, у меня, въ моемъ романѣ «Бѣсы», но увѣряю васъ, что онъ могъ бы сказать это и наяву. Это мошенники очень хитрые и изучившіе именно великодушную сторону души человѣческой, всего чаще юной души, чтобъ умѣть играть на ней какъ на музыкальномъ инструментѣ. Да неужели же вы правду думаете, что прозелиты, которыхъ могъ бы набрать у насъ какой-нибудь Нечаевъ, — должны быть непремѣнно лишь одни шалопаи? Не вѣрю, не всѣ; я самъ старый «Нечаевецъ», я тоже стоялъ на эшафотѣ, приговороенный къ смертной казни, и увѣряю васъ, что стоялъ въ компаніи людей образованныхъ. Почти вся эта компанія окончила курсъ въ самыхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Нѣкоторые впослѣдствіи, *когда уже все прошло*, заявили себя замѣчательными спеціальными знаніями, сочиненіями. Нѣтъ-съ, Нечаевцы не всегда бываютъ изъ однихъ только лѣнтяевъ, совсѣмъ ничему не учившихся.

Знаю, вы, безъ сомнѣнія, возразите мнѣ, что я вовсе не изъ Нечаевцевъ, а всего только изъ «Петрашевцевъ». Пусть изъ Петрашевцевъ. (Хотя, по-моему, названіе это неправильное, ибо чрезмѣрно большее число, въ сравненіи съ стоявшими на эшафотѣ, но совершенно такихъ же, какъ мы, Петрашевцевъ, осталось совершенно нетронутымъ и необезпокоеннымъ. Правда, они никогда и не знали Петрашевскаго, но совсѣмъ не въ Петрашевскомъ было и дѣло во всей этой давнопрошедшей исторіи, вотъ что я хотѣлъ лишь замѣтить.)

Но пусть изъ Петрашевцевъ. Почему же вы знаете, что Петрашевцы не могли бы стать Нечаевцами, т. е. стать на «Нечаевскую» же дорогу, *въ случаѣ если бъ такъ обернулось дѣло?* Конечно, тогда и представить нельзя было:

какъ бы это могло *такъ обернуться дѣло?* Не тѣ совсѣмъ были времена. Но позвольте мнѣ про себя одного сказать: *Нечаевымъ*, вѣроятно, я бы не могъ сдѣлаться никогда, но Нечаевцемъ, не ручаюсь, можетъ, и могъ бы... во дни моей юности.

Я заговорилъ теперь про себя, чтобъ имѣть право говорить о другихъ. Тѣмъ не менѣе буду продолжать только объ одномъ себѣ, о другихъ же если и упомяну, то вообще, безлично и въ смыслѣ совершенно отвлеченномъ. *Дѣло* же Петрашевцевъ, — это такое давнопрошедшее дѣло, принадлежитъ къ такой древнѣйшей исторіи, что, вѣроятно, не будетъ никакого вреда изъ того, что я о немъ припомню, тѣмъ болѣе въ такомъ скользкомъ и отвлеченномъ смыслѣ.

«Монстровъ» и «мошенниковъ» между нами, «Петрашевцами», не было ни одного (изъ стоявшихъ ли на эшафотѣ, или изъ тѣхъ, которые остались нетронутыми — это все равно). Не думаю, чтобы кто-нибудь сталъ опровергать это заявленіе мое. Что были изъ насъ люди образованные, противъ этого, какъ я уже замѣтилъ, тоже, вѣроятно, не будутъ спорить. Но бороться съ извѣстнымъ цикломъ идей и понятій, тогда сильно укоренившихся въ юномъ обществѣ, изъ насъ, безъ сомнѣнія, еще мало кто могъ. Мы заражены были идеями тогдашняго теоретическаго соціализма. Политическаго соціализма тогда еще не существовало въ Европѣ, и европейскіе коноводы соціалистовъ даже отвергали его.

Луи-Блана напрасно били по щекамъ и таскали за волосы (какъ нарочно густѣйшіе, длинные и черные волосы) члены-товарищи его національнаго собранія, депутаты правой стороны, изъ рукъ которыхъ вырвалъ его тогда Араго (астрономъ, членъ правительства, теперь уже умершій) — въ то несчастное утро, въ маѣ мѣсяцѣ 48 года, когда въ палату ворвалась толпа нетерпѣливыхъ и голодныхъ работниковъ. Бѣдный Луи-Бланъ, нѣкоторое время членъ временного правительства, вовсе не возмущалъ ихъ: онъ только лишь читалъ въ Люксембургскомъ дворцѣ этимъ жалкимъ и голоднымъ людямъ, вслѣдствіе революціи и республики разомъ потерявшимъ работу, объ ихъ «правѣ на работу». Правда, такъ какъ онъ все-таки былъ членомъ правительства, то лекціи его въ этомъ смыслѣ были ужасно не политичны и, конечно, смѣшны. Журналъ же Консидерана, равно какъ статьи и брошюры Прудона стремились распространить между этими же голодными и ничего за душой не имѣвшими работниками, между прочимъ, и глубокое омерзѣніе къ праву наслѣдственной собственности. Безъ сомнѣнія, изъ

всего этого (т. е. изъ нетерпѣнія голодныхъ людей, разжигаемыхъ теоріями будущаго блаженства) произошелъ впослѣдствіи соціализмъ политическій, сущность котораго, несмотря на всѣ возвѣщаемыя цѣли, покамѣстъ состоитъ лишь въ желаніи повсемѣстнаго грабежа всѣхъ собственниковъ классами неимущими, а затѣмъ «будь что будетъ». (Ибо по-настоящему ничего еще не рѣшено, чѣмъ будущее общество замѣнится, а рѣшено лишь только, чтобъ настоящее провалилось — и вотъ пока вся формула политическаго соціализма.)

Но тогда понималось дѣло еще въ самомъ розовомъ и райско-нравственномъ свѣтѣ. Дѣйствительно, правда, что зарождавшійся соціализмъ сравнивался тогда, даже нѣкоторыми изъ коноводовъ его, съ христіанствомъ и принимался лишь за поправку и улучшеніе послѣдняго, сообразно вѣку и цивилизаціи. Всѣ эти тогдашнія новыя идеи намъ въ Петербургѣ ужасно нравились, казались въ высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловѣческими, будущимъ закономъ всего безъ исключенія человѣчества. Мы еще задолго до парижской революціи 48 года были охвачены обаятельнымъ вліяніемъ этихъ идей. Я уже въ 46 году былъ посвященъ во всю *правду* этого грядущаго «обновленнаго міра» и во всю *святость* будущаго коммунистическаго общества еще Бѣлинскимъ. Всѣ эти убѣжденія о безнравственности самыхъ основаній (христіанскихъ) современнаго общества, о безнравственности религіи, семейства, о безнравственности права собственности, всѣ эти идеи объ уничтоженіи національностей во имя всеобщаго братства людей, о презрѣніи къ отечеству, какъ тормазу во всеобщемъ развитіи, и проч., и проч.,—все это были такія вліянія, которыхъ мы преодолѣть не могли, и которыя захватывали, напротивъ, наши сердца и умы во имя какого-то великодушія. Во всякомъ случаѣ тема казалась величавою и стоявшею далеко выше уровня тогдашнихъ господствовавшихъ понятій, — а это-то и соблазняло. Тѣ изъ насъ, т. е. не то что изъ однихъ Петрашевцевъ, а вообще изъ всѣхъ тогда *зараженныхъ*, но которые отвергли впослѣдствіи весь этотъ мечтательный бредъ радикально, весь этотъ мракъ и ужасъ, готовимый человѣчеству, въ видѣ обновленія и воскресенія его, — тѣ изъ насъ тогда еще не знали причинъ болѣзни своей, а потому и не могли еще съ нею бороться. Итакъ, почему же вы думаете, что даже убійство à la Нечаевъ остановило бы, если не всѣхъ, конечно, то, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ изъ насъ, въ то горячее время, среди захватывающихъ душу ученій и потрясающихъ тогдашнихъ европейскихъ событій, за

которыми мы, совершенно забывъ отечество, слѣдили съ лихорадочнымъ напряженіемъ?

Чудовищное и отвратительное московское убійство Иванова, безо всякаго сомнѣнія, представлено было убійцей Нечаевымъ своимъ жертвамъ, «Нечаевцамъ», какъ дѣло политическое и полезное для будущаго «общаго и *великаго* дѣла». Иначе понять нельзя, какъ нѣсколько юношей (кто бы они ни были) могли согласиться на такое мрачное преступленіе. Опять-таки въ моемъ романѣ «Бѣсы» я попытался изобразить тѣ многоразличные и разнообразные мотивы, по которымъ даже чистѣйшіе сердцемъ и простодушнѣйшіе люди могутъ быть привлечены къ совершенію такого же чудовищнаго злодѣйства. Вотъ въ томъ-то и ужасъ, что у насъ можно сдѣлать самый пакостный и мерзкій поступокъ, не будучи вовсе иногда мерзавцемъ! Это и не у насъ однихъ, а на всемъ свѣтѣ такъ, всегда съ начала вѣковъ, во времена переходныя, во времена потрясеній въ жизни людей, сомнѣній и отрицаній, скептицизма и шатости въ основныхъ общественныхъ убѣжденіяхъ. Но у насъ это болѣе чѣмъ гдѣ-нибудь возможно, и именно въ наше время, и эта черта есть самая болѣзненная и грустная черта нашего теперешняго времени. Въ возможности считать себя, и даже иногда почти въ самомъ дѣлѣ быть не мерзавцемъ, дѣлая явную и безспорную мерзость — вотъ въ чемъ наша современная бѣда!

Чѣмъ же такъ особенно защищена молодежь, въ сравненіи съ другими возрастами, что вы, господа защитники ея, чуть лишь только она занималась и училась прилежно, немедленно требуете отъ нея такой стойкости и такой зрѣлости убѣжденій, какой не было даже у ихъ отцовъ, а теперь менѣе чѣмъ-когда-нибудь есть. Наши юные люди нашихъ интеллигентныхъ сословій, развитые въ семействахъ своихъ, въ которыхъ всего чаще встрѣчаете теперь недовольство, нетерпѣніе, грубость невѣжества (несмотря на интеллигентность классовъ) и гдѣ, почти повсемѣстно, настоящее образованіе замѣняется лишь нахальнымъ отрицаніемъ съ чужого голоса; гдѣ матеріальныя побужденія господствуютъ надъ всякой высшей идеей; гдѣ дѣти воспитываются безъ почвы, внѣ естественной правды, въ неуваженіи или въ равнодушіи къ отечеству и въ насмѣшливомъ презрѣніи къ народу, такъ особенно распространяющемся въ послѣднее время, — тутъ ли, изъ этого ли родника наши юные люди почерпнутъ правду и безошибочность направленія своихъ первыхъ шаговъ въ жизни? Вотъ гдѣ начало зла: въ преданіи, въ преемствѣ идей, въ вѣковомъ, національномъ подавленіи въ себѣ

всякой независимости мысли, въ понятіи о санѣ европейца подъ непремѣннымъ условіемъ неуваженія къ самому себѣ, какъ къ русскому человѣку!

Но вы этимъ, слишкомъ общимъ, указаніямъ, кажется, не повѣрите. «Образованіе», твердите вы, «прилежаніе»; праздные «недоразвитки», повторяете вы. Замѣтьте, господа, что всѣ эти европейскіе высшіе учители наши, свѣтъ и надежда наша, всѣ эти Милли, Дарвины и Штраусы преудивительно смотрятъ иногда на нравственныя обязанности современнаго человѣка. А между тѣмъ это уже не лѣнтяи, ничему не учившіеся, и не буяны, болтающіе ногами подъ столомъ. Вы засмѣетесь и спросите: къ чему вздумалось мнѣ заговорить непремѣнно объ этихъ именахъ? А потому, что трудно и представить себѣ, говоря о нашей молодежи, интеллигентной, горячей и учащейся, чтобъ эти имена, напримѣръ, миновали ее при первыхъ шагахъ ея жизни. Развѣ можетъ русскій юноша остаться индифферентнымъ къ вліянію этихъ предводителей европейской прогрессивной мысли и другихъ имъ подобныхъ, и особенно къ русской сторонѣ ихъ ученій? Это смѣшное слово о «русской сторонѣ ихъ ученій» — пусть мнѣ простятъ, единственно потому, что эта русская сторона этихъ ученій существуетъ дѣйствительно. Состоитъ она въ тѣхъ выводахъ изъ ученій этихъ въ видѣ несокрушимѣйшихъ аксіомъ, которыя дѣлаются только въ Россіи; въ Европѣ же возможность выводовъ этихъ, говорятъ, даже и не подозрѣваема. Мнѣ скажутъ, пожалуй, что эти господа вовсе не учатъ злодѣйству; что если, напримѣръ, хоть бы Штраусъ и ненавидитъ Христа, и поставилъ осмѣяніе и оплеваніе христіанства цѣлью всей своей жизни, то все-таки онъ обожаетъ человѣчество въ его цѣломъ, и ученіе его возвышенно и благородно какъ нельзя болѣе. Очень можетъ быть, что это все такъ и есть, и что цѣли всѣхъ современныхъ предводителей европейской прогрессивной мысли — человѣколюбивы и величественны. Но зато мнѣ вотъ что кажется несомнѣннымъ: дай всѣмъ этимъ современнымъ высшимъ учителямъ полную возможность разрушить старое общество и построить заново, — то выйдетъ такой мракъ, такой хаосъ, нѣчто до того грубое, слѣпое и безчеловѣчное, что все зданіе рухнетъ подъ проклятіями человѣчества, прежде чѣмъ будетъ завершено. Разъ отвергнувъ Христа, умъ человѣческій можетъ дойти до удивительныхъ результатовъ. Это аксіома. Европа, по крайней мѣрѣ въ высшихъ представителяхъ своей мысли, отвергаетъ Христа, мы же, какъ извѣстно, обязаны подражать Европѣ.

Есть историческіе моменты въ жизни людей, въ которые явное, нахальное, грубѣйшее злодѣйство можетъ считаться лишь величіемъ души, лишь благороднымъ мужествомъ человѣчества, вырывающагося изъ оковъ. Неужели нужны примѣры, неужели ихъ не тысячи, не десятки, не сотни тысячъ?.. Тема эта, конечно, мудреная и необъятная, и на нее очень трудно вступать въ фельетонной статьѣ, но все-таки въ результатѣ, я думаю, можно допустить и мое предположеніе: что даже и честный и простодушный мальчикъ, даже и хорошо учившійся, можетъ подчасъ обернуться Нечаевцемъ... разумѣется, опять-таки, если попадетъ на Нечаева; это уже sine qua non...

Мы, Петрашевцы, стояли на эшафотѣ и выслушивали нашъ приговоръ безъ малѣйшаго раскаянія. Безъ сомнѣнія, я не могу свидѣтельствовать обо всѣхъ, но думаю, что не ошибусь, сказавъ, что тогда, въ ту минуту, если не всякій, то по крайней мѣрѣ чрезвычайное большинство изъ насъ почло бы за безчестье отречься отъ своихъ убѣжденій. Это дѣло давно-прошедшее, а потому, можетъ быть, и возможенъ будетъ вопросъ: неужели это упорство и нераскаяніе было только дѣломъ дурной натуры, дѣломъ недоразвитковъ и буяновъ? Нѣтъ, мы не были буянами, даже, можетъ быть, не были дурными молодыми людьми. Приговоръ смертной казни разстрѣляньемъ, прочтенный намъ всѣмъ предварительно, прочтенъ былъ вовсе не въ шутку; почти всѣ приговоренные были увѣрены, что онъ будетъ исполненъ, и вынесли по крайней мѣрѣ десять ужасныхъ, безмѣрно-страшныхъ минутъ ожиданія смерти. Въ эти послѣднія минуты нѣкоторые изъ насъ (я знаю положительно), инстинктивно углубляясь въ себя и провѣряя мгновенно всю свою, столь юную еще жизнь, — можетъ быть, и раскаивались въ иныхъ тяжелыхъ дѣлахъ своихъ — (изъ тѣхъ, которыя у каждаго человѣка всю жизнь лежатъ въ тайнѣ на совѣсти), но то дѣло, за которое насъ осудили, тѣ понятія, которыя владѣли нашимъ духомъ — представлялись намъ не только не требующими раскаянія, но даже чѣмъ-то насъ очищающимъ, мученичествомъ, за которое многое намъ простится! И такъ продолжалось долго. Не годы ссылки, не страданія сломили насъ. Напротивъ, ничего не сломило насъ, и наши убѣжденія лишь поддерживали нашъ духъ сознаніемъ исполненнаго долга. Нѣтъ, нѣчто другое измѣнило взглядъ нашъ, наши убѣжденія и сердца наши (я, разумѣется, позволяю себѣ говорить лишь о тѣхъ изъ насъ, объ измѣненіи убѣжденій которыхъ уже стало извѣстно и тѣмъ или другимъ образомъ засвидѣтельствовано ими самими). Это нѣчто другое — было непосредственное соприкосновеніе съ народомъ, братское соединеніе съ нимъ въ общемъ несчастьѣ, понятіе, что самъ сталъ такимъ же какъ онъ, съ нимъ сравненъ и даже приравненъ къ самой низшей ступени его.

Повторяю, это не такъ скоро произошло, а постепенно и послѣ очень-очень долгаго времени. Не гордость, не самолюбіе мѣшали сознаться. А между тѣмъ я былъ, можетъ быть, однимъ изъ тѣхъ (я опять про себя одного говорю), которымъ наиболѣе облегченъ былъ возвратъ къ народному корню, къ узнанію русской души, къ признанію духа народнаго. Я происходилъ изъ семейства русскаго и благочестиваго. Съ тѣхъ поръ какъ я себя помню, я помню любовь ко мнѣ родителей. Мы въ семействѣ нашемъ знали евангеліе чуть не съ перваго дѣтства. Мнѣ было всего лишь десять лѣтъ, когда я уже зналъ почти всѣ главные эпизоды русской исторіи изъ Карамзина, котораго вслухъ по вечерамъ намъ читалъ отецъ. Каждый разъ посѣщеніе Кремля и соборовъ московскихъ было для меня чѣмъ-то торжественнымъ. У другихъ, можетъ быть, не было такого рода воспоминаній какъ у меня. Я очень часто задумываюсь и спрашиваю себя теперь: какія впечатлѣнія, большею частью, выноситъ изъ своего дѣтства уже теперешняя современная намъ молодежь? И вотъ, если даже и мнѣ, который уже естественно не могъ высокомѣрно пропустить мимо себя той новой роковой среды, въ которую ввергло насъ несчастье, не могъ отнестись къ явленію передъ собой духа народнаго вскользь и свысока, — если и мнѣ, говорю я, было такъ трудно убѣдиться, наконецъ, во лжи и неправдѣ почти всего того, что считали мы у себя дома свѣтомъ и истиной, то каково же другимъ, еще глубже разорвавшимъ съ народомъ, гдѣ разрывъ преемственъ и наслѣдственъ еще съ отцовъ и дѣдовъ?

Мнѣ очень трудно было бы разсказать исторію перерожденія моихъ убѣжденій, тѣмъ болѣе, что это, можетъ быть, и не такъ любопытно, да и не идетъ какъ-то къ фельетонной статьѣ. . . . . .

. . . . . .

Господа защитники молодежи нашей, возьмите, наконецъ, ту среду, то общество, въ которомъ она возрастаетъ, и спросите себя: можетъ ли быть въ наше время что-нибудь менѣе защищено отъ *извѣстныхъ вліяній?*

Прежде всего поставьте вопросъ: если сами отцы этихъ юношей — не лучше, не крѣпче и не здоровѣе ихъ убѣжденіями; если съ самаго перваго дѣтства своего эти дѣти встрѣчали въ семействахъ своихъ одинъ лишь ци-

низмъ, высокомѣрное и равнодушное (большею частью) отрицаніе; если слово «отечество» произносилось передъ ними не иначе какъ съ насмѣшливой складкой; если къ дѣлу Россіи всѣ воспитывавшіе ихъ относились съ презрѣніемъ или равнодушіемъ; если великодушнѣйшіе изъ отцовъ и воспитателей ихъ твердили имъ лишь объ идеяхъ «общечеловѣческихъ»; если еще въ дѣтствѣ ихъ прогоняли ихъ нянекъ за то, что тѣ надъ колыбельками ихъ читали «Богородицу»; — то скажите: что можно требовать отъ этихъ дѣтей и — гуманно ли при защитѣ ихъ, если таковая потребуется, отдѣлываться однимъ лишь отрицаніемъ факта?

Недавно я наткнулся въ газетахъ на слѣдующее entrefilet:

«Камско-Волжская Газета» сообщаетъ, что на-дняхъ три *гимназиста* 2-ой казанской гимназіи, 3-го класса, *привлечены къ отвѣтственности* по обвиненію въ какомъ-то преступленіи, имѣющемъ связь съ *ихъ предполагавшимся бѣгствомъ въ Америку* («С.-Пет. Вѣд.» 13 ноября).

Двадцать лѣтъ назадъ извѣстіе о какихъ-то бѣгущихъ въ Америку гимназистахъ изъ 3-го класса гимназіи показалось бы мнѣ сумбуромъ. Но ужъ въ одномъ томъ обстоятельствѣ, что *теперь* это не кажется мнѣ сумбуромъ, а вещью, которую, напротивъ, я *понимаю*, — уже въ одномъ томъ я вижу въ ней и ея оправданіе!

Оправданіе! Боже мой, возможно ли такъ сказать!

Я знаю, что это не первые гимназисты, что уже бѣжали раньше ихъ и другіе, а тѣ потому, что бѣжали старшіе братья и отцы ихъ. Помните вы разсказъ у Кельсіева о бѣдномъ офицерикѣ, бѣжавшемъ *пѣшкомъ*, черезъ Торнео и Стокгольмъ, къ Герцену въ Лондонъ, гдѣ тотъ опредѣлилъ его въ свою типографію наборщикомъ? Помните разсказъ самого Герцена о томъ *кадетѣ*, который отправился, кажется, на Филиппинскіе острова заводить коммуну и оставилъ ему 20,000 франковъ на будущихъ эмигрантовъ? А между тѣмъ все это уже древняя исторія! Съ тѣхъ поръ бѣжали въ Америку извѣдать «свободный трудъ» въ свободномъ государствѣ старики, отцы, братья, дѣвы, гвардейскіе офицеры... развѣ только что не было однихъ семинаристовъ. Винить ли такихъ маленькихъ дѣтей, этихъ трехъ гимназистовъ, если и ихъ слабыми головенками одолѣли *великія идеи* о «свободномъ трудѣ въ свободномъ государствѣ» и о коммунѣ и объ обще-европейскомъ человѣкѣ; винить ли за то, что вся эта дребедень кажется имъ религіей, а абсентеизмъ и измѣна отечеству — добродѣтелью? А если винить, то въ какой же степени? — вотъ вопросъ.

Авторъ статейки «Русскаго Міра», въ подкрѣпленіе своей идеи, что въ «подобныхъ безумствахъ» замѣшаны у насъ лишь *одни* лѣнтяи и праздношатающіеся недоразвитки, приводитъ столь извѣстныя и отрадныя слова министра народнаго просвѣщенія, недавно высказанныя имъ въ Кіевѣ о томъ, что онъ имѣлъ случай убѣдиться, послѣ осмотра учебныхъ заведеній въ 7 учебныхъ округахъ, что «*послѣдніе годы молодежь несравненно серьезнѣе относится къ дѣлу науки, несравненно болѣе и основательно работаетъ*».

Да, это, конечно, слова отрадныя, слова, въ которыхъ, можетъ быть, *единственная* надежда наша. Въ учебной реформѣ нынѣшняго царствованія — чуть не *вся* наша будущность, и мы знаемъ это. Но самъ же министръ просвѣщенія, помнится, заявилъ въ той же рѣчи своей, что еще долго ждать окончательныхъ результатовъ реформы. Мы всегда вѣровали, что наша молодежь слишкомъ способна отнестись къ дѣлу науки серьезнѣе. Но пока еще кругомъ насъ такой туманъ фальшивыхъ идей, столько миражей и предразсудковъ окружаетъ еще и насъ и молодежь нашу, а вся общественная жизнь наша, жизнь отцовъ и матерей этой молодежи, принимаетъ все болѣе и болѣе такой странный видъ, что поневолѣ пріискиваешь иногда всевозможныя средства, чтобы выйти изъ недоумѣнія. Одно изъ такихъ средствъ — самимъ быть поменѣе безсердечными, не стыдиться хоть иногда, что васъ кто-нибудь назоветъ гражданиномъ, и... хоть иногда сказать правду, — если бъ даже она была и недостаточно, по-вашему, либеральна.

Иностранныя событія

ИЗЪ

ЖУРНАЛА „ГРАЖДАНИНЪ“

ЗА 1873 Г.

Изъ № 38 журн. „Гражданинъ“ 1873 г.

Въ самое послѣднее время въ Европѣ произошли три весьма крупныя событія: 1) Фрошдорфское свиданіе, 2) окончательное очищеніе французской территоріи отъ вражескаго нашествія, съ выходомъ послѣднихъ нѣмецкихъ войскъ, и 3) чрезвычайное посѣщеніе Вѣны и Берлина королемъ итальянскимъ. Эти три весьма важныя событія могутъ имѣть чрезвычайныя послѣдствія для всей Европы и, что важнѣе всего, даже въ самомъ ближайшемъ будущемъ.

Во Франціи, теперь, почти у всѣхъ, конечно, одинъ только вопросъ: что именно сейчасъ же, теперь же, можетъ случиться? Тутъ ужъ не до отдаленнаго будущаго, не до окончательнаго устройства; текущія событія дошли до высшей точки своего напряженія.

4 сентября, напримѣръ, на парижской биржѣ распространился слухъ (потомъ оказавшійся ложнымъ), что графъ Шамборскій рѣшился отречься отъ своихъ притязаній въ пользу графа Парижскаго. Слухъ этотъ тотчасъ же вызвалъ довольно значительное повышеніе курсовъ.

Итакъ, бѣдные французы въ такомъ положеніи, что сами уже не сомнѣваются, что съ ними рѣшительно *все* можетъ теперь случиться. Они вѣрятъ даже въ возможность графа Шамборскаго и малѣйшая поправка дѣлу(?). то есть графъ Парижскій, принимается ими какъ за нѣчто радостное.

Но у нихъ на-дняхъ произошелъ одинъ фактъ, конечно, предвидѣнный и знаемый всѣми уже давнымъ-давно, но непремѣнно смутившій всѣхъ какъ нѣчто неожиданное. Въ официальномъ журналѣ отъ 4 (16) сентября было напечатано:

Конфланъ и Жарни, послѣднія занятыя мѣстности, были очищены вчера въ 7 часовъ вечера. Въ 9 часовъ нѣмецкія войска перешли границу. Территорія освобождена *окончательно*.

Для этого, почти три года назадъ, и собиралось теперешнее французское національное собраніе; погибавшая нація поручала ему тогда — возстановить возможный порядокъ, уплатить милліарды и очистить территорію. Правда, національное собраніе, все время, а въ послѣдній годъ болѣе чѣмъ когда-нибудь, всегда въ большинствѣ своемъ отрицало ограниченіе своихъ полномочій. Очень много разъ почти прямо высказывалось о необходимости устроить *окончательно* судьбы Франціи, прежде чѣмъ разойтись. Но огромное меньшинство собранія (почти вся лѣвая сторона) принимало за предѣлы своихъ полномочій лишь освобожденіе территоріи. Огромная и наибольшая, можетъ быть, часть *общественнаго мнѣнія* Франціи, конечно, въ этомъ вопросѣ на сторонѣ меньшинства палаты. Но пока еще нѣмецкіе солдаты оставались во Франціи — вопросъ оставался только спорнымъ вопросомъ, а *дѣло* дѣломъ. Согласны или не согласны, а разойтись все-таки нельзя, пока послѣдній нѣмецкій солдатъ не оставитъ территоріи. И вотъ теперь, 3 сентября, — *дѣло* оканчивается и всѣ вдругъ разомъ чувствуютъ, что вопросъ: «Что же *теперь* еще остается сдѣлать?» непремѣнно и немедленно долженъ быть разрѣшенъ.

Разумѣется, разрѣшеніе необходимо будетъ насильственное. Никакое соглашеніе невозможно, что уже доказало соглашеніе двадцать четвертаго мая, при низверженіи Тьера. За насильственное разрѣшеніе принялись уже давно, но теперь, при новомъ и уже слишкомъ настоятельномъ повтореніи вопроса: что дѣлать? — дѣятельность всѣхъ партій, и, разумѣется, все враждебныхъ одна другой, должна, конечно, въ десять разъ усилиться. До новыхъ засѣданій разошедшагося на отдыхъ собранія, судя по тревогѣ событій, слишкомъ далеко. И если бы хоть одна изъ теперешнихъ партій нашла хоть малѣйшую возможность произвесть переворотъ насильственно, то навѣрно бы это исполнила.

Насильственный переворотъ могъ бы произвести одинъ только маршалъ Макъ-Магонъ, имѣя въ своихъ рукахъ войско... Но объ этомъ послѣ. Есть вѣроятность предполагать, что національное собраніе будетъ созвано раньше срока.

Насиліе въ разрѣшеніи насущнаго вопроса: «Что *сейчасъ* дѣлать?» — первыми было произведено легитимистами. Туть произошло явленіе даже не политическое — произошло что-то горячее, нетерпѣливое, нервное безъ мѣры, лихорадочное, что бываетъ иногда съ людьми радикально и уже цѣлый вѣкъ, напримѣръ, непонимающими своего положенія. (Похоже на то, какъ дѣйствуютъу насъ иногда поляки.) Теперь слишкомъ очевидно, что союзъ 24 мая заключенъ былъ рѣшительно для одного только низверженія Тьера. Почти навѣрно можно сказать, что они даже и не заикались о будущемъ и о томъ, какъ будутъ относиться другъ къ другу сейчасъ по низверженіи Тьера. Они не давали другъ другу никакихъ обѣщаній, кромѣ самыхъ насущныхъ, единственно только *завтрашнихъ* и къ настоящему *дѣлу* не относящихся. Они слишкомъ хорошо знали, что каждый будетъ дѣйствовать лишь для своей партіи и, можетъ быть, сейчасъ же, завтра же, если понадобится, вцѣпятся другъ другу въ волосы. Самая горячая и многочисленная изъ этихъ партій тотчасъ же начала дѣйствовать, съ странною, ничѣмъ неоправданною вѣрою въ свои силы. Но легитимисты и особенно клерикалы всегда такъ дѣйствовали, во всю послѣднюю исторію Франціи. Началось тогда, какъ и всегда у легитимистовъ и клерикаловъ, съ полнаго презрѣнія къ общественному мнѣнію: притѣсненіе печати, сборищъ, преслѣдованія начались тотчасъ же. Во французскомъ народѣ, сельскомъ и частью городскомъ (но не фабричномъ) дѣйствительно началось въ послѣдніе годы довольно замѣтное религіозное движеніе. Духовенство тотчасъ же эксплоатировало фактъ, — но безъ мѣры, безъ пониманія общественнаго мнѣнія, съ наглостью, вредящею самой религіи. Стали устраивать и искусственно вызывать по всей Франціи церемоніи богомолья, архіепископы разсылали возмутительныя воззванія, требовали кредита для постройки новыхъ соборовъ, хотѣли было ввести въ законъ начинать каждое засѣданіе національнаго собранія молитвою, что немыслимо и дико для французовъ. Они преглупо, и даже зная, что это глупо (т. е. уже не щадя себя), запрещали всѣ овваціи и благодарственные адресы Тьеру и преслѣдовали за нихъ. Они не позволяли нигдѣ праздновать день освобожденія территэріи, сами давая тѣмъ знать, что въ освобожденіи этомъ не считаютъ себя дѣятелями или участниками. Они отказались по поводу этого громаднаго и радостнаго для Франціи событія отъ самой малѣйшей амнистіи, хотя бы только для виду, политическимъ преступникамъ — въ чемъ не отказываетъ ни одно правительство въ Европѣ своимъ подданнымъ во дни великихъ національныхъ торжествъ или радостей. Однимъ словомъ, дѣйствовали презирая среду, съ непостижимою увѣренностью въ своихъ силахъ. И вотъ вдругъ теперь все это уже совершенно открыто ринулось къ графу Шамборскому. Произошло свиданіе представителей династіи, —

орлеанской и бурбонской. Трудно представить себѣ даже до сихъ поръ: что именно хотѣлъ этимъ сказать графъ Парижскій? Орлеанская династія, имѣющая нѣкоторое число приверженцевъ въ національномъ собраніи, почти менѣе всѣхъ партій, терзающихъ теперь Францію, имѣетъ шансовъ къ престолу. Эта династія, самая благодѣтельная для Франціи въ этомъ столѣтіи, давшая ей 18 блаженныхъ лѣтъ, тѣмъ не менѣе нестерпимо ей надоѣла, и Франція ни за что теперь на нее не согласится. Къ тому же она вполнѣ отжила свой вѣкъ, и требованія страны теперь совершенно иныя. Орлеанская династія, съ ея мягкостью въ правленіи и разумнымъ либерализмомъ, не въ мѣрку теперешнимъ событіямъ. Тѣмъ не менѣе свиданіе произошло, и обѣ партіи, слившись, надѣются на большинство въ національномъ собраніи. Но что такое это собраніе, провозглашающее графа Шамборскаго Генрихомъ V, если бъ даже это и было возможно? Есть историческіе факты, давно совершившіеся, которые нельзя игнорировать. Хороши ли, нѣтъ ли эти факты, живительны или несутъ съ собой смерть — это все равно въ настоящемъ вопросѣ. Главное въ томъ, что они есть и ихъ нельзя перейти. Вслѣдствіе этихъ фактовъ, графа Шамборскаго, съ его авторитетомъ «Божіею милостію» (и правомъ завоеванія въ V столѣтіи, прибавимъ мы) не могутъ никакъ принять французы. О, они, можетъ быть, и приняли бы! Ибо только восьмая какая-нибудь доля націи вѣритъ въ принципы 89 года и знаетъ о нихъ. Остальные лишь жаждутъ покоя и сильнаго правительства, и до такой степени, что согласились бы на какой угодно авторитетъ,—былъ бы только это несомнѣнный авторитетъ. Но въ томъ-то и дѣло, что и въ несомнѣнность авторитета графа Шамборскаго никто, кромѣ легитимистовъ, не можетъ серьезно вѣрить. Конечно, теперь *все,* рѣшительно *все* можетъ случиться, и даже Шамборъ можетъ въѣхать въ Парижъ на бѣломъ конѣ... но не болѣе какъ на два дня, да единственно только въ томъ случаѣ, если маршалъ Макъ-Магонъ положитъ въ избирательную урну свой маршальскій жезлъ. Но — и это весьма важный фактъ,— кажется, Фрошдорфъ и все это легитимистское движеніе происходитъ внѣ всякаго участія маршала Макъ-Магона. По крайней мѣрѣ, нѣтъ ниоткуда объ этомъ какихъ-нибудь точныхъ свѣдѣній. Однимъ словомъ, агитаторы надѣются рѣшительно лишь на однѣ свои силы. Замѣчательно тоже, что изъ всѣхъ легитимистовъ — самые нетерпѣливые, нетерпимые, самые горячіе и самонадѣянные и самые оторванные отъ почвы — это клерикалы, духовенство.

Съ графомъ Шамборскимъ ведутся представителями монархическихъ партій самые дѣятельные переговоры, — точно все дѣло только въ немъ и въ его согласіи. О мнѣніи націи никто изъ нихъ ничего не думаетъ. Да такъ и должно быть: — чистые легитимисты, по крайней мѣрѣ, всегда отрицали Францію и доказывали это вполнѣ, исторически. «L'etat c'est moi, la nation c'est nous». Чрезвычайно комично начинаетъ выступать фигура и самого графа Шамборскаго! Кажется, онъ тоже вполнѣ увѣренъ, что все дѣло въ одномъ только его согласіи идти царствовать и стоитъ лишь ему согласиться, какъ вся Франція тотчасъ же станетъ передъ нимъ на колѣна. Увѣряютъ, что онъ, на-дняхъ, переговариваясь съ депутатами правой стороны относительно приписываемаго ему намѣренія начать войну съ Италіей, отвѣчалъ, что это было бы съ его стороны безразсудствомъ, потому что онъ знаетъ, что Франція не можетъ вести войны. «Необходимо», заключилъ онъ, «чтобы Франція собралась съ силами и устроилась», но что сверхъ того «надобно оставить князю Бисмарку полную свободу дѣйствій, такъ какъ онъ самъ разрушитъ свое твореніе».

Если такія слова о Бисмаркѣ дѣйствительно были сказаны графомъ Шамборскимъ, то, конечно, это человѣкъ и глубокій, и умный. Объ огромности ума его однако никто и никогда не имѣлъ извѣстій, такъ что, можетъ быть, слова о Бисмаркѣ и не его (если были сказаны), и графъ повторилъ лишь чужое слово, — и кто знаетъ, можетъ быть нарочно для него придуманное. Иногда королямъ, возвращающимся къ своимъ народамъ, нарочно придумываютъ словечки для первой встрѣчи. Если не измѣняетъ намъ память, кажется, Людовику XVIII при въѣздѣ его въ Парижъ, въ 1814 году, послѣ долгаго отсутствія, придумано было княземъ Талейраномъ словцо: «Rein n'est changé, il n'y a qu'un français de plus» (ничто не измѣнится; стало только однимъ французомъ больше). Такъ или этакъ, но графъ Шамборскій, хотя бы и былъ чрезвычайно умнымъ человѣкомъ, все-таки можетъ ничего не понимать въ своей націи. Тутъ ужъ не умъ, а обстоятельства. Нѣтъ ничего труднѣе, какъ *подобному* наслѣдственному королю узнать свою націю. Тамъ, гдѣ приверженцы короля обращаются въ партію, тамъ такой король, съ самаго дня своего рожденія до дня своей смерти, видитъ лишь людей своей партіи, и хоть и слышитъ о людяхъ иныхъ партій, но навѣрно считаетъ ихъ только за поврежденныхъ умомъ. Графъ Шамборскій обѣщаетъ не объявлять войну Италіи (т. е. за папу). Но вѣдь онъ говоритъ только про настоящую минуту, про то, что Франція

не готова теперь къ бою. Такой оборотъ фразы именно долженъ означать, что когда Франція отдохнетъ и изготовится къ бою, то... Да и можетъ ли «законный» настоящій Бурбонъ, король французскій, отказаться отъ вѣкового своего титула «христіаннѣйшаго короля»? Старая Франція издавна, съ глубины вѣковъ, *жила* католическою идеею и провозглашала ее, держала высоко ея знамя, стояла за Римъ, въ противоположность германской идеѣ, ставшей, наконецъ, за реформацію со всѣми ея послѣдствіями. Это до того неотъемлемо отъ истой французской идеи и отъ націи — главной представительницы германо-романскаго племени, что, несмотря на 89 годъ, Франція во все продолженіе XIX столѣтія (Людовикъ-Филиппъ, Наполеонъ III, Тьеръ) постоянно продолжала стоять въ своей политикѣ за католичество, за Римъ, за свѣтское владычество папы. Теперь же, именно въ эту минуту, можно *предчувствовать*, что первое столкновеніе съ Германіей Франціи, во главѣ другихъ католическихъ державъ (если только подобный союзъ католическихъ державъ состоится) произойдетъ именно изъ-за Рима, изъ-за воскресенія римскаго католичества во всей его древней идеѣ... Недаромъ же въ Берлинѣ предпринятъ крестовый походъ «кровью и желѣзомъ» для окончательнаго искорененія «римской идеи» въ Германіи, такъ что даже нарочно придумали вмѣсто стараго римскаго католичества — новое (книжное) «старокатоличество», для отпору и противоположности. И не могли бы одни только германскіе римскіе католики, сами по себѣ, до такой степени взволновать и озлобить противъ себя графа Бисмарка. Тутъ другое: тутъ именно, можетъ быть, тоже предчувствуется, что римская идея возродится опять, и знамя ея подыметъ именно крайній западъ Европы, — вотъ тотъ самый, откуда они вывели недавно послѣднихъ своихъ солдатъ.. Впрочемъ, идею нашу мы не станемъ теперь развивать и подробно доказывать. Пусть останется она лишь предположеніемъ...

Насчетъ знамени — трехцвѣтнаго, французскаго, *республиканскаго* знамени, графъ Шамборскій еще ничего не рѣшилъ. Кажется, впрочемъ, ему былъ голосъ отъ папы, что надо бы согласиться, не упрямиться, уступить. Онъ ничего не рѣшилъ, но есть слухи, что вотъ какъ будетъ: нація (національное собраніе) явится къ нему вручать корону и о знамени не скажетъ ни слова, и вотъ тутъ-то онъ возьметъ и *подаритъ* Франціи *самъ* столь дорогое ей трехцвѣтное ея знамя, въ видѣ милости на радостяхъ. О конституціи онъ выразился, что если старую хартію (1814 года), съ которою уже разъ приходили Бурбоны (т. е. былъ уже прецедентъ) поизмѣнить капельку сообразно теперешнимъ обстоятельствамъ, то, кажется, этого будетъ довольно. Разумѣется, въ такомъ случаѣ всеобщая подача голосовъ, столь дорогая французамъ (впрочемъ, неизвѣстно почему, ибо болѣе нелѣпаго изобрѣтенія, конечно, никто не можетъ указать даже изъ всѣхъ нелѣпостей, бывшихъ въ нашемъ вѣкѣ во Франціи) — устраняется. Но до Франціи какое ему дѣло? Сомнѣнія нѣтъ, что графъ Шамборскій возвращается во Францію съ самою святою увѣренностью осчастливить ее и вѣритъ, что осчастливитъ, но возвращеніе его чрезвычайно похоже, въ мечтахъ его, какъ бы на возвращеніе благодѣтельнаго помѣщика въ свою деревню.

О, онъ не допуститъ *ихъ* стать на колѣни! Т. е. когда въ замкѣ Шамборѣ (слышно, что къ *тому времени* онъ хочетъ переѣхать въ Шамборъ) національное собраніе, съ короной въ рукахъ, начнетъ умолять его «возвратить себя Франціи», то ужъ, разумѣется, онъ не дастъ имъ стать на клѣни. Онъ слишкомъ, слишкомъ понимаетъ свой вѣкъ! Но... если бъ все-таки они обнаружили видъ, что хотятъ будто бы склонить колѣна, то это было бы вовсе недурно. А ужъ въ благодарность онъ ихъ тотчасъ же ни за что и не допуститъ такъ что, какъ будто бы они и не начинали становиться. Зато ужъ навѣрно, въ тиши Фрошдорфа, невинному воображенію графа не разъ мечталось въ послѣднее время, что когда онъ въѣдетъ въ Парижъ, на бѣломъ конѣ, то парижанки будутъ бросать цвѣты, а народъ бросится цѣловать копыта его лошади. Тутъ ужъ онъ даже и не остановитъ и все допуститъ, ибо это лишь натурально и дѣлаетъ только честь обѣимъ сторонамъ. Цѣлуютъ же копыта коня другого Бурбона, его родственника, претендента испанскаго, Донъ-Карлоса. Тамъ дѣйствительно это случалось уже нѣсколько разъ, въ деревняхъ...

Кто же можетъ, однако, прежде всѣхъ этому помѣшать, всѣмъ этимъ въѣздамъ и другимъ фантастическимъ картинамъ, ожидаемымъ въ столь близкомъ будущемъ? Разумѣется, послѣ такого вопроса на первомъ планѣ тотчасъ же является фигура стараго маршала Макъ-Магона, о которомъ мы уже и начали было говорить. Но прежде чѣмъ заговоримъ снова, упомянемъ объ одномъ чрезвычайномъ политическомъ обстоятельствѣ, о которомъ доселѣ, кажется, никто еще не сказалъ ни слова въ Европѣ, хотя оно продолжается уже три мѣсяца съ половиною, и на которое, такимъ образомъ, «Гражданинъ» укажетъ первый. Вотъ въ чемъ оно состоитъ.

Маршалъ Макъ-Магонъ, «старый маршалъ», «честный маршалъ», «храбрый маршалъ», «честный старый сол-

датъ» и т. д. и т. д. до самаго 24 мая сего года былъ, конечно, всѣмъ извѣстнымъ въ Европѣ лицомъ, но только съ одной, весьма ограниченной стороны. Онъ служилъ, онъ дрался, онъ отличился, и когда надо было, о немъ всегда объявляли въ газетахъ, но ровно столько же, сколько и о другихъ служившихъ и отличившихся маршалахъ. Даже и менѣе, чѣмъ о другихъ: Базенъ, напримѣръ, былъ всегда болѣе его извѣстнымъ, а послѣ франко-прусской войны, въ которой онъ такъ отличился, имя его стало даже *чрезмѣрно* извѣстнымъ, — напримѣръ, теперь, когда готовится его окончательный процессъ въ Тріанонѣ, заранѣе волнующій Европу и Америку чуть не пуще вѣнской всемірной выставки или путешествія шаха, о которомъ, къ слову сказать, такъ вдругъ всѣ и забыли (да когда, въ самомъ дѣлѣ, было путешествіе шаха — десять лѣтъ назадъ, не правда ли?). И вотъ вдругъ, столь много и столь обыкновенно извѣстный маршалъ Макъ-Магонъ, съ 24 мая, т. е. съ выборомъ его въ президенты Французской республики на мѣсто Тьера — становится *необыкновенно* извѣстнымъ, громадно, колоссально извѣстнымъ. Извѣстность эта продолжается уже почти 4 мѣсяца. И вотъ во все это время, съ самаго перваго до самаго послѣдняго сегодняшняго дня, всѣ газеты всего міра, а французскія по преимуществу, взапуски принялись называть маршала всѣми тѣми прозвищами, которыя мы выписали нѣсколько строкъ выше: «старый маршалъ», «честный маршалъ», «храбрый маршалъ», «честный старый солдатъ» и проч. Всего болѣе упирали на два слова «честный» и «храбрый» и всего чаще повторяли ихъ. Ничего бы, кажется, не могло быть лестнѣе для стараго, храбраго солдата, а между тѣмъ въ томъ-то и дѣло, что навѣрно вышло наоборотъ. Тутъ всегда являлось какъ бы какое-то коварство,—самое впрочемъ, невольное, почти нечаянное и неизбѣжное, а между тѣмъ точно всѣ сговорились. Именно: всѣ эти прекрасные эпитеты, — «честный», «храбрый» и т. д. появлялись какъ бы для того только, чтобъ избѣжать слова: «умный». И всегда это какъ будто именно точь-въ-точь такъ и было. Да, кажется, и дѣйствительно такъ было. Ни разу не было сказано: «нашъ умный маршалъ, нашъ дальновидный маршалъ». И всегда это говорилось, какъ нарочно, съ самою искреннею, т. е. съ самою обидною наивностью, а стало быть, и — ясностью. Именно, когда хвалили другихъ за политическій умъ, за дальновидность, или разбирали путаницу предстоящихъ труднѣйшихъ событій — всегда тутъ-то какъ разъ: «честный маршалъ», «храбрый, честный солдатъ»; на него будетъ можно понадѣяться. Работать-то, конечно, будетъ не онъ, а мы (да

и не его ума это дѣло), но храбрый солдатъ намъ не измѣнитъ, честный солдатъ насъ сбережетъ, мы у него какъ у Христа за пазухой, ну, а когда придетъ время, мы у него сбереженное-то и отберемъ, а ему откланяемся, и онъ будетъ этому очень радъ, потому что это «храбрый маршалъ», «честный маршалъ», «честный, храбрый старый солдатъ!»

Однимъ словомъ, мы твердо увѣрены, что какъ бы ни былъ маршалъ Макъ-Магонъ храбръ и честенъ, тѣмъ не менѣе ничего нѣтъ противнѣе для него, въ настоящее мгновеніе, какъ эти эпитеты храбрый да честный. Тутъ немного надо знанія психологіи и вообще человѣка и особенно храбраго и честнаго солдата, чтобъ согласиться съ этимъ.

Мы опять и откровенно повторяемъ, что считаемъ этотъ, проявившійся съ 24 мая фактъ — чрезмѣрно важнымъ, но незамѣченнымъ доселѣ политическимъ обстоятельствомъ, и что уже, конечно, онъ повліяетъ даже на важнѣйшія дѣла Европы, можетъ быть, въ самомъ ближайшемъ будущемъ. Ибо что, напримѣръ, было бы теперь всего пріятнѣе честному и храброму маршалу? Ужъ безъ сомнѣнія, всего пріятнѣе было бы вдругъ и неожиданно доказать всей Европѣ и особенно Франціи, что онъ не только старый и честный, но вмѣстѣ съ тѣмъ и довольно-таки умный маршалъ. Это человѣкъ, кажется, прекрасный и безукоризненно благородный, но, кажется, тоже и молчаливый, то есть изъ умѣющихъ молчать и таить про себя. Скажутъ, что это низко такъ обижаться, особенно на такомъ величавомъ мѣстѣ. Но вѣдь это совершенно безсознательно дѣлается и къ тому же — кто знаетъ? — можетъ быть, онъ даже и правъ, то есть въ томъ, что онъ и дѣйствительно довольно-таки умный маршалъ. Нѣкоторые факты какъ бы уже намекаютъ на то. Сначала, разумѣется, то есть сейчасъ послѣ 24 мая, онъ не могъ очень высказаться, не доходило до слишкомъ важнаго; онъ только представлялъ собою какъ бы узелъ, связавшій несвязуемое, благодаря чему всѣ могли жить и кое-какъ двигаться. Но вотъ всѣ дѣйствительно стали жить и сильно двигаться. Партіи обнажились и обнажаются чѣмъ дальше, тѣмъ больше. Явился Фрошдорфъ, а затѣмъ явились уже совершенно обозленные и остервенившіеся бонапартисты. Республиканцы всѣхъ оттѣнковъ тоже ждутъ сдѣлать свой главный ударъ и заявить себя; не умѣютъ, по обыкновенію, но сильно ждутъ. Ну, что если національное собраніе дѣйствительно выберетъ Шамбора? Тогда честный солдатъ встанетъ, поклонится и отдастъ избранному возжи въ руки? И вотъ намъ все болѣе и бо-

лѣе начинаетъ казаться, что онъ сдѣлаетъ это только въ томъ случаѣ, если онъ дѣйствительно *всего только честный солдатъ*. Напротивъ, намъ думается, что онъ непремѣнно захочетъ показать свой умъ, доказать всей Европѣ, что именно онъ-то и можетъ выдумать что-нибудь гораздо поумнѣе избранія графа Шамборскаго. И, главное, имѣя въ рукахъ такую силу — войско! По-нашему, онъ даже именно поставленъ въ такое безвыходное положеніе, что непремѣнно даже обязанъ выдумать самъ, своимъ умомъ, что-нибудь очень остроумное и оригинальное и не можетъ ни за что сдѣлать иначе — подъ опасеніемъ остаться — и уже навѣки — «нашимъ старымъ солдатомъ, нашимъ честнымъ солдатомъ, нашимъ храбрымъ солдатомъ», но— и только...

Но объ этомъ положеніи президента Франціи, о причинахъ этого положенія и обо всемъ, что касается почтеннаго маршала въ его отношеніяхъ къ современной минутѣ, мы поговоримъ особо въ будущей статьѣ; теперь же, кажется, и безъ того перешли указанные намъ редакціей предѣлы нашей статьи. Зато въ каждомъ № «Гражданина» неуклонно будемъ продолжать наше описаніе иностранныхъ событій, такъ что надѣемся, по возможности, не отстать отъ нихъ... Но кончая хронику, забѣжимъ впередъ и прочтемъ чрезвычайно важную недавнюю телеграмму изъ Берлина.

Берлинъ (24 сентября). На вчерашнемъ парадномъ обѣдѣ въ бѣлой залѣ берлинскаго дворца, императоръ Вильгельмъ провозгласилъ тостъ: "За здоровье моего брата и друга — короля итальянскаго", на что король Викторъ-Эммануилъ отвѣтилъ тостомъ: „За здоровье моего друга, давняго союзника, его величества императора германскаго!".

Князь Бисмаркъ прибудетъ въ Берлинъ сегодня, въ шесть часовъ вечера.

О королѣ итальянскомъ и о путешествіи его мы обѣщаемъ поговорить особенно обстоятельно, ибо событіе это *одно изъ самыхъ важныйшихъ* за весь, можетъ быть, нынѣшній годъ. Теперь же замѣтимъ только, опять-таки забѣгая впередъ, что король Викторъ-Эммануилъ весьма не любитъ путешествовать. Это король-джентльменъ, простой, гордый и съ чрезвычайнымъ тактомъ. Онъ ни за что не бросилъ бы Италію, если бъ не самыя важныя соображенія. Разумѣется, всегда принято съ поспѣшностью увѣрять въ такихъ случаяхъ, что ничего нѣтъ политическаго; французскій посланникъ формально освѣдомлялся у итальянскаго правительства: «что, дескать, это значитъ это путешествіе?» и получилъ въ отвѣтъ, что это означаетъ горячія и дружескія чувства, которыя издавна питаютъ другъ къ другу оба монарха и проч. въ этомъ родѣ. На дипломатическомъ языкѣ это означаетъ точь-въ-точь: «вы слишкомъ любопытны-съ». Да и дѣйствительно слишкомъ ужъ невинное любопытство отъ дипломата!

Зато рѣдко кому бывалъ такой восторженный пріемъ въ Берлинѣ, какъ итальянскому королю. Пріѣздъ его въ Берлинѣ популяренъ и національненъ. Въ Вѣнѣ принимали хорошо, но все-таки не такъ, какъ въ Берлинѣ — и тому есть причины...

Изъ № 39 журн. „Гражданинъ" 1873 г.

На этотъ разъ мы уступаемъ наше мѣсто въ «Гражданинѣ» другимъ обозрѣніямъ. Сообщимъ лишь замѣчательнѣйшія изъ политическихъ телеграммъ за прошедшую недѣлю.

— *Версаль*, 13 (25) сентября. Сегодня происходило засѣданіе постоянной комиссіи національнаго собранія, въ которомъ ничего замѣчательнаго не произошло.

Затѣмъ происходило собраніе шестидесяти депутатовъ, принадлежащихъ къ различнымъ подраздѣленіямъ консервативной партіи. На этомъ собраніи обсуждены были, одно за другимъ, всѣ препятствія, которыя еще представляются къ возобновленію монархіи. По всѣмъ вопросамъ состоялось полное согласіе между присутствующими.

— *Парижъ*, 13 (25) сентября Оффиціальная телеграмма, полученная изъ Испаніи, сообщаетъ, что всѣ шайки карлистовъ, осаждавшія Толозу, бѣжали, видя приближеніе правительственныхъ войскъ подъ начальствомъ Моріонеса. Моріонесъ вступилъ въ Толозу.

Въ слѣдующемъ номерѣ мы упомянемъ о значеніи всѣхъ этихъ главнѣйшихъ телеграммъ изъ Европы въ подробности. Теперь же скажемъ лишь нѣсколько словъ. Всего болѣе извѣстій изъ Парижа, — точно самые малѣйшіе факты изъ Франціи имѣютъ для Европы гораздо болѣе значенія, чѣмъ весьма крупные изъ другихъ земель. Горячка торжествующей партіи продолжается. Постоянная комиссія національнаго собранія, замѣняющая собою все національное собраніе въ его отсутствіе, собирается вяло, и, какъ гласитъ телеграмма отъ 13 сентября, въ послѣднее засѣданіе ея ничего замѣчательнаго не произо-

шло. Она какъ бы игнорируетъ теперешнее движеніе главной партіи въ пользу возстановленія Бурбоновъ. Между тѣмъ она сама, въ большинствѣ, состоитъ изъ тѣхъ же монархистовъ. Зато засѣданія отдѣленій правой стороны всѣхъ оттѣнковъ полны огня и тревоги. Реставрація Шамбора рѣшена, главные толки идутъ все о знамени, трехцвѣтномъ или бѣломъ, — т. е. о самомъ важномъ вопросѣ бо всемъ этомъ дѣлѣ. Трехцвѣтное знамя есть признаніе такъ называемыхъ принциповъ 89 года. Бѣлое знамя — отказъ отъ исторіи и возвращеніе къ временамъ Людовика XIV. Впрочемъ, монархисты все въ той же полной надеждѣ. Подтверждаются свѣдѣнія, что въ Римѣ непремѣнно берутся уговорить графа Шамборскаго на трехцвѣтное знамя. Какъ мы говорили въ прошлый разъ — полнѣйшее убѣжденіе всей партіи, что все дѣло устроится однимъ лишь рѣшеніемъ національнаго собранія — продолжается. О народѣ и войскѣ какъ бы никто и не думаетъ. Подобная, почти слѣпая увѣренность партіи могла бы намекать на таинственную поддержку со стороны маршала Макъ-Магона.

Между тѣмъ во всѣхъ другихъ французскихъ партіяхъ обнаруживается все болѣе и болѣе разладъ и какъ бы страхъ передъ приготовленіями монархистовъ. Пишутъ о многихъ случаяхъ измѣнъ и переходовъ. Иные республиканцы перебѣгаютъ къ бонапартистамъ (какъ, напримѣръ, газета «Avenir National») подъ предлогомъ союза бонапартистовъ съ республиканцами. Въ сущности, вмѣсто того, чтобъ соединиться, бонапартисты и республиканцы лишь упрекаютъ и въ чемъ-то стыдятъ другъ друга. Республиканскіе вожди ведутъ себя загадочно — всего вѣроятнѣе, просто не знаютъ, какъ приняться за дѣло.

Гамбетта, объѣзжая часть Франціи, не знаетъ, говорить ему или не говорить на банкетахъ. Тьеръ возвращается въ Парижъ, чтобъ «начать дѣйствовать», и можетъ быть, и впрямь нѣсколько поздно. Между тѣмъ газеты въ Берлинѣ, говоря о посѣщеніи Берлина королемъ итальянскимъ, прямо подтверждаютъ о союзѣ державъ противъ «безпокойныхъ движеній иныхъ націй», т. е., конечно, говорятъ о Франціи и о возможности возрожденія католической идеи, о чемъ мы говорили въ прошломъ № «Гражданина». Изъ телеграммъ видно тоже, что и Франція сильно занимается вооруженіемъ и переформированіемъ своихъ войскъ.

Правительство Кастеляра начало борьбу съ врагами республики, повидимому ,довольно энергично, но покамѣстъ этимъ свѣдѣніямъ вѣрить много нечего. Есть из-

вѣстія о сильныхъ ударахъ, будто бы нанесенныхъ Донъ-Карлосу, но извѣстія эти пока лишь изъ Мадрида. Правда, собраніе кортесовъ открыло новому правительству Кастеляра большія средства (денежныя и право поднять значительную армію). Кромѣ того возстановленъ военный законъ, т. е. смертная казнь за преступленія противъ дисциплины, но все это, надо полагать, пребываетъ болѣе, такъ сказать, на бумагѣ, да и не такъ скоро возстановляется совершенно упавшая дисциплина. Между тѣмъ сепаратисты на югѣ совершаютъ страшныя злодѣйства. Эскадра города Картагены (осажденнаго правительствомъ) бомбардировала городъ Аликанте изъ грабежа, чтобъ вытребовать отъ Аликанте денегъ и провіанту. Злодѣйство совершилось въ виду эскадръ прусской, французской и англійской. Одна прусская хотѣла было помѣшать гнуснымъ разбойникамъ, но удержалась въ виду бездѣйствія французской и англійской эскадръ, рѣшившихся остаться нейтральными. Несчастные жители Аликанте телеграфировали однако лорду Гренвилю, умоляя о помощи, но согласія на помощь не послѣдовало — трудно представить, по какимъ соображеніямъ. Пусть это испанское правительство наказывало бы какой-нибудь изъ своихъ возмутившихся городовъ, но эти разбойники, конечно, для правительствъ Франціи и Англіи — лишь совсѣмъ неизвѣстные люди. И нравственный и всякій другой законъ даже обязываютъ посторонняго помѣшать явному и гнуснѣйшему злодѣйству, если оно происходитъ въ глазахъ, и если онъ въ силахъ оказать помощь.

Городъ Аликанте, оставленный собственнымъ средствамъ, отвѣчалъ однако на бомбардировку изъ своихъ орудій чрезвычайно энергично, такъ что два разбойничьихъ корабля, «Мендецъ» и «Нумансія», сильно потерпѣли и должны были воротиться назадъ въ Картагену ни съ чѣмъ. По поводу этого злодѣйства испанское правительство снова пламенно и краснорѣчиво выразилось, что оно вполнѣ сознаетъ необходимость подавить мятежъ сепаратистовъ. Еще бы не сознавать такую необходимость!

На югѣ Испаніи разбойничаютъ коммунисты, на сѣверѣ клерикалы. Нѣкоторые экономисты убѣждены, что такая разнохарактерность мятежа произошла оттого, что на сѣверѣ земля раздроблена между огромнымъ количествомъ мелкихъ собственниковъ (оттого консерватизмъ, Донъ-Карлосъ). Югъ же страны состоитъ почти весь изъ крупной земельной собственности, а народъ почти совсѣмъ лишенъ земельнаго надѣла — оттого пролетаріатъ, коммунизмъ, желаніе захватить собственность силой и подѣ-

лить ее межъ собою. Что коммунизмъ играетъ огромную роль въ теперешнемъ мятежѣ юга Испаніи — то несомнѣнно.

Изъ № 40 журн. „Гражданинъ“ 1873 г.

Мы приглашаемъ нашихъ читателей обратить вниманіе на напечатанную въ нынѣшнемъ № «Гражданина» статью нашего сотрудника Z. Z.: *О борьбѣ государства съ церковью въ Германіи.* Это — продолженіе напечатаннаго подъ тѣмъ же заглавіемъ еще въ 34 № «Гражданина» и сообщаетъ послѣднія извѣстія объ этой роковой борьбѣ. Хотя въ настоящую минуту политическій интересъ, повидимому, сосредоточенъ на другой окраинѣ Европы, но статья нашего сотрудника касается именно того главнаго, основного пункта, на которомъ въ наше время какъ бы колеблется вся политическая будущность Европы. Тутъ не только борьба римскаго католичества и римской идеи всемірнаго владычества, которая умереть не хочетъ, не можетъ и умретъ развѣ съ кончиною міра, — но, въ зародышѣ, и борьба вѣры съ атеизмомъ, борьба христіанскаго начала съ новымъ грядущимъ началомъ новаго грядущаго общества, мечтающаго поставить свой престолъ на мѣстѣ престола Божія. Князь Бисмаркъ, конечно, не вполнѣ про то вѣдая, какъ бы подаетъ, своимъ презрительнымъ и деспотическимъ отношеніемъ къ церкви въ новой колоссальной Имперіи, основанію которой столь способствовалъ политикою «крови и желѣза» — руку свою *новымъ людямъ*, атеистамъ и соціалистамъ. Припомнимъ опять изреченіе, приписываемое графу Шамборскому о настойчивомъ князѣ: «Его надо оставить въ покоѣ, и онъ самъ разрушитъ свое твореніе». Должно думать, что это *колоссальное* изреченіе сказано было графомъ Шамборскимъ тоже нѣсколько безсознательно, по крайней мѣрѣ, въ какомъ-нибудь болѣе тѣсномъ политическомъ смыслѣ. Все не вѣрится какъ-то, судя по фактамъ, что такія мысли тоже могутъ заходить въ голову графу Шамборскому.

Мы опять помѣщаемъ ниже массу политическихъ телеграммъ изъ Европы, за всю недѣлю, и опять-таки почти всѣ онѣ изъ Парижа. Неоспоримо то, что въ Европѣ, вотъ уже скоро сто лѣтъ ,все *начинается съ Франціи* и, кажется, долго еще такъ будетъ продолжаться. Этому есть свои причины. Впрочемъ, несмотря на обиліе телеграммъ—

новаго и рѣшительнаго еще немного. Мы остановились на путешествіи короля итальянскаго въ Вѣну и Берлинъ, вызвавшемъ такой восторгъ и въ нѣмцахъ, и въ итальянцахъ. Король уже съ недѣлю какъ возвратился въ Италію, напутствуемый горячими изъявленіями дружбы императора германскаго и его фамиліи и возложивъ, въ свою очередь, орденъ Анунсіады (дающій титулъ *двоюроднаго брата короля)* на старшаго сына германскаго наслѣднаго принца, на фельдмаршала Мольтке и на министра-президента Роона. Князь Бисмаркъ, уже имѣющій этотъ орденъ, получилъ изъ рукъ короля его акварельный портретъ. Телеграмма гласитъ, что въ Римѣ, 21 сентября, т. е. въ годовщину народнаго голосованія, присоединившаго Церковную область къ королевству Итальянскому, устроена была восторженнымъ народомъ иллюминація и горѣлъ транспарантъ, изображавшій императоровъ австрійскаго и германскаго и короля итальянскаго, подающихъ другъ другу руки. Такимъ образомъ итальянцы вполнѣ и съ удовольствіемъ сознаютъ, что порвали надолго свои древнія (католическія) связи съ крайнимъ западомъ Европы и пристали къ началу германскому (протестантскому). Во всякомъ случаѣ, политическое обезпеченіе юнаго итальянскаго королевства устроилось, на время, довольно крѣпко. Разставшись навѣки съ колоссальной римской идеей всемірнаго владычества папы, унаслѣдованной прямо отъ идеи всемірнаго владычества древняго Рима, итальянцы смотрятъ теперь хотя и безмѣрно уменьшеннымъ взглядомъ, на судьбы свои, но зато позитивно и матеріально, и, несмотря на прозаичность занятія, неуклонно хлопочутъ устроить свое будущее мѣщанское счастье подъ знаменемъ Италіи, соединенной во единое конституціонное королевство. Очень можетъ быть, что они избрали благую часть. Тутъ все зависитъ отъ народнаго генія, и во сколько онъ самъ цѣнитъ и сознаетъ себя. При этомъ какъ бы бросается въ глаза хотя и нѣсколько странная, но и не совсѣмъ отдаленная аналогія между современными итальянцами и новыми союзниками ихъ, германцами. Эти честные граждане, восторженно смотрѣвшіе на вышеупомянутый транспарантъ, тоже какъ бы принесли въ жертву часть своего религіознаго чувства и вѣрованія, порѣшивъ съ своимъ папой, въ видахъ укрѣпленія своего новенькаго итальянскаго королевства, — какъ и германцы, восторженно апплодирующіе теперь, и въ тѣхъ же видахъ укрѣпленія своей новой колоссальной имперіи, — новымъ церковнымъ законамъ князя Бисмарка.

Разсматривая всѣ парижскія телеграммы, невольно

приходишь къ одному неизбѣжному выводу: именно, что республикѣ во Франціи, кажется, приходитъ послѣдній конецъ. То есть не то, что нынѣшней республикѣ, но самому ея «принципу». И если въ этотъ разъ она не отстоитъ себя противъ Шамбора, то, можетъ быть, никогда уже не возобновится во Франціи. Впрочемъ, тутъ и не Шамборъ; графу Шамборскому, — хоть и трудно это предположить, — можетъ быть и не удастся стать королемъ. Но республикѣ все-таки нельзя существовать болѣе, ибо отъ нея во Франціи, кажется, всѣ устали. Да и что такое, напримѣръ, *Тьерова* республика, у которой наиболѣе приверженцевъ изо всей французской республиканской партіи? Это нѣчто совершенно отрицательное. Самъ Тьеръ формулировалъ неоднократно свою республику тѣмъ, что она «необходима, главное, потому, что ни одно изъ другихъ правительствъ и ни одна изъ другихъ партій во Франціи теперь невозможны». Такое отрицательное достоинство вовсе не можетъ успокоить усталую Францію, жаждущую порядка во что бы то ни стало и силы, чтобы поддержать его. И тѣмъ болѣе, что эта отрицательная и будто бы единственно возможная форма правительства въ теперешней Франціи — вовсе не устраняетъ другія партіи; напротивъ, дразнитъ и раздражаетъ ихъ именно своею отрицательностью; ибо каждая другая партія, напротивъ, увѣрена, что несетъ съ собою нѣчто положительное и окончательное для Франціи въ сравненіи съ *отрицательной* республикой. Опредѣлять республику такъ, какъ опредѣляетъ ее Тьеръ, значитъ самому не вѣрить въ нее. Вотъ почему всякій французъ поневолѣ смотритъ на республику какъ на нѣчто переходное, почти какъ на зло, болѣе или менѣе неизбѣжное. Такое положеніе нестрпимо и должно пасть само собою. Оно еще могло существовать съ Тьеромъ во главѣ, ибо Тьеръ былъ сила; тѣмъ болѣе, что все дѣло было въ Тьерѣ, а вовсе не въ его республикѣ. Но теперь и Тьеръ уже не сила. Самъ онъ, конечно, еще не замѣчаетъ того; вѣдь такъ еще недавно онъ стоялъ во главѣ Франціи! Но пока онъ ждалъ и собирался — минута ушла навѣки. Безъ сомнѣнія, ему будетъ величайшимъ сюрпризомъ вдругъ теперь узнать, что онъ — всего только великое историческое лицо, окончательно отошедшее въ область исторіи, а затѣмъ уже и ничего больше. Кажется, онъ объ этомъ скоро узнаетъ.

Всего вѣроятнѣе, что не повѣритъ тому, но тѣмъ горше будетъ его разочаровніе. Нельзя же убѣдиться такъ вдругъ въ своей совершенной ненужности. Теперь онъ возвратился въ Парижъ (изъ Женевы), и уже серьезно

собирается дѣйствовать: слишкомъ долго продолжалась его прогулка. Онъ становится во главѣ оппозиціи большинству Національнаго Собранія и собирается предводительствовать въ виду близкой катастрофы провозглашенія Франціи королевствомъ — во-первыхъ, лѣвымъ центромъ, любимымъ мѣстомъ Тьера въ палатѣ, во-вторыхъ, по возможности всей лѣвой стороной праваго центра, и въ третьихъ, — по возможности всей лѣвой стороной собранія. Эта возможность подчиненія Тьеру, на время, всей лѣвой стороны собранія, кажется, осуществима. Слышно, что крайняя лѣвая уже прислала сказать ему, что спорить не будетъ и избираетъ его въ предводители. Хоть и нигдѣ о томъ не пишутъ, но намъ кажется, что въ этомъ рѣшеніи крайней лѣвой чувствуется ловкая рука умнаго Гамбетты. Но навѣрно всѣ эти приготовленія не увѣнчаются успѣхомъ: въ роковой моментъ не только многіе депутаты изъ центровъ, но даже изъ лѣвой стороны не *посмѣютъ* не подать голоса за графа Шамборскаго, если дѣло начнется и кончится, какъ предполагаютъ всѣ до сихъ поръ, однимъ рѣшеніемъ національнаго собранія. Врядъ ли даже, въ такомъ случаѣ, и дойдетъ до дебатовъ въ собраніи: легитимисты дерзки, рѣшатъ нахально, насильно и даже, можетъ быть, самому Тьеру не дадутъ говорить (а онъ навѣрно уже приготовляетъ удивительную рѣчь). Легитимисты уже теперь гласно и открыто говорятъ и пишутъ, что національное собраніе, въ тотъ роковой день, должно быть окружено войскомъ. Объ маршалѣ-президентѣ попрежнему никто не думаетъ, и легитимисты совершенно увѣрены въ его послушаніи. Ну, что если въ самомъ дѣлѣ онъ всего *только честный солдатъ?* Тогда графъ Шамборскій, конечно, воцарится... на нѣсколько дней. Приверженцы его и знать не хотятъ, что будетъ назавтра послѣ воцаренія: имъ бы только теперь-то мѣсто занять. Характерно изреченіе самого графа Шамборскаго. Онъ писалъ одному депутату, что «не можетъ представить себя королемъ какой-нибудь партіи». Чѣмъ же онъ воображаетъ себя послѣ этого?

Въ Испаніи ничего лучшаго, даже худшее. Изъ Мадрида хвалятся, что Донъ-Карлосъ чуть не совсѣмъ уничтоженъ, но навѣрно въ этомъ нѣтъ ни малѣйшей правды. На югѣ Испаніи дѣла все хуже и хуже, а подъ Картагеной правительственныя войска перебѣгаютъ къ инсургентамъ. Вмѣсто ста милліоновъ правительственный заемъ осуществилъ лишь всего десять милліоновъ реаловъ. Рѣшили достать деньги во что бы то ни стало контрибуціями и налогами. Въ собраніи кортесовъ разладъ, и огромная

часть ихъ оставляетъ совсѣмъ правительство. Вѣроятно, провозгласится много новыхъ pronunciamento...

Изъ № 41 журн. „Гражданинъ“ 1873 г.

Выписываемъ отзывъ англійской газеты «Daily News» о теперешнихъ французскихъ событіяхъ.

«Есть признаки того, что во Франціи замышляется новый государственный переворотъ, тѣмъ болѣе незаконный, что онъ прикрывается парламентскими формами и парламентскими авторитетами. Между тѣмъ версальское собраніе никакъ не можетъ считаться парламентомъ. Оно перестало быть имъ съ той самой минуты, какъ, присвоивъ себѣ высшую правительственную отвѣтственность, лишило избирателей и страну всякой отвѣтственности. Теперь оно просто-на-просто безотвѣтственная и независимая олигархія, удерживающая за собою власть посредствомъ злоупотребленія врученными ему полномочіями».

И далѣе о графѣ Шамборскомъ:

«Претендентъ, по всѣмъ вѣроятностямъ, человѣкъ честный, хотя заблуждающійся. Если есть пунктъ, по которому онъ ни за что не долженъ бы уступить, то это вопросъ о бѣломъ знамени... Говорятъ, впрочемъ, что сдѣлана оговорка о присоединеніи къ нему бѣлой ленты или пучка изъ бѣлыхъ перьевъ. Но къ чему символъ, когда упраздняется выражаемое имъ дѣло! Самъ графъ Шамборскій есть не болѣе какъ символъ. Внѣ традиціонной монархіи, эмблему которой онъ готовъ принести въ жертву, онъ не имѣетъ никакого значенія. Принимая революціонное знамя, онъ дѣлается или монархомъ, созданнымъ революціей, или соглашается на притворство... Принять конституцію не слишкомъ трудно: для этого довольно минуты, почерка пера, но быть вѣрнымъ конституціи всю жизнь, выполнять ее по буквѣ и по духу при самыхъ разнообразныхъ обстоятельствахъ и условіяхъ, выполнять въ теченіе длиннаго ряда лѣтъ — вотъ задача, вотъ испытаніе, при которомъ графъ Шамборскій легко можетъ сбиться съ дороги, благодаря извѣстнымъ вліяніямъ. Трудно передѣлать свою природу: воспитаніе, связи, привычки, вкоренившіяся убѣжденія должны осилить первоначальную рѣшимость, несмотря на искренность намѣренія... Будетъ ли графъ Шамборскій, измѣнившій самому себѣ, вѣренъ Франціи? Мы не считаемъ его способнымъ къ коварству, но онъ обнаружилъ слабость, которая является соблазномъ и государственною опасностью... Собраніе

можетъ только сдѣлать графа Шамборскаго королемъ собранія, но оно не въ силахъ укоренить его власть на французской почвѣ. Герцогъ Брольи и его друзья воображаютъ, будто то, что было возможно въ 1789 году, возможно еще въ 1873 году. Они забываютъ цѣлое столѣтіе и общественный порядокъ, созданный этимъ столѣтіемъ во Франціи... Школа «историческихъ возстановителей» (герцогъ Брольи — ея типическій представитель) вся состоитъ изъ революціонеровъ-педантовъ, планы которыхъ— «устарѣлая новизна». Это — антикваріи, а не консерваторы»...

Рядомъ со статьей «Daily News» выписываемъ, тоже въ отрывкахъ, нѣсколько чрезвычайно характерныхъ, а въ настоящую минуту и особенно замѣчательныхъ сужденій Луи-Вёльо, въ іезуитской газетѣ «Univers», на ту же тему.

«Старые гугеноты, оставшіеся вѣрными Генриху IV, говорили когда-то, чтобъ извинить его отступничество отъ протестантства: «Парижъ стоитъ мессы (Paris vaut bien une messe)». Около Генриха V толкутся теперь такіе же политиканы, и точно такъ же убѣждаютъ его, что «Парижъ стоитъ того, чтобъ немножко съякшаться съ революціей». Что до нихъ, то ничего имъ не кажется проще. Король, однако, другого мнѣнія. То, что надо сдѣлать, говоритъ онъ, не можетъ быть сдѣлано иначе, какъ по желанію всѣхъ и съ помощью всѣхъ, подъ начальствомъ всѣми избраннаго предводителя. Я тотъ самый человѣкъ, который теперь все соединяетъ и всѣхъ менѣе разъединяетъ. Въ вашихъ же рукахъ я буду лишь похожъ на васъ и тотчасъ же стану въ разладъ и съ вами и съ самимъ собою.

«Политиканы возражаютъ ему, что не народъ сдѣланъ для короля, а король для народа. Король отвѣчаетъ, что и онъ такъ же думаетъ, и что потому-то и не отказывается отъ труднаго королевскаго ремесла — родового ремесла своего, но что сами они — вовсе не народъ и вовсе не изображаютъ собою короля, и что если онъ отдастся въ руки ихъ партіи, то не исполнитъ своей обязанности ни предъ собою, ни предъ народомъ. Они опять возражаютъ, но король объявляетъ, наконецъ, что разговоръ пора кончить, и что онъ не торгашъ.

«Вотъ въ какомъ состояніи теперь дѣло; король молчитъ и посѣтители отходятъ ни съ чѣмъ. Теперь ясно, что Генрихъ V не измѣнилъ ни въ чемъ своей первоначальной программѣ. Тутъ не великодушіе, а убѣжденіе. Анархію нельзя ничѣмъ вылѣчить, кромѣ какъ монархіей—естественнымъ жребіемъ французовъ... Лишь одна

монархія можетъ навѣки воскресить порядокъ во Франціи, всякая другая система правленія можетъ годиться только на время, даже и въ случаѣ успѣха. Лишь въ монархію Франція чувствовала себя совершенно свободно — точь-въ-точь какъ всякій здоровый человѣкъ, живущій по законамъ своего темперамента. Генрихъ V говоритъ: «Я много означаю и много могу, оставаясь вѣрнымъ принципу, которому служу представителемъ. Но внѣ этого принципа я — ничто, я теряю всякую силу что-нибудь совершить и ужъ, конечно, не пойду васъ тогда спасать. Вѣрностью моему принципу я излѣчу отравленную атмосферу, въ которой задыхается Франція; отказавшись отъ моего принципа — я тотчасъ же становлюсь одною изъ тѣхъ затычекъ, которыми вы вотъ уже сто лѣтъ затыкаете ваши прорѣхи, безпрерывно мѣняя и отмѣняя ихъ. Останьтесь съ г. Брольи, или возстановите г. Тьера, или попробуйте, пожалуй, г. Гамбетту, а меня — оставьте въ покоѣ. Вы пугаетесь моего знамени; напрасно. Во всякомъ случаѣ, я не уступлю его, и вы должны понять, что я въ этомъ правъ... Это не бравада, это не пустой капризъ. Тутъ необходимость, даже съ одной политической точки зрѣнія... Это знамя есть символъ моего принципа. Когда вы всѣ его примете, я почувствую, что мы примирились и примирились искренно, что вы забыли ваши обиды и прощаете мнѣ все зло, которое мнѣ сдѣлали. Если бы я измѣнилъ моему знамени и взялъ бы ваше, вы не могли бы уважать меня. Вы бы все смотрѣли на меня, какъ побѣдители смотрятъ на побѣжденнаго. Вы бы поминутно вспоминали о крови предковъ моихъ, пролитой вами на эшафотѣ, а меня бы обвиняли поминутно, что это я о ней вспоминаю. Я требую лишь того, что требуетъ моя честь, а честь моя — ваша честь. Зачѣмъ хотите вы, чтобъ, восходя на тронъ, я имѣлъ видъ раскаявшагося грѣшника? Я ничего у васъ не просилъ, я никакой милости не просилъ; я вступаю на тронъ по моему праву, но вступаю не насиліемъ, не съ мечемъ въ рукѣ. Но такъ какъ мое право и ваша воля совпали вмѣстѣ, то и знамя, съ которымъ я возвращаюсь и которое вы до сихъ поръ такъ не любили, — съ этой минуты должно быть такъ же дорого и славно для васъ, какъ и для меня. Иначе и не можетъ быть. При такихъ примиреніяхъ, собственное достоинство и правда — первое дѣло. Я вовсе не раскаивающійся грѣшникъ, но я и не похититель. Прилично ли мнѣ похищать наполеоновское знамя и подвергать себя подобному обвиненію? Я предоставляю дому Наполеоновъ его знамя, съ Аркола и до Седана. Бѣлому знамени довольно и собственной славы. Пусть же войдетъ оно во Францію безъ боя съ французами, и это шествіе останется его лучшей славой».

«Вотъ какъ можетъ говорить Генрихъ V, — прибавляетъ Луи-Вѣльо, — но онъ молчитъ и это еще лучше. Зачѣмъ объяснять то, что Франція и безъ объясненій понимаетъ. Его дѣло восторжествуетъ безо всякихъ рѣчей... Монархія или анархія, монархъ или ничего! Эта корона, необходимая для нашего спасенія, вовсе не такъ необходима его славѣ. Онъ можетъ со славою возложить ее на себя, но еще болѣе славы отказаться отъ нея, чтобы не нарушить чести. Никогда не было болѣе счастливаго положенія въ судьбахъ человѣческихъ, болѣе обѣщающаго и болѣе независимаго. Этотъ побѣдитель не нуждается ни въ арміи, ни въ совѣтѣ. Нѣтъ съ нимъ солдатъ, нѣтъ сокровищъ, нѣтъ заговорщиковъ. Онъ достигнетъ, несмотря на непреоборимыя препятствія, и ни передъ кѣмъ не останется за это въ долгу, никто не будетъ имѣть права обвинять его въ неблагодарности. Онъ войдетъ безъ пролитія крови, одинъ, съ тѣмъ самымъ знаменемъ, съ которымъ былъ изгнанъ».

Оба эти отзыва о графѣ Шамборскомъ двухъ, совершенно удаленныхъ одна отъ другой, европейскихъ газетъ весьма любопытны. Въ существѣ дѣла они отчасти согласны. «Daily News» негодуетъ за то лишь, что графъ Шамборскій выказалъ слабость и сдѣлалъ уступки. Луи-Вѣльо прямо утверждаетъ, что никакихъ уступокъ не было, что къ графу, напротивъ, безпрерывно ѣздятъ изъ Парижа уполномоченные, чтобъ вырвать у него хоть какую-нибудь уступку, но что «король продолжаетъ хранить молчаніе». Свѣдѣнія Луи-Вѣльо, кажется, вѣрнѣе другихъ.

Весь союзъ всѣхъ партій правой стороны, испуганный движеніемъ всей республиканской партіи національнаго собранія, обнаружившей въ послѣднее время чрезвычайную энергію въ приготовленіяхъ къ отпору монархистамъ, — назначилъ окончательную комиссію, подъ предсѣдательствомъ Шангарнье, чтобъ условиться о послѣднихъ предложеніяхъ графу Шамборскому съ тѣмъ, чтобы получить на нихъ уже отвѣтъ окончательный. Засѣданія всѣхъ этихъ комиссій, конечно, ведутся въ глубокой тайнѣ, но результаты все-таки извѣстны. Извѣстно, напримѣръ, что согласіе всей правой стороны и праваго центра продолжается ненарушимо. Извѣстно еще то, что послѣдняя депутація къ графу Шамборскому уже отпра-

вилась съ окончательными предложеніями. Эта депутація весьма скоро должна воротиться съ окончательнымъ результатомъ. Замѣчательно одно свѣдѣніе, весьма, кажется, точное, сообщаемое послѣдними газетами, что въ случаѣ рѣшительнаго отказа графа Шамборскаго принять трехцвѣтное знамя — союзъ всѣхъ партій правой стороны будетъ продолжаться ненарушимо даже и послѣ паденія всякихъ надеждъ провозгласить монархію. Ходилъ слухъ, довольно нелѣпый, что въ такомъ случаѣ все-таки провозгласятъ монархію, а королемъ — графа Парижскаго. Гораздо вѣрнѣе, по нашему мнѣнію, другое извѣстіе, по которому монархисты палаты, при неблагопріятномъ отвѣтѣ отъ графа Шамборскаго, немедленно по сборѣ палаты (5 ноября), провозгласятъ необходимость продленія полномочій маршала Макъ-Магона, но ужъ, разумѣется, безъ провозглашенія республики. Такимъ образомъ, это будетъ продленіе настоящаго нестерпимаго порядка вещей на неопредѣленное время, то есть: для Франціи никакого обезпеченія; неопредѣленное положеніе вещей, охраняемое пока можно штыками, прежняя борьба обозлившихся окончательно партій; ни монархія, ни республика, — и все это единственно для той только цѣли, чтобы національному собранію какъ можно долѣе не расходиться и какъ можно долѣе протянуть свои полномочія. *Всего вѣроятнѣе, что такъ и будетъ*, но какъ-то невѣроятно для пасъ и то, чтобъ легитимисты могли отказаться хоть на время отъ графа Шамборскаго, въ случаѣ отказа его отъ уступокъ. Они его примутъ и безъ уступокъ, примутъ даже и съ бѣлымъ знаменемъ,—ибо дѣло уже слишкомъ далеко зашло, а монархическая партія раздражена и разгорячена до послѣдней степени. Весьма можетъ быть, что найдутъ какой-нибудь исходъ, чтобы не разрушить своего союза въ собраніи даже и въ случаѣ бѣлаго знамени. Есть тому нѣкоторые признаки, напримѣръ, хотя бы эта статья Луи-Вѣльо. Это мнѣніе «Univers», самаго монархическаго журнала во Франціи; и уже, конечно, Луи-Вѣльо самый покорный слуга Генриха V. Тонъ статьи его взятъ чрезвычайно высоко. Но если претендентъ, по мнѣнію «Daily News», уже рѣшился сдѣлать уступки, — то каково же должна услужить ему статья въ «Univers»? Выходитъ, стало быть, что въ легитимистскомъ лагерѣ уже убѣждены въ возможности воцаренія графа Шамборскаго даже и безо всякихъ съ его стороны уступокъ, или, лучше сказать, — *во всякомъ случаѣ*. Одинъ только фактъ остается яснымъ: что объ окончательномъ рѣшеніи графа Шамборскаго — еще нѣтъ никакихъ опредѣленныхъ свѣдѣній. Президентъ совѣта министровъ, герцогъ Брольи, на банкетѣ въ Невиль-Дюбонѣ, по случаю открытія одной новой желѣзной дороги, произнесъ рѣчь, въ которой прямо заявилъ, что онъ монархистъ, что національное собраніе имѣетъ право провозгласить тотъ образъ правленія, который найдетъ подходящимъ для Франціи (т. е. монархію) вслѣдствіе предоставленной національному собранію учредительской власти, при чемъ заявлялъ, однако, что «формы гражданскаго устройства, для всѣхъ насъ одинаково дорогія, останутся неприкосновенными» — другими словами, онъ обѣщалъ, что графъ Шамборскій приметъ трехцвѣтное знамя и принципы 89 года. Всѣмъ извѣстно, что герцогъ Брольи одинъ изъ первыхъ агитаторовъ по возстановленію монархіи, и изо всѣхъ силъ хлопочетъ только, чтобъ въ этомъ дѣлѣ всѣхъ согласить и всѣмъ угодить, т. е. чтобъ графъ Шамборскій согласился на трехцвѣтное знамя. Но характернѣе всего то, что членъ все-таки республиканскаго правительства, президентъ совѣта министровъ, позволилъ себѣ, на публичномъ банкетѣ, такую откровенность и явно сталъ за монархію. Этотъ «легкомысленный поступокъ» герцога, какъ отозвались о немъ нѣкоторыя газеты, опять-таки свидѣтельствуетъ о самой полной, о самой слѣпой увѣренности монархистовъ въ побѣдѣ. Иначе не позволило бы себѣ такое высокопоставленное правительственное лицо такъ проболтаться.

Однимъ словомъ въ самомъ близкомъ будущемъ, черезъ какія-нибудь три недѣли можетъ произойти чрезвычайно много новаго и совсѣмъ даже неожиданнаго, ибо малѣйшая случайность въ текущихъ дѣлахъ можетъ, *на нѣкоторое время*, измѣнить весь ожидаемый ходъ событій. Вѣльо, въ своемъ образѣ Генриха V, начертилъ намъ чрезвычайно высокій типъ. Можетъ случиться, что графъ Шамборскій дѣйствительно откажется отъ трона, чтобъ сохранить свои принципы. Можетъ случиться и то, что, несмотря и на знамя, его все-таки подвергнутъ баллотировкѣ въ собраніи, и онъ получитъ какое-нибудь большинство отъ одного до десяти голосовъ — и опять откажется вступить на престолъ въ виду такого постыдно-малаго большинства избравшихъ его. Можетъ случиться, что іезуиты тотчасъ же успокоятъ его въ этомъ случаѣ, и первый присоединится къ нимъ самъ Луи-Вѣльо, при чемъ увѣрятъ графа Шамборскаго, что такого шанса не надо терять, что народъ отвыкъ отъ королевской власти, грубъ и даже некрещенъ, и что хотя бы онъ сопротивлялся и бунтовался, все-таки надо воспользоваться послушаніемъ маршала Макъ-Магона и рѣшеніемъ національнаго собранія и во что бы то ни стало вступить на престолъ, — хоть для того только, чтобъ окрестить этотъ тупой и безсмыс-

ленный народъ и сдѣлать его, хоть и насильно, религіознымъ и счастливымъ, — что въ томъ призваніе законной монархіи, что то своего рода крестовый походъ. и т. д. и т. д. Намъ пріятнѣе было бы, если бъ графъ Шамборскій не измѣнилъ своимъ принципамъ и отказался бы отъ престола,—единственно потому, что въ мірѣ стало бы однимъ великодушнымъ человѣкомъ больше, а міру въ высшей степени необходимо имѣть передъ собою какъ можно болѣе людей, которыхъ можно уважать. Наконецъ, можетъ случиться, что въ рѣшительную минуту одолѣютъ республиканцы, и тогда разойдется собраніе, взамѣнъ котораго соберется новое и провозгласитъ уже республику окончательно. Но мы оставимъ на время всѣ эти частности. всѣ эти pro и contra въ сторонѣ и постараемся разрѣшить одинъ любопытный и уже болѣе общій вопросъ, который насъ особенно занимаетъ въ сію минуту.

Предположимъ прежде всего, что графъ Шамборскій уже восшелъ на престолъ, республиканцы разсѣяны, МакъМагонъ послушенъ, страна мало-по-малу успокоивается, по крайней мѣрѣ повидимому, и все идетъ, наконецъ, довольно гладкимъ новымъ порядкомъ. Такимъ образомъ, мы устраняемъ даже и «завтрашній день». Увѣряютъ же теперь иные легитимисты, что «по крайней мѣрѣ, графъ Шамборскій дастъ французамъ лѣтъ 18 тишины и спокойствія». Мы соглашаемся если и не на 18, такъ на сколько-нибудь лѣтъ этого спокойствія. Вопросъ: что же дальше? Чѣмъ разрѣшатся судьбы Франціи, если бъ даже графъ Шамборскій и утвердился на тронѣ, чѣмъ успокоены будутъ Европа и міръ?

Вотъ вопросъ. Вёльо (Veuillot) увѣряетъ, что главная сила претендента заключается въ томъ, чтобы ни на атомъ не измѣнить своимъ принципамъ, и что въ такомъ только случаѣ при немъ останется вся возможность спасти и успокоить Францію. Да, но что же именно сдѣлаетъ новый король, чтобы *спасти* Францію, и что именно значитъ въ этомъ случаѣ слово *возможность?*

Сущность принциповъ графа Шамборскаго состоитъ, во-первыхъ и главное въ томъ, что власть его — есть законная власть; далѣе же наступаетъ такая путаница, что не понимаешь, какъ такія идеальныя вещи могутъ являться въ дѣйствительности. То есть, положимъ, слишкомъ понятны и слишкомъ не идеальны всѣ тѣ пружины, которыя двигаютъ теперь всю эту партію провозгласить монархію, но самъ Генрихъ V и всѣ тѣ, которые думаютъ такъ же, какъ онъ (потому что есть же и такіе изъ его приверженцевъ), — суть явленія совершенно фантастическія. Не въ томъ дѣло, что самъ король будетъ увѣренъ въ законности своей власти, а въ томъ, чтобы всѣ французы тому повѣрили. Случись послѣднее обстоятельство, и, конечно, Франціи не оставалось бы ничего болѣе желать; она вновь сильна, въ первый разъ соединена въ одно цѣлое въ продолженіе всего столѣтія, она счастлива и свободна тогда въ высшей степени. Императоръ Наполеонъ III, во все время своего царствованія, принужденъ былъ направлять всѣ свои усилія къ упроченію и укорененію во Франціи своей династіи. Будь онъ избавленъ отъ этой роковой и безпрерывной заботы, и навѣрно бы онъ устоялъ, и не было бы седанской катастрофы. Тогда какъ преслѣдуя эту роковую цѣль, онъ принужденъ былъ начинать множество дѣяній, клонившихся не къ счастью Франціи, а единственно лишь къ упроченію дома Наполеоновъ. Французы это ясно понимали, ибо почти всѣ дѣянія предприняты были не только не къ счастью Франціи, но даже къ неоспоримому несчастію ея. Такимъ образомъ, несмотря даже на ореолъ чрезвычайной силы и славы, французы все-таки съ безпокойствомъ продолжали ощущать себя, во все время царствованія Наполеона III, въ положеніи неопредѣленномъ и неустойчивомъ; ибо, если самъ глава правительства не вѣрилъ въ устойчивость своей власти, тѣмъ менѣе могли вѣрить французы. Но случись такое чудо, что всѣ, наконецъ, повѣрятъ въ законность власти графа Шамборскаго и онъ, стало быть, будетъ окончательно избавленъ отъ роковой заботы Наполеона III, — тогда, конечно, всѣ цѣли достигнуты. Король, видя вѣру въ него своихъ подданныхъ, не можетъ же не вѣрить имъ самъ. Тогда, не подозрѣвая ни заговоровъ, ни ухищреній противъ себя, онъ далъ бы всѣ свободы своимъ подданнымъ, — свободу прессы, сходокъ, внутренняго управленія, свободу жизни, свободу вводить хотя бы коммунизмъ — только бы это не вредило цѣлому, всѣмъ. Но вѣдь такое согласіе — идеалъ совершенно невозможный. Мы не будемъ повторять мнѣній «Daily News» или «Times», или Тьера, или Токвиля въ недавней рѣчи его,— о томъ, что Франція есть страна по преимуществу демократическая, и что поэтому въ ней легитимизмъ невозможенъ. Демократизмъ Франціи былъ, въ продолженіе цѣлаго столѣтія, подверженъ большому спору, и вопросъ этотъ далеко еще не рѣшенный. Мы просто укажемъ на вкоренившееся во Франціи предубѣжденіе противъ древней монархіи, на столѣтнюю отъ нея отвычку, на столѣтнія совсѣмъ новыя привычки, на шесть или семь поколѣній французовъ, возросшихъ послѣ монархіи, и, наконецъ, на народъ, на *черный* народъ, даже совсѣмъ и забывшій про древнюю монархію, совсѣмъ ее не знающій,

не имѣющій о ней никакого точнаго понятія и навѣрно не понимающій теперь: изъ-за чего ему присягать Шамбору, усыпать его путь цвѣтами и цѣловать копыта его бѣлой лошади? Графъ Шамборскій провозгласилъ, что онъ не король партіи, а стало быть желаетъ быть избранъ всѣми. Но въ томъ-то и вся фантастичность сна его, что онъ, кажется, совсѣмъ убѣжденъ въ возможности такого избранія! «Безъ всеобщаго согласія всѣхъ французовъ на законную власть короля французы не могутъ быть счастливы», говорятъ легитимисты. Пусть, но какъ получить это *всеобщее* согласіе, какъ перескочить черезъ эти 100 лѣтъ? Все это какъ сонъ. Повторяемъ: всѣ эти рвущіеся провозгласить монархію — совершенно понятны; но графъ Шамборскій, серьезно вѣрующій, что его могутъ *всѣ* пожелать, и что онъ не человѣкъ партіи, — невольно представляется какъ бы человѣкомъ помѣшаннымъ.

Тѣ изъ легитимистовъ, которые дѣйствуютъ не сплеча, чтобы только занять мѣсто, и не клерикалы, которые дѣйствуютъ, имѣя лишь въ виду свои особыя, спеціальныя цѣли, свой status in statu, — тѣ изъ нихъ имѣютъ же какой-нибудь разумный планъ, не вѣрятъ же они въ самомъ дѣлѣ въ какое-то фантастическое всеобщее согласіе, которое такъ вдругъ, совсѣмъ готовое, слетитъ съ неба. Если такъ, то какой же это планъ? Вѣдь еще мало войти во Францію, сѣсть на тронъ, окруженный послушными штыками Макъ-Магона, и начать царствовать; надо и что-нибудь сдѣлать. Надо принести съ собою какую-нибудь новую мысль, сказать какое-нибудь такое новое слово, которое дѣйствительно имѣло бы силу вступить въ бой съ злымъ духомъ цѣлаго столѣтія несогласій, анархіи и безцѣльныхъ французскихъ революцій. Замѣтьте, что вѣдь этотъ злой духъ несетъ съ собою страстную вѣру, а стало быть дѣйствуетъ не однимъ параличемъ отрицанія и соблазномъ самыхъ положительныхъ обѣщаній: онъ несетъ новую анти-христіанскую вѣру, стало быть, новыя нравственныя начала обществу; увѣряетъ, что въ силахъ выстроить весь міръ заново, сдѣлать всѣхъ равными и счастливыми и уже навѣки докончить вѣковѣчную Вавилонскую башню, положить послѣдній замковый камень ея. Между поклонниками этой вѣры есть люди самой высшей интеллигенціи; вѣруютъ въ нее тоже всѣ «малые и сирые», трудящіеся и обремененные, уставшіе ожидать царства Христова; всѣ отверженные отъ благъ земныхъ, всѣ неимущіе, и во Франціи они уже считаются — милліонами, и все это близко «при дверяхъ». Стало быть, непремѣнно надо что-нибудь сказать и сдѣлать графу Шамборскому, иначе зачѣмъ же ему приходить? И, однакоже, что будетъ

на самомъ дѣлѣ? Всего вѣроятнѣе, что вновь населится и обновится Сенъ-Жерменское предмѣстье, разбогатѣютъ попы, начнутся виконты и маркизы. Явится множество новыхъ модъ, множество новыхъ бонмо; явится что-нибудь новое въ придворномъ этикетѣ, что тотчасъ же и съ жаромъ переймутъ при всѣхъ европейскихъ дворахъ, явится что-нибудь новое въ балахъ и балетѣ, явятся новыя конфеты, новые повара. Въ маленькой палатѣ депутатовъ, которой уступятъ какую-нибудь крошечную власть, начнутся съ одной стороны доктринеры, съ другой маленькіе герои лѣвой стороны, которая будетъ все-таки глупѣе правой, въ нелѣпомъ своемъ положеніи. Затѣмъ будетъ расти глухое и неопредѣленное недовольство въ народѣ; злой духъ, который еще очень молодъ, межъ тѣмъ созрѣетъ и обозлится окончательно. Затѣмъ, въ одно прекрасное утро, король подпишетъ какіе-нибудь ордоннансы... Парижъ закипитъ, войско возьметъ ружья прикладомъ вверхъ, и злой духъ уже возмужалою рукой постучится въ двери...

Нѣтъ, навѣрное есть такіе изъ легитимистовъ даже и теперь, а во главѣ ихъ самъ графъ Шамборскій (непремѣнно), которые мечтаютъ поступить совсѣмъ иначе, намѣренія ихъ глубже и великодушнѣе. Они именно жаждутъ вступить въ борьбу со злымъ духомъ и одолѣть его. Вотъ ихъ цѣль, для нея-то именно они идутъ! Но желаніе и дѣло — двѣ разныя вещи. Вопросъ: какъ вступить въ бой съ новымъ, разлагающимъ началомъ общества? Клерикальнымъ насиліемъ и нахальствомъ вѣдь ужъ ничего не возьмешь. Разумѣется, отвѣтъ ясенъ: «первый шагъ къ дѣлу, первый начинъ — это возстановленіе свѣтскаго владычества папы».

О, напрасно эти чистые легитимисты будутъ отмахиваться руками отъ этой идеи! Напрасно самъ графъ Шамборскій станетъ увѣрять, какъ увѣрялъ до сихъ поръ, что не начнетъ войны изъ-за папы, что не приведетъ съ собой *правительство патеровъ*, какъ писалъ на-дняхъ къ депутату Родесу-Бенавану. Имъ не миновать этой дороги! Ихъ втащатъ на нее, ихъ заставятъ по ней пойти. Нѣкоторые наблюдатели и теперь уже угадываютъ, что и все это движеніе легитимистское, такъ вдругъ и съ такимъ напряженіемъ разрѣшившееся теперь во Франціи, — можетъ быть, не что иное, какъ клерикальная продѣлка, и что первоначальное слово его вышло изъ Рима и направлено въ пользу возстановленія папской власти. Клерикалы, конечно, не выдумали ни Шамбора, ни легитимистовъ, но зато овладѣли ими. Тому есть признаки. Римское движеніе пронеслось въ послѣдніе полгода по всей Европѣ. Два претендента на краю Европы, графъ Шамборскій и Донъ-

Карлосъ, римско-католическая агитація въ Германіи, овладѣвшая справедливымъ недовольствомъ католиковъ имперіи противъ новыхъ церковныхъ законовъ, попытки сблизиться съ народомъ во Франціи, въ Германіи и Швейцаріи новымъ изобрѣтеніемъ—устройствомъ въ массахъ народныхъ богомолій, нѣкоторыя неслыханныя доселѣ демократическія выходки католическаго высшаго духовенства въ Германіи съ обращеніемъ къ народу,—все это приводитъ на мысль объ огромной, разомъ и повсемѣстно возбужденной агитаціи клерикаловъ въ пользу непогрѣшимаго, но бездомнаго папы. Кстати, чрезвычайно любопытно, въ этомъ же отношеніи, содержаніе двухъ писемъ, на-дняхъ обнародованныхъ: папы къ императору Вильгельму и отвѣта императора папѣ. Мы сообщимъ ихъ въ своемъ мѣстѣ. Но все это клерикальное движеніе тѣмъ важно, что оно есть, можетъ быть, *послѣдняя* попытка римскаго католичества обратиться еще разъ, въ *послѣдній* разъ, за помощью къ королямъ и высшимъ міра сего, и послѣдняя надежда на нихъ. Не удадутся эти послѣднія надежды, и Римъ, въ первый разъ въ 1.500 лѣтъ, поймётъ, что пора кончить съ высшими міра сего и оставить надежду на королей! И повѣрьте — Римъ сумѣетъ обратиться къ народу, къ тому самому народу, котораго римская церковь всегда и высокомѣрно отъ себя отталкивала и отъ котораго скрывала даже Евангеліе Христово, запрещая переводить его. Папа сумѣетъ выйти къ народу пѣшъ и босъ, нищъ и нагъ, съ арміей двадцати тысячъ бойцовъ іезуитовъ, искусившихся въ уловленіи душъ человѣческихъ. Устоятъ ли противъ этого войска Карлъ Марксъ и Бакунинъ? Врядъ ли; католичество такъ вѣдь умѣетъ, когда надо, сдѣлать уступки, все согласить. А что стоитъ увѣрить темный и нищій народъ, что коммунизмъ есть то же самое христіанство, и что Христосъ только объ этомъ и говорилъ. Вѣдь есть же и теперь даже умные и остроумные соціалисты, которые увѣрены, что то и другое—одно и то же, и серьезно принимаютъ за Христа антихриста...

Во-первыхъ, Генриху V уже потому нельзя будетъ избѣжать войны за папу, что теперешнее время и ближайшіе будущіе годы — суть единственный, можетъ быть, моментъ, когда война за папу можетъ быть популярна и принята съ симпатіей даже народомъ. Если бъ Генрихъ V въ состояніи былъ отмстить Германіи за милліарды и недавнее униженіе и отнять у нея Эльзасъ и Лотарингію, то, безъ сомнѣнія, онъ упрочилъ бы тронъ свой, по крайней мѣрѣ на время своего царствованія. Но объяви онъ прямо, ставъ королемъ, войну Германіи — и никто не пойдетъ за нимъ, да и объявить не дадутъ: страшно и

рискъ большой. Но папа, гонимый Германіей, немедленно возбудитъ симпатію во Франціи. А кто теперь главный противникъ «непогрѣшимому» папѣ, какъ не Германія? На возстановленіе власти его она смотритъ какъ на самый капитальный вопросъ и изо всѣхъ силъ станетъ за Италію. Мало-по-малу, отъ переговоровъ къ негодованію, отъ негодованія къ дѣлу — и папскій вопросъ, въ случаѣ воцаренія графа Шамборскаго, непремѣнно разрѣшится огромной и *невольной* войной между Франціей и Германіей. Прямо за Эльзасъ не пойдутъ французы, а исподьсль, невольно — втянутся, заступившись за папу, и война можетъ стать популярною. Не можетъ упустить такого случая графъ Шамборскій.

И вотъ мы допустимъ даже, что онъ выйдетъ изъ войны побѣдителемъ, что Франція покроетъ себя опять славою, отвоюетъ провинціи, и что даже самъ папа въѣдетъ въ Парижъ, чтобы присутствовать на закладкѣ какого-нибудь новаго собора (какъ и приглашали его недавно). Что же далѣе? Не то важно, что Генриху V дадутъ, можетъ быть, послѣ его подвига, умереть спокойно на тронѣ. Важно то: укоренится ли съ графомъ Шамборскимъ законная монархія во Франціи, навѣки и неоспоримо, и что принесетъ ей она собою? Какое счастье? Успокоитъ ли ее, терзаемую и измученную, отгонитъ ли злого духа навѣки, стоящаго уже близко «при дверяхъ»?

Ну что въ томъ, что папа въѣдетъ въ Парижъ и римское католичество воцарится вновь съ новымъ и неслыханнымъ блескомъ! Папѣ ли, торжествующему и «непогрѣшимому», а не «пѣшему и босому», прогнать злого духа, іезуитамъ ли его, легкомысленнымъ ли этимъ клерикаламъ, съ ихнимъ status in statu, натертымъ, безстыднымъ пройдохамъ? Нѣтъ, злой духъ сильнѣе и *чище* ихъ! Не съ этой арміей графу Шамборскому можно сказать свое *новое слово*. А если не съ этой, то съ какой же? Вѣдь невольно вѣрится теперь, что графъ Шамборскій есть, дѣйствительно, высокое существо, самое чистѣйшее сердцемъ существо. И ужъ навѣрно онъ понимаетъ, въ восторгѣ души своей, что все его новое слово — это именно борьба за Христа съ страшнымъ, грядущимъ антихристомъ, что Францію надо спасти, обративъ ея умниковъ къ Богу, а въ сердцахъ милліоновъ «некрещеныхъ» работниковъ проливъ благодать Христову и въ первый разъ познакомивъ ихъ съ святымъ Его образомъ. Иначе чѣмъ же спасетъ свою Францію христіаннѣйшій король? Вѣдь говоритъ же онъ, что идетъ спасти ее, и вѣритъ самъ, что спасетъ. Вѣдь онъ знаетъ же, что на французской почвѣ суждено совершиться первымъ бит-

вамъ грядущаго страшнаго новаго общества противъ стараго порядка вещей. Вѣдь онъ знаетъ же, что вѣдь этого-то и трепещетъ все французское общество, всѣ сильные и одаренные дарами земными, что для того-то и жаждутъ и зовутъ они въ отчаяніи хоть какое-нибудь твердое правительство, ищутъ гдѣ сила и не находятъ ея; что единственно для отпора этому новому грядущему врагу и Наполеона III допустили они на тронъ; и если согласятся теперь на графа Шамборскаго, то единственно въ надеждѣ: не принесетъ ли и онъ съ собой какой-нибудь новой силы, чтобъ ихъ защитить. А если такъ, то гдѣ онъ возьметъ людей для такой страшной борьбы? Развитъ ли онъ самъ настолько, чтобъ понимать ее? При всемъ своемъ добромъ сердцѣ, навѣрно нѣтъ. Можетъ ли онъ не смущаться отъ такой ужасной бѣдности средствъ, съ которыми придется ему дѣйствовать? Если же онъ не смущается — то какъ же, въ такомъ случаѣ, не признать его или человѣкомъ ограниченнымъ и невѣжественнымъ, или, въ противномъ случаѣ, близкимъ къ помѣшательству? Гдѣ же теперь отвѣтъ на вопросъ нашъ? Чѣмъ же, наконецъ, какими силами можетъ легитимизмъ спасти и излѣчить Францію? Тутъ и пророка Божія мало, не только графа Шамборскаго. И пророкъ избіенъ будетъ. Новый духъ придетъ, новое общество *несомнѣнно* восторжествуетъ — какъ *единственное* несущее новую, положительную идею, какъ единственный предназначенный всей Европѣ исходъ. Въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. Міръ спасется уже послѣ посѣщенія его злымъ духомъ... А злой духъ близко: наши дѣти, можетъ быть, узрятъ его...

Задавъ себѣ вопросъ и разобравъ его по возможности, мы только лишь хотѣли оправдать двѣ строки изъ предыдущихъ нашихъ отчетовъ объ иностранныхъ событіяхъ, именно: что графъ Шамборскій, «если воцарится, то воцарится всего только на два дня»... Мы не хотѣли, чтобъ насъ обвинили въ легкомысліи, и постарались лишь вывести, что легитимизмъ — не только теперь невозможенъ, но даже и не нуженъ совсѣмъ для Франціи; никогда не нуженъ — ни теперь, ни въ будущемъ, ибо менѣе всѣхъ имѣетъ средствъ *спасти* ее.

Но вѣдь во Франціи — или монархія или республика, а другое правительство невозможно. А мы и о республикѣ выразились, что отъ нея всѣ «устали», и что она теперь невозможна. Постараемся оправдать и эти наши слова, чтобъ и ихъ не приняли за каламбуръ, или за какое-нибудь преднамѣренное легкомысліе, что и сдѣлаемъ въ одномъ изъ слѣдующихъ нашихъ отчетовъ объ «иностранныхъ событіяхъ».

Изъ № 42 журн. „Гражданинъ“ 1873 г.

Въ послѣднемъ нашемъ отчетѣ объ иностранныхъ политическихъ событіяхъ («Гражд.» № 41) мы, говоря о признакахъ римской политической агитаціи въ пользу возстановленія свѣтскаго владычества папы, замѣчаемыхъ во всей Европѣ, упомянули, между прочимъ, о двухъ любопытнѣйшихъ письмахъ: папы къ императору Вильгельму и императора Вильгельма къ папѣ. Мы обѣщали сообщить эти письма читателямъ. Они относятся еще къ августу нынѣшняго года, но обнародованы въ Берлинѣ въ «Государственномъ Указателѣ» лишь 14 (2) октября. Вотъ письмо Пія IX.

«Ватиканъ, 7 августа 1873 г. Ваше величество. Всѣ мѣры, принимаемыя съ нѣкотораго времени правительствомъ вашего величества, клонятся болѣе и болѣе къ стѣсненію католиковъ. Признаюсь, что, спрашивая себя о причинахъ, вызывающихъ эти крайне суровыя мѣры, я не въ состояніи понять, въ чемъ эти причины заключаются. Съ другой стороны, меня извѣщаютъ, что ваше величество не одобряете образа дѣйствій вашего правительства и суровости мѣръ, принимаемыхъ имъ противъ католической вѣры. Если, дѣйствительно, ваше величество не одобряете этого — а ваши прежнія письма ко мнѣ достаточно показываютъ, что вы не одобряете всего происходящаго нынѣ — если, говорю, ваше величество, дѣйствительно, не одобряете того, что ваше правительство продолжаетъ принимать мѣры строгости противъ Христовой церкви и тѣмъ ослабляетъ послѣднюю, то не придете ли, ваше величество, къ убѣжденію, что эти мѣры могутъ лишь колебать вашъ престолъ? Говорю откровенно, потому что мой девизъ — истина; я говорю такъ, потому что считаю своимъ долгомъ говорить истину всѣмъ, хотя бы и не католикамъ; ибо всякій, пріявшій крещеніе, принадлежитъ болѣе или менѣе — я не могу изъяснить здѣсь въ подробности почему — принадлежитъ, говорю, болѣе или менѣе папѣ. Питаю увѣренность, что ваше величество встрѣтите эти мои соображенія съ обычной вашей добротою и примете необходимыя въ данномъ случаѣ мѣры. Выражая вашему величеству чувства моей преданности и почтенія, прошу Бога, чтобъ Онъ простеръ на васъ и на меня покровъ Своего милосердія».

Вотъ отвѣтъ германскаго императора: «Берлинъ, 3 сентября 1873 г. Радуюсь тому, что ваше святѣйшество, какъ въ прежнія времена, почтили меня письмомъ, тѣмъ

болѣе, что это дастъ мнѣ случай исправить невѣрности, которыя, судя по письму вашего святѣйшества отъ 7 августа, вкрались въ представленныя вашему святѣйшеству донесенія о нѣмецкихъ дѣлахъ. Если бъ эти донесенія были согласны съ истиною, то ваше святѣйшество никакъ не могли бы допустить предположенія, что мое правительство слѣдуетъ неодобряемому мною пути. По конституціи моего государства этого не можетъ случиться, потому что въ Пруссіи законы и всякія правительственныя мѣры требуютъ моего верховнаго утвержденія. Къ моему величайшему прискорбію, часть моихъ католическихъ подданныхъ составили вотъ уже два года, политическую партію, которая враждебными государству происками пытается смутить религіозный миръ, искони господствующій въ Пруссіи. Къ несчастью, католическіе прелаты не только одобрили это движеніе, но еще, примкнувъ къ нему, оказываютъ открытое сопротивленіе существующимъ законамъ. Не мое дѣло изыскивать причины, побудившія духовенство и вѣрующихъ одного изъ христіанскихъ исповѣданій помогать врагамъ всякаго установленнаго политическаго порядка, съ цѣлью ниспровергнуть такой порядокъ. Но я обязанъ охранять въ государствѣ, порученномъ Богомъ моему управленію, внутреннее спокойствіе и поддержать уваженіе къ законамъ. Я знаю, что долженъ дать отчетъ Богу въ выполненіи этого моего долга, и буду, не взирая на всякія нападки, поддерживать порядокъ и законы въ моемъ государствѣ дотолѣ, пока Господь позволитъ мнѣ это. Я обязанъ сдѣлать это, какъ христіанскій монархъ, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда, къ моему прискорбію, мнѣ приходится выполнять этотъ мой долгъ по отношенію къ служителямъ церкви, которая, какъ я знаю, наравнѣ съ Евангелическою церковью, признаетъ заповѣдь покорности гражданскимъ властямъ, какъ завѣтъ Божій, открытый людямъ. Къ сожалѣнію, многія духовныя лица въ Пруссіи, подчиненныя вашему святѣйшеству, отрицаютъ эту заповѣдь христіанства и вынуждаютъ мое правительство, находящее опору въ огромномъ большинствѣ моихъ вѣрноподданныхъ католическаго и евангелическаго исповѣданій, прибѣгать для соблюденія государственныхъ законовъ къ средствамъ свѣтской власти. Я желалъ бы надѣяться, что ваше святѣйшество, извѣстившись объ истинномъ положеніи дѣлъ, не преминете воспользоваться вашею властью для прекращенія агитаціи, которая возбуждена прискорбными искаженіями истины и злоупотребленіемъ правъ духовенства. Свидѣтельствую вашему святѣйшеству передъ Богомъ, что религія Іисуса

Христа не имѣетъ ничего общаго съ этими происками, точно такъ же какъ и истина, подъ знамя которой, вмѣстѣ съ вашимъ святѣйшествомъ, я становлюсь безусловно Есть еще выраженіе въ письмѣ вашего святѣйшества, которое я не могу оставить безъ протеста, хотя оно вытекаетъ не изъ ложныхъ донесеній, но изъ религіозныхъ воззрѣній вашего святѣйшества: это — увѣреніе, будто всякій, пріявшій крещеніе, принадлежитъ папѣ. Евангелическая вѣра, которую, какъ извѣстно вашему святѣйшеству, я исповѣдую наравнѣ съ моими предками и большинствомъ моихъ подданныхъ, не позволяетъ намъ признавать въ нашихъ отношеніяхъ къ Богу иного посредника кромѣ Господа нашего Іисуса Христа. Различіе вѣры, однако, не мѣшаетъ мнѣ жить въ мирѣ съ исповѣдующими другую религію, и выразить вашему святѣйшеству чувства моей преданности и почтенія».

Оба эти письма весьма замѣчательны. Безъ сомнѣнія, папа, въ виду дѣйствительнаго преслѣдованія вѣрныхъ ему католиковъ въ Германіи (т. е. исповѣдующихъ догматъ непогрѣшимости) и которыхъ въ Германіи, какъ и вездѣ, безмѣрно болѣе неисповѣдующихъ этотъ новый догматъ — не могъ не высказать своего пастырскаго слова. Съ другой стороны и императоръ Вильгельмъ не могъ послать папѣ иного отвѣта, какъ тотъ, который мы сейчасъ читали, — такъ что письмо папы, конечно и зазнамо, написано было имъ безо всякой надежды на какой-либо прямой успѣхъ, а, очевидно, предназначалось лишь послужить протестомъ властителя церкви противъ дѣйствій властителя полъ-Европы. Но вся чрезвычайная и особенная характерность папскаго письма заключается въ его окончаніи.

Во-первыхъ, папа прямо высказываетъ мысль, что всѣ эти «мѣры строгости противъ Христовой церкви» ослабляютъ послѣднюю и способны «поколебать» престолъ императора германскаго. Это слова — строго высказанныя и отъ лица какъ бы и не сомнѣвающагося въ правѣ своемъ такъ говорить: мало того — считающаго себя прямо обязаннымъ предупреждать государей, отстаивая «истину», несмотря ни на какое лицо и съ авторитетомъ власть имѣющаго.

Затѣмъ, въ письмѣ папы сейчасъ же слѣдуютъ самыя удивительныя слова изъ всѣхъ, какихъ можно было ожидать отъ главы римскаго католичества: «Я говорю такъ», пишетъ папа, «потому что считаю долгомъ говорить истину всѣмъ, хотя бы и не католикамъ; ибо всякій, пріявшій крещеніе, принадлежитъ болѣе или менѣе — я не могу изъяснить здѣсь въ подробности почему — принадлежитъ, говорю, болѣе или менѣе папѣ».

Вотъ слова далеко намекающія! Давно уже римское католичество не заявляло подобныхъ мыслей и такого ученія! Итакъ, всѣ эти еретики, всѣ эти протестанты, бунтовщики и отщепенцы, въ свое время возставшіе на «намѣстника Божія» съ мечемъ въ рукѣ и съ ругательнымъ обличеніемъ, — всѣ эти «грѣшники и погибшіе», которые всѣ до единаго были прокляты въ свое время на всѣхъ возможныхъ соборахъ — всѣ они теперь опять уже дѣти папы и, будь лишь всего только крещены, уже снова имѣютъ *право принадлежать ему* — а стало быть, право на его отеческое заступничество за нихъ передъ монархами и сильными міра сего! Дѣйствительно, широкій взглядъ, ибо давно ли еретикъ не только не могъ считаться въ глазахъ римской церкви христіаниномъ, но даже былъ хуже язычника? И такія мысли возвѣщаетъ самъ папа, непогрѣшимый посредникъ между Богомъ и человѣчествомъ! Надо отдать справедливость — мысль величавая, и — безспорно *новая*. Она заявляетъ о какомъ-то неслыханномъ расширеніи взгляда римскаго католичества, намекаетъ на новые горизонты, на новые пути дѣйствій, на какія-то новыя намѣренія въ будущемъ. Весьма важно и то, что мысль эта заявлена такъ рѣзко и окончательно, и въ такомъ важнѣйшемъ документѣ, могущественнѣйшему государю, представителю протестантства и, по своей вѣрѣ, противнику католичества. Эта новая претензія владыки римской церкви, высказанныя при такихъ обстоятельствахъ, становится любопытнымъ историческимъ фактомъ, — особенно въ виду грядущаго, въ виду будущаго Европы, въ наше время болѣе чѣмъ когда-нибудь неизвѣстнаго и болѣе чѣмъ когда-нибудь убѣгающаго отъ человѣческихъ соображеній.

Протестантъ императоръ отвѣтилъ рѣзко и законченно и съ чрезвычайнымъ достоинствомъ на новую претензію «владыки церкви». Онъ прямо напоминаетъ ему, что «евангелическая вѣра, которую, какъ извѣстно вашему святѣйшеству, я исповѣдую наравнѣ съ моими предками и большинствомъ моихъ подданныхъ, не позволяетъ намъ признавать въ нашихъ отношеніяхъ къ Богу иного посредника, кромѣ Господа нашего Іисуса Христа». — Тѣмъ не менѣе папа, конечно, долженъ чувствовать себя на болѣе твердой почвѣ, чѣмъ на какой предполагаетъ его императоръ германскій. Папа слишкомъ знаетъ (а Римъ давно уже ожидаетъ того), что очень, очень многіе изъ этихъ гордыхъ людей, отвергнувшихъ когда-то «посредничество» папы, о которомъ говоритъ императоръ Вильгельмъ, и признавшіе руководствомъ своимъ въ дѣлѣ вѣры лишь одну свою совѣсть, — давно уже тяготятся этой свободой

своей какъ бременемъ. Римъ знаетъ, что трехъ вѣковъ опыта достаточно было многимъ изъ этихъ «еретиковъ», чтобъ одуматься; что иные робкіе и (главное) чистые сердцемъ, во всей протестантской Европѣ (въ Англіи, напримѣръ), далеко не прочь воротиться къ «посреднику»,— особенно въ виду тѣхъ путей, которые указываютъ этому робкому стаду ихъ сильные братья, гордые умы, представители силы и интеллигенціи — люди науки, богословы-атеисты, христіанскіе священники, гласно непризнающіе божественности Іисуса Христа и оправданные въ этомъ правительствомъ, государственные люди, уединяющіе и исключающіе религію какъ зло ,принимающіе противъ нея мѣры и въ наше время повсемѣстно и съ какой-то тревогой обороняющіе отъ нея свои государства, какъ отъ язвы или напасти. Римъ предчувствуетъ возможное постепенное возвращеніе отторгшихся и — измѣняетъ программу, заявляетъ о новыхъ путяхъ, о новыхъ взглядахъ своихъ, которые могутъ поразить умы.

Мы подумали, что имѣемъ нѣкоторое право вывести изъ этихъ новыхъ фактовъ, что римская церковь и глава ея не только не считаютъ себя сколько-нибудь обезсиленными, послѣ потери Рима и свѣтскаго владычества, но даже питаютъ замыслы еще болѣе самонадѣянные, чѣмъ когда-нибудь, и готовятся жить самою обильною жизнью въ будущемъ.

Нѣмецкія газеты полны извѣстіями о недавнемъ посѣщеніи императоромъ германскимъ (съ членами своего семейства и княземъ Бисмаркомъ) императора австрійскаго и вѣнской выставки. Вѣнскія газеты отзываются объ этомъ посѣщеніи восторженно, какъ о величайшемъ политическомъ событіи. Не описываемъ подробностей пріема въ Вѣнѣ августѣйшихъ гостей, обѣдовъ, парадныхъ представленій въ театрѣ, охоты въ лаинцскомъ звѣринцѣ и проч. Но вотъ однакоже весьма замѣчательные тосты, провозглашенные за обѣдомъ обоими императорами. — Выписываемъ телеграмму:

Вѣна, 9 (25 октября), ночью. На сегодняшнемъ парадномъ обѣдѣ во дворцѣ, императоръ Францъ-Іосифъ провозгласилъ слѣдующій тостъ: „Такъ какъ мое задушевное желаніе привѣтствовать въ Вѣнѣ императора Вильгельма, во время всемірной выставки исполнилось, то я съ радостью провозглашаю тостъ за его здоровье!“ Императоръ Вильгельмъ въ своемъ отвѣтѣ, благодарилъ, какъ за сердечное привѣтствіе, сказаное императоромъ Францемъ-Іосифомъ, такъ и за радушный пріемъ, оказанный его супругѣ и дѣтямъ въ Вѣнѣ. При этомъ императоръ Вильгельмъ выразилъ удовольствіе, что свиданіе въ Берлинѣ, въ прошломъ году, между императорами русскимъ и австрійскимъ повто-

рилось вновь въ нынѣшнемъ году въ Вѣнѣ во время всемірной выставки. Въ заключеніе императоръ Вильгельмъ сказалъ: „Мысли, которыми мы обмѣнялись въ то время между собою и съ которыми въ настоящее время вполнѣ согласились, составляютъ ручательство за миръ Европы и благостояніе нашихъ народовъ. Пью за здравіе императора австрійскаго и короля венгерскаго, моего высокаго друга!“

Телеграмма эта не нуждается въ объясненіяхъ: важное значеніе словъ, сказанныхъ императоромъ германскимъ, выступаетъ само собою. Но вотъ, кстати, отзывъ «Провинціальной Корреспонденціи», *офиціозной* берлинской газеты, о посѣщеніи Вѣны императоромъ Вильгельмомъ:

«Императоръ желаетъ снова заявить этою поѣздкою, какую высокую цѣну онъ придаетъ добрымъ отношеніямъ съ австрійскимъ императорскимъ домомъ и австро-венгерской монархіей, какъ лично, такъ и въ интересахъ общеевропейской политики. Начавшееся въ прошломъ году сближеніе между монархомъ россійскимъ и австрійскимъ упрочено нынѣшнимъ лѣтомъ въ Вѣнѣ; заключенный между тремя императорами союзъ, имѣющій цѣлью охраненіе европейскаго мира, расширенъ вслѣдствіе недавняго посѣщенія королемъ итальянскимъ Вѣны и Берлина. Свиданіе императоровъ германскаго и австрійскаго въ Вѣнѣ можетъ быть признано крупнымъ дѣйствіемъ въ заключеніи того обширнаго союза, который долженъ обезпечить Европѣ миръ и предотвратить новыя потрясенія»...

11 (23) октября императоръ Вильгельмъ выѣхалъ изъ Вѣны.

Во Франціи напряженіе дѣлъ достигло, какъ кажется, послѣдней степени. Съ тѣхъ поръ какъ Тьеръ воротился въ Парижъ и сталъ во главѣ оппозиціи легитимистамъ, вся либеральная партія во всей Франціи какъ бы воскресла и съ чрезвычайной энергіей стала готовиться къ предстоящему бою. Многіе изъ членовъ лѣваго центра Собранія, никогда и не думавшіе быть республиканцами, теперь единодушно примкнули къ нимъ, чтобы не раздѣлять своихъ силъ. Недавніе выборы на четыре вакантныя мѣста въ Собраніи огромнымъ большинствомъ разрѣшились въ пользу республиканцевъ. Безчисленныя заявленія, подписи, протесты, письма со всѣхъ сторонъ свидѣтельствуютъ о глубокомъ негодованіи націи противъ заговора легитимистовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и о повсемѣстномъ страхѣ. Всѣ заявляютъ себя республиканцами. Это не значитъ, что французы такъ вдругъ пожелали теперь республики, а значитъ лишь то, какъ испугались они возстановленія «законной монархіи». Теперь уже всѣ понимаютъ, что

въѣздъ графа Шамборскаго въ Парижъ непремѣнно поведетъ за собою революцію, страшную для всѣхъ честныхъ и здравомыслящихъ французовъ; ибо если Тьеръ и всѣ «умѣренные» не осилятъ легитимистовъ и дадутъ имъ восторжествовать, то въ слѣдующую и ожидаемую за симъ революцію врядъ ли уже будетъ возможно возстановленіе партіи умѣренныхъ во главѣ правительства, какъ уже проигравшихъ разъ свое дѣло. И потому въ обществѣ, въ настоящую минуту, почти паническій страхъ. Всего болѣе возбуждаетъ негодованіе возмутительный фактъ олигархіи національнаго собранія надъ всей страною. Всѣ давно убѣдились (ибо факты слишкомъ ясны), что національное собраніе, выбранное около трехъ лѣтъ назадъ при совершенно особенныхъ обстоятельствахъ, въ самое тяжелое и эксцентрическое время, давно уже перестало выражать собою истинную волю страны, а стало быть, власть его въ настоящее время — одно злоупотребленіе. Призывомъ графа Шамборскаго, благодаря упрямству нѣсколькихъ крикуновъ и безумцевъ, клерикаловъ и «антикваріевъ», собраніе оскорбляетъ націю и ввергаетъ всѣхъ здравомыслящихъ людей въ удивленіе въ виду полной возможности такого глупаго факта, что нѣсколько своевольныхъ людей, противъ воли всей Франціи, могутъ и даже имѣютъ право навязать ей ненавистный образъ правленія, а вслѣдъ за нимъ и столько неисчислимыхъ бѣдствій, — совершенно безнаказанно. Предположеніе же о неизбѣжности революціи вслѣдъ за провозглашеніемъ Генриха V — къ несчастью, имѣетъ полное основаніе. Не говоря уже о гнѣвѣ страны, одно то, что легитимисты, въ случаѣ торжества своего, непремѣнно начнутъ съ бѣлаго террора — ускоритъ паденіе ихъ, а вслѣдъ за тѣмъ, конечно, неминуема и революція. Легитимисты даже Тьеру грозятъ заключеніемъ или ссылкою къ Кайену. Ничего не можетъ быть возмутительнѣе ихъ логики въ настоящую минуту. Каждое заявленіе націи въ пользу республики, и вообще противъ ихъ намѣреній, не только не образумливаетъ ихъ, но приводитъ лишь въ бѣшенство: «давно бы надо провозгласить монархію, говорятъ они, еще немного и увидите, что вся Франція выскажется противъ насъ, а потому надо спѣшить и провозгласить монархію!» Значитъ, мысль, что они идутъ противъ воли большинства націи, не только не смущаетъ ихъ, но, напротивъ, придаетъ имъ еще болѣе настойчивости въ преслѣдованіи ихъ незаконнаго предпріятія. Какого же спокойствія можетъ ожидать Франція отъ такихъ людей?

Депутація къ графу Шамборскому, отправленная къ нему въ Зальцбургъ (теперешняя его резиденція) и о

которой мы извѣщали нашихъ читателей въ 41 № «Гражд.», уже воротилась — говорятъ съ полнымъ успѣхомъ: онъ будто бы на все согласился, — на конституцію, на знамя, на «дорогія всѣмъ французамъ учрежденія» и т. д. Вслѣдъ за тѣмъ колебавшіеся еще члены праваго центра — окончательно и восторженно примкнули къ общему союзу легитимистовъ. Однако, вникнувъ нѣсколько внимательнѣе въ эти извѣстія, никакъ нельзя заключить, что графъ Шамборскій, даже и на этотъ *(послѣдній)* разъ высказался опредѣленно и окончательно объ «уступкахъ»; напротивъ, вѣроятнѣе (по другимъ извѣстіямъ), что окончательное слово объ уступкахъ онъ попрежнему оставляетъ за собой въ Парижѣ, уже послѣ провозглашенія его королемъ. Тѣмъ не менѣе, легитимисты торжествуютъ, и союзъ ихъ, дѣйствительно, тѣснѣе, чѣмъ когда-нибудь. По послѣднимъ телеграммамъ ничего однакоже не рѣшено о созывѣ національнаго собранія ранѣе срока, какъ увѣряли еще такъ недавно. Впрочемъ, срокъ и безъ того близокъ. Вся судьба Франціи виситъ на волоскѣ. Черезъ двѣ недѣли мы можемъ услышать про удивительныя вещи.

Къ довершенію всего, говорятъ, «старый маршалъ» высказался: онъ будто бы объявилъ себя окончательно послушнымъ и покорнымъ слугою большинства собранія. Въ случаѣ провозглашенія короля, хочетъ будто бы тотчасъ же удалиться съ своего мѣста, посадивъ на него, въ ожиданіи въѣзда Генриха V, генерала Ладмиро. Все это, конечно, лишь слухи...

Извѣстія изъ несчастной Испаніи получаются самыя сбивчивыя и неточныя. Войска Донъ-Карлоса, по свѣдѣніямъ изъ Мадрида, столько разъ разбитыя и уничтоженныя, держатся, повидимому, крѣпче прежняго. По крайней мѣрѣ, главнокомандующій правительства генералъ Моріонесъ (по одному извѣстію) требуетъ, для успѣшнаго дѣйствія противъ карлистовъ, десяти тысячъ человѣкъ подкрѣпленія! На югѣ мятежныя эскадры разъѣзжаютъ безнаказанно, выдерживаютъ битвы съ кораблями правительства и, по послѣдней телеграммѣ, картагенскія разбойничьи суда готовятся бомбардировать Валенсію, тоже изъ грабежа, какъ и Аликанте, и тоже подъ пассивнымъ наблюденіемъ эскадръ французской и англійской. Блокаду Картагены съ сухого пути правительство все еще не въ состояніи усилить ни на одного солдата. Блокируютъ все тѣ же 4,000 человѣкъ жалкаго войска, безпрерывно перебѣгающаго къ бунтовщикамъ. Трудно представить, чѣмъ это можетъ кончиться. Можетъ быть, Донъ-Карлосъ тоже питаетъ надежды на воцареніе Генриха V.

Изъ № 43 журн. „Гражданинъ“ 1873 г.

Съ мѣсяцъ тому назадъ во Франціи, въ Тріанонѣ, начался процессъ маршала Базена. Несмотря на «горячее» время и на близкую возможность огромныхъ политическихъ перемѣнъ и потрясеній въ судьбахъ всей Франціи, процессъ маршала Базена не теряетъ своего интереса во вниманіи французовъ и всей Европы; даже возбуждаетъ все болѣе и болѣе любопытства. На общественной сценѣ, въ яркихъ образахъ, развертывается вновь картина столь недавняго, рокового для французовъ прошлаго, — почти фантастическое начало страшной войны, быстрое, неслыханное паденіе династіи, политически первенствовавшей въ Европѣ; затѣмъ всѣ эти неразъяснимыя до сихъ поръ загадки, колебанія людей, разъединеніе, интриги — въ ту минуту, когда Франція звала къ себѣ всѣхъ на помощь. Если бъ французы были въ состояніи теперь, въ такое для нихъ всѣхъ *горячее* время, воспользоваться великимъ историческимъ урокомъ, то, можетъ быть, усмотрѣли бы его въ этомъ «процессѣ Базена». столь ярко обнаружившемъ, даже и теперь, въ самомъ началѣ своемъ, ту главную роковую язву, отъ которой изнемогаетъ такъ давно уже Франція...

Маршалъ Базенъ преданъ суду за то, что, затворившись въ первоклассной крѣпости Мецъ, съ огромной арміей, со всѣмъ надлежащимъ военнымъ багажемъ и имѣя совершенно достаточный провіантъ еще на значительное время, сдалъ нѣмцамъ всю свою армію, не только не выдержавъ приступа (нѣмцы даже и не осаждали крѣпость, а только облегали ее), какъ предписано военными законами для всѣхъ армій въ свѣтѣ, но, бывъ даже въ слишкомъ благопріятномъ положеніи для отвлеченія и ослабленія наступавшихъ на Францію непріятельскихъ силъ. Онъ сдалъ армію съ оружіемъ, съ багажемъ, съ знаменами, которыхъ нарочно не истребилъ, безо всякаго сомнѣнія, по требованію нѣмцевъ и, очевидно, имѣвъ съ ними тайные и особые переговоры, до военнаго дѣла не относящіеся. Вотъ сущность обвиненія. На судѣ, конечно, многое разъяснится, но многое, безъ сомнѣнія, такъ и останется тайною, — пока не разъяснитъ исторія. Окончательно маршалъ обвиняется въ измѣнѣ — кому? Обратимъ вниманіе на этотъ вопросъ. Онъ любопытенъ въ виду теперешняго состоянія французовъ.

При Наполеонѣ III, въ концѣ его царствованія, маршалъ Базенъ считался однимъ изъ самыхъ способнѣй-

шихъ генераловъ императорской арміи. Когда года полтора назадъ стали ужъ слишкомъ настоятельно говорить и писать о преданіи его суду, одинъ маршалъ изъ сотоварищей его (жаль, что мы забыли, который именно, но чуть ли не самъ «честный солдатъ»), воскликнулъ: «Какъ жаль! Il était pourtant le moins incapable de nous tous!» т. е. «вѣдь все-таки онъ оказался *наименѣе неспособнымъ* изъ насъ всѣхъ въ эту войну!» И вотъ этотъ «наименѣе неспособный» маршалъ получаетъ командованіе значительнѣйшими частями войскъ въ эту столь быстро и столь фантастически открывшуюся войну съ пруссаками. Главнокомандующаго тогда не было; самъ императоръ, не бывъ военнымъ человѣкомъ и отнюдь не называя себя главнокомандующимъ, распоряжался, однакоже, многимъ и, разумѣется, довольно мѣшалъ военнымъ дѣйствіямъ, но не въ этомъ была вся бѣда. Всѣ эти старые генералы, Канроберъ, Ніель, Бурбаки, Фроссаръ, Ладмиро и проч., призванные теперь въ судъ свидѣтелями, отзываются о Базенѣ съ величайшимъ уваженіемъ. Ихъ показанія очень интересуютъ зрителей. Главное, свидѣтельствуютъ о необычайной храбрости Базена, напримѣръ, въ сраженіи при Сенъ-Привà, когда онъ лично, несмотря на свое предводительство сраженіемъ, является въ первыхъ рядахъ между сражающимися, — «хотя онъ и не понялъ значенія этого сраженія», прибавляютъ иные изъ маршаловъ. Понялъ или не понялъ, но въ этомъ сраженіи дошло до того, что за недостаткомъ патроновъ солдаты принуждены были изъ своихъ скорострѣльныхъ Шаспо выпускать въ двѣ минуты по одной пулѣ, и цѣлыя огромныя части войскъ вступили въ сраженіе уже сутки не ѣвши. Но и не въ этомъ даже заключалась бѣда, хотя, какъ извѣстно, безпорядокъ въ снабженіи тогдашней французской арміи провіантомъ и оружіемъ удивилъ Европу. Мы помнимъ одну телеграмму императора Наполеона императрицѣ Евгеніи въ Парижъ (еще задолго до Седана) съ просьбою заказать сколь возможно скорѣе въ Парижѣ двѣ тысячи чугунныхъ котловъ. По крайней мѣрѣ, въ этой телеграммѣ еще то было утѣшительно, что хоть и не было въ чемъ варить пищу, но, по крайней мѣрѣ, было что варить, иначе не за чѣмъ было бы заказывать по телеграфу котлы. Но вотъ, по показанію маршала Канробера, выходитъ, что солдаты дрались при Сенъ-Прива цѣлыя сутки не пивши, не ѣвши, не ѣли и на другой день, наконецъ, и на третій... Конечно, къ тому времени, можетъ быть, уже пришли котлы изъ Парижа, но... опоздали, какъ опоздало у французовъ все, сплошь, въ этой необыкновенной войнѣ. Опоздалъ во-время отступить къ Парижу, со всѣми оставшимися у него послѣ тяжелыхъ пораженій войсками, и императоръ, что было бы для него если не спасеніемъ, то, по крайней мѣрѣ, лучшимъ выходомъ изъ тогдашней бѣды. Но съ нимъ именно случилось то, о чемъ мы уже упоминали недавно, въ одномъ изъ обозрѣній нашихъ, говоря о характернѣйшей и роковой чертѣ его царствованія, т. е. что, въ видахъ укрѣпленія и укорененія своей династіи во Франціи, онъ принужденъ былъ, во все время своего владычества, предпринимать безпрерывно множество дѣяній, клонившихся не только не къ счастью французовъ, но даже къ явному ихъ несчастью. Такимъ образомъ, этотъ могучій властитель въ сущности былъ и продолжалъ быть, даже и на престолѣ, — не французомъ, а лишь человѣкомъ своей партіи, лишь главнымъ ея предводителемъ. Отступленіе къ Парижу, хотя и съ разбитою, но все еще съ арміею (а эта армія чрезвычайно помогла бы Франціи въ послѣдовавшей борьбѣ), пугало его, онъ боялся недовольства страны, потери обаянія, возстанія, революціи, Парижа, и предпочелъ лучше сдаться при Седанѣ безо всякихъ условій, предавъ себя и династію свою великодушію непріятеля. Безъ сомнѣнія, не все еще теперь изъ того, что было высказано тогда при свиданіи его съ королемъ прусскимъ, извѣстно исторіи. Всѣ секреты объяснятся, можетъ быть, еще долго спустя, но невозможно не придти къ заключенію, что безусловной сдачей своей, *съ арміею,* императоръ Наполеонъ III разсчитывалъ вѣрнѣе удержать за собою престолъ... А сдавая солдатъ своихъ, онъ, конечно, разсчитывалъ ослабить тѣмъ силы враговъ своихъ, революціонеровъ... О Франціи *человѣкъ партіи* и не подумалъ.

Не подумалъ о ней и маршалъ Базенъ. Затворившись потомъ въ Мецѣ, съ весьма значительною арміею, онъ почти игнорировалъ правительство народной обороны, возникшее въ Парижѣ тотчасъ послѣ плѣна императора. Онъ предпочелъ тоже сдаться и тѣмъ лишилъ Францію почти послѣдней ея арміи, которая, даже и заключенная въ Мецѣ, могла бы быть чрезвычайно полезна отечеству— хоть тѣмъ, что задерживала передъ собой значительную часть силъ нашествія. Невозможно представить себѣ, чтобъ, сдаваясь такъ унизительно и такъ преждевременно, маршалъ Базенъ не заключилъ тоже какихъ-нибудь секретныхъ условій съ непріятелемъ, по крайней мѣрѣ, чтобъ не взялъ какихъ-нибудь обѣщаній... которыя, разумѣется, не исполнились. Но если бъ даже и не было ихъ вовсе, то все-таки ясно выходитъ, что и маршалъ, подобно императору своему, предпочелъ лучше отдать

свою армію пруссакамъ, чѣмъ оставаться ея хранителемъ... въ пользу революціи.

Маршалъ хоть и лжетъ теперь передъ судомъ «отважно» и видимо намѣренъ лгать еще больше, но отчасти и не скрываетъ тогдашнихъ своихъ впечатлѣній и ощущеній. Онъ прямо говоритъ, что законнаго правительства тогда не было, и что онъ не могъ считать бывшій тогда хаосъ въ Парижѣ за серьезное правительство — по крайней мѣрѣ, несомнѣнно таковъ смыслъ его словъ передъ судомъ. Но «если не существовало для васъ правительство, то «la France existait!» (Франція все-таки существовала еще!)», воскликнулъ ему на это герцогъ Омальскій, предсѣдатель суда.

И вотъ точка отправленія суда. Эти слова герцога произвели въ слушателяхъ и во всей Франціи чрезвычайное впечатлѣніе. Для виновнаго же маршала они выска заны, очевидно, чтобы дать ему ясно понять, что судитъ его, наконецъ, не партія, не революція, не незаконное какое-нибудь правительство, которое онъ можетъ, если хочетъ, и теперь пожалуй не признавать, — а Франція, которую онъ продалъ за «законное правительство»; отечество, которому онъ измѣнилъ изъ-за интересовъ своей партіи.

Нельзя никакъ оправдывать измѣнника своему отечеству, но — правы ли и тѣ, которые судятъ этого измѣнника? — вотъ на что хотѣли бы мы указать. Не виноваты ли, напротивъ, и судьи въ главной язвѣ, истощающей организмъ великой націи, въ бѣдѣ, висящей надъ нею черною тучей? Понимаютъ ли они эту бѣду теперь и способны ли ее понять? И не похожъ ли маршалъ на того древняго очистительнаго козла, на котораго свалива лись грѣхи всего народа?

Въ самомъ дѣлѣ: что могъ онъ видѣть тогда изъ Меца? Пусть человѣкъ партіи уступилъ бы въ немъ гражданину при видѣ бѣдствій отечества, и онъ искренно пожелалъ бы служить ему: что могъ разглядѣть онъ въ тогдашнемъ Парижѣ? Правда, восторжествовавшая 4 сентября революція назвалась даже и не республикою, а «правительствомъ народной обороны». Но ставшіе во главѣ его все-таки не могли не вселять въ Базена, боевого генерала, и хоть и человѣка партіи, но все-таки человѣка дѣятельнаго и энергичнаго — естественнаго къ нимъ отвращенія. Этотъ бездарный маньякъ, генералъ Трошю, всѣ эти Гарнье-Пажесы, Жюль-Фавры, хоть и достойные безспорнаго уваженія какъ честные люди, но дряхлыя, бездарныя муміи, оказенившіеся герои-фразеры каждаго перваго дня каждой парижской революціи и — увы! —

все еще надоѣдающіе парижанамъ, — вотъ кто являлся тогда его соображающему и наблюдающему взгляду изъ Меца. Но — пусть они бездарны! Пусть всякое дѣло, къ которому ни прикасались они, пока имѣли власть, и теперь, и въ 48 году, — сохло и пропадало, но все-таки они — граждане, чистые сердцемъ люди, сыны отечества! Какъ бы не такъ. Это только республиканцы. La république avant tout, la république avant la France (сначала республика, а потомъ уже отечество) — вотъ ихъ всегдашній девизъ! И потому маршалъ, если бъ даже и захотѣлъ стать гражданиномъ и отрѣшиться отъ своей партіи, хоть на время, для спасенія отечества, — все-таки долженъ бы былъ примкнуть — не къ спасителямъ отечества, а тоже къ людямъ партіи... Но партію эту онъ ненавидѣлъ и, конечно, не могъ рѣшиться ей помогать! Спустя немного, изъ этой комически-бездарной группы самозванныхъ правителей отдѣлился тогда одинъ человѣкъ и на воздушномъ шарѣ перелетѣлъ на другой конецъ Франціи. Онъ своевольно объявилъ себя военнымъ министромъ, и вся нація, жаждавшая хоть какого-нибудь правительства, тотчасъ же объявила его своимъ диктаторомъ. Онъ не сконфузился и не поцеремонился и дѣйствительно сталъ диктаторомъ. Этотъ человѣкъ выказалъ много энергіи, онъ управлялъ Франціею, создавалъ войска, экипировалъ ихъ. Иные теперь обвиняютъ его, между прочимъ, за то, что онъ тратилъ деньги зря и могъ бы за эти деньги въ пять разъ больше поставить и экипировать войска. Гамбетта можетъ смѣло отвѣтить своимъ обвинителямъ, что если бъ они были на его мѣстѣ, то истратили бы, можетъ быть, въ пять разъ больше его и все-таки не выставили бы ни одного солдата. И вотъ этотъ энергическій и умный человѣкъ, дѣйствительно работавшій для Франціи, съ которымъ не стыдно было работать Базену — все-таки провозглашаетъ: La république avant la France! Теперь уже онъ не скажетъ того; онъ хитро и терпѣливо ждетъ своей очереди и, когда надо, съ жаромъ поддерживаетъ смѣнившаго его три года назадъ великаго гражданина Тьера. Но про себя у него все-таки — la république avant tout, и все-таки онъ человѣкъ партіи прежде всего! (Кажется, этимъ-то послѣднимъ качествомъ онъ наиболѣе и дорогъ республиканцамъ.)

Итакъ, всюду партіи и люди партіи. Правда, во время этого чернаго года французовъ казалось бы промелькнуло и нѣсколько утѣшительныхъ явленій. Бретонскіе шуаны, прирожденные легитимисты, съ своими предводителями, явились драться за родину и дрались храбро. Съ изображеніемъ Богородицы на своемъ знамени, они

примкнули, *на время*, къ правительству республиканцевъ и «атеистовъ». Орлеанскіе герцоги тоже дрались съ непріятелемъ въ рядахъ новобраннаго французскаго войска. Но за родину ли дрались они? Теперь несомнѣнно оказалось, что нѣтъ. Видя теперешнюю роль ихъ во Франціи, заговоръ ихъ противъ нея въ пользу «законнаго короля», — позволительно заключить, что и три года назадъ они встрепенулись, предчувствуя, наконецъ, добрый шансъ и для своей партіи, которая такъ долго дожидалась его. И дѣйствительно они не ошиблись въ возможности шанса: они проскочили въ огромномъ числѣ, при первыхъ же выборахъ напуганной Франціи, въ Національное Собраніе, а теперь составили въ немъ свое олигархическое большинство.

Всюду партіи! Правда, если даже сложить всѣ эти партіи вмѣстѣ, то общая цифра приверженцевъ ихъ (кромѣ развѣ партіи коммунистовъ) — окажется въ весьма маломъ числѣ, сравнительно съ числомъ всѣхъ французовъ. Остальные французы индифферентны. Они точно такъ же, какъ и передъ появленіемъ Гамбетты, въ тогдашній роковой годъ, — жаждутъ диктатора, чтобы онъ захватилъ ихъ въ свою власть и обезпечилъ имъ жизнь и имущество. Для нихъ девизомъ извѣстная ихняя пословица: Chacun pour soi et Dieu pour tous (всякій за себя, а Богъ за остальныхъ). Но, стало быть, и тутъ, по этому девизу, какъ бы всякій человѣкъ принадлежитъ къ собственной своей партіи и — что можетъ значить для такого человѣка слово «отечество»?

Вотъ язва Франціи: потеря общей идеи единенія, полное ея отсутствіе! Говорятъ про легитимистовъ, что они стремятся теперь воскресить и укоренить эту идею насильно! Но даже лучшіе изъ нихъ про это не думаютъ, а думаютъ лишь о торжествѣ своей партіи. Самые же горячіе изъ нихъ думаютъ даже и не о легитимизмѣ. Воцареніе графа Шамборскаго для нихъ — лишь будущее торжество папы и католичества («Union», «Univers»). Это уже партія въ партіи.

Итакъ, люди партіи судятъ теперь маршала Базена за то, что онъ остался — приверженцемъ своей партіи! И развѣ не похожъ онъ теперь на того древне-іудейскаго очистительнаго козла, съ которымъ мы сравнили его?. Дошло до того, что теперь несомнѣнное преступленіе въ измѣнѣ отечеству нельзя судить во Франціи добросовѣстно — за неимѣніемъ судей; ибо всѣ — такіе же люди партіи... Осуждая Базена, поймутъ ли это французы?

Обозрѣніе текущихъ событій Европы (весьма, впрочемъ, въ послѣднюю недѣлю, не обильныхъ разнообразіемъ) откладываемъ до слѣдующаго №. Упоминаемъ лишь о кончинѣ саксонскаго короля Іоанна, въ Пильницѣ, послѣ продолжительной болѣзни (удушья) 17 (29) октября. (Родился въ 1801 г., вступилъ на престолъ въ 1854 г.) Какъ человѣкъ, онъ былъ глубоко уважаемъ своими подданными.

Изъ № 44 журн. „Гражданинъ“ 1873 г.

Монархическій заговоръ большинства Національнаго Собранія противъ Франціи разрѣшился для нея самымъ худшимъ образомъ. Претендентъ, въ самую послѣднюю минуту, окончательно отвергъ трехцвѣтное знамя. Идея о провозглашеніи его королемъ пала сама собою — разумѣется, только на время. Но заговорщики Національнаго Собранія тотчасъ же приступили къ новому заговору — продлить свою власть во что бы то ни стало и даже вопреки закону. Если имъ удастся, — а судя по телеграммѣ изъ Версаля отъ 24 октября (5 ноября), удастся навѣрно, — то дѣло приметъ самый плачевный исходъ для страны.

Въ прошедшемъ отчетѣ нашемъ («Граждан.» № 42) мы остановились на томъ, что комитетъ Шангарнье, т. е. постоянный комитетъ всѣхъ фракцій правой стороны, испуганный твердостью и стойкостью республиканцевъ и всей лѣвой стороны Собранія, плотно сомкнувшейся около Тьера, а, главное, повсемѣстными заявленіями изъ всей Франціи о гнѣвѣ и негодованіи страны, возроставшими прогрессивно и дошедшими до нѣкоторыхъ весьма характерныхъ и доселѣ еще неслыханныхъ особенностей (о которыхъ скажемъ ниже) — рѣшился отрядить въ Зальцбургъ, къ претенденту, *послѣднее* посольство, чтобы вырвать, наконецъ, у него согласіе насчетъ извѣстныхъ уже нашимъ читателямъ «уступокъ». Это посольство доказывало, между прочимъ, несмотря на неоднократныя заявленія монархистовъ о томъ, что все между ними и претендентомъ улажено окончательно — что, въ сущности, ничего еще улажено не было, и что эти легкомысленные и торопившіеся безумцы обманывали не только Францію, но даже одинъ другого и даже, можетъ быть, сами себя. Въ нашемъ прошломъ отчетѣ мы кончили извѣстіемъ, что посланные воротились и донесли комитету, что графъ согласенъ на все: и на «драгоцѣнные всѣмъ французамъ принципы 89 года, и на конституцію, и даже на трех-

цвѣтное знамя». Трудно представить, чтобы всѣ эти бойкіе господа обманывали самихъ себя даже и въ эту послѣднюю минуту, но нѣчто подобное должно было непремѣнно случиться. Но вотъ вдругъ быстро заговорили въ Версалѣ и въ Парижѣ, что отчетъ о договорѣ съ претендентомъ былъ переданъ возвратившимся отъ него посланникомъ невѣрно, что графъ Шамборскій ничего не обѣщалъ, ничего не уступилъ. Какъ только стали подыматься такіе слухи, — тотчасъ же встревоженный комитотъ Шангарнье отправилъ къ графу въ Зальцбургъ опять другихъ довѣренныхъ лицъ, съ просьбою подтвердить все то, что прежній посланникъ ихъ Шенелонъ (вмѣстѣ съ тремя другими лицами) передалъ комитету о рѣшеніи его, графа, насчетъ трехцвѣтнаго знамени; но вмѣсто ожидаемаго подтвержденія внезапно появилось въ газетѣ «Union» письмо самого претендента къ Шенелону, въ которомъ онъ уже окончательно отвергнулъ возможность какой бы то ни было изъ тѣхъ «уступокъ», изъ-за которыхъ до сихъ поръ хлопоталъ и мучилъ всю Францію заговоръ большинства, чтобы сдѣлать хотя сколько-нибудь возможнымъ провозглашеніе графа Шамборскаго королемъ. Комитетъ Шангарнье немедленно опубликовалъ въ свою очередь отчетъ о своемъ засѣданіи, при докладѣ Шенелона о его переговорахъ въ Зальцбургѣ. Вотъ этотъ отчетъ, напечатанный въ протоколѣ. Онъ очень въ своемъ родѣ характеренъ.

Во-первыхъ, выходитъ, что графъ Шамборскій во все время переговоровъ, — и даже еще два года назадъ, когда къ нему ѣздили (массами) члены Національнаго Собранія еще только, такъ сказать, въ гости — держалъ себя передъ ними нестерпимо свысока. Графъ Парижскій, при зальцбургскомъ свиданіи, говорятъ, не произнесъ (или не посмѣлъ произнести) ни слова о политикѣ или о какихъ-нибудь условіяхъ. Всѣ же эти разсыльные, Шенелоны и Ко.. кажется, не смѣли и сѣсть передъ нимъ. Понятно, что графъ свысока молчалъ, если посланники не смѣли даже и заикнуться съ нимъ объ условіяхъ. Не посмѣлъ заикнуться и Шенелонъ, даже и въ этотъ послѣдній разъ, хотя былъ посланъ уже за самымъ послѣднимъ словомъ и въ самую горячую минуту, отъ которой зависѣла судьба монархіи, самого графа, всей Франціи и, главное, всего этого яростнаго и жаднаго «большинства», взывавшаго къ претенденту съ послѣднимъ вопросомъ: быть имъ или не быть? Прежде всего, трепещущій и заискивающій Шенелонъ почтительнѣйше объявилъ графу, который «сдѣлалъ ему честь удостоить его аудіенціей» — что онъ явился отъ комитета вовсе не для того

чтобы «смѣть предлагать графу какія-нибудь условія», но лишь для того, чтобы, такъ сказать, «почтительнѣйше разъяснить положеніе дѣлъ» — (буквальныя выраженія отчета). Графъ отвѣчалъ ему на это (конечно, самымъ мягкимъ и пріятнымъ голосомъ), что онъ «никогда не имѣлъ и никогда не будетъ имѣть мелкаго честолюбія—искать власти ради власти», «но я почту себя счастливымъ», прибавилъ онъ, «если мнѣ удастся посвятить Франціи мои силы и жизнь... Я страдалъ вдали отъ нея; ей тоже *жилось не хорошо въ разлукѣ со мною. Мы необходимы другъ другу*». Затѣмъ Шенелонъ принялся, такъ сказать, скользить, излагая все то, съ чѣмъ его послали и въ чемъ такъ настоятельно надо было категорически согласиться. По вопросу о конституціи онъ передалъ, что комитетъ желалъ бы основать свое предложеніе Собранію о возстановленіи монархіи на принципѣ признанія королевской власти наслѣдственной и на хартіи, «не навязанной королю и не дарованной королемъ, но которая должна быть обсуждена совмѣстно съ королемъ и Собраніемъ». (Всего удивительнѣе, что такія основныя формулы и опредѣленія отлагались. какъ оказывается теперь, до такой послѣдней минуты! Неужели въ самомъ дѣлѣ не смѣли заговорить объ этомъ раньше?) Далѣе, проскользнувъ насчетъ такихъ, напримѣръ, вещей, какъ сохраненіе гражданскихъ и религіозныхъ правъ, равенства передъ закономъ, или что законодательная власть будетъ принадлежать совмѣстно королю и Собранію, — Шенелонъ тотчасъ же принялся извиняться. «Перечисленіе означенныхъ правъ, заявилъ онъ, обусловлено, конечно, не недовѣріемъ къ нему, графу Шамборскому, а излагается единственно лишь для того, чтобъ устранить недоумѣнія, могущія ввести въ заблужденіе общественное мнѣніе». По вопросу о знамени Шенелонъ пустился еще пуще извиняться и извинять комитетъ (Шангарнье) въ томъ, что «обстоятельства принудили комитетъ рѣшиться остановиться на слѣдующей формулѣ: «Трехцвѣтное знамя сохраняется и можетъ быть измѣнено не иначе, какъ по взаимному соглашенію между королемъ и собарніемъ». (Замѣтимъ эту формулу: это значитъ, что назавтра же послѣ воцаренія король съ Собраніемъ могутъ уничтожить трехцвѣтное знамя, обезпечивъ лишь себѣ — а это такъ легко! — всего только какой-нибудь одинъ голосъ большинства въ Собраніи Про Францію и ея согласіе при этомъ и помину не было.) Графъ «дозволилъ (это подлинныя слова отчета) мнѣ объясниться съ почтительною свободой и удостоилъ выслушать съ самымъ благосклоннымъ вниманіемъ». При этомъ не сказаль ничего, но «обнаружилъ желаніе сохра-

нить неприкосновенными въ интересахъ страны двѣ силы: ненарушимость своихъ принциповъ и независимость своего характера». Впрочемъ, чтобъ смягчить, онъ «изволилъ похвалить трехцвѣтное знамя». «Онъ прибавилъ, — доноситъ Шенелонъ, — что уважаетъ привязанность арміи къ знамени, обагренному кровью солдатъ... у него никогда не было намѣренія унижать страну и знамя, подъ которымъ храбро сражались ея воины. (Еще бы намѣреніе унижать-то!) Затѣмъ графъ, по увѣренію Шенелона, резюмировалъ свое рѣшеніе въ слѣдующихъ двухъ пунктахъ: 1) графъ Шамборскій не требуетъ никакой перемѣны въ знамени *до тѣхъ поръ, пока власть не перейдетъ въ его руки,* и 2) онъ предложитъ Собранію самъ рѣшеніе, совмѣстно съ его честью, и которое удовлетворитъ и народъ и Собраніе».

Съ тѣмъ, въ сущности, и уѣхалъ Шенелонъ. Это-то рѣшеніе о знамени и находилъ комитетъ заговорщиковъ на столько удовлетворительнымъ и могущимъ всѣхъ успокоить, что рѣшился просить, черезъ особую депутацію, графа поскорѣе подтвердить его. Но графъ не подтвердилъ. Послѣдовалъ съ его стороны важнѣйшій документъ во всемъ этомъ дѣлѣ, собственноручное письмо, которымъ онъ все и покончилъ. Всего письма не приводимъ, а приводимъ лишь телеграфическое о немъ извѣстіе, вполнѣ, впрочемъ, резюмирующее значеніе письма. Вотъ что пишетъ графъ Шенелону: «Такъ какъ, несмотря на ваши усилія, недоразумѣнія не прекращаются, то и объявляю, что не отпираюсь ни отъ чего, не уменьшаю нисколько моихъ предшествовавшихъ заявленій. Притязанія, предъявляемыя наканунѣ моего воцаренія, даютъ мнѣ мѣру позднѣйшихъ требованій. Я не могу согласиться начать возстановительное и могучее царствованіе дѣломъ слабости. Вошло въ обычай сопоставлять твердость Генриха V съ ловкостью Генриха IV, но я желалъ бы знать, кто осмѣлился бы посовѣтовать ему отказаться отъ знамени Арка и Иври»... «Ослабленный сегодня (пишетъ графъ далѣе), я сдѣлаюсь безсильнымъ завтра. Дѣло идетъ о возсозданіи, на его естественныхъ началахъ, общества, глубоко потрясеннаго, объ энергическомъ утвержденіи царства законовъ. Необходимо возродить благодеяніе внутри страны, заключить прочные союзы, особенно не опасаться употреблять силу на службу порядка и справедливости». Далѣе замѣчаетъ графъ, что графъ Парижскій не поставлялъ ему никакихъ условій, и что отъ маршала Макъ-Магона (этого Баярда нашего времени, какъ замѣчаетъ графъ) тоже не требовали гарантій при избраніи въ президенты. Франція не можетъ погибнуть

(восклицаетъ подъ конецъ графъ), потому что Христосъ любитъ еще своихъ Франковъ, и «когда Господь Богъ рѣшился спасти народъ, Онъ блюдетъ за тѣмъ, чтобы скипетръ справедливости былъ данъ въ руки достаточно сильныя, чтобы держать его!»

Мы попрежнему готовы написать, что «однимъ великодушнымъ человѣкомъ стало на свѣтѣ больше», какъ и заявили въ одномъ изъ предыдущихъ нашихъ обозрѣній. Отказаться отъ престола, чтобъ не измѣнить своимъ принципамъ — безспорно великодушное дѣло. Но теперь, признаемся, — такъ какъ уже самъ графъ высказался, — мы немного другого мнѣнія. Дѣло въ томъ, что врядъ ли претендентъ въ самомъ дѣлѣ отказывается царствовать. Это письмо, рѣшившее на время его участь, намекаетъ на иные разсчеты. Намъ кажется даже, что онъ никогда не былъ столь увѣренъ, что взойдетъ на престолъ, какъ теперь. Въ своей «необходимости для Франціи» онъ убѣжденъ болѣе, чѣмъ когда-нибудь, и навѣрное заключаетъ, что если и отдалится теперь на минутку его воцареніе, то для него же будетъ выгоднѣе, потому что въ концѣ концовъ безъ него не обойдутся и все-таки примутъ его, но уже не смѣя предлагать ему условія, со всѣми «принципами». Въ силу партіи своей въ Національномъ Собраніи онъ продолжаетъ вѣрить слѣпо. Онъ увѣряетъ, что любитъ Францію, но, кажется, мало собственно о ней думаетъ и, очевидно, смѣшиваетъ ее съ своей партіей. Характерно письмо его и въ томъ отношеніи, что онъ изъясняетъ въ немъ, наконецъ, и тѣ средства, которыми, по воцареніи своемъ, надѣется спасти Францію. Эти средства — строгость, «не бояться употреблять для укорененія спокойствія — силу». Признаемся, мы такъ и подозрѣвали, что средствъ больше у него нѣтъ никакихъ, когда въ одномъ изъ обозрѣній нашихъ задавали себѣ вопросы: «Чѣмъ можетъ надѣяться легитимизмъ спасти Францію и какъ именно разполагаетъ спасти ее?» Наконецъ, очень страннымъ показался намъ и самый тонъ письма. Пусть Луи-Вѣльо, въ газетѣ, влагаетъ фиктивно въ его уста высокія рѣчи. Но самому графу, уже отъ лица своего и въ такихъ важныхъ документахъ, неприлично бы, кажется, во всеуслышаніе говорить, что «я страдалъ вдали отъ нея (отъ Франціи), ей тоже *жилось не хорошо въ разлукѣ со мною»,* или что «уважаетъ привязанность арміи къ своему знамени, что у него никогда не было намѣренія *унижать* страну и знамя, подъ которымъ храбро сражались ея воины». Любопытно, какъ представляетъ онъ себѣ, изъ своего Зальцбурга, французовъ, привыкшихъ къ своему равенству, и которые про-

чтутъ теперь и узнаютъ, что сидитъ гдѣ-то человѣкъ и милостиво дозволяетъ имъ избирать себя во спасителя. Эту дѣтскую увѣренность въ себѣ, эту, такъ сказать, «слѣпорожденность» въ пониманіи вещей и явленій — жалко даже и тревожить.

И все это хочетъ и претендуетъ спасать Францію!

Паденіе надеждъ «большинства» Собранія послѣ этого письма чуть не произвело распаденія партіи. Почти всѣ фракціи правой стороны приняли извѣстіе съ бѣшенствомъ. Но оказалось, что согласіе было быстро возстановлено — и не столько искусствомъ вожаковъ, сколько силою вещей: изо всѣхъ силъ сохранить свою олигархическую власть въ Собраніи «большинству» Собранія показалось выгоднѣе, чѣмъ поссориться. Пока республиканцы, и Тьеръ во главѣ ихъ, торжествовали и предвкушали побѣду, — комитетъ Шангарнье рѣшилъ внести въ Собраніе проектъ закона о немедленномъ продленіи власти Макъ-Магона, съ новыми въ пользу его гарантіями, на 10 лѣтъ, а Національному Собранію не расходиться еще два съ половиною года. При томъ маршалъ Макъ-Магонъ вполнѣ оправдалъ довѣріе столь вѣрившаго въ него «большинства». Еще двѣ недѣли тому назадъ онъ заявилъ, что если падетъ большинство Собранія, то удалится съ президентства и онъ. Такимъ образомъ, вѣрность и приверженность его большинству доходитъ до апоѳеоза! Не большинству Собранія онъ служитъ, а только *теперешнему* большинству его. Другими словами, собственно Національное Собраніе и волю его ни во что не ставитъ, ибо если падетъ теперешнее большинство, то все же воцарится другое большинство, замѣсто теперешняго, изображающее волю Собранія, — но тому большинству уже онъ служить не станетъ. И это въ то время, когда страна (и онъ знаетъ это) нуждается въ немъ, ибо онъ имѣетъ такое вліяніе на войско! Такая рабская приверженность къ своимъ благодѣтелямъ почти трогательна. И вотъ этотъ «честный и храбрый солдатъ», на котораго надѣялась Франція, оказался всего только человѣкомъ партіи, и не столько человѣкомъ партіи, сколько ея прихвостнемъ. А еще графъ Шамборскій погладилъ его по головкѣ и назвалъ Баярдомъ! Конечно, Баярдъ, но только съ другой стороны.

Все такъ и случилось, какъ разсчиталъ комитетъ Шангарнье. 5 ноября (н. ст.) открылись, наконецъ, послѣ длинныхъ вакацій, засѣданія Національнаго Собранія. Прочитано было посланіе президента республики. Между прочимъ, въ посланіи сказано, что «нынѣшняя исполнительная власть не имѣетъ достаточно живучести и силы.

Правительство не достаточно вооружено, чтобы отнять у партій всякую надежду на успѣхъ». (А само правительство теперь не партія?) Заявляется также объ увлеченіяхъ печати, которыя развращаютъ духъ населенія (это послѣ-то безчисленныхъ и наглѣйшихъ притѣсненій печати!) и доказывается необходимость муниципальной реформы.

Затѣмъ въ Національное Собраніе внесено было предложеніе генерала Шангарнье о продленіи срока власти маршала Макъ-Магона на десять лѣтъ. Со стороны правительства прочитанъ докладъ въ пользу безотлагательнаго обсужденія этого предложенія. Дюфоръ, не возставая противъ безотлагательности, потребовалъ отсылки предложенія на обсужденіе въ комиссію разсмотрѣнія конституціонныхъ проектовъ. Правительство съ своей стороны настаивало на отсылкѣ предложенія Шангарнье въ спеціальную комиссію. Предложеніе Дюфора, гласитъ телеграмма, отвергнуто большинствомъ 362 голосовъ противъ 348.

Такимъ образомъ, за монархическимъ «большинствомъ» оказалась побѣда въ 14 голосовъ. Результатъ въ томъ, что Франція на 10 лѣтъ останется въ своемъ неопредѣленномъ положеніи. Ни монархія, ни республика! При измѣненіи муниципальныхъ законовъ, при угнетеніи прессы, при неограниченномъ насиліи олигархическаго большинства Собранія, имѣющаго въ виду монархію, — Франціи обезпеченъ и впередъ выборъ въ Національное Собраніе такихъ же интригановъ и олигархистовъ на 10 лѣтъ. Обезпечены тоже — постоянная война съ республиканцами, происки партій и несомнѣнная революція въ будущемъ. Такой воцарившійся хаосъ, безспорно, хуже воцаренія графа Шамборскаго, ибо графъ Шамборскій непремѣнно и быстро былъ бы изгнанъ, и послѣ него еще могла бы воцариться умѣренная республика, тогда какъ теперь, при неизбѣжной революціи въ будущемъ, врядъ ли уже будетъ возможно торжество умѣренныхъ.

Правда, французы сильно надѣются на послушные штыки преданной Макъ-Магону арміи, стало быть, и на спокойствіе, защиту отъ коммунистовъ и проч. Въ началѣ нашего отчета мы упомянули о «нѣкоторыхъ весьма характерныхъ и доселѣ еще неслыханныхъ особенностяхъ въ проявленіяхъ недовольства страны» и обѣщали сказать о нихъ ниже. Укажемъ лишь на одно изъ этихъ заявленій. Недѣли двѣ назадъ, нѣкто бригадный генералъ Бельмаръ прислалъ изъ Перигё военному министру письмо слѣдующаго содержанія:

«Г. министръ, я служу тридцать три года подъ трех-

цвѣтнымъ знаменемъ Франціи и правительству республики послѣ паденія имперіи. Я не буду служить подъ бѣлымъ знаменемъ и не отдамъ моей шпаги въ распоряженіе монархическаго правительства, возстановленнаго помимо народной воли. Итакъ, если бы, вопреки ожиданію, нынѣшнее Національное Собраніе возстановило монархію, я почтительнѣйше прошу васъ, г. министръ, уволить меня. послѣ такого голосованія, отъ ввѣренной мнѣ вами должности. Генералъ Бельмаръ».

Генералъ Бельмаръ былъ тотчасъ же послѣ этого письма выключенъ изъ службы. Военный министръ немедленно потребовалъ отъ начальниковъ дивизій свѣдѣній о настроеніи войскъ въ виду нынѣшнихъ обстоятельствъ, и въ присланныхъ къ нему донесеніяхъ, какъ увѣряютъ газеты, заявлено, что въ арміи господствуетъ сильное нерасположеніе къ реставраціи (т. е., другими словами, къ Національному Собранію).

Вотъ явленіе, безспорно, новое. Никогда еще армія французская не «разсуждала», а только слушалась своего начальства, какъ и слѣдуетъ хорошей арміи, и похвально дѣлала. Для чего генералу Бельмару понадобилось вдругъ заявить о томъ, что онъ не признаетъ воли Національнаго Собранія въ случаѣ воцаренія графа Шамборскаго? Дождался бы факта и благородно бы вышелъ въ отставку, не заставляя и не требуя заранѣе. Не значитъ ли это, что армія захотѣла «смѣть свое сужденіе имѣть»? Генералъ Бельмаръ, безспорно, хотѣлъ подать примѣръ. Итакъ, пусть французы не очень-то надѣются на штыки маршала Макъ-Магона и на спокойствіе. Если съ одной стороны власть Макъ-Магона, продленная на 10 лѣтъ, будетъ, безспорно, началомъ — уже не цезаризма — а настоящаго военнаго деспотизма (правительства, еще не испытаннаго Франціею въ самомъ чистомъ его состояніи), то письмо Бельмара — не есть ли начало pronunciamento? Этого не доставало еще несчастной Франціи! Это, однакоже, въ порядкѣ вещей: военный деспотизмъ непремѣнно долженъ вести за собою начало pronunciamento.

Изъ № 45 журн. „Гражданинъ“ 1873 г.

Въ Германіи почти вся печать, и даже офиціозныя прусскія газеты, съ радостью приняли извѣстіе о паденіи надеждъ французскихъ легитимистовъ на возстановленіе «законной монархіи». Письмо графа Шамборскаго считается въ Германіи какъ окончательное и уже вѣковѣчное устраненіе всякой дальнѣйшей попытки легитимистовъ. Ближайшимъ образомъ эта радость нѣмецкой прессы мотивируется тѣмъ, что, — какъ мы уже и развивали это раньше, — воцареніе графа Шамборскаго непремѣнно, рано или поздно, повлекло бы за собой и попытку на возстановленіе свѣтскаго владычества папы. И такъ какъ не вступить на эту дорогу не могла бы Франція, вмѣстѣ съ возстановленіемъ монархіи, то въ этомъ дѣлѣ несомнѣнно столкнулась бы съ Германіей, и, можетъ быть, даже съ нѣкоторымъ удовольствіемъ, несмотря на страхъ передъ ужаснымъ рискомъ. Если тѣмъ объяснить теперешнее довольство нѣмцевъ, то всего любопытнѣе, что въ Германіи серьезные органы могли серьезно вѣрить — не только въ мимолетный успѣхъ воцаренія претендента, но и въ прочность этого успѣха на дальнѣйшее время. Нѣмцы немного слишкомъ вѣрятъ въ успѣхъ «крови и желѣза». Намъ кажется, что въ настоящій кризисъ броженія умовъ и желаній во Франціи — иначе не умѣемъ выразиться — насиліе въ этой странѣ почти невозможно, ибо некому произвести его. То есть и нашлись бы охотники и, что всего любопытнѣе, можетъ быть, нашлось бы тамъ и чрезвычайное большинство, искренно желающее, чтобъ надъ нимъ (и даже поскорѣе) произведено было, въ видахъ окончательнаго утвержденія порядка, насиліе, но въ этой странѣ, чтобы удалось насилію — мало одной силы и даже согласія самихъ насилуемыхъ. Необходимъ авторитетъ насилію, авторитетъ хотя бы и ненавидимый, хоть и не настоящій, но несомнѣнный, признаніе дѣйствительной силы за властью. Графъ Шамборскій такого авторитета не имѣлъ, и врядъ ли вѣрятъ въ его силу даже многіе изъ его послѣдователей. А потому, — повторяемъ уже сказанное нами прежде, — онъ былъ бы несомнѣнно и быстро изгнанъ, и такой оборотъ дѣла былъ бы, можетъ быть, полезнѣе для Франціи, чѣмъ теперешнее хаотическое ея состояніе, — полезнѣе хоть тѣмъ однимъ, что одной партіей стало бы меньше и возможно было бы вновь господство партіи умѣренныхъ республиканцевъ.

Нѣкоторые консервативные органы въ Германіи, наблюдая радость своихъ либеральныхъ газетъ о неудачѣ претендента, какъ бы не вѣрятъ въ выставляемые либералами мотивы ея, — то есть въ боязнь вступленія Франціи на опасный путь ультрамонтанской политики. «Крестовая Газета», напримѣръ, возвѣстила прямо, что всѣ либералы всего свѣта между собою солидарны; что въ радикализмѣ національности исчезаютъ, а потому и нѣмецкіе радикалы радуются за французскихъ, видя ихъ удачу. Такое строгое и угрюмое обличеніе, можетъ быть, не ли-

шено справедливости. Замѣчаніе о всегдашней духовной солидарности радикаловъ всего міра и о повсемѣстной силѣ радикализма сглаживать національности — довольно вѣрно. Любопытно, что это замѣчаніе, какъ бы съ укоромъ и опасеніемъ, сдѣлано въ той странѣ, гдѣ, именно въ эту минуту, національныя идеи имѣютъ такой огромный успѣхъ, гдѣ, послѣ недавняго торжества надъ Франціею, чувство національнаго собою довольства дошло чуть не до пошлости, гдѣ даже наука начала отзываться чуть не шовинизмомъ. Неужели правда, что и въ Германіи уже силенъ космополитическій радикализмъ? Что уже и къ ней стучится въ двери французское ученіе — коммунизмъ? Если Россію, чуть не съ самаго начала столѣтія, принято считать у европейскихъ умниковъ за грозный колоссъ на глиняныхъ ногахъ (тогда какъ въ сущности, если у насъ что особенно здорово и цѣло, то это именно основаніе, т. е. народъ, на которомъ испоконъ вѣку утверждалась и будетъ утверждаться Россія) — то неужели и къ новому германскому колоссу можно уже примѣнить, хоть отчасти, — такой же отзывъ?

Кстати, въ Пруссіи окончились выборы въ прусскій сеймъ, засвидѣтельствовавшіе о чрезвычайномъ возбужденіи политическихъ партій въ Германіи. Прусское правительство покровительствуетъ теперь національно-либеральнымъ партіямъ разныхъ оттѣнковъ, оттолкнувъ отъ себя совершенно партіи юнкерскую и католическую. Торжество либераловъ на выборахъ оказалось несомнѣннымъ, и прусское правительство, конечно, можетъ разсчитывать въ сеймѣ на большинство. Но любопытенъ фактъ, что такъ называемая клерикальная партія, или, вѣрнѣе, — всѣ недовольные новыми церковными законами, составили довольно сильный союзъ (въ который вошли, напримѣръ, остатки уже совершенно разбитой старой юнкерской партіи, которую еще такъ недавно, всего нѣсколько лѣтъ тому, правительство такъ поддерживало). И если сосчитать подробно всѣ силы союзниковъ въ новомъ выбранномъ ландтагѣ, то клерикальная партія можетъ разсчитывать на весьма даже сильное меньшинство. Можетъ образоваться такимъ образомъ сильная оппозиція. Ландтагъ открытъ уже съ 1 ноября. Въ февралѣ ожидаютъ выборовъ въ германскій рейхстагъ, и клерикалы надѣются на еще большій успѣхъ. Правда, въ Пруссіи правительство не привыкло слишкомъ смущаться оппозиціями своихъ ландтаговъ, и въ прежнее время преспокойно распускало ихъ въ случаѣ нужды, а само дѣлало свое дѣло. Послѣ же послѣднихъ великихъ результатовъ, которыхъ оно достигло, неуклонно дѣлая свое дѣло, обаяніе его только увеличилось. Особенно теперь Пруссія любитъ видѣть силу въ своемъ правительствѣ. По крайней мѣрѣ, большинство высшей интеллигенціи несомнѣнно и во всемъ на его сторонѣ: такъ продолжительно обаяніе побѣды!

Въ прошломъ отчетѣ нашемъ мы говорили, что послѣ паденія во Франціи всѣхъ надеждъ монархической партіи большинство всѣхъ фракцій правой стороны, ошеломленное сначала извѣстнымъ письмомъ графа Шамборскаго, успѣло однакоже вновь крѣпко соединиться и составить новый проектъ о продленіи власти маршала Макъ-Магона на 10 лѣтъ. Этотъ проектъ составленъ былъ чрезвычайно заносчиво и носилъ на себѣ печать всей той легкомысленной и необузданной наглости, съ которою дѣйствовала эта пресловутая «партія борьбы» съ самой побѣды своей, 24 мая, до сихъ поръ. Сначала, сейчасъ послѣ письма графа Шамборскаго, на мгновеніе возникла было мысль провозгласить котораго-нибудь изъ Орлеанскихъ принцевъ «намѣстникомъ короля» и передать ему исполнительную власть. Такимъ образомъ Франція все-таки, хотя и безъ короля, стала бы монархіею. Всего нелѣпѣе въ этомъ характернѣйшемъ проектѣ выставляется взглядъ этихъ потерявшихся, но попрежнему наглыхъ людей на Францію и французовъ; трудно даже и сообразить, какъ можно было, хоть что-нибудь понимая, надѣяться водворить въ странѣ подобнымъ, ничего не разрѣшающимъ проектомъ — миръ и спокойствіе? Уже одна нелѣпость подобнаго предложенія, въ другое болѣе здоровое время, должна бы была, кажется, повести за собою полное распаденіе партіи, отвратить отъ нея здравомыслящихъ членовъ Собранія, до сихъ поръ за нею слѣдовавшихъ. Но распаденія не произошло, хотя проектъ исчезъ самъ собою, потому что принцы Орлеанскіе, люди разсчетливые, своего согласія на такую нелѣпость не дали. Тогда, бросаясь во всѣ стороны, попробовали было пригласить въ намѣстники королевства маршала Макъ-Магона, но и маршалъ отклонилъ отъ себя эту честь, выставляя на видъ, что нельзя ему быть намѣстникомъ королевства, въ которомъ нѣтъ короля. Такимъ образомъ и принуждены были остановиться на мысли о продленіи власти маршала, какъ главы правительства, на 10 лѣтъ, а Собранію не расходиться, по крайней мѣрѣ, еще года три. Тутъ честный маршалъ, которому, какъ кажется, съ 24 мая, власть уже успѣла понравиться, предложилъ условія, хотя и благоразумныя съ одной стороны, но не отличающіяся особенною дальновидностью съ другой, — такъ какъ въ кон-

цѣ концовъ все-таки Францію продолжали принимать за tabula rasa. Маршалъ потребовалъ, чтобъ ему дали особыя, опредѣленныя гарантіи на всякій случай, и если бъ, напримѣръ, и разошлось когда-нибудь, въ десять лѣтъ, настоящее Собраніе и настало на его мѣсто другое, а въ томъ обнаружилось бы радикальное большинство, то онъ глава правительства, чтобъ имѣлъ право тотчасъ же закрыть и распустить Собраніе, а самъ продолжать владычествовать уже безъ Собранія, хотя бы цѣлыхъ 10 лѣтъ, неограниченно президентствуя и неограниченно возстановляя порядокъ. (Слишкомъ ужъ нужно быть военнымъ человѣкомъ и надѣяться на свои штыки, чтобы выдумать во Франціи такой неслыханный еще куншткъ.) И однакоже проектъ этой, неслыханной еще во Франціи военной диктатуры былъ принятъ тотчасъ же всей правой стороной и внесенъ президентомъ комитета всѣхъ фракцій правой стороны, престарѣлымъ генераломъ Шангарнье, въ Національное Собраніе въ первый день его открытія, 5 ноября (н. с.).

По прочтеніи предложенія потребовали безотлагательнаго его обсужденія. Дюфоръ, членъ лѣваго центра, не возставая противъ безотлагательности, потребовалъ лишь передачи проекта въ существующую комиссію разсмотрѣнія конституціонныхъ проектовъ. Правая сторона настаивала напротивъ на отсылкѣ въ новую, спеціальную комиссію, которую съ этой цѣлью и предлагала избрать. Пошли на голоса, и за правой стороной, какъ уже извѣстно, оказалось большинство въ 14 голосовъ.

На этомъ извѣстіи мы и закончили въ прошлый разъ наше обозрѣніе. Между тѣмъ случилась прехарактерная вещь, по которой, уже по одной, можно бы отчасти разгадать характеръ теперешняго положенія дѣлъ въ этомъ потерявшемъ свою почву Собраніи. Когда (7 ноября) Собраніе раздѣлилось на отдѣленія, чтобы выбрать членовъ этой отвоеванной большинствомъ спеціальной комиссіи, для разсмотрѣнія ею проекта Шангарнье — вдругъ, въ числѣ избранныхъ 15 членовъ, оказалось большинство за лѣвой стороной Собранія. Ремюза, членъ лѣваго центра, недавно заявившій себя республиканцемъ, избранъ былъ президентомъ комиссіи, въ которую вошелъ, какъ членъ, и Леонъ Се, предводитель лѣваго центра.

Такимъ образомъ, лѣвая сторона, боявшаяся спеціальной комиссіи и настаивавшая на отсылкѣ предложенія Шангарнье въ общую комиссію разсмотрѣнія конституціонныхъ проектовъ (въ которой, впрочемъ, правая сторона всегда имѣла перевѣсъ) — получила побѣду тамъ, гдѣ не думала; а правая сторона, такъ настаивавшая на спеціальной комиссіи—ужъ, конечно, съ цѣлью наивѣрнѣе обезпечить себѣ успѣхъ — была именно на этомъ пути побита.

Всѣ спрашивали и продолжаютъ до сихъ поръ спрашивать, что можетъ означать этотъ фактъ? Болѣе ничего, по нашему мнѣнію, что Національное Собраніе именно утратило подъ собой почву, потеряло всякую руководящую нить, и ни одна партія не вѣритъ уже въ свою силу. Съ паденіемъ идеи непосредственнаго провозглашенія законной монархіи, легитимисты, бывшіе вожаки большинства, остались лишь при однихъ желаніяхъ, но, непримѣтно для себя, тотчасъ же потеряли руководящую силу для рабски слѣдовавшаго до сихъ поръ за нимъ большинства. Предложеніе Шангарнье хотя и соединило повидимому вновь большинство, но зато и устранило окончательно прежнюю соединявшую всѣхъ идею. Въ новой же идеѣ соединенія тотчасъ же обнаружился разладъ. Крайніе, напримѣръ, роялисты, поддерживая проектъ Шангарнье, объявили вслухъ, что хоть Макъ-Магонъ и отказывается отъ роли королевскаго намѣстника, но тѣмъ не менѣе все-таки будетъ имъ, такъ что если бъ пришлось опять провозглашать короля, то президентъ Макъ-Магонъ, несмотря на свое десятилѣтнее избраніе, тотчасъ же обязанъ уступить ему мѣсто. Совсѣмъ уже въ другихъ мысляхъ поддерживалъ проектъ Шангарнье правый центръ, столь согласный доселѣ съ легитимистами; онъ, напримѣръ, требуетъ уже теперь, чтобы Макъ-Магонъ провозглашенъ былъ не *главою государства* на 10 лѣтъ, какъ хотятъ легитимисты, но *президентомъ республики* на 10 лѣтъ, въ виду окончательнаго устраненія неопредѣленнаго положенія, и хотя бы съ диктаторской властью, но все-таки благонадежно ограниченной въ парламентарномъ смыслѣ.

Такимъ же образомъ, вслѣдъ за двумя крупнѣйшими фракціями правой стороны, раздѣлились и всѣ остальныя ея фракціи; каждая согласна на продленіе власти маршала, но каждая въ своемъ смыслѣ и уже при своемъ собственномъ взглядѣ на дѣло. Фракціи затѣмъ разбились на кружки, на оттѣнки, и, въ концѣ концовъ, произошло то, что непремѣнно должно было произойти: при наружномъ единеніи смыслъ его оказался утраченнымъ, цѣли разными, и недавно столь крѣпкая и единодушная партія большинства, съ утратою послѣдней надежды на графа Шамборскаго, стала невольно расходиться въ разныя стороны. Естественно, можно ожидать и полнѣйшаго распаденія. Такимъ образомъ и оказалось, что при броженіи и колебаніи умовъ многіе принадлежавшіе, напримѣръ, къ правому центру могли нарочно даже выбрать въ спеціальную комиссію членовъ лѣваго центра — для вѣрнѣй-

шаго торжества своихъ новыхъ желаній и цѣлей. Несомнѣнно произошли и тайныя отпаденія, измѣны.

Итакъ, характерная черта Собранія въ данную минуту — полное разъединеніе, ибо и лѣвая сторона, не видя прежнихъ противниковъ, противъ которыхъ соединилась несмотря на разномысліе своихъ фракцій,—кажется, тоже начала немного расшатываться. По послѣднимъ извѣстіямъ, Ремюза и Леонъ Се, члены спеціальной комиссіи, вступаютъ въ переговоры съ Макъ-Магономъ. Безъ сомнѣнія, комиссія кончитъ выборомъ маршала главою государства хоть не на 10, то на 5 лѣтъ, но уже съ титуломъ «президента республики», съ провозглашеніемъ республики и съ условіемъ немедленнаго разсмотрѣнія конституціонныхъ законовъ, предложенныхъ еще въ правительство Тьера.

Образуется тоже въ Національномъ Собраніи сильная партія прямого воззванія къ народу и всенароднаго голосованія республики. Тьеръ, болѣе чѣмъ когда-нибудь увѣренный въ побѣдѣ, говоритъ всѣмъ окружающимъ его: «требуйте распущенія Собранія и воззванія къ народу».

Эта идея о воззваніи къ народу привлекла между прочимъ на лѣвую сторону и большинство бонапартистовъ, имѣющихъ до 30 членовъ въ собраніи. Они сначала рѣшили было дѣйствовать такъ: если станутъ легитимисты провозглашать монархію, то вотировать противъ съ республиканцами. Если же республиканцы станутъ провозглашать республику — то примкнуть опять къ монрхистамъ; въ сущности, помѣшать и тѣмъ и другимъ. Но мысль о воззваніи къ народу, которой они первоначальные представители, увлекла ихъ, и въ большинствѣ своемъ, хотя и очень осторожно, они примыкаютъ къ республиканцамъ.

По послѣднимъ телеграммамъ Макъ-Магонъ понукаетъ спеціальную комиссію кончить дѣло о избраніи его скорѣе. Онъ, кажется, готовъ сильно понизить первоначальный тонъ и сбавить требованія. Всего бы лучше было, если бъ «честный человѣкъ» не выказалъ себя, во всей этой жалкой комедіи монархистовъ, не пощадивъ даже своего высокаго сана, такимъ жалкимъ приверженцемъ партіи. Франція взирала бы на него теперь съ большей надеждой и съ большимъ уваженіемъ, а въ Собраніи, можетъ быть, оказалось бы болѣе единенія вслѣдствіе вѣры въ его честное желаніе быть полезнымъ отечеству. Урокъ «честному человѣку».

Въ результатѣ — возрастающее разъединеніе партій и все болѣе и болѣе нарастающее раздраженіе страны.

Нѣсколько дней тому назадъ телеграфировалось изъ Байоны объ окончательной побѣдѣ Донъ-Карлоса надъ войсками мадридскаго правительства и о взятіи въ плѣнъ Моріонеса, главнокомандующаго правительства. На-дняхъ же изъ Мадрида телеграфировали, напротивъ, о большой побѣдѣ Моріонеса надъ карлистами. Ни то, ни другое извѣстіе пока еще не подтвердилось съ надлежащею достовѣрностью.

Пишутъ тоже изъ Мадрида объ ожидаемой съ часу на часъ сдачѣ Картагены. Тогда правительство уничтожило бы главный пунктъ южнаго мятежа. Но и Картагена пока еще не сдалась...

Изъ № 46 журн. „Гражданинъ“ 1873 г.

Открытіе австрійскаго рейхсрата произвело чрезвычайно сильное возбужденіе въ Имперіи — не въ пользу правительства. Даже самая обширность программы будущихъ дѣйствій правительства подвергается нападеніямъ: «Задать себѣ разомъ столько задачъ», говорятъ противники правительства, «значитъ ни къ одной изъ нихъ не отнестись серьезно». На первомъ планѣ, въ тронной рѣчи, разумѣется, обѣщаніе стать энергически противъ обрушившагося въ этомъ году на Имперію финансоваго кризиса. Возрожденіе вновь кредита, постановка торговли и народнаго хозяйства на болѣе твердую и безопасную дорогу — вотъ одинъ изъ первыхъ пунктовъ, указанныхъ императоромъ рейхсрату. Затѣмъ слѣдовали указанія на преобразованіе всей системы налоговъ, на вопросъ о возобновленіи привилегіи Національнаго Банка; на акціонерную и биржевую реформы; на новые желѣзнодорожные и ремесленные уставы и проч. Затѣмъ провозглашалась необходимость реформъ въ уложеніи о наказаніяхъ, въ судопроизводствѣ, въ пересмотрѣ законовъ гражданскихъ и, сверхъ всего, «установленіе новыхъ отношеній между государствомъ и католическою церковью».

Венгерцы, спѣша огородить свои интересы, требуютъ теперь *дуализма* и для устройства финансовъ своего королевства — распаденія Національнаго Банка на цислейтанскій и венгерскій и проч. Мѣры, внесенныя министромъ финансовъ Депретисомъ, возбудили всеобщее волненіе и уныніе. Курсы на биржѣ понизились. Ожидаютъ грозной оппозиціи; со всѣхъ сторонъ въ журналахъ предаютъ правительство осужденію, впрочемъ, въ весьма разнообразномъ смыслѣ. Нѣмецкія газеты, отвѣчая венгерскимъ, прямо заявляютъ, что для Австріи будетъ гораздо

выгоднѣе скорѣе совершенно выдѣленіе изъ Имперіи венгерскаго королевства и провозглашеніе полной его независимости, чѣмъ распространеніе политическаго дуализма и на финансовыя дѣла Австро-Венгріи. Съ ожесточеніемъ нападаютъ на тронную рѣчь польскіе журналы, а въ чешскомъ «Pokrok» заявлено прямо, что тронная рѣчь императора къ цислейтанскому рейхсрату «до чешской націи не относится» Ультрамонтанскіе органы тоже заслышали грозу въ словахъ императора объ установленіи «какихъ-то» новыхъ отношеній государства къ церкви. Коммунизмъ несетъ съ собою совершенное уничтоженіе религіи, разсуждаютъ австрійскіе ультрамонтаны, но это уничтоженіе лучше, потому что грубѣе, чѣмъ утонченный либерализмъ современныхъ правительствъ, который хочетъ обратить епископовъ и священниковъ въ своихъ чиновниковъ, а вѣру — въ одно изъ средствъ управленія.

Ультрамонтанская партія не дремлетъ тоже и во вновь открывшемся прусскомъ ландтагѣ, какъ и упоминали уже мы въ «Гражданинѣ», въ прошломъ 45 №, въ нашемъ перечнѣ иностранныхъ событій. Какъ уже замѣчали мы и прежде, политика ультрамонтановъ все болѣе и болѣе вступаетъ на дорогу демократическую. Они уже успѣли, напримѣръ, внести въ палату два проекта новыхъ законовъ: о введеніи впредь, при выборѣ членовъ парламента, всеобщей подачи голосовъ и объ отмѣнѣ штемпельной пошлины съ газетъ. Съ другой стороны, въ высшей степени характерна и замѣчательна депеша изъ Берлина отъ 13 ноября, напечатанная въ газетѣ «Times»: «Императоръ, имѣя въ виду, что *нѣсколько сотъ* католическихъ общинъ лишены въ настоящее время духовныхъ пастырей (NB — конечно, вслѣдствіе строгихъ мѣръ правительства, преслѣдующаго ультрамонтанскія стремленія нѣмецкаго католичества), изъявилъ, послѣ продолжительнаго колебанія, согласіе на внесеніе проекта закона о введеніи обязательнаго гражданскаго брака и на веденіе метрическихъ книгъ гражданскими властями. Законъ этотъ чрезвычайно важенъ, особенно въ Германіи, гдѣ образованные классы, одинаково независимые, какъ отъ католической, такъ и отъ протестантской церкви, придерживались до сихъ поръ религіозныхъ обрядовъ при совершеніи браковъ, крестинъ и похоронъ главнымъ образомъ потому, что это предписывалось закономъ. Какъ скоро бракъ сдѣлается чисто-гражданскою формальностью явится необходимость и въ учрежденіи кладбищъ, открытыхъ для всѣхъ безъ различія вѣроисповѣданій, потому что священники

откажутся хоронить лицъ, жившихъ въ брачномъ союзѣ, не освященномъ церковью. Фактически кладбища уже и теперь утрачиваютъ свой исключительный характеръ, такъ какъ, несмотря на протесты священниковъ[1], «старокатоликовъ»[2] хоронятъ, при содѣйствіи полиціи, внутри кладбищенской ограды. Новый законъ будетъ имѣть значеніе еще въ томъ отношеніи, что поощритъ заключеніе браковъ между христіанами и евреями, а извѣстно, что послѣдніе составляютъ въ Германіи многочисленный и весьма вліятельный классъ»...

Извѣстіе о подобномъ проектѣ закона, на который далъ свое согласіе благочестивый германскій императоръ, всего болѣе замѣчательно тѣмъ, что рисуетъ передъ нами ту желѣзную непреклонность, съ которою настоящая прусская политика преслѣдуетъ ультрамонтанское движеніе въ Имперіи. Важность новаго проекта закона заявляетъ и о важности тѣхъ опасеній, съ которыми правительство смотритъ на своего врага, и о тѣхъ размѣрахъ, которые придаетъ ему. Но, очищая ниву отъ плевелъ, не вырвать бы и пшеницы. Религіозный индифферентизмъ и безъ того не нуждается въ наше время въ поощреніи. Замѣчательно и то, что религіозный либерализмъ, индефферентизмъ и, наконецъ, атеизмъ всегда и во всѣ вѣка и времена были болѣзнями сословій высшихъ, аристократическихъ. Ультрамонтаны же, сколько замѣтно, по крайней мѣрѣ, по нѣкоторымъ признакамъ, послѣ вѣкового высокомѣрнаго отчужденія своего отъ народа, обращаются теперь, по крайней мѣрѣ въ Германіи, къ демократической политикѣ. Довольно странная перетасовка ролей, свидѣтельствующая о нѣкоторой тонкости взгляда со стороны новѣйшихъ римско-католиковъ...

Спеціальная комиссія изъ 15 членовъ, назначенная версальскимъ Національнымъ Собраніемъ для разсмотрѣнія проекта Шангарнье о продленіи президентской власти маршала Макъ-Магона, и въ которой, какъ мы уже говорили, столь неожиданно оказалось большинство за республиканцами, кончила свои занятія и внесла свой докладъ въ Собраніе 4 (16) ноября. Докладчикомъ былъ Лабулэ. Трудно представить себѣ болѣе умѣренный, болѣе примирительный и болѣе основательный (имѣя въ виду обстоятельства, въ которыхъ находилась комиссія) проектъ, ко-

---

[1] Римско-католическихъ.

[2] „Старо-католики“ — новая государственно-религіозная секта въ Германіи, сильно протежируемая берлинскимъ правительствомъ, и о которой мы уже не разъ говорили съ читателями.

торымъ либеральное большинство комиссіи замѣнило проектъ Шангарнье. «Продленіе на 10 лѣтъ полномочій главы исполнительной власти, — докладывалъ собранію Лабулэ, — въ странѣ, гдѣ общественныя власти еще не организованы и предѣлы полномочій ихъ не опредѣлены, — представляется фактомъ безпримѣрнымъ въ исторіи законодательства. Фактъ этотъ вызываетъ многія сомнѣнія, которыя могутъ быть разрѣшены только путемъ гипотезъ, не имѣющихъ подъ собой прочнаго основанія... Меньшинство комиссіи (NB: 7 человѣкъ монархистовъ),— продолжалъ Лабулэ,—одушевляемое желаніемъ безотлагательно установить власть, которая стояла бы выше всѣхъ партій, рѣшило, что можно теперь же продлить полномочія главы государства, отложивъ опредѣленіе предѣловъ и организацію этихъ полномочій; большинство же, напротивъ того, не признало возможнымъ безусловно продлить власть, размѣры которой не опредѣлены, въ той увѣренности, что внѣ конституціонныхъ гарантій всякая власть, какова бы ни была умѣренность того, кто облеченъ ею, представляется болѣе или менѣе замаскированною диктатурой. Франція нуждается совсѣмъ не въ такомъ правительствѣ»...

Вотъ вступительныя слова доклада Лабулэ; тѣмъ не менѣе комиссія принуждена была принять заключеніе именно въ смыслѣ того правительства, «въ которомъ не нуждается Франція».

Въ самомъ дѣлѣ, трудно представить болѣе безсмысленное положеніе, какъ то, въ которомъ находилась эта странная комиссія. Она должна была утвердить власть почти неограниченную въ странѣ, которая хоть и называется республикой (на титулъ «президента республики» согласилась, наконецъ, и правая сторона и меньшинство комиссіи), но въ то же время совершенно не имѣется ни одного органическаго закона, который бы опредѣлилъ эту республику, давалъ ей хоть какую-нибудь форму и такимъ образомъ хоть сколько-нибудь опредѣлялъ бы тотъ смыслъ и то значеніе, тотъ размѣръ и ту силу власти, которыя могло бы имѣть ея правительство. Подтверждается власть *президента* республики на 10 лѣтъ, тогда какъ нѣтъ еще органическаго закона даже о томъ, что въ этой республикѣ долженъ быть президентъ, мало того — что эта республика есть республика. Насчетъ же вопроса, возникшаго въ комиссіи съ перваго же ея засѣданія: «Имѣетъ ли право теперешнее Національное Собраніе назначать президента далѣе срока своихъ полномочій?» — комиссія сочла даже излишнимъ и озабочиваться. Несмотря на предыдущіе примѣры и постановленія самого собранія,

разрѣшавшаго этотъ вопросъ отрицательно, комиссія нашла себя вынужденною разрѣшить вопросъ, на этотъ разъ, утвердительно.

«Назначеніе маршала Макъ-Магона президентомъ законно организованной республики, — заключилъ Лабулэ передъ Собраніемъ, — признано нами единственнымъ средствомъ обезпечить его власть; но возможно ли продлить полномочія президента, не зная, какой срокъ положатъ имъ органическіе законы? Въ этомъ кроется почти непреодолимое затрудненіе, и большинство комиссіи глубоко сожалѣетъ о томъ, что палата отвергла благоразумное предложеніе касательно одновременнаго обсужденія конституціонныхъ законовъ и вопроса о продленіи полномочій. Если мы не остановились передъ этимъ затрудненіемъ, такъ только потому, что мы поставлены въ положеніе, изъ котораго надо выйти во что бы то ни стало»...

Вотъ въ видахъ-то этихъ особыхъ обстоятельствъ, изъ которыхъ слѣдовало выйти «во что бы ни стало», и представленъ былъ большинствомъ комиссіи, въ видѣ поправки проекта Шангарнье, слѣдующій законопроектъ.

Статья 1. Полномочія маршала Макъ-Магона, президента республики, ввѣряются ему на пятилѣтній срокъ, считая со дня созванія новой палаты.

Статья 2. Онъ будетъ пользоваться этой властью въ ея настоящихъ условіяхъ до утвержденія конституціонныхъ законовъ.

—*Статья 3.* Постановленіе, заключающееся въ 1-й статьѣ, будетъ внесено въ органическіе законы и получитъ конституціонный характеръ только послѣ голосованія этихъ законовъ.

Статья 4. Три дня спустя по обнародованіи настоящаго закона будетъ назначена, по выбору отдѣленій палаты, комиссія изъ тридцати членовъ, для разсмотрѣнія конституціонныхъ законовъ, представленныхъ Національному Собранію 19 и 20 мая 1873 года.

Здѣсь важнѣе всѣхъ статья 3 и 4. Статьею 3-й прямо отнимается отъ проекта-закона о полномочіи власти — его органическій, конституціонный характеръ *до времени голосованія органическихъ законовъ республики.*

Въ статьѣ же 4-й большинство комиссіи опредѣляетъ порядокъ выбора тѣхъ 30 членовъ, изъ которыхъ долженствуетъ состоять будущая комиссія, имѣющая быть выбранною Собраніемъ для разсмотрѣнія пресловутыхъ (тьеровскихъ) конституціонныхъ законовъ, представленныхъ еще 20 мая, и которые до сихъ поръ, съ низверженіемъ Тьера, лежали безъ разсмотрѣнія. Комиссія 15-ти

предлагаетъ выбрать эту комиссію 30-ти «отдѣленіями собранія» (надѣясь опять на либеральное большинство), тогда какъ противоположный проектъ (меньшинства комиссіи) предлагаетъ выборы общіе, всѣмъ собраніемъ.

«Нельзя представить себѣ болѣе умѣреннаго по своему характеру предложенія, чѣмъ то, какимъ комиссія пятнадцати замѣнила проектъ Шангарнье», говоритъ газета «Times». «Достоинство и власть маршала тщательно ограждены. Самый знаменитый генералъ, самый опытный государственный дѣятель, самый уважаемый патріотъ могли бы быть довольны предложеніями либераловъ, и, по нашимъ конституціоннымъ понятіямъ, мы готовы утверждать, что они не могли бы и желать большаго»...

И однако маршалъ Макъ-Магонъ не только пожелалъ большаго, но даже обидѣлся. Тотчасъ же послѣ доклада Лабулэ онъ адресовалъ Національному Собранію свое посланіе. «Въ ту минуту, когда начинаются пренія о продленіи моихъ полномочій, — писалъ маршалъ, — я считаю нужнымъ высказаться о томъ, какого рода условія я считаю при этомъ желательными. Франція, требующая твердости и устойчивости государственной власти, не могла бы удовлетвориться правительствомъ, существованіе котораго въ самомъ началѣ было бы обусловлено оговорками, ставящими его въ зависимость отъ принятія или непринятія конституціонныхъ законовъ. При этомъ пришлось бы черезъ нѣсколько дней передѣлать то, что было рѣшено нынче... Я вполнѣ понимаю благонамѣренныя стремленія лицъ (NB: т. е. монархическихъ членовъ комиссіи), предложившихъ продленіе моей власти на 10 лѣтъ, для того, чтобы дать болѣе широкій просторъ развитію общественной дѣятельности. Но по зрѣломъ размышленіи я убѣдился, что семилѣтній срокъ болѣе отвѣчалъ бы размѣру силъ, которыя я могъ бы посвятить служенію моей родинѣ. Власть, которая будетъ мнѣ ввѣрена, я посвящу охранѣ консервативныхъ началъ, ибо я убѣжденъ, что большинство страны одобряетъ эти начала».

Комиссія пятнадцати взяла это посланіе на разсмотрѣніе, но — не отказалась отъ первоначальнаго своего заключенія и не измѣнила представленнаго ею законопроекта. Затѣмъ, въ ночное засѣданіе на 8 (20) ноября все произошло какъ по писанному: проектъ большинства комиссіи 15-ти былъ отвергнутъ Собраніемъ, принятъ же на его мѣсто проектъ меньшинства комиссіи, представленный Деперомъ. Министръ, герцогъ Брольи, произнесъ рѣчь, въ которой защищалъ образъ дѣйствій правительства и не соглашался допустить 3-й параграфъ законопроекта большинства комиссіи, такъ какъ имъ выражается недовѣріе къ словамъ маршала Макъ-Магона, заявившаго, что онъ желаетъ установленія конституціонныхъ законовъ. Собраніе большинствомъ 378 голосовъ противъ 310 утвердило проектъ Депера съ установленіемъ власти маршала Макъ-Магона на 7 лѣтъ и съ выборомъ будущей комиссіи тридцати не «отдѣленіями» Собранія, а по спискамъ, въ общемъ собраніи палаты.

Такимъ образомъ, повторяя уже сказанное нами прежде, съ Франціей случилось самое худшее изъ того, чего могла бы она ожидать себѣ при теперешнихъ обстоятельствахъ! Ни монархія, ни республика и самое неопредѣленное положеніе власти! Виденъ, на яркомъ примѣрѣ, весь политическій смыслъ ея правителей: маршалъ отвергаетъ именно то, что могло бы упрочить его власть, придавъ ей органическій характеръ, и надѣется на одно лишь диктаторство, т. е. на *произволъ своей личной власти*. Изъза того, что маршалъ можетъ обидѣться, герцогъ Брольи предпочитаетъ ввергнуть Францію правительству, не ограниченному ни однимъ основнымъ государственнымъ закономъ, а въ сущности, безпредѣльной диктатурѣ. Что бы ни совершилъ теперь маршалъ преступнаго, въ своей политической дѣятельности, онъ на все можетъ отвѣтить: «гдѣ тотъ законъ, который могъ бы меня ограничить или что-нибудь мнѣ указать?» Онъ называется президентомъ республики, а между тѣмъ онъ послушный слуга большинства, слишкомъ нескрывающаго своихъ ультра-монархическихъ намѣреній. Онъ требуетъ такой страшной диктатуры, чтобъ «водворить порядокъ и смирить партіи», а между тѣмъ кто болѣе нарушалъ порядокъ, и кто болѣе походитъ на партію, какъ не то большинство, которому онъ служитъ? Могутъ ли, наконецъ, успокоиться французы теперь, когда никто не можетъ рѣшить даже такой вопросъ: «чья власть теперь выше: Собранія или президента?» Въ самомъ дѣлѣ, въ случаѣ несогласій, подобный вопросъ могъ бы разрѣшиться теперь лишь насиліемъ. Во всемъ этомъ дѣлѣ, наконецъ, во всей этой интригѣ, являлась какая-то жажда беззаконности; маршалу Макъ-Магону именно скорѣе нравится его диктаторское самовластіе, чѣмъ власть, строго опредѣленная законами. Произойдетъ именно то, противъ чего намѣренъ вооружиться маршалъ, т. е. откроется поле для всевозможныхъ интригъ, и положеніе Франціи станетъ невыносимымъ. Во всякомъ случаѣ наступило начало военнаго деспотизма... И трудно представить себѣ, что можетъ еще ожидать Францію на этомъ новомъ для нея поприщѣ!

Изъ № 51 журн. „Гражданинъ“ 1873 г.

Наконецъ, отъ 12 (24) декабря получено изъ Берлина сколько-нибудь удовлетворительное извѣстіе объ улучшеніи здоровья императора германскаго. Телеграмма сообщаетъ: «Въ «Имперскомъ Указателѣ» извѣщаютъ, что катарръ императора Вильгельма идетъ нормальнымъ образомъ. Связанное съ катарромъ разстройство организма замѣтно ослабѣваетъ. Сегодня императоръ Вильгельмъ весь день провелъ не въ постели».

Одна характерная телеграмма изъ Парижа отъ 11 (24) декабря, несмотря на то, что заключаетъ въ себѣ только слова одного частнаго и довольно неизвѣстнаго лица, облетѣла однакоже всѣ газеты Европы и замѣчена всѣми. Вотъ эта телеграмма: «Вчера друзьями мира былъ данъ банкетъ въ честь сэра Генри Ричарда, который, объясняя свое предложеніе о международномъ посредничествѣ, сказалъ, между прочимъ, что «ни одна идея не осуществляется безъ покровительства Франціи, вліяніе которой не имѣетъ себѣ равнаго, языкъ и литература которой остаются всемірными»...

Въ этихъ словахъ все дѣло въ томъ, что Франція (несмотря на униженіе свое) все еще первенствующая нація, «вліяніе которой не имѣетъ себѣ равнаго». Слова, жадно подхваченныя и выставленныя въ Парижѣ «униженными» французами, были тотчасъ же замѣчены торжествующими соперниками въ Германіи, а затѣмъ и всею Европой, и ужъ, конечно, многими встрѣчены съ вопросительной складкой въ лицѣ и съ «покиваніемъ головъ». По-нашему, въ отзывѣ сэра Ричарда что ни слово то правда. Мы совершенно раздѣляемъ мнѣніе одного русскаго профессора (о которомъ, конечно, французы не знаютъ), провозгласившаго съ университетской каѳедры (NB: въ царствованіе покойнаго Государя), что французы суть нація геніальная по преимуществу, — одна изъ тѣхъ націй, которыя, такъ сказать, царятъ надъ человѣчествомъ своимъ вліяніемъ, и что Францію и ея вліяніе въ Европѣ весьма можно сравнить съ Аѳинами древняго міра и съ ихъ вліяніемъ на древнюю цивилизацію. Это сравненіе съ Аѳинами, хотя, можетъ быть, и не совсѣмъ твердое, очень однакоже привлекательно и очень нравится. Такъ или этакъ, но дѣло въ томъ, что теперь даже въ самомъ Парижѣ такіе отзывы, какъ отзывъ сэра Ричарда, считаются чрезвычайными и любопытными, а давно ли было время, когда подобныя слова остались бы рѣшительно незамѣченными во Франціи, почлись бы должною данью, необходимостью, чѣмъ-то въ родѣ sine qua non, о которомъ и упоминать не стоитъ!

Геніальная нація, наслѣдовавшая древній міръ и 15 вѣковъ стоявшая во главѣ романскихъ племенъ Европы, а въ послѣдніе вѣка имѣвшая неоспоримое первенствующее вліяніе на всѣ племена Европы, почти тому вѣкъ назадъ утратила ту живую силу, которая двигала и питала ее столько столѣтій! Эта живая сила заключалась въ преимущественномъ представительствѣ Франціею европейскаго католицизма, почти съ самыхъ первыхъ временъ христіанства на Западѣ Европы. (Представительство это можно бы отчасти сравнить съ тѣмъ представительствомъ восточнаго каѳолическаго (православнаго) христіанства, къ которому готовилась (а отчасти ужъ и была представительницею котораго) Россія, вплоть до пришествія императора Петра.) Но въ концѣ XVIII столѣтія совершенно разорвавъ, и сознательно и *жизненно*, съ износившеюся (не по винѣ Франціи) католическою идеей, дававшей ей живую жизнь въ продолженіе столькихъ вѣковъ, Франція (передовая, по крайней мѣрѣ, интеллигентная) въ восторженномъ изступленіи провозгласила себя на весь міръ обновительницею человѣчества на новыхъ началахъ, главною ихъ носительницею и хранительницею. «Всѣ, всѣ придите ко мнѣ!» взывала она въ пиѳическомъ упоеніи. Эти новыя начала, новыя и самостоятельныя начала человѣческихъ будущихъ обществъ, сами изъ себя исходящія и сами въ себѣ живую силу почерпающія, были уже извѣстныя европейскому человѣчеству начала выработанной имъ цивилизаціи — т. е. наука, государство и мечта о справедливости, основанной единственно на законахъ разума. Франція лишь провозгласила самостоятельность этихъ началъ революціонерно, т. е. полнѣйшую независимость ихъ отъ религіи, а вмѣстѣ съ ней и отъ всякихъ преданій. Это дѣлалось еще первый разъ въ жизни человѣчества, и въ этомъ состояла сущность французской революціи.

Мы не для того заговорили обо всей этой чрезвычайно важной матеріи, чтобы въ настоящей, весьма бѣглой журнальной статьѣ, имѣющей своимъ предметомъ передачу смысла текущей минуты современной политической жизни Европы, — разсматривать революціонныя начала, сто лѣтъ уже провозглашенныя Франціей во главѣ Европы, и обсуждать ихъ по существу. Мы хотѣли только замѣтить, что никогда еще Франція, взявъ столько на плечи

свои, для себя и для человѣчества (хотя и не могла отъ того отказаться, если бъ и хотѣла), не была такъ придавлена своимъ бременемъ, какъ въ это послѣднее, уже завершающееся столѣтіе своей исторіи. Бремя это оказалось геніальному народу совершенно не по силамъ, и предводительница человѣчества принуждена была сознаться послѣ послѣднихъ несчастій своихъ, устами лучшихъ своихъ представителей, что начало живой жизни утрачено ею чуть не совсѣмъ, источникъ изсякъ и изсохъ. Въ настоящую минуту геніальный народъ представляетъ собою странное зрѣлище, и самъ понимаетъ это. Характеръ его въ томъ, что интеллигентная и владычествующая политически часть этой націи удалилась въ самосохраненіе, сознательно и уныло отреклась чуть не отъ всѣхъ такъ восторженно провозглашенныхъ идей, и безъ вѣры, но со страхомъ за свое бытіе, влекущимъ за собою деспотизмъ и насиліе, слѣдитъ, какъ полицейскій, за остальною частью націи, богатой вѣрою въ обновленіе и воскресеніе свое на началахъ будущаго общества и бѣдной, нищей благами жизни, долго терпѣвшей, а потому готовой, какъ голодный песъ, броситься на счастливыхъ братьевъ своихъ и растерзать ихъ. Разстрѣлявъ Бабёфа, перваго человѣка, сказавшаго, еще 80 лѣтъ назадъ, пламеннымъ первымъ революціонерамъ, что вся ихъ революція, безъ сущности дѣла, есть не обновленіе общества на новыхъ началахъ, а лишь побѣда одного могучаго класса общества надъ другимъ на основаніи: otes toi de là que je m'y mette, — разстрѣлявъ этого перваго досаднаго грубіяна, предводители республики и революціи стали видѣть мало-по-малу, чѣмъ далѣе тѣмъ яснѣе, что вся жизнь Франціи все болѣе и болѣе обращается въ какой-то ложный миражъ, въ какую-то фантастическую картину и утрачиваетъ всякое значеніе чего-нибудь живого и необходимаго. Всѣ эти періоды — первой имперіи, реставраціи, буржуазнаго царства при Орлеанахъ, второй имперіи и т. д. — все это было какъ бы скорѣе миражъ, чѣмъ дѣйствительность; каждое изъ этихъ явленій совершенно какъ бы могло и не быть, и великая нація въ высшей степени могла бы обойтись безъ его *необходимости*. Ничего существеннаго не дала и не влила вся эта проходящая фантасмагорія въ душу великой націи, постоянно жаждущей живой жизни. Наконецъ, послѣдняя катастрофа страшной войны, тоже столь фантастической и *ненужной*, съ исходомъ которой какъ бы рухнули во Франціи всѣ миражи и открылись всѣ глаза, — эта катастрофа какъ бы сказала каждому французу: «Смотри, какъ ты былъ бѣденъ, и слѣпъ, и нищъ, и нагъ, и ничтоженъ въ фантастическомъ и миражномъ существованіи твоемъ, — и это вотъ уже столѣтіе!».

Переживетъ ли геніальная нація подъ бременемъ, которое взяла на себя вѣкъ назадъ и которое должна же она донести до конца, свой геній или сохранитъ его? Вотъ вопросъ! Устоитъ ли ея геній въ такихъ истязаніяхъ? Не рухнетъ ли, напротивъ, все, и уже какой-нибудь новой геніальной націи предназначено будетъ Богомъ вести западное человѣчество? Все это вопросы, разумѣется, праздные, съ точки зрѣнія благоразумныхъ и дѣловыхъ людей. Тѣмъ не менѣе много сердецъ и умовъ стояли и стоятъ надъ этими вопросами во всей Европѣ, давно и непрерывно. Въ этомъ роковомъ вопросѣ о жизни и смерти Франціи, о воскресеніи или угашеніи ея великаго и симпатичнаго человѣчеству генія, — можетъ быть, заключается вопросъ о жизни и смерти всего европейскаго человѣчества, что бы тамъ ни сказали на это недавніе побѣдители Франціи, нѣмцы. Можетъ ли быть Европа безъ Франціи? — этотъ вопросъ для многихъ даже и теперь немыслимъ, и вовсе не для однихъ только праздныхъ умовъ, недостойныхъ практическаго нашего вѣка. И, однако, поставивъ вопросъ и, разумѣется, оставляя его безо всякаго разрѣшенія, скажемъ мимоходомъ, въ качествѣ репортера настоящей минуты, что есть нѣкоторые признаки и явленія, свидѣтельствующіе о томъ, что геніальная нація хочетъ жить изо всѣхъ силъ, и что изъ этого можетъ выйти, даже и не въ весьма отдаленномъ будущемъ, очень много хлопотъ Европѣ...

Недѣлю назадъ случилось въ этомъ смыслѣ во Франціи весьма эксцентрическое приключеніе, отчасти даже разсмѣшившее кое-кого изъ важныхъ людей въ Европѣ, потому что, дѣйствительно, приключеніе на капельку и комическое, но отъ котораго навѣрно очень многіе изъ самыхъ солидныхъ умовъ Германіи нахмурили лбы. Теперь во Франціи, въ Національномъ Собраніи, идетъ пересмотръ и утвержденіе государственнаго бюджета на будущій годъ. Замѣтимъ въ скобкахъ, что, противъ обыкновенія, во французскомъ Національномъ Собраніи, на этотъ разъ, и правительство и правая сторона весьма сочувственно отнеслись къ предложенной прибавкѣ къ бюджету министерства народнаго просвѣщенія. Но, по обыкновенію какъ Франціи, такъ и всѣхъ парламентовъ Европы, бюджеты военнаго министерства всегда подвергаются наибольшимъ атакамъ оппозиціи. Всегда являются въ палатахъ представители прогресса, гуманности и либерализма, которые только и ждутъ появленія военныхъ министровъ, съ ихъ требованіями (правда, всегда неумѣ-

ренно-огромными, въ противоположность, напримѣръ, бюджетамъ министерствъ просвѣщенія всѣхъ странъ Европы, всегда до отвращенія крошечными) — чтобы напасть на нихъ, почти лично. Начинаются жестокіе упреки за огромность требованій, за ихъ непроизводительность, непрогрессивность, безполезность для націи. Сами министры обвиняются чуть ли не въ кровожадности, и такъ какъ всѣ правительства Европы, дѣйствительно, обременяютъ ежегодно свои государства новыми займами по поводу военныхъ бюджетовъ, то и переживаютъ иногда, во время преній о бюджетѣ, довольно непріятныя и даже трудныя минуты, и такъ почти во всеобщемъ обыкновеніи. И вдругъ во Франціи, на этотъ разъ, и въ первый еще разъ, произошло нѣчто совсѣмъ противоположное.

Едва только военный министръ, генералъ Дюбарайль, явился съ своимъ бюджетомъ, какъ со всѣхъ концовъ палаты бросились на него съ горькими и яростными нападеніями за скудость и ничтожность его бюджета. Его упрекали за медленность преобразованія арміи, за неполноту кадровъ, за скудость перемѣнъ въ матеріальной части, за то, что онъ такъ мало требуетъ денегъ. Предложено было нѣсколько неумѣренныхъ поправокъ бюджета; упрекали, бранили и стыдили правительство.

И, наконецъ, только послѣ долгаго спору, сконфузившійся военный министръ одержалъ верхъ. Смиренно сознаваясь въ скудости настоящаго бюджета, онъ, въ утѣшеніе палаты, провозгласилъ, что зато будущій бюджетъ будетъ безмѣрно великъ. Извѣстіе это произвело примиряющее и сладкое впечатлѣніе. Когда же герцогъ Одиффре-Пакье прибавилъ къ тому, что для преобразованія одной лишь матеріальной части арміи потребуется, не далѣе какъ въ будущемъ году, до тысячи трехсотъ восьмидесяти милліоновъ франковъ (1.380.000.000 фр.), то заявленіе это произвело, говорятъ, совершенно отрезвляющее дѣйствіе, и неумѣренныя поправки были взяты назадъ...

Поправки были взяты назадъ несомнѣнно, но отрезвляющее дѣйствіе навряд ли было такъ полно, какъ предполагаютъ. И въ публикѣ, и въ журналистикѣ раздавались странные толки, а нападенія на правительство и на военнаго министра не умолкаютъ и теперь. Выставляютъ на видъ всѣ недостатки теперешней арміи, разоблачаютъ безпощадно. «Bien Public», органъ Тьера (которому кое-что извѣстно, ужъ, конечно, не меньше другихъ) объявилъ, что во многихъ отношеніяхъ теперешняя французская армія лишь одна фантазія, что кадры слабы и

ничтожны, что въ ротахъ по 30 и по 40 человѣкъ и проч., и проч.

Мы сказали, что геніальная нація хочетъ *жить*, изо всѣхъ силъ и во что бы то ни стало. Не будемъ разсматривать, тѣ ли это самые шаги въ жизни, которые приличны теперь геніальной націи? Хорошо ли это слово: «возмездіе», которое снова раздалось, по всей Франціи, по поводу этой исторіи съ бюджетомъ? И не миражна ли, не фантастична ли въ высшей степени эта «жизнь возмездія», на которую такъ единодушно соглашается геніальная нація, заплатившая пять милліардовъ штрафа и, несмотря на то, съ такимъ единодушіемъ готовая на новые милліарды расходовъ, лишь бы отомстить нахальному врагу за свое нравственное и военное униженіе? Не разрѣшая этихъ вопросовъ, не можемъ однакоже не замѣтить, что, стало быть, въ странѣ, разъединенной нравственно, столь давно уже унылой и скептической, гдѣ общее чувство есть лишь самое ограниченное чувство самосохраненія, и гдѣ chacun pour soi — есть первое правило, что въ странѣ этой нашлось же однако, вдругъ и неожиданно, нѣчто такое, что могло соединить разомъ самые разнородные элементы ея, на что безмолвно согласны всѣ ея партіи, всѣ умы, всѣ развитія, всѣ направленія и всѣ ея сословія. Нѣтъ, не такъ скоро изсякаетъ, знать, въ народахъ родникъ *непосредственной* жизни.

Можетъ быть, это же чувство «возмездія» и даетъ французамъ силы сносить безъ волненій и нестерпимое теперешнее свое правительство. Однимъ словомъ, можетъ быть, правительству прощается многое, хоть за то только, что оно называется правительствомъ. Еще полтора мѣсяца назадъ это правительство имѣло хоть какую-нибудь цѣль: оно мечтало возстановить Шамбора. Теперь же оно обратилось въ одно лишь правительство интриги и держится самымъ удивительнымъ образомъ со своимъ загадочнымъ президентомъ. Но объ интригахъ и о всей злобѣ дня до другого разу.

Не можемъ, однако, пропустить одну изъ послѣднихъ телеграммъ изъ Испаніи, по чрезвычайной ея курьезности.

Санъ-Себастьянъ, 11-го (23) декабря. Сюда прибыли 10 пароходовъ, чтобы принять армію генерала Моріонеса, которая окружена карлистами въ числѣ 30,000 человѣкъ и не можетъ двинуться далѣе, не потерпѣвъ огромныхъ потерь.

Итакъ, вотъ до чего дошелъ главнокомандующій правительства и столь многократный (по телеграммамъ изъ Мадрида) побѣдитель Донъ-Карлоса!

Съ другой стороны, Картагена, которая еще два мѣсяца назадъ должна была, по телеграммамъ, *завтра* сдаться, — держится до сихъ поръ, и такъ же, какъ два мѣсяца назадъ, телеграммами изъ Мадрида обѣщаются *завтра же* выслать противъ картагенскихъ инсургентовъ подкрѣпленія.

Весьма можетъ быть, что всѣ эти чудеса въ Испаніи и есть нормальное ея состояніе. Неужели же черезъ какое-нибудь столѣтіе, или ближе, такая же судьба ожидаетъ и Францію?

Изъ № 52 жўрн. „Гражданинъ“ 1873 г.

На сей разъ мы ограничимся лишь сообщеніемъ послѣднихъ, весьма любопытныхъ новостей изъ Испаніи. Въ 51-мъ нумерѣ «Гражданина» мы закончили наше обозрѣніе сообщеніемъ телеграммъ изъ Испаніи о жалкихъ успѣхахъ генерала Моріонеса противъ арміи Донъ-Карлоса и о ничтожныхъ результатахъ, добытыхъ мадридскимъ правительствомъ у Картагены, противъ южнаго возстанія. Оба эти факта, безъ сомнѣнія, могли свидѣтельствовать о непомѣрной слабости испанскаго правительства Кастеляра. Кастеляръ, несмотря на постоянный восторженно-хвастливый тонъ всѣхъ его заявленій и сообщеній, націи и Европѣ, объ успѣхахъ своихъ, почти во все время своего управленія постоянно выказывалъ, однако, и нѣкоторое какъ бы уныніе. Онъ постоянно заявлялъ о томъ, что надо принять мѣры энергическія, поднять духъ арміи, собрать денегъ, централизовать власть и даже, на время, сократить нѣкоторыя естественныя вольности каждаго испанца, такъ сказать, смирить бы и обуздать почти всеобщую анархію, хоть на время, для общаго блага. Заявлялось объ этомъ всегда робко и нерѣшительно, какъ бы конфузясь, и оканчивалось всегда почти лишь пожеланіями. Предпринять же дѣйствительно что-нибудь рѣшительное, именно для усиленія своей власти и обузданія анархіи, правительство, кажется, ничего не смѣло, и не столько по дѣйствительной невозможности что-нибудь предпринять въ этомъ смыслѣ, сколько по собственнымъ интимнымъ, благородно-либеральнымъ убѣжденіямъ. «Пусть лучше все пропадаетъ и проваливается, но какъ же хотя бы на мигъ посягнуть на естественныя вольности каждаго испанца». Вотъ мысль,

повидимому, крѣпившаяся въ сердцѣ столь полнаго благихъ начинаній и столь мечтавшаго быть энергическимъ правительства. Впрочемъ, въ самое послѣднее время, г. Кастеляръ какъ бы началъ дѣйствовать энергичнѣе: сталъ говорить о продленіи своей власти и объ обезпеченіи ея, сталъ мечтать о новыхъ полномочіяхъ. Въ концѣ декабря онъ пробовалъ даже отмѣнить прежнія постановленія насчетъ печати и рѣшился прямо запретить тѣ изданія и газеты въ Испаніи, которыя ужъ слишкомъ явно будутъ возбуждать къ грабежу и проч. Но вотъ, наконецъ, собрались созванные кортесы, и телеграммы сообщаютъ слѣдующія удивительныя вещи. Кастеляръ, сильнымъ большинствомъ (120 голосовъ), былъ кортесами не одобренъ, вслѣдствіе чего немедленно подалъ въ отставку. Господа кортесы не нашли возможнымъ поддержать требованія и намѣренія Кастеляра и предпочли начать опять все сначала, — единственный и уже много разъ повторяющійся оборотъ дѣлъ въ этой несчастной странѣ, требующей, напротивъ того, по крайней мѣрѣ во всей солидной и разсудительной части своего населенія — постоянства, устойчивости и энергіи отъ своего правительства, чтобъ спасти страну отъ страданій и если не отъ гибели, то, по крайней мѣрѣ, отъ варварства, всегда неминуемаго послѣ столь долголѣтнихъ междоусобій.

Когда г. Кастеляръ подалъ въ отставку, кортесы немедленно предположили приступить къ избранію другого правительства, какъ вдругъ генералъ-капитанъ Мадрида— Павія письменно обратился къ г. Сальмерону, президенту кортесовъ, и пригласилъ его *немедленно распустить собраніе кортесовъ*. Сальмеронъ (конечно, съ испугу) сталъ тотчасъ же просить Кастеляра остаться во главѣ правительства. Г. Кастеляръ (столь глубоко оскорбленный кортесами) отказался. Тогда, слѣдуя странному разсказу телеграммы, генералъ Павія нагрянулъ на избранниковъ народа (по-военному), съ войсками и пушками, осадилъ залу кортесовъ и разогналъ ихъ всѣхъ до единаго: «вотъ, дескать, во что мы стали цѣнить народное представительство!» Затѣмъ телеграмма отъ 23 декабря (4 января) гласитъ, что образовалось новое министерство, подъ предсѣдательствомъ маршала Серрано, изъ г. Сагасты, Фигуеролы, Цабалы, Эчегаре, Рюица и адмирала Топете.

Что сдѣлаетъ это новое правительство, если устоитъ, какой характеръ приметъ оно, какъ «начнетъ все сначала», т. е. все это безконечно-трудное дѣло умиротворенія и соглашенія страны, погибающей отъ претендентовъ, отъ разбойниковъ, отъ коммунистовъ, отъ безтолковыхъ партій, почти переставшихъ понимать языкъ человѣческій,

отъ внутренняго слабосилія, безначалія и, повидимому, уже нормально укоренившагося беззаконія — все это вопросъ тугой и на который рѣшительно не представляется ни уму, ни даже воображенію никакого рѣшенія. Въ этой странѣ беззаконіе до того укоренилось, что уже, кажется, принимается за гражданскую свободу, а слѣдовательно за естественное право каждаго испанца, — взглядъ, можетъ быть, отчасти раздѣляемый и бывшими правительствами Испаніи, по крайней мѣрѣ, судя по нѣкоторымъ фактамъ послѣдняго года. Никогда еще Испанія не была доведена до такого безначальнаго состоянія. Семилѣтняя революція и междоусобіе ея въ тридцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія не могутъ идти въ сравненіе съ настоящимъ порядкомъ вещей, ибо тогда междоусобіе было твердо ограничено лишь двумя только партіями — христиносовъ и карлистовъ, и обѣ партіи имѣли одинаково въ себя вѣру и не сомнѣвались, что достиженіе ими цѣли умиротворитъ Испанію и осчастливитъ ее надолго. Нынче врядъ ли хоть одна партія, даже самая партія Донъ-Карлоса (несмотря на все политическое легкомысліе, столь свойственное вообще католическому духовенству, представители котораго поддерживаютъ и сопровождаютъ претендента)— врядъ ли хоть одна партія вѣритъ серьезно въ умиротвореніе всей Испаніи даже и при достиженіи цѣлей своихъ. Одна лишь партія коммунистовъ, хотя и весьма недавняя, но крѣпко и успѣшно принявшаяся въ подготовленной почвѣ, ни надъ чѣмъ, кажется, не задумывается и вѣритъ въ возможность всеобщаго грабежа богатыхъ бѣдными, если и не сейчасъ, то въ весьма не отдаленномъ будущемъ. Правда, въ кортесахъ есть партія чрезвычайно идеальныхъ и утонченныхъ республиканцевъ, *чистыхъ*, безъ примѣси коммунизма, серьезно вѣрующихъ въ республику, и въ то, что однимъ лишь провозглашеніемъ республики должны залѣчиться всѣ раны Испаніи. Къ этой партіи частью принадлежало во все послѣднее время и правительство Испаніи, но врядъ ли и эта партія такъ твердо въ себя теперь вѣруетъ. Гдѣ и въ чемъ обрѣтетъ несчастная нація вновь потерянное единство и гражданскую связь — вотъ вопросъ, столь обыкновенный, впрочемъ, теперь, при взглядѣ на судьбу почти всей западной половины государствъ европейскаго материка.

PS. Вотъ только что сообщенная телеграмма отъ 26 декабря (7 января) изъ Мадрида:

Министръ внутреннихъ дѣлъ разослалъ къ губернаторамъ провинцій циркуляръ, въ которомъ хвалитъ энергію и безкорыстіе мадридскаго генералъ-капитана Павіи. Въ циркулярѣ сказано, что кортесы, осудивъ разсудительный образъ дѣйствій Кастеляра, вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлали какъ бы постановленіе о раздробленіи страны. Правительство, по словамъ циркуляра, не нарушило законовъ, сдѣлавшись выраженіемъ народной воли, и что оно постарается возстановить порядокъ энергическими средствами.

Итакъ, новое правительство, повидимому, укрѣпляется.

Оно хвалитъ образъ дѣйствія генералъ-капитана и, можетъ быть, имѣетъ въ этомъ резонъ. По всѣмъ свѣдѣніямъ, Мадридъ принялъ новый переворотъ спокойно, а изъ провинцій новое правительство получило уже нѣсколько поздравленій съ успѣхомъ. Кажется, правительство желаетъ принять характеръ временнаго, установившагося единственно лишь для освобожденія территоріи отъ карлистовъ и отъ бунтовщиковъ. Потомъ же испанцамъ снова будутъ возвращены права, и вопросъ о формѣ правленія рѣшится всенароднымъ голосованіемъ.

Причиною низверженія кортесами Кастеляра было, какъ пишутъ, несогласіе его съ Сальмерономъ, президентомъ кортесовъ, требовавшимъ отъ Кастеляра нѣкоторыхъ уступокъ и удаленія нѣкоторыхъ подозрительныхъ лицъ (въ томъ числѣ и генералъ-капитана Павію).

Новое правительство и новое министерство все принадлежитъ, говорятъ, къ приверженцамъ претендента Донъ-Карлоса и склонно скорѣе къ либеральному монархическому образу правленія, чѣмъ къ республиканскому.

Изъ № 1 журн. „Гражданинъ“ 1874 г.

Истекшій годъ мало что разъяснилъ и разрѣшилъ въ политической жизни Европы: напротивъ, даже оставилъ по себѣ много чрезвычайно важныхъ недоумѣній.

Мы говоримъ о Европѣ. Что до Россіи — истекшій годъ собственно внѣшне-политической ея жизни ознаменовался для нея нѣсколькими весьма пріятными событіями. Покореніе хивинскаго хана еще разъ заставило русскихъ гордиться своею арміею, а въ Европѣ, гдѣ на этотъ разъ сумѣли оцѣнить важность событія, подвигъ русскихъ войскъ возбудилъ даже удивленіе. Фактъ, что Европа удивляется, наконецъ, русскому воину и составляетъ, по-настоящему, истинную «военную важность» этого событія; что же касается собственно до нашихъ матеріальныхъ выгодъ отъ занятія Хивы, то онѣ давно уже

разъяснены до очевидности, и мы считаемъ лишнимъ перечислять ихъ. По крайней мѣрѣ, русская среднеазіатская политика твердо можетъ теперь надѣяться достигнуть вполнѣ своихъ цѣлей.

Въ настоящую минуту многіе убѣждены, у насъ и въ Европѣ, что даже и Англія стала, наконецъ, смотрѣть на успѣхи наши въ Азіи съ нѣсколько большею къ намъ довѣрчивостью. Здѣсь опять-таки все дѣло въ будущемъ.

Хотя безо всякаго сомнѣнія наступающій брачный союзъ Его Высочества Принца Альфреда съ Ея Императорскимъ Высочествомъ Великою Княжною Маріею Александровною и не можетъ быть разсматриваемъ единственно съ точки зрѣнія политической, тѣмъ не менѣе, это прекрасное и благословляемое Русскою землею событіе не можетъ не повліять и на укрѣпленіе тѣхъ взаимныхъ симпатій двухъ великихъ націй, тѣхъ новыхъ залоговъ дружелюбнаго взаимнаго расположенія, изъ которыхъ впослѣдствіи могли бы произойти даже великіе результаты.

Россія не боится, чтобъ ее все болѣе и болѣе узнавали въ Европѣ; напротивъ, желаетъ того. Правда, Европа до сихъ поръ никогда не вѣрила въ этомъ отношеніи Россіи. Вся политическая жизнь Россіи въ продолженіе всего, можетъ быть, девятнадцатаго столѣтія въ сущности была лишь жертвою ея Европѣ чуть не всѣми своими интересами. И что же въ результатѣ? Повѣрила ли хоть разъ Европа политическому безкорыстію Россіи и не заподозрила ли ее, почти всегда, въ самыхъ коварныхъ намѣреніяхъ противъ европейской цивилизаціи? Правда и то, что Россія до того уже бывала иногда безкорыстною, что и равнодушный наблюдатель могъ бы не повѣрить, наконецъ, такой феноменальной ея любви къ Европѣ и поневолѣ могъ заподозрить въ ея политикѣ хитрость, скрытность и ложь; тѣмъ болѣе наблюдатель заинтересованный, у котораго у самого постоянно бывало рыльце въ пушку!

Нѣкоторые обозрѣватели называютъ истекшій годъ — годомъ свиданій европейскихъ государей. Дѣйствительно, свиданій было довольно, и весьма значительныхъ. Важнѣйшими, разумѣется, были свиданія Императоровъ Всероссійскаго и Германскаго въ С.-Петербургѣ. Затѣмъ Императоровъ Всероссійскаго и Австрійскаго въ Вѣнѣ. Затѣмъ въ Вѣнѣ же Императоровъ Германскаго и Австрійскаго. Наслѣдный Принцъ Германскій посѣтилъ Королей Датскаго и Шведскаго. Король Викторъ Эммануилъ былъ въ Берлинѣ и даже въ Вѣнѣ, у бывшаго врага своего и соперника Императора Австрійскаго.

Эти свиданія Короля Итальянскаго съ двумя могущественнѣйшими изъ властителей Европы произвели въ

подданныхъ его, въ Римѣ и во всей Италіи, восторгъ. Да и, безъ сомнѣнія, всѣ эти свиданія государей европейскихъ, полныя дружества и высокаго чистосердечія, должны были радовать Европу и ободрить пессимистовъ. Тѣмъ не менѣе, истекшій годъ все-таки оставляетъ по себѣ нѣсколько важныхъ загадокъ, склоняющихъ иные умы, ну, хоть изъ тѣхъ, которымъ есть время задуматься, съ недовѣрчивостью заглянуть въ будущее, конечно, въ будущее Европы. Мы продолжаемъ говорить собственно о Европѣ.

Истекшій годъ, годъ «свиданій европейскихъ монарховъ», можно бы тоже назвать и годомъ укрѣпленія религіозныхъ смутъ въ Европѣ. Безъ сомнѣнія, странно было бы предсказывать въ нашемъ XIX и столь просвѣщенномъ вѣкѣ воскресеніе религіозныхъ смутъ, а можетъ быть и войнъ, приличныхъ лишь варварству среднихъ вѣковъ. Мы не предсказываемъ и даже весьма отъ того далеки; тѣмъ не менѣе наклонны считать весь этотъ «религіозный вопросъ», столь обозначившійся въ прошломъ году, одною изъ самыхъ важнѣйшихъ загадокъ прошлаго года. Въ продолженіе года мы въ «Гражданинѣ» намекали на это неоднократно. Дѣло мы разсматриваемъ такъ: папское Non possumus мы считаемъ настолько серьезнымъ, что воплощаемъ въ немъ — жизнь и смерть самой религіи въ Европѣ. О протестантскихъ вѣрахъ мы и упоминать не хотимъ, ибо если бъ кончилось римское католичество — то какимъ образомъ могли бы удержаться вѣры, сущность которыхъ составляетъ протестъ противъ католичества? Ибо если нѣтъ противъ чего протестовать, то зачѣмъ оставаться и протесту? Но римская Церковь, опять-таки въ томъ видѣ, въ какомъ она состоитъ теперь — существовать не можетъ. Она заявила объ этомъ громко сама, заявивъ тѣмъ самымъ, что царство ея отъ міра сего, и что Христосъ ея «безъ царства земного удержаться на свѣтѣ не можетъ». Идею римскаго свѣтскаго владычества католическая Церковь вознесла выше правды и Бога; съ тою же цѣлью провозгласила и непогрѣшимость вождя своего, и провозгласила именно тогда, когда уже въ Римъ стучалась и входила свѣтская власть: совпаденіе замѣчательное и свидѣтельствующее о «концѣ концовъ». До самаго паденія Наполеона III Церковь римская могла еще надѣяться на покровительство царей, которыми держалась (именно Франціею) вотъ уже сколько вѣковъ. Чуть только оставила ее Франція — пала и свѣтская власть Церкви. Между тѣмъ Церковь католическая этой власти своей ни за что, никогда и никому не уступитъ и лучше согласится, чтобъ по-

гибло христіанство совсѣмъ, чѣмъ погибнуть свѣтскому царству Церкви. Мы знаемъ, что многіе изъ мудрыхъ міра сего встрѣтятъ нашу идею съ улыбкою и съ покиваніемъ главы, но мы твердо отстаиваемъ ее, и провозглашаемъ еще разъ, что нѣтъ теперь въ Европѣ вопроса, который бы труднѣе было разрѣшить, какъ вопросъ католическій; и что нѣтъ и не будетъ отнынѣ въ будущемъ Европы такого политическаго и «соціальнаго» затрудненія, къ которому бы не примазался и съ которымъ не соединился бы католическій римскій вопросъ. Однимъ словомъ, для Европы нѣтъ ничего труднѣе, какъ разрѣшеніе этого вопроса въ будущемъ, хотя $^{99}/_{100}$ европейцевъ въ данную минуту, можетъ быть, и не думаютъ даже о томъ.

Мы сообщали читателямъ нашимъ нѣкоторыя замѣчанія наши въ продолженіе года насчетъ того любопытнѣйшаго обстоятельства, что по нѣкоторымъ признакамъ какъ бы оправдывается догадка, что католическая Церковь, для возстановленія правъ своихъ, наклонна даже соединиться съ чернымъ народомъ и впредь уже оставить царей (правда, цари сами ее оставили). Не станемъ теперь особенно останавливаться на этой догадкѣ, но повторимъ лишь сказанное прежде, что однимъ изъ самыхъ послѣднихъ важнѣйшихъ политическихъ событій истекшаго года въ Европѣ была переписка папы и германскаго императора. Въ отвѣтѣ своемъ папа заявилъ, что онъ отецъ и покровитель, посланный самимъ Богомъ, всѣмъ христіанамъ, какого бы толка они ни были, признаютъ или не признаютъ они его главою, были бы лишь крещены.

Когда римское правительство опредѣлило и поднесло папѣ три милліона франковъ годового содержанія, то ужъ, конечно, отчасти вѣрило и надѣялось, что онъ приметъ этотъ, весьма, впрочемъ, пріятный, бюджетъ. Если бъ папа принялъ, то тѣмъ самымъ согласился бы на statu quo, и *кончилось бы римское католичество*, а на мѣсто его началось бы нѣчто совсѣмъ иное и еще неизвѣстное. Но папа не принялъ. Теперь иные надѣются, что приметъ слѣдующій папа.

84-лѣтній папа Пій IX, хотя и боится ужасно смерти (по слухамъ), знаетъ, однако, что ему скоро умереть, но знаетъ сверхъ того, что и слѣдующій за нимъ папа, кто бы онъ ни былъ, не приметъ тоже никакого бюджета и тоже будетъ отвѣчать всѣмъ и каждому non possumus, какъ онъ, Пій IX.

Между тѣмъ, хотя императоръ германскій, въ своемъ свѣтѣ на письмо папы, и отвѣчалъ ему строго и свысока,

тѣмъ не менѣе, въ Германіи смотрятъ на теперешнее положеніе римской Церкви, повидимому, нѣсколько серьезнѣе, чѣмъ правительство итальянское. Иначе чѣмъ объяснить то странное, казалось бы не въ мѣру усиленное гоненіе римскаго (ультрамонтанскаго) католичества въ Германіи? Серьезно можно подумать, что колоссальная новая имперія, у которой столь много другихъ затрудненій и новыхъ вопросовъ, смотритъ на вопросъ католическій какъ на важнѣйшій изъ всѣхъ. И что же: такъ, кажется, оно и есть въ самомъ дѣлѣ! Странно, конечно, представить, что такое могущественное государство, и во главѣ его такіе могущественные властители и правители, могли бы испугаться какихъ-нибудь «смѣшнѣйшихъ» ультрамонтанскихъ претензій безсильнаго жалкаго монаха, — и когда же? — въ вѣкъ девятнадцатый, въ вѣкъ философіи, машинъ и такого просвѣщенія! Къ тому же возбуждать среди индифферентизма фанатизмъ гоненіемъ Церкви было бы грубѣйшею ошибкою, что для такихъ образованныхъ людей, какъ, напримѣръ, графъ Бисмаркъ, не могло бы оставаться и минуты неяснымъ. Кромѣ того, дѣйствуя противъ Церкви, а особенно послѣдними законами о гражданскомъ бракѣ, графъ Бисмаркъ, повидимому, дѣйствуетъ заодно съ ненавистниками Церкви, и не одной католической, а и всякой христіанской Церкви, заодно съ врагами ея, съ атеистами и соціалистами. Такимъ образомъ, съ двухъ концовъ возбуждаются два противоположные одинъ другому фанатизма, фанатизма вѣры и отрицанія. Ловко ли это для такого колоссальнаго государственнаго человѣка, какъ графъ Бисмаркъ? И не слѣдуетъ ли изъ того опять-таки и во всякомъ случаѣ, что римскій вопросъ сочтенъ такими глубокими государственными людьми за одинъ изъ важнѣйшихъ вопросовъ въ судьбахъ будущей Германской Имперіи? Иначе не жертвовали бы они, для преодолѣнія его, такими важными интересами.

Разрѣшать такіе важные вопросы, какіе мы теперь наставили, мы, конечно, здѣсь не возьмемся, но повторимъ лишь догадку, уже проведенную нами въ продолженіе года: Что если графъ Бисмаркъ, или лучше сказать — что если Германія считаетъ будущую, новую и уже окончательную встрѣчу свою съ французами всѣхъ ближе возможною — на точкѣ римскаго вопроса? Сообразимъ лишь то: какъ ни случайно, повидимому, вышла бывшая ужасная франко-прусская война, но теперь, уже по окончаніи ея, ни Германія, ни Франція не могутъ смотрѣть на происшедшую ужасную встрѣчу свою какъ на нѣчто случайно-политическое, наполеоновское. Гер-

манія, столь много вѣковъ имѣвшая у себя все — богатство, цивилизацію, науку, и не имѣвшая лишь одного, самаго для себя желаемаго — политическаго единства, должна же была окончательно убѣдиться (о чемъ, впрочемъ, знала сотни лѣтъ), что единства политическаго она не могла и не можетъ имѣть, пока во главѣ Европы стоитъ геній Франціи; что второстепенною ролью, какъ какая-нибудь Италія, она, Германія, не можетъ въ Европѣ удовольствоваться, но что двѣ предводительницы Европы не могли бы совмѣстно существовать. Что тутъ, наконецъ, вопросъ духа, жизни и идеаловъ, что идеалы цивилизацій западно-католической и германской различны въ конецъ и несовмѣстимы. Что франко-прусская война была не что иное какъ встрѣча двухъ европейскихъ цивилизацій, католической и протестантской, французской и германоской цивилизацій, несовмѣстимыхъ и противоположныхъ, и уже много вѣковъ приготовлявшихся встрѣтиться. Съ другой стороны, Франція, уже 1,000 лѣтъ представительница западнаго католицизма, не можетъ не понять, даже и теперь, что она останется предводительницею всего европейскаго католичества, даже и при видимомъ теперешнемъ распаденіи его, не иначе какъ если пребудетъ въ самомъ дѣлѣ вѣрна католичеству и идеѣ его.

Мы хотимъ только сказать, что возрожденіе католицизма, въ смыслѣ *главной идеи націи*, вовсе, можетъ быть, не такъ невозможно во Франціи, какъ думаютъ многіе. Все, что происходило во Франціи въ продолженіе послѣдняго вѣка, вѣка безпрерывнаго колебанія революціоннаго, могло бы отчасти служить подтвержденіемъ такой догадки. Перебирать прошлое не будемъ, но обратимъ вниманіе хотя бы лишь на то, что въ продолженіе всего послѣдняго столѣтія всѣ столь разнообразныя правительства Франціи (короли, республики, Наполеонъ III), всѣ поддерживали папу съ мечемъ въ рукѣ или готовы были поддержибать, всѣ стояли за Римъ и за свѣтскую власть его. Графъ Бисмаркъ не можетъ не предчувствовать, хотя бы отчасти, что Франція никогда не помирится съ второстепеннымъ мѣстомъ въ Европѣ и съ военною неудачею и что это для нея своего рода non possumus. Почему не придвидѣть ему тоже, что Франція, не разбитая, а раздавленная столь недавно, и могшая вдругъ удивить весь міръ своимъ богатствомъ и (главное) кредитомъ, что было для графа Бисмарка такою неожиданностью, что эта Франція, наконецъ, въ несчастьѣ своемъ возбудившая къ себѣ столько симпатій въ Европѣ (что слишкомъ очевидно теперь даже и для Германіи, смотрящей на это съ завистью), — почему же не предчувствовать ему, что

дѣло съ этой Франціей, стало быть, далеко еще не кончено, что встрѣча еще разъ неминуема, что еще разъ споръ о первенствѣ не можетъ миновать, даже по самому существу вещей, и что споръ этотъ будетъ споромъ на жизнь и смерть. Что дѣло это не только не кончено, а едва лишь начинается. А что такъ какъ, наконецъ, этотъ споръ будетъ споромъ двухъ столь различныхъ европейскихъ цивилизацій — споромъ рѣшительнымъ и окончательнымъ, — то почему же не предполагать ему, что и ошибка окончательная произойдетъ именно на главнѣйшихъ точкахъ этихъ столь враждебныхъ цивилизацій, а именно на католической и, отрицающей ее, протестантской точкѣ?

Не развиваемъ этой столь длинной идеи; для насъ довольно и того, что мы такъ рѣзко ее обозначили. Мы хотѣли только сказать, что, добивая католичество въ самомъ центрѣ его, графъ Бисмаркъ, можетъ быть, продолжаетъ франко-прусскую кампанію и — приготовляется къ новой. Ловко ли, нѣтъ ли дѣйствуетъ — это еще вопросъ, но смотритъ онъ зорко.

Почти въ этомъ смыслѣ есть одна изъ самыхъ послѣднихъ телеграммъ, до крайности характерная.

Недѣли двѣ назадъ, во Франціи и Германіи придали, повидимому, необыкновенную и несоразмѣрную важность одному довольно мелкому событію. Два французскихъ епископа, Нимскій и Анжерскій, заявили публично своимъ прихожанамъ, что ихъ Церковь въ Германіи страдаетъ, преслѣдуема и проч., и проч. Ну что бы, кажется, важнаго въ томъ, что два какіе-то попа провозгласили у себя въ приходѣ? Между тѣмъ, вдругъ пронесся слухъ по всей Франціи и Германіи, что графъ Арнимъ, посланникъ Германіи, протестовалъ и настойчиво жаловался французскому правительству. Поднялись толки въ журналахъ (и претревожные) о томъ: правда это или нѣтъ? Если правда, то что отвѣчало правительство? Съ достоинствомъ или безъ достоинства? Правда ли, что былъ въ этомъ смыслѣ внушительный циркуляръ французскаго правительства французскому духовенству?

(NB. Замѣтимъ въ скобкахъ, что французское духовенство, столь враждебное догмату непогрѣшимости, до собора и на самомъ соборѣ, вдругъ, по провозглашеніи догмата и по немедленномъ затѣмъ паденіи папской власти, обратилось все почти, въ огромномъ большинствѣ своихъ предстоятелей, въ самыхъ фанатическихъ, можно сказать, приверженцевъ новаго догмата, между всѣмъ ка-

толичествомъ всей Европы. Фактъ чрезвычайно знаменательный для оцѣнки силы католической идеи во Франціи, — и теперь и въ будущемъ.)

Наконецъ, оказалось, что запросъ былъ, что правительство отвѣчало и выяснилось уклончиво, выставляя на видъ графу Арниму, что оно не имѣетъ такого вліянія на своихъ епископовъ, какъ это у нихъ въ Германіи; но циркуляръ епископамъ все-таки обѣщало, и что циркуляръ, дѣйствительно, состоялся, — правда, слишкомъ мягкій, чтобъ успокоить графа Бисмарка, но все же довольно постыдный для французскаго правительства. Но, что всего важнѣе, тотъ фактъ, что Германія придала такому мелкому дѣлу такіе политическіе размѣры и явилась съ требованіями, почти забывъ о томъ, что уже вывела свои войска изъ Франціи и что все же говорить слѣдуетъ теперь инымъ языкомъ, — этотъ фактъ, кажется, нисколько не удивилъ французское правительство и даже самихъ французовъ.

Мало того — возбужденіе продолжается, и хотя уже прошло много времени, но вотъ однако сегодняшняя телеграмма изъ Берлина, которую и выписываемъ:

Берлинъ, 3 (15) января. Въ „Сѣверо-Германской Всеобщей Газетѣ“ напечатана сегодня статья объ отношеніяхъ Германіи къ Франціи, при чемъ объявляется, что поводы къ разногласіямъ подаются исключительно Франціей, но они не касаются германскихъ политическихъ интересовъ. Виды на міръ, по словамъ названной газеты, зависятъ отъ того, какое положеніе приметъ французское правительство относительно ультрамонтановъ. Надежды на миръ утратятся, если французская политика предоставитъ себя въ распоряженіе свѣтскихъ притязаній папства

Такія слова какъ «виды на миръ» и «надежды на миръ утратятся» по меньшей мѣрѣ удивительны; сомнѣнія тоже нѣтъ, что имѣютъ характеръ офиціозный (если не официальный). Трудно утверждать послѣ этого, что Германія не предугадываетъ, что встрѣча ея съ Франціей произойдетъ на католической почвѣ.

Въ будущій годъ переходитъ и еще загадка, болѣе чѣмъ когда-нибудь загадочная. Это теперешнее французское правительство. Возможности нѣтъ представить себѣ, чтобы не было въ будущемъ году еще разъ переворота во Франціи. Все раздробилось на партіи, и прежнее большинство, низвергнувшее Тьера, давно уже лишилось прежняго своего характера. О послѣднихъ событіяхъ во Франціи, довольно, впрочемъ, неважныхъ, хотя и характерныхъ, поговоримъ въ слѣдующемъ обозрѣніи.

Послѣднія телеграммы возвѣщаютъ, наконецъ, о сдачѣ Картагены. Подробности еще мало извѣстны. Всего же любопытнѣе, что генералъ Контрерасъ (главный начальникъ возставшихъ мерзавцевъ, грабившій сосѣдніе испанскіе города, угрожавшій жителямъ взорвать городъ, въ случаѣ ихъ малодушія, и серьезно объявившій нѣмецкому консулу, что Кантонъ Мурція долженъ будетъ объявить войну Германской имперіи), затѣмъ Гальвесъ (объявившій, что все имущество картагенцевъ принадлежитъ имъ, шефамъ возстанія) и, наконецъ, всѣ члены Картагенской юнты и множество остальныхъ бунтовщиковъ, въ числѣ 2,500 человѣкъ, въ рѣшительную минуту захватили броненосный корабль «Нуманцію» и бѣжали въ Оранъ (на африканскомъ берегу), гдѣ и сдались французамъ. Все это навѣрно у нихъ было предвидѣно и условлено давно уже прежде. Такимъ образомъ, послѣ шестимѣсячнаго разврата и разбоя, имъ стоило только, съ награбленной добычею, убѣжать, чуть не съ почетомъ пройдя мимо пяти военныхъ кораблей. Разумѣется, они обратятся теперь въ наипочтеннѣйшихъ политическихъ эмигрантовъ, а при первомъ удобномъ случаѣ явятся тотчасъ же въ Испанію— опять разбойничать.

Приложенія.

Двѣ замѣтки редактора[1].

I.

Мы съ величайшимъ удовольствіемъ помѣщаемъ въ «Гражданинѣ» это письмо слушательницы московскихъ курсовъ. Не будемъ очень противорѣчить нѣкоторымъ особымъ убѣжденіямъ автора, напримѣръ, о «здоровомъ воздухѣ» Москвы. Самъ же авторъ свидѣтельствуетъ, что въ Москвѣ нельзя безъ сплетней, — а ужъ это одно не совсѣмъ здоровая черта московскаго воздуха. Мы всегда готовы согласиться, что Москва лучше, чѣмъ Петербургъ, но что она хороша абсолютно — это уже совсѣмъ другой вопросъ.

Во всякомъ случаѣ, благодаримъ прежде всего за нѣкоторое сочувствіе, высказанное многоуважаемой корреспонденткой нашему изданію. Несмотря, однако, на сочувствіе, цѣль ея письма — опровергнуть на фактѣ наше заявленіе въ 22 № «Гражданина» о «*неудачныхъ*» доселѣ опытахъ допущенія у насъ женщинъ въ университетскому и медицинскому образованію in corpore. Авторъ является теперь съ частнымъ случаемъ основанія высшихъ женскихъ курсовъ въ Москвѣ и, выражая прекрасныя и благородныя чувства, радуется успѣшному началу дѣла. Мы, пожалуй, пойдемъ еще далѣе въ вѣрѣ: мы вѣримъ и убѣждены заранѣе, что большинство московскихъ слушательницъ доведутъ свои занятія до конца съ полнымъ успѣхомъ. Свидѣтельствуемъ громко, что никто болѣе насъ не увѣренъ въ чистотѣ чувствъ и въ искренности жажды образованія нашихъ стремящихся къ образованію женщинъ. Мы только думаемъ, что эта искренность и чистота добраго намѣренія могутъ быть, и весьма часто, дурно направлены, подпасть вліянію иной предвзятой мысли, имѣющей мало общаго съ настоящимъ просвѣ-

[1] № 27 „Гражданина“ 1873 г.

щеніемъ. Если въ Москвѣ случилось не то, если отъ слушательницъ до профессоровъ, — всѣ служили единственно однѣмъ только цѣлямъ просвѣщенія, то мы первые этому радуемся и привѣтствуемъ прекрасное событіе. Увѣряемъ васъ, г. авторъ письма, что радуемся еще больше другихъ, ибо случилось только то, чего мы сами желали, что призывали, о чемъ сами заявили.

Припомнимъ же, чего мы пожелали и о чемъ заявили въ 22 № «Гражданина».

«1) Строгая учебная дисциплина можетъ быть введена и имѣть цѣлью требовать отъ женщинъ непремѣнно ученія, безо всякихъ послабленій въ ихъ пользу, и немедленно исключать тѣхъ изъ нихъ, которыя не учатся или учатся дурно».

«2) Малѣйшее нарушеніе правилъ нравственности должно повлечь за собою немедленное исключеніе женщины изъ числа учащихся».

«3) Ежегодные экзамены должны быть безусловно строги».

И вотъ за такія желанія или подобныя имъ, насъ обыкновенно объявляютъ въ печати и обществѣ — ретроградами. По крайней мѣрѣ, теперь, послѣ вашего заявленія о московскихъ курсахъ, мы уже не одни будемъ ретроградами, а во-первыхъ, вмѣстѣ съ профессорами московскихъ женскихъ курсовъ, исполнившими свое дѣло точь-въ-точь какъ мы того пожелали; во-вторыхъ, вмѣстѣ съ слушательницами, приходившими единственно для своего образованія и ни для чего болѣе, и, наконецъ, съ вами самими, радующейся въ своемъ письмѣ и на профессоровъ и на слушательницъ.

Правда, мы еще написали въ статьѣ 22 № «Гражданина», что у насъ «нравственная фальшь поражаетъ всякаго, кто имѣетъ случай ближе присматриваться къ міру женщинъ, выдѣляющихся изъ общей массы, для полученія высшаго образованія», и что «женщины эти получаютъ какую-то увѣренность въ томъ, что, обучаясь высшему курсу наукъ или медицинѣ, *онѣ въ то же время и по тому самому являются дѣятельницами въ разрѣшеніи какого-то современнаго женскаго вопроса*».

Ну, вотъ въ томъ-то и вся *бѣда*, что мы это написали. Къ этому и придрались, да и какъ было не придраться: сущность дѣла пока еще такова, что ее можно понять какъ угодно, придраться къ чему угодно и выставить въ свѣтѣ какомъ угодно. Произнесено самое неопредѣленное и спорное современное слово, «женскій вопросъ», и какъ же было не выйти путаницѣ?

Объ этой *бѣдѣ* мы не будемъ теперь говорить; заявимъ лишь одно нашей корреспонденткѣ: Вы именно хотѣли доказать вашимъ письмомъ, что на московскихъ женскихъ курсахъ такихъ слушательницъ не было, что ни одна изъ нихъ не задавалась задачею «явиться дѣятельницею въ разрѣшеніи какого-то современнаго женскаго вопроса», а всѣ *просто учились;* что, стало быть, могутъ быть слушательницы и безъ «фальши», что, наконецъ, можетъ быть и очень большое число русскихъ слушательницъ окажутся «безъ фальши» и что мы, стало быть, преувеличили.

Если мы преувеличили — мы, опять таки, первые тому обрадуемся. Въ томъ, что у насъ явятся слушательницы безо всякой «фальши» въ самомъ ближайшемъ будущемъ — мы и сами увѣрены, но что доселѣ было довольно фальши — можете ли вы отрицать? Если мы про это сказали открыто, не прикрашивая дѣла, то сказали именно потому, что отъ всей души желаемъ нашимъ женщинамъ настоящаго, а не фальшиваго образованія. Что же касается до мечты «явиться дѣятельницею въ разрѣшеніи какого-то женскаго вопроса», то мы на это замѣтимъ вотъ что: явиться слушательницею высшихъ курсовъ съ мыслью и надеждой образовать себя, пріобрѣсть тѣмъ высшія духовныя силы, пріобрѣсть средства быть черезъ образованіе болѣе обезпеченною и вооруженною въ несчастныхъ случаяхъ жизни; кромѣ того, вознестись до благороднаго понятія, что всеобщее образованіе женщины внесетъ новую, великую интеллигентную и нравственную силу въ судьбы общества и человѣчества, — эта мысль, заявляемъ мы, эта надежда — не только возвышенна, прекрасна и желательна въ душѣ каждой слушательницы будущихъ высшихъ курсовъ въ Россіи, но именно есть начало единственнаго и настоящаго разрѣшенія «женскаго вопроса» и у насъ, и въ Европѣ, и вездѣ, начало настоящей правильной постановки его! Въ этомъ смыслѣ пусть всякая слушательница мечтаетъ о будущей своей дѣятельности въ разрѣшеніи женскаго вопроса, садясь на студентскую скамейку. Но увѣрены ли вы, спрашиваемъ опять, что всѣ слушательницы женскихъ курсовъ садятся теперь, хотя бы даже и у васъ въ Москвѣ, на студентскую скамью съ яснымъ сознаніемъ того чего хотятъ и не путаются въ пустопорожнихъ теоріяхъ? И вотъ, единственно потому мы и желали, въ трехъ нами выписанныхъ изъ нашей статьи пунктахъ, чтобъ женщины являлись прежде всего учиться и чтобы требовать отъ нихъ непремѣнно ученія, самымъ строжайшимъ образомъ. Въ этомъ случаѣ мы много надѣемся на науку. Настоящая строгая наука изгонитъ всякую фальшь, вся-

кую постороннюю и ложную идею, засѣвшую въ иную еще непривыкшую къ идеямъ женскую голову и навѣянную какимъ-нибудь постороннимъ, обыкновенно мужскимъ вліяніемъ. Чего же мы хотимъ, стало быть, какъ не женской самостоятельности, самостоятельности ума и сердца женщины, прежде всего? Противники мы женскаго образованія, какъ насъ окричали, да или нѣтъ?

Вы говорите въ одномъ мѣстѣ вашего письма, что мы рѣшились высказать свою мысль «не боясь потерять популярность». Увы, мы въ высшей степени сознаемъ, что ее потеряли! Мы дорожимъ лишь тѣмъ, что пользуемся нѣкоторой симпатіей нѣсколькихъ толковыхъ людей, которые, въ наше время всеобщаго лакейства мысли, рѣшились смѣть

Свое сужденіе имѣть.

А надежды наши лишь въ томъ, что кругъ этихъ людей несомнѣнно и замѣтно увеличивается. Еще разъ благодаримъ за письмо и просимъ и на будущее время извѣстій о судьбѣ московскихъ высшихъ женскихъ курсовъ. Мы слишкомъ неравнодушны къ ихъ успѣхамъ.

II.

Кстати, теперь ровно полугодіе нашему изданію за нынѣшній годъ. Можно бы, воспользовавшись случаемъ, кое-что сказать о нашей дѣятельности и о нашихъ редакторскихъ усиліяхъ; помечтать и пооткровенничать, спросить вслухъ: что мы сдѣлали и чего не сдѣлали, что высказали и чего не могли высказать? и проч. и проч. — какъ всегда дѣлаютъ, когда пишутъ объявленія объ изданіи журнала на будущій годъ. Но мы все это отложимъ и отвѣтимъ только на нѣсколько разъ предлагавшійся намъ со стороны вопросъ: почему мы такъ мало или совсѣмъ даже не отвѣчаемъ на критики, нападенія и ругательства, которыя сыплются на насъ безпрерывно; которыя особенно сыпались въ началѣ года и навѣрно будутъ сыпаться въ концѣ его, передъ началомъ подписки на будущій годъ? Теперь дошло до того, что мы стали выручкой для всѣхъ фельетонистовъ: не о чемъ писать — «а ну, есть «Гражданинъ», обругать его; къ тому же либеральная тема!» — и ругаютъ.

Почему же не отвѣчаемъ? Во-первыхъ и главное: не отвѣчать же всякому шуту?

О, безъ сомнѣнія, есть и не шуты; есть люди умные, а иногда и остроумные, есть и литературно образованные, что такъ рѣдко теперь и что цѣнишь. Но инымъ изъ

нихъ совершенно нельзя отвѣчать, хотя бы иногда и хотѣлось, — нельзя, потому что въ концѣ концовъ не знаешь, чего сами они хотятъ. Не понимаешь, изъ-за чего они такъ кривятъ душой, такъ сами себѣ противорѣчатъ, какая ихъ цѣль, что они преслѣдуютъ, гдѣ ихъ преданія, въ чемъ ихъ будущее? Пишутъ они весело, а иногда и дѣйствительно дѣльно, и вотъ, на той же страницѣ, онъ же самъ вдругъ и опровергаетъ себя, и опровергаетъ съ знаніемъ дѣла, зная, что самъ противорѣчитъ себѣ. Для чего это? Какія тутъ цѣли? Неужели все это изъ одного литературнаго искусства? Въ концѣ концовъ и не знаешь, на что отвѣчать и зачѣмъ отвѣчать.

Такіе есть; я собственно про летучую литературу нашу говорю. Но есть и не изъ летучихъ; есть, напротивъ, очень искренніе. Въ этомъ случаѣ я не могу забыть г. Н. М. изъ «Отечественныхъ Записокъ» и о «долгахъ» моихъ ему. Я не имѣю чести знать его лично и ровно ничего не имѣлъ удовольствія слышать о немъ какъ о частномъ человѣкѣ. Но я всею душою убѣжденъ, что это одинъ изъ самыхъ искренныхъ публицистовъ, какіе только могутъ быть въ Петербургѣ. Не мое совсѣмъ дѣло, но я никакъ не понимаю вражды къ нему почтеннаго г. Z. изъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», столь упорной и безостановочной. Много разъ я искренно сожалѣлъ о семъ обстоятельствѣ. Увѣренъ, что оба эти дѣятеля могли бы совершенно сойтись, если бы не такъ враждовали другъ съ другомъ. Но не мое дѣло. Г-нъ Н. М. въ первый разъ поразилъ мое вниманіе своимъ отзывомъ о моихъ отзывахъ о Бѣлинскомъ, соціализмѣ и атеизмѣ, а потомъ о моемъ романѣ «Бѣсы». Отвѣчать ему по поводу моего романа я немного упустилъ время, хотя и хотѣлъ было, но о соціализмѣ непремѣнно отвѣчу. И вообще о соціализмѣ буду писать, во второе полугодіе моего редакторства. Главное, никакъ не могу понять, что хотѣлъ мнѣ сказать г. Н. М., увѣряя меня, что соціализмъ въ Россіи непремѣнно былъ бы консервативенъ? Не думалъ ли онъ меня этимъ какъ-нибудь утѣшить, предположивъ, что я консерваторъ во что бы ни стало. Смѣю увѣрить г. Н. М., что «ликъ міра сего» мнѣ самому даже очень не нравится. Но писать и доказывать, что соціализмъ не атеистиченъ, что соціализмъ вовсе не формула атеизма, а атеизмъ вовсе не главная, не основная сущность его, — это чрезвычайно поразило меня въ писателѣ, который, повидимому, такъ много занимается этими темами. Пишу теперь обо всемъ этомъ къ слову, именно чтобъ показать на примѣрѣ, какъ трудно теперь у насъ въ литературѣ разсуждать или спорить съ кѣмъ-нибудь и о чемъ-нибудь,

даже съ непритворяющимися и простодушнѣйшими людьми. (NB. Простодушіе вовсе не исключаетъ ни ума, ни таланта.) О г. Н. М. же я именно вспомнилъ потому, что все хочу ему отвѣтить, но никакъ не удается.

Но зато есть такіе, которымъ отвѣчать уже никакъ невозможно. Я не за брань ихъ сержусь — а ужъ какъ они ругались! Но иная брань приноситъ только честь и ничего дурного. Я сержусь... впрочемъ, нѣтъ, не сержусь: и сердиться на нихъ нельзя. Это цѣлая толпа пишущей братіи, когда-то, отъ предковъ наслѣдовавшая нѣсколько либеральныхъ мыслей, но въ совершенной ихъ наготѣ и наивности, безо всякаго ихъ развитія и толку. Что у Бѣлинскаго и Добролюбова предлагалось все же съ нѣкоторою послѣдовательностью, то утратило у нихъ всѣ концы и начала. Я увѣренъ, что явись теперь опять Бѣлинскій, то они тотчасъ же бросятся ругать его. Впрочемъ, если и укажутъ, то развѣ только подождутъ немного, а черезъ мѣсяцъ какой-нибудь всѣ вдругъ бросятся и начнутъ ругать. Толку никакого. Первая ихъ забота, разумѣется, чтобъ было либерально. Но какъ написать либерально? — онъ уже и не знаетъ, забылъ, потому что никогда не имѣлъ ни одной своей мысли и совершенно не знаетъ, что въ сущности должно оказываться либеральнымъ. Большая часть изъ нихъ пишутъ на удачу, на всякій случай. Дѣвочка воткнула булавку въ голову другого ребенка, и вотъ они находятъ, что это хорошо, потому что либерально: она протестовала противъ деспотизма. Съ фактами участившихся самоубійствъ или ужаснаго теперешняго пьянства они рѣшительно не знаютъ что дѣлать. Написать о нихъ съ отвращеніемъ и ужасомъ онъ не смѣетъ рискнуть: «а ну какъ выйдетъ нелиберально», и вотъ онъ передаетъ на всякій случай зубоскаля. Для этого выработался у нихъ отвратительнѣйшій и глупѣйшій тонъ. Взяли Хиву, и онъ тотчасъ же теряется; онъ не знаетъ, либерально это или нѣтъ? Хвалить — пожалуй выйдетъ нелиберально. Восторгаться — непремѣнно нелиберально! Хулить? Пожалуй, тоже нелиберально: Вамбери похвалилъ. И вотъ онъ мечется туда и сюда: «Я радуюсь.., а впрочемъ, пожалуй, не радуюсь... впрочемъ, пожалуй, отчего же не радоваться, а впрочемъ, пожалуй, и нечему радоваться» и т. д. и т. д.—три столбца. Позубоскалить на всякій случай все-таки какъ будто либеральнѣе.

Всего забавнѣе, что у нихъ, въ подобныхъ затруднительныхъ случаяхъ, проглядываетъ уловка показать, что онъ что-то знаетъ: «Вотъ только бы дали намъ написать, дали бы высказать; эва, что бы мы тогда насказали!

А теперь вотъ поневолѣ зубоскалимъ! Но зато сколько мы знаемъ!.. И-и-и, сказать нельзя сколько знаемъ!»

Неужели же отвѣчать такимъ, пускаться съ ними въ полемику? Только развороти муравейникъ — бѣда! Впрочемъ, имъ видно пріятно бы было связаться, я замѣчалъ это по многимъ признакамъ. И ужъ какъ задирали! Они объявляли меня «сыскно-полицейскимъ писателемъ», въ другой разъ объявили крѣпостникомъ, вздыхающимъ по «крѣпостному состоянію». Ну, что же я сталъ бы имъ отвѣчать?

Вотъ очень недавній анекдотъ, довольно характерно рисующій эту среду.

Недавно въ нашей газетѣ передавалась всѣмъ теперь извѣстная исторія монаха отца Нила и упоминалось о нѣкоторыхъ секретныхъ похожденіяхъ его.

При этомъ мы заявили, что у насъ есть особенный типъ такихъ барынь, которыя хоть и очень богомольны, но вмѣстѣ съ тѣмъ и наклонны къ нѣкоторымъ уже непозволительнымъ снисхожденіямъ къ служителямъ церкви. Приведемъ, впрочемъ, наши слова; тутъ дѣло именно въ томъ, какъ онъ ихъ понялъ... «вѣрнѣе сказать, пламень набожности принимаетъ въ высшей степени неестественную потребность, такъ сказать, усластить, заласкать, залюбить, лично и даже по-земному, самаго уважаемаго и чтимаго ими служителя Божія. Мы замѣтили, что въ католицизмѣ эти случаи повторяются чаще, чѣмъ у насъ, у насъ же совсѣмъ даже рѣдки... Вначалѣ, напримѣръ, изъ самой горячей набожности посылаютъ служителямъ Божіимъ конфекты, сласти, не разсуждая, что какъ ни невинны эти посылки, все же онѣ дьявольскій соблазнъ; и затѣмъ постепенно расширяютъ идею о конфектахъ до предѣловъ совсѣмъ непозволительныхъ. Всего любопытнѣе, повторяемъ это, что вся эта неестественность рождается почти изъ похвальнаго чувства и до того обманываетъ природу, что въ моменты сильнѣйшаго грѣхопаденія уживается съ молитвами, молебнами, постами и пр. Прибавимъ, что народу такія утонченности совсѣмъ не знакомы, онѣ только у барынь, и еще у рѣдкихъ. Если же и происходятъ у монастырскихъ грѣхи съ женщинами изъ народа, то уже совсѣмъ какъ грѣхи— вполнѣ откровенно и безо всякихъ ложнаго оттѣнка святости».

Типъ отвратительный, но весьма любопытный и стоющій вниманія, какъ болѣзненный наростъ нашей цивилизаціи. Вѣрно обрисованный художникомъ, напримѣръ, въ романѣ, онъ далъ бы художнику славу. И что же? Фельетонистъ не понялъ ни типа, ни ироніи нашего изло-

женія. Онъ вообразилъ, что мы *хвалимъ* этихъ барынь! Ну, и тотчасъ же разругалъ: либеральная тема!

— Увѣряю васъ, — сказалъ мнѣ одинъ мой знакомый, которому я съ удивленіемъ сообщилъ листокъ, — увѣряю васъ, что онъ совершенно такъ понялъ, какъ написалъ, безъ всякаго коварства. Напротивъ, это естественное, такъ сказать, фельетонное отупѣніе чувствъ, мыслей и всякаго соображенія, — десятилѣтнее отупѣніе отъ десятилѣтняго либерализма съ чужого голоса и несвойственнаго его головѣ. Тутъ окончательная утрата пониманія всего, что внѣ ихъ пріемовъ, привычекъ и ихняго казеннаго и вымученнаго фельетоннаго слога... утрата почти языка человѣческаго...

Вѣрю. Такъ что даже простительно. Ну, такъ какъ же этакимъ отвѣчать?

Маленькія картинки [1].

(Въ дорогѣ.)

Я разумѣю дорогу паровую, чугунку и пароходы. Про дороги прежнія, про дороги «конемъ» — какъ выразился недавно одинъ мужичекъ, мы, жители столицъ, стали совсѣмъ забывать. А должно быть, и на нихъ теперь можно встрѣтить много новаго противъ прежнихъ порядковъ. Я, по крайней мѣрѣ, слышалъ много любопытнаго отъ разсказчиковъ, и такъ какъ повсемѣстнымъ, будто бы, разбойникамъ я все-таки не вѣрю вполнѣ, то и собираюсь чуть не каждое лѣто проѣхаться куда-нибудь поглубже, по прежнимъ дорогамъ, для собственнаго назиданія и поученія. А пока милости просимъ на чугунку.

Ну, вотъ мы входимъ въ вагонъ. Русскіе люди классовъ интеллигентныхъ, являясь въ публику и сбиваясь въ массу, всегда становятся любопытны для поучающагося наблюдателя, но въ дорогѣ особенно. У насъ въ вагонахъ заговариваютъ другъ съ другомъ туго; особенно характерны въ этомъ отношеніи самыя первыя мгновенія пути. Всѣ какъ бы настроены другъ противъ друга; всѣмъ какъ-то не по себѣ, оглядываются съ самымъ недовѣрчивымъ любопытствомъ, смѣшаннымъ непремѣнно съ враждебностью, стараясь въ то же время сдѣлать видъ,

[1] Напечатано въ сборникѣ „Складчина“, изданномъ въ 1874 г.

что не только не замѣчаютъ одинъ другого, но и не хотятъ замѣчать.

Въ интеллигентныхъ отдѣленіяхъ поѣзда первыя мгновенія размѣщеній и дорожныхъ ознакомленій, для очень многихъ — суть рѣшительно мгновенія страданія, невозможнаго нигдѣ, напримѣръ, за границей, именно потому, что тамъ всякій знаетъ и тотчасъ же вездѣ самъ находитъ свое мѣсто. У насъ же, безъ кондуктора и вообще безъ руководителя, трудно обойтись и найти себѣ свое мѣсто сразу, даже гдѣ бы то ни было, не только въ вагонахъ, а даже и въ вагонахъ съ билетомъ въ рукахъ. Я не про одни споры изъ-за мѣстъ говорю. Случится спросить о чемъ-нибудь самомъ необходимомъ незнакомаго сосѣда, около котораго сѣли — и вопросъ задается въ самомъ трусливо-услащенномъ тонѣ, точно вы рискнули на чрезвычайную опасность. Спрашиваемый, разумѣется, тотчасъ же испугается и посмотритъ съ необыкновенной нервной тревогой; и хотя и отвѣтитъ вдвое терпѣливѣе и услащеннѣе вопрошающаго, тѣмъ не менѣе оба они, несмотря на взаимную услащенность, довольно долго еще продолжаютъ чувствовать нѣкоторое преоригинальное опасеніе: «а не вышло бы какъ-нибудь драки!» Предположеніе это хоть и не всегда сбывается, но въ первое мгновеніе, когда гдѣ бы то ни было собираются въ незнакомую толпу образованные русскіе люди, — это предположеніе хоть на мигъ, хоть въ видѣ безсознательнаго лишь ощущенія, а, право, должно проноситься по всѣмъ этимъ собравшимся вмѣстѣ образованнымъ русскимъ сердцамъ.

— И это вовсе не потому, — яростно замѣтилъ мнѣ на это замѣчаніе одинъ пессимистъ изъ «болѣющихъ сердцемъ», — это вовсе не потому, что они взаимно не довѣряютъ европеизму своего развитія, а непремѣнно и потому еще, что у насъ почти всякій согласенъ въ глубинахъ европейской души своей, что его, пожалуй, и стоитъ побить... Нѣтъ, о нѣтъ, безконечно совралъ! — съ крикомъ поправилъ себя тотчасъ же мой пессимистъ,— никогда нашъ европеецъ не сознается, что его стоитъ побить! Нѣтъ, это слишкомъ много чести ему приписать! Сознаніе, хотя бы лишь самое отдаленное, что тебя стоитъ высѣчь, — есть уже начало добродѣтели, а гдѣ у насъ добродѣтель? Лганье передъ самимъ собой у насъ еще глубже укоренено, чѣмъ передъ другими. У насъ всякій можетъ почувствовать, что его стоитъ высѣчь, но никогда не сознается, даже и себѣ самому, что его и впрямь надо бы хорошенько вспороть.

Привожу это мнѣніе пессимиста въ видѣ оригиналь-

ности, отчасти лишь любопытной; самъ же я не во всемъ съ нимъ согласенъ и наклоненъ къ мнѣнію гораздо болѣе примирительному.

Второй періодъ собравшагося въ дорогѣ русскаго образованнаго общества, т. е. періодъ завязывающихся разговоровъ, наступаетъ всегда почти очень скоро послѣ перваго, т. е. періода трусливыхъ высматриваній и подергиваній. Не умѣютъ заговорить лишь вначалѣ, а потомъ расходятся такъ, что иной разъ и не удержишь. Что дѣлать: крайности — наша черта. Виновата къ тому же и наша бездарность; кто что ни говори, а у насъ ужасно мало талантовъ, въ какомъ бы то ни было родѣ; напротивъ, ужасно много того, что называется «золотою серединою». Золотая средина — это нѣчто трусливое, безличное, а въ то же время чванное и даже задорное. Боятся заговорить, чтобы какъ-нибудь себя не скомпрометировать, дичатся и совѣстятся: умные потому, что считаютъ всякій самостоятельный шагъ какъ бы ниже ума своего, а глупые изъ гордости. Но такъ какъ русскій человѣкъ, по природѣ своей, въ то же время и самый общительный и стадный человѣкъ на всемъ земномъ шарѣ, то и выходитъ, что въ эту первую четверть часа всѣ до того, наконецъ, изстрадаются, что, наконецъ, сами себѣ станутъ въ тягость и примутъ съ радостью, когда кто-нибудь первый рѣшится разбить стекло и завязать хоть что-нибудь въ родѣ общаго разговора. На желѣзныхъ дорогахъ это разбитіе стекла происходитъ иногда довольно забавнымъ образомъ, но всегда почти нѣсколько иначе, чѣмъ на пароходахъ (причину объясню ниже). Иногда, надъ всеобщей «срединой» и бездарностью, вдругъ и совсѣмъ неожиданно, возникаетъ геніальный талантъ и увлекаетъ примѣромъ своимъ сразу всѣхъ до единаго. Вдругъ объявляется такой господинъ, который, среди всеобщаго напряженнаго молчанія и конвульсивныхъ потугъ, громко и безъ всякаго приглашенія, безъ всякаго даже повода, мало того — безъ малѣйшаго даже присюсюкиванья, столь необходимаго по нашимъ понятіямъ каждому джентльмену, когда онъ вдругъ очутится среди незнакомаго общества; безъ малѣйшей этой подленькой скандировки въ выговорѣ самыхъ обыкновенныхъ словъ, столь укоренившейся въ нѣкоторыхъ нашихъ джентльменахъ тотчасъ же послѣ освобожденія крестьянъ, въ видѣ какъ бы обиды по этому поводу; напротивъ, съ видомъ самаго прежняго, старичнаго джентльмена, начинаетъ разсказывать всѣмъ вообще и никому въ особенности — ни болѣе, ни

менѣе, какъ свою собственную автобіографію, разумѣется, къ совершенному и недовѣрчивому изумленію слушателей. Всѣ сначала даже теряются и вопросительно переглядываются другъ съ другомъ; ободряются лишь мыслью, что «вѣдь во всякомъ случаѣ это не они говорятъ, а онъ». Такой разсказъ, съ самыми интимными, а иногда даже и чудесными подробностями, можетъ продолжаться полчаса, часъ, сколько угодно.

Мало-по-малу всѣ начинаютъ ощущать въ себѣ магическое вліяніе таланта, — ощущаютъ именно тѣмъ, что вовсе не находятъ себя обиженными, несмотря даже на все желаніе того. Всѣхъ, главное, поражаетъ то, что онъ никому не льститъ; ни въ чемъ ни у кого не заискиваетъ, въ слушателѣ рѣшительно не нуждается, подобно тому, какъ нуждается въ немъ какой-нибудь обыкновенный, бездарный болтунъ; говоритъ же единственно потому, что не можете таить въ себѣ своего сокровища. «Хотите—слушайте, хотите—нѣтъ, мнѣ вѣдь все равно; я вѣдь только чтобъ васъ осчастливить», — вотъ что, кажется, могъ бы онъ сказать; между тѣмъ и этого даже не говоритъ, потому что всѣ чувствуютъ себя совершенно свободными, тогда какъ въ самомъ дѣлѣ (ну, нельзя же безъ этого), когда онъ только что началъ такъ неожиданно говорить, разумѣется, каждый почувствовалъ себя, въ первыя мгновенія, какъ бы лично обиженнымъ. Мало-по-малу ободряются до того, что начинаютъ его останавливать, разспрашивать, входить въ подробности, ну, разумѣется, со всѣми возможными предосторожностями. Джентльменъ съ необычайнымъ вниманіемъ, хотя и безо всякой услащенности, тотчасъ же васъ выслушиваетъ и тотчасъ же вамъ отвѣчаетъ, — поправляетъ васъ, если вы ошибаетесь, и немедленно соглашается съ вами, если вы хоть чуть-чуть выходите правы. Но поправляя ли, соглашаясь ли, онъ рѣшительно доставляетъ вамъ несомнѣнное удовольствіе; вы это чувствуете всѣмъ существомъ вашимъ, каждую минуту, и рѣшительно не понимаете, какъ это онъ умѣетъ хорошо такъ дѣлать. Вы, напримѣръ, ему только что возразили, и хоть онъ, не далѣе какъ за минуту, говорилъ совершенно противоположное, но теперь выходитъ, что и онъ говорилъ то же самое, что вы только что изволили найти нужнымъ ему замѣтить, и совершенно съ вами согласенъ, такъ что и вы польщены, и онъ сохранилъ свою полную независимость. Польщены же вы бываете иногда до того, послѣ иного удачнаго вашего возраженія, да еще при всѣхъ, что начинаете оглядываться на публику съ видомъ настоящаго именинника, несмотря даже на весь вашъ умъ, но таково уже обаяніе. О, онъ все вп-

дѣлъ, все знаетъ, вездѣ былъ, вездѣ ходилъ, вездѣ сидѣлъ и только что вчера всѣ съ нимъ простились. Онъ, еще тридцать лѣтъ назадъ, приходилъ къ извѣстному министру, въ прошлое царствованіе, а потомъ къ генералъ-губернатору Б—ву, жаловаться на его родственника, вотъ что отличился недавно своими мемуарами, и Б—въ тотчасъ же посадилъ его съ собой курить сигары. Такихъ сигаръ онъ потомъ никогда не куривалъ. Конечно, ему лѣтъ пятьдесятъ на видъ, такъ что онъ можетъ помнить и Б—ва, но вчера еще онъ провожалъ извѣстнаго жида Ф., только что бѣжавшаго за границу, и тотъ, въ послѣднюю минуту разлуки, открылъ ему всѣ свои послѣднія тайны; такъ что только онъ одинъ во всей Россіи и знаетъ теперь всю подноготную всей этой исторіи. Пока дѣло шло о Б--вѣ, всѣ еще были спокойны, тѣмъ болѣе что и разсказъ-то вышелъ изъ-за сигаръ, но при имени Ф. самые даже солиднѣйшіе изъ слушателей принимаютъ особенно заинтересованный видъ; даже наклоняются нѣсколько къ разсказчику и слушаютъ съ алчностью, и при этомъ безъ малѣйшей даже зависти въ томъ, что разсказчикъ въ дружбѣ съ такимъ высшимъ жидомъ, а они нѣтъ. Шаръ «Жюль-Фавръ» — одно надуванье и непремѣнно лопнетъ; во франко-прусскую войну леталъ совсѣмъ другой, а этотъ новый. Тутъ un mot de Jules-Favre, о князѣ Бисмаркѣ, прошлаго года ему на ухо и подъ секретомъ въ Парижѣ — впрочемъ, хотите вѣрьте, хотите нѣтъ; даже видно, что разсказчикъ особенно не настаиваетъ, но про проектъ новыхъ акцизныхъ законовъ онъ знаетъ все, что третьяго дня говорилось въ Государственномъ Совѣтѣ, даже лучше знаетъ, чѣмъ знаютъ въ самомъ Государственномъ Совѣтѣ. Остроумнѣйшій анекдотъ, какъ съострилъ при томъ *** о кабатчикахъ. Всѣ улыбаются и заинтересованы очень, потому что ужасно похоже на правду. Инженерный полковникъ сообщаетъ сосѣду вполголоса, что онъ давеча почти то же самое слышалъ и что чуть ли это не правда; кредитъ разсказчика мгновенно вырастаетъ. Съ Г—вымъ онъ ѣздилъ въ вагонахъ тысячу разъ, ты-ся-чу разъ; и тутъ вовсе не то: тутъ анекдотъ, котораго никто не знаетъ и Незнакомцу ровно ничего не будетъ, потому что замѣшано извѣстное лицо, и лицо хочетъ непремѣнно всему положить предѣлъ. Лицо простило и сказало, что не будетъ вмѣшиваться, но лишь до извѣстной черты, а такъ какъ оба перешли черту, то лицо, конечно, вмѣшается. Онъ самъ тутъ былъ и все это видѣлъ; самъ въ станціонную книгу записывалъ въ качествѣ свидѣтеля. Примирятъ, разумѣется. Зато про охотничьихъ собакъ, и про

извѣстныхъ собакъ, нашъ джентльменъ говоритъ такъ, какъ будто въ собакахъ-то и состояла главная задача всей его жизни. Разумѣется, подъ конецъ ясно для всѣхъ, какъ дважды два, что онъ никогда не ѣздилъ съ Г—вымъ; ровно ничего не записывалъ въ книгѣ, съ Б—вымъ не курилъ, собакъ не имѣлъ, очень далекъ отъ Государственнаго Совѣта; тѣмъ не менѣе всякому, даже спеціалисту, понятно, что онъ все это знаетъ и даже довольно прилично знаетъ, такъ что очень и очень можно, не компрометируя себя, слушать. Но не въ извѣстіяхъ дѣло, а въ удовольствіи слушать. Замѣтенъ, впрочемъ, и пробѣлъ у всезнайки: мало и даже почти совсѣмъ не говоритъ о школьномъ вопросѣ, объ университетахъ, классицизмѣ и реализмѣ, и даже о литературѣ — точно эти темы совсѣмъ даже и не подозрѣваются имъ. Спрашиваешь себя, кто бы то могъ быть, и рѣшительно не находишь отвѣта. Знаешь только, что талантъ, но спеціальности его угадать не можешь. Предчувствуешь однако, что это типъ и, какъ и всякій рѣзко очерченный типъ, непремѣнно имѣетъ свою спеціальность, и если ее не угадываешь, то именно потому, что не знаешь типа и его до сихъ поръ не встрѣчалъ. Особенно сбиваетъ съ толку наружность: одѣтъ широко, и портной у него былъ очевидно хорошій: если лѣтомъ, то непремѣнно по-лѣтнему, въ коломянкѣ, въ гетрахъ и въ лѣтней шляпѣ, но... все это на немъ нѣсколько какъ бы ветхо, такъ что если и былъ хорошій портной, то только *былъ*, а теперь уже можетъ и нѣтъ. Высокъ, худощавъ, очень даже; держитъ себя какъ-то не по лѣтамъ прямо; смотритъ прямо передъ собой; видъ смѣлый и съ неотразимымъ достоинствомъ; ни малѣйшаго нахальства; напротивъ, благоволеніе во всемъ, но безъ сахару. Небольшая съ просѣдью бородка клиномъ, не то чтобъ совсѣмъ наполеоновская, но зато самаго дворянскаго обрѣза. Вообще манеры безукоризненны, а къ манерамъ у насъ очень падки. Очень мало куритъ, даже, можетъ, и совсѣмъ нѣтъ Поклажи никакой — маленькій тощій сачекъ, въ родѣ ридикюльчика, несомнѣнно заграничной когда-то выдѣлки, теперь же непозволительно истершійся, вотъ и все. Кончается тѣмъ, что такой джентльменъ вдругъ и совсѣмъ неожиданно исчезаетъ, и даже непремѣнно на какой-нибудь самой незначительной станціи, на какомъ-нибудь самомъ неважномъ поворотѣ куда-нибудь, куда никто и не ѣдитъ. По уходѣ его кто-нибудь изъ наиболѣе слушавшихъ и поддакивавшихъ вслухъ рѣшаетъ, что «все вралъ». Разумѣется, тутъ всегда окажутся двое такихъ, что всему повѣрили и заспорятъ; въ противоположность имъ непремѣнно окажутся двое такихъ, которые еще съ

самаго начала были обижены и если молчали и не возражали «вралю», то единственно отъ негодованія. Теперь они съ жаромъ протестуютъ. Публика смѣется. Кто-нибудь, доселѣ очень скромно и солидно молчавшій, съ видимымъ знаньемъ дѣла заявляетъ предположеніе, что это «особый, стародворянскій типъ благороднаго приживальщика высшей руки, самъ помѣщикъ, но только маленькій, благородный лѣнтяй съ чрева матери, дѣйствительно съ хорошими знакомствами и всю жизнь витающій около высшихъ людей, — типъ чрезвычайно полезный въ общежитіи, особенно въ деревенской глуши, куда зачастую заглядываетъ и куда особенно любитъ ѣздить гостить». Съ неожиданнымъ мнѣніемъ всѣ какъ-то вдругъ соглашаются, споры прекращаются, но стекло разбито, и разговоры завязаны. Даже и безъ разговоровъ всякій чувствуетъ себя какъ дома и всѣмъ вдругъ стало совершенно свободно. А между тѣмъ все благодаря таланту.

Впрочемъ, если только не брать въ разсчетъ такъ называемыхъ случайныхъ скандаловъ и иныхъ неминуемыхъ неожиданностей, довольно иногда непріятныхъ и, къ несчастью, все-таки слишкомъ частыхъ, то по дорогамъ нашимъ, въ результатѣ, все-таки можно проѣхать. Разумѣется, съ предосторожностями.

Я уже написалъ однажды и напечаталъ, что задача проѣхать пріятно и весело по желѣзной дорогѣ заключается, главное, «въ умѣньи давать врать другимъ и какъ можно болѣе этому вранью вѣрить; тогда и вамъ дадутъ тоже съ эффектомъ прилгнуть, если и сами вы соблазнитесь; стало быть, взаимная выгода». Здѣсь же подтверждаю, что и доселѣ придерживаюсь того же мнѣнія, и что высказано было оно мною нимало не въ юмористическомъ, а, напротивъ, въ самомъ положительномъ смыслѣ. Что же собственно до вранья и особенно желѣзно-дорожнаго, то я уже заявилъ тогда же, что почти и не считаю его порокомъ, а, напротивъ, естественнымъ отправленіемъ нашего національнаго добродушія. Злыхъ лгуновъ у насъ почти нѣтъ, а, напротивъ, почти всѣ русскіе лгуны — люди добрые. Не говорю, впрочемъ, что хорошіе.

Тѣмъ не менѣе поражаетъ иногда, даже и въ дорогахъ, даже и въ вагонахъ, нѣкоторая вновѣ-зародившаяся жажда разговоровъ серьезныхъ, жажда учителей на всевозможныя соціальныя и общественныя темы. И являются учителя. О нихъ я тоже писалъ, но то особенно поражаетъ, что изъ желающихъ учиться и научиться всего болѣе женщинъ, дѣвицъ и дамъ, и совершенно не стриженныхъ, смѣю васъ въ томъ увѣрить. Скажите, гдѣ встрѣтите вы теперь дѣвицу или даму безъ книжки, въ дорогѣ или даже на улицѣ? Можетъ быть, я преувеличилъ, но все-таки очень много пошли съ книжками, и не то чтобъ съ романами, а все съ похвальными книжками, съ педагогическими или съ естественно-научными; даже читаютъ Тацита въ переводѣ. Однимъ словомъ, жажды и ревности очень много, самой благородной и свѣтлой, но... но все это еще какъ-то нейдетъ. Ничего нѣтъ легче какъ, напримѣръ, увѣрить такую ученицу почти въ чемъ вамъ угодно, особенно если кто складно умѣетъ поговорить. Женщина глубоко-религіозная вдругъ, въ нашихъ глазахъ, соглашается съ выводами почти атеистическими и съ рекомендуемымъ примѣненіемъ ихъ. А ужъ насчетъ педагогіи, напримѣръ, такъ чего-чего имъ не внушаютъ, и чему-чему онѣ способны не увѣровать! Содроганіе пройдетъ иногда при мысли, что она, пріѣхавъ домой, тотчасъ и начнетъ примѣнять на дѣтяхъ и супругѣ то, чему ее научили. Ободряешься лишь догадкой, что, можетъ быть, она вовсе и не поняла учителя, или поняла совершенно противоположно, и что дома спасетъ ее инстинктъ матери и супруги и здравый смыслъ, столь сильный въ русской женщинѣ, даже съ изначала русскихъ вѣковъ. Но смыслъ смысломъ, а все-таки пожелать надо и научнаго образованія, только твердаго и настоящаго, а не то что изъ всякихъ книжекъ да по вагонамъ. Тутъ самые похвальные шаги могутъ обратиться въ плачевные.

Хорошо на нашихъ дорогахъ и то, что, — опять таки если не считать разныхъ «случаевъ», — можно проѣхать почти что incognito все время пути, молча и ни съ кѣмъ даже не заговаривая, если ужъ очень говорить не желаешь. Теперь только развѣ одни священники прямо начинаютъ съ разспросовъ «кто вы, куда ѣдете, по какимъ дѣламъ и чего ожидаете». Но, впрочемъ, и этотъ благодушный типъ, кажется, переводится. Напротивъ, даже и въ этомъ родѣ бываютъ, съ недавняго времени, пренеожиданныя встрѣчи, такъ что глазамъ не вѣришь.

На пароходахъ, какъ я сказалъ уже, разговоры завязываются нѣсколько иначе, чѣмъ въ вагонахъ. Причины естественныя, и во-первыхъ, уже то, что публика *избранное*. Я, конечно, говорю лишь про пароходную публику перваго класса, про публику *на кормѣ*. Про публику *носовую*, т. е. второго разряда, и говорить не стоитъ, да и не публика она, а просто пассажиры. Тамъ мелкотравчатые, тамъ узлы съ поклажей, давка и тѣснота, тамъ вдовы и сироты, тамъ матери кормятъ грудью дѣтей, тамъ общипанные старички, получающіе пенсію, тамъ переѣзжающіе

священники, цѣлыя артели рабочихъ, мужики съ своими бабами и краюхами хлѣба въ мѣшкахъ, пароходная прислуга, кухня. Кормовая публика, вездѣ и всегда, совершенно игнорируетъ носовую и не имѣетъ о ней никакого понятія. Можетъ быть, покажется страннымъ мнѣніе, что пароходная «первоклассная» публика всегда *избранные*, чѣмъ даже соотвѣтственнаго разряда въ вагонахъ. Въ сущности, конечно, это неправда, да и вся эта публика чуть лишь пріѣдетъ домой и сойдетъ съ парохода, немедленно, въ нѣдрахъ семействъ своихъ, понижаетъ свой тонъ даже до самаго натуральнаго, но покамѣстъ семейство это на пароходѣ, оно поневолѣ подымаетъ свой тонъ до нестерпимо великосвѣтскаго, единственно, чтобъ казаться не хуже другихъ. Вся причина въ томъ, что больше пространства гдѣ помѣститься, и больше досугу, чтобъ поковеркаться, чѣмъ на желѣзной дорогѣ, то есть, какъ я сказалъ уже — причина естественная. Тутъ не такъ сбиты вмѣстѣ, публика не рискуетъ образовать изъ себя *кучу*, не такъ быстро летятъ, не такъ подчинены необходимости, звонку, минутѣ, заснувшимъ или расплакавшимся дѣтямъ; тутъ вы не принуждены обнаруживать иные ваши инстинкты въ такомъ натуральномъ и утопленномъ видѣ; напротивъ, тутъ все похоже на строгую гостиную; входя на палубу, вы какъ будто званый и входите въ гости. Между тѣмъ вы все-таки связаны пятью-шестью часами совмѣстнаго пути, пожалуй, цѣлымъ днемъ пути, и непремѣнно знаете, что надо доѣхать вмѣстѣ и почти познакомиться. Дамы почти всегда лучше одѣты, чѣмъ бываетъ это въ вагонахъ, дѣти ваши въ самыхъ очаровательныхъ лѣтнихъ костюмахъ, если только вы хоть сколько-нибудь себя уважаете. Разумѣется, и тутъ иногда встрѣчаются дамы съ узлами и отцы семействъ, совсѣмъ какъ настоящіе отцы у себя дома, иные даже съ дѣтьми на рукахъ и съ надѣтыми орденами на всякій случай; но это лишь низкій типъ «взаправду путешествующихъ», принимающихъ дѣло плебейски серьезно. Въ нихъ нѣтъ высшей идеи, а одно только утопленное чувство самосохраненія. Настоящая публика немедленно игнорируетъ этихъ жалкихъ людей, хотя бы они сидѣли подлѣ, да и сами они тотчасъ же начинаютъ понимать свое мѣсто, и хоть крѣпко займутъ оплаченныя свои мѣста, но передъ общимъ тономъ совершенно и покорно стушевываются.

Однимъ словомъ, пространство и время измѣняютъ условія радикально. Тутъ даже и самый «талантъ» не могъ бы начать съ своей автобіографіи, а долженъ бы былъ поискать другого пути. Можетъ, даже и совсѣмъ бы не имѣлъ успѣха. Тутъ разговоръ почти не можетъ завязаться изъ одной только дорожной необходимости. Главное, тонъ разговоровъ долженъ быть совершенно другой, «салонный», а въ этомъ вся сущность. Само собою, если пассажиры не знакомы другъ съ другомъ предварительно, то стекло еще труднѣе разбивается, чѣмъ въ вагонѣ. Общій разговоръ на пароходѣ чрезвычайная рѣдкость. Собственныя же страданія отъ собственнаго лганья и кривляній, особенно въ первыя мгновенія пути, даже значительнѣе, чѣмъ въ вагонѣ. Если вы хоть чуть-чуть внимательный наблюдатель, то навѣрно будете поражены, какъ можно налгать въ какую-нибудь четверть часа, сколько налгутъ всѣ эти пышныя дамы и столь уважающіе себя ихъ супруги. Конечно, все это встрѣчается всего чаще, и въ самомъ чистомъ видѣ, въ поѣздкахъ, такъ сказать, увеселительныхъ, каникулярныхъ, въ поѣздкахъ отъ двухъ до шести часовъ всего пути. Лгутъ же всѣмъ: манерами, красивыми позами; каждый какъ будто каждое мгновеніе заглядываетъ на себя въ зеркало. Пискливой скандировки фразъ, самой неестественной и противной, самаго невозможнаго произношенія словъ, съ какимъ никто бы не рѣшился произносить ихъ, если бы только чуть-чуть уважалъ себя, — кажется, еще больше, чѣмъ бываетъ въ вагонахъ. Отцы и матери семействъ (т. е. пока не завязалось еще никакого общаго разговора на палубѣ) стараются говорить между собою неестественно громко, изъ всѣхъ силъ желая показать, что совсѣмъ какъ у себя дома, но тотчасъ же и постыдно не выдерживаютъ характера: заговариваютъ между собою о совершенныхъ пустякахъ. ужасно не идущихъ къ дѣлу, къ мѣсту и къ положенію, а иногда мужъ обращается къ женѣ какъ незнакомый кавалеръ къ незнакомой ему дамѣ, гдѣ-нибудь въ гостяхъ. Вдругъ быстро и безъ причины обрываютъ уже завязанный разговоръ, да и вообще говорятъ болѣе отрывками; нервно и безпокойно оглядываются на сосѣдей, слѣдятъ за взаимными отвѣтами съ недовѣрчивостью и даже съ испугомъ, а иной разъ даже и совсѣмъ краснѣютъ одинъ за другого. Если же случится имъ (т. е. заставитъ необходимость) заговорить другъ съ другомъ о чемъ-нибудь идущемъ къ дѣлу и къ положенію, и о чемъ всякому мужу съ женой можетъ случиться нужда переговорить въ началѣ дороги, — о чемъ-нибудь хозяйственномъ, напримѣръ, или семейномъ, о дѣтяхъ. о томъ, что у Мишеньки кашель, а здѣсь свѣжо, или у Сонички слишкомъ поднимаются юбочки, — то конфузятся и быстро начинаютъ шептаться, чтобъ по возможности никто ихъ не разслышалъ, хотя въ томъ, что они говорятъ, ровно ничего нѣтъ неприличнаго или предосудительнаго, а напро-

тивъ — все достойно самаго полнаго уваженія, тѣмъ болѣе, что всѣ эти дѣти и хлопоты не у нихъ однихъ, а точно также есть и у всякаго, даже на этомъ самомъ пароходѣ. Но именно эта-то самая простѣйшая идея ни за что и не приходитъ имъ въ голову и даже имѣть ее кажется имъ ниже ихъ достоинства. Напротивъ, каждая семейная группа болѣе наклонна, хотя и съ завистью, принять чуть не всякую другую семейную группу на этой палубѣ за нѣчто, во-первыхъ, хоть градусомъ выше себя, во-вторыхъ, за нѣчто изъ какого-то особаго міра, въ родѣ какъ изъ балета, но ужъ и ни подъ какимъ видомъ за людей тоже могущихъ имѣть, подобно имъ — хозяйство, дѣтей, нянекъ, пустой кошелекъ, долгъ въ лавочкѣ и пр. Такая мысль была бы даже слишкомъ для нихъ оскорбительной; безотрадною даже; разрушала бы, такъ сказать, идеалы.

На пароходахъ, къ числу первыхъ начинающихъ вслухъ заговаривать можно причислить, почти прежде всѣхъ, гувернантокъ, — разумѣется, разговоры съ дѣтьми и на французскомъ языкѣ. Гувернантки въ обществѣ средней руки большею частью всегда одного пошиба, т. е. всѣ молоденькія, всѣ недавно изъ учебнаго заведенія, всѣ не совсѣмъ хороши собою, но и никогда не бываютъ вполнѣ дурны; всѣ въ темныхъ платьицахъ, всѣ съ стянутыми тальями, всѣ стараются выказать ножку, всѣ съ гордою скромностью, но и съ самымъ непринужденнымъ видомъ, свидѣтельствующимъ о высокой невинности, всѣ до фанатизма преданы своимъ обязанностямъ, у каждой непремѣнно съ собою англійская или французская книжка благовоспитаннаго содержанія, чаще всего какое-нибудь путешествіе. Вотъ она беретъ на руки двухлѣтнюю дѣвочку, а сама, не спуская глазъ, строго, но съ любовью, зоветъ заигравшуюся шестилѣтнюю сестру ребенка (въ соломенной шляпкѣ съ незабудками, въ бѣломъ коротенькомъ съ кружевцами платьицѣ и въ очаровательныхъ дѣтскихъ ботиночкахъ) своимъ гувернантски-французскимъ языкомъ: Wera, venez-ici, — непремѣнно классическое venez ici, и непремѣнно съ сильнѣйшимъ удареніемъ на соединительномъ звукѣ zi. Мать семейства, полная и необычайно высшаго общества женщина (мужъ ея тутъ же — европейскаго, хотя и помѣщичьяго вида господинъ, росту не малаго, болѣе плотенъ, чѣмъ худощавъ, съ легкою просѣдью, съ бѣлокурою бородой, хотя и длинною, но несомнѣнно парижской модели, въ бѣлой пуховой шляпѣ, одѣтъ по-лѣтнему, чина сомнительнаго) — мать семейства немедленно замѣчаетъ, что гувернантка, взявъ на руки двухлѣтнюю Нину, беретъ на себя лишній трудъ, не выговоренный въ условіи, и чтобъ напомнить той, что она

вовсе не такъ-то это цѣнитъ, необычайно ласковымъ голосомъ, исключающимъ однако малѣйшую мечту въ подчиненной дѣвицѣ о правѣ на дальнѣйшую фамильярность, замѣчаетъ, что ей съ Ниной должно быть «тя-же-ло» и что надо кликнуть няньку, при чемъ безпокойно и повелительно осматривается вокругъ, чтобъ отыскать улизнувшую няньку. Европейскій супругъ ея дѣлаетъ даже недоконченное движеніе въ томъ же смыслѣ, будто желая бѣжать отыскивать няньку, но одумывается и остается, и видимо доволенъ, что все-таки одумался и не побѣжалъ за нянькой. Онъ, кажется, немножко на посылкахъ у своей высшей дамы-супруги и въ то же время принимаетъ это къ сердцу. Гувернантка спѣшитъ успокоить насчетъ себя высшую даму, увѣряя вслухъ и нараспѣвъ, что она «такъ любитъ Нину» (страстный поцѣлуй Нинѣ). Тутъ опять легкій окрикъ по-французски на Вѣру, съ тѣмъ же zici, но любовь такъ и сверкаетъ изъ глазъ этой преданной дѣвицы даже и къ виноватой Вѣрѣ. Вѣра, наконецъ, подбѣгаетъ подпрыгивая и фальшиво ластится (шести-семилѣтній ребенокъ, еще въ чинѣ ангела, и тотъ уже лжетъ и коверкается!). Мамзель немедленно начинаетъ на ней оправлять, безъ всякой впрочемъ необходимости, колеретку; за тѣмъ и звала ее...

Пароходу этому всего шесть часовъ пути, и поѣздка почти что увеселительная. Повторяю опять: безъ сомнѣнія, два-три дня пути, гдѣ-нибудь по Волгѣ, или изъ Кронштадта въ Остенде, взяли бы свое: необходимость разогнала бы гостиную, балетъ полинялъ бы и растрепался, и стыдливо припрятанные инстинкты выскочили бы наружу въ самомъ открытомъ видѣ, даже радуясь своему праву выскочить. Но три дня и шесть часовъ — разница, и на нашемъ пароходѣ все осталось въ самомъ «чистомъ видѣ», съ начала и до конца. Вотъ мы понеслись, въ прелестный іюньскій день, въ десятомъ часу утра, по тихому широкому озеру. Носовая часть парохода клонится отъ «пассажировъ», но тамъ это лишь всякая всячина, о которой мы ровно ничего знать не хотимъ; у насъ же, какъ я сказалъ, свой салонъ. Есть, впрочемъ, и у насъ изъ такихъ, что вездѣ собой задаютъ задачу, такъ что, по правдѣ, и не знаешь, что съ ними дѣлать, напримѣръ, нѣмецъ-докторъ съ семействомъ, состоящимъ изъ его мутеръ и изъ трехъ германо-косоротыхъ дѣвицъ, на которыхъ трудно, чтобы кто-нибудь изъ русскихъ жениховъ могъ польститься. Для всѣхъ этихъ лицъ нашъ законъ не писанъ. Старикъ докторъ совершенно въ своей та-

релкѣ; онъ уже надѣлъ свою дорожную нѣмецкую клеенчатую фуражку, весьма глупой формы, и сдѣлалъ это нарочно для независимости, то есть, по крайней мѣрѣ, это намъ такъ кажется. Но взамѣнъ этого недоумѣнія есть одна прехорошенькая дамочка и инженеръ-полковникъ, есть старушка-мать съ тремя нѣсколько перезрѣлыми, но весьма шиковатыми дочками, средне-высшаго петербургскаго генеральскаго круга, дѣвицами, должно быть, задорными и уже видавшими виды. Есть два хлыща, одинъ художникъ, есть юнкеръ и есть кавалерійскій офицеръ изъ одного извѣстнаго кавалерійскаго полка; но онъ держитъ себя въ какомъ-то надменномъ уединеніи и молчитъ свысока, конечно, считая себя не въ своемъ обществѣ, и это всѣмъ у насъ, очевидно, нравится. Но всѣхъ болѣе обращаетъ на себя вниманія и занимаетъ собою мѣста очутившееся вмѣстѣ съ нами *начальство*. Это, впрочемъ, весьма добродушнаго вида превосходительство, въ фуражкѣ и въ полуформѣ. Всѣ сейчасъ же узнаютъ, что это самый старшій чиновникъ и такъ сказать «хозяинъ губерніи»; утверждаютъ даже, что онъ теперь ѣдетъ что-то «обозрѣвать». Вѣроятнѣе, что онъ просто провожаетъ супругу и семейство недалеко, на лѣтнюю ихъ резиденцію. Супруга его замѣчательно красивая дама, лѣтъ тридцати шести или семи, изъ знатной фамиліи С—хъ (о чемъ отмѣнно хорошо знаютъ на пароходѣ), ѣдетъ со всѣми четырьмя дѣтьми (все дѣвочки, старшей лѣтъ десять), съ гувернанткой-швейцаркой, и, къ негодованію нѣкоторыхъ нашихъ дамъ, держитъ себя слишкомъ по-мѣщански, хотя и нестерпимо «подымаетъ носъ». Одѣта по-будничному, «и это теперь у нихъ въ модѣ, у ма-те-рей семей-ствъ»,—протянула вполголоса одна изъ генеральскихъ дочекъ, съ завистью осматривая изящный фасонъ слишкомъ скромнаго платья супруги хозяина губерніи. Обращаетъ тоже отмѣнное и даже нѣсколько высшее на себя вниманіе одинъ высокій, худощавый, съ сильною просѣдью джентльменъ, лѣтъ уже примѣрно пятидесяти-шести или семи, независимо усѣвшійся почти на самомъ проходѣ на пароходномъ складномъ стульчикѣ, рѣшительно спиною къ публикѣ, и черезъ бортъ лѣниво и безпредметно смотрящій на воду. Всѣмъ извѣстно, что это *такой-то*, камергеръ и щеголь въ прошлое царствованіе и хоть не Богъ знаетъ какого значенія теперь, но зато самаго высшаго круга, баринъ, проживши много въ своей жизни денегъ и что-то очень долго скитавшійся въ послѣднее время за границей. Онъ одѣтъ даже нѣсколько и небрежно и вида самаго партикулярнаго, но осанка самаго безукоризненнаго русскаго милорда и даже почти безъ

примѣси французскаго парикмахера, что уже одно составляетъ совершенную рѣдкость въ настоящемъ русскомъ англичанинѣ. У него на пароходѣ два лакея, а съ нимъ собака сеттеръ удивительной красоты. Она ходитъ по нашей палубѣ и, желая познакомиться, тычетъ носъ между колѣнками сидящей публики, видимо наблюдая очередь. И хоть это скучно, но никто этимъ не обижается, а нѣкоторые изъ насъ даже пробуютъ и погладить собаку, но непремѣнно съ видомъ знатоковъ, совершенно умѣющихъ оцѣнить достоинство дорогого пса, и у которыхъ завтра же можетъ быть у каждаго точно такой же сеттеръ. Но сеттеръ ласки принимаетъ равнодушно, какъ настоящій аристократъ, и у колѣнъ остается не по долгу, и хоть и машетъ чуть-чуть хвостомъ, но лишь изъ свѣтской вѣжливости, лѣниво и равнодушно. У милорда, очевидно, знакомыхъ здѣсь нѣтъ, но по обрюзглому и разваренному виду совершенно ясно, что ему никого и не надо, и не изъ принципа какого-нибудь, а просто потому, что не надо. Къ административному значенію «хозяина области» онъ, на складномъ своемъ стульчикѣ, въ высшей степени равнодушенъ, и равнодушіе это тоже въ высшей степени безпринципное. Но уже видно, что разговоръ между ними несомнѣнно готовъ завязаться. Администраторъ похаживаетъ около складного стульчика и изъ всѣхъ силъ желаетъ заговорить. Онъ хоть и женатъ на урожденной С—й, но самъ со свойственнымъ ему прямодушіемъ, кажется, признаетъ себя на довольно крупную степень пониже милорда, — разумѣется, безо всякой потери достоинства; вотъ эту-то послѣднюю задачу и предстоитъ теперь разрѣшить ему. Тутъ вертится одинъ господинъ «со второй ступеньки», и, по его старанью, хозяинъ и милордъ какъ-то успѣли уже случайно и безъ предварительнаго ознакомленія перебросится двумя словами. Поводомъ послужило извѣстіе, сообщенное господиномъ «со второй ступеньки» объ одномъ сосѣднемъ губернаторѣ, тоже извѣстномъ аристократѣ, и который, за границей, спѣша на воды къ своему семейству, какъ-то вдругъ сломалъ себѣ въ вагонѣ ногу. Нашъ генералъ пораженъ ужасно, и ему очень хотѣлось бы узнать подробности. Милордъ знаетъ подробности и довольно обязательно уже промямлилъ сквозь вставные свои зубы двѣ-три пары словъ, впрочемъ, не глядя на генерала и даже неизвѣстно кому говоря, — ему или вѣстовщику «со второй ступеньки». Генералъ съ искреннимъ нетерпѣніемъ стоитъ надъ стуломъ, заложа за спину руки, и ждетъ. Но милордъ рѣшительно неблагонадеженъ и, пожалуй, вдругъ замолчитъ и забудетъ о чемъ говорилъ. По крайней мѣрѣ, у него видъ такой.

Животрепещущій господинъ «со второй ступеньки» такъ и дрожитъ надъ нимъ, желая не дать ему замолчать. Онъ поставилъ себѣ священнѣйшимъ долгомъ свести обоихъ высшихъ джентльменовъ и познакомить ихъ между собою.

Замѣчательно, что такихъ господъ «со второй ступеньки» всегда довольно въ дорогѣ, особенно около «старшихъ» лицъ, и уже потому одному, что въ дорогѣ ихъ некуда отогнать. Но ихъ и не отгоняютъ, потому что они довольно полезны, разумѣется, если сами находятся въ извѣстныхъ благопріятныхъ и подходящихъ условіяхъ. У нашего, напримѣръ, даже орденокъ на шеѣ, и самъ онъ хоть и въ гражданской, но въ форменной какой-то одеждѣ, и фуражка у него съ какимъ-то форменнымъ околышемъ — стало быть, въ нѣкоторомъ отношеніи приличенъ. Такой господинъ такъ и начинаетъ съ того, передъ старшимъ лицомъ, что всѣмъ своимъ существомъ выражаетъ собою, безъ словъ, одной фигурой, въ видѣ предупрежденія: «Вѣдь я со второй ступеньки; на равную ногу не бью ни за что и на первую ступеньку къ вамъ не покушусь. Обидѣться на меня вы никакъ не можете, ваше превосходительство, а развлечь васъ я могу даже со счастьемъ себѣ-съ, такъ что вы всегда можете отвѣтить мнѣ сверху внизъ на вторую ступеньку, а я свое мѣсто даже до гроба моего всегда знаю-съ». Безъ сомнѣнія, ясно, что эти господа бьются изъ выгоды, но «чистый типъ» подобныхъ господъ дѣйствуетъ даже и безъ разсчета на выгоду, а изъ нѣкотораго чиновничьяго вдохновенія; вотъ въ такомъ-то случаѣ онъ и полезенъ, тутъ-то онъ и искренно веселъ, тутъ-то онъ и простодушенъ до того, что въ немъ даже исчезаетъ лакей, а выгода его все-таки приходитъ сама собою, какъ фактъ и необходимое слѣдствіе.

Къ начинающемуся разговору «двухъ высшихъ лицъ» всѣ на палубѣ становятся вдругъ чрезвычайно внимательны; не то чтобъ они желали тоже примкнуть; это было бы даже слишкомъ, а хоть поглядѣть и послушать. Иные уже бродятъ около, но болѣе всѣхъ страдаетъ европейскій мужъ «высшей дамы». Онъ чувствуетъ, что могъ бы не только подойти, но даже и въ разговоръ ввязаться, и что даже имѣетъ на то свое нѣкоторое право: генералы генералами, а Европа Европой, какъ вѣдь тамъ хотите. И совсѣмъ, совсѣмъ бы онъ не хуже другихъ могъ поговорить о губернаторѣ, сломавшемъ за границею ногу! Онъ

даже думаетъ, съ этою цѣлью, поласкать сеттера и съ этого какъ-нибудь и начать, но гордо отдергиваетъ уже протянувшуюся руку: и даже вдругъ ощущаетъ непреодолимое побужденіе задать сеттеру ногою пинка. Мало-помалу онъ принимаетъ какъ бы уединенный и обиженный видъ, на минутку отходитъ и начинаетъ всматриваться въ блестящую даль озера. Супруга его, онъ видитъ это, смотритъ на него съ самой ехидной ироніей. Этого онъ не выдерживаетъ и возвращается опять къ «разговору», ходитъ и бродитъ около разговора, какъ душа въ чистилищѣ. И если безгрѣшная душа эта способна хоть что-нибудь ненавидѣть, то ненавидитъ она въ эту минуту господина со «второй ступеньки», ненавидитъ изо всѣхъ силъ, и не будь только этого господина со второй ступеньки, ничего бы, можетъ быть, и не было изъ того, что далѣе произошло!

— Те-ле-гра-фи-ровалъ сюда, — скандируетъ сухопарый милордъ, слѣдя за сеттеромъ и едва отвѣчая генералу, — и я въ первую минуту, во-об-ра-зите себѣ, по-теря-лся...

— Вѣроятно, вамъ родственникъ? — желалъ бы освѣдомиться генералъ, но сдерживаетъ себя и ждетъ.

— И представьте, семейство въ Карлсбадѣ, а онъ теле-гра-фи-ровалъ, — опять безсвязно шамкаетъ милордъ, наладивъ одно: «телеграфировалъ».

Его превосходительство продолжаетъ ждать, хотя въ лицѣ его изображается сильнѣйшее нетерпѣніе. Но милордъ вдругъ умолкаетъ совершенно и рѣшительно забываетъ о разговорѣ.

— Вѣдь у него, кажется... главное его имѣнье... въ Тверской губерніи? — рѣшается, наконецъ, самъ спросить генералъ, съ нѣкоторымъ стыдомъ неувѣренности.

— Оба, оба су-хо-щавые, и Яковъ, и А-ри-стархъ... Оба брата. Братъ теперь въ Бес-са-ра-біи. Яковъ ногу сломалъ, а Аристархъ въ Бес-са-ра-біи.

Генералъ вздергиваетъ голову и находится въ чрезвычайномъ недоумѣніи.

— Су-хо-ща-вые, а имѣнье женино, отъ Га-ру-ниныхъ. Она у-рож-денная Га-ру-ни-на.

— А! — радуется генералъ. Онъ, видимо, доволенъ тѣмъ, что «она Гарунина». Онъ теперь понимаетъ.

— Добрѣйшій, кажется, человѣкъ, — съ жаромъ восклицаетъ онъ... Я его зналъ... то есть я именно думалъ здѣсь познакомиться... благороднѣйшій человѣкъ!

— Добрѣйшій человѣкъ, ваше превосходительство, добрѣйшій! И знаете, именно, какъ вы изволили сейчасъ опредѣлить: «добрѣйшій-съ!»—горячо ввязывается развязный человѣчекъ со второй ступеньки, и неподдѣльный вос-

торгъ сіяетъ въ глазахъ его. Онъ осанисто озирается на пассажировъ и чувствуетъ себя нравственно выше всѣхъ остальныхъ на палубѣ.

Этого уже совершенно не выдерживаетъ европейскій господинъ, скитающійся «около разговора». Увы, тутъ даже цѣлый фатумъ!

Въ томъ, главное, фатумъ, что супруга его, «высшая дама», когда-то еще въ дѣвицахъ была чуть не подругой супруги «хозяина губерніи», урожденной С—й, и тогда еще тоже дѣвицы. «Высшая дама» — тоже чья-то «урожденная» и тоже причисляетъ себя къ существамъ нѣсколько высшаго типа, чѣмъ супругъ ея. Вступая давеча на пароходъ, она отлично знала, что хозяйка губерніи тоже поѣдетъ на пароходѣ, и разсчитывала съ ней «встрѣтиться». Но увы, онѣ не «встрѣтились» и даже съ перваго шагу, съ перваго взгляда обозначилось съ необычайною ясностью, что и не могутъ встрѣтиться! «И все это изъ-за несноснаго этого человѣка!».

А «несносный этотъ человѣкъ», съ своей стороны, слишкомъ хорошо знаетъ безсловныя мысли своей супруги и слишкомъ пріучился ихъ узнавать въ семилѣтіе своего супружества. А между тѣмъ и онъ «въ Аркадіи рожденъ». У него здѣсь, въ этой же губерніи, въ старину было восемьсотъ даже душъ! На выкупныя они и проѣздили всѣ эти семь лѣтъ за границей и даже на дубовую рощу (триста десятинъ-съ!), проданную еще три года назадъ. И вотъ они теперь возвратились въ отечество, даже четыре уже мѣсяца какъ въ отечествѣ, и ѣдутъ теперь въ развалины своего помѣстья, сами не зная зачѣмъ. Главное, высшая дама, кажется, и знать не хочетъ, что уже нѣтъ болѣе ни выкупныхъ, ни дубовой рощи. Но всего болѣе она раздражена тѣмъ, что вотъ уже они четыре мѣсяца какъ воротились, а ей все ни съ кѣмъ не удается «встрѣтиться». Случай съ генеральшей не первый. «И все изъза него, изъ-за этого ничтожнаго человѣчишка!»

— Что въ томъ, что у него европейская борода, зато ни значенія, ни чинишка, ни связей! Онъ ничего не сумѣлъ самъ выдумать, даже жениться самъ не сумѣлъ. И какъ могла я за него выйти. Я бородой прельстилась! Пусть онъ тамъ говоритъ, что бесѣдовалъ съ Миллемъ и способствовалъ низверженію Тьера; вѣдь за это ему здѣсь ничего не дадутъ, да къ тому же и вретъ; если бъ Тьера низвергалъ, я бы видѣла...

Счастливый мужъ великолѣпно, отлично знаетъ, что таковы именно мысли о немъ его «высшей дамы», и именно въ эту минуту. Она не высказала ему желанія «встрѣтиться» съ хозяйкой губерніи, но онъ знаетъ, что если не устроитъ ей этой встрѣчи, то это причтется ему уже на всю жизнь. Къ тому же онъ самъ непремѣнно хочетъ, чтобы она первая созналась, что онъ не только съ Миллемъ, но даже и съ отечественными генералами можетъ поговорить, что онъ тоже птица, и не простая какая-нибудь, а настоящая птица-каганъ. Увы, вотъ это-то добровольное признаніе супругою его совершенствъ и составляло, въ сущности, главнѣйшую задачу всей его столь манкированной жизни, и даже всю цѣль ея, съ самыхъ первыхъ часовъ супружества! Какъ это такъ устроилось— слишкомъ долго передавать, но это было такъ, и тутъ было все и ничего болѣе. И вотъ онъ вдругъ, нервно, потерянно, шагаетъ впередъ и становится прямо противъ милорда.

— Я... генералъ... я тоже былъ въ Карлсбадѣ,—лепечетъ онъ съ дубу генералу, — и, представьте, генералъ, тамъ при мнѣ тоже былъ случай съ ногой .. Это вы про Аристарха Яковлевича изволили говорить? — ужасно быстро повертывается онъ вдругъ къ милорду, не выдержавъ генерала.

Генералъ вздергиваетъ голову и съ нѣкоторымъ удивленіемъ смотритъ на подбѣжавшаго господина, который говоритъ, а самъ весь трясется. Но милордъ не вскинулъ даже и головы, а между тѣмъ, о ужасъ, протягиваетъ руку, и европейскій господинъ ясно чувствуетъ, что милордъ, упираясь рукой съ боку въ его ноги, съ силою отстраняетъ его съ мѣста. Онъ вздрагиваетъ, смотритъ внизъ и вдругъ замѣчаетъ причину: забѣжавъ и легкомысленно помѣстившись между скамейкой и стульчикомъ милорда. онъ и не замѣтилъ, какъ задѣлъ лежавшую на скамейкѣ трость его, которая уже скользитъ и готова упасть со скамейки. Онъ быстро отскакиваетъ, трость падаетъ, и милордъ съ ворчаньемъ нагибается поднять ее. Въ то же самое мгновеніе раздается ужасный визгъ: это сеттеръ, которому отскочившій на два шага господинъ отдавилъ лапу. Сеттеръ визжитъ нестерпимо, нелѣпо; милордъ всѣмъ корпусомъ поворачивается на стульчикѣ и яростно скандируетъ господину:

— Я васъ по-кор-нѣйше прошу оставить въ по-коѣ мою со-ба-ку.

— Это не я. Это она сама... — бормочетъ собесѣдникъ Милля, желая провалиться сквозь палубу.

— Вы не повѣрите, вы не повѣрите, сколько я должна была выстрадать изъ-за этого без-дар-наго человѣка!— слышится ему сзади яростный полушепотъ его супруги на ухо гувернанткѣ,—и даже не слышится, а только всѣмъ

существомъ предчувствуется, а супруга, можетъ быть, и не шептала ничего гувернанткѣ...

Но вѣдь ужъ все равно! Онъ не только рѣшается провалиться сквозь палубу, но даже готовъ стушеваться куда-нибудь на носъ, спрятаться у колеса. Такъ, кажется, и дѣлаетъ. По крайней мѣрѣ, въ остальную часть пути его что-то не видно у насъ на палубѣ.

Все кончается у насъ тѣмъ, что администраторъ не выдерживаетъ и, познакомивъ милорда съ своей супругой, самъ отправляется въ каюту, гдѣ, стараніями капитана, уже изготовленъ карточный столъ. Всѣ знаютъ маленькую слабость администратора. Господинъ со второй ступеньки все уже устроилъ и добылъ позволительныхъ по обстоятельствамъ партнеровъ: приглашены—одинъ чиновникъ, состоящій при постройкѣ ближайшей желѣзной дороги, съ какимъ-то неестественной величины жалованіемъ и уже нѣсколько знакомый его превосходительству, и инженеръ-полковникъ, хотя и не знакомый, но согласившійся составить партію. Этотъ держитъ себя угрюмо и туповато (отъ наплыва собственнаго достоинства), но разыгрываетъ партію хорошо. Желѣзнодорожный чиновникъ нѣсколько тривіаленъ, но умѣетъ сдерживаться; господинъ же со второй ступеньки, сѣвшій за четвертаго, ведетъ себя совершенно такъ, какъ ему надо вести себя. Генералъ испытываетъ большое удовольствіе.

А милордъ между тѣмъ знакомится съ генеральшей. О томъ, что она урожденная С—я, онъ совсѣмъ позабылъ и не догадывался. Теперь онъ вдругъ припомнилъ ее еще шестнадцатилѣтней дѣвочкой. Генеральша обращается съ нимъ нѣсколько свысока и какъ будто небрежно, но это все только видъ. Она вяжетъ какое-то вязанье и едва глядитъ на него, но милордъ становится чѣмъ дальше, тѣмъ милѣе; онъ одушевляется, правда, шамкаетъ и брызгается, но такъ отлично разсказываетъ (разумѣется, по-французски), припоминаетъ такіе прелестные анекдоты, такія дѣйствительно-остроумныя вещи... А сколько онъ знаетъ сплетенъ! Генеральша улыбается все чаще и чаще. Обаяніе прелестной женщины дѣйствуетъ на милорда до странности, онъ все ближе и ближе подвигаетъ къ ней свой стульчикъ, онъ, наконецъ, совсѣмъ какъ-то раскисаетъ и какъ-то странно хихикаетъ... Этого уже окончательно не можетъ вынести несчастная «высшая дама». Съ ней дѣлается тикъ (tic douloureux), она переходитъ въ дамскую каюту, въ особое отдѣленіе, вмѣстѣ съ гувернанткой и съ Ниной. Начинаются уксусныя примочки, раз-

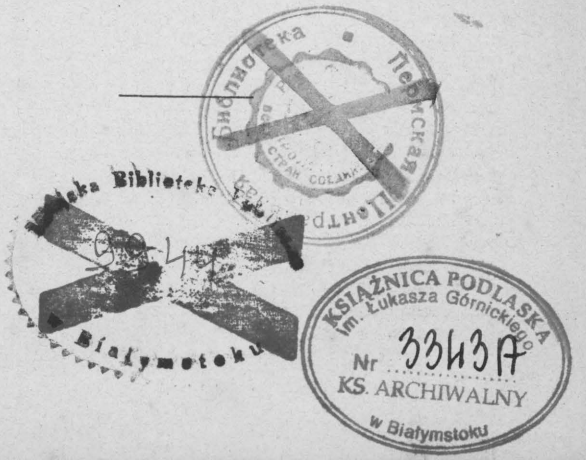
даются стоны. Гувернантка чувствуетъ, что «утро потеряно», и рѣшительно дуется. Она не хочетъ заговаривать, усадила Вѣру, а сама смотритъ въ книжку, которую, впрочемъ, не читаетъ.

— Это съ ней однакоже въ первый разъ во всѣ три мѣсяца, — мѣряетъ ее глазами страдающая дама. — Она бы должна говорить, должна! Меня развлекать должна, меня сожалѣть; она гувернантка, она должна юлить, распинаться, это все, все черезъ этого человѣчишку! — и она съ ненавистью продолжаетъ коситься на дѣвицу. Заговорить же съ ней сама не хочетъ изъ гордости. Дѣвица между тѣмъ мечтаетъ про только что покинутый Петербургъ, про бакенбарды двоюроднаго братца, про офицера, его пріятеля, про двухъ студентовъ. Мечтаетъ объ одной компаніи, гдѣ такъ много собирается студентовъ и студентокъ и куда ее уже приглашали.

«А чертъ бы дралъ! — рѣшаетъ она окончательно: — пробуду у этихъ эзоповъ еще мѣсяцъ, и если все такъ же будетъ скучно, удеру въ Петербургъ. А жрать будетъ нечего, пойду въ акушерки. Наплевать!».

Пароходъ, наконецъ, подходитъ къ пристани, и всѣ бросаются къ выходу, какъ изъ спертаго темничнаго воздуха. Какой жаркій день, какое ясное, прекрасное небо! Но мы на небо не смотримъ, некогда. Мы спѣшимъ, спѣшимъ; небо не уйдетъ.

Небо дѣло домашнее, небо дѣло не хитрое, а вотъ жизнь прожить — такъ не поле перейти.


Biblioteka Białymstoku
KSIĄŻNICA PODLASKA im. Łukasza Górnickiego Nr 33437 KS. ARCHIWALNY w Białymstoku

9944